

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

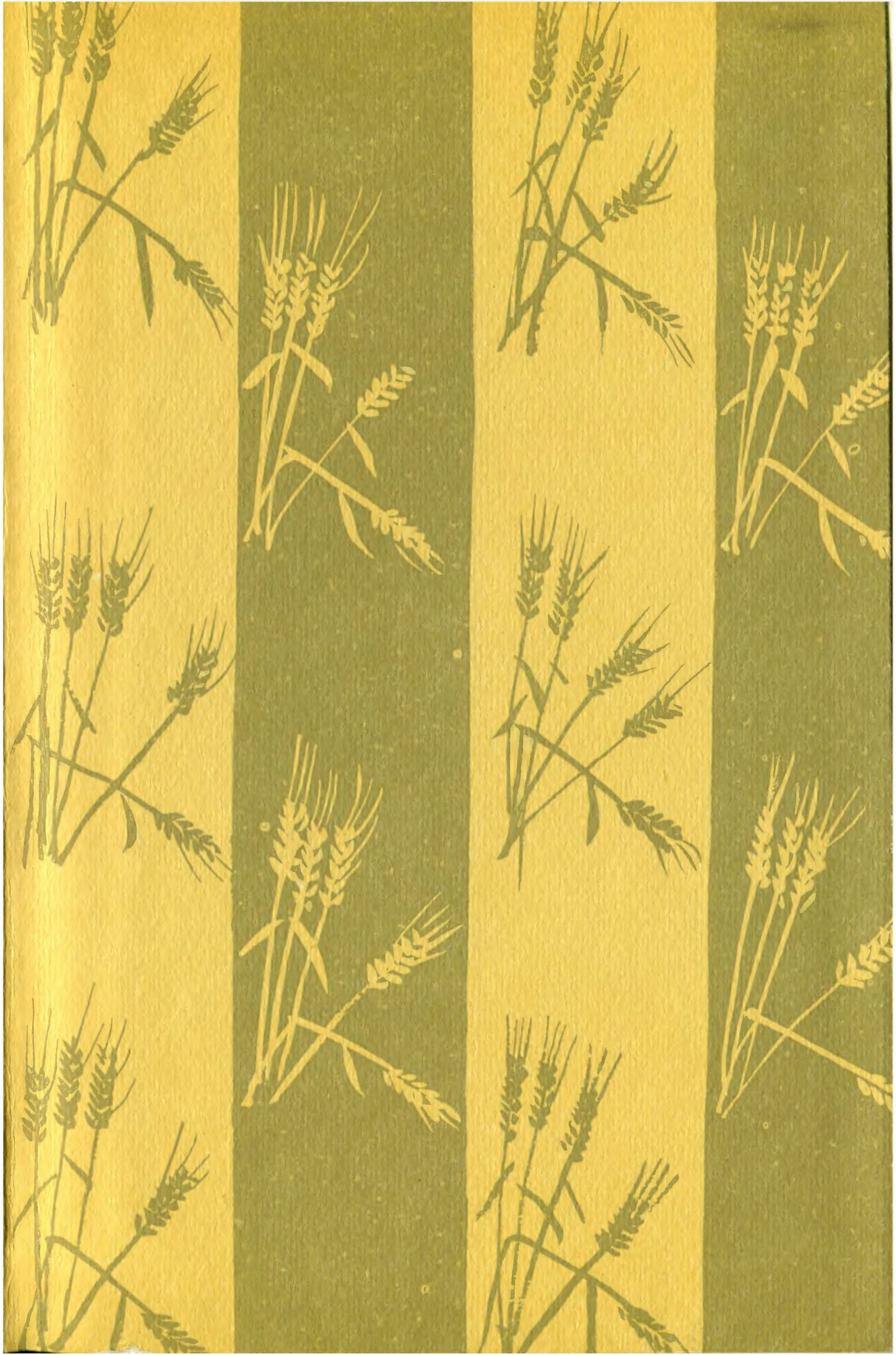


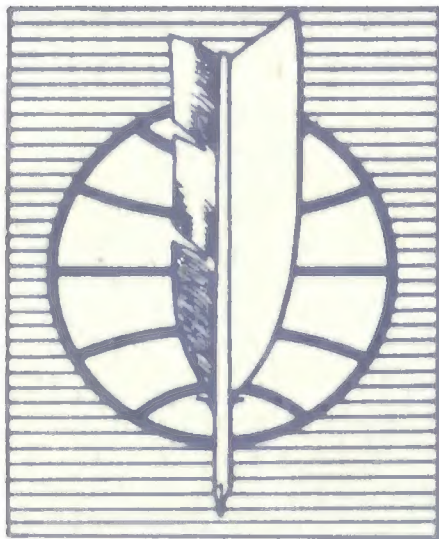
И. ВАСИЛЕНКО
А. НЕВЕРОВ
И. ЛИКСТАНОВ
АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ
НИКОЛАЙ НОСОВ

И. ВАСИЛЕНКО · А. НЕВЕРОВ
И. ЛИКСТАНОВ
АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ
НИКОЛАЙ НОСОВ

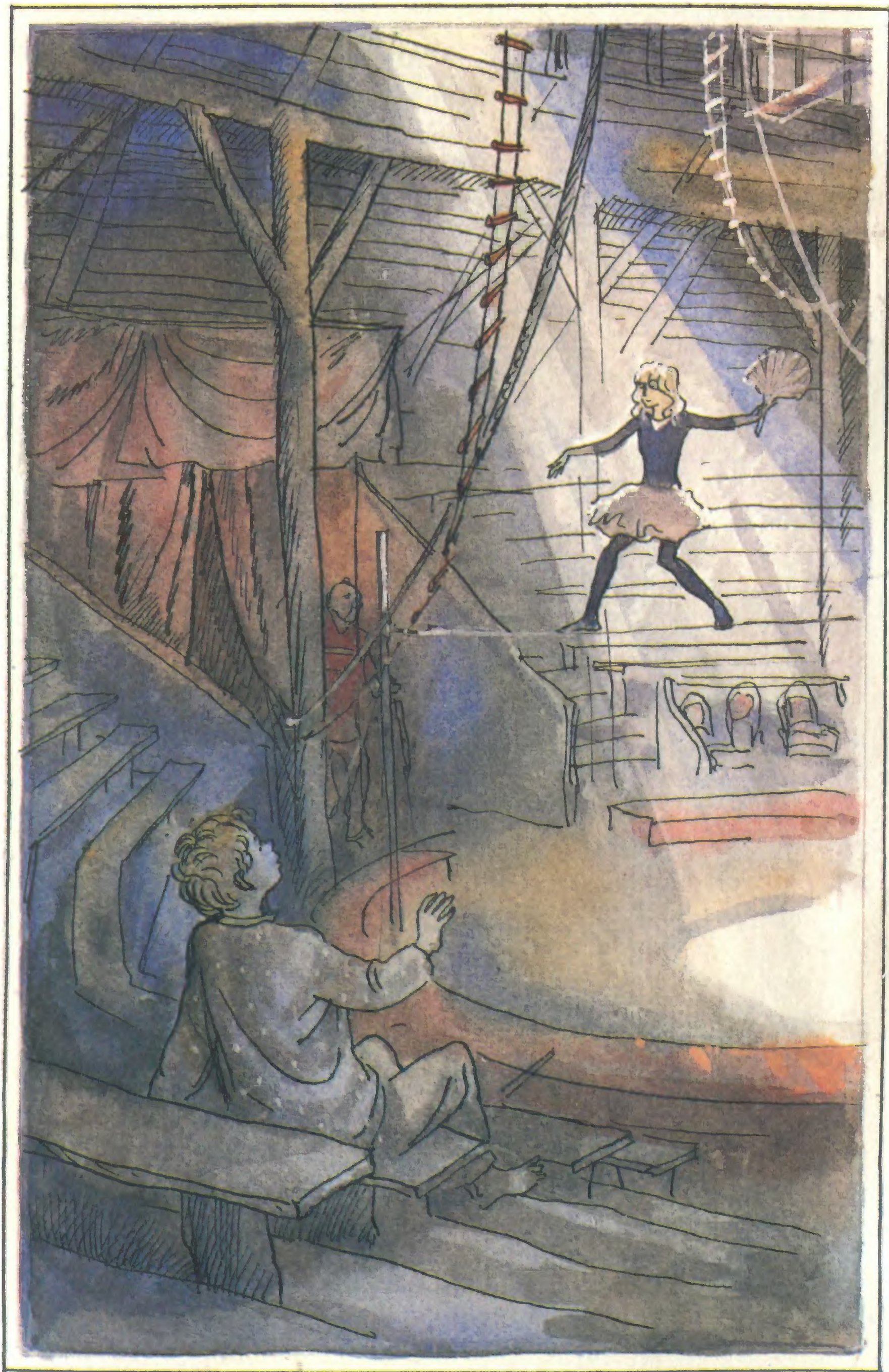
3







БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



И. ВАСИЛЕНКО

Волшебная шкатулка
Артемка в цирке

•

А. НЕВЕРОВ

Ташкент-город хлебный

•

И. ЛИКСТАНОВ

Малышок

•

АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ

Стожары

•

НИКОЛАЙ НОСОВ

Витя Малеев в школе и дома

Повести

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1983

P2
B19

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олеся
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.

Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсайд
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим

Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Вступительная статья
ИГОРЯ МОТЯШОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации
Г. МАЗУРИНА

В 4803010102—341
M101(03)83 Подп. изд.

© Состав. Вступительная статья. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1983 г.

ИСТОРИЯ И ДЕТСТВО

I

Никто не выбирает места и времени своего рождения.

И когда по земле прокатываются войны, свершаются революции, бесчинствуют ураганы и землетрясения, свирепствуют голод и эпидемии, дети рождаются точно так же, как и во все другие дни.

Новорожденный человек узнает мир таким, каким он его застал. Лишь позже, став взрослее, он по книгам и рассказам старших поймет, какой была жизнь до него и какой она может стать в будущем. Но маленьким детям еще не с чем сравнивать окружающее. Они принимают мир и себя в нем как неизбежность. Им кажется, что по-другому просто не бывает или бывает только в сказках, которые им успели рассказать взрослые.

Это спасительное незнание. «Ведь счастье для малых детей,— утверждал К. Чуковский,— норма жизни, естественное состояние души, еще не знающей ни об угрозе неминуемой смерти, ни о мучительных тяготах и томлениях жизни». Не ощущая себя счастливым хотя бы в первое свое пятилетие, ребенок попросту не выживет. Ему и в годы более позднего детства и отрочества надо хоть

временами наполняться «безумным ощущением радости», испытывать безбрежное счастье от самого факта своего присутствия на земле, иначе душа его не получит того запаса прочности, который так необходим каждому в предстоящих испытаниях невзгодами, в противостоянии злу, в утверждении добра, в творчестве жизни.

История не щадит детства. От войн, социальной несправедливости, лишений и обид дети страдают ничуть не меньше, чем взрослые. А в тех случаях, когда общество, государство не берут их под свою защиту, даже больше, чем взрослые.

Но на защиту юной человеческой поросли встает сама природа.

У детей свое представление о счастье, соразмеряемое с обстановкой, в которой они растут. Поэтому, в отличие от взрослых, дети умеют быть счастливыми в любом, даже самом отчаянном положении. Установка на радость, «самообслуживание оптимизмом» — важнейшая природная черта детства.

Конечно, и взрослый человек может отгородиться от жизни, забыть о ее бедах и тревогах, с головой уйдя в книжный воображаемый мир, чтобы однажды вернуться к забытой реальности, как герой одного стихотворения Бориса Пастернака:

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
— Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?..

Детям от своего «тысячелетья» никуда не деться. Не случайно говорят, что они больше похожи на свое время, чем на своих родителей. Вот почему детское счастье — самое настоящее. Это не призрачное счастье человека, который постарался закрыть глаза на все, что может помешать ему быть счастливым. Это счастье преодоления, счастье победы над злом, несчастьем, бедой.

С первых лет Великой Октябрьской социалистической революции лучшие книги, посвященные жизни ребят, верны главному завету советской литературы — быть правдивым, честным свидетельством запечатленного в них времени.

Непростыми были прожитые десятилетия. Легче оказалось отобрать власть у царя, помещиков и капиталистов, чем удержать ее в долгой борьбе с контрреволюцией, на поддержку которой встали капиталисты всего мира. Даже после сокрушительного отпора гитлеровскому фашистскому нашествию враги социализма не оставили попыток свергнуть Советскую власть. Новую жизнь мы создавали в трудных условиях, — отражая атаки врагов, борясь за мир.

И на каждом этапе этой борьбы появлялись книги, главными героями которых были ребята, сыновья и дочери не только своих

отцов и матерей, но и своего времени. Лучшие из этих книг живут поныне. Они — как широкие окна с чистыми, прозрачными стеклами, обращенные в прошлое. По ним можно представить жизнь ваших сверстников и жизнь страны, какой она была когда-то. А это очень важно. Уроки минувшего ценны еще и тем, что позволяют путем сравнения понять, что в жизни самое главное. Ведь неглавное, мнимо значительное приходит и исчезает. А подлинное, основное, действительно необходимое для жизни неподвластно времени. Оно передается, как эстафета, от поколения к поколению. Оно неуничтожимо и вечно.

Повести, вошедшие в этот том, — значительные произведения советской литературы, испытанные временем. Но не только это объединило их под одной обложкой. Каждая повесть — «Волшебная шкатулка» и «Артемка в цирке» И. Василенко, «Ташкент — город хлебный» А. Неверова, «Малышок» И. Ликстанова, «Стожары» А. Мусатова, «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова — это живой и драматический кусочек нашей героической истории. А взятые вместе, они рисуют историю детства в нашей стране почти за четыре десятилетия — от кануна первой мировой войны до рубежа 50-х годов. То есть от времени, когда трудящиеся России еще только мечтали о создании своего государства до тех дней, когда, победив фашизм, советские люди вернулись к исполнению заветной мечты — строительству справедливого и счастливого общества.

II

Подобно большинству детских писателей, Иван Дмитриевич Василенко пришел в литературу из страны собственного детства.

Ему было 39 лет, когда тяжелая болезнь резко затормозила стремительный бег его жизни. Сызмалу привык он быть в гуще людей, целиком отдавать себя кипучей общественной деятельности. И вот — койка, четыре стены. Барьер, казалось, напрочь отгородивший вчерашнего учителя и организатора народного образования от его шумной, многоголосой аудитории.

В таком положении человек невольно обращается памятью к прожитому. А если к тому же он по характеру активный, беспокойный, то, вспоминая, он невольно думает о том, как сделать свой опыт достоянием многих. Не забудем: это случилось в 1934 году, когда Николай Островский заканчивал вторую книгу романа «Как закалялась сталь» и имя Павки Корчагина было у всех на устах. Судьба Островского — Корчагина могла натолкнуть Ивана Дмитриевича на мысль о литературном творчестве

как на выход из западни, куда загнала его болезнь. Ведь и его собственная жизнь, стоило лишь начать вспоминать ее, представляла исполненной удивительных встреч и событий.

Позже он скажет в одной из автобиографий: «Пролежал три года. В постели написал повесть «Волшебная шкатулка». Был несказанно удивлен, узнав, что ее решил напечатать «Пионер». Написал повесть «Мышонок» и, не веря в себя как писателя, отослал ее не в Москву, где меня уже знали, а в Ленинград. Был еще более удивлен, узнав, что повесть решил напечатать ленинградский «Костер». Ободренный успехом двух первых вещей, стал писать еще и, наконец, поверил, что из меня, при непрерывной работе над собой, может выйти писатель. Это убеждение помогло мне побороть болезнь и встать с постели».

За три десятилетия писательства И. Василенко создал немало рассказов и повестей. Знаменитой стала написанная им на третьем послевоенном году и удостоенная Государственной премии повесть «Звездочка». Она рассказывала о юном пополнении рабочего класса, «пэтэушниках», или, как их называли тогда, «ремесленниках». Но главное в литературном наследии писателя — повествовательные циклы «Артемка» и «Жизнь и приключения Заморыша». Именно этими книгами, каждая из которых состоит из пяти повестей, связанных общим замыслом, героями и сюжетом, пришел И. Василенко к своим сегодняшним читателям.

Повествование об Артемке Загоруйко, сыне сапожника из небольшого приморского городка юга России, — классическая детская книга. Ее действие развивается по законам приключенческого жанра. В необычной судьбе героев: Артемки, Ляси, циркового борца — негра Пепса, клоуна Кубышки — случайности играют огромную роль. Они неожиданно разлучают и соединяют героев. Приводят их на край гибели и в последний миг подбрасывают им шанс на спасение. Но все это совсем не кажется надуманным. Ибо и самые удивительные совпадения подчинены у Василенко правде характеров и правде человеческих отношений.

Думается, неспроста автор отнес события повести «Волшебная шкатулка» к лету 1912 — весне 1913 года, а события повести «Артемка в цирке» к лету и осени 1913 года. 1912 год — это конец столыпинщины, начало нового революционного подъема, а 1913 год — преддверие первой мировой войны, в которой царское правительство искало спасения от революции. И десятилетний Артемка, и Ляся, и девятилетний Костя, от лица которого ведется повествование в «Волшебной шкатулке», — дети городской бедноты, с малых лет познавшие тяжелый труд и унижительную зависимость от богатых и власть имущих, к тому же рано осиротевшие. Однако в описании их жизни нет и тени той сентиментальной

слезливости, которая вызывается стремлением во что бы то ни стало разжалобить читателя.

Конечно, их не радует бедность, ветхая одежда, необходимость самим добывать хлеб насущный. Но вот что любопытно. Они видят рядом нарядных, беззаботно играющих, посещающих школы детей, чья жизнь представляется им похожей на волшебную сказку. Однако им и в голову не приходит завидовать этим детям, чувствовать себя несчастными. С чем они действительно не могут смириться — это с жестокостью, обманом, ложью, бессовестным правом сильного.

С маленькими героями «Волшебной шкатулки» мы знакомимся в тот момент, когда их глазам впервые открывается несправедливое устройство окружающего их мира. Косте несправедливость является вначале как бесплотная, незримая Судьба, уносящая в могилу отца-кормильца, прячущая от мальчика свои сокровища — «золотые часы или кожаный бумажник, туго набитый трехрублевками», а вместо них подсовывающая маленькому тряпичнику в грудах отбросов «только рваные галоши, кости, тряпки, старые подковы и пузырьки».

Но постепенно несправедливость обретает вполне конкретное обличье. То она обернется хозяйкой трактира мадам Сивоплясовой, из-за нескольких копеек избивающей Костю веником. То предстанет в виде околоточного надзирателя Горбунова, который силой отнимает подаренную мальчику дорогую игрушку и награждает его таким тумакон, что тот не скоро приходит в сознание.

Чем шире раскрываются глаза Кости, Артемки и их друзей на мир, тем больше видят они недоброго, бесчеловечного в нем не только по отношению к себе, но и к другим. Люди отчетливо расслаиваются на тружеников и паразитов, угнетенных и угнетателей. Однако при этом — что очень важно — маленькие герои не выглядят жертвами. Наверное, это происходит потому, что ребята живут с ощущением: их обиды и беды не только их собственные; они — часть общенародной беды, с которой можно и должно бороться сообща.

Показывая, как из Артемки и его друзей формируются убежденные борцы за справедливость, пополняющие со временем ряды участников революции, писатель остается верным психологической правде каждого образа.

Например, автор желает нарисовать внешний портрет Артемки и одновременно передать волнение нищего мальчишки, узнающего, что за найденную на городском пляже пантомиму он может получить «приличное вознаграждение», «не обидное для той личности, которая принесет». Василенко описывает, как после ухода заказчика, рассказавшего Артемке про объявление в газете о пропавшей пантомиме, маленький сапожник Артемка думает, сколь-

ко же денег может он получить за находку, наверное, рублей пять, а то и десять. «Артемка достал с полки маленькое зеркальце и долго рассматривал себя: зеленые, как у кошки, глаза, нос гургулькой и желтые, выцветшие на солнце волосы, — нет, десять не дадут».

Последние четыре слова окрашивают лукавой и доброй улыбкой весь эпизод, в котором герой виден и внешне (буквально как в зеркале), и в детских своих надеждах вырваться из нужды благодаря счастливому случаю. Мы улыбаемся тому, как наивно самокритичен этот мальчишка, как он доверчиво бесхитростен. И эта улыбка словно бы подготавливает нас к решительному отказу владельца цирка заплатить мальчишке-сироте за найденный им сценарий цирковой пантомимы хотя бы несколько копеек.

Впрочем, «приличное вознаграждение» Артемка все же получает в виде контрамарки, которая, как волшебное слово «сезам» для Аладдина, открывает ему вход в таинственный и прекрасный мир искусства, дает новых надежных друзей, а всему циклу повестей про Артемку новый поворот темы.

Тема искусства (литературы, цирка, театра) органична для творчества И. Василенко. Но в повестях про Артемку она — важная часть главной темы всего цикла: революция и искусство.

В Костину, Артемкину жизнь искусство входит вначале своей фальшивой разновидностью, эрзацем для бедных — дешевенькими книжонками: «Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель». Настоящее же искусство оказывается неотделимым от революционного протеста именно потому, что рождается стремлением таланта перестроить мир по законам красоты и правды.

В цирке, куда Артемка попадает восторженным зрителем и где вскоре сам становится участником пантомимы, подлинное искусство в угоду буржуазной публике нередко подменяется тем, что Пепс называет «блэфом, обманом». Чемпионаты борцов разыгрываются по заранее расписанным сценариям. Ставится расистская пантомима про жестокого негра, похищающего детей миллионера. Но в том же цирке по безошибочной реакции галерки Артемка познает, какая взрывчатая сила таится в искусстве правды и сколь необходимо это искусство тем, кто трудом создает жизнь.

В духовном развитии Артемки участвуют на равных и такие люди, как большевик Дмитрий Попов или простодушный, честный, безоглядно добрый и сильный Пепс, и хорошие книги, особенно классические пьесы, которые Артемка не только читает, но и переписывает от руки, заучивает наизусть, играет на сцене.

Уроки, которые дают Артемке жизнь и искусство, восприни-

маются маленьким героем со всей остротой и непосредственностью детства, сердцем, жадно распахнутым навстречу жизни. Они поддерживают в нем рано пробудившуюся гордость рабочего человека, чувство человеческого достоинства, усиленное сознанием причастности к тем, кто своими руками создает свой и общественный достаток. Восхитившись в цирке акробатическими умениями Ляси, Артемка, чтобы завоевать симпатию девочки, показывает ей свой коронный фокус: согнувшись, чешет пальцами ноги за ухом.

«— Ты человек-лягушка? — спросила девочка...

— Я человек-сапожник, — ответил Артемка. — Я могу тебе такие туфли сделать, в каких и царева дочка не ходит!»

Еще не раз встретимся мы с Артемкой — в повестях «Артемка у гимназистов», «Заколдованный спектакль», «Золотые туфельки». Десятилетний Артемка превратится в закаленного юношу, участника гражданской войны. Но дружбу и любовь к Лясе он пронесет сквозь все испытания, как и купленный в Ростове на первый мальчишеский заработок лоскут парчи, из которого в конце концов сошьет обещанные туфельки для любимой.

В повестях про Артемку много от детских воспоминаний самого Василенко — сына полунищего, обремененного большой семьей волостного писаря. Вся окружающая маленького Артемку обстановка напоминает ту, в которой проходило детство Вани Василенко. Почти все беды и радости Артемки — это его беды и радости. Но не забудем, что Артемкино детство протекает лет на восемь позднее, чем детство писателя. Естественно поэтому, не все детские и юношеские воспоминания автора могли быть использованы в Артемкином цикле. И Василенко отдал их новому своему герою — Мите Мимоходенко, судьбе которого посвящены повести «Общество трезвости», «Весна», «Подлинное скверно», «В неосвященной школе» и «Волшебные очки», объединенные общим названием «Жизнь и приключения Заморыша».

Если повести про Артемку обращены к читателям среднего возраста, то новый цикл адресован подросткам и юношеству. Авторский взгляд на окружающее и самый язык этих повестей заметно усложняются по мере возмужания их главного героя. Конечно, Митя Мимоходенко и Иван Василенко не одно и то же. Факты подлинной авторской биографии переплетаются в образе героя с писательским вымыслом. Но мы этого не замечаем. И, увлеченные неожиданными совпадениями, захватывающими эпизодами драк, погонь, похищений, поисками кладов, тайнами, сменой имен и маскарадом, к которому нередко прибегают герои, ничуть не сомневаемся в том, что видим подлинную российскую действительность на отрезке от конца прошлого века до первой мировой войны.

Десятки самых разных людей населяют эти повести: босяки,

купцы, учителя, актеры, мелкие и средние чиновники, полицейские, жандармы, ремесленники, рабочие, лавочники, крестьяне, попы, монахи, нищие, портовые грузчики, лакеи, гимназисты, студенты, профессиональные революционеры, казаки, барыни, богатые промышленники и судовладельцы, их жены и дети... И каждый из них оставляет большой или маленький след в душе героя. Каждый чем-то запоминается и читателю.

В круг революционной борьбы Митя входит благодаря дружбе с Ильей и Зойкой, через их трудовые семьи, связанные с социал-демократическим движением. Но этот приход нравственно подготовлен мощным облагораживающим влиянием на маленького Митю бунтующего циркового борца Петра, на Митю-юношу — мастерового-умельца Павла Тихоновича и скромного старика Севастьяна Петровича, с которым Митя служит в съезде мировых судей. Под их воздействием важнейшими жизненными ценностями для Мити становятся человеческое достоинство, духовная свобода, порядочность.

Именно эти качества, встречаемые Митей в разных людях, укрепляют его веру в добрые возможности человека, в принципиальную достижимость справедливости и социального братства — идеалов, к которым стремятся Илья, Зойка, студент-марксист Роман Заприводенко, другие Митины друзья из революционного лагеря.

В трудное, неласковое время живут Артемка Загоруйко и Митя Мимоходенко. Казалось бы, не так уж много у них причин для радости, для полноты ощущения жизни, для смеха, для счастья. И все-таки мы видим: перед нами по-настоящему счастливые люди. И не просто видим, а душой разделяем их радость, их праздники, сопереживаем их счастью.

Ведь в жизни, даже если в ней много горя и хочется порой кричать от обиды и боли, всегда есть такие неизменные, сказочно прекрасные вещи, как волшебство труда и знания, искусства и мастерства, как любовь, дружба, верность благородных, честных и смелых людей. И что бы ни происходило в мире, всегда найдется повод для улыбки, всегда есть доброта и солнечный свет, голубизна неба и пение птиц, и созревающий в поле колос, и детский смех, и безмерная радость посрамления глупости, подлости и прочего зла.

Лучшие книги Ивана Василенко, наполненные живыми головами, страстями и красками действительности, — книги правдивые и оптимистические. Они как волнующая песня во славу всех тех замечательных вещей, которыми прекрасен мир и которые дают содержание и смысл всякой человеческой жизни.

III

1921 год. Молодая Советская власть отстояла себя в кровопролитных боях с белогвардейщиной, иноземной интервенцией, кулацко-анархистским бандитизмом. Но страна разрушена, разорена. И вот новое бедствие — страшная засуха обрушилась на Поволжье и Юг. Голод.

Враги ликуют: исполняются их мечты — конец большевикам, конец народовластию. То, что оказалось не под силу до зубов вооруженным на деньги мировой буржуазии армиям Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля, сделает неурожай. Советскую Россию задушит костлявая рука голода.

Теперь просто даже невозможно представить такое: гибнут десятки тысяч людей. Вымирают целые деревни. Люди умирают на улицах городов, на переполненных вокзалах и пристанях, на дорогах, по которым в поисках спасения движутся обезумевшие от отчаяния старики, дети, женщины, вчерашние красноармейцы, вернувшиеся в родные деревни, чтобы сменить винтовку на мирный плуг. И страна ничем не может им помочь. Потому что нет у правительства никаких продуктовых запасов. И сам нарком продовольствия товарищ Цюрупа на заседании Совнаркома падает от истощения в обморок, а в столовой Кремля дают на обед жиденькую похлебку из селедочных голов.

К счастью, засуха не везде. Во многих областях хлеб уродился. Но хозяин этому хлебу — частник. У бедных крестьян его и в урожайных губерниях в обрез. А кулаки, многоземельные и многолошадные крестьяне, прячут выращенное с помощью батраков зерно, продают его втридорога, стараются еще больше нажиться на чужой беде.

До хлебного Ташкента от пораженного засухой Поволжья не одна тысяча километров по заволжским, южноуральским, казахским степям, по гиблым солончаковым и песчаным пустыням. Пешком туда не дойдешь. Поезда ходят редко. Паровозов, вагонов не хватает даже для перевозки самых необходимых государству грузов. Но несметное множество людей, гонимых голодом, сорвалось с обжитых мест, забило станции, облепило крыши вагонов, двинулось на юго-восток невиданной ратью, убывающей по мере того, как коенили ее непогода, вши, эпидемии.

Был осенью 1921 года в этой массе движущихся в Среднюю Азию за хлебом и уже известный в ту пору писатель Александр Неверов. Неверов — его литературный псевдоним, а настоящее имя — Александр Сергеевич Скобелев. Коренной волжанин, родом из большого села Новиковка, что неподалеку от Самары, теперешнего Куйбышева. Схоронив мать, при живом отце-пьянице, он рано стал круглым сиротой, работал мальчиком в сельской лавчонке, которую держал его дед по матери. После окончания

семинарии Александр учительствует в глухой деревне. Еще будучи учителем, он в 1906—1910 годах напечатал в журналах «Вестник трезвости», «Трезвые всходы» и «Жизнь для всех» первые свои рассказы о беспросветно тяжелой жизни крестьянской голытьбы.

С радостью приветствовал молодой писатель Февральскую революцию 1917 года. Но правду большевиков понял не сразу. Еще и в начале 1918 года ему казалось, что лучше всего интересы трудового крестьянства выражает партия эсеров. Верил он и в то, что осуществить идеалы революции в России призвано Учредительное собрание. Антинародный, контрреволюционный характер эсеровских и белочешского мятежей, происходивших на его глазах, вконец развеял эти иллюзии. Уже ко времени ташкентской поездки симпатии Неверова были целиком отданы людям, которые отныне войдут в его книги под именами Марьи-большевички, героини одноименного рассказа, большевика Андрона из повести «Андрон Непутевый», крестьянина-большевика Федякина из романа «Гуси-лебеди».

Родился Александр Неверов в 1886 году, и, стало быть, за хлебом для голодающей семьи ехал в Среднюю Азию не юноша, а тридцатипятилетний зрелый человек. Три месяца добирался писатель от Самары до Ташкента, находясь на самом строжайшем берегу народного бедствия. Столько увидел за эти месяцы человеческого горя, страдания — на десять долгих жизней достало бы! Но вынес из жестокого этого опыта не ужас безверия и отчаяния, а, напротив, укрепился верой в нравственную силу народа, разбуженного Революцией, в то, что именно большевики выражают народные чаяния и только им по плечу вывести страну на путь благоденствия.

Вскоре по возвращении из Ташкента, в мае 1922 года, Неверов переезжает в Москву. Здесь в течение полутора лет (внезапная смерть оборвала работу писателя в декабре 1923 года) он завершает лучшие произведения — роман «Гуси-лебеди», повести «Андрон Непутевый» и «Ташкент — город хлебный».

Неверов не считал себя детским писателем. Все его книги обращены к взрослым. Повесть «Ташкент — город хлебный» в этом смысле не исключение. Но ей суждено было стать одной из классических книг советской литературы для детей. Только в нашей стране эта повесть издана на русском и языках народов СССР свыше 50 раз. Она переведена на английский, болгарский, венгерский, датский, испанский, итальянский, немецкий, польский, португальский, румынский, сербскохорватский, французский, чешский, шведский, японский и многие другие языки.

В чем же секрет ее необыкновенной популярности?

Не в том ли, что героем своей книги писатель сделал не себя, то есть не человека тридцатипятилетнего возраста, что, казалось,

напрашивалось само собой и намного облегчало его литературную задачу, а двенадцатилетнего Мишку Додонова? Выбор героя оказался воистину счастливым. Народная трагедия, увиденная глазами мальчишки, прошедшая сквозь детское сердце, не просто выразилась с потрясающей глубиной, но и получила оптимистический выход, убеждающий неотразимой силой исторической и художественной правды.

Безошибочность точки зрения на изображаемые события не была для Неверова случайностью. Она была подготовлена обостренной памятью собственного деревенского детства, чувством внутренней слитности с миром, с таинственной и сложной жизнью земли.

«Будучи лет десяти,— вспоминал писатель,— я не раз ездил с дедом в Тетюши Казанской губернии, переплывали Волгу на пароме, целыми днями ехали лесом, полем, и ощущения мои становились богаче и работа мысли — сложнее. Лежа в передке телеги, я смотрел на далекое небо, на плывущие по небу тучки и мучительно думал о том, куда уйду я сам, куда уйдут травы, деревья, деревушки, мужики и бабы. Если встречалась какая-нибудь птица, сидящая на полевой меже, для меня интересно было в ней не то, что она думает, а что и как она чувствует. Чувствует ли, что я гляжу на нее, и не грустно ли ей одной сидеть на меже?»

Наверное, с этой заботы о душевном состоянии неведомой встречной птицы, с представления о ней как о чувствующем, а значит, и страдающем существе и начинается в человеке человеческое: способность сострадать и сорадоваться, принимать боли и восторги мира, как свои собственные. И не отсюда ли берет истоки характер истинно гражданский, для которого мучительная мысль «о том, куда уйду я сам, куда уйдут травы, деревья, деревушки, мужики, бабы», равновелика чувству вселенской ответственности и органична, как дыхание.

В этом смысле Мишка Додонов удивительно близок автору. В рискованный и бесконечно далекий путь его увлекает не задача собственного спасения, а тревожная и ответственная мысль о больной матери, погибающих с голоду братьях Яшке и Федьке («младшему — четыре года, среднему — восемь»), о разоренном вконец хозяйстве («колесо валяется, дуга валяется, а лошадки нет и коровы нет. Раньше куры клохтали, петух во все горло кричал, теперь только столбы да крыша худая»). «Все равно,— говорит Мишка матери,— кроме меня, некому хлопотать». После смерти отца, деда и бабки он — старший мужчина в избе, печальник и ответчик за всех.

Четыре дня до Ташкента, четыре обратно — такой недолгой, хотя и трудной, потому что без денег, без пропуска, представлялась Мишке его поездка за хлебом. На деле все окажется куда не так просто. Заболеет тифом и помрет в дороге односельчанин

и попутчик одиннадцатилетний Сережка Карпухин. У самого Мишки украдут сшитый из материнской рубашки мешок, в котором будет едва ли не все Мишкино достояние: еще мешок, две щепоти соли, кружка да бабушкина юбка, взятая из дому для обмена на хлеб. И будет Мишка попрошайничать, подбирать сухие рыбы косточки и тщательно обсосанные кем-то говяжьи мосолки. А сколько он увидит тех, кто умрет на его глазах: старых и молодых, мужиков, баб, сверстников!

И будут его отгонять от вагонов; и будет он надрываться из последних сил, перетаскивая дрова на станции; и много раз смерть заглянет ему в самое лицо — то опухнет тифозным бредом, то простучит возле уха поездными колесами, когда он, обессиленный, будет висеть на подножке, то неотвратимо встанет, сухая и голодная, вызывая мысль о проползающем мимо жуке, как о желанном лакомстве. И не поддастся Мишка ни болезни, ни голоду, не упадет под бешеные колеса не из-за страха за свою жизнь, а потому, как объяснит он железнодорожному чекисту Дунаеву, что мать у него «дома осталась: не вернусь — и она пропадет с ребятами».

Не только с нищетой и безмерным несчастьем столкнется Мишка. Рядом с голодными, умирающими увидит он и сытых, имеющих в избытке и хлеба, и мяса, и денег. Спекулянтов, которые не только сами едут беспрепятственно, но и набивают вагоны «сверху донизу» купленными по дешевке «табаком листовым, табаком рассыпным, самоварами, ведрами, чугунами, топорами, пиджаками, ботинками, юбками» — тогдашней «валютой», легче всего поддающейся обмену на драгоценное пшеничное золото. Мишка увидит, как беда и лишения и явная несправедливость столь тесного соседства сытого благополучия и горькой нищеты озлобляют людей, отдаляют их друг от друга. Те, кому посчастливилось набиться в вагоны, отгоняют от них других бедолаг. «Заперлось, загородилось горе вшивое, никого не пускает». Разгребаящий отбросы маленький бродяга Трофим, которого Мишка встречает возле мусорного ящика, завидует дерущимся за горбушку хлеба одичавшим псам: «...Хорошо с собачьими зубами быть».

А вот Мишка, несмотря ни на что, собачьим зубам не завидует. Иной раз и хочется ему быть потверже, сберечь для сохранения жизни своей лишний кусочек хлеба, а не может он этого сделать. Дал ему красноармеец хлебную корочку. Мишка ее, задумавшись, моментально сжевал. Но тут же и вспомнил про Сережку, с которым не поделился, и «совесть мучить начала: «Зачем съел?» Не то что отнять у кого-нибудь, просто подобрать валяющийся возле умирающего мужика грязный кусочек брошенного тому и уже бесполезного хлеба в Мишкином сознании равносильно воровству. И, подобрав этот кусочек, убедившись, что никто не был

свидетелем его «преступления», чувствует Мишка, как его «ноги вдруг ослабели... лицо и уши стали горячими».

И то сказать: хоть Мишка и «здорово укрязистый. Весь в дядю Никанора, который на кулачки дрался лучше всех», не на кулачную силу рассчитывает он, не в собачьих зубах и лисьей хитрости видит свое спасение. Пусть и вынуждают Мишку обстоятельства иной раз схитрить, соврать, главная его надежда — людская доброта, отзывчивость, дружеская взаимопомощь.

Кажется, никаких поводов не дает Мишке мир для радости. И у самого жизнь на тоненьком волоске висит. И столько страшного горя кругом. А мы едва ли не в каждой главе читаем: «Мишка чуть не заплакал от радости», «А у Мишки от радости ложка не держится», «В сердце у обоих родилась неиспытанная радость». Больше того, Мишка о себе нет-нет да и скажет: «Все-таки я счастливый человек...» Или автор напишет, что «в это время Мишка был самый счастливый человек на всем свете».

И ведь не о том времени это будет сказано, когда исполнится Мишкина мечта и достигнет он Ташкента. Как раз по мере приближения к заветной цели все очевиднее станет Мишке, что и Средняя Азия не столь изобильна, как виделось ему из родной деревни Лопатино Бузулукского уезда. На всякой станции будут и нищие, и больные, и умирающие с голоду. И на ташкентском вокзале увидит Мишка лежащих мужиков и баб — голых, полуголых, черных от ташкентского солнца, больных, умирающих — и подумает со страхом и безнадежностью: «Неужто и здесь хлебом нуждаются?»

Значит, какое-то другое Мишкино счастье. И не с одним хлебом, сытостью оно связано.

Конечно, невыразимо приятно быть сытым после того, как натерпишься, настрадаешься от голодных мук. Когда Мишка продаст свой пиджак — последнее, что у него оставалось, — и купит каравай хлеба, он испытает чувства довольства и покоя, о каких и думать забыл. «Мягкий, еще теплый каравай лежал на коленях у Мишки, — расскажет автор, — и от этого степь широкая, и небо над степью, и дымок, и белые киргизские юрты тоже казались мягкими, теплыми, успокаивающими».

Но не будет от этого у Мишки ни радости, ни счастья. Потому что укором встанут перед ним голодные, провалившиеся глаза беженцев на базаре, испортит радость страх, что нападут и отнимут хлеб. Потому что есть этот хлеб Мишка и Трофим будут тайком от других, уйдя подальше в степь. Да и вообще, счастье ли это — исполнить извечную необходимость всякого живого существа: стать сытым?

Совсем, пожалуй, горьким показался бы Мишке тот хлеб, если бы не делился он с Трофимом. Вот где (хотя и ругает порой Мишка себя за неразумную, самоотверженную доброту) радость для

него. И еще больше радость — встретить на долгом пути добрых, сердечных людей, не очерстневших душой, не равнодушно-любопытных, как та барынька, что забавляется, бросая в толпу одичавших беспризорников свои объедки, а способных на жалость и милосердие, готовых поделиться с Мишкой последним с той же безоглядной щедростью, с какой и сам он делится скудной добычей с товарищами.

Городская сестра милосердия, взявшая в больницу больного Сережку, отломил Мишке кусочек от своего пайка, и не так насыщает Мишку хлеб, как радостно ему, что есть на свете хорошие люди. Оттого «и сердцу веселее, и голоду меньше в кишках». Железнодорожный чекист Дунаев отдает распоряжение: «Товарищ Симаков, этого мальчишку накормить надо и на поезд сунуть. Пускай проедет станции четыре». Машинист Кондратьев сажает Мишку на паровоз, отечески его опекает, делится с ним кипятком, хлебом. И опять дорожке хлеба и кружки кипятку становятся Мишке «добрая ласка, хорошая улыбка на лице товарища Кондратьева». «Какие хорошие люди!» — спокойно и радостно думает согретый телом и душой мальчик.

Вот тогда-то и бывает Мишка по-настоящему счастлив, когда жизнь сводит его с хорошими людьми, когда — пусть на короткое время — ощущает он тепло человеческой дружбы, сочувствия, добра и любви, когда совесть его спокойна, потому что его собственное отношение к миру и отношение мира к нему, Мишке, сливаются, не противореча друг другу. Это и есть настоящее счастье: взаимность добра. Я люблю и жалею людей, с радостью отдам им то, чем владею, я благодарен и бескорыстен, совестлив и не способен совершить зло. Но и люди отвечают мне тем же: они добры ко мне, совестливы и не делают зла.

Убеждение, что мир держится не на зубастых куркулях, не на хищных барыньках-«финтиклюшках», не на спекулянтах, а на таких, как Кондратьев и Дунаев, помогает Мишке Додонову сохранить чистоту души и победить голодную смерть. Возвращается он в родное Лопатино с честно заработанными двумя мешками зерна. Младшие братья не дождались его, умерли. Но жива мать, жив Мишка, и теперь у них есть надежда: хватит продержаться до весны, будет чем посеять под будущий урожай. «Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться...» — думает Мишка, мечтая уже о том, как появятся у них вновь куры, лошадь, корова, как их «пустая, притихшая изба с зелеными стеклами в маленьких окнах» наполнится звуками возродившейся жизни.

Судьба одного двенадцатилетнего мальчишки — что бы она значила? Но шестьдесят лет живет книга о том, как ездил в Ташкент, город хлебный, Мишка Додонов. И каждое новое поколение с волнением читает историю Мишкиной судьбы, потому что видит

в ней не отдельный житейский эпизод, а судьбу целого поколения Мишкиных сверстников, судьбу страны на крутом переломе от гражданской войны к строительству справедливого мира.

Спасая Мишку, Дунаев, Кондратьев и другие не просто мальчишку спасают. Они спасают завтрашний день Революции, как бы эстафету передают от тех, кто завоевал в дни Октября и отстоял в гражданскую войну Советскую власть, тем, кому возводить индустриальные гиганты, организовывать колхозы, защищать светлый мир социализма от фашистской чумы.

IV

Легко сосчитать: Артему Загоруйко к началу Великой Отечественной войны было бы не больше сорока лет, Мишке Додонову немного более тридцати. Их детство отняла гражданская война. Детство их детей пришлось на годы Великой Отечественной. Когда сверстники Додоновых и Загоруйко ушли с оружием в руках защищать родную землю, в колхозном поле и у заводских станков встали их старшие сыновья и дочери, стремясь всеми силами приблизить победу над ненавистным врагом. Советская литература во многих произведениях отобразила ребячий подвиг. Среди этих книг выделяются повести И. Ликстанова «Малышок» и А. Мусатова «Стожары».

В юные годы Иосиф Исаакович Ликстанов служил на флоте. Потом стал журналистом и тридцать лет, до самой смерти, проработал литературным сотрудником свердловской газеты «Уральский рабочий». Писал очерки, фельетоны, корреспонденции, статьи. Много времени проводил в поездках по городам среднего Урала, на заводах и фабриках. И очень много читал. Друзья вспоминают, что был он до того напичкан самыми разными, порой неожиданными сведениями, что часто, ленись наводить справки в энциклопедиях и словарях, обращались к Ликстанову.

По ночам и в редкие выходные дни, освобождаясь от газетной работы, Ликстанов писал детские повести. Ему, бывшему моряку, надо было рассказать ребятам о том, что он увидел и узнал на флоте. И он еще перед войной начал писать повесть «Красные флажки». Повесть эта была закончена в военное время и в 1943 году вышла под названием «Приключения юнги». Уже после победы напишет Ликстанов увлекательную приключенческую книгу «Зелен камень» (1949) и повесть «Первое имя» (1953). Посмертно, в 1957 году, будет опубликован его роман для взрослых читателей «Безымянная слава».

Но лучшей его книгой останется вышедшая в 1947 году повесть «Малышок». За нее он будет награжден Государственной премией

СССР, ее переведут на многие языки у нас в стране и за рубежом. Эта книга всегда будет правдивым свидетельством одной из трудных и героических страниц нашей истории.

...Небывало холодная зима 1941 года. Враги у ворот Москвы. Ленинград задыхается в железном кольце блокады. Оккупантами отсечены жизненно важные промышленные центры Запада и Юга страны. Фашистская пропаганда уже не раз объявила о полном разгроме Красной Армии, о том, что окончательная капитуляция большевистской России — дело ближайших дней.

В эти дни Иосиф Ликстанов появлялся в редакции газеты только для того, чтобы сдать в номер очередную статью. Целые дни, а нередко и ночи проводил он в цехах свердловских заводов, где в это время тоже проходила передовая линия. Тогда так и говорили: трудовой фронт.

В декабре Ликстанов в составе выездной редакции «Уральского рабочего» находился на крупнейшем оборонном заводе, где, несмотря на сорокаградусный мороз, ускоренными темпами возводились два новых корпуса для производства ставших вскоре знаменитыми гвардейских минометов — «катюш». На ударной стройке журналисты выпускали «молнии», боевые листки, давали сообщения в областную газету, в центральную прессу. Работа шла непрерывно. Объекты вместе с установкой оборудования были закончены в рекордный срок — за 12 дней.

В повести «Малышок» Костя Малышев читает на заводе плакат: «Построим цех «Б» за двенадцать дней!» И другой плакат, на котором написано: «Принимай, фронт, подарок уральской общественности! Цех «А» построен за тринадцать дней». Эти плакаты — документы времени. В повесть они перешли прямо из записной книжки писателя.

Журналистские блокноты Ликстанова пополнялись записями и на Свердловском инструментальном заводе, где особенно много было фронтовых молодежных бригад, состоявших из подростков, которые овладели профессией токаря. Здесь-то и познакомился писатель с будущими героями своей военной повести — с такими же мальчишками и девчонками, как Сева Булкин, Колька Глухих, Леночка Туфик, Катя Галкина и Костя Малышев, как их старшие друзья и наставники Герасим Иванович Бабин, Миша Полянчук, Зина Соловьёва, инженер Павел Петрович Балакин, парторг ЦК Сергей Степанович Тагильцев и многие другие взрослые персонажи книги.

Есть в повести запоминающаяся сцена. На предновогоднем заводском митинге старый мастер Герасим Иванович предлагает всем рабочим поднять руки. А затем просит опустить руки тех, у кого близкие убиты фашистами или воюют на фронте. И все сразу видят, как мало осталось поднятых рук. Когда же мастер попросил убрать руки тех, кому война помешала учиться в инсти-

тутах и техникумах, то поднятых рук и вовсе не стало. Не было на заводе в глубоком уральском тылу ни одного человека, в чью жизнь война не вторглась бы как враждебная сила, коверкающая судьбы, разрушающая счастье. Сам Иосиф Исаакович нес в сердце неизбывное отцовское горе: на фронте погиб его сын. Уж он-то понимал, что значит для героя его повести, тринадцатилетнего деревенского паренька Кости Малышева, круглого сироты, «похоронка» на старшего брата Митрия.

Проводив Митрия на фронт, Костя покинул родную деревню Румянцевку, хотел разыскать дядю, живущего в городе. Но тот ушел на войну. И Костя очутился в большом уральском городе без вещей, без денег, даже без документов, так как чемодан со всеми Костиными пожитками украли в дороге. В чем-то поначалу его судьба напоминает судьбу Мишки Додонова. Собственное Костино горе — это лишь малая частица огромного народного горя, которое принесли на советскую землю фашисты. Так, у секретаря заводской комсомольской организации Зиночки Соловьевой в Белоруссии погибла вся семья. Фашисты убили мать Севы Булкина. А живущая с рождения на Урале Катя Галкина уже давно не получает с фронта никаких вестей от своего отца — Василия Галкина. Хотя ребятам выдают рабочий паек, живут они впроголодь. Каменной черствости пряник — редкое лакомство. Полученные Костей в виде премии за ударную работу ватный костюм, валенки и две пары белья — роскошь неслыханная.

Но и в этой жизни, наполненной утратами и лишениями, каждый из взрослых и маленьких героев знает свои «золотые минуты» — моменты глубокой радости, настоящего счастья. Без них люди перестали бы быть людьми, жизнь остановилась, а победа над фашистскими захватчиками едва ли стала бы возможной.

Как и любая беда, война — испытание. Это испытание народа и каждого человека в отдельности на патриотизм, мужество, стойкость, преданность идеалам социализма, верность Советской власти. Это испытание нравственной крепости, духовных сил человека.

Каким Костя приходит на завод поздней осенью 1941 года? Диковатым малограмотным деревенским пареньком, который из-за трудных семейных обстоятельств лишь «две зимы в школу бегал, а то все робил». Он говорит «завтрась» вместо «завтра», никогда не бывал в театре, и слова «партер», «бельэтаж», «ярус» звучат для него диковинно. В отношениях с товарищами и со старшими он больше полагается на мгновенные вспышки симпатии или антипатии, вызванные каким-либо поступком или словом окружающих, нежели на знание людей и разумный анализ обстановки. Поэтому так часты у Кости на первых порах конфликты с Севой Булкиным, с Колькой Глухих, с Катей Галкиной. Поэтому и дру-

жить вначале он может лишь с Мишей Полянчуком, потому что более старший и опытный Миша видит насквозь Костину таежную доверчивость, обидчивость, душевную незащищенность и всякий раз безошибочно находит к сердцу подростка единственно возможный путь.

Но в городскую жизнь Костя принес с собою и то ценное, что дала ему жизнь в таежной деревушке. Крепкую физическую закалку, знание тайги, навыки бывалого охотника, честность, чувство артельности в труде, а главное, умение работать руками.

Еще до войны, когда в родной Костиной Румянцевке строились бараки для золотодобытчиков, Костя, помогая искусному плотнику деду Ваку Ивановичу, научился забивать гвозди «с одного стука». Как же пригодилось ему это умение в упаковочном цехе военного завода, где Костя почти мгновенно заслужил почетную славу «снайпера молотка» и подготовил целую бригаду инструкторов, распространив «снайперский» метод заколачивания гвоздей на все предприятие!

Есть у Кости и еще одно очень ценное качество: любопытство к жизни, стремление не довольствоваться достигнутым, совершенствовать умение своих рук. Он, не задумываясь, расстаётся со славой лучшего ударника упаковочного цеха, как только предоставляется возможность выучиться на токаря. «Из учителей в ученики идешь? — говорит по этому поводу парторг Тагильцев. — Мешать не буду. Не каждый так может... Если ты можешь, значит, расти будешь. Рости, парень!»

Залог Костиного роста — его способность быть по-настоящему счастливым, ощущая себя хозяином и творцом вещей. В грозную годину войны самым необходимым было, пожалуй, оружие. Вот как описывает Ликстанов первые часы Костиной работы на токарном станке — старом, дореволюционном еще, «Буше», вывезенном на Урал с временно оставленного врагу какого-то заштатного заводика:

«Не сталь резала сталь, а он, Константин Малышев, вспотевший и счастливый, резал ее своей волей. Он имел в жизни несколько золотых минут, но эта минута была самая удивительная. Он, Костя Малышев, превращал черную, грубую заготовку в блестящую деталь «катюши», он был хозяином станка и хозяином металла».

Не сразу овладевает Костя настоящим рабочим мастерством. Станок не молоток, а деталь, даже самая простая, не гвоздь. Нехватка знаний, мальчишеское нетерпение скорее перевыполнить норму, наивная доверчивость Кости приводят к серьезной аварии «Буша». Вчерашний «снайпер молотка» получает позорную кличку Станколом. Но у Кости достает мужества перенести этот позор, сделать правильные выводы из полученного горького урока.

Потребность учиться, до всего доходить своим умом, организаторский навык, хозяйское отношение к жизни, стремление брать ответственность на себя, чувство товарищества, присущие Косте, не остаются незамеченными старшими наставниками ребят. Именно Малышев, несмотря на пробелы в грамотности и совершенные ошибки, представляется руководству наиболее подходящим кандидатом в бригадиры фронтовой молодежной бригады. И Костя оправдывает это доверие.

Ответственность, возложенная на него, словно удесяттеряет его силы. Не собой красуется, не о признании и славе думает Костя, когда ради скорейшего выздоровления Кати расстается со всем своим богатством — золотым самородком «свин-голова», получая взамен необходимый истощенной девочке шоколад, а себе еще одну «золотую минуту — может быть, самую лучшую и радостную», или когда принимает в бригаду Кольку Глухих с его печальной славой лодыря и бездельника. Думает он о товарищах, о том, чтобы каждый мог внести посильный вклад в общую победу над фашизмом. Потому что даже крохотный вклад в разгром врага — это уменьшение народной беды, это спасение чьих-то жизней, это увеличение радости, приближение мира.

V

В советской литературе тех лет «Малышок» не был одинок. Вскоре после выхода повести Ликстанова на небосклоне литературы зажглась «Звездочка» И. Василенко, рядом с нею затеплились «Стожары» А. Мусатова. А следом, словно для того, чтобы еще ярче осветить трудовой путь юного поколения, возшло «Степное солнце» П. Павленко, запыхал «Огненный ручей» И. Дика, загорелись «Огни на реке» Н. Дубова...

Мусатовские «Стожары» занимают в этом ряду лидирующее место.

Алексей Иванович Мусатов принадлежал к тому славному поколению, чья молодость совпала по времени с молодостью Советской страны. Великий Октябрь он встретил шестилетним мальчиком в деревне Лизуново, в теперешней Владимирской области.

Как все крестьянские дети, он сызмалу знал нелегкий сельский труд, бесконечно ценный, однако, своей универсальностью и особым — многосторонним и деятельным — отношением человека к природе.

Ведь деревенский житель в своем хозяйстве не только пахарь и жнец. При случае (а чаще по самой неотложной необходимости) он и лесоруб, плотник, столяр, портной, шорник, пастух, рыбак

и охотник; короче — на все руки мастер. И не одно поле, где вырастает хлеб, а вся земля с ее лесами, лугами, реками, вся природа с ее летними дождями и зноем, зимними морозами и метелями, с весенним пробуждением и осенним увяданием, определяющими сроки сельских работ, является местом приложения его рук, ума, знаний, школой его чувств, его души.

Мальчиком Алеша Мусатов нянчил младшую сестренку Ксюшу и жал с матерью рожь, носил в поле обед отцу и помогал ему плотничать, пас корову, а в счастливые свободные часы пропадал с друзьями на речке, в лесах, в лугах.

На глазах будущего писателя деревня, нищая и неграмотная, преодолевая вековое невежество и эгоизм, разобщенность мелких хозяев-собственников, поднималась к коллективному труду, к социализму. И его судьба была частью этой исторической перестройки.

Из бревенчатой отчей избы унес Алексей Иванович в большую жизнь неизбывную любовь к родной земле и ко всему живому на ней, доброту, простодушие, крепкую трудовую мораль и сноровку рабочего человека. И ненависть к глупости и своекорыстной хитрости, стяжательству и паразитизму.

Его природная любознательность, неудержимая тяга к новому счастливо совпали с охватившим страну великим культурным преобразованием.

Отчизна работала и училась, стремительно возводила небывалое в истории общества. Учился, участвуя в созидании нового мира, и деревенский паренек Алеша Мусатов. Сельская школа, Загорский педагогический техникум, Московский редакционно-издательский институт, Всесоюзный институт кинематографии — там будущий писатель набирался культуры, овладевал сложным литературным ремеслом. Но его университетом была и трудовая жизнь. Работа учителем в деревне. Непосредственное участие в коллективизации. Поездки в Сибирь и на Алтай, на Северный Кавказ и на Украину по заданиям журналов «Октябрь», «Крестьянка», «Молодая гвардия», «Смена», «Пионер», «Дружные ребята», «Мурзилка»...

Когда напали гитлеровские фашисты, Мусатов пошел в Красную Армию. Он закончил пехотное училище и вплоть до победной весны 1945 года вначале младшим строевым офицером, затем корреспондентом газеты «Фрунзевец» служил в частях Советской Армии.

Алексей Иванович был человеком душевно щедрым и скромным. Он никогда не козырял своими заслугами, орденами, литературными премиями, хотя был в числе зачинателей советской литературы для детей и славе его среди юных читателей могли бы позавидовать многие. Зато работал всегда, изо дня в день, даже в долгие месяцы тяжелой болезни, оборвавшей его жизнь.

Свою первую повесть он написал восемнадцатилетним. Она вышла в 1930 году и называлась «Шанхайка» — по прозвищу главного героя, полунемого мальчишки из бедной крестьянской семьи. В ней рассказывается о том, как с помощью местных комсомольцев создается в глухой деревне Стоговке первый колхоз. Как противятся становлению новой жизни богатеи-кулаки, убив вожака стоговской молодежи Яшку и затравив до смерти его мать Матрену. Как остается круглым сиротой маленький Шанхайка. Молодой автор говорил о том, что жертвы эти не напрасны, что в жестоких классовых схватках народ завоевал справедливость и счастье для миллионов ребят на все времена.

Писал Мусатов не только для детей. Но были в его характере та непосредственность, прямота натуры, мальчишеская любознательность и увлеченность, которые сделали его знаменитым детским писателем. И еще выделяет Мусатова верность однажды и навсегда избранной теме. Одним из первых в советской литературе для детей стал он писать о деревне, о сельских тружениках, о деревенских мальчишках и девчонках. От книги к книге деревенская тема в творчестве Мусатова расширялась, обогащалась новыми писательскими наблюдениями и раздумьями, становилась темой взаимоотношений человека и природы в широком смысле.

Мусатова всегда привлекали люди с сильными, волевыми характерами, умеющие работать красиво и самозабвенно, черпающие высшую радость в том признании и уважении, которые приносит человеку умелый, большой и бескорыстный труд. Еще в конце 30-х годов Мусатов написал очерк о первой советской женщине-трактористке Паше Ангелиной. Тогда же зародилась их дружба. В 60-е годы Алексей Иванович написал о Герое Социалистического Труда Прасковье Ангелиной большую документальную повесть.

В повестях «Большая весна» и «Земля молодая», посвященных становлению колхозной жизни, писатель воплотил многие черты знаменитой труженицы полей в образе обаятельной комсомолки Нюшки Ветлугиной, ставшей одной из первых девушек-трактористок в стране.

О том, как зарождалось движение ученических бригад, как, соединяя труд за партой с трудом на земле, сельские школьники учились быть достойными гражданами своей Родины, писатель рассказал в повести «Дом на горе». Истоки подвига, который сродни подвигам молодогвардейцев, Зои Космодемьянской и других юных героев Великой Отечественной войны, Мусатов раскрыл в повести «Клава Назарова» — о героической судьбе пионервожатой из маленького городка Остров на Псковщине. Во время фашистской оккупации Клава возглавила в родном городе подпольную молодежную организацию. Но врагам удалось выследить

и схватить Клаву. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Подвигу спасения детей в годы Великой Отечественной войны посвящена повесть Мусатова «Ночной обоз». О приключениях ребят, организовавших школьное лесничество, рассказывает повесть «Дубовые листья». Нравственные проблемы села рассматривает писатель в повестях «Хорошо рожок играет», «Зеленый шум», «На семи ветрах», «Под чужим именем», в рассказах «Гори ясно», «Светить всегда», «Березки», «Черемуха», «Медуница», «Молодые руки» и других.

Вклад Алексея Мусатова в литературу значителен. Но самая счастливая судьба у его повести «Стожары». Удостоенная Государственной премии СССР, эта книга переведена почти на сорок языков. Она издана у нас и за рубежом более ста раз.

Начал ее Мусатов еще перед войной. Колхозы набирали силу. Жизнь деревни второй половины 30-х годов изобиловала удивительными примерами народной инициативы. Два факта показались писателю особенно примечательными. Колхозница Муслима Бегиева обнаружила на заброшенном поле три необычайно крупных колоса пшеницы. Видимо, когда-то здесь сеяли хлеб. И в результате многолетнего естественного отбора выжили и сохранились эти три колоска, победившие и заскорузлую землю, и сорняки, и безжалостность стихий. Из этих колосков Бегиева сумела вырастить сорт очень выносливой и урожайной пшеницы, которую колхозники в ее честь назвали «муслимкой». А юная узбечка Замира Муталова, еще не достигнув 14 лет, организовала с пятью подружками звено, работала на хлопковой плантации и за выдающиеся успехи в труде была удостоена звания Героя Социалистического Труда.

Из этих и подобных им фактов родился замысел повести о колхозных ребятах, помогающих старшим вырастить необыкновенную семенную пшеницу. Но разразилась война. Работу пришлось отложить. Однако писатель не расстался с мыслью о повести. Только действительность военных лет внесла в содержание книги свои поправки. Чтобы приблизиться к жизни, Мусатов поехал писать в одну из деревень Волоколамского района Московской области. Эту деревню в дни оккупации сожгли фашисты. Многие жители участвовали в партизанском движении. Среди них писатель встретил тех, чьи характеры и судьбы отразились в повести. Например, прототипом Сани Коншакова стал шестиклассник Толя Мясников.

Конечно, всякое художественное произведение — это не точный слепок с действительности. Писатель суммирует, обобщает свои жизненные впечатления, чтобы не просто показать, что и как бывает в жизни, а изобразить наиболее характерное, типичное. Действие повести Мусатова охватывает период с весны до

осени 1944 года. Самым характерным для деревни этих дней, испытавшей полуторагодовой ужас фашистской оккупации, чувствующей приближение окончательной победы, были свежие еще раны войны и начавшееся восстановление порушенного и разоренного; думы о завтрашнем, теперь уже близком, мирном дне и самоотверженная, подвижническая работа взрослых и ребят.

В центре повести Мусатова группа тринадцати-четырнадцати-летних подростков. Их никак не спутаешь друг с другом, такие они непохожие — Санька Коншаков и Тимка Колечкин, Федя Черкашин и Петька Девяткин, Степка Карасев, которого за особую ширину плеч зовут Степой Так-на-Так, и рассудительный Алеша Семушкин, медлительная Зина Колесова и по-мальчишечьи бойкая Маша Ракитина.

В жизнь каждого из них война ворвалась страшно и разрушительно. Погиб на фронте Тимкин отец. И мальчишка оставил школу, пошел работать письмоноском на почту, чтобы помогать больной матери. У Феде мать убили немцы, сам он был какое-то время в партизанском отряде. Осиротевший мальчик прибил к партизанскому кашевару деду Захару Векшину, вернувшемуся, когда прогнали немцев, в родное село Стожары.

Отец Петьки Девяткина ушел на войну, и Петька по-своему понял свое мужское старшинство в доме: начал курить махорку, забросил учебу, остался на второй год, решил податься в сапожники. Получив извещение о героической гибели отца, в прошлом колхозного бригадира Егора Коншакова, Санька несколько месяцев скрывает это известие от мачехи Катерины, сестры Фени и восьмилетнего братишки Никитки: молчаливо переносит горе один.

С отчаяния он начинает хуже учиться. И одно время даже собирается уйти с Петькой в город, чтобы стать сапожником.

Многие стожаровские ребята, перешедшие в седьмой класс, дружно трудятся в опытном хозяйстве деда Векшина. Выращивают семенные сорта трав, овощей, ягод и высокоурожайную стойкую пшеницу. Весной сорок первого года эту селекционированную им пшеницу высадил на колхозном поле бригадир Егор Коншаков. Но почти вся она погибла. Спасти удалось лишь несколько колосков. Их всю войну сохранял векшинский воспитанник Федя Черкашин. И вот теперь этим зерном засеяна небольшая опытная делянка. Ребята особенно любовно ухаживают за ней.

И только эгоистичный, избалованный матерью Петька да Санька не принимают участия в этой работе. Петька потому, что лодырь. А Санька считает труд ребят баловством. Сам он на колхозной конюшне занят «взрослым» трудом конюха.

Может, другой писатель и не сделал бы такого мальчишку, как Санька, главным героем книги. Ведь не только личная беда,

невосполнимое горе встает между юным Коншаковым и его одноклассниками. Дело еще и в Санькином характере — самолюбивом, крутом, обидчивом. Чуть что — вспыхнул, как порох, закрыл душу на замок.

Но, видно, не случайно этими своими чертами Санька Коншаков весьма напоминает Костю Малышева. У Кости, Мишки Доднова и Саньки немало общего. Каждый из них ловок, кряжист, силен, знает всякую крестьянскую домашнюю и полевую работу, сноровист в труде, умел в хозяйстве. И еще — честен, смел, справедлив, что обеспечивает ему надежный авторитет среди сверстников.

Ведь это Санька всегда первым видит начавшийся ледоход, ловко и уверенно переходит по мчащимся льдинам на другой берег Стожарки, достает из глубокого колодца упущенное Машей ведро, ловчее других управляется с косой, с тяжело груженным возом, с норовистой кобылой Лиской, бесстрашно вступает в бой с колхозным быком Петушком. И в играх, и в колхозных делах ровесники Саньки без всякой подсказки со стороны взрослых признают его старшинство.

А вот для взрослых такие ребята не всегда удобны. Уж больно они самостоятельны, вольнолюбивы. Порой непослушны и непонятны. Из самых лучших побуждений могут они совершить нечто предосудительное, даже безобразное.

Так, Санька, доставая с векшинского участка заброшенный туда Петькой Тимкин мячик, сильно помял делянку с сортовой пшеницей.

Для взрослых куда приятнее иметь дело с мальчиками вроде Феди Черкашина — с их ясным, прямым характером, открытостью, дисциплинированностью, рыцарским отношением к девочкам, безграничным доверием к опыту и знаниям взрослых.

И все-таки Мусатов главным героем повести сделал Коншакова. Ведь Санин характер наиболее типичен для того времени. Его судьба трудна (погиб на фронте отец, живет с мачехой), но все же не столь исключительна, как у Феди (мать которого немцы сожгли заживо и который сам был в партизанском отряде). В Сане нет той редкой всесторонней безупречности, какая присуща Феде. Санины недостатки весьма распространены у ребят его возраста. А свойственное большинству сельских ребят чувство хозяина, любовь к земле и труду на ней в Коншакове-младшем развиты так сильно, что делают его как бы прирожденным верховодом в своей среде независимо от того, нравится это кому-то из взрослых или нет.

Впрочем, такие, как учитель Андрей Иванович, Саньку отлично понимают. Им открыто главное в Саньке: обостренное чувство земли, природы, бытия.

Ведь это словно бы Санькиными глазами видим мы в повести

и весеннюю, «черную от вытаявшего навоза дорогу», и утреннюю реку, кúрящуюся белым паром, «словно ее налили кипятком», и царапающий темноту «острый коготок коптилки», и кузнечиков, которые вспрыгивают «из-под ног, как резиновые», и похожую на медный таз луну, висящую «так низко, что хотелось подпрыгнуть и кинуть в нее камнем». Вместе с Санькой мы слышим, как «лошади с мерным хрустом жевали влажную траву, точно зубрили урок», чуем, как в лесу «от трухлявых пней пахло скипидаром».

Будто сквозь увеличительное стекло, жадно открытыми в мир глазами Санька наблюдает, как «какая-то букашка, забравшись в чашечку желтого влажного цветка, никак не могла выбраться наружу — крылья ее намокли, тоненькие, как ресницы, лапки скользили по эмалированным лепесткам».

В природе Санька Коншаков — хозяин. Оттого-то и слушаются его кони. И бритвенно острая, отбитая по всем правилам коса ему послушна. И в работе знает он точно такие же золотые минуты, какие хорошо ведомы и Артемке Загоруйко, и Мишке Додонову, и Косте Малышеву.

Ощущение красоты природы, труда (слитное, единое, потому что труд — создающее творчество человека в природе, а сам человек — часть природы) роднит Саньку с дедом Векшиным, хотя дед дольше других недоверчиво относится к младшему Коншакову. Сколько торжественной поэзии в описании древнейшего ритуала посева зерна в землю-кормилицу, доверенного старейшему хлеборобу деревни Захару Векшину:

«Лукошко, точно огромная спелая тыква, висело у него на груди. В белой холщовой рубаше, без шапки, старик торжественно шагал по делянке, мерно взмахивая правой рукой, и зерна, просвечивая на солнце, падали на землю чистым золотым дождем».

Разительно не похожа сегодняшняя деревня на ту, сорокалетней давности, которую описал Мусатов. Никто уже и на малых опытных делянках не сеет по-старинному, из лукошка. И вредителя-черепашку собирают не вручную. И хлеб убирают не серпом, не косами, не жатками-лобогрейками, а мощным комбайном. И на элеватор не лошадьми возят — мощными грузовыми машинами. Почти не осталось и деревень, где не было бы электричества, телевизора. И вряд ли какому мальчишке придет нужда изобретать будильник из ведра и веревки, как хитроумно придумал Санька.

Но и сегодня сохранилось разное отношение к труду на земле, к жизни. Разве не встречаем мы людей, похожих на Евдокию Девяткину, про которую Петька говорит: «У меня ж матка, если что нужно, из земли выроет, из ноги выломит...»? Так эти люди стараются для себя, для своих детей. Одна у них радость и цель

в жизни — нажиток. С материнских слов и Петька видит все преимущество сапожной профессии в легком «зашибании» деньги: «Молотком раз стукнул — гони рубль! Шилом ковырнул — подавай десятку!»

Меняются времена — меняются и понятия о престижности того или другого дела. Нынешние девяткины, конечно, не скажут: «Учение — оно, может, и не во вред, а сыт от него не будешь». Иные теперь у них представления о сытости, о важности учения. Неизменно другое. Самое главное, святое, нравственное в человеческой жизни — труд — оценивается у девяткиных жалкой торгашеской мерой: меньше обществу дать, побольше взять. Чтобы раз стукнул — гони рубль! Ковырнул — подавай десятку! Чем и куда стукнуть, где ковырнуть — значения не имеет.

Но какие вещественные блага можно сравнить со спокойной совестью, с удовлетворением честно, в полную силу потрудившегося человека, который видит плоды своего труда прежде всего в хорошо сделанных, нужных людям вещах: в выращенном хлебе, в здоровье, возвращенном больным, в построенном доме, в собранной машине, в написанной книге!

Когда Никитка обнаружил на избе Коншаковых пчелиный рой, а Санька словил его, первое побуждение братьев — продать пчел какому-нибудь пчеловоду, а на вырученные деньги починить Никитке сапоги, купить Фене платок, а Саньке — широкий солдатский ремень с тяжелой, литой пряжкой. Но Маша сказала, что дед Захар мог бы из одной этой пчелиной семьи развести целую пасеку для колхоза, и Санька решительно отдает пчел деду. На предложение продать пчел он негодуяше отвечает: «Что я, скопидом какой-нибудь или Петька Девяткин? Своему колхозу да продавать!»

Совсем нелишни были бы деньги в небогатой коншаковской семье со скудным ее достатком, с бедной, износившейся одежкой. Но не может Санька уподобиться Петьке и его матери. Стыдно ему быть, как они. Как бы он тогда в глаза колхозников смотрел? Что делал бы, как чувствовал себя в те торжественные часы, когда другие колхозники и ребята из векшинской бригады убирают пшеничную делянку на опытном поле, сушат, обмолачивают, провеивают небывало крупное, отборное зерно? И разве мог бы он тогда вместе со всеми ребятами деревни почетным эскортом сопровождать мешки с семенной пшеницей на пути в правление и восторженно орать на всю улицу: «Коншаковку несут! Коншаковку!» Ведь на такое имел право лишь сын, достойный памяти отца, в чью честь названа эта необыкновенная пшеница.

Отцы и дети. Эта тема неизменно повторяется во всех книгах о детстве. Отцы, деды когда-нибудь уходят. Сыновья и внуки наследуют не только память о них. Они наследуют всю родную

землю, становясь ее хозяевами. Дед Векшин говорит Саньке, прослышав, что тот едва не подался в город вместе с Девяткиным: «Ну, скажем, ты уйдешь, Степа, потом Алешка, Маша... А кто пожилым да старым на замену встанет?.. Земля — она ведь не каждого примет, ей радеющие люди нужны, заботники, мастера первой руки...»

Так тема «отцов и детей» оборачивается вполне конкретной постановкой вопроса о верности делу отцов, о верности своей «малой родине» — родному городу или селу, об ответственности и учебе.

VI

Словно о чем-то несбыточно-недостижимом мечтал об учебе маленький Артемка. Не до учения было в голодный год Мишке Додонову.

Но как ни тяжело пришлось народу в сорок первом году, Костя Малышев слышит от Герасима Ивановича наказ ни в коем случае не задерживаться в цеху после окончания смены: «Ваше дело молодое — в кино бегать, учиться...»

Мачеха Кати Галкиной Нина Павловна готовит Костю к поступлению в вечернюю школу. Ведь это противоестественно, чтобы в одном Костином лице совмещались и «знатный командир самой лучшей молодежной фронтовой бригады, первый снайпер молотка, победитель Мингарея Бекирова в первомайском соревновании» и «маленький, бесконечно смущенный неуч с горящими ушами», каким Малышев предстает перед Ниной Павловной, написав безграмотное письмо на фронт отцу Коли Глухих.

Катастрофическим для Сани Коншакова представляется его намерение оставить после шестого класса школу не одной Санькиной мачехе Катерине Васильевне, а и его школьным товарищам, и председателю колхоза Татьяне Родионовне, и вернувшемуся с фронта учителю Андрею Ивановичу, и старику Векшину. Все они пытаются объяснить Саньке, что наступает такая жизнь, когда и самые простые колхозные дела можно будет успешно делать только во всеоружии современного знания. Они растолковывают мальчишке, что и в прежние времена всякий успех был неотделим от учения.

Но если Захару Векшину или Егору Коншакову приходилось всю жизнь упорно заниматься самообразованием, то их внукам и детям страна представляет все возможности для полноценной, систематической учебы. И пренебрегать этими возможностями — значит сознательно уменьшать свои силы, ограничивать вклад в общее дело.

С окончанием войны вопрос о школьной учебе стал перво-

очередным в советской литературе для детей и юношества. Теперь в условиях мира ничто не мешало ребятам отдавать все свое время и силы приобретению знаний, духовному развитию, физической закалке.

В литературе возник жанр «школьной повести». Таких повестей особенно много появилось в конце 40-х и в первой половине 50-х годов.

И все же, когда в 1951 году, сначала в журнале, а через год и отдельной книгой была напечатана повесть Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», эту книгу и юные и взрослые читатели приняли как открытие.

Казалось бы, речь шла в ней о том же, о чем писалось в то время в десятках других повестей: о ребятах, которые учатся хорошо, и о ребятах, которые учатся средне; о том, как воспитывают школьников учителя, пионервожатые и родители, какие отношения складываются у юных героев между собой и с воспитателями, во что герои играют, о чем думают и т. д. Но все это, такое обычное, примелькавшееся, не очень-то интересное, под пером писателя Н. Носова вдруг заиграло свежими красками, стало значительным, необычным, удивительно интересным.

Причина этого «чуда» проста. Называется она талантом. Когда вышла повесть о Вите Малееве, Николай Николаевич Носов не был новичком в литературе. Первая его книжка — сборник веселых детских рассказов «Фантазеры» — вышла еще до войны.

А писателем Носов стал не сразу. В школьные годы он мечтал быть музыкантом, учился игре на скрипке. В старших классах готовился к поступлению на химический факультет. А учиться после школы неожиданно стал в Художественном институте. Вскоре оставил его, перешел в Институт кинематографии. Закончив этот институт, несколько лет работал на киностудии, делал научно-популярные фильмы. И все время, как признавал позже сам, испытывал чувство неудовлетворенности. Не то чтобы работа в кино была ему неприятна. Но она не захватывала его целиком, не давала настоящего счастья.

Призвание открылось неожиданно. Среди прочих занятий с юности увлекался Носов и литературой, пробовал писать рассказы, но у него ничего не выходило. Носов решил, что у него нет таланта. Оказалось, не было своей темы — применения таланту. Он пытался писать для взрослых. А по природе дарования, по призванию был писателем детским. Это обнаружилось, когда у него родился сын и он, будучи взрослым человеком, снова «попал в волшебную страну детства... увидел детство уже не в тумане далекого прошлого... а в непосредственной близости».

«Признаюсь, — вспоминал писатель, — волшебная эта страна удивила меня, а творчество, как сказал один умный художник,

начинается с удивления. Я увидел в ребенке то, чего не замечал раньше и чего, мне казалось, не замечали и другие».

Это было правдой. Советская детская литература всегда шла по пути сближения с главным ее героем — ребенком или подростком. Но Носову удалось сделать в сторону маленького героя еще один шаг. Не случайно у Носова преобладает повествование от первого лица — от имени самого героя-мальчишки. Писатель все время заботится о том, чтобы показать ребят как бы изнутри, как можно точнее передать не только что с ними происходит, но и что они при этом чувствуют, думают, почему совершают именно такие, а не другие поступки.

При этом Носов не просто бытописатель ребячьей жизни, видящий ее как с внешней, так и с внутренней, психологической стороны. Он еще и умный, тактичный педагог, ставящий в каждой своей книге какую-то определенную учительскую задачу, помогающий юным читателям расти, развиваться, совершенствоваться. Удивительное свойство носовских книг в том, что эта практическая воспитательная задача, казалось бы, лежит в них на поверхности, никуда писателем не прячется, а читатели ее словно бы и не замечают. Они увлечены веселой игрой, вызывающей то улыбку, то приступы бурного, отчаянного веселья. И, лишь дочитав книгу до конца, обнаруживают, что не только смеялись и веселились, но и узнали массу полезных вещей, многому научились, заразились новыми увлечениями, стали чуть-чуть взрослее, умнее, серьезнее. А этого и добивался писатель.

Вероятно, не много найдется в нашей стране людей, которые не знали бы носовских книжек «Приключения Толи Клюквина», «Веселые рассказы», «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», сказочного романа-трилогии о Незнайке: «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Пожалуй, и за пределами нашей страны Носов — самый известный советский детский писатель. Его книги переведены больше чем на семь десятков языков. Уже став дедом, он написал книжку про своего маленького внука: «Повесть о моем друге Игоре». А незадолго до смерти завершил автобиографическую повесть «Тайна на дне колодца».

Хотя «Вите Малееву в школе и дома» предшествовали сразу завоевавшие популярность книжки веселых рассказов, повести «Веселая семейка» и «Дневник Коли Синицына», прочитав которые тысячи ребят бросились выращивать в домашних инкубаторах цыплят и разводить пчел, подлинная слава Носова-писателя началась с книги о Вите Малееве.

За эту повесть Носову была присуждена Государственная премия СССР. Книга прочно вошла в золотой фонд советской детской литературы.

Книга Носова насыщена радостью победы над германским

фашизмом. Подобно янтарию, вбирающему солнечные лучи, она в языке, в событиях, во всем настрое своем отразила атмосферу мирного труда, счастье созидания.

Повествование идет от лица четвероклассника Вити Малеева. И читателю весело уже оттого, что недостаточно овладевший языком герой нередко предпочитает изъясняться бытующими в языке взрослых штампами и стереотипами. В простодушном словоупотреблении четвероклассника подобные обороты как бы пародируют речь взрослых.

Веселит читателя и щедро представленный в повести юмор положений. Особенно смешно читать о разных забавных случаях потому, что герои повести вовсе и не думают смешить друг друга и вообще не рассчитывают на тот эффект, который их действия вызывают.

Хотя повесть и называется «Витя Малеев в школе и дома», немало ее страниц уделено цирку. На героя повести цирк производит такое же ошеломляюще-радостное впечатление, как и на Артемку. «Я решил,— рассказывает Витя,— когда вырасту, буду каждый день ходить в цирк. Ну, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Мне это никогда не надоест!»

Но ведь не одного его увлекло феерическое зрелище — необычайно ловкие акробаты и эквилибристы, дрессированные звери, смешной клоун, бесстрашные мотоциклисты. Костя Шишкин решит немедленно стать циркачом, разобьет тарелку и стекло в окне, наставит шишек самому себе, будет дрессировать щенка Лобзика...

Вообще душевный настрой Малеева и его закадычного приятеля Шишкина удивительно соответствует веселой праздничности цирка. Эти ребята буквально живут игрой, всякий свой шаг вольно или невольно стремятся обратить в игру — будь то футбол на пустыре за школой, спор из-за посаженной в чужой тетради кляксы или попытка сыграть вдвоем роль богатырского коня в школьной самодеятельности. А все, что не поддается игровому перевоплощению, кажется им смертельно скучным, как Вите — задачи по арифметике, а Косте — диктанты по русскому языку.

Словно для того, чтобы еще ярче подчеркнуть безотчетную радость мирной жизни, скорбным отголоском прошедших суровых лет звучит в повести сообщение о гибели на войне отца Кости. «Все-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину: у меня есть отец,— говорит Витя.— Я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, как он добивается чего-нибудь на своей работе, и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким».

Память войны вводит в веселую повесть Носова драматическую ноту одиночества. Побывав в гостях у Вити и познакомив-

шись с его младшей сестренкой Ликой, Костя говорит: «А у меня сестры нет... И брата у меня нет. Никого у меня нет, я совсем одинокий». А Лике объясняет, зачем он хотел бы иметь младшего брата или сестру: «Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный? Потому что мне не о ком заботиться».

И в чем-то Костя, безусловно, прав. Конечно, никакие обстоятельства не снимают с человека, даже маленького, ответственности за собственный образ жизни. Но любое человеческое чувство, особенно такое, как заботливость, доброта, трудолюбие, нуждается в постоянной тренировке, в подкреплении делом.

Носов говорил, что замысел повести о Вите Малееве возник у него после случайно услышанного разговора двух учительниц, одна из которых сказала: «Кто отстает, тот всегда будет отставать, сколько его ни подтягивай. Он только привыкает, чтоб его тянули».

Речь, очевидно, шла об отстающем ученике, которого учительнице надоело подтягивать.

«Такой антипедагогический взгляд, высказанный к тому же учительницей,— рассказывает писатель,— как-то задел меня. Мысль неотвязно вертелась вокруг услышанных слов. Да разве плохой ученик плохо учится потому, что ему хочется плохо учиться? Чаще всего это происходит оттого, что у него что-то не ладится, где-то запущено, нет собранности, усидчивости, настойчивости в достижении цели... Мне ярко представился такой ученик, у которого нет-нет да и появляется желание, даже решимость взяться за дело и начать «новую жизнь», да вся беда в том, что решимость эта держится у него чаще всего не более одного дня. Мне захотелось показать ребятам, чего им не хватает в характере, потому что этого не хватает не только двоечнику, чтобы учиться хотя бы на твердую тройку, но и четверочнику, чтобы стать круглым отличником, и, к слову сказать, тому же круглому отличнику, если все его достижения держатся на том, что его не выпускают дома из-под контроля родители.

Таким образом, созрел замысел будущей повести: отстающий ученик преодолевает свое отставание, борясь с недостатками своего характера (иначе говоря, формирует свой характер). Чтобы повесть была сюжетно (художественно) законченной, я решил описать, как, исправившись сам, этот ученик помогает под конец выправиться своему школьному товарищу».

Не забудем, что в «Ташкенте» Неверова, «Малышке» Ликстанова, «Стожарах» Мусатова речь идет о ребятах, которые старше Вити и Кости на три-четыре года. Разница огромная! И то надо еще брать в расчет, что в годы войны, во времена народных бедствий дети раньше взрослеют, раньше становятся самостоятель-

ными. Это, конечно, приобретение. Но дается оно страшной ценой — ценой сокращения или даже потери детства.

В повести о Вите Малееве семнадцать мальчишек, так как в то время еще было разделение школ на мужские и женские, и Носов описывает школу мужскую. У всех этих ребят нормальное детство, преимущества которого оплачены старшим поколением, в том числе и смертью Костиного отца. Игра в нормальном детстве — это то же самое, что работа для взрослого человека.

Вообще-то всякая игра имитирует какую-нибудь работу и, значит, в принципе не отличается от труда.

А вот отношение к тому и другому у ребят нередко разное. Играют все с увлечением. Но этого увлечения так часто не хватает ребятам в учебе.

Нельзя сказать, что у Вити и Кости плохие учителя. И учительница Ольга Николаевна — милая, неглупая женщина. И директор школы Игорь Александрович умен и добр. В некоторых случаях их реакция на ребячьи проделки педагогически мудра.

Но все же чаще они, по примеру большинства своих коллег и родителей, прибегают к методу нравоучений.

Может быть, и нельзя обойтись без повторения этих истин. Только ведь и толку от такого повторения немного. Ребята инстинктивно знают, как обезопасить себя хотя бы на время от резонерства взрослых: они охотно дают обещание исправиться, вовсе и не помышляя его выполнять. Витя, у которого двойка по арифметике, и Костя, имеющий двойку по русскому языку, такие обещания раздают не только устно, но и письменно — в стенгазете. Только дело от этого не меняется.

Самым мудрым педагогом в повести оказывается автор. Он не возлагает особых надежд на увещевания и назидания. Больше того, он понимает, как это безнадежно — противопоставлять в сознании ребят труд игре. Ведь при таком противопоставлении за трудом не останется никаких достоинств, ибо все мыслимые достоинства стихийно приписываются игре. Шишкину и Малееву даже в голову не приходит, что умный человек не может учиться на двойки. Для них и ум — черта игровая, способность избежать наказания за плохие отметки. Костя, например, рассказывает про некоего Митю Круглова, с которым он учился, живя в Нальчике. Митя ловко нейтрализовал материнский гнев, когда приносил в дневнике двойку. Витя так передает свой разговор с Костей:

«— Видать, этот Круглов у вас был очень умный,— сказал я.

— Да,— говорит Шишкин,— очень умный. Он часто получал двойки и каждый раз выдумывал разные истории, чтобы мать не бранила слишком строго».

А что, если бы от того же Круглова не требовать новых дополнительных усилий для хорошей учебы, а направить на ликвидацию его двоёк ту самую энергию, тот ум, который он так щедро расходует на придумывание разных оправдательных историй? — примерно так, вероятно, рассуждал Носов, стараясь придать своей повести воспитательный уклон. И вот Витя Малеев сам начинает решать трудную задачку, как если бы он решал ее в игре с ребятами на спор: кто решит первый. И лишь начальное усилие — до того, как начнет разматываться клубочек решения, — дается ему действительно серьезным напряжением воли. А дальше открывается увлекательнейшая игра мысли, настолько захватывающая нашего героя, что он готов решать уже не только те задачи, которые дает на дом учительница, но и те, что он не решил когда-то.

Увлекательно вместе с юным героем книги познавать мир вещей, явлений природы, человеческих отношений. Но, как доказал Носов, не менее увлекательно и открывать мир собственной мысли, ощущать ее движение, как ощущает спортсмен сокращение своих мышц, их послушную силу. На многих страницах повести подробнейшим образом рассказывает Витя Малеев, как он решает ту или другую арифметическую задачу. И вот чудо: читать об этом так же интересно, как о каком-нибудь детективном расследовании. Но чуда нет: ведь, по сути, всякое расследование преступления и всякое научное открытие и изобретение есть решение задачи. А любая школьная задача — это маленькая, игрушечная модель изобретения, открытия, расследования.

Вот что, с помощью автора книги, уяснил Витя Малеев, а вместе с ним и читатели повести. Учеба — это труд, но не противостоящий игре, не исключаяющий ее, а такой же интересный и увлекательный, как игра. А сделав для себя это потрясающее открытие, Витя, конечно же, не может не посвятить в него своего лучшего друга Костю, помогая ему испытать такую же радость в занятиях русским языком, какую он сам, наконец, обрел в занятиях математикой.

И что еще важно: Витино открытие оказывается подлинно золотым ключиком в страну счастья. Весь мир становится гармоничным. В нем все — игра и все — дело. Все — повод для радости, для творчества, для побед. И учеба на пятерки по всем предметам (выясняется, что неспособных ребят нет, а есть только не познавшие радости учения). И игра в баскетбол в классной команде. И организация классной библиотечки (ибо и в этом нехитром и скучноватом, если глядеть со стороны, занятии так много возможностей для инициативы, для полезной выдумки, для радости!). И конечно, сама игра, школьная самодеятельность, цирк, который Костя и Витя переносят на школьную сцену, демонстрируя свой номер с «ученым» Лобзиком.

История и детство...

На судьбах Артемки Загоруйко, Мишки Додонова, Кости Малышева, Сани Коншакова, Вити Малеева и многих других юных героев советской литературы видно, как непроста эта связь. Детство — зеркало истории, ее отражение. Но в нем и зерно завтрашней жизни, а значит, и сила, потенциально меняющая ход самой истории.

Можно сказать, что счастливое, мирное, гармоничное детство, надежно защищенное обществом, государством от войны, социальной несправедливости и лишений, — предпосылка подлинно человеческой истории, не повторяющей роковых ошибок прошлого, управляемой законами разума и правды для всех.

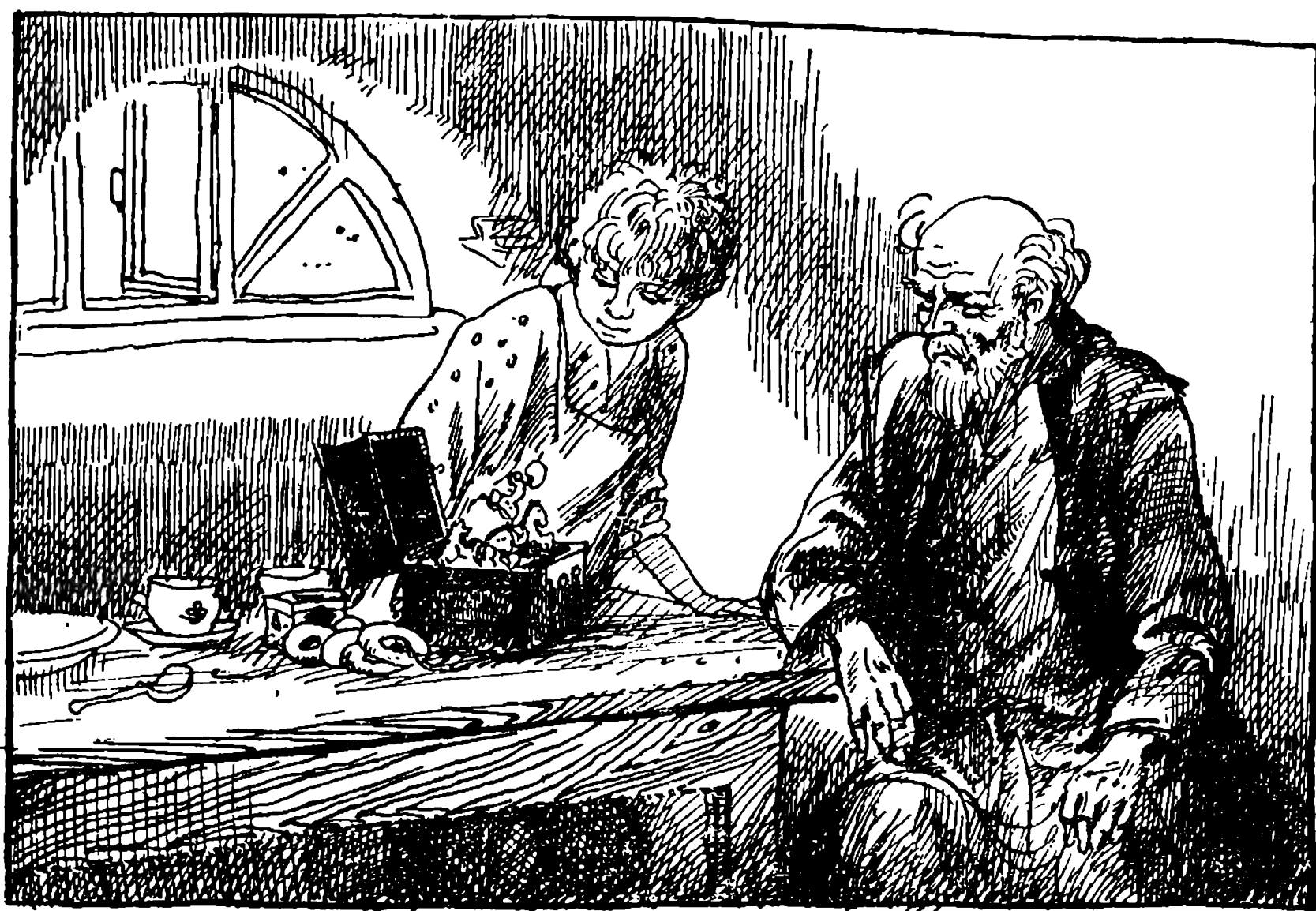
Игорь Мотяшов

И. ВАСИЛЕНКО

Волшебная шкатулка

Артемка в цирке





ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА

ГЕРЦОГ БУКИНГЭМСКИЙ

Мой отец был лудильщик. После своей смерти он оставил паяльник, палочку олова, бутылку соляной кислоты и пачку железных листов. В то время мне было девять лет, и я только что перешел во второе отделение приходской школы. Но учиться мне не пришлось. Когда последний лист железа был продан, мать приладила себе на спину большой мешок, а мне поменьше, и мы стали тряпичниками.

Мы заходили во дворы и рылись в мусорных ящиках, ходили на свалку.

Сначала это занятие меня даже увлекало, вроде охоты. Я все ждал, что вдруг случайно попадется какая-нибудь ценная вещь: золотые часы или кожаный бумажник, туго набитый трехрублевками. Наша знакомая тряпичница Феклуша уверяла, что однажды в мусорной яме нашла чулок с зашитыми в нем золотыми десятирублевками. Но нам попадались только рваные галоши, кости, тряпки, старые подковы и пузырьки, сохранявшие еще запах лекарств.

Наступила осень. Подвал, в котором мы жили, стало затоплять водой. Тогда мать пошла к знакомой трактирщице и заплакала. Трактирщица наняла ее за четыре рубля в месяц на хозяйских харчах.

Трактир стоял посреди большой базарной площади. На ней ютилось множество лотков, закоптелых сапожных будок, бакалейных, скобяных, семенных и фруктовых лавок. Запах ромашки, чебреца и мятных пряников перемешивался с запахом керосина и дегтя.

В те времена рестораны делились по разрядам: чем выше был разряд, тем ниже было общественное положение его посетителей. Ресторан третьего разряда был таким заведением, куда даже иные парикмахеры или приказчики считали неприличным для себя заходить. Что касается нашего ресторана, то он стоял вне всяких разрядов. Хотя на его вывеске и было написано: «Трактир М. Сивоплясовой», но хозяйка называла его «харчевней», а посетители — просто «обжоркой». Помещалось это заведение в кирпичном здании казарменного вида, окрашенном в грязно-бурый цвет. За четыре копейки здесь подавали миску борща, сваренного на говяжьей требухе, а еще за четыре — и самую требуху. Никаких других блюд здесь не готовили, да никто и не требовал их: посетители наши стояли на такой ступени общественной лестницы, что очутиться ниже вряд ли было возможно.

Среди них-то я и провел два года своего детства.

Я мыл на кухне посуду, подметал пол, таскал с базара овощи и говяжью печеньку, подавал посетителям борщ и выслушивал от хозяйки попреки в дармоедстве.

Мне шел десятый год, и мне тоже хотелось играть в бабки, бегать с босоногими мальчишками наперегонки и запускать бумажный змей с трещоткой... Но куда там!

Только, бывало, соберешься с Артемкой, сыном сапожника, пойти к морю понырять или половить бычков, как хозяйка уже окликает меня:

— Чтой-то в сон клонит. Ну-ка, сядь за стойку, а я пойду малость вздремну. Да смотри не отлучайся, а то штаны спущу!

Однажды, когда я сидел за стойкой, в трактир вошел человек, которого я раньше никогда у нас не видел. Он сунул руки за веревку, служившую ему поясом, отставил вперед ногу в рваном лаковом ботинке и прищелкнул языком:

— Ну и апартамент! Это что же — столовая его величества короля английского? А запах, запах! Настоящая амброзия!

Пошатываясь, он подошел к столу, сел и вытянул вперед ноги.

— Сэр! — крикнул он в мою сторону.

Я подошел.

Прядь бледно-желтых и, вероятно, очень мягких волос свесилась на его вспотевший лоб; в голубых глазах, таких ясных и

чистых, что их не смог замутить даже хмель, прыгали искорки смеха.

— Вы герцог?

— Нет,— ответил я.

— Граф?

— Нет.

— Может быть, вы барон?

— Сам ты барон! — огрызнулся я.

Но он так весело засмеялся, что невольно стал смеяться и я.

— Бефстроганы есть?.. Нет? А антрекот?.. Тоже нет? Жаль! Придется кушать перепелку!

— Да у нас только борщ и печенка.

— Что-о? Борщ и печенка? Разве ты не знаешь, что это мои любимые блюда?

Первый раз в жизни я подавал с удовольствием.

Человек ел, шутил и расспрашивал. А когда узнал, что я сын трактирной кухарки, стал называть меня пэром.

Наевшись, он сказал:

— Ну-с, пэр, побеседовал бы я с вами еще, но должен спешить на экстренное заседание в палату лордов. Скажите достопочтенной владелице сих апартаментов, что из боязни ограбления я с собой денег не ношу. Вместо денег передайте ей мой вексель и объясните, что она может учесть его в любом банке.

Огрызком карандаша он написал на клочке оберточной бумаги несколько слов, дружески пожал мне руку и ушел.

Когда хозяйка выпалась, я вместе с медяками вручил ей и клочок оберточной бумаги.

— Что это? — спросила она.

— Вексель.

— Да ты в уме? Разве такие векселя бывают?

— Бывают,— уверенно ответил я и рассказал о недавнем посещении.

— А ну читай.

Я прочел:

— «По сему векселю обязуюсь уплатить графине Сивоплясовой восемь копеек, когда войду во владение наследственным замком. Герцог Букингэмский».

Среди наших посетителей было не редкостью встретить опустившихся военных чиновников и даже помещиков. Я привык к этому и ни на минуту не усомнился в герцогском происхождении голубоглазого весельчака. Но хозяйка посмотрела на дело иначе. Она взяла веник, которым я подметал пол, и начала меня бить им, приговаривая:

— Не принимай векселей от бродяг! Не принимай векселей, собачья шкура!..

Я вырвался из ее рук и с плачем выбежал на улицу.

ЧУДЕСНОЕ ОБЕЩАНИЕ

На базаре стоял деревянный старый амбар на высоком каменном фундаменте. Несколько камней из фундамента выпало, и в нем образовалась дыра, в которую я свободно пролезал под амбар. Это было мое потайное место, куда я обычно скрывался от хозяйки. Летом, в знойный, яркий день, под амбаром было прохладно. Здесь я хранил любимые вещи: складной нож, молоток, записную книжку с карандашом, бумажный фонарик со свечой и две книжки: «Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель».

Забравшись в свое подполье, я долго и горько плакал. Чувство ненависти к хозяйке смешалось с чувством обиды на герцога: я так доверчиво отнесся к нему, а он подвел меня.

К ночи меня стал мучить голод, но возвращаться домой мне не хотелось: я знал, что в угоду хозяйке мать выдерет меня за уши, хотя потом и будет тихонько плакать.

Так я провел ночь под амбаром.

Утром в дыру просунулась вихрастая голова Артемки:

— Я ж так и знал, что ты тут. Мамка твоя плачет, думает, что ты побег топиться, а я ей говорю: «Не должно быть. Верно, пошел на свою квартиру». На, закусывай! — И Артемка вынул из-за пазухи сухую тарань, огурец, головку лука и ломоть черного хлеба.

Я ел и сквозь слезы рассказывал, как было дело. Артемка сердито плюнул.

— Твоя хозяйка — ведьма. Разве можно человека бить веником? Что он — собака? А герцог тоже вредный. Ему и дела нет, что из-за него человек страдает. Все они, герцоги, такие. — Артемка показал мне две копейки. — Видал? Айда пить квас!

Мы вылезли из подполья, пошли к квасной будке и взяли по стакану кваса. После тарани он казался особенно приятным и бросался в нос. Вдруг мы услышали веселый призыв:

— Граждане! Становитесь теснее в круг, держитесь за чужие карманы! Сейчас под наблюдением господина городского начнется небывалое гала-представление, нон плюс ультра!

— Артемка, — говорю я, — да ведь это ж герцог!

Окруженный толпою крестьян и базарных зевак, «герцог» почтительно говорил подходившему усачу-городовому:

— Господин блюститель порядка, прошу вас занять наблюдательный пункт! Поправьте вашу шаблюку и примите боевой вид. За неимением здесь другого начальства ешьте глазами меня.

Толпа хохотала. Уязвленный городской скривил губы и потянулся к воротнику «герцога»:

— Ты эти насмешки брось! Инструкцию знаешь? А ну, предъявь паспорт!

— Паспорт? — изумился «герцог». — Да какой же может быть паспорт, если половина сбора в вашу пользу?

Городовой быстро успокоился и занял «наблюдательный пункт», а «герцог» продолжал развлекать публику:

— Позвольте представиться: главный наездник цирка Труцци и бенгальский факир. Тигры, леопарды и другие насекомые придут дополнительно, а сейчас прошу посмотреть несколько фокусов, за которые имею почетный отзыв от митрополита киевского. Итак, начинаем. Вот вы, молодой человек, — обратился он к деревенскому парню, — подойдите-ка сюда поближе. Видите эти два шарика?

— Бачу, — ответил парнишка.

— Красный я кладу в ваш правый карман. Видите?

— Бачу.

— Зеленый — в левый. Видите?

— Бачу.

— Ну, где у вас зеленый шарик?

— Ось тут.

— Вынимайте его.

Парень вынимает красный шарик и растерянно улыбается:

— Як же це вин перескочив?..

«Герцог» показал еще несколько фокусов, потом разостлал на земле платок и приказал:

— Гоните все по две копейки! Не видите, что мне пора водку пить? Живо!

Зазвенели медяки, толпа поредела.

— Получите, ваше превосходительство, двенадцать копеек, — подал «герцог» городовому несколько монет.

Тут я подошел и сказал:

— А меня хозяйка веником побила.

— Поздравляю, — ответил «герцог». — За что ж она тебя?

— Да за ваш вексель.

Он недоуменно посмотрел на меня, потом вдруг вспомнил:

— Постой, постой! Ты из харчевни?..

Он был явно смущен.

Мы присели на бревно, и я рассказал, что произошло после его ухода. Я сказал, что живу теперь под амбаром на базаре и боюсь идти домой.

Он покрутил головой и с досадой крикнул:

— Что ты скажешь! Подвел мальца! Ну ничего, не горюй, дело поправим... А это кто? — кивнул он в сторону Артемки. — Товарищ? Как звать-то тебя, курносый?.. Артемка? Ну вот что, Артемка: шагай в трактир и шепни там кухарке, чтоб она не беспокоилась, что Костя, мол, жив и здоров, только домой сразу не придет. Пусть хозяйка малость простынет, тогда он и вернется. Вали!.. Ничего, Костя, не горюй! Пойдем, покажи мне твою нору.

Мы пошли к амбару.

— Прекрасно! — сказал «герцог». — У тебя, Костя, дача первый сорт. Вот только перин нет. Ты, Костя, возьми меня к себе квартирантом. Мой дворец сейчас ремонтируется, так мне на время нужна квартира. Возьмешь?

— Что ж, — говорю я притворно равнодушно, — живите, мне не жалко.

— Ну, так считай, что мы поладим. Жди, вечером приду.

Я хитрил. Мне не только не было жалко, но я был счастлив жить с веселым и добрым человеком, который знает столько интересных фокусов и так смело разговаривает с городовым.

С нетерпением я ждал вечера. А когда в дыре показалась голова и знакомый голос окликнул меня, я, уже не скрывая радости, живо отозвался:

— Здесь, здесь, герцог! Лезьте скорей!

«Герцог» влез, а вслед за ним, шурша и шелестя, вползло в освещенное лунным светом отверстие какое-то чудовище со вздыбленной шерстью.

Я схватил «герцога» за рукав и в страхе крикнул:

— Ой, что это?

— Это же охапка сена, которую я тащу за веревку!

Я засмеялся, а «герцог» сказал:

— Я, брат, не люблю спать на голой земле. Твердо. То ли дело на сене! И мягко, и запах приятный.

Он сделал себе и мне из сена постели и вытащил из кармана небольшой сверток:

— Вот принес кое-что поужинать, а свечку не захватил. В темноте, пожалуй, еще и рта не найдешь.

— Найдешь, — сказал я уверенно. — Я найду. А свечку можно мою зажечь.

Мы зажгли свечку и вставили ее в бумажный фонарик. Подполье осветилось голубым светом.

Я достал тарелку и нож; «герцог» вынул из свертка украинскую колбасу, помидоры, сладкий болгарский лук, хлеб.

Мы поужинали и улеглись на свои душистые постели.

— Тебе сколько лет? — спросил «герцог».

— Скоро десять будет. А вам?

— Мне уже тридцать один. А отец твой кто?

— Кастрюли паял, чайники. Он уже умер.

— А мой был дьякон. Не герцог, а дьякон. Про герцога я наврал. Я люблю шутить. Ты где учился?

— В церковноприходской.

— А я, брат, духовную семинарию окончил. Чуть-чуть меня попом не сделали, да я вовремя догадался драпу дать.

— А как вас зовут?

— Зовут меня Алексеем Евсеевичем. А проще Евсеичем. Вот

фамилия у меня неподходящая — Погребальный. Я человек веселый, люблю солнышко, траву, птиц люблю до страсти. На что мне такая фамилия?.. А ты что любишь?

Я любил многие вещи: фасоль с солеными огурцами, медовую халву, клюквенный квас, переводные картинки. Но об этом говорить я не решился, чтобы Евсеич не подумал, что я совсем еще маленький.

— Я тоже траву люблю и птиц. И еще людей люблю, которые добрые и веселые, вот как вы,— сказал я.

Евсеич помолчал.

— Эх, паренек,— и голос его стал ласковым,— жалко мне тебя! Сердце твое тянется к людям за теплом, как подсолнечник к свету, а дают тебе только пинки. Ну, какие у тебя радости? Бродягам борщ подавать? Ты, наверно, за всю жизнь и игрушки-то в руках не держал.

Я стал припоминать, какие у меня были игрушки, но вспомнить было нечего. Сапожная колодка, дверная ручка, кран от бочонка — разве это игрушки!

— А вы держали? — спросил я.

— О, да! У меня, Костя, хорошие игрушки были: и плюшевый медведь, и лошадка на колесиках, и заводной пароход. Одна игрушка и теперь еще сохранилась — в деревне, у старухи тетки в сундуке лежит. Это, брат, такая игрушка, что не налюбоваться. Случилось моему деду в Швейцарии побывать. Понравилась там ему эта штука, и он купил ее для своего сына, то есть для моего отца, значит, когда тот маленьким был. От отца она перешла ко мне. Вынимали ее из сундука только по большим праздникам, вот как берегли! Оттого и сохранилась она.

— Что же это за игрушка такая? — живо спросил я.— Заводной автомобиль, да?

— Нет, не автомобиль, их тогда еще не делали. Не автомобиль, а волшебная шкатулка. Сделана она из черного полированного дерева. На передней стенке три перламутровые кнопки. Нажмешь одну — поднимется крышка, и перед тобой цирк. Круглая, в золотом песке арена; на арене белая лошадка; на лошадке наездница в голубом блестящем платье, на ножках золотые туфельки, а в руке серебряный обруч. За лошадкой собака, за собакой кошка, за кошкой мышка. Нажмешь вторую — слышится малиновый перезвон. А когда нажимаешь третью, то лошадка, собака, мышка и кошка мчатся вскачь по кругу арены под веселый марш. Вот, брат, какая игрушка!

Я слушал, зачарованный.

— Вот бы мне взглянуть... хоть разок!

— Разок взглянуть? — спросил Евсеич.— Гм... да-а... — и задумался. Затем, как бы прервав какие-то мысли, решительно сказал: — Спать надо! А то мы с тобой до утра проболтаем.

Я послушно закрыл глаза, но уснул не сразу, растревоженный рассказом о волшебной шкатулке. Прекрасная наездница до того пленила мое воображение, что даже явилась ко мне во сне.

Мне снилось, будто я сижу за стойкой и подсчитываю медяки. Вдруг слышу цокот копыт. Дверь широко распахивается, точно от порыва ветра, и прямо в харчевню въезжает на снежно-белой лошади золотокудрая красавица с блестящим обручем в руке. Лошадь подходит к стойке и кланяется мне, а наездница гладит рукой ее серебристую гриву, смеется и говорит: «Вот, Костя, какая у меня умная лошадка! Хочешь покататься на ней?» Вдруг из кухни выскакивает хозяйка и грязным веником бьет лошадь. Я вижу на белой лошадиной голове грязные полосы, и это приводит меня в исступление. «Ведьма! Ведьма!» — закричал я, бросаясь на хозяйку со сжатыми кулаками... и проснулся.

Евсейч спал. Его ровное дыхание успокоило меня, и я опять заснул.

Утром Евсейч сказал:

— Ну, Костя, сегодня играем, завтра уезжаем. Больше трех дней мне не усидеть на месте. Привыкли ноги ходить, и никак их не удержишь. Завтра беру курс на Мариуполь.

Пришел Артемка, и от него мы узнали, что хозяйка «отошла» и теперь очень «нудится». Вчера целый день зевала, спать хотела, а посадить за стойку было некого.

Решили, что наступил самый подходящий момент для моего возвращения.

В харчевню вошли все трое: впереди Евсейч, за ним я, за мной Артемка.

— Мадам, — сказал Евсейч, галантно кланяясь, — на днях вследствие моего врожденного легкомыслия, житейской неопытности Кости и вашего африканского темперамента произошел весьма печальный случай. Позвольте уплатить вам восемь копеек и уверить вас, что веник имеет только одно назначение — мести сор. Я поклялся именем святой Пелагеи, покровительницы всех харчевен, что вы Костю отныне пальцем никогда не тронете. Бойтесь, мадам, превратить меня в клятвопреступника! В гневе я режу трактирщиц, как кур. Адью, мадам! Весной я ваш гость.

Затем он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал:

— Ну, Костя, до свиданья! До весны я побываю на родине, весной опять буду в ваших краях. Жди, Костя! Шкатулка будет твоя!

ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА

Я стал ждать весны; время тянулось медленно и тоскливо.

Осенью неделями моросил мелкий дождь. Не верилось, что когда-нибудь опять выглянет солнце, из земли полезут лебеда и калачики, а на каменных плитках харчевни высохнет наконец грязь.

Выпал первый снег. Все посветлело и прояснилось вокруг, даже стены харчевни, даже лицо хозяйки.

Прошли и лютый февраль и влажный март. И наконец над немощеной площадью заколебался прозрачный пар, и земляные дорожки между лавками стали быстро подсыхать.

Нетерпение мое возрастало.

Артемка, заходя навестить меня, всякий раз спрашивал:

— Ну, как, не было? — И, хотя весна еще только-только задышала, удивлялся: — Вот же как долго человек идет!

Что «человек идет», ни я, ни Артемка не сомневались.

— Не такой он, чтобы зря болтать, — говорил Артемка и добавлял: — Наверно, уже близко.

Дни шли за днями. На смену отцветшей в скверах сирени по всем улицам города забелела акация и тоже отцвела, усыпав тротуары высохшими белыми лепестками.

А Артемка все спрашивал:

— Ну как, не было? Ну чего он так долго идет?

Но когда и розы отцвели, в наши сердца закралось сомнение. Первым усомнился Артемка:

— А может, он идет, да не сюда?

— Как не сюда? — испугался я. — А куда же?

— Да мало ли на свете всяких городов! Их аж четырнадцать: Петербург, Ростов, Вареновка...

И вот однажды, когда хозяйка ушла к кому-то на крестины, а я уныло сидел за стойкой, в харчевню вошел седенький старичок. Не торопясь снял он свою котомку, отвязал жестяной чайник и вытер лысину красным платком.

— Сынок! — позвал он меня.

Я подошел.

— Покушать чего найдется?

Старик степенно поел, потом спросил кипятку и заварил чай. Он вынул из котомки и положил на стол кулек с вишнями, жестяную коробочку с сахаром и вязку бубликов.

— Чайку выкушать желаешь? — предложил он мне.

Я притащил еще одну чашку и уселся против деда.

После того как мы с удовольствием выпили по третьей чашке, дед сказал:

— Вот пью я с тобой чай, беседы беседую, а как зовут тебя, касатик, не знаю.

Узнав, как меня зовут и чей я сын, дед закивал головой:

— Так-так, приметы эти самые. Адрес правильный, в самую точку...— И вдруг неожиданно спросил: — Это, значит, тебе Алексей Евсеич обещал доставить машинку?

Я еле мог прошептать:

— Мне... Дедушка, миленький, а где же он?

— В бараке он заразном, в больнице, значит. Пробирался сюда, к морю. До Ростова мы шли вместе, а в Ростове его тиф подломил. В ночлежке на нарах мы рядом лежали, когда его в жар стало бросать. А как приехала будка, чтоб в барак его свезти, он и говорит мне: «Разденут меня, отберут одежонку и вещицы. Барахло-то при выписке назад отдадут, а шкатулку, что при мне, как пить дать, стянут. Так ты, дед, возьми ее с собой и отдай мальцу, которому я ее пообещал». Рассказал мне все приметы, где найти тебя, и показал, как эту шкатулку в действие приводить. На другой день пошел я в барак, чтоб, значит, повидать его или хоть бы узнать что про него, а фельдшер и говорит: «Ты, дед, сюда не ходи, не разноси лаптями заразу по всему свету. Коли умрет, так и без тебя умрет». Вот он какой, фельдшер-то этот!.. Ну, шкатулку я доставил тебе в исправности.

Дед наклонился к котомке, покопался в ней и, кряхтя, вынул что-то, завернутое в зеленую тряпицу.

— Вот она,— сказал он,— шкатулочка-то твоя. Заня-атная штука!

Как заколдованный смотрел я на руки деда, которые бережно протирали тряпочкой черную, тускло поблескивавшую шкатулку. Я видел на ней три белых перламутровых кружочка, от прикосновения к которым должна появиться прекрасная наездница, и боялся шевельнуться, чтобы не исчезли, как в сказке, и чудесный дед и волшебная шкатулка.

А дед все так же неторопливо объяснял:

— Замечай! Вот эту ручку надобно покрутить двенадцать раз: будешь крутить больше — пружинка лопнет, и твоему цирку крах наступит. Ну, считай: раз, два, три...

Я осторожно стал вращать рычажок.

— Стоп! — сказал дед.— Будет. Машина в полном заводе. Теперь нажимай на эту пуговку, а другой рукой придерживай крышку — пусть не враз отскакивает, не портит петельки зря.

Крышка отскочила, и я жадно впился взором в маленькую красавицу на белой лошадке.

Шкатулка была сделана прекрасно. Явственно были видны не только каблучки на золоченых туфельках наездницы, но даже белые коготки на лапках собаки. Трудно сказать, что меня больше восхитило: нежное ли лицо красавицы, блестящие глазки мышонка или свисавший набок розовый язычок собаки.

А когда после мелодичного перезвона колокольчиков лошадка,

собачка, кошка и мышка, точно по команде, поднялись на задние ноги, поклонились все в одну сторону и галопом помчались по кругу, я вцепился в дедов рукав и от восторга закричал.

В тот же момент за нашими спинами раздался хриплый бас:

— Ты где же это стащил шкатулку, старый колдун? Ах ты... Я вздрогнул, а дед поспешно поднялся со скамьи.

Перед нами, расставив широко ноги, стоял толстый околоточный надзиратель Горбунов, а из-за плеча его выглядывал городской Нестерчук. Я их хорошо знал: наша хозяйка, торгуя без патента водкой, каждый месяц задабривала Горбунова новенькими серебряными рублями и потчевала в своей комнате коньяком с лимоном; Нестерчук же частенько заходил выпить стопку водки «за здоровье мадам Сивоплясовой».

Дед, вытянув руки по швам и выпятив вперед грудь, по-военному ответил:

— Никак нет, ваше благородие, не извольте беспокоиться: шкатулочка не краденая.

— То есть как это не краденая? Не скажешь ли ты, воронье пугало, что нашел ее на дороге? А может, тебе подарила ее для забавы добрая барыня?

— Ваше благородие, позвольте объяснить: шкатулочка эта подарена вот этому мальцу. Он ее, почитай, год целый ждал. Алексей Евсеич, отца дьякона сынок, еще прошлым летом ему пообещал, да заболел тифом. Как ему, значит, невозможно самому-то двигаться, он и препоручил мне шкатулочку-то эту доставить.

— Какой Алексей Евсеич? Что ты врешь, старый пес! Где он, этот твой Алексей Евсеич?

— В бараке он, ваше благородие, в заразном бараке в Ростове лежит.

— В бараке? Сын отца дьякона в бараке лежит? Да ты что — смеяться надо мной вздумал?.. Нестерчук! Взять его! Тащи его, каналью, в участок!

И не успел я опомниться, как жирная красная лапа вырвала у меня из рук шкатулку.

— Конфискую! Краденая вещь подлежит передаче в казну.

Я вскрикнул и зубами вцепился в руку надзирателя. Но сейчас же отвалился в сторону от тяжелого тумака и ударился головой о стену. Искры брызнули у меня из глаз, и я потерял сознание.

Очнувшись, я увидел над собою мать с кружкой воды в руке. Ни полиции, ни деда, ни шкатулки в харчевне уже не было.

АРТЕМКА

Велико было мое горе! И хотя в голове у меня шумело, а из носа шла кровь, я все-таки отыскал Артемку и рассказал ему, что случилось.

— Ну, деда они выпустят, на что им дед, — сказал рассудительный Артемка. — Надают ему по шее и выпустят. Нос твой заживет. А шкатулка как же? Ее надо назад воротить.

Легко сказать — воротить!

Все-таки мы решили, что Артемка станет около участка и проследит, выпустят ли деда, и если выпустят, то расспросит его обо всем.

Полицейский участок находился в переулке близ площади. Часа через два Артемка вернулся в харчевню и рассказал о своих наблюдениях...

Артемка ясно видел в открытое окно участка голову и плечи деда. Старик что-то говорил и кланялся. Спустя минутку дед появился в дверях. Часто крестясь, он засеменил по переулку. Артемка в несколько скачков оказался рядом с ним.

— Постой, дедушка, минуточку! Я Костин товарищ, — отрекомендовался он. — Ну что, воротили тебе шкатулку?

— Куда там! — махнул дед рукой. — В казну забрали, так и скажи Косте. А мне велели из города уходить, чтобы в секунду тут не было... Вот они какие, слуги антихристовы! Еле ноги уволок... Надзиратель-то этот ка-ак даст мне...

В это время в дверях участка показался Горбунов.

Дед чуть не рысью припустил вдоль улицы. Под мышкой у Горбунова темнела шкатулка. Артемка пошел следом за надзирателем.

«В казну понес, — подумал Артемка. — Надо посмотреть, где она, эта казна».

Дом, в который вошел Горбунов, был небольшой, одноэтажный, с тремя окнами, прикрытыми от солнца деревянными решетчатыми ставнями. Артемка стоял перед ним и размышлял, почему казна имеет вид такого обыкновенного жилья.

Из калитки вышла старуха в грязной подоткнутой юбке и вылила на дорогу помой.

— Бабушка, казна тут помещается? — спросил Артемка.

— Тю, дурак! — удивилась старуха. — Горбунов тут помещается, надзиратель, а не казна.

Подождав, пока старуха скроется в калитке, Артемка подтянулся на руках и заглянул в окно. Он увидел кресла в белых чехлах и круглый стол, покрытый темной скатертью. Со стола прямо на него направила свое широкое жерло граммофонная труба. В комнате людей не было, и Артемка хотел было уже соскочить на землю, как шевельнулись две длинные занавески, раз-

дались в разные стороны и пропустили в комнату черноволосую женщину в туфлях на босу ногу и Горбунова. Надзиратель поставил на стол шкатулку и начал вращать рычажок.

В это время на улице слышался скрип чьих-то сапог. Артемка поспешно спрыгнул с карниза и рысью помчался в харчевню.

На следующий день Артемка не показывался: он помогал своему отцу-сапожнику. Но, вбивая в подошву деревянные гвозди, он ни на минуту не забывал о шкатулке. Перед закатом солнца он опять отправился к дому Горбунова и в харчевню явился уже в сумерки.

— Был, — сказал он. — Сейчас только оттуда. Ставни раскрытые. И колокольцы слышал. Забавляется Горбуниха чужой игрушкой. Ну ничего, мы свое возьмем! Завтра после работы отправимся туда вместе.

Весь следующий день я провел как в лихорадке. Часто выскакивал из харчевни и смотрел на солнце, скоро ли оно начнет садиться.

Наконец я потерял терпение, побежал к будке сапожника. Артемка сидел против отца на низеньком чурбане и с хрустом раз за разом втыкал шило в каблук чьей-то туфли.

— Бог в помощь, дядя Никита! — произнес я обычное приветствие. — Вам не пора кончать?

— Бог-то бог, но и сам не будь плох, — ответил Артемкин отец. — А кончать еще рано: видишь, сколько непчатого лежит!

Я с удовольствием втянул носом знакомый запах лака, смолы и мокнувшей в лохани кожи. Чтоб скоротать время, я попросил Никиту:

— Давай, дядя, я латку пристрочу! Ты не бойся, я умею. Меня Артемка уже учил!

Мы молча стали работать втроем. Но вот дядя Никита опустил плотно насаженный на колодку башмак и снял очки:

— Шабаш! Бросайте работу! Артемка, чисть селедку!

— Ты, батя, почишь сегодня сам, а то у нас с Костей времени нету, по делу надо спешить, — сказал Артемка.

Мы прошли площадь, свернули в переулок. Солнце было уже совсем низко. Еще немного, и оно скроется за зеленой крышей маслобойки.

Погружая босые ноги в мягкую, теплую пыль дороги, мы пристально смотрели вдаль.

— Ну что, далеко еще? — нетерпеливо спрашивал я.

— Дом вон он, да только не видать отсюда, раскрыты ставни или нет.

Спустя минуту Артемка сказал:

— Кажись, раскрыты... Так и есть, раскрыты. А ну, прибавь пару!

Мы перешли на рысь и вскоре очутились у дома Горбунова.

Здесь, у ворот, остановились и выждали, когда поблизости не стало прохожих.

— Момент подходящий, — шепнул Артемка.

Он открыл калитку и решительно вошел во двор. Я остановился у калитки. Мне хорошо были видны окна, выходящие на улицу, и Артемка, который стоял перед окном во дворе. Артемка оглянулся по сторонам, сплюнул, вынул из кармана губную гармошку и заиграл.

Белая занавеска заколебалась, сдвинулась, и в окне показалась молодая женщина. Сквозь глубокую лень, лежавшую на ее сытом чернобровом лице, проглянуло любопытство. Артемка еще немного поиграл, затем оторвал гармошку от губ, сплюнул и сказал:

— Тетенька, вы мне дайте копейку, так я вам и не то сыграю.

— А что же ты сыграешь?

— Да хоть бы и краковяк!

— Ну, играй, — сказала она, — а копейку я потом дам.

Артемка значительно взглянул на меня (я стоял так, что женщина не видела меня), приложил гармошку к губам и опять заиграл.

От волнения у меня перехватило дыхание. Я быстро оглянулся, сделал три скачка к окну, выходящему на улицу, и только поднимая руки, чтобы ухватиться за подоконник, как увидел, что с соседней улицы вышел мужчина и зашагал в нашу сторону. Я опустил руки и опять стал на прежнее место. Артемка взглянул на меня и поперхнулся.

— Разве ж это краковяк? — сказала женщина недоуменно. — Это даже и не поймешь, что такое.

— Нет, тетенька, краковяк! Вот ей-богу, краковяк! Что ж, я брехать буду?

— Ну ладно, играй что-нибудь другое.

Артемка снова сплюнул, вытер губы рукавом и сказал:

— Можно и другое.

Он поднял глаза к небу, как бы вспоминая, минутку подумал и опять заиграл. Женщина пренебрежительно фыркнула.

— Э, да ты больше ничего не умеешь! — сказала она и сделала движение, чтобы отойти от окна.

— Тетенька! — с отчаянием в голосе крикнул Артемка. — Подождите! За бога ради, подождите! Я ж вам сейчас стишки расскажу!

На ее лице опять проглянуло любопытство:

— Ну, говори.

Артемка взглянул на меня, и в этом взгляде, исполненном недоумения, отчаяния и возмущения, я ясно прочел вопрос: «Да чего ж ты стоишь, трус несчастный»? Я не знал, как дать ему понять, что к дому приближается прохожий, и смотрел на своего

приятеля молча и жалобно. Артемка порывисто вздохнул и часто затараторил:

Ну, так едет наш Иван
За кольцом на океан...

— Не хочу я тебя слушать,— сказала женщина и бросила к ногам Артемки копейку.— Бери и убирайся!

— Тетенька! — чуть не заплакал Артемка.— Да куда ж вы? Я ж вам сейчас такое покажу, что вы аж лопнете со смеху... Вот смотрите!..

Он сел на землю, пригнулся и большим пальцем ноги стал чесать у себя за ухом.

Женщина сначала смотрела с величайшим изумлением, затем упала грудью на подоконник и затряслась в неудержимом хохоте.

— Да ты что же, из цирка, что ли? — выговорила она, вытирая платочком выступившие от смеха слезы.

— Ага, тетенька, из цирка,— соврал Артемка не моргнув глазом.— Вот смотрите, как я умею! — И он пустился вприсядку, выкрикивая:

Эх, солдатска жизнь завяла:
Жалованья дают мало!
По три денежки на день —
Куда хочешь, туда день:
И на шило, и на мыло,
И чтоб выпить на что было.
Гоп, гоп, гоп, гоп!
И чтоб выпить на что было.

Женщина громко смеялась. Артемка бешено кружился. Вокруг никого не было. Я поднялся на подоконник, влез в комнату и схватил со стола свою шкатулку. Но второпях я зацепил ногой за стул. Женщина оглянулась и пронзительно крикнула. Только что я успел вскочить на подоконник, как в дверях появился Горбунов. Он был в форменных шароварах и в ночной сорочке: должно быть, отдыхал после обеда.

С ревом выскочил он вслед за мною в окно и понесся по переулку.

Мы с Артемкой бежали быстро и, вероятно, скоро скрылись бы от Горбунова, но, на нашу беду, экипажи пересекли дорогу. Горбунов оказался вблизи нас. Я слышал около себя его прерывистое дыхание. Чувствуя, что мне не уйти, я выпустил из рук шкатулку в расчете, что ее подхватит Артемка, и бросился под ноги Горбунову. Надзиратель с разбегу шлепнулся в пыль. В то же мгновение я услышал жалобный стон лопнувшей пружины. Полицейский, ударившись головой о шкатулку, проломил ее.

Я вскочил. Горбунов сидел впереди меня на дороге. Он щупал голову руками и ошалело таращил глаза. Я схватил шкатулку.

Минуты через три мы с Артемкой уже сидели в подполье и напрасно старались пробудить в шкатулке жизнь: в ней все было неподвижно и немо.

ПРОЩАЙ, ШКАТУЛКА!

Трое суток я почти не вылезал из подполья и все думал, как мне поправить шкатулку. Через ее проломанный бок были видны блестящие колесики, валики, пружинки. Я часами смотрел на таинственный механизм, стараясь разгадать его тайну. Перепробовал все винтики, гаечки и пружинки, но узнать, где случилась порча, не мог.

Когда на третьи сутки Артемка принес мне очередную тарань и горбушку хлеба, он застал меня до того огорченным, что и сам заморгал глазами.

— Ну, чего ты? — утешал он меня. — Вот же какой чудной! Починим, не бойся. Батька сказал, что надо в слесарную отдать, и сорок копеек дал. Починят! Еще лучше будет!

Мы завернули шкатулку в тряпочку и понесли ее в полуподвальное помещение с вывеской «Слесарная мастерская и починка примусов. Аснес и К°». Ни один старожил не помнил, чтобы в этой мастерской работал еще кто-нибудь, кроме самого Аснаса, но старик думал, что эта вывеска придает солидность его предприятию, и тщательно подновлял свежими красками слова «и К°». Он долго рассматривал шкатулку, дул на механизм, царапал ногтем стенки и даже нюхал их; наконец завернул шкатулку в тряпочку и вернул нам:

— Несите к часовщику.

— Дедушка, — сказал я, — возьмите меня в компанию!

Старик добродушно рассмеялся:

— Какая же ты мне компания? Таких, как ты, берут в ученики, а не в компанию.

— Ну, хоть в ученики.

Но Аснесу ученики не нужны. Он не знал, как самому прокормиться. Где уж тут лишний рот держать!

Часовщик тоже не взялся чинить шкатулку.

— Дядя, — сказал я, задыхаясь от волнения, — возьмите меня в ученики!

— Это ж для чего? Чтобы ты у меня часы выкрал, как эту шкатулку?

— Нет, дядечка, эта шкатулка не краденая. Эту шкатулку... Но часовщик не дал мне договорить:

— Ступайте, хлопцы, ступайте! Не надо мне учеников.

Так мы обошли почти все часовые мастерские в городе. Нигде не хотели чинить шкатулку, нигде не принимали меня в ученики.

И только в одной мастерской, где работало трое рабочих, мне повезло.

— Что ж,— сказал хозяин, выслушав мою просьбу,— пусть придет отец или кто там у тебя есть, может, и столкнемся: ученик мне нужен.

Когда мы подходили к подполью, Артемка сказал:

— Давай закопаем шкатулку, чтоб ее Горбунов не нашел. Пусть она лежит закопанная до того лета, а тем летом откопаем и заведем. Ты же до лета научишься починять?

— Научусь,— сказал я уверенно.— Я и новую такую сделаю. Вот увидишь, сделаю и подарю тебе.

Мы вырыли под амбаром ямку, устлали дно ее соломой и опустили туда завернутую в тряпочку шкатулку...

Надо ли говорить, сколько страданий принесли мне мои годы ученичества!

Я переменил много хозяев и городов, но всюду было одно и то же.

Вырыть шкатулку мне так и не удалось. Шли годы. Однажды я проездом заглянул в свой родной город, но на том месте, где когда-то стояли базарные лавки и наш амбар, я увидел зеленый сквер. Было это уже после революции.

Артемка и сейчас мой лучший друг.

Встретились мы с ним лет через пять, далеко от родного города. У Артемки было много приключений, и я расскажу о них в других повестях.



АРТЕМКА В ЦИРКЕ

ПРИЛИЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Началось это у Артемки с того, что нашел он пантомиму. Шел от моря, где ловил бычков, и нашел. Лежала пантомима в песке, недалеко от берега, только уголок высывался. Взял Артемка за уголок, потянул — книга; развернул, а печать какая-то странная: буквы крупные, редкие и не черные, а синие.

«Что такое? — подумал Артемка. — Книга какая-то не такая...»

Взял под мышку и принес к себе в будку.

Артемкина будка стояла на базаре среди таких же покосившихся и закоптелых будок. На ней еще сохранилась отцова вывеска — сапог и надпись от руки: «Мастер Никита Загоруйко, прием Заказов и Пачинка». Но все знали, что Никита Загоруйко умер два месяца назад, и обувь носили чинить в другие будки. Если же случались такие, что не знали о смерти Никиты, то постоят, посмотрят, покачают головой — дескать, еще испортит малец — и уйдут. Досадно было: ведь Артемка мог не только

латку поставить, но даже новые головки притачать, а вот не доверяют. Если б не удочка, хоть умирай.

Артемка почистил бычки, вывалял их в муке и положил на сковородку. И тут, нагнув голову, чтобы не набить шишку, вошел учитель Борис Николаевич, у которого Артемка обучался в приходской школе:

— Косячки на каблуки поставить можешь?

Обрадовался Артемка, но виду не подал. Взял туфли, повернул вверх подошвой и деловито оглядел.

— Это можно,— сказал он, как говорил отец.

— А долго будешь делать?

— Да сейчас же при вас и сделаю.

Артемка обстругивал острым ножом подошвенную кожу, а учитель сидел на чурбане и дымил папироской.

— Так, значит, и живешь один? — спросил учитель.

— Так, Борис Николаевич, и живу.

— Ну, а зарабатываешь как? На жизнь хватает?

Артемке хотелось пожаловаться на недоверчивых заказчиков, но не позволила гордость.

— Сами знаете, какие нынче времена: здорово не разживешься. Ну, а все-таки жить можно. Кому раз почию, тот уж другому не понесет.

— Да-а...— сказал учитель раздумчиво.— Ты скорее подрастай да женись. А то что ж так...

Артемка промолчал.

Учитель взял со стола запыленную книжку и вслух прочитал:

— «Тарас Бульба. Пантомима по повести Н. В. Гоголя». Что такое? Пантомима? — удивился он.— Откуда это у тебя?

— А это я в песке нашел. Возле моря. Хотел было почитать, да разве за работой успеешь.

— Подожди,— сказал учитель.— Что это я недавно читал? Ну да, так и есть, в газете объявление было от цирка: «Утеряна пантомима «Тарас Бульба». Нашедшего просим вернуть за приличное вознаграждение». Ясно, это и есть она. Тащи ее в цирк, да смотри не продешеви.

Артемка с интересом взглянул на книжку.

— А какое это такое — приличное?

— Приличное? Ну, значит, хорошее, не обидное для той личности, которая принесет. Рублей пять, а то, может, и десять.

Когда учитель ушел, Артемка достал с полки маленькое зеркальце и долго рассматривал себя: зеленые, как у кошки, глаза, нос гургулькой и желтые, выцветшие на солнце волосы,— нет, десять не дадут.

Артемка причесался, аккуратно завернул в газету книжку, как делал это с башмаками, когда отец посылал отнести их заказчику, и пошел к цирку.

Цирк был круглый, деревянный, большой. Оттого, что на всей площади, кроме него, не было других построек, он казался важным. На стенах, около входа, висели афиши, а на афишах боролись полуголые люди с вздувшимися мускулами, стояли на задних ногах лошади, кувыркался рыжий человек в пестром капоте. Ворота цирка оказались раскрытыми, и Артемка вошел в помещение, где стояли буфетные столики с досками под мрамор. Малиновая бархатная портьера прикрывала вход куда-то дальше. Артемка постоял, прислушался. Никого. Даже окошечко кассы задвинуто. Тихонько приподнял портьеру — запахло свежими стружками и конюшней. Шагнув вперед, Артемка увидел круглую площадку и невысокий круглый барьер, а за барьером вокруг площадки поднимались деревянные скамейки все выше, выше, чуть ли не к самому потолку. У Артемки даже в глазах зарябило — так их было много. А над кругом, высоко, как в церкви, на толстых голубых шнурах висела трапеция.

«Вот это самое и есть цирк, — подумал Артемка. — Огромный!»

Напротив распахнулась портьера, и оттуда выскочил маленький лысый человек. Он ударился ногами о барьер, подскочил, перевернулся в воздухе и сел на древесные опилки, которыми был усыпан круг:

— Добрый вечер! Как вы поживаете?

Артемка удивился: был ведь еще день. Но все-таки ответил:

— Ничего. Помаленьку.

Человек быстро повернул в его сторону голову, встал и сердито сказал:

— Дурак!

Артемка обиделся:

— Я не дурак. Я пантомиму принес за приличное вознаграждение.

— Какую пантомиму? — нахмурился лысый человек.

Он подошел, взял из рук Артемки книгу и развернул ее:

— Ага! Вот оно что. Нашлась, значит. Ну, неси ее хозяину. Вон туда, — показал он на портьеру.

Артемка пошел к портьере, а лысый человек быстро просунул голову и руки себе под ноги, заквакал и по-лягушечьи запрыгал по кругу.

«Вот чудак!» — усмехнулся Артемка.

Он уже протянул руку, чтобы раздвинуть портьеру, но в это время она распахнулась сама и, чуть не сбив Артемку с ног, на арену промчалась огромная бело-розовая свинья. Лысый взвизгнул, вскочил на свинью верхом, а руками схватил ее за уши. Пронзительно вереща, свинья помчалась по кругу, а лысый залаял так, что Артемка даже оглянулся — не гонится ли за ним собака.

«Ну, цирк!» — удивился Артемка.

Он раздвинул портьеру, сделал несколько шагов и остановился. Направо и налево, закругляясь, шел коридор. Откуда-то скупно пробивался дневной свет. Подумав, Артемка повернул направо. По одну сторону смутно вырисовывались деревянные переборки, как в конюшнях; другая стена была глухая. Артемка остановился, прислушался.

За одной из переборок он услышал сдержанный говор. Думая, что здесь и находится хозяин, Артемка осторожно приоткрыл дверь и очутился в небольшой, разукрашенной афишами комнате. На топчане, лицом вниз, лежал огромный человек в желтых ботинках на толстой подошве и всхлипывал. Шея и руки его были иссиня-черные, а волосы курчавые и тоже черные. Чуть поодаль на табуретке сидел дед с большой розовой шишкой на лысой голове и утешающе говорил:

— А ты не обращай внимания, не расстраивай себя. Все они жулики и фараоны. Плюнь!

«Наверно, американские», — подумал Артемка про ботинки. А о самом человеке решил так: «Какие-то жулики и фараоны вымазали ваксой ему руки и шею, оттого он и плачет. А деду шишку набили».

Мужчина повернулся, и Артемка увидел, что и лицо у него было черное.

— Он мне сказал: «Ти черний дьявол. К твоей черний морда никакой белий краска не ляжет. Это, сказал, нигде видно не бил, чтоб черний рожа играл белий человек».

«Негр!» — догадался Артемка.

— Дурак он, потому так и говорит, — отвечал дед. — Плюнь!

— Он мне сказал: «Ти борец, ти не есть актер. Публик смеяться будет».

— Ну и дурак! Другие же борцы играют!

— Я сказал: «Другие борцы играют». Он сказал: «Другие борцы белий, а ти — черний».

После этих слов негр опять всхлипнул и горестно, как-то по-старушечьи закачал головой.

Артемке стало жалко его.

— Эх, — сказал он, — как обидели человека!

Дед и негр одновременно повернулись к дверям.

— Чего тебе, хлопчик? — спросил дед.

— Пантомиму принес, — сказал Артемка. — За приличное вознаграждение.

— Пантомиму?.. — Дед подумал и решительно сказал: — Не требуется. Неси в театр. Там, может, примут.

— Зачем в театр? — поднялся негр. — Ти «Бульба» нашел?

— «Бульбу».

— Эта пьяная Самарин потеряла.

— А-а,— догадался дед,— это про которую в газете объявляли? Где же ты нашел?

— В песке, на берегу.

— Ишь куда его нелегкая носила! Это он угорел от водки и полез ночью в море. Ну, неси хозяину. Пойдем, я покажу где.

— А вы не хозяин? — спросил Артемка.

— Я? — удивился дед.— Нет, хлопче, я не хозяин, я сторож. А хозяин сбоку кассы сидит. Все опасается, как бы кассир не убежал. Вот и хозяин, а тоже вроде сторожа. Ну, пойдем. Сейчас он тебе монету отвалит, держи карман!

Артемка пошел вслед за сторожем по коридору. Узнав, что дед — сторож, Артемка перешел на «ты»:

— Кто это тебе, дед, шишку набил?

— Шишку? — Дед провел рукой по голове и добродушно ответил: — Она у меня, хлопче, отроду тут сидит. Только раньше ее волосья закрывали, а теперь волосья, понятное дело, вылезли.

— А тот негр, чего он плачет?

— Роли не дают, вот он и плачет.

— А тебе дают? — спросил Артемка, думая таким образом узнать, что такое роль.

— Моя роль — в колотушку стучать да смотреть за вашим братом, чтоб чего не сперли.

— А разве крадут?

— А то кладут? — Дед показал на дверь: — Сюда вот иди, тут он.

На двери, как и на Артемкиной вывеске, надпись была сделана от руки и тоже, вероятно, разведенной в воде сажей: «Дирекция».

Артемка приоткрыл дверь. За столом сидел смуглый человек с горбатым носом и щелкал на счетах.

— Чего тебе, мальчик? — спросил он сюсюкая.

— Пантомиму принес за приличное вознаграждение,— сказал Артемка и подошел к столу.

Мужчина взял книгу, внимательно осмотрел ее:

— Где ты нашел?

— В песке, на берегу.

— О, хороший мальчик, хороший! Ну, иди.

— Куда?

— Домой иди, чтоб мама не беспокоилась.

— А вознаграждение? — удивился Артемка.

В свою очередь удивился и мужчина:

— Какое вознаграждение?

— Приличное, вот какое! — ответил Артемка.

— А-а! — вспомнил хозяин.— Можно, это можно.

Он обмакнул перо, что-то написал и подал Артемке маленький листок бумаги.

— Что это? — спросил Артемка, недоверчиво глядя на листок.

— Контрамарка. Придешь сегодня вечером на галерку. Бесплатно.

— И все?

— Все, — ответил хозяин.

— А деньги?

— Деньги? — У хозяина поднялись вверх брови и выпучились, как у рака, глаза. — О, какой нехороший мальчик, какой нехороший мальчик, тца-ца-ца!..

Артемка вспомнил, каким видел себя в зеркале, и пошел к двери.

«КАКОЙ БОЛЬШОЙ СПАСИБО!»

Нельзя сказать, чтобы Артемка очень огорчился. Конечно, деньги ему пришлись бы кстати: он отощал, да и поизносилось на нем все. Но попасть на представление в цирк тоже неплохо.

Едва стало темнеть, как Артемка ходил уже вокруг цирка и заглядывал во все щели. Было рано, в цирк не пускали даже с билетами, не то что контрамарочников. Но когда стемнело, со всех сторон к цирку повалил народ. Зазвонили в колокольчик, и люди стали занимать места. Те, кто был одет получше и от кого приятно пахло, пошли через нижний вход, а прочие полезли вверх по лестнице. Артемка тоже взобрался по лестнице и предъявил листок. Билетер поднес контрамарку к самым глазам, подозрительно оглядел Артемку, но все-таки пропустил.

На галерке люди стояли, навалившись на барьер. Артемку сжали со всех сторон, он не замечал этого и жадно смотрел на арену. Теперь цирк ему показался совсем не таким, как днем. Днем здесь было пустынно, все казалось серым, тусклым. Сейчас же ослепительно горели огромные круглые фонари и на всех скамьях, сверху донизу, сидели разодетые, как в праздник, люди и обмахивались веерами.

Вот под звуки духового оркестра распахнулась бархатная портьера, по обеим сторонам арены выстроились люди в одинаковой красно-желтой одежде, и мимо них прогарцевала гнедая лошадь с белой гривой и белым хвостом. У Артемки в предчувствии чего-то необыкновенного даже похолодело в груди. Наверно, лошадь долго купали и чистили — так она блестела. На ней было невиданно широкое седло, а на седле — расшитый цветами ковер. Вслед за лошадью выбежала белокурая красивая женщина в голубом с блестками платье. В волосах ее сверкала и переливалась разными цветами звезда. С разбегу артистка вскочила на лошадь и двумя руками послала всем — и Артемке — поцелуй.

И тут Артемка вспомнил волшебную шкатулку вот с такой же красавицей на белой лошадке и радостно замахал наезднице рукой. Наездница танцевала, становилась на голову, прыгала сквозь обруч, оклеенный разноцветной бумагой, а посредине арены, будто заведенный, крутился человек в сером фраке и сером цилиндре и шелкал длинным кнутом.

Потом люди в красно-желтой одежде засуетились, вытащили две блестящие подставки и высоко натянули между ними стальной канат. Выбежала чернокудрая девочка. Она взобралась вверх по лестнице и заскользила по канату. Оркестр заиграл вальс. В каждой руке девочка держала по большому розовому вееру и, когда танцевала, была похожа на красивую бабочку.

И все, кого Артемка увидел в этот вечер на арене, навсегда остались жить в его памяти: и ловкие жонглеры с блестящими шарами, и огненно-красный черт, от полета которого захватывало дух, и клоуны, и потешные медвежата-музыканты...

Когда появился лысый человек и крикнул: «Добрый вечер! Как поживаете?», Артемка, как старому знакомому, живо ответил с галерки: «Ничего! Живем!», чем и насмешил всю публику.

Но самым интересным было все же третье отделение. Как только заиграла музыка, все насторожились, даже с мест стали подниматься. На арену вышел человек с бритым лицом, в модном сером костюме, поклонился и поднял руку. И сейчас же музыканты послушно смолкли.

— Кальвини, Кальвини! — зашептали в публике.

Зычным голосом мужчина сказал:

— Семнадцатый день международных состязаний по французской борьбе на оспаривание звания чемпиона мира и почетной ленты через плечо!..

Он опять поднял руку вверх:

— Парад! Алле! Маэстро, марш!

Грянула музыка. И тут на арену один за другим стали выходить полуголые великаны с голубыми, розовыми и красными лентами через плечо. Борцы шли по кругу, упругисто ступая по усыпанной опилками арене, и каждый становился на свое место. А когда появился стройный черный великан, Артемка даже перегнулся за перила. Кальвини снова поднял руку — музыка оборвалась.

— Рекомендую прибывших борцов! — обращаясь к публике, сказал Кальвини.

Он выкрикивал имена, а борцы делали два шага вперед, раскланивались и опять становились на свое место. Одним публика хлопала еле-еле, другим же кричала «браво» и бросала цветы.

— Победитель международных состязаний в Лондоне, — Кальвини взял тоном выше, — чемпион ми-ира Клеменс... — Он сделал паузу, поднялся на носки и крикнул: — Гуль!

Цирк точно треснул, так дружно хлопнули все в ладоши.

Клеменс Гуль, сияя белизной своего тела и улыбкой, короткими кивками благодарил публику и ловил на лету цветы.

Кальвини подождал, пока стихли приветствия, и, все так же повышая тон, отрекомендовал:

— Победитель на международных состязаниях в Гамбурге, Риме, Бухаресте, борец-атлет, чемпион мира черный Чемберс Пепс!

Пепсу тоже здорово похлопали, но цветов не дали.

«Эх,— подумал огорченно Артемка,— черному и цветов-то жалко! Кабы знал, я бы ему целый куст с розами притащил...»

После парада началась борьба.

Сначала публика смотрела довольно равнодушно, но все изменилось, как только на ковер вышел чемпион России Иван Кречет и борец в голубой маске. Борец в маске бросал Ивана Кречета через бедро, через голову, поднимал на вытянутых вверх руках и бешено кружил в воздухе, мямл, ломал, комкал и не давал ему ни минутки передышки, но Кречет выскальзывал, пружинно взмывался над противником и, в свою очередь, бросал его на ковер. Кальвини бегал вокруг борцов, держа наготове свисток, и выкрикивал приемы: «Тур-де-тет! Бра-руле! Двойной нельсон!» А на скамьях вскакивали с мест, кричали, свистели, хлопали.

Артемку цирк привел в восторг. За всю жизнь он не видел столько богатых, ярких нарядов, блеска и ловкости, как за один этот вечер. Долго он потом ворочался ночью в своей будке на скрипучей деревянной лавке, и ему все представлялось множество скамей, а на скамьях сидят люди и обмахиваются веерами.

На другой день Артемка опять явился в цирк — и прямо к греку-хозяину.

— Что тебе, мальчик? — нахмурился тот.

— Вы бы мне еще билетик дали на галерку, — попросил Артемка.

— О, какой нехороший мальчик! Все ходишь и ходишь... Савелий! Савелий!

Пришел дед Шишка, как мысленно назвал сторожа Артемка.

— Зачем пускаешь посторонних? Выведи мальчика по шее.

— Разве ж убережешь! — проворчал дед. — Они во все щелки лезут... Пойдем!

Дед шел впереди, Артемка позади.

— Дед, — сказал Артемка, — давай я тебе латку на сапог поставлю. Смотри, дырка какая.

— Еще чего! — сердито ответил дед.

Но уже через минуту, помолчав, миролюбиво спросил:

— А ты сапожник разве?

— А то кто же!

Опять помолчав, дед сказал:

— Ну, допустим. Только как же я, к примеру, в одном сапоге ходить буду?

— Да разве ж это долго? К обеду я тебе и принесу.

— А ежели совсем не принесешь? Так мне всю жизнь и ходить в одном сапоге?

— Дед,— строго сказал Артемка,— ты Никиту Загоруйко знал? Спроси у людей: украл он хоть один сапог за всю жизнь? А я, брат, весь в него!

В этот день у Артемки было дел по горло: поставить деду на сапог латку — раз, незаметно прокрасться в сад к купцу Адабашеву, где росли красные розы,— два и, в-третьих, поймать хоть пяток бычков.

Больше всего ушло времени на купца Адабашева. Перелезть через забор было нетрудно, но на веранде долго сидели гости, пили чай и закусывали. Артемка лежал в кустах и ругался. И все-таки дождался...

Еще не стемнело, как Артемка уже сидел в комнатушке деда Шишки.

Дед натягивал начищенный до глянца сапог и, любуясь, говорил:

— Смотри, как разделал! Прямо зеркало или, к примеру, экипаж.— Он был очень доволен и сам сиял, как сапог.— Ну, а насчет представления — это мы устроим. Скажу билетеру, чтоб всегда беспрепятственно... Внук, скажу, мой — и всё тут. Пусть только не пропустит!..

В тот вечер боролись два чемпиона мира: Клеменс Гуль и Чемберс Пепс. Еще с утра у кассы выстроилась очередь. Поклонники и в особенности поклонницы Клеменса Гуля принесли с собой в этот вечер массу цветов, и, когда Кальвини, вытягиваясь на носках, бросил, как боевой клич: «Гуль!», к ногам англичанина со всех сторон полетели цветы.

Казалось, оба чемпиона решили в этой встрече показать всю свою силу, ловкость и технику. Расчетливая медлительность Гуля вдруг сменялась молниеносным броском, тем более красивым, чем он был неожиданнее и для противника и для зрителей. Пепс нередко смешил публику простодушным удивлением, когда получал энергичный и быстрый отпор. «Ну, что ты скажешь!» — огорченно отступал он и снова набрасывался на Гуля. Но, конечно, Пепс был и более силен и более ловок, да и техникой он не уступал Гулю. Галерка очень хотела его победы. Наоборот, в ложах хлопали только Гулю, а по адресу Пепса выкрикивали разные злые словечки.

На девятнадцатой минуте Пепс приемом тур-де-тет бросил Гуля через голову. Падая, Гуль ловко стал на ноги. Но не успел он

выпрямиться, как Пепс с помощью того же приема опять заставил его описать в воздухе дугу. На этот раз Гуль пошатнулся, но на ногах все же удержался. И сейчас же опять взлетел вверх, подброшенный с помощью того же приема. Так семь раз подряд черной молнией набрасывался на него Пепс, и, не выдержав, Гуль бросился бежать. Пепс гортанно крикнул и понесся за Гулем. Но тут в ложах и на скамьях поднялся такой вопль, такие яростные крики: «Неправильно!», «Долой Пепса!», «Вон!», что бедный негр остановился и растерянно стал поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, откуда неслись улюлюканье и свист. Кальвини протягивал руки к публике, умоляя успокоиться, но голос его тонул в общем геме, вопле и свисте. Галерка сначала с недоумением следила за всем происходившим, но затем возмутилась и, в свою очередь, так закричала, что в нижних ярусах охнули и заткнули пальцами уши.

Пепс стоял посреди арены, растерянно озираясь и гневно поблескивая белками глаз. Вдруг он протянул вперед руки. Подождав, пока все смолкли, он тоном глубокого упрека сказал:

— Зачем ты кричишь? Зачем? Спроси Кальвини, он скажет: я правильно делал прием. Ты кричишь потому, что я черный.

Он хотел еще что-то сказать, но Кальвини засвистел и торопливо объявил, что первая встреча чемпионов мира закончилась ничьей. Борцы пожали друг другу руку. Им бурно захлопали. К ногам Гуля полетели опять цветы. Сияя улыбкой, он ловко ловил их и кланялся. Пепс молча следил за полетом цветов и как-то пугливо отстранялся, когда они проносились близко от него.

Вдруг с галерки раздался крик, такой звонкий и радостный, что все невольно посмотрели вверх:

— Пе-епс, держи! Это тебе!

Пепс поднял голову. С галерки, над головами публики, летел к нему... целый куст, зеленый, свежий, весь в огромных пунцовых розах.

Галерка восторженно закричала и захлопала.

Пепс положил руку на сердце и, глядя вверх, растроганно сказал:

— О мальчик! Какой большой спасибо!

РЫБОЛОВЫ

Вскоре Артемка стал в цирке своим человеком. Прямо с моря он шел к деду в комнату и там на керосинке жарил улов. Потом они оба садились за стол и с удовольствием ели сладких бычков. Если в комнату заходил кто-нибудь из артистов, дед кивал в сторону Артемки и объяснял:

— Внучок мой. Сапожный мастер. Ну, и рыболов, конечно.— Деду и впрямь стало казаться, что Артемка ему внук.— Способный парнишка — страсть! — хвастался он, выставляя вперед ногу в начищенном сапоге.— У нас в роду все способные.

Дед тоже пришелся Артемке по душе. Особенно Артемке нравилась независимость дедовых суждений: ни одно распоряжение администрации старик не исполнял без воркотни и презрительной гримасы. Бывало, скажут ему:

— Дед, подмети арену. Видишь, мусору сколько!

— Как это — подмети? — говорил дед.— Разве ж арену метут?

— Ну, прочисть граблями.

— Так бы и говорили! А то приказывают и сами не знают, чего приказывают. Начальники!

Дедова комната тоже нравилась Артемке. Правда, из мебели в ней было лишь два топчана да простой, без скатерти, стол. Но зато стены были сплошь оклеены разноцветными афишами, и даже там, где полагалось висеть иконе, красовался знаменитый бельгийский акробат Альберт Бюсси.

Однажды Артемка встретил в коридоре девочку-канатоходца. Она была в простеньком платье, но вблизи показалась Артемке еще более красивой, чем с галерки. Сощутив глаза, девочка выжидательно смотрела на подходившего Артемку. Он уже хотел заговорить, как она фыркнула и нараспев поддразнила:

Шишкин внук
Съел весь лук.

— Дура! — сказал Артемка и показал ей язык.

Он прошел мимо, но потом вернулся, сел перед девочкой на землю и большим пальцем ноги почесал у себя за ухом.

— Ты человек-лягушка? — спросила девочка, перестав смеяться.

— Я человек-сапожник, — ответил Артемка.— Я могу тебе такие туфли сделать, в каких и царева дочка не ходит!

Девочка подумала и согласилась.

— Хорошо, — сказала она, — сделай мне такие туфли.

— А товар у тебя подходящий есть? — спросил Артемка.

Он постоял и, не дождавшись ответа от озадаченной девочки, пошел дальше.

Но самым замечательным было не это.

Как-то сидел Артемка на топчане в дедовой комнате и наматывал новую леску на удище. И тут вошел Пепс. С тех пор как Артемка бросил ему целый куст роз, им встречаться не случилось. Увидев теперь Артемку, Пепс радостно сказал:

— О, какой приятный встреча, какой приятный встреча! — и протянул Артемке обе руки. Потом сел на топчан, открыл в

улыбке свои белые зубы и молча погладил Артемку по голове.

Артемка смотрел на Пепса и не знал, что бы такое сказать ему приятное. Нагнувшись, он пощупал ботинки Пепса:

— Товар — первый сорт. Такого, верно, и в Петербурге не найдешь. Дорого заплатил?

— Пять долларов, — сказал Пепс, все так же улыбаясь.

Артемка не знал, что такое доллар, но солидно подтвердил:

— Такие стоят. Главное, товар крепкий. За такие и шесть дашь — не прогадаешь. — И неожиданно для себя, в порыве дружеского чувства, предложил: — Пойдем бычков ловить!

— Зачем? — удивился Пепс.

— Ну как «зачем»! Наловим, потом зажарим и съедем.

Удивление Пепса перешло в испуг.

— О-о, — закачал он головой, — это нет позволено — чужой бик жарить. Я не хочу тюрьма сидеть.

— Эх, ты! — сказал Артемка сочувственно. — Не понимаешь! Вот смотри. — Он показал на удочку: — К морю пойдем, будем рыбу ловить.

— О, это хорошо, это очень хорошо! — радостно закивал головой Пепс.

Он сейчас же поднялся и надел шляпу:

— Когда я бил мальчик, я очень хотел риба ловить. Мой патрон это не позволил. Я очень плакал...

Они вышли на улицу. У Артемки в руках коробка с червями и ведро для рыбы; Пепс несет потертый коврик и две удочки, такие длинные, что чуть не цепляет ими за телеграфную проволоку. Все на них оглядываются: ишь, мол, негр с мальчиком рыбу идет ловить.

Артемку так и распирает от гордости.

— Которые не понимают, те идут на банный спуск удить. А там разве бычок? Курям на смех, — говорит он. — Тем бычком и воробья не накормишь. А мы пойдем на мол.

Артемке казалось, что уважение к нему негра возрастет, если тот узнает, каких больших бычков ловит Артемка.

— Там во бычок! — повторяет он, отмеривая себе руку до локтя.

И вот они на молу. Сидят, свесив ноги. А внизу — сваи, позеленевшие и скользкие. О них тихонько плещет вода. В порту скользят гички и часто-часто стучат моторки. К причалу идет огромный, будто весь сшитый из ржавых листов железа грузовой пароход. Он трубит тяжким басом, и на взволнованной им воде, как ореховые скорлупки, прыгают лодки.

У Артемки то и дело ныряет поплавок. Он уже вытащил семь увесистых бычков. Поплавок Пепса спокойно лежит на воде, и это Пепса возмущает.

— Ну что ты скажешь! — говорит он с той же интонацией, что

и на арене, когда противник не ложится на лопатки.— Не хочет кушать моя удочка.

— Смотри,— учит Артемка,— вот как надо!

Он насаживает червя на крючок и, поплевав, ловко забрасывает грузило в воду. Через несколько секунд поплавок ныряет.

— О-о,— восхищается Пепс,— ты хороший охотник на рыба! Ты на рыба чемпион!

Постепенно вокруг них собираются зеваки. Они разглядывают Пепса, шепчутся. Пепс к подобному вниманию давно привык. Артемка же сначала гордится, но потом ему начинает казаться, что в этом есть что-то обидное.

— Ну, чего вы уставились? — не выдержал он.— Что, у него рот до ушей или на макушке капуста растет? Выпучили, как рыбы, глаза! Зеваки чертовы! То-то делать нечего!

Он хотел прибавить еще несколько слов, но Пепс вдруг радостно закричал:

— Клювает! Артиомка, клювает!

И на мол шлепнулся большой черный бычок.

...Подсолнечное масло вышло еще третьего дня, и, пока Артемка чистил в дедовой комнате бычков, Пепс сам сбегал в лавочку за маслом и хлебом. А потом, когда сели за стол, шурил, как и Артемка, глаза и умиленно повторял:

— О, какой сладкий!

— Определенно,— поддакивал дед.— Не рыба, а, к примеру, бекмес.

— О, Артиомка — чемпион на рыба! — восклицал Пепс.— Пожалуйста, о пожалуйста, будем завтра ловить рыба!

В этот вечер Пепс боролся в первой паре. За несколько минут он уложил противника, наскоро раскланялся и ушел с арены. А немного спустя посетители галерки с удивлением и любопытством смотрели, как он, уже одетый в свой коричневый костюм, пробирался между ними, кого-то ища. В самом конце галерки он взял за плечо стиснутого между людьми парнишку и вместе с ним вышел на лестницу.

— Слюшай,— торопливо заговорил Пепс,— Шишка сказала — хороший рибашник ходит ночь ловить рыба. Ночь рыба очень клювает. Пойдем, Артиомка, мы очень много бичков поймайт.

— Что он выдумывает! — удивился Артемка.— Ночью рыбу не удят. Он пьяный, наверно?

— Нет, Шишка не пьяная. Шишка трезвая. Пойдем, Артиомка!

— Ну ладно, только давай досмотрим борьбу.

— Зачем смотреть? Пойдем, Артиомка, пожалуйста, пойдем! — попросил Пепс.

— Ну, пойдем, если тебе так хочется,— согласился Артемка.

И вот опять у ног их плещется вода. В воде дрожат звезды. Вдали скользит черный силуэт лодки. Тихо так, что слышно, как скрипят в уключинах весла.

Пепс и Артемка смотрят на поплавки. В ночной темноте они еле видны: глаз то улавливает их, то вновь теряет, и от этого кажется, что они ныряют.

— Клювает...— шепчет Пепс и подбрасывает удилище.

Но крючок пуст, даже червяк не съеден.

— Ну что ты скажешь! — жалуется негр.

— Слушай, Пепс,— говорит Артемка, потеряв терпение,— что ты ночью делаешь? Спишь или не спишь?

— Спишь,— отвечает Пепс.

— А может, бегаешь по улицам, борщ с котлетами ищешь?

— Нет, я спишь.

— Ну, а рыба, по-твоему, что делает ночью?

Пепс молчит. Потом спрашивает неуверенно:

— Рыба тоже спишь?

— Ну да! Когда ж ей спать, как не ночью!

— Значит, Шишка пьяная,— решает Пепс и сматывает удочки.

Но уходить не хочется. В городе духота, а здесь прямо в лицо дует свежий ветер.

Пепс растягивается прямо на молу, только коврик под головой. Артемка примащивается рядом.

Сверху подмигивают звезды. Тихо, не жарко, и никто не глядит. Хорошо!

— Знаешь что? — говорит Артемка.— Ты бы мне рассказал про чужие земли. Там, верно, все в манишках ходят. Ты в Турции был?

— Бил. Я в каждой стране бил.

— Ну какие там люди?

— В каждой страна есть хороший люди и есть плёхой люди. Хороший бедный, плёхой богатый. Я бил Франции и очень плакал, потом бил Германии и тоже плакал.

Артемка вспомнил, как всхлипывал Пепс на топчане у деда, и спросил:

— Ну как, дали тебе роль?

— Нет, Самарин очень злая, очень, очень злая.

— Дед Шишка говорит, что роль — это в колотушку стучать. Правда это?

— О нет! Это глупа! Роль — это делать так, чтоб люди плакал, чтоб люди смеялся, чтоб у люди чувство хороший бил. Роль делает артист. Я очень, очень люблю артист!

Удивительные вещи рассказывает Пепс! Оказывается, можно сидеть в зале и за один вечер увидеть и услышать все, о чем сказано в толстой книге. Надо только, чтобы артисты хорошо

делали свои роли. Когда артисты хорошо делают свои роли, то люди думают, что так все и есть на самом деле, как показывают артисты. И тогда люди и плачут, и смеются, и ненавидят, и любят. А бывает и так, что артисты не разговаривают, а только всё руками объясняют. Тогда это будет называться пантомимой. И это тоже хорошо. Он, Пепс, очень хочет делать в пантомиме роль. Пепс плохо говорит по-русски, но ведь в пантомиме говорить не надо. В пантомиме Пепс тоже может играть, но Самарин не дает ему роли. А борьбу Пепс не любит. Борьба — блёф, обман.

— Как — обман? — не понимает Артемка. — Как же это обман?

И тут он узнает такое, от чего сразу тускнеет весь его интерес к борьбе. Оказывается, что чемпиона Греции Маргули Пепс мог бы положить на лопатки сразу же, на первой минуте, а положил только на пятой, потому что так велел Кальвини. Иначе публике будет неинтересно. Пепс может положить и Гуля, но ему никогда не позволяли класть Гуля, и всегда их борьба кончалась вничью. Вот и теперь его заставят заболеть, и первое место займет Гуль. Он, Пепс, может всех положить на лопатки. Он не может положить на лопатки только русского борца Ивана Поддубного, потому что Иван Поддубный сделан из железа. Пепс боролся с ним и в Лондоне, и в Петербурге, и в Брюсселе, и везде Поддубный клал Пепса на лопатки.

Потому Поддубный и называется не чемпионом мира, а королем чемпионов.

Пепс еще много рассказывает интересного. Но бледнеет небо, звезды сжимаются и пропадают, и уже явственно видны стоящие в порту баржи, и греческий пароход «Полонес», что привез лимоны, и огромный черный «Георг», в который уже пятый день сыплют и сыплют пшеницу.

— Ну, давай закинем, — говорит Артемка. — Теперь как раз время. Рыба рано просыпается.

И действительно, к тому времени, когда из воды только показался сверкающий край солнца, в ведрах у рыболовов уже плавало до полусотни черных увесистых бычков.

— О, какая умная Шишка! — удивлялся Пепс, вытаскивая бычка за бычком. — Очень, очень умная Шишка!..

СЧАСТЬЕ ПЕПСА

По городу ходит человек со скучным лицом. Он немного прихрамывает. В одной руке у него ведро с клейстером и помазком, в другой — сверток разноцветных листов бумаги.

Хромой человек клеит афиши не только на вертушках, но и на

всяком мало-мальски подходящем месте. Клеит он их и на Артемкиной будке. Раньше Артемка афиш не читал. Побывав же раз в цирке, он уже ни одной афиши не пропускал и читал все подряд, до самой последней и самой мелкой строчки, в которой говорилось, что афишу разрешил печатать полицмейстер подполковник Жуков.

Артемка знал, что в цирке готовят пантомиму. Иногда ему даже удавалось видеть, как собравшиеся на арену цирковые артисты, борцы и униформисты молча размахивают руками, дерутся деревянными мечами, кланяются, а Самарин, короткий, толстый человек с бритым лицом, стоит посредине арены и кричит:

— Где ваша мимика? Где ваша мимика, черт вас возьми?! Пахомов, сделайте улыбающееся лицо! Улыбающееся, я говорю, а не идиотское!

Артемка с любопытством ждал пантомимы и всякий раз выскакивал из будки, как только слышал, что снаружи по стене гуляет помазок.

Наконец появилась долгожданная афиша. Она была едко-зеленого цвета и вдвое больше обыкновенной. На афише стоял толстый мужчина в широченных штанах, на бритой голове косичка, усы вниз, и целился из ружья в черноусого красавца.

«Тарас Бульба», — прочитал Артемка название пантомимы и подумал: «Если б не я, не видать бы вам ни Тараса, ни Бульбы!»

— О, Артиомка! — услышал он сзади. — Я очень много искал твой фабрик. Где есть твой фабрик?

— Это и есть моя фабрика, — сказал Артемка с гордостью. — Короче, мастерская по починке обуви и заливке галош, или, что то же самое, сапожная будка.

Будка была закоптелая, вся в заплатках и мелких щелях. Пепс только покачал головой.

Потом он подошел ближе к афише и провел пальцем под крупной печатной строчкой: «Участвуют все артисты цирка и весь состав чемпионата».

— Это не есть правда, — сказал он.

— Так и не дал, значит, тебе Самарин роли?

— Нет, он очень плёхая, Самарин.

— Хулиган, короче, — сказал Артемка.

— Хулиган, — согласился Пепс.

Он вынул из бокового кармана небольшой томик и дал его Артемке:

— Вот, Артиомка, это я купил в магазине. Пойдем твоя фабрик. Я очень плёхо знаю русский слова. Ты будешь читать, я буду слушать. Я очень буду слушать.

Артемка развернул томик. Это были повести Гоголя, и в их числе «Тарас Бульба».

— О, — обрадовался Артемка, — это ты здорово приду-

мал! — И тут же встревоженно спросил: — А ты в будку влезешь?

Пепс взглядом измерил будку и уверенно сказал:

— Влезешь.

— Ну, пошли!

В будке Пепсу неудобно: спина согнута, голова упирается в полку с колодками, ноги — в стену. Но он, кажется, этого не замечает и не сводит с Артемки глаз.

Какая, однако, досада, что так часто попадаются непонятные слова! Пепс то и дело кладет руку на книгу и, прерывая чтение, спрашивает:

— Что есть свитка? Что есть отчизна? Что есть чертовы ляхи?

Артемке и самому многие слова непонятны. Все-таки, что знает, он объясняет:

— Свитка — это шуба, или, короче, пальто. Чертовы ляхи — это которые житья казакам не давали.

Но если отдельные слова и остались непонятными, зато во всем ходе событий Пепс разобрался прекрасно, и повесть пришла ему как нельзя больше по душе. Слушая ее, он вздыхал, качал головой, закрывал глаза и все шептал какие-то непонятные Артемке слова. К Андрию он отнесся презрительно в самом начале. А когда услышал, как тот, разнаряженный, выехал на великолепном аргамаке вместе с польскими шляхтичами, чтобы рубить своих же братьев-казаков, то гадливо поморщился и сплюнул в лохань.

— Такой сердце надо собакам бросать! — сказал он.

Зато от Остапа был в восторге и все повторял:

— О, Остап, о, это хорошая казак!

А когда Артемка прочитал: «Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап...» — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных», Пепс схватился руками за голову и застонал.

Наибольшее впечатление произвел на Пепса сам Бульба. Человек, убивший своего сына за измену родине и так страшно отомстивший поработителям, казался ему существом сверхъестественным. Он не спрашивал, существовал ли Тарас на самом деле; он видел Тараса как живого и пугал Артемку то гневными, то радостными выкриками.

Впрочем, Артемка и сам был захвачен не меньше.

За всю жизнь Артемка прочитал всего лишь две книги: «Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель». Но в этих книжках рассказывалось не о настоящей жизни, а о такой, какую выдумывают для забавы. Потому и отношение Артемки к книгам было такое же, как к забаве. А тут вдруг самые настоя-

щие люди, самая настоящая жизнь,— это Артемка почувствовал сразу.

Когда последняя страница была дочитана и Артемка поднял глаза на Пепса, тот сокрушенно покачал головой:

— Плёхо, о, плёхо!

— Как — плохо? — возмутился Артемка.— Что ты!

— Зачем искал люлька? Люлька можно другой купить. А другой Тараса нет.

— А ты чего хотел? Чтоб из Тарасовой люльки всякое барахло курило?

— Что есть барахлё? — спросил Пепс.

— Барахло? Ну, это такой человек, у которого вместо головы лохань, а совести никакой,— ответил Артемка.— Короче — дрянь. Понятно?.. Ой, да что это мне есть захотелось! — сказал Артемка.

Пепс взглянул на часы: было уже около трех.

— Ты сегодня кушал? — спросил он Артемку.

— Я нет сегодня кушал,— ответил Артемка, из озорства ломая язык.

— Почему? — наивно удивился Пепс.

Артемка хотел сказать, что у него такой характер — не кушать, но промолчал и отвернулся к окну.

Пепс некоторое время смотрел на него с недоумением, но вдруг испуганно заторопился:

— Пойдем, пойдем ресторан, Артиомка! О, Пепс, какой ты есть глупый дурак!

На площадке мраморной лестницы Артемка увидел в большом золоченом зеркале всего себя: полинялая рубаша без пояса, босые, в серой пыли, ноги, а на штанах бахрома. Заглянул Артемка в зал, а там хрустальные подвески на люстрах и лакеи в манишках.

— Пепс! — сказал он.— Ну, чего нам тут делать? Пойдем в харчевню.

Но навстречу им уже скользил по паркету официант и с безгливой почтительностью вытягивал вперед шею.

От консоме Артемка пришел в ярость: ни капусты, ни картошки — одна вода, и эту воду почему-то надо есть ложкой. Но бефстроганов съел с удовольствием. И все-таки, когда Пепс спросил, не хочет ли Артемка еще кушать, он не задумываясь ответил:

— Борща и каши гречневой, во!

Прямо из ресторана они отправились в цирк. Там на четыре часа была назначена генеральная репетиция «Тараса Бульбы», и им не терпелось увидеть в лицах только что прочитанную повесть.

Но то, что они увидели, совсем не было похоже на репетицию: «поляки» и «казаки» сидели вместе на барьере арены и мирно

курили, а по арене, ероша волосы, бегал Самарин и иступленно орал:

— Зарезал! Зарезал без ножа, проклятый человек! Ну что, ну что, ну что-о я теперь буду делать?! Ради бога, ради черта, скажите мне, что я теперь буду делать?!

Ему не отвечали. «Поляки» и «казаки» продолжали пускать спокойно дым из носа.

— Почему Самарин злая? — спросил Пепс, подсаживаясь к одному из «поляков».

— Дядя Вася по пьяному делу ногу вывихнул, теперь некому Бульбу играть.

Пепс с минуту подумал, потом решительно перешагнул барьер и остановился перед Самаринным.

— Я есть Бульба, — сказал он.

Самарин оторопело взглянул, хотел было раскричаться, но только покачал головой.

— Ты есть идиот, — сказал он сочувственно.

— Я есть Бульба, — упрямо повторил Пепс и вынул из кармана книжку. — Артиомка читал, я слюшал. Я все понимал. Я хочу делать Бульба.

Тогда Самарин поднял руки вверх, точно собрался прыгнуть на трапецию:

— Нет, это черт знает что! Когда же моему терпению наступит конец? Я спрашиваю вас: где видано, чтобы негр, черный негр играл запорожского казака! Где?!

Потом опустил руки и спокойно, как ни в чем не бывало сказал:

— Начинаем. Картина первая: Остап и Андрий слезают с коней, Бульба удивленно смотрит на их свитки. Пепс, становись здесь! Руки в бока. Вот так. Выше голову! Еще выше! Так.

Репетиция началась.

Когда какой-то «лях» подошел к Артемке и попросил сбегать за папиросами, тот даже головы не повернул.

— Ты что, Шишкин внук, оглох? — удивился «лях».

Нет, Артемка не оглох, он просто перестал существовать для всего мира. Он не оглох — наоборот, он весь превратился в зрение и слух. Слушает он только то, что говорит Самарин, и каждый раз страшно боится, что Пепс не сделает так, как тот показывает. Но бояться нечего: Пепс делает все так... да, так — это видно даже из того, что Самарин уже не кричит, а только поправляет, даже называет Пепса милым другом. Нехорошо только, что Пепс горячится. Самарин то и дело напоминает ему:

— Спокойнее, спокойнее! Ты Бульба, а не факел в бурю.

Кончилась репетиция лишь перед самым началом представления, когда участвовавшим в первом отделении уже надо было идти переодеваться. От волнения и усердия Пепс даже взмок

весь, как после долгой борьбы. Когда он уходил с арены, лицо его сияло от счастья.

— Артиомка, ты видел, ты видел? — допытывался он. — Хорошо я делал Бульба?

Он радовался, как ребенок, и все спрашивал, будет ли объявлено публике, что вместо заболевшего дяди Васи роль Бульбы исполнит Пепс.

— Будет, будет, — успокаивал его администратор и тут же распорядился, чтобы заготовили несколько наклеек на афиши.

Впрочем, наклейки так на афиши и не попали. Их увидел Самарин и сказал:

— Не надо. Неудобно перед публикой. Да и черт его знает, как к этому отнесется начальство.

И Артемка видел, как готовые уже наклейки с именем Пепса бросили в ящик.

«Как это — неудобно?» — подумал он.

Но Пепсу Артемка ничего не сказал: тот был в таком восторге! Около него суетились гример, костюмер и парикмахер. Его одевали, под одежду подкладывали подушки, мазали лицо и руки белилами, лепили из замазки нос.

Первое отделение было занято обычным цирковым представлением. Пантомиме отвели второе и третье отделения. Пантомима шла впервые, и в цирк набралось столько народу, что Артемку чуть не задавили на галерке. Сначала в публике недоумевали: как это, мол, так — ходят люди, руками размахивают, а ничего не говорят. Но потом, в следующих картинах, вошли во вкус и стали даже поощрять действующих лиц.

— Держись, держись! — кричали с галерки, когда на Остапа со всех сторон надели ляхи. — Бей их, Бульба, бей! Вот так! Еще наддай, еще!

И актеры старались что было сил.

Первая часть пантомимы кончилась под громкие хлопки и выкрики. Вызывали дядю Васю и Кречета, который исполнял роль Остапа. Пепс выходил на арену и как-то странно кланялся. Казалось, он что-то хотел сказать и не решался.

— Это не дядя Вася! — кричал Артемка на галерке. — Это Пепс! Ей-богу, Пепс!

Но на него никто не обращал внимания. Успех Пепса был явный, и Артемкины страхи как рукой сняло. Но как публика не понимает, что это Пепс, а не дядя Вася! Ведь дядя Вася ниже Пепса. Артемка прикладывает руки трубкой ко рту и, перекрывая мужские басы, по-петушиному орет:

— Пе-е-епс! Браво, Пе-е-епс!

— Тю, дурак! — говорит рядом какой-то мастеровой, явившийся в цирк с рубанком и пилой. — То ж дядя Вася, а не Пепс.

— Дядя Вася? Дядя Вася? — У Артемки чуть слезы не

брызнули из глаз.— А я говорю — Пепс! Вот ей-богу, Пепс!

И тут мелькнула у него смелая мысль. Он оттолкнулся от перил и стремглав понесся вниз по лестнице. Через несколько минут наклейки, валявшиеся в мусорном ящике, уже красовались на афишах.

— Вот так! — говорил Артемка, намазывая клейстером последнюю наклейку.— Ишь ловкачи какие — чужую игру заедать!

Люди выходили в антракте из цирка, толпились у афиш и удивлялись:

— Так это был негр?! Смотри ты, как Бульбу разделал!

И Артемка, довольный, помчался к Пепсу рассказывать, что про него говорят в публике.

Пантомима имела огромный успех, особенно последняя картина. Конец повести был изменен так, что отступающие казаки снова наступают, в жестокой схватке разбивают поляков и уносят на руках уже мертвого Тараса.

Пепса вызывали шесть раз. Он выходил, кланялся и прижимал руку к сердцу, а ему со всех сторон разноголосно кричали: «Пе-епс!», «Пе-епс!», «Бульба-а!»

Артемка стоял у малиновой портьеры и кричал громче всех. Уходя с арены, Пепс увидел его, засмеялся, сам захлопал в ладоши:

— Артиомка, Артиомка! Я такой, такой...

Он хотел сказать: «Я такой счастливый!», но от волнения забыл, как произносится это слово по-русски.

— Я такой...

Он не договорил, схватил Артемку на руки и подбросил высоко вверх.

ЛЯСЯ. ПЕПС ГРУСТИТ

Эта девочка-канатоходец прямо-таки изводит Артемку. Она останавливается и смотрит на него, щурясь и улыбаясь. Но лишь Артемка подойдет ближе, она делает строгое лицо и уходит. Нет, Артемка к ней больше никогда не подойдет и не заговорит. Ей, наверно, завидно, что с ним дружит сам Пепс. Ну что ж, он, Артемка, знает, о чем поговорить с мужчинами, оттого мужчины и водят с ним дружбу. А о чем ему говорить с ней?

Но когда девочка ходит по канату, Артемке делается жалко ее. Он и сам не знает почему. Может быть, потому, что ей страшно ходить по канату. Да, Артемка уверен, что ей страшно. Он однажды видел, как у нее соскользнула нога и она не могла найти равновесие. Но и тогда она все складывала губы в улыбку, потому

что на арене полагается улыбаться, а губы не слушались и от страха прыгали. Артемка хотел подбежать под канат и поймать ее, если б она сорвалась. Но она не сорвалась, и Артемка даже немного пожалел об этом, потому что как бы это было хорошо, если б она падала, а он подскочил бы и подхватил ее.

Но хотя Артемка и решил больше с ней не разговаривать, все-таки заговорить пришлось. Как-то зашел он в комнату деда, а на топчане сидит девочка-канатоходец и разматывает удочку.

Увидев Артемку, она растерянно встала и поставила удочку в угол.

— Ты зачем мою удочку трогала? — обрадовался Артемка случаю придраться.

Девочка взмахнула ресницами и, обдав Артемку холодом светлых, каких-то сиреневых глаз, пошла к выходу.

— Подожди, — сказал Артемка, сразу меняя тон. — Ты не думай... Разве ж мне жалко?.. Я только так...

Девочка остановилась у дверей и опять сощурилась.

— А я твоей удочкой здесь рыбу ловила, — поддразнила она.

— Вот же какая ты... смешная! — сказал Артемка снисходительно. — Разве ж это игрушка?.. Я этой удочкой настоящую рыбу ловлю в море, понимаешь? Я раз этой удочкой такую сулу поймал, что сам испугался: думал — акула.

Девочка улыбнулась.

— А где же твои обещанные туфли, в каких и царицы дочери не ходят? — вдруг спросила она.

— Сделаю, — серьезно ответил Артемка. — Только вот товар достану — и сделаю... А насчет рыбы ты не сомневайся, хоть у Пепса спроси. А то — чего лучше — пойдем с нами. Хочешь?

— Хочу, — быстро согласилась девочка и перестала улыбаться.

— Ну вот! — обрадовался Артемка. — Сейчас Пепс придет, и потопаем. Тебя ж пустит Кубышка?

Кубышка — отец девочки, клоун.

Девочке смешно:

— Пусть только не пустит, я ему покажу!

На небе ни облачка. Солнце заливает море, а в море прыгают, слепя глаза, миллиарды светлых точек.

У Пепса на лице блаженство. Голова его еще кружится после вчерашнего успеха. Ведь он так любит театр! Правда, это было не в театре, а в цирке, но и в цирке тоже хорошо. Радует Пепса и солнце. Оно сегодня такое жаркое, что прогревает Пепса насквозь.

Пепс никогда раньше рыбу не ловил, а только мечтал об этом. Но ему сейчас кажется, что когда-то, давным-давно, он

так же вот сидел над водой, так же смотрел на поплавок, жмурясь от солнца, и так же было у него легко и приятно на душе.

Все радует сегодня Пепса, но больше всего — что рядом с ним сидят Артемка и сиренеглазая девочка. Может быть, и на душе потому так тепло, что вот сидят они здесь, рядом, болтают и доверчиво кладут свои маленькие руки на его большую черную руку, когда о чем-нибудь спрашивают.

— Когда я была маленькая, — рассказывает девочка, — мы ходили с Кубышкой по дворам. Кубышка играл на скрипке, а я танцевала. И с нами еще ходила собака Моська. Только она была глупая. Ее Кубышка каждое утро учил танцевать, а она только лизала ему пальцы и визжала. Так и не выучилась!

— А у меня тоже бил собака, — сказал Пепс, — я гулял с ней по Фридрихштрассе. Она увидела полисмен и сказала: «Гав!» И полисмен убил моя собака.

— Собака собаку всегда тронет, — заключил Артемка. — А почему тебя на афишах печатают: «Мамзель Мари»? Ты не русская? — спросил вдруг он девочку.

— Не мамзель, а мадемуазель, — поправила она. — Это для публики, чтоб думали, будто мы французы. А меня по-настоящему зовут Маруся. И, кроме того, Ляся. Это меня так папа зовет.

— А почему твоего отца зовут Кубышкой?

— А это потому, что у него такая голова, на кубышку похожа... Это я его так назвала — Кубышка.

— У нас на базаре одну торговку тоже смешно зовут: Дондышка. Она когда напьется, то говорит: «Эх, выпила все до дондышка!»

Лясе показалось это смешным. Засмеялся и Пепс, хоть и не вполне понял. Поощренный, Артемка начал рассказывать одну смешную историю за другой.

У Пепса от смеха тряслись плечи, а у Ляси даже слезы на глазах заблестели.

— Ох, какой же ты смешной! — заливалась она, падая головой Пепсу на колени, и Артемке казалось, что в горле у нее колокольчик звенит. — Да ты ж настоящий артист!

Вдруг лицо ее стало серьезным.

— А знаешь что, — сказала она, — ведь ты сможешь и Джона сыграть! Конечно, сможешь, я даже уверена!

— Какого Джона? — не понял Артемка.

— Ну, Джона, понимаешь? Самарин новую пантомиму ставит — «Дик, похититель детей». Там есть две роли: девочки Этли и мальчика Джона. Это дети американского миллионера. Этли буду играть я, а Джона некому играть. Я слышала, как Самарин говорил хозяину: «Черт возьми, где бы это достать мальчишку?» Хочешь, я скажу ему?

— Что ты! Разве ж это можно?

— Артиомка, клювает! — крикнул Пепс.

Поплавок Артемкиной удочки плясал как бешеный, но Артемка смотрел не на поплавок, а на Лясю и по лицу ее старался узнать, дразнит она его или говорит серьезно.

— Но почему же нельзя? — сказала она, и лицо ее приняло рассудительное выражение. — Конечно, можно.

— Да я ж... — Артемка запнулся. — У меня ж и пояса нету...

— Пояс тебе дадут, — успокоила она. — И чулки, и ботинки, и тужурку — все. Правда, дядя Пепс? Ну, хочешь, я скажу?

В тот же день Шишка сказал Артемке:

— Сдается, парень, тебе оракул выпал. Иди, Самарин зовет. Он там, у грека в кабинете, сифон пьет. Не иначе как на работу нанимать будет. Акробатом. А может, по шее накостиляет. Очень даже просто: не шляйся на даровщину в цирк.

Но Артемка лучше знал, зачем его зовут, и немедленно явился в знакомую уже комнату. Там, как и раньше, за столом сидел горбоносый грек и считал на счетах, а Самарин, сидя напротив, глотал коньяк и запивал сельтерской.

Видя, что на него не обращают внимания, Артемка сказал:

— Вы звали меня?

Самарин взглянул, выпучил глаза и, не успев проглотить, прыснул сельтерской на пол:

— Ой, умру!.. Убил!.. Посмотрите, посмотрите на это чучело!.. Сын миллионера!.. Без пояса!.. Заплатанный!.. Ха-ха-ха!..

— Это тот мальчик, что пантомиму нашел, — узнал грек. — О, хороший мальчик! Только дырок много.

— Ой, да хоть не смешите вы!.. Дырок много! Да он весь сплошная дырка!

И сейчас же, как будто и не он только что смеялся, деловито сказал:

— Ну, приходи в пять часов на репетицию. Да подпояшься чем-нибудь! Миллионер!..

Артемка вышел красный и растерянный. Он не знал, чего ему больше хотелось: обнять Самарина или стукнуть его кулаком по животу, чтоб не хохотал.

К пяти часам собралось на репетицию человек пятнадцать. Пришел и Пепс. Он был, видимо, чем-то встревожен и нервно поворачивал голову ко всякому, кто заговаривал о пантомиме. У Артемки горели уши. Ляся сидела рядом и ободряла:

— Ты не бойся! У тебя обязательно выйдет.

Из-за портьеры появился Самарин. От него несло перегаром, но к этому все привыкли.

— Ну-с, так,— сказал он, садясь на столик посредине арены.— Можно начинать. Пантомиму все знают? Нет? Слушайте. У миллионера Уптона двое детей — Этли и Джон. Их выкрадывает знаменитый похититель детей, негр Дик Бычий Глаз. Смелый мальчик нашел способ бежать, но Дик догоняет детей и жестоко избивает. Между тем миллионер обратился к знаменитому сыщику Нату Пинкертону. Сыщик находит преступника и освобождает детей, а Дик кончает жизнь на электрическом стуле... Ну-с, начнем! Картина первая: Джон и Этли играют в теннис. Шишкин внук, становись здесь. Мари, стань напротив. Начинайте!

Вслед за тем Самарин срывается с места и в ужасе кричит:

— Стой! Стой! Ты что делаешь? Что ты де-е-елаешь?

— Играю,— говорит огорошенный Артемка.

— Играешь? Во что играешь? Во что?

— Ну, в бабки...

— В бабки?.. О боже мой! Да где же ты видел, чтобы дети американских миллионеров играли в бабки? В теннис, понимаешь, дурья голова, а не в бабки! В бабки играют дети сапожников, а не миллионеров. Становись сюда. Смотри, как я буду играть с Мари. Я бью по мячу. Мари отбивает мяч. Я опять посылаю мяч, Мари вернула.

К удивлению присутствующих, Артемка довольно сносно подражает. Ляля хлопает в ладоши и радуется:

— Ну, вот видишь! Я же говорила!

— Так,— кивает Самарин,— правильно. Совсем другое дело. Правильно. Ну-с, в это время Дик со своими сообщниками перелезает через забор и прячется в кустах. Забор здесь. Кусты здесь! Пепс, лезь!

Пепс поднимается с места, в волнении глотает воздух и опять садится.

— Ты что? Нездоров? — спрашивает Самарин.

Пепс хочет ответить, но только проводит ладонью по лицу.

— Ну, что же ты?

Пепс поднимается, вздыхает и направляется к «забору».

«Пьяный,— решает Самарин.— Или влюбился в кого?»

Репетиция продолжается.

Но одно дело — играть в теннис, а другое — показать манеры сына американского миллионера.

Самарин ругает Артемку идиотом, сапогом, растопыренной лягушкой. У Артемки от старания взмокли волосы, но манеры не получаются. А тут еще Артемка высморкался без помощи платка. Увидев это, Самарин отпрянул назад и в ярости закричал:

— Вон! Вон с арены! Чтоб духу твоего здесь не было! Искалечу!..

Артемка в страхе бросился на конюшню, где стояла цирковая лошадь Роза. Но Самарин «отошел», и Артемку вернули на арену.

Когда наконец Самарин объявил, что «на сегодня хватит», Артемка пробрался в дедову комнату, лег там на топчан лицом вниз и расплакался. С тех пор как умер отец, он ни разу не плакал, а тут слезы так и лились, и от них щеки его стали мокрыми. Он всхлипывал и рукавом утирал лицо и не видел, что над ним стоит Ляся и жалобно кривит губы. А потом когда увидел, то сказал:

— Ну, чего ты?.. Сама втравила меня, а теперь смеешься...

— Я не смеюсь, что ты! — сказала Ляся.

Она села на топчан, обняла Артемкину голову и поцеловала его в мокрую щеку. И от этого Артемке еще больше захотелось плакать.

— Ты понятливый, — утешала она его, — только у тебя манеры не такие. Вот в Астрахани Джона играл гимназист. Он совсем плохо играл, а манеры у него были настоящие. А ты нос пальцами вытираешь, кулаками все время размахиваешь и в затылке чешешь. Потому на тебя Самарин и кричит.

— И черт с ним! — сказал Артемка, все еще всхлипывая. — Пусть он сам и играет Джона, когда так.

— А знаешь что? Пойдем сейчас на арену и будем сами репетировать. Там уже никого нет. Пойдем!

— Как же это? Без Самарина?

— А на что он нам! Я ведь знаю, как эту роль играть. Я четыре раза в этой пантомиме участвовала. Пойдем, а?

Артемка посмотрел на нее, вытер в последний раз рукавом лицо и поднялся с топчана.

— Ладно, — сказал он, — но только чтоб без насмешек!..

Уже на другой день Самарин заметил, что в движениях Артемки стало больше уверенности и сдержанности. Правда, когда он ходил по арене, то все еще двигал локтями и плечами, будто пробирался сквозь толпу, но уже затылок не чесал и кулаками не размахивал. А еще спустя два дня перестал и локтями двигать.

Особенно Артемке не давалась сцена, в которой Джон смело и с достоинством отказывается написать отцу письмо с просьбой о выкупе. Но когда удалась и эта сцена, Самарин, не зная, что наряду с ним действует другой режиссер, хвастливо воскликнул:

— Видали? Да я медведя научу герцогским манерам, а не то что...

И тут же придумал историю, как у него в Ярославле роль

принцессы исполнял бродяга и как к этому бродяге приходили объясняться в любви местные поклонники.

Артемка ободрился и повеселел, но поведение Пепса его тревожило и озадачивало. А с Пепсом действительно творилось что-то неладное. На репетиции он опаздывал, а раз и совсем не явился, так что за ним пришлось посылать деда Шишку. Репетируя, он нервно поводил плечами, будто ему было холодно. От прежнего энтузиазма, с которым он играл Бульбу, не осталось и следа. Он поблек и, казалось, даже похудел. В глазах его были тревога и тоска.

«Что такое?» — думал Артемка. В эти дни, занятые репетициями, ему почти не приходилось оставаться с Пепсом наедине. Но раз, заглянув в конюшню, Артемка увидел, что Пепс стоит перед Розой, гладит ее между ушами и что-то тихо говорит. Артемка подумал, что Пепс болен, и спросил:

— Ты что? Нездоров?

Пепс взглянул и покачал головой.

— Здесь, — показал он на сердце, — очень болит.

Он еще что-то хотел сказать, но пришел конюх, и Пепс замолчал. А потом Артемку и Пепса позвали на репетицию. Так Артемка и не узнал, отчего загрустил его приятель.

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ. СКАНДАЛ. ОВАЦИИ

Артемка не знал, чего он больше хочет: чтобы этот день пришел поскорее или чтобы он не приходил никогда. Чем он ближе, этот день, тем страшнее становилось Артемке.

Накануне он долго не мог заснуть: ему казалось, что в будке особенно душно и особенно тяжело пахнет кожей. Пошел дождь и долго выстукивал о крышу что-то тревожное. Заснул Артемка перед рассветом. А когда проснулся, то было такое чувство, будто и не спал вовсе, а только на минутку закрыл глаза. Через кругленькую дырочку прямо в глаза бил солнечный луч. С улицы доносился скрип телег, людской говор, топот. Артемка скинул с двери крючок и выбежал наружу. Там на стене будки, сияя в солнечном свете, уже висела огромная желтая афиша, а по афише, будто по пескам пустыни, бежал страшный негр и тащил за руки двух перепуганных детей — мальчика и девочку.

— Ох, — даже присел перед афишей Артемка.

Еще вчера вечером он думал: не дать ли дёру? Если что и останавливало, так это боязнь Лясиного презрения. А сейчас, увидя афишу и свое изображение на ней, он понял, что увильнуть никак невозможно, разве только броситься в море.

Этот день показался Артемке бесконечно длинным, даже не

верилось, что в один день может вместиться так много разного. Сначала он сидел в костюмерной, и на него шили белые брюки и белую сорочку. Потом костюмер повел его в обувной магазин и там купил ему белые туфли. Затем они пошли в галантерейный магазин и купили белые носки, платочек и... галстук. Да, самый настоящий галстук, светло-голубой с белыми полосочками наискосок. Потом пошли в парикмахерскую. Здесь Артемку подстригли и причесали. Костюмер приказал, чтобы пробор был посредине, и парикмахер долго крутил круглый колючий еж, прежде чем волосы перестали топорщиться.

Потом была генеральная репетиция. Увидя Артемку в белом теннисном костюме, Самарин затрясся от хохота и так замахал руками, будто отгонял осу.

— Ой, не могу! Ой, не могу! — стонал он. Но вдруг успокоился и деловито сказал костюмеру: — Так. Вполне прилично. Вполне.

Когда репетиция кончилась, Ляся подошла к Самарину и сказала, что с Артемки снимать костюм не надо, а лучше пусть он, Артемка, ходит в костюме до самого представления.

— Это чтоб привыкнуть к нему, чтоб лучше в нем держаться, — сказала она.

И Самарин с ней согласился:

— Пусть ходит.

Пепс, Кубышка, Ляся и Артемка пошли в ресторан и там обедали.

У Кубышки голова как кувшин и мохнатые брови. Он рассказывает очень смешные истории, но сам не смеется и смотрит сумрачно, даже сердито.

Угощал Пепс. Он повеселел, поздравлял Артемку с предстоящим дебютом и все улыбался, обнажая удивительно белые зубы.

— Не болит уже тут? — спросил Артемка, показывая взглядом на сердце.

— О, я сегодня очень скажу публик! — Пепс поднял вверх палец. — Очень, очень! — и засмеялся.

Артемка хотел спросить, как это можно «очень сказать публик», когда в пантомиме разговаривать не полагается, но тут вдруг, заглушив на мгновение чинный говор и звяканье посуды, хрипло и дерзко прокричал петух: «Кик-ки-ки-кии!» У метрдотеля вытянулось лицо, официанты заметались между столиками; удивленно оглянулись по сторонам посетители ресторана. Но петуха не нашли, и все остались в полном недоумении.

Потом в фаэтоне поехали к морю. Извозчик все время обращивался к седокам.

Потом катались на лодке. Артемка сидел на руле, а Кубышка и Пепс гребли. Солнце уходило спать и на прощание все белое

сделало розовым — и цепочки облаков на горизонте, и белый парус английского парохода, и Лясино кисейное платье. Ляся сидела рядом с Артемкой. На ее слабой, будто прозрачной шее Артемка видел маленькую родинку, и от этого ему почему-то было жалко Лясю и хотелось сделать ей что-нибудь хорошее.

В море ясно и тихо. За кормой журчит вода. Лодка несется быстро и то и дело обгоняет другие лодки. Вдруг сипло пропел петух: «Кик-ки-ки-кии!» С соседних лодок донеслись аплодисменты и смех. Заметя, что Артемка открыл в удивлении рот, Ляся рассмеялась:

— Да ведь это же он, Кубышка!

Кубышка усердно греб, сумрачно глядя на закат.

Потом опять ехали в фаэтоне, и извозчик, хоть уже и другой, тоже все время оборачивался к седокам.

Когда подъехали к цирку, уже ярко горели фонари и у входа толпились люди.

Пережитые волнения, плотный обед и катанье на лодке так разморили Артемку, что он улегся на дедов топчан и заснул. Там Ляся, кончившая обычный номер, и нашла своего ученика и партнера.

— Артемка! — всплеснула она руками. — Ты спишь? Спишь, когда нам сейчас выступать?

Артемка вскочил и в испуге уставился на Лясю.

— Как это ты мог заснуть? — удивилась она. — Или ты заболел?

— А где петух? — Артемка протер кулаками глаза.

— Какой петух? Проснись, Артемка!

Артемка обалдело оглянулся и засмеялся:

— А меня сейчас петух в нос клевал.

— Вот тебя сейчас Самарин в нос клюнет, а не петух. Посмотри, как брюки измял. Иди скорее к костюмеру, он выгладит. Да умойся: рожа сонная!

«А правда, — думал Артемка, пробираясь в полутемном коридоре к артистической уборной, — как это я заснул? То всю ночь не спал от страха, а тут сразу...»

Уборная большая, одна на всех мужчин. Вдоль серой стены — длинный деревянный стол, и за столом — актеры. Одни клеят из крепса усы, другие выравнивают при помощи замазки носы, третьи натягивают парики.

Тут же ходит от одного к другому Самарин и ругается. Увидя Артемку, он скорчил гримасу:

— Благородное дитя! Сын миллионера! Полдня походил — и уже пузыри на коленях! Кузьмич, разутюжь этого парня. Парикмахер, причеши это чучело.

Но Самарин не только ругается, но и хвалит.

— Гуль, — говорит он, — вы настоящий Пинкертон. Вам и

гримироваться не надо. Так сказать, Пинкертон натюрель. Ха-ха-ха!

Потом подходит к Пепсу и фамильярно бьет его по плечу:
— Вот кто душу радует! Негрище чертово! Ну где еще найдешь другого такого для Дика Бычий Глаз? У, дьявол! Так публике и скажу: черного разбойника играет сам черный разбойник! Ха-ха-ха! Натюрель, ха-ха-ха!

Пепс, сидевший против зеркала, не оборачиваясь, прошептал:

— Я тоже скажу публик... Я тоже скажу публик...

— Что ты там бормочешь? — не расслышал Самарин. И, не дождавшись ответа, сказал, отходя: — Ты какой-то чудной стал. Из ума выживаешь, что ли?

Артемке вымазали лицо кремом, подвели черным брови и помадили губы. Ему хотелось вытереть лицо рукавом, но он терпел. К костюму тоже не так-то легко привыкнуть, особенно к галстуку. Галстук сжимал шею, и Артемка не мог понять, зачем он нужен.

Вошел грек-хозяин и сердито сказал:

— Слушайте, вы скоро? Публика ужасно волнуется.

— Сейчас, сейчас! — ответил Самарин.

Он подошел к зеркалу и тоже покрасил себе губы и напудрился, хоть в пантомиме и не участвовал.

— Ну-с, приготовьтесь к выходу, — сказал он и вышел из уборной.

Артисты двинулись за ним. Пошел и Артемка. В широком проходе все остановились. Там перед малиновой портьерой уже ожидала Ляся с мячом и ракетками в руках.

— На, — подала она ракетку Артемке. — О, да какой ты красивый!.. Ну, не боишься?

— Боюсь, — откровенно признался Артемка.

Он подошел ближе и осторожно заглянул в дырочку. Батюшки, весь город собрался! Вверху, внизу, в проходах — всюду люди. И все вытаращились прямо на него, прямо в дырку смотрят. Артемка даже руками от портьеры оттолкнулся. Удивительное дело: на базаре, бывало, тоже народу тьма собиралась, особенно в субботу, и Артемке хоть бы что, как-то даже гопака при всех танцевал. А тут все внутри холодеет от страха.

Музыканты, игравшие вальс, умолкли. Униформисты приоткрыли портьеру. Прокашлявшись, точно он собирался петь, Самарин пошел на арену.

— Что он будет делать? — спросил тревожно Артемка.

— Сейчас объявит, кто кого играет, — объяснила Ляся.

Самарин вынул из бокового карманчика листок бумаги:

— Господа! В сегодняшней знаменитой пантомиме участвуют все лучшие силы цирка, а также специально приглашенные

артисты. Позвольте объявить состав участвующих. Американский миллионер Уптон — Иван Кречет; его дочь Этли — юная артистка, любимица публики, мадемуазель Мари; его сын Джон — известный артист пантомимы юный Артемé...

— Вот, слышал? Артемé — это ты и есть, — шепнула Ляся.

— Что-о? — вспыхнул Артемка. — Какое такое Артемé?

— Тише, ты! — дернули его сзади.

От обиды, что его родное имя забраковали, а взамен дали какую-то кличку, Артемка на минутку даже страх позабыл.

Вдруг в цирке затрещали аплодисменты: это Самарин сообщил, что роль Ната Пинкертон исполняет Клеменс Гуль.

Самарин сделал паузу и, предвкушая новые аплодисменты, выкрикнул:

— Роль знаменитого похитителя детей, страшного негра Дика Бычий Глаз, исполнит натуральный негр, страшный Чемберс Пепс!

— Это глупа, это очень, очень глупа! — услышал Артемка позади себя.

Когда Самарин поклонился и под аплодисменты подошел к портьеру, у Артемки внутри все похолодело. И сейчас же он услышал громкий шепот:

— Этли, Джон, на арену!

Портьера приоткрылась, и Артемка мгновенно оказался на виду у всех. Прямо на него смотрело тысячеликое существо и молча ждало. Артемка охнул и схватился руками за край портьеры, но сзади прямо в ухо ему вонзился свистящий шепот:

— Ты что это делаешь, ссс... Брось занавес! На арену!

Артемка оглянулся. Перекосив от злобы лицо, сзади стоит Самарин, шипит и указательным пальцем хочет ткнуть Артемку прямо в глаз.

Вдруг между Артемкой и Самариным мелькнула ракетка. Взвизгнув, Самарин отдернул палец. Артемка еще не успел сообразить, что случилось, как Ляся схватила его за руку и стремительно повлекла на арену. И странное дело, у Артемки будто пропал вес. С необычайной легкостью, не чувствуя тела, он выбежал вслед за Лясей и стал на свое место.

Пантомима началась.

Впоследствии Артемка не раз вспоминал эти минуты и всегда удивлялся, куда ушел тогда его страх. С момента, как он оказался на залитой светом арене, под тысячей устремленных на него глаз, в нем все необычайно обострилось — внимание, зрение, память. Даже торопливость, за которую его на репетиции ругал Самарин, исчезла и сменилась сдержанностью движений. И при всем этом у Артемки гудело в ушах и было такое чувство, точно он не сам все это проделывает, а движет им какая-то неведомая сила.

Самарин, высунув нос из-за портьеры, бормотал:

— Гм... Вполне... Даже удивительно.

Но этого Артемка не слышал. Он продолжал лететь в каком-то светлом гудящем пространстве и только тогда опомнился, когда Дик Бычий Глаз накинул на него мешок и перебросил через забор. Там, за портьерой, был уже не Дик Бычий Глаз, а Чемберс Пепс. Он сдернул с Артемки мешок, поставил дебютанта на ноги и восторженно сказал:

— О, ты очень хорошо делал свой роль! Ты есть очень хороший артист.

Подошел и Самарин. Он похлопал Артемку по плечу и похвалил:

— Молодец! Вполне!

Артемка слушал и растерянно улыбался. Ему казалось, будто он переплыл через глубокую реку, а до этого и не знал, что умеет плавать.

Ляся стояла тут же. Она не отходила от Артемки. У нее был гордый вид.

Артемке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, душевное, но он не находил подходящих слов.

Во второй картине Пепс, Артемка и Ляся не участвовали. Они стояли у портьеры и смотрели в дырочки. Теперь играли Гуль и Иван Кречет. Гуль лазил по арене и искал следы; при этом он все, что ни попадало, разглядывал в лупу, а Кречет ходил за ним и хватался руками за голову, изображая горе отца.

Когда началась третья картина и Артемка опять выбежал на арену, у него уже не гудело в ушах и не было прежнего чувства, будто им движет какая-то посторонняя сила. В этой картине Джон и Этли, запертые в сарае на ферме, пытаются освободиться, и Артемка с такой непосредственной живостью изображал сметливость мальчика, что со скамей не раз срывались трескучие хлопки.

Правда, это все-таки не был сын миллионера, это был просто попавший в беду мальчишка, трогательный и занимательный. Но это как раз и подкупало публику.

Нравилась и Ляся, хотя игра этой изящной девочки была совсем в другом роде.

Больше всех, кажется, нравился Гуль. Ему удалось изобразить Ната Пинкертона таким, каким его и представляла себе публика по бесконечным выпускам «Похождений знаменитого сыщика».

Что касается Пепса, то он добросовестно старался делать свирепое лицо, как учил Самарин, но в общих сценах с ребятами часто забывал об этом, и вместо свирепого лицо его делалось наивно-добродушным. Он спохватывался, хмурил лоб и сжимал плотно губы, а минуту спустя, в самом неподходящем месте,

лицо его опять озарялось улыбкой. Публика, ожидавшая увидеть злое страшилище, недоумевала и посмеивалась.

В общем, пантомима шла оживленно, публика часто аплодировала, и Самарин уже мысленно составлял афишу о новом представлении «по требованию публики», как неожиданно для всех разыгрался скандал.

До девятой картины пантомима шла как ей и полагалось. Благодаря сметливости Джона ребятам удастся бежать. Дик Бычий Глаз бросается в погоню за ними. Обессиленная Этли падает в изнеможении. Джон подхватывает ее на руки, но уже не может бежать так быстро. И тут, в поле, заросшем маисом, их настигает страшный негр. Он набрасывается на детей и жестоко избивает их. И Пепс действительно страшно размахивал палкой и делал вид, что изо всех сил бьет Джона и Этли. Но вдруг он положил палку и как ни в чем не бывало обратился к публике.

— Уважаемый публик,— сказал он,— один маленький минутка внимания!

После девяти картин, шедших без единого слова, вдруг прозвучавший с арены человеческий голос так всех и приподнял с мест.

— Уважаемый публик,— продолжал Пепс улыбаясь,— это очень плёхой пантомим. В этот пантомим очень много белый человек, а черний только один. Все белый человек хороший, а черний плёхой, хуже самый злой черт. Уважаемый публик, это не есть правда.

Но тут по цирку пронесся свистящий шепот:

— Пепс! На место!

Пепс обернулся и взглянул на искаженное лицо Самарина.

— Один минутка,— сказал Пепс и опять обратился к публике: — Черний очень любит детей. Черний не любит, когда бьют маленький человек. Я очень люблю Артиомка, я очень люблю Ляся. Я люблю, как свой син, как свой дочь. Я...

Самарин выскочил из-за портьеры и, заглушая Пепса, прокричал:

— Пантомима продолжается!

Не помогло и это.

— Один минутка,— сказал ему Пепс и продолжал: — Уважаемый публик, я очень хотел иметь свой мальчик...

— Да замолчишь ли ты?! — взревел Самарин, потеряв терпение.

Тут сверху кто-то спокойно сказал:

— Пусть говорит. Может, у него накипело.

— Не перебивать! Нехай говорит! Говори, Пепс, высказывайся! Самарин, отойди в сторону! — раздались голоса с галерки.

Пепс благодарно приложил руку к сердцу, но не успел он и рот открыть, как из ложи полицмейстера раздались отрывистые выкрики:

— Не раз-го-варивать!.. Не раз-говаривать! Не раз-говаривать с публикой!.. Молчать!..

Пепс испуганно повернул голову: большая серая борода то поднималась, то падала обратно на белый с золотыми пуговицами полицмейстерский китель.

Пепс отступил на шаг и посмотрел на Артемку, как бы спрашивая: «Что такое? Зачем он кричит? Разве я сделал что плохое?» И этот взгляд, растерянный и недоуменный, вдруг наполнил Артемкино сердце острой жалостью к своему большому и наивному другу. О, Артемка знал, что такое полиция и как она обижает людей!

— Слушайте, господин околоточный надзиратель,— сказал он, став впереди Пепса,— чего ж вы нарезались на человека? Он же правду говорит. А не верите, так хоть людей спросите. Он мне как отец родной. Мы бычков ловим. Он и в будку до меня на базар приходит. А вы кричите, как не знаю кто!..

— Ой, да это же Артемка! — изумился кто-то на галерке.— Ей-богу, Артемка! Это ж наш сапожник с базара!..

Мог ли Артемка предвидеть, какое действие произведет его речь!

Названный при всей знати города околоточным надзирателем, полицмейстер чуть не задохнулся от гнева и так затряс своей бородой, что она, казалось, сейчас оторвется и улетит под купол цирка.

Публика, узнав в сыне миллионера сапожника, ахнула, галерка радостно закричала и захлопала в ладоши.

Скандал разгорался.

Раздувая усы и придерживая шашку, к ложе полицмейстера торопливо пробирался пристав; сверху спускался околоточный надзиратель; из проходов к барьеру двигались городовые. На галерке засвистели.

Кто-то сверху запустил арбузом, и он с хрустом разломился на кусочки у самых ног городского.

Испуганный Пепс озираясь по сторонам, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не вмешалась Ляся. Неожиданно прыгнув вперед, она расставила руки, как бы желая всех обнять, и очаровательно улыбнулась. Все недоуменно умолкли. Даже борода полицмейстера перестала прыгать.

— А меня Пепс на руках носил, когда я в Одессе вывихнула ногу,— с чисто женским лукавством сказала Ляся.— Ну, теперь уже все понятно, и будем продолжать пантомиму. Да сядьте же, господин! — крикнула она приставу.— Не мешайте публике смотреть!

Затем она отбежала на место и закрыла лицо руками, изображая отчаяние Этли.

И пантомима действительно продолжалась. Околоточный вновь отправился наверх, пристав сел там, где его застал окрик Ляси, городовые отошли в глубь проходов, а на галерке разжались стиснутые кулаки.

Но финальная картина, в которой Дика сажают на электрический стул, уже не вызвала ни в ком сочувствия, так как никто теперь не верил, что в Америке негры воруют детей. Погас и интерес к Нату Пинкертону. Обиженный Гуль не вышел на вызовы.

Зато Пепсу и Артемке галерка устроила овацию. Уже внизу ложи и скамьи опустели, на арене начали тушить фонари, а на галерке все еще не хотели расходиться, хлопали в ладоши и зычно вызывали:

— Пе-епс! Ар-тем-ка-а!

ОБЕЩАНИЕ

Самым неожиданным последствием циркового скандала было то, что у Артемки вдруг появилось множество заказчиков. Приходили кто с сапогами, кто с башмаками — мастеровые, грузчики, приказчики и даже конторщики.

И каждый считал своим долгом спросить:

— Что нового? Не собираетесь «Графа Монте-Кристо» ставить?

Или:

— Ну, брат, чего еще будешь пантомимить? Ох и здорово это у тебя!

— Быть тебе, Артемка, актером. Это по всему видать.

Артемка протягивал дратву, стучал молотком, а сам думал: «А может, и вправду актером буду. Вот как бы...»

На второй день после представления уже к обеду у него собралось в жестяной коробке копеек девяносто.

Он выждал минутку, когда никого из заказчиков не было, и метнулся в будку напротив, где мастерил старый Петрович.

— Дедушка, — спросил Артемка, — вы, часом, не слышали, из какого товара носят туфли царевы дочери?

Петрович наморщил лоб, вспоминая, потом сказал:

— Надо быть, из сафьяну. А по праздникам — из парчи.

— А если еще выше, то тогда из чего?

— Тогда? — Петрович опять подумал. — Ну, тогда... гм... да опять же из парчи.

— А где же она, парча эта, продается? — продолжал допытываться Артемка.

— А тут ее, парень, нету. В Ростове, у Козлова, — там — да, там она имеется. А тут нету. Да зачем она тебе понадобилась? Или царь из Петербурга заказ прислал?

— Вот это самое, — сказал Артемка.

Он вернулся в будку и до тех пор стучал там молотком, пока не увидел, что в дверь, согнувшись чуть не вдвое, просовывается Пепс, а из-за него с любопытством выглядывает Ляся.

— О-о! — сказал Пепс. — Артиомка работает!

— О-о! — с уважением протянула Ляся и покачала головой.

— Вот, — потряс Артемка коробкой с деньгами, — за сегодняшний день наработал.

— О-о-о! — протянули Ляся и Пепс вместе.

— Пошли обедать, — сказал Артемка. — В харчевню пойдем. Я угощаю.

Харчевня была тут же, на базаре. Все трое уселись за длинный некрашенный стол под навесом и с удовольствием поели из разрисованных розами мисок борща и солонины с хреном. Потом Артемка сбегал в квасную лавку и принес две бутылки холодного хлебного кваса. И, угощая, сам разливал по стаканам.

Все были очень довольны.

После обеда Ляся предложила половить бычков. Артемка с готовностью согласился, но потом сказал:

— Нет, невозможно. Надо идти работу кончать, а потом новую набирать. Никак невозможно!

Условились, что встретятся вечером в цирке.

Прощаясь, Пепс сказал, что скоро он поедет в Москву, а в Москве есть такая школа, где учат девушек и юношей делать роли. Кто в такой школе поучится, тот будет очень-очень хорошим артистом.

Там, в Москве, он скажет, чтобы Артемку приняли в школу. А если ему скажут «нет», то он, Пепс, пойдет к самому Станиславскому, и Станиславский напишет в школу бумажку, и тогда уж Артемку обязательно примут, потому что Станиславский — самый великий на всем свете артист.

Потом Пепс вынул плоские с серебристым циферблатом часы и подал их онемевшему от восторга Артемке.

— Это есть мой презент, — сказал он.

В голове у Артемки все перепуталось. Учиться?.. В Москве?.. На артиста?.. Так может быть только в сказке... Но разве часы не сказка? А они вот, в руке! Звенят!.. Как крохотные молоточки по тоненькому стеклышку... А циферблат!.. Такого циферблата Артемка еще никогда не видел: серебристый и весь в искорках...

А это что? Надпись?.. Надпись на крышке: «Дебютанту...» Да, да, Артемка знает, что такое «дебютант», его вчера все так называли... «Дебютанту Артемке от Пепса»!

Артемка зажмурился, потом захохотал, потом подпрыгнул и пустился перед будкой вприсядку.

НЕОЖИДАННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ

Трое суток Артемка почти не выходил из будки. Его что-то томило. Он плохо спал, но лишь просыпался — сейчас же принимался за работу и просиживал до ночи. Он все боялся, что интерес к нему вот-вот пропадет и тогда опять не будет работы. Наконец жестяная коробочка наполнилась гривенниками и пятаками почти до краев. Артемка закрыл ее крышкой и сунул в карман. Потом запер будку и побежал к вокзалу. До вокзала было близко, кварталов пять, но когда Артемка пересекал площадь, у него стучало в висках, а дыхание было частое и горячее.

На вокзале Артемке сказали, что в Ростов поезд отправляется только через два часа. Это было досадно: сколько времени зря уйдет! Артемка сел на скамейку и принялся ждать. Чтобы не было скучно, он достал коробку и стал считать деньги. Кругом засновали люди с воровскими глазами. Не досчитав, Артемка опять спрятал коробочку в карман. Дышать все еще было тяжело, и почему-то слезились глаза. Артемке хотелось спать. Боясь воров, он с усилием открывал отяжелевшие веки. Когда зазвонили в колокол, Артемка стал в очередь к кассе, а потом вместе с другими побежал по платформе к поезду. Едва под ногами забормотали колеса и все поплыло назад, ему опять захотелось спать.

Напротив сидел мужик с черной бородой, к которой пристали соломинки, и курил махорку. Сизый дым стлался по вагону, попадал Артемке в горло и перехватывал дыхание. Артемка пересел подальше, прислонился в уголке спиной к стене и задремал. И, пока ехал, ему все мерещилась паровая молотилка, которая чадила ржавым дымом и быстро-быстро тараторила.

Когда Артемка открыл глаза, в вагоне уже никого не было. За окном бежали люди. За плечами у них были мешки. Носильщики в белых фартуках с медными бляхами везли тележки, и кто-то громко кричал:

— Квасу холодного, квасу!

Артемка вышел из вагона. Прямо перед ним стоял человек в красной рубашке, с большим графином в руке. В графине плавали кружочки лимона и лед. Артемка жадно выпил большую кружку и через рельсы побежал к зданию вокзала.

В огромном зале люди сидели, спали на скамьях, на чемо-

данах и даже на полу. Носильщики куда-то спешили и перелезали прямо через спящих.

Артемка спросил у одного, у другого, где можно достать парчи на туфли, но в ответ люди только пожимали плечами или совсем ничего не отвечали.

На площади Артемка увидел маленькие желто-красные вагончики. Они подкатывались сами, без паровоза, и, забрав людей, исчезали за поворотом. Артемка тоже сел в вагончик и скоро увидел по обеим сторонам улицы разные вывески. Тогда Артемка вышел из вагона и начал ходить по магазинам и спрашивать парчу на туфли.

Наконец в одном магазине, где продавались иконы и свечи, ему показали материю, расшитую золотыми нитками, но при этом сказали, что из нее делают не туфли, а ризы. Артемка только усмехнулся. Он отмерил парчу пальцами, сколько требовалось, и сказал, чтоб ему отрезали ее и завернули.

Потом уже без труда нашел магазин кожевенных товаров и там купил кусок тонкой и мягкой, как масло, шагрени.

На вокзал Артемка возвращался пешком. Его томила жажда, во рту все пересохло, и он останавливался чуть ли не у каждой квасной будки.

По пути попался галантерейный магазин. Артемка опять остановился и долго рассматривал через зеркальное стекло витрины коричневые и черные бумажники. Он развернул шагрень и сравнил ее с кожей бумажников. Сравнил и, хоть сильно болела голова, улыбнулся: нет, его бумажник будет куда лучше; такого бумажника Пепс нигде не найдет, даже в Москве.

Вот наконец и вокзал. Народу как будто стало еще больше. И куда они все едут? С мешками, с сундуками, с детьми... От гама и детского плача голова еще сильнее заболела. К тому же сказали, что поезд отправляется только ночью. До ночи еще часов шесть, не меньше.

Артемка поискал себе местечко, но все было занято. А стоять уже было не под силу. И тут он увидел, что из-под скамейки вылезает кудлатый и оборванный мальчишка. Артемка присел и заглянул вниз. Там было пусто и, как показалось ему, даже уютно. Артемка отвел чьи-то свисавшие ноги и залез под скамейку. Он засунул покупки под рубаху и, прижимая их к груди одной рукой, другую подложил себе под голову. Он думал, что полежит немного и голова перестанет болеть. Только не надо спать, чтобы не пропустить поезд. Да и обокрасть могут в два счета — в Ростове жуликов хватит. Но едва он закрыл глаза, как увидел мужика с соломой в бороде. Мужик наклонился и задышал Артемке в лицо. «Уйди,— сказал Артемка,— мне жарко, уйди!» Мужик откинулся и что-то сердито проговорил, а потом вложил два пальца в рот и страшно, по-разбойничьи засвистел.

Артемка испугался, мужик захохотал, вскочил на бело-розовую свинью и умчался, болтая ногами. Потом долго ничего не было, только кто-то тоненько, как комарик, плакал над самым ухом. А потом пришел сосед Петрович и принялся тормошить Артемку за плечи. Артемке не хотелось вставать, и он замычал, чтобы тот его не трогал. Скамейка затряслась, под нею застучали колеса, и она куда-то поехала...

Когда Артемка открыл глаза, то сначала ничего не понял: везде стояли кровати, а в кроватях лежали бледные, покрытые простынями люди. Одни спали, другие смотрели в потолок, а иные скрипели зубами и что-то бормотали, не раскрывая глаз. На соседней кровати лежал черноголовый парень с красным, как после бани, лицом. Глаза у него были закрыты, но он безостановочно кричал:

— Папаша, держитесь за гриву! Папаша, держитесь за гриву!

Сам Артемка тоже лежал на кровати, и на нем была такая же ночная сорочка, как у всех.

«Как же я попал сюда? — подумал он. — Не иначе, это больница».

Потом вспомнил, что лежал на вокзале под лавкой, и в испуге зашарил руками по кровати. К нему подошла женщина в белом заношенном халате, взяла его за плечи и положила на подушку.

— Тетенька, — сказал Артемка жалобно, — а где ж парча? Женщина усмехнулась и покачала головой.

— Парча! — сказала она шепотом. — Придет же в голову такое!

Тогда Артемка закрыл лицо руками и заплакал.

Женщина наклонилась, отняла руки и посмотрела в мокрое от слез лицо.

— Да ты, никак, очнулся? — удивилась она.

— Очнулся, тетенька, — сказал Артемка всхлипывая.

— Так чего ж ты плачешь? Очнулся — значит, жить будешь.

— У меня, тетенька, парча пропала... Тут вот, под рубахой была. Парча и шагрень...

— Ишь ты! — сказала женщина. — А я думала, что ты бредишь. Ну, не плачь, может, она и не пропала. Вот придет кастелянша, мы ее и расспросим.

— Расспросите, тетенька, — попросил Артемка. — Я вам за то штиблеты почию или еще что...

— А ну тебя! — засмеялась женщина. — Тебе и говорить-то, по правилам, не полагается, а тоже туда: «Почию!»

Утром пришла кастелянша и принесла парчу и шагрень.

Обрадованный Артемка спрятал сверток под матрац.

Через несколько дней его выписали.

ДЕД ШИШКА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!

Худой и бледный приехал Артемка в свой город. Он сильно ослабел и раз десять отдыхал, пока добрался до будки. А тут еще ключ пропал — наверно, под скамейкой остался. Пришлось соседа Петровича звать, чтобы вместе замок отбить.

— Где ж это тебя носило? — спросил Петрович. — Лица на тебе нету.

— А вы не знаете? — усмехнулся Артемка. — Ведь вы же меня в Ростове за плечи трясли.

Петрович посмотрел, покачал головой и, ничего не сказав, ушел. Артемка лег на скамейку и заснул. Спал он до самого вечера. А перед тем как проснуться, видел сон. Очень приятный сон. Будто идет он по набережной, а рядом с ним Ляся, а на Лясе парчовые туфли. И Пепс тут же, с другого боку идет. Идет и совсем правильно — даже удивительно, как правильно! — говорит: «Вот приеду в Москву и пришлю тебе письмо. А ты садись тогда в поезд и кати в Москву. И будем, брат, мы жить вместе. И учиться будем вместе». А Ляся все на туфли смотрит. А как услышала, что сказал Пепс, то тоже сказала: «Видно, и мне надо ехать с вами, а то как бы Артемка без меня не заболел». И засмеялась. И тут все засмеялись и побежали к зеленой будке квас пить.

Проснувшись, Артемка зажег лампу и наскоро привел себя в порядок: умылся, пригладил волосы, почистился. Потом отрезал от газеты ленточку, чтоб было чем снять с Лясиной ноги мерку, и пошел к цирку.

Он шел и думал, что вот сейчас увидит Пепса. Пепс засмеется и, как маленького, схватит его на руки и подбросит вверх. А потом будет качать курчавой головой и ужасаться, слушая, в какой переплет попал Артемка в Ростове. А потом прибежит Ляся и тоже будет ужасаться. А может, Ляся уже кончила свой номер и ушла?

Нет, не может быть: она всегда ждет Кубышку, а Кубышка выступает последним номером. Эх, жалко, денег не осталось, а то бы купить белую булку, колбасы и помидоров да и у деда в комнате и закусить всей компанией! И что за болезнь была такая, что теперь все есть хочется?..

Артемка повернул за угол и в недоумении остановился:

«Что такое? Не туда я попал, что ли?»

Обычно здесь, при повороте, в глаза падал яркий свет от фонарей, а теперь впереди была темнота. Но ведь это та самая площадь; среди нее, заслоня звездное небо, темнеет округлая громада цирка. Почему же так темно и пусто? Ни фонарей, ни лотков с леденцами и рахат-лукумом, ни мальчишек, что всегда здесь снуют, кричат и пересвистываются.

Артемка медленно двинулся вперед. Он был испуган. У него даже защемило в сердце. Он тихонько подошел к воротам цирка и стал всматриваться. На стенах по-прежнему висели афиши, но из-за темноты ничего нельзя было прочесть. Артемка налег на ворота. Ворота скрипнули, но не подались. Артемка постоял, подумал и пошел вдоль стены. В какие щели он ни заглядывал, везде была тьма, будто весь цирк засыпали углем. Тогда Артемка вспомнил, что из дедовой комнаты наружу выходит небольшое окно. Обежав кругом, он взглянул вверх: прутья на окне слабо отсвечивали.

— Дед! — крикнул Артемка обрадованно и застучал кулаком в стену.

— Кто там? — сейчас же отозвалось из-за стены.

Голос был далекий и глухой, но, безусловно, дедов.

— Дед, это я! — еще больше обрадовался Артемка.

— Артемка, что ли? — донеслось изнутри.

— Ну да, Артемка! Отворяй, дедушка, скорей!

— Так иди на задний ход. Чуешь, на задний! Я сейчас открою.

Дед вышел с фонарем, осветил Артемке в лицо и сказал:

— Вернулся? А я думал, так в деревне жить и останешься.

— В какой деревне? Что ты, дед! Я в больнице был.

— В больнице? — удивился дед. — Скажи на милость!

Придумав, будто Артемка уехал к тетке в деревню, он до тех пор всех в этом уверял, пока и сам поверил.

— Дед, отчего это все позаперто и фонари потухли?

— А чего ж им гореть? Кроме меня, тут никого нету. А меня публика уже видела. Ей хоть заплати, к примеру, так она меня смотреть не захочет.

— Как это... никого нету? — Артемка тревожно взглянул в дедово лицо. — А куда ж они подевались?

— Актеры? А кто ж их знает? Куда-нибудь поехали, в другие цирки, значит.

— И... — У Артемки перехватило дыхание. — И Пепс уехал?

— Пепс? Пепс, брат, раньше всех отсюда подался... Да ты, я вижу, ничего не знаешь. Ну, пойдем, расскажу тебе, пойдем в мою апартаменту.

По знакомому коридору, такому теперь пустому, они прошли в комнату деда и уселись на топчане.

— Видишь, какое дело, — сказал дед, — покуда ты ездил к тетке... или то... покуда, к примеру, болел, тут опять «Бульбу» ставили. Только на этот раз уже не Пепс Бульбу играл, а дядя Вася. А Пепсу роли не дали совсем. Да... Ну, Пепс, конечно, огорчился. Ходит сам не свой. А тут еще ты пропал. Пойдет он,



И. Василенко. Волшебная шкатулка.

бывало, на базар, походит вокруг будки — и опять до меня: «Где Артиомка?» Вижу, человек волнуется, я и говорю ему: «Уехал он, Артемка твой, к тетке в деревню уехал, а как она, деревня эта, называется, не помню». Да... А тут уже и борьба стала к концу подходить. Кальвини говорит Пепсу: «Ты, говорит, не вздумай чего-нибудь выкинуть, а то ты совсем какой-то сумасшедший стал. Чтоб завтра у вас с Гулем была ничья. Будете бороться час, потом ты захромаешь и откажешься бороться».

— Пепс сильнее Гуля! — не выдержал Артемка.

— А вот слушай. Только вывесили афишу, публика — к касе: толкаются, ругаются, перила поломали. И столько в тот день билетов напродавали, что даже в оркестр люди набились. Ей-богу, так с музыкантами и сидели. Да... Ну, вышли, стало быть, они, Пепс и Гуль, поклонились. Публика, как полагается, в ладоши. Цветы тут, конечно, и все такое. Кальвини проговорил свои слова и отошел в сторонку, свисток держит. И тут, братец мой, случилось такое, чего я отродясь не видал. Гуль и глазом не моргнул, как Пепс поднял его над головой, покрутил мельницей — и прямо на лопатки, в одну секунду. Понятно? Задергался Гуль, да где там: как гвоздями его Пепс пришил! У публики дух зашелся — онемели все. А Пепс повернул голову к Кальвини и говорит: «Свисти!» Кальвини растопырил руки и стоит истуканом. «Свисти!» — опять говорит ему Пепс. Тот стоит, глаза выпучил. А тут публика пришла в себя да как грохнет!.. Я думал, купол обвалится. Видит Пепс: не хочет Кальвини свистеть. Вскочил, вырвал у него свисток, да сам и засвистел. В публике хохот, крик, свист — ну прямо сдурели все. Гуль встал, красный, как бурак, да Пепса ба-ах кулаком. А Пепс поднял руку вверх и говорит: «Гуль не есть борец. Гуль есть хулиган, барахлѐ!» Так и сказал, ей-богу: «Ху-ли-ган, ба-рахлѐ!» — а потом повернулся и ушел.

И дед принялся рассказывать, как пять лет назад тоже вот боролся турок Абрек с чемпионом мира Карадые и какой тогда скандал вышел.

Но Артемка уже не слушал. Он сидел на топчане, понурив голову, и ему было так тоскливо, так одиноко, будто весь мир опустел, как этот цирк.

— Дед, — сказал он, — я хоть к тебе ходить буду. Скучно мне.

— Что ж, ходи, — согласился дед. — Ходи, я против не имею. — И вдруг вспомнил: — Да, чуть не забыл!.. В ту ночь Пепс до меня заходил, вот когда Гуля положил. «Что такое, — говорю ему, — голубь ты мой?» А он мне: «Господин Шишка! (Так и сказал, ей-богу!) Господин Шишка, я сейчас еду от этот город. Скажите ваш внук, я очень хорошо помню свой слово». И так, брат, мне руку сдавил, что я аж крякнул... Стой, еще

вспомнил... Та... как ее... ну, что по канату ходила... Ляся, что ли?.. так она тоже прощаться приходила. И тоже просила: «Скажи, говорит, Артемке, что я ему письмо напишу». Понял? Письмо, значит...

— Дед! — крикнул Артемка. — Да чего же ты сразу не сказал? Такие слова, а ты молчал!..

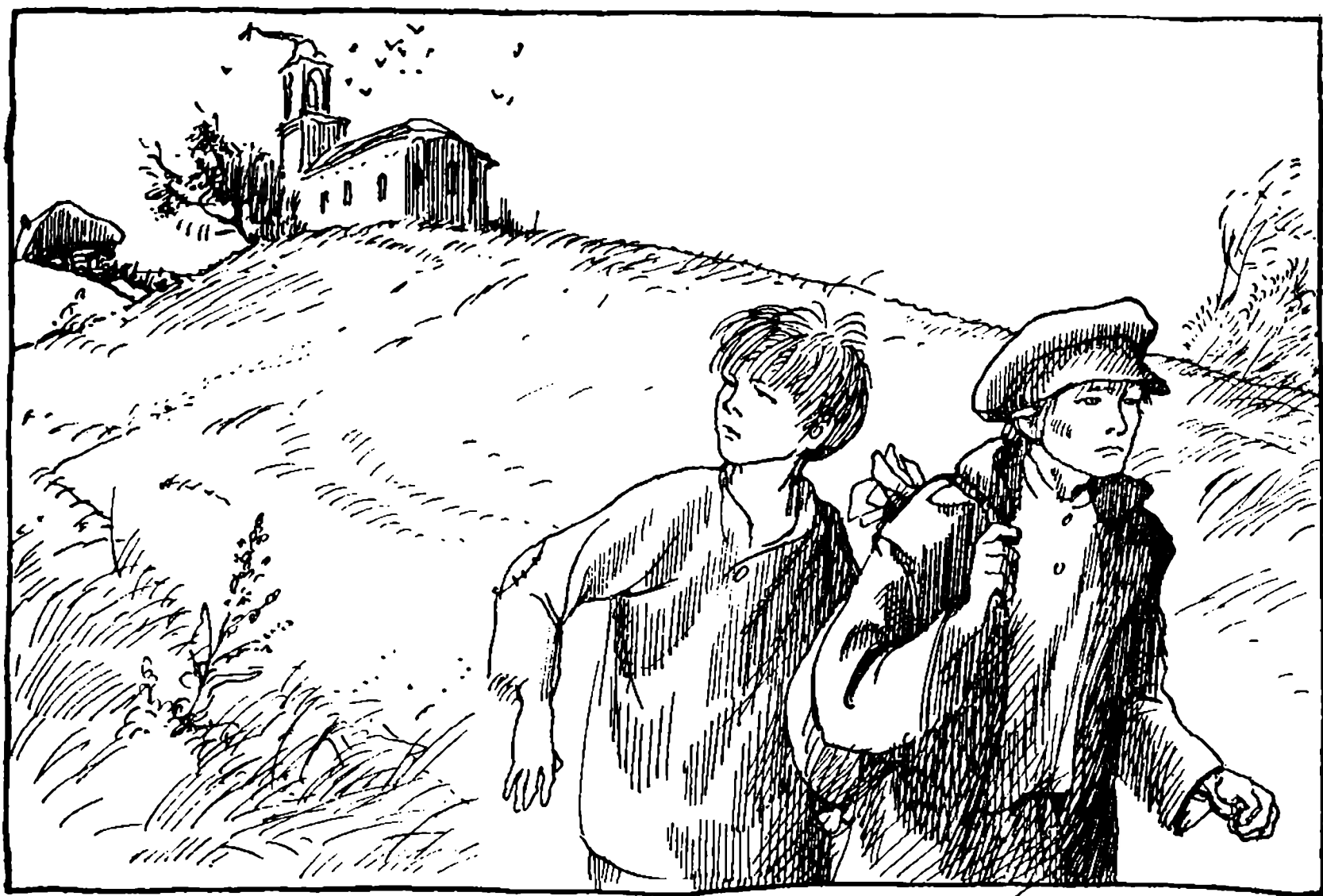
— Ну, забыл, — сказал дед. — Знаешь, старый ум. Что давно было, помню, а теперешнее голова не держит, хоть ты что ей...

— Ах, дед, дед! — любовно пожурил Артемка и, положив свою руку на руку старика, от души предложил: — Давай я тебе и другой сапог почию. Дырка какая!..

А. НЕВЕРОВ

Ташкент—
ГОРОД ХЛЕБНЫЙ





Федору Васильевичу
Гладкову

1

Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался Мишка только с матерью да с двоими братишками. Младшему четыре года, среднему — восемь. Самому Мишке — двенадцать. Маленький народ, никудышный. Один каши просит, другой мельницу-ветрянку ножом вырезает — вместо игрушки. Мать с голодухи прихварывает. Пойдет за водой на реку, насилу вернется. Нынче плачет, завтра плачет, а голод нисколько не жалеет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих. Умер дядя Михайла, умерла тетка Марина. В каждом доме к покойнику готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками ловить.

Крепко задумался Мишка.

Семья большая, работники маленькие. Он самый надежный. Отец так и сказал перед смертью:

— Ты, Мишка, за хозяина будешь.

Вышел на улицу Мишка, мужики Ташкент поминают. Хлеб очень дешевый там, только добраться трудно. Туда две тысячи верст, оттуда две тысячи верст. Без денег нельзя: за билет надо дать и за пропуск надо дать.

Долго слушал Мишка, спросил:

— А маленьким можно туда?

— Или ехать хочешь?

— А что будет? Залезу в трещину — меня не увидят.

Смеются мужики:

— Нет, Мишка, тебе придется дома сидеть. Не такие головы назад вертаются. Порасти еще годков пяток, тогда поедешь.

А Мишка не верит мужикам. Знает, Ташкент — город хлебный, ничего не боится. Станет пугаться немножко, тут же успокаивает себя: «Попробуй, чай, ты не девчонка. Подавать не станут — на работу наймешься. Целое лето плугом пахал вместо отца, лошадей умеешь запрячь. Это только годов тебе немного, на делах тебя большой не догонит».

Крепко задумался Мишка.

Не выходит из головы Ташкент — город хлебный. Станет на глаз прикидывать: две тысячи верст — совсем недалеко. Пешком если — далеко. Сесть на чугунку — в три дня долетишь. А пропуск совсем не нужен. Увидят — мальчишка маленький едет, скажут: не троньте, товарищи, это Мишка голодающий. Какая в нем тяга. Полпуда не будет со всеми потрохами. Выгонят из вагона — на крыше два дня продержаться можно. Лазал он на деревья за грачиными гнездами, это похуже, чем крыша, все-таки не падал...

Увидал дружка своего Сережку Карпухина, годом помоложе, обрадовался:

— Айда двое с тобой!

— Куда?

— За хлебом в Ташкент. Двоим веселее. С тобой что случится — я помогу. Со мной случится — ты поможешь. Все равно не прокормимся мы здесь.

Сережка не сразу поверил.

— А если дождик пойдет?

— Дождик летом теплый.

— А если солдаты прогонят?

— Мы тихонько от них.

Сережка нерешительный. Ковырнул в носу два раза, говорит:

— Нет, Мишка, не доедем.

Мишка побожился:

— Ей-богу, доедем, только не бойся. Теперь красноармейцы везде, они не прогонят. Узнают, что мы голодающие, хлеба дадут.

— Маленькие мы, забоимся.

Мишка начал доказывать: совсем и не маленькие. Это не беда, что Сережка помоложе, хлопотать будет сам Мишка: место разыскивать на чугунке, людей упрашивать. Чай, не девчонки они. Плохо придется — потерпят. С чугунки прогонят — все

равно двоим не страшно. Переночуют до утра, маленько пешком пойдут. Потом опять залезут, как только начальники заглядятся.

— А назад когда вернемся? — спросил Сережка.

— Назад мы живо вернемся. Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня. Соберем по двадцать фунтов, и ладно, чтобы тяжело не было.

У Сережки глаза загорелись от радости:

— Я пуд донесу!

— Пуд не надо. Отнимают, у кого много. Лучше еще съездим два раза, когда дорогу узнаем.

— Давай, Мишка, никому не сказывать.

— Давай!

— Ты знаешь да я, больше никто. Пристанут Коська с Ванькой, а сами шишиги*¹ боятся. Куда с ними доедешь!

— А ты не боишься?

— Чего мне бояться? Я на мазерки* в полночь пойду.

2

Мать на кровати охала. Младший, Федька, дергал за подол, клал палец в рот, просил хлеба. Средний, Яшка, делал деревянное ружье — воробьев стрелять для пищи, думал: «Убью троих — наемся. Маленько Федьке с мамкой дам. Эх, вот бы голубка подшибить!» Вошел Мишка в пустую, голодную избу, шапку нахлобутил, брови нахмурил. Сразу стал похожим на большого настоящего мужика и ноги по-мужичьи растопырил.

— Ты что, мама, лежишь?

— Нездоровится мне нынче, сынок.

— А я хочу в Ташкент за хлебом съездить.

— В какой Ташкент?

— Город есть такой — две тысячи верст отсюда, и хлеб там больно дешевый...

Говорил Мишка спокойно, по-хозяйски, как большой настоящий мужик.

Мать смотрела удивленными глазами:

— Болтаешь, что ли, — не пойму я тебя!

Начал Мишка рассказывать по порядку. Ягод много там и хлеба каждому по горло. За раз можно привезти тридцать фунтов. (Нарочно прибавил десяток, чтобы мать лучше поверила.) Рассказывал складно, словно по книжке. И что от мужиков слышал и что сам придумал — все выложил. Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня.

¹ Слова, обозначенные звездочкой (*), объясняются в Комментариях.

— Ты, мама, не бойся.

— А если домой не вернешься?

— Вернусь.

— Смотри, сынок, заставишь меня по всем ночам не спать, только и буду думать о тебе. Мужики большие — и то не едут.

— Мужикам, мама, хуже. Билет им с пропуском надо, а мы с Сережкой на глазах у всех скроемся. Все равно, кроме меня, некому хлопотать. Куда Федьку с Яшкой пошлешь? А я не испугаюсь.

— Ну, смотри, Миша. Христа ради прошу, не залезай на крышу. Помилуй бог, сорвешься ночным делом — пропадешь. Лучше в ноги кому поклонись, чтобы посадили в спокойное место. Что я буду делать, когда одна останусь?

— Не бойся, мама, не упаду.

Осмотрел Мишка лапти, разбитые в пятках, нахмурился: «Худые, черти!»

Но тут же успокоился: «Теперь не холодно, босиком можно».

Ножик складной отточил на кирпиче, шилом дырочку просверлил в рукоятке, повесил на ременный пояс, чтобы не потерялся. Отсыпал соли в тряпичку, крепко затянул узелок, чтобы не рассыпалась. Свил веревочку кудельную про запас: мало ли что может случиться в дороге! Отец покойный всегда так делал: едет на базар, ось запасную берет, колесо, оглоблю. Колеса Мишке не нужно, а веревочка пригодится.

Мать достала мешочек-пудовичок, наложила заплаты с обеих сторон.

— Одного-то хватит, Мишка?

— Давай два, из двух не вывалится. Можя, разные куски будут давать.

Поверила мать.

— И правда, Миша. Все бери, чего придется. Можя, зерном маленько принесешь — посеем.

Сняла с себя в чулане рубашку мать, отрезала станину красную на мешок.

Бросил Яшка ружье деревянное делать, с удивлением взглянул на брательника.

— Мишк!

— Ну?

— И Сережка едет с тобой?

Не ответил Мишка. Вышел на двор, огляделся.

Колесо валяется, дуга валяется, а лошади нет и коровы нет. Раньше куры клохтали, петух во все горло кричал, теперь только столбы да крыша худая. Ну, ничего. Удастся в Ташкент хорошо съездить — дело поправится. Самое главное, бояться не надо. Едут другие, и Мишка попробует. Он только годами маленький, на делах его большой не догонит.

Опять мужики на улице говорили про Ташкент. Кружились в мыслях около невиданного, слушали про сады виноградные, дразнили себя пшеницей двух сортов: поливной и богарной*. Цены невысокие. Рай! А попасть трудно: билет нужен, пропуск нужен. Мишка не боялся.

Как в сказке, стоял перед ним Ташкент — город хлебный. Сады виноградные — во! Шутя можно урюку карман нарвать. Все равно, если ползком, никто не увидит.

Говорили мужики — воздух очень горячий там, задохнуться можно, — и этого не боялся Мишка. Наверное, речки есть, как у нас. А раз речки — можно купаться.

Когда Сережка упомянул про киргизов, мимо которых придется ехать, Мишка и тут не сробел:

- Если киргизы — люди, чего их бояться?
- А можа, они не люди?
- Там увидим. Сейчас наскажут всякой всячины.

На полях стояла тишина. В голубом небе пели жаворонки. Ниже гудела проволока на телеграфных столбах, уходящих вперед длинной вереницей. За столбами — станция. На станции — чугунка. Мишка два раза видел ее, когда с отцом в Самару ездил. Интересная! Ползет сажен на пятьдесят из трубы — дым, как печка топится, и гудок свистит.

Шел Мишка в отцовском пиджаке, подпоясанный солдатским ремнем, широко размахивая палкой. За плечами мешочек-пудовичок. В нем другой мешочек, сшитый из материнной станины красной. В красном мешочке — кружка жестяная, тряпичка с солью, кусок травяного хлеба и старая бабушкина юбка, которую надо продать городским.

Сережка шагал босиком с левой стороны. Большие мужичьи лапти с длинными бабьими чулками висели через плечо. К лаптям привязаны два мешка, скатанных трубкой.

Шли и уговаривались — друг друга не бросать. Захворает один — другой должен ухаживать. И кому подадут вперед, чтобы пополам делить.

Когда показалась маленькая станция, Сережка сказал:

— Гляди, Мишка, я дымок вижу. Это не наша чугунка?

Мишка растопырил ладонь около глаз.

— Теперь вся чугунка наша. На которую поспеем прежде, так и поедем.

- А много их?
- Штук двадцать.
- Ты передом пойдешь?
- Угу.

Сережка улыбался:

- Я все равно не боюсь. Сколько верст ушли, а ноги не устали. Давай сажени мерить!
- У меня шаги шире твоих.
- Я тоже буду широко шагать.

Мишка советовал:

- Не надо торопиться — хуже устанешь.

На бугорке присели отдохнуть. Вытащили тряпички с солью, расстелили на траве. Сережка сказал:

- У меня соли больше, чем у тебя.
- А хлеб у тебя есть?
- Положила мама четыре картошки.
- Картошкой не наешься, хлеба надо.
- Где я возьму?

Мишка нахмурился. В мешке у него лежал кусок травяного хлеба. Хорошо, если бы и у Сережки лежал кусок травяного хлеба. Тогда у обоих поровну, а теперь невыгодно. Куснут раза по три — останется половина.

- Почему ты хлеба не взял маленько?

Сережка лежал на животе, обсасывая травку. Глаза у него стали скучными, верхняя губа плаксиво топырилась. Поглядел он в ту сторону, где деревня осталась, — даже колокольни не видать. Поле кругом да столбы телеграфные. Если назад вернуться — до вечера не дойдешь.

Жалко стало товарища Мишке. Вспомнил уговор — помогать друг другу, отломил кусочек хлебца.

- На! Придем на станцию — отдашь. Ты думаешь, хлеба мне жалко?

Сережка молчал.

Съесть он мог больше фунта, а Мишка дал маленькую крошку. Не станут давать на станции — жди до утра. Не станут утром давать — жди до вечера. Посмотрел еще раз в ту сторону, где деревня осталась, вздохнул.

- Ты что вздыхаешь?
- Это я нарошно.
- Испугался?
- Ну, испугался! Чего мне бояться?
- Теперь все равно домой не дойдешь до вечера. Вечером волки нападут...

Оглянулся Сережка во все стороны, а Мишка рассказами страшными мучает.

- Дойдешь до Ефимова оврага — там жулики по ночам си-

дят. Недавно лошадь отняли у мужика и самого чуть-чуть не убили.

Поднялся Сережка, сел — ноги калачиком, со страхом поглядел на товарища.

— Ты сколько дней можешь не емши протерпеть? — спросил Мишка.

— А ты?

— Три дня могу.

Сережка вздохнул:

— Я больше двух не вытерплю.

— А сколько без воды проживешь?

— День.

— Мало. Я день проживу да еще полдня.

Когда отошли от бугорка, Сережка сказал неожиданно:

— Я тоже проживу день да еще маленько.

5

Вот и чугушка невиданная. Стоят на колесах избы целой улицей, из каждой избы народ глядит. Тепло, тесно в избах, мужики с бабами на крышу лезут, друг друга подсаживают, снизу подталкивают. Сверху вниз мешки летят, чайники, холщовые сумки. По крыше солдат с ружьем ходит, громко на баб с мужиками покрикивает:

— Нельзя сюда!

Сгонит с одной крыши, они на другую забираются. Опять сверху вниз мешки летят, опять солдат с ружьем кричит:

— Нельзя сюда!

Мишка тоже на крышу забраться хотел, поближе к народу, но раз нельзя — не полезет, надо правило знать. Сережке совсем непонятно. Глядит во все глаза, с места не оторвешь.

— Зачем их толкают оттуда?

— Нельзя тут — казенный. Видишь — солдат с ружьем.

И мужику с двумя мешками совсем непонятно. Сдвинул шапку на затылок, крепко задумался: «Куда вскочить?»

На трех крышах был — везде нельзя. Бросился за водокачку в дальний вагон, там, наверное, можно. Мишка ударился за мужиком, Сережку торопит:

— Айда скорее, не отставай!

А Сережка понять ничего не может.

Направо — невиданные вещи, налево — невиданные вещи. У них в селе на столбах по три проволоки — здесь по восемь в два ряда. Шары стеклянные висят. На рожках играют. Двое мужиков с фонарями прошли. Везде железные полосы гайками

привинчены. Споткнулся Сережка об одну полосу, а спереди прямо на него изба без окошек двигается, колесами хрустит.

— Задавит, мальчишка, уйди!

Лезет мужик с двумя мешками на вагонную крышу, и Мишка за ним, словно кошка, вверх.

— Ты куда?

— В Ташкент мы с Сережкой.

— Слезай скорее, это не в Ташкент!

— А куда же, дяденька?

— В Сибирь, в Сибирь! Прыгай!

Стукнуло Мишкино сердце, волосы на голове так и поднялись. Где Сибирь? Какая Сибирь? Сам на крыше сидит, Сережка около колеса бегают.

— Лезь, Сержка, лезь!

Хотел ухватиться Сережка за приступок вагонный, а вагон пошел.

— Батюшки!

Бежит Ссрежка вдоль колеса, не отстает. Дух захватило, голова треплется, глаза помутились.

— Не догонишь!

Сильно разболелось Мишкино сердце, жалко товарища: пропадет. И домой идти заботится. Если на ходу спрыгнуть — расшибешься. Очень шибко вагон пошел: крыша покачивается, колеса постукивают.

Спутался ногами Сережка, полетел вниз головой.

— Пропал теперь!

Смотрит Мишка на станцию, на упавшего Сережку, вспомнил уговор не бросать друг друга. Чего делать? Придется ворочаться с другой станции. А вагон вдруг тише пошел, остановился: наверно, забыл чего-нибудь. Дернул раз вперед, попятился по другой дороге. Еще дернул раз вперед, опять пошел по другой дороге. Раз пять обернулся туда и сюда. Вывез в самое поле позади станции — встал. Выпустила дух машина, в сторону пошла от него.

Мужик с двумя мешками ругается:

— Ах, нечистая сила! Я думал — настоящий он, в Сибирь повезет...

Мишка рад до смерти.

Прибежал на станцию, а Сережки нет. Побежал на то место, где Сережка упал, и места того нет. Вот будто тут и будто тут. Метался-метался, насилиу разыскал товарища около стрелочниковой будки. Уткнулся Сережка головой в колени, плачет.

Мишке это не понравилось.

— Зачем плачешь?

— Потерял ты меня.

— Держаться будем друг за дружку, расспросим хорошенько

дорогу, которая на Ташкент, зря больше не сядем. Жди, пока я на станцию сбегаю, послушаю, что мужики говорят. Никуда не ходи, на этом месте будь.

Нельзя перечить: Мишка — вожак.

Прижался Сережка около будки и глаза закрыл.

«Эх, дурак! Зачем поехал?»

Есть хочется, плакать хочется. Забудет Мишка про него, сядет один и уедет, а он и дороги не знает, как домой дойти. Если бы и знал — нельзя: дойдешь до оврага — там жулики. Мужиков больших убивают, мальчишку маленького ничего не стоит, сразу — смерть.

А дома, наверное, думают: когда Сережка приедет? Ходит мать по шабрам*, рассказывает: «Сережка наш за хлебом в Ташкент поехал». Бабушка, пожалуй, не дождется — умрет. Хорошая бабушка. Сроду не била Сережку. И мать тоже хорошая. А речка какая! Все лето можно купаться, если не голод.

Лезет вечер на станцию, одевает деревья черным платком. Шары на столбах загорелись, в будке за стенкой кто-то постукивает: дррр! дррр!..

А Мишка нейдет. Сядет один и уедет.

Опять за стенкой кто-то постукивает: дррр! дррр!..

Хотел в окно поглядеть Сережка, а мимо будки — чудовище с огненными глазами: пыхтит, гремит, фукает. Сверху искры летят. Вдруг как фыркнет около самой будки, сбоку дым пошел — прямо на Сережку. Бросился Сережка от будки и сумочку с лаптями позабыл.

6

Мишка сразу два дела сделал: дорогу на Ташкент узнал и корочку выпросил у товарища красноармейца. Обо всем приходится самому думать. Хлеба нет, денег нет, Сережка неопытный. Надо будет покормить его маленько, чтобы не обессилел. Сунул Мишка корочку в карман — укусил два раза, подумал: «Дам ему чуть-чуть, наплевать. После заплатит».

Хотел сейчас же к будке бежать, да попался на глаза ему аппарат телеграфный в окошке. Интересный! Лента из него белая лезет, и человек пальцем постукивает. Другой человек с трубкой около уха по проволоке разговаривает. Загляделся Мишка и не помнит, как корочку в рот положил. Вспомнил про Сережку голодного, совесть мучить начала: «Зачем съел?»

Прибежал на то место, где Сережка остался, а Сережки нет. Вот и будка эта самая с одним окошком... или другая, похожая на эту. Что такое? Маленько заплутался. Повернул в другую сторону — на поле вышел. Куча соломы белеет, месяц стоит над

самым бугорком, смотрит на Мишку. Людей не видно. Только молотком стучат за станцией да плачет кто-то тихонько в канаве. Подошел поближе, а в канаве баба с ребятами сидит. В середине жарничок потухает. Волосы у бабы растрепанные. Качает она головой, приговаривает:

— Милые мои детушки, куда мы с вами пойдем теперь?

И Мишка подумал: «А я куда пойду?»

Вернулся на станцию, крикнул.

В поселке залаяла собака.

«Вот так штука! Где искать? И бросить нельзя: вместе уговаривались, клятву дали. Дурак! Одному бы ехать — лучше».

Сел на станции около дверей Мишка, задумался. Посидел, посидел, глаза слипаться начали. Открыл, они опять закрылись. Вспомнил про Сережку, вздохнул: «Куда денется? Утром найдется».

Упала Мишкина голова на колени, тело кверху поплыло. Плывет, как на крыльях, все выше и выше поднимается.

Мать снизу кричит: «Упадешь, Миша, куда забрался?»

А Яшка, брат, голубей стреляет из деревянного ружья. Стрельнет раз — голубь. Еще раз — еще голубь. Штук десять настрелял. Повесил на веревочку и давай этими голубями Мишку по голове бить.

Рассердился Мишка, хотел было Яшку ударить, а перед ним — солдат с ружьем.

— Нельзя здесь лежать!

Собачонка мимо прошла, обнюхала воздух. Поглядела в дверь, пошла на цыпочках дальше. Вышел мужик без шапки.

— Ты чего, мальчишка, зябнешь?

— Спать, дяденька, больно хочется.

— Куда едешь?

— В Ташкент мы с Сережкой, а он потерялся.

— Иди в третий класс — уснешь.

Зашел Мишка в третий класс, а народу в третьем классе — наступить негде, кучей так и лежат. Пар над ними, словно в бане, а в пару этом слышно: плачут, плюют, сморкаются. Старик ползет будто рак — задом наперед. Его ругают, а он ползет.

— Куда тебя черти несут?

Задел Мишка ногами за чью-то голову, напугался. Поднялась голова, как крикнет:

— Чего ходишь тут?

— Сережку я ищу.

— Жулик, наверное, ты.

Кто-то еще закричал:

— Выгоньте его — украдет.

Поползал Мишка в одной стороне, а Сережки нет. И в другой стороне — Сережки нет. Будто в воду канул! Не искать нельзя:

вместе уговаривались. Сунулся Мишка в последний уголок, а Сережка съежился там да и спит.

— Эй ты, пропадущий!

Открыл глаза Сережка — не поймет. Будто Мишкин голос, будто не Мишкин. Лицо будто Мишкино, а голова будто не Мишкина. Опять Мишка за руку дернул:

— Проснись! Я это, насили разыскал. Ты зачем убег с того места?

— Боязно там!

— Эх, боязно! Чай, не в лесу. И меня не послушал. Хорошо, я не бросил искать. Остался бы один — не больно гожа. Разве можно так делать? Дурак! Уговорились вместе ехать, надо держаться.

Шмыгнул Сережка носом от обиды, глаза кулаком потер.

— Ну, ладно, не плачь, я не сержусь. Вперед только так не делай. Ты маленько спал?

— Есть я хочу.

Мишка тоже есть хочет. Облизал губы языком, подумал: «На моей шее будет сидеть».

Вслух сказал:

— Какой ты чудной, Сережка, терпеть не умеешь! Где я возьму хлеба теперь? Приедем в Ташкент, наедемся. Мало будет тебе, свою долю отдам. Разве мне жалко.

А у самого в мешке кусочек травяного хлеба из дому: утаить хотел. Товарища жалко, и себя не хочется обижать. Он ведь, Мишка, хлопочет везде, ему и пищи больше надо.

Припомнил уговор — пополам делить, — рассердился.

Связал уговор по рукам и ногам — лучше бы не уговариваться. Вытащил кусочек, нехотя отломил немного.

— На, после отдашь. Теперь на тебе два куска моих. А где у тебя сумка с лаптем?

— На том месте осталась.

— Дурак! Во что теперь хлеб положишь?

Сережка отвернулся.

— Я не поеду в Ташкент.

— Зачем?

— Далеко больно.

— А домой как пойдешь?

— Дойду потихоньку...

— Иди, если не боишься. А таких товарищей я не люблю, которые пятятся. То ехать, то не ехать...

Долго молчали.

Кто-то кричал во сне, окутанный паром:

— Пошел, пошел! Наш поезд пошел!

Рядом мужик поднялся с огромной всклокоченной головой и тоже кому-то сказал:

— Все умрем! Ноги пухнуть начали у меня.

Представился Мишке Ташкент невиданный и два мешка с кусками. В одном мешке — белый хлеб, а в другом мешке — черный хлеб.

В третьем мешочке — пшеница, фунтов десять. Это на семена. А пшеница не как наша. Крупная! Глядит Мишкина мать в два мешка, от радости плачет: «Ах, Миша, Миша! Какой ты хороший сынок, заботишься об нас. Ляг, маленько усни. А вы, ребята, не шумите».

Открыл Мишка глаза невидящие, опять закрыл.

Не знай, по крыше кто ходит, не знай, дождик шумит. Ладно, наплевать, спать больно хочется. Утром завтра можно узнать хорошенько.

А вверху под самым потолком дерево качается сучками вниз. Запрокинулась назад Мишкина голова, а дерево яблоками увешано. Большие яблоки, по два кулака. Упало одно прямо на Мишкину голову, а Мишке повернуться даже лень, руку за яблоком протянуть не хочется.

«Ладно, наплевать, спать больно хочется...»

У Сережки во рту нехорошо.

Съел он кусочек, еще больше раздражился. Вылизал десны языком, начал ногти грызть. Кишки так и ворочаются, инда саднит все брюхо.

Увидал, спит Мишка, стал Мишкину сумку ощупывать: нет ли хлеба спрятанного?

Нащупал кружку, подумал: «Хлеб!»

Обрадовался и напугался: «Эх, проснется Мишка! Либо побьет, либо скажет: «Как тебе не стыдно? Взял я тебя за хорошего, а ты жуликом заделался».

Держит Сережка Мишкину кружку в мешке, думает: «А если я не весь съем? Все равно грех. Чай, я не нарошно: есть хочется. Бери, если не боишься».

Запутались Сережкины мысли: и взять и не взять. И есть ему хочется и перед товарищем стыдно.

Подошел тяжелый сон, начал Сережкину голову нагибать, Сережкино тело укачивать: «Спи!»

Долго боролся Сережка с тяжелым сном. Глаза открывал, головой встряхивал, руками судорожно ощупывал кружку в мешке.

Есть больно хочется...

Но положил все-таки тяжелый сон Сережкину голову около Мишкиных ног, во рту стало тепло и покойно. Ласковый голос сказал: «Не надо воровать, терпи маленько».

К утру подали поезд ташкентский.

Поднялись мужики с сундуками, поднялись бабы с ребятами. Вскинулись мешки на плечи, загремели ведра, чайники, самовары. Выгнулись спины мужицкие, растрепались головы бабы; мокро под рубашками.

Повалили...

— Стой!

— Чей мешок у тебя?

— Милиция!

Воет баба над пропавшим мешком, машет кулаками мужик.

— Стой!

Оторвался с кожаной лямки сундук — грох!

Полетели два мужика через сундук — грох!

Повалили...

Не река сорвалась в половодье — народушко прет со всех сторон, со всех концов. Из канавы вылезли, из-за стен выползли — босые, рваные, дождями промытые, ветрами продутые.

— Не мешай!

Захрупали крыши вагонные под сотнями ног. Заревела темнота предутренняя сотнями голосов. Тяжело дышат мужики, отдуваются. Руки дрожат, ноги дрожат, глаза от страха выворачиваются.

— Не мешай!

Баб подсаживают, сундуки кидают, мешки кидают, ребят на руки бабам кидают. Храпят, задыхаются.

— Не поспеешь!

— Товарищ, товарищ, это баба моя!

— К черту!

— Какое полное право?

— Гони!

— Ива-а-ан!

— Ах, сукины дети!

Тащит Мишка Сережку перепуганного, ныряет под вагонами, стучается головой о колеса.

— Скорей!

А двери вагонные высоко. Мишка с Сережкой никак не достанут до них, никак не залезут. И ухватиться не за что.

— Дяденька, подсади!

У вагонов вертятся мужики с бабами, топчут, мнут, к дверям не подпускают.

— Лезь на крышу!

— Чайник где?

— Товарищ, чайник наш!

Раз! по зубам.

— Жулик!

— Бей до смерти!

Обежал Мишка вокруг поезда два раза — никто не подсаживает. Что делать? А мужики верхом садятся на буфера, и бабы верхом садятся. Девки лезут, ноги по-мужичьи раскорячивают. Значит, можно тут. Вскочил Мишка верхом на буфер, кричит:

— Лезь сюда!

А Сережка не влезет.

— Давай подсажу.

— Упаду я тут.

Здорово рассердился Мишка, даже зубы стиснул.

— Крепче держись!

Ухватился Сережка обеими руками за железную шляпку, глаза ничего не видят.

— Раздавит меня тут.

А рядом за стенкой солдат мужиков ругает:

— Марш отсюда!

Задрожал Сережка — ни живой ни мертвый.

— Батюшки!

Мишка шепчет ему:

— Молчи, молчи, он не видит нас. Не кашляй!

— Руки не держатся.

— Брось говорить!

— Мишенька, миленький, упаду.

Тут Мишка совсем рассердился.

Плюнул под буфер, сказал:

— Падай, я один поеду...

Замолчал Сережка, а солдат Сережкину голову увидал.

— Кто тут?

Влопались.

— Слезай!

Ничего не поделаешь.

Или слезай, или говорить начинай. Мишка вступил в переговоры.

— Это, товарищ красноармеец, мальчишка из нашей деревни, со мной едет.

— А ты кто?

— Лопатинский я, Бузулукского уезда. Еду за хлебом в Ташкент.

— Показывай документы!

— Пашпорт?

— Я тебе дам пашпорт!

А другой солдат кричит позади:

— Тащи в ортчеку!*

Екнуло Мишкино сердце: «Достукались!»

Сережка — ни живой ни мертвый.

Схватил солдат его за руку — инда в плече дернуло.

— Сопливые мальчишки! Транспорт только уничтожаете...

Вот тебе раз! Поехали за хлебом в Ташкент, попали в ортчеку. А ортчека, не иначе, судить будет. Слышал Мишка такое слово от мужиков — не больно хвалили. Если солдату сунуть маленько — денег нет. Плакать нарочно — не поверит. И поезд уйдет. Вернется Мишкина голова с разными мыслями — ничего не придумаешь. Увидал — Сережка хнычет, на хитрость пустился.

— Чего ж ты нюни распустил? Чай, нас не в тюрьму повели. Разберут, откуда мы такие, — отпустят.

Потом солдату ласково сказал:

— С нашим братом нельзя иначе. Все мы лезем куда не надо...

Молчит солдат.

— Товарищ красноармеец, нельзя ли нас двоих пропустить? Мы голодающие.

— Шагай, шагай, завтра поедешь.

Мишка подумал: «Как его обмануть?»

Схватил его за руку, шепчет:

— Товарищ красноармеец, мужик полез.

— Где?

— Вон там, за вагонами сел.

Глядит солдат, а на вагоне две бабы торчат, словно на счастье.

— Стойте тут!

Мишка радостно подхватил:

— Стой, Сережка, стой! Подождем товарища красноармейца — некогда ему с нами возиться...

Побежал солдат баб прогонять, а народу кругом ни души. В самый раз. Поправил Мишка мешок на спине, шепчет Сережке:

— Не кричи! Давай руку!

Сначала позади станции бежали, мимо коровьих хлевушек, в темноте натыкались на навозные кучи. Напугали собаку сонную. Залаяла собака, напугала Сережку. Выбежали около водокачки, нырнули под вагоны, в самый хвост. Посидели, дальше поползли. Обнюхал Мишка руки себе, плюнул.

— Кто-то навалил тут, бесова морда! Ты не выпачкался?

— Выпачкался.

— Не хватай меня.

Выглянули наружу — ни одного человека не видно. Что такое? Народ больно далеко шумит.

— Сережка, мы не здесь ползем.

Бросились в другую сторону — тут и паровоз под самым носом.

— Вон он где!

А на паровоз мужики с бабами тихонько лезут.

Подсадил Мишка товарища, в спину толкнул.

— Лезь!

— А ты?

— Лезь, не говори со мной.

Нельзя перечить: Мишка — вожак.

Залез Сережка — наступить не знает где. Дотронулся до одного места — горячо.

— Мишка, тут печка!

— Молчи!

Вдруг как свистнет над самой головой, как дернет, а внизу под ногами: ф-фу! ф-фу! — у Сережки и волосы поднялись.

— Батюшки!

Сначала тихонько ехали, потом все шибче да шибче. Ревет кто-то над самой головой, гремит, дергает, а искры так и сыплются сверху. А ветер так и свищет в лицо, голову треплет. Эх, если опрокинется машина, вдребезги убьет, ни одного человека не останется.

Поглядел Сережка маленько вперед, в ужасе отшатнулся: навстречу — чудовище с огненными глазами, сейчас расшибет!

А чудовище мимо машины — жж-ж!

Все-таки не расшибло.

8

Ехали долго.

И никак нельзя было понять: земля бежит или машина бежит. И куда бежит — никак понять нельзя: вперед или назад. То будто вперед, то будто назад. Вся земля вертится на одном месте, а машина со всем народом по воздуху несется. На мосточках через овраги страшно гремело под колесами, и самые овраги на секунду бросались в глаза черными разинутыми ртами.

Утром легче стало.

Развернулись поля, пробежали мимо будки, мужики на лошадях, бабы, ребята, деревни.

Мишка, утомленный за ночь, крепко спал около паровозной трубы. Баба кормила ребенка грудью. Мужик с расстегнутым воротом выбрасывал вшей из-под рубахи. Другая баба кричала мужику:

— Не кидай на меня!

— Вошь я уронил!

— Где?

— Вот тут.

— Вшивый бес!

— Не ругайся, я найду ее: она у меня меченая — левое ухо разрезано, на лбу белое пятнышко...

На подъеме машина убавила ход. Запыхтела, зафукала, остановилась. «Приехали!» — подумал Сережка.

А мужик сказал другому мужику:

— Паровоз не работает.

— Значит, не пойдет?

— Винты расстроились.

Вылез человек в черной засаленной рубашке, начал стучать молотком по колесам. Вылез еще человек. Дернула машина раза два, опять остановилась. Попрыгали мужики из вагонов, бабы и теплым ясным утром торопливо, в полукруг, начали садиться «на двор» недалеко от чугунки.

Сережка подумал: «Видно, всем можно тут».

Ему тоже хотелось «на двор», но боялся прыгать, чтобы не отстать, терпел свое горе сквозь слезы.

— Мишка, айда с тобой!

— Я не хочу.

— Я больно хочу...

— Прыгай скорее!

Только хотел Сережка спрыгнуть, а народ закричал:

— Садись, садись, пошла!

Фыркнула машина, заревел гудок — потащились.

Сережка заплакал:

— «На двор» я хочу!

— погоди маленько, не надо.

Через минуту Сережка судорожно схватился за штанишки.

— Не вытерплю я!

— Постой маленько, постой! Скоро на станцию приедем.

Не хотелось Мишке конфузиться из-за товарища, а глаза у Сережки испуганно выворотились, лицо побелело.

— Ты что?

— Ушло из меня.

— Молчи, не сказывай! Сядь вот тут!

Сел около бабы Сережка, а баба говорит:

— Где у нас пахнет как?

И мужик тоже оглядывается.

— Кто-то маленько напустил!

— Какое маленько — живым несет.

Легче стало в брюхе у Сережки, сидит — не шелохнется.

Мишка в бок толкает его:

— Молчи.

Когда въехали в вагонную гущу на станции, быстро замелькали головы, руки, ноги, лошади, телеги на вагонных площадках. Остановилась машина далеко от станции. Мужики с бабами тут же попрыгали, прыгнул и Мишка с Сережкой. Мишка ма-

ленько прихрамывал на левую ногу, а Сережка совсем разучился ходить по земле. Голова кружилась, ноги спотыкались, и опять, как на машине, плавали вагоны в глазах, перевертывалось небо. Мишка тащил его за собой.

— Айда, айда!

— Куда?

— Нельзя здесь — увидят...

Ушли из опасного места, очутились на пустыре около высокого забора. Поднял Сережка гайку в траве, очень обрадовался. В голове мелькнула хозяйская мысль: «Дома сгодится!» — но Мишка сказал:

— Ты чего в карман положил?

— Гайку.

— Брось.

— Зачем?

— Обыскивать будут...

Сережка нахмурился. Жалко гайку бросить, и на Мишку сердце берет. Что за начальник такой — везде суется! Взять да не слушаться никогда. Встали сразу все Мишкины обиды перед Сережкой — даже в носу защекотало. Стиснул гайку, думает: «Пусть ударит!»

Мишка еще больше рассердился:

— Брось!

— А тебе чего, жалко?

Мишке было не жалко. Просто досадно, что Сережка поднял хорошую гайку, а он, Мишка, не поднял потому, что все время о хлебе думал и глаза под ногами не распускал.

— Мы как уговорились?

— Как?

— Все пополам делить.

— Это мы про хлеб говорили.

Лег Мишка на спину, долго смотрел на голубое кудрявое облако, плывущее по чужому далекому небу. В кишках начало булавками покалывать, во рту появилась слизь, вяжущая губы. Плюнул. Стиснул голову обеими руками, стал обуваться в лапти. Обувался рассеянно. Пересматривал оборины, худые пятки у лаптей, неторопливо вытряхивал пыль из чулок. Украдкой взглянул на Сережкин карман, где лежала соблазнительная гайка. Почесал в голове. Кому не надо — счастье. Он вот хлопочет, бегаёт, на вагоны подсаживает, а гайку нашел другой. Ударил Мишка чулком по кирпичу, сказал:

— Ладно, держи свою гайку, мне не надо...

Губы у Сережки оттопырились, глаза заморгали.

Подпотела гайка в кулаке, словно приросла к шершавой ладони. Драка будет, если начнет Мишка насильно отнимать. Что за начальник такой — каждый раз нельзя ничего сделать!

Мишка взглянул исподлобья:

— С такими товарищами только и ездить по разным дорогам. Если хлеб мой жрать — ты первый, а за гайку готов удавиться. Кто тебя вытащил из ортчеки? И опять попадешь, если я не заступлюсь. И хлеба не дам больше, и уеду один от тебя. Оставайся со своей гайкой.

Губы у Сережки вздрагивали, глаза от обиды темнели. Слабо разжимался кулак на минуточку и снова сжимался еще крепче. Не гайку жалко — досадно. Зачем такой начальник Мишка? Зачем нельзя каждый раз ничего сделать?

Пошли.

Хотел Сережка рядом идти, Мишка отсунул:

— Иди вот там, не надо мне.

Шмыгнул Сережка носом, пошел позади. Поглядел на гайку в кулаке, вытер о колено. Жалко! И не давать нельзя. Завез Мишка на чужую сторону, возьмет да и бросит на дороге около киргизов.

Взгрустнулось.

Лизнул гайку языком два раза, неожиданно сказал:

— Мишка, давай, кому достанется!

— Не надо мне.

— Ты думаешь, жалко?

Мишка вздохнул облегченно:

— Сознался, чертенок! Все равно без меня никуда не уедешь.

Решили трясти два жеребья в Мишкином картузе: большую палочку и маленькую палочку. Сережка спохватился:

— Обманешь ты меня, давай по-другому.

— Давай.

Поднял Мишка камешек, загадал:

— Я сожму два кулака. Возьмешь кулак с камешком — твоя гайка. Возьмешь кулак без камешка — моя гайка.

Долго раздумывал Сережка, который взять. Щурил глаза, отвертывался, даже помолился тихонько:

— Дай бог, мне досталась!

— Скорее бери!

— Левый.

Мишка причмокнул.

— Дурачок ты маленько приходишься! Я всегда в правой держу.

Вытащил Сережка гайку проигранную, еще больше захотелось есть. С ней сытнее было, а теперь все брюхо опорожнилось, и во рту нехорошо.

Мишка хвалился:

— Какой я счастливый! Приеду домой, чего-нибудь сделаю из этой гайки или кузнецу продам за сто рублей.

Сережка настороженно поднял голову:

— Ну, за сто — много больно!
— А что? Она железная, куда хочешь ходится.
— Сто не дадут.
— Давай спорить на два куска!
Грустно стало Сережке. Прошли шагов двадцать, сказал он, чтобы утешиться:
— Продавай, я еще найду чугунную...

10

За станцией дымились жарники. Пахло кипяченой водой, луком, картошкой, жженым навозом.

Тут варили, тут и «на двор» ходили.

Голые бабы со спущенными на брюхо рубахами, косматые и немытые, вытаскивали вшей из рубашечных рубцов. Давили ногтями, клали на горячие кирпичи, смотрели, как дуются они, обожженные. Мужики в расстегнутых штанах, наклонив головы над вывороченными ширинками, часто плевали на грязные окровавленные ногти.

Укрыться было негде. Из-под вагонов гнали.

Около уборной с двумя сиденьями стояла огромная очередь — больше, чем у кипяtilьника. Вся луговина за станицей, все канавки с долинками залиты всплошную, измазаны, загажены, и люди в этой грязи отупели, завшивели.

Лишь бы не пропасть.

Приходили поезда, уходили.

Счастливые уезжали на буферах, на крышах.

Несчастливые бродили по станции целыми неделями, металсь в бреду по ночам. Матери были над голодными ребятами, голодные ребята грызли матерям тощие, безмолочные груди.

Постояли Мишка с Сережкой около чужого жарника, начал Мишка золу разгребать тоненьким прутиком. Баба косматая пронзительно закричала:

— Уходите к черту! Жулик на жулике шатается — силушки нет.

Мужик в наглухо застегнутом полушубке покосился на Мишку:

— Чего надо?

— Ничего не надо, своих ищем.

— Близо не подходи!

На вокзале, в углу под скамейкой, лежал мальчуган с облезлой головой, громко выкрикивал в каменной, сырой тишине:

— Ой, алла! Ой, алла!

В другом углу, раскинув руки, валялся мужик вверх лицом с рыжей нечесаной бородой. В бороде на грязных волосках пол-

зали крупные серые вши, будто муравьи в муравейнике. Глаза у мужика то открывались, то опять закрывались. Дергалась нога в распушенной портянке, другая торчала неподвижно. На усах около мокрых ноздрей сидела большая зеленая муха с сизой головой.

Сережка спросил:

— Зачем он лежит?

Мишка не ответил.

Кусочек выпачканного хлеба около мужика приковал к себе неотразимой силой. Понял Мишка, что мужик умирает, подумал: «Хорошо, если бы этот кусочек стащить! Народу нет, никто не видит. И если увидит кто — не догонят. Себе можно побольше, Сережке поменьше, потому что он и сам поменьше».

Прошелся Мишка от стены к стене, мельком в окно заглянул. Ноги вдруг ослабели от сладкого ощущения первого воровства, лицо и уши стали горячими. Ощупал Сережку невидящими глазами, торопливо шепнул:

— Погляди вон там!

— Где?

— Там, за дверью.

Раз, два — готово!

Сережка из дверей спросил:

— Мишка, чего глядеть-то?

— Не гляди больше, не надо...

По платформе побежали мужики за начальником станции. Христом-богом просили пустить их вперед.

— Товарищ начальник, сделайте для нас такое уважение настолько!

— Ждите, ждите, товарищи, не могу!

Побежал и Мишка вместе с мужиками.

Остановились мужики, и Мишка остановился, держа за руку непонимающего Сережку.

Мужики сняли шапки, снял и Мишка старый отцовский картуз. Дернул Сережку.

— Сними!

Не выгорело дело, мужики начали ругаться. Мишка тоже сказал, как большой:

— Взятки ждут...

После барыню увидели — голова с разными гребенками.

Такие попадались в Самаре, отец покойный называл их финтиклюшками. Стояла барыня на крылечке в зеленом вагоне, на пальцах — два кольца золотых. В одном ухе сережка блестит, и зубы не как у нас: тоже золотые. Рядом ребятишки смотрят ей в рот. Бросит мосолок барыня — ребятишки в драку. Упадут всей кучей и возятся. Потом опять выстроятся в ряд. Перекидала мосолки барыня, бросила хлебную корочку.

Так и пришибла Мишку этакая досада: «Хлеб кидает, дура!» Поправил мешок, пошли в наступление с Сережкой.

— Ты лови, и я буду ловить.

Росту Мишка невысокого, но здорово укряжистый. Весь в дядю Никанора, который на кулачки дрался лучше всех. Ударит, бывало, по уху — сразу музыка в голове.

Увидала барыня мальчишку в широких лаптях, нарочно кинула кусочек побольше. Инда ноздри раздулись у Мишки. Двинул правым плечом — за раз двоих опрокинул, на третьего верхом сел. Придавил головой к земле, уцепился за шею, словно клещами.

Маленький расплющенный кусочек, вымазанный пылью, достался ему.

Не успел отдышаться, барыня еще кусочек кинула.

Так и подбросило Мишку невидимой силой.

— Сережка, хватай!

Но тут кривоногий мальчишка с большим брюхом ухитрился лучше всех. Сбил Сережку под ногу — прямо носом в землю. Вскочил Сережка, не видит ничего. Взмахнул обеими руками ударить — мимо. А кривоногий девчонку отшвырнул в длинной рубахе, хорьком ошетинился на подскочившего Мишку. Двое других закричали:

— Дай ему, Ванька!

Поправил Мишка мешок за плечами, приподнял козырек, упавший на глаза.

— Дай!

— А, чай, боюсь тебя?

— Давай, давай, попробуй.

Тут барыня опять кусочек кинула.

И в это же время из окошка вагонного кто-то бумажку выкинул, свернутую пакетиком.

Эх, черт возьми!

Так бы и разорвался Мишка на две половинки, да никак этого сделать нельзя. Бросился за бумажкой.

«Чего-нибудь есть в ней!»

Развернул дрожащими пальцами, а в бумажке — окурки папиросные.

— Тьфу, ведьмы, чтобы чирей сел!

Игра продолжалась долго.

То Мишка сшибал сразу двоих, то Мишку сшибали сразу двое.

Нахватал он больше всех, и стало ему не страшно.

Может, еще найдется финтиклюшка. Пусть кидает, если не жалко. Только бы до Ташкента доехать, да зерна привезти на посев фунтов пятнадцать, да хлеба кусками побольше.

Строгие хозяйские мысли укладывались складно, радовали сердце, а свой посев на будущую весну обволакивал Мишкины

мысли ласковым, играющим теплом. Тощее, голодное тело ныло сладкой мужицкой истомой.

Сережка ничего не нахватал. Схватил одну корочку, да и ту вырвал Ванька кривоногий с большим брюхом и щеку оцарапал ему большими собачьими ногтями.

Сели за станцией.

Пересчитал Мишка собранные корочки, сказал:

— Пять! Три мне, две тебе.

Проглотил Сережка корочки, во рту еще хуже стало.

— Мишка, дай маленько, я не наелся.

— Будет пока. Напьемся воды, ляжем спать.

— Вон эту крошечку дай.

— Которую?

— Вон на коленке у тебя.

Мишка тоже не наелся. Пощупал кусок, украденный у мужика, и губы выпятил.

— Все дай да дай! А ты когда будешь давать?

— Я тебе гайку дал.

— Она мне досталась.

Сережка примолк.

Вытащил Мишка из кармана выигранную гайку, бросил под ноги.

— Ешь ее, если не хочешь дружить.

Оба долго молчали.

— Сколько кусков за тобой?

— Три.

— Как бы не так!

— А сколько же?

— Пересчитай — узнаешь. На дороге отдыхали, я давал тебе — раз. На той станции, где сидели, — два. Сейчас две корки отдал — стало четыре. Я не такой, как ты, лишнего не насчитаю.

Сережка заплакал:

— В кишках у меня мутит.

11

Ночью выпал дождь.

Завозился пустырь с мужиками да бабами, зашипели угли в жаровнях, расплескалась сердитая ругань. Кто-то кричал в темноте:

— Бери чапан!*

— Где чапан?

Целым стадом потащились на станцию, побежали под вагоны. Только баба, оставленная на пустыре, сердито ругалась:

— Миколай, да куда тебя черти утащили!

Долго шлепали Мишка с Сережкой по лужам, спотыкались в ямках. Опоздали на вокзал, сесть было негде. Прижались к стене в коридоре, опустили на корточки. У Сережки живот разболелся.

— Мишка, я «на двор» хочу.

— Опять «на двор»? Беги скорее за стенку!

— Айда с тобой.

Плюнул Мишка от стыда, рассердился.

— Какой ты чудной, Сережка! Сам хочешь и меня зовешь. Чай, не волки здесь — за ноги не откусят.

Раз десять сбегал Сережка, жилился, плакал и снова говорил упавшим, встревоженным голосом:

— Мишка, тянет из меня...

— А ты не жисься!

— Не живу я — течет...

— Глотай слюну в себя!

— Кишки выворачивает.

Мишке надоело возиться, лениво сказал:

— Пройдет, только не думай об этом. Это понос у тебя от плохой воды.

Сережка не думал.

Вздрагивал, прижимался к товарищу, чтобы согреться маленько, закрывал глаза.

— Холодно мне!

В тусклом свете фонарей летели крупные дождевые капли, дымились в лужах, барабанили по вокзальной крыше. Побежал человек в кожаном картузе, стукнул каблуками в коридоре, наступил Сережке на ногу.

Сережка заплакал.

Мишка, нахлобучив до ушей старый отцовский картуз, смотрел утомленно.

— Зачем ты стонешь, Сережка?

— Холодно мне... Голова горит...

Вот не было горя. Протискался Мишка в народ, закричал:

— Товарищи, дайте погреться мальчишке хворому!

Никто не ответил.

Тогда Мишка пустился на хитрость, взял Сережку за руку, еще громче крикнул:

— Пустите!

— Кто тут?

— К маме мы идем.

Протискались в угол на бабий мешок, баба закричала:

— Куда забрались? Ждала я вас?

Хитрить так хитрить, без хитрости не обойдешься. Никогда не было у Мишки такого голоса — очень уж ласковый.

— Ты, тетенька, бузулуцкая?

— Слезь с мешка!

— Мы не тронем.

Мужик рядом сказал, не поднимая головы:

— Дерни за волосы, и будет знать.

— Мать мы потеряли, а отец от голоду помер.

Опять мужик рядом сказал, не поднимая головы:

— Я тоже сирота — без отца еду.

Согрелся Мишка около мешков, чуть-чуть задремал. Только хотел совсем забыться, Сережка как закричит без памяти:

— Киргиз!

Заплакал ребенок у бабы. Баба сердито сказала:

— Не кричи: ребенка у меня напугаешь...

А Сережка опять закричал:

— Горит!

Опамятовался, «на двор» запросился. Потом тихонько заснул, падая головой на колени.

Мишка в отчаянии закрыл глаза. Думал он о Ташкенте невиданном, в голове неотвязно кружилась пшеница, фунтов пятнадцать, и кусков два мешка. Мысленно висел на буферах, забирался на вагонную крышу, прятался на паровозах, и ни один солдат, ни один начальник не могли поймать его. Они — на крышу, он — с крыши. Они — на паровоз, он — с паровоза. Так везде и говорили про него:

— Вот разбойник появился!

— Кто?

— Да мальчишка бузулуцкий из Лопатинской волости. Без билета едет и без пропуска. Никак не поймаешь в ортчеку...

А рядом Сережка вздрагивал, скулил по-щенячьи в бреду.

Смотрел Мишка на него хмурыми, недобрыми глазами, думал: «Зачем я связался с таким? Лучше, если бы не связываться, а теперь нельзя, уговор. Одного бросить — пропадет. Возиться с ним — в Ташкент долго не попадешь. Эх, дурак! Тошно было одному ехать. Набрал бы шесть кусков, и ешь все шесть один».

Душно стало от тяжелых навалившихся дум, голову колесом распирало. Протискался из вокзала Мишка, вышел на платформу.

Под вагонами увидел Ваньку с кривыми ногами, у которого корочки отнимал, и другого мальчишку — Петькой звать. Сидели они около колеса на сухом местечке — не то спали, не то думали.

Узнал и Ванька недавнего соперника, миролюбиво сказал:

— Лезь к нам!

— А чего у вас?

— Погреешься маленько.

Присел Мишка около колеса, рассказал про Сережку, про Сережкин понос и как они уговаривались не бросать друг друга. Сам Сережка плохой, хлопотать не умеет, и Мишке приходится

одному добывать за двоих. Давеча он пять кусков нахватал, а если бы захотел, все отнял.

Ванька взглянул исподлобья:

— На силу надеешься?

— А чего мне надеяться? Накорми меня досыта, я сразу на двоих пойду.

— Эка чем хвалится! Накорми меня, я тоже пойду!

Петька спросил, разглядывая Мишку вспыхнувшими глазами:

— На Яшку нашего пойдешь?

— Который ему год?

— Тринадцатый.

— Какой человек. Можно и на большого пойти.

Досадно стало Петьке: один двоих не боится.

Сунул он локтем невзначай — прямо Мишке в щеку.

Мишка поправил мешок.

— Ты чего дерешься?

— А ты?

— Смотри, дюдюкну раз — опрокинешься.

Ванька ногой отшвырнул его.

— Не лезь!

Петька кулаки приготовил.

— Дай ему, Ванька, за давешние кусочки.

Сцепились три репья под вагоном, долго мяли друг друга в тяжелой загоревшейся злобе. Ногти больно у Ваньки нехорошие — весь нос исцарапал Мишке! Ну, и Мишка тоже здорово голову прищемил ему, как мышь запищал...

12

В полдень поезд пришел не мужицкий, с хорошими вагонами. Мужики не попали.

Вытряхнули Ваньку с Петькой, увели трех девок в ортчеку.

— Безбилетные!

Мишке посчастливилось.

Вертелся-вертелся он около паровоза с красными высокими колесами, забрался на ступеньку. Наверно бы уехал, да мысли разные в голове закружились: «Бросил, бросил, товарища бросил. Больного товарища».

Повернулись колеса у паровоза, мысли в голове еще больше закружились: «Бросил, бросил!»

Спрыгнул со ступеньки Мишка, чуть не заплакал от обиды: «Зачем я связался с ним?»

Ушел паровоз на красных колесах, осталась тоска по нему. Лежал Сережка на солнышке за вокзальной будкой, тупо

облизывал губы воспаленным языком. Лицо осунулось у него, нос заострился. Сел Мишка около товарища, головой покачал. Вытащил тряпичку из мешка, соли щепотку положил на язык. Поморщился, выплюнул. Молча пошел вдоль вагонов. Снял картуз, постоял под окошком около вагона, двинулся дальше. Подобрал кожуру картофельную, выброшенную в грязь, тяжело задвигал голодными челюстями.

Густо щами бараньими запахло из другого вагона.

Опять снял Мишка старый отцовский картуз.

— Тетенька, дай хворому мальчишке маленько.

— Кому?

— Хворому.

— Иди, пока я тебе в глаза не плеснула. Доняли каждую минуту, черти!

Охнул Мишка, ничего не сказал. Прошел самый последний вагон, сел на тонкую светлую рельсу.

Отец покойный всегда говорил: «С нашего брата — давай, нашему брату — нет».

Стиснул Мишка голову обеими руками, окаменел: «Умирай наш брат — никому не жалко».

Тут и попалась ему городская, в беленьком платочке — сестра милосердия. В руке целый кусок черного хлеба. Или сама догадалась, что у Мишки большое горе, или глаза Мишкины выдали это горе.

— Куда едешь, мальчик?

Так и обдал Мишку ласковый голос, словно из кувшина теплой водой. Посмотрел в лицо — не смеется, глазами жалостливая. Недолго думал Мишка: выложил все, как на исповеди. С товарищем они уговорились в Ташкент ехать вместе, дорогой не бросать друг друга. А товарищ захворал маленько, и хлеба никто не дает им. Ему бы, Мишке, дальше ехать скорее — товарища бросить нельзя: пропадет, если один останется, — больно неопытный. Сроду не был нигде, паровозов боится.

— Чем он захворал?

— Понос с ним от плохой воды и вроде лихорадки.

— Покажи мне его.

Пришли за будку, где Сережка валялся. Мишка сказал:

— Вот, гляди!

Поглядела городская Сережкино брюхо, говорит:

— Не лихорадка с ним — тиф, и он, наверно, не выдержит у тебя.

— Куда же его теперь?

Подумала городская, сказала:

— Полон вагон больных у нас, а все-таки и его придется положить. Доедем до другой станции, в больницу положим. Согласен?

Не тому Мишка рад, что в больницу Сережку положат. Нет, и этому рад. А еще больше вот чему рад: есть на свете хорошие люди, только сразу не нападешь. И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках. Отломил городская хлеба кусочек, Мишка чуть не заплакал от радости:

— Благодарим покорно, тетенька!

Сам думает: «Эх, кабы и меня посадила!»

А городская — колдунья, что ли? Сразу угадала Мишкины мысли.

— Куда пойдешь теперь?

Поглядел Мишка в глаза жалостливые, сознался:

— Тетенька, посади в уголок, я никому не скажу.

Есть на свете хорошие люди!

И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках.

Сидит Мишка в санитарном вагоне — и не верится: сон такой видит или наяву происходит?

Стучит вагон, покачивается. Стучат колеса, наигрывают, а Мишка в уголке улыбается сквозь голубую дрему, путающую мысли: «Где теперь Ванька кривоногий? А где жарники?»

Потухли сразу все жарники, только колеса внизу выговаривают: ту-ту-ту! ту-ту-ту!..

Потом и колеса перестали выговаривать.

Сон.

13

Больница Мишке понравилась: крашеная и окошек много. Полежит Сережка в ней, поправится. Лекарства пустят ему, порошков дадут — живой рукой поднимется. А поедет Мишка назад из Ташкента — и его захватит. Будет удача большая — и хлебом поделится, чтобы не завидно было. Всякий может захворать, он не виноват.

Носилки с Сережкой поставили на крыльцо. Ушли носильщики, долго никто не выходил. Крикнула ворона в деревьях.

— Не к добру орет, кабы не случилось чего.

Опамятовался Сережка, заплакал:

— Куда меня хотят?

— Больница здесь, не бойся.

— А ты где?

— Здесь, с тобой.

Сел Мишка на крылечке около носилок, начал рассказывать. Женщина больно хорошая попалась, жалеет обоих, хлеба давала. Я, говорит, Сережку обязательно вылечу. У меня, говорит, лекарство такое есть. А один Мишка все равно не поедет, будет по базару ходить. Базар есть за станцией, как в Бузулуке, и ку-



А. Неверов. Ташкент — город хлебный.

пить можно чего хочешь. Пусть только Сережка не сердится, что они ругались,— без этого не обойдешься в дороге.

Вспомнил про гайку выигранную.

— Ты думаешь, я взаправду гайку взял? На кой она мне, чужая! Я нарочно дразнил!..

Вытащил гайку из теплого глубокого кармана, положил Сережке на руку:

— На, спрячь ее.

А когда отворились больничные двери и вошел в них Сережка на веки вечные, Мишка почувствовал нестерпимую боль и горькое свое одиночество. Встал у стола, где записывала женщина в белом халате, утомленно рассказывал:

— Крестьяне мы Лопатинской волости, Михайла Додонов я, а он — Сергей Иванович.

— Фамилия как?

Тут и забыл Мишка Сережкину фамилию. Сейчас в голове вертелась! Хотел уличную сказать, женщина настоящую требует.

— Пишите прямо на меня: Михайла Додонов, Лопатинской волости.

— Грамотный?

— А как же!

— Распишись.

Налег Мишка грудью на стол и губы оттопырил с натуги.

Давно не писал: рука не берет.

Расписался, и сразу скучно стало.

Вышел из больницы, а гайка на крыльце валяется.

«Эх, позабыл Сережка».

Заглянул в окно — никого не видать. Полез в другое окно — кто-то пальцем погрозил оттуда. Повертелся щенком беспризорным вокруг больницы Мишка, опять у крыльца остановился.

«Как бы гайку передать?»

Вынесли человека на носилках. Думал — Сережка это, а на носилках — баба мертвая, и ноги у бабы голые. Грустно стало — силы нет. Есть хочется, и товарища жалко: «Гайку-то позабыл зачем?»

14

Целый день шатался Мишка по базару между продавцами, слушал, сколько просят за юбки, сколько за кофты, почем стоит хлеб, если на деньги купить. Уж и сам хотел вытащить из мешка бабушкину юбку, мужики кругом разговаривают:

— Киргизы за Оренбургом дорого берут разные вещи. Туда надо везти.

Мишка подумал: «Потерплю еще маленько».

Попробовал милостыньку просить, но бабы здесь чересчур сердитые.

Скажешь им: «Тетенька!» — они не глядят.

Донимать начнешь: «Христа ради!» — они замахиваются.

А одна хотела по голове ударить Мишку. Узнала, видно, что кусок он украл у мужика, на весь базар закричала:

— Ты смотри у меня, воришка окаянный! Давно я заприметила — кружишься тут.

Нахлобучил Мишка старый отцовский картуз — ушел от скандала. Донесут в ортчеку — и просидишь недели две, не много станут разговаривать с нашим братом. Потребуют паспорт — нет. Пропуск потребуют, и пропуска нет. Лучше подальше от этого...

Вспомнил про Сережку только к вечеру. Будто кольнул кто в самое сердце: «Что не сходишь? Обещался!»

Хотел сбегать, мужики напугали:

— Поезд готовится на Ташкент. Скоро пойдет.

Сразу раскололась Мишкина голова на две половинки. Одна половинка велит к Сережке сбегать, другая половинка пугает: «Не бегай, опоздаешь».

А первая половинка опять в уши шепчет: «Как не стыдно тебе товарища бросать на чужой стороне? Сам уговаривался, и сам не хочешь. Долго ли добежать! Простишься в последний раз и поедешь. И ему легче будет, когда узнает: ждать не станет...»

Другая половинка успокаивает: «Ты не в этот раз уговорился. Проходишь зря — на поезд не попадешь... Останешься сидеть день да ночь, а в это время сто верст уедешь. Если бы нарочно, не жалко тебе... Ты не нарочно...»

Долго мучился Мишка.

Вышел на станцию. Раз на больницу посмотрит, раз на вагоны: двигаются или нет?

Пересилила Мишкина совесть Мишкину нерешительность — толкнула вперед. Добежал он что есть духу до больничного крыльца, остановился как вкопанный. В трех окошках совсем темно, в одном — огонек горит. Торкнулся в дверь — заперто. Полез головой в окно, где огонек горит, кто-то за рубашку дернул.

— Куда лезешь? Окошко хочешь разбить?

Обернулся Мишка — мужик перед ним с метлой в руке.

— Сережку я гляжу.

— Какого Сережку?

— Наш, лопатинский.

— Никакого Сережки здесь нет, уходи!

Вот тебе раз! Нынче положили, и нынче же нет!

А тут паровоз на станции свистнул. «Поезд!»

Бросился от больницы Мишка, земли не чует под ногами. Прибежал на станцию — не поймет ничего. Туда бегут, сюда бегут, которые чай хлебают. Спросил мужика, мужик и руками развел.

— Я, браток, ничего не знаю, сам четвертый день сижу... Ты куда едешь?

— В Ташкент мне надо.

— В Ташкент давно ушел.

— Ушел?

— Не иначе — ушел.

Так и прострелило Мишку в руки-ноги.

Бросился в другую сторону, на бабу в темноте наскочил — кипяток в ведре несла она... Закачалось ведро, кипятком ей пальцы обожгло. Бросила баба ведро под ноги и давай кричать:

— Держите его!

Не олень бежит, рогами кусты раздвигает — Мишка скачет с мешком за плечами. Сзади шум поднялся, по ушам хлещет:

— Украл, украл, держи!

Пересекли мужики дорогу Мишке:

— Ах ты сукин сын!

— Не нужно, не бейте!

— Позовите милицию!

— Вот, товарищ милицейский, этот самый...

— Мешок украл у женщины.

— Разойдитесь!

Или земля вертится колесом, или люди прыгают друг через друга.

Нет.

Не земля вертится, и не люди прыгают: в глазах у Мишки помутилось, голова Мишкина вертится во все стороны. Стоит он в страшном кругу, и язык не может слова выговорить. Хочет сказать, а язык не выговаривает. Упала слеза на Мишкину щеку, — кто увидит слезу в такой суматохе? Мишкин мешок на глазах у всех. Мишкино горе разжигает мужиков, отупевших от долгого сидения на станциях.

— Бить надо таких щенков!

Ухватил за руку милицейский:

— Идем!

«Пропал, — только это и подумал Мишка, — замотают теперь».

15

Идет он на страшный суд — все поджилочки прыгают. Вспомнил отца покойного, дядю Никанора, который лучше всех на кулачки дрался, — вскипело сердце обидой великой на Сережку: «Из-за него приходится терпеть».

А в ортека и не страшно даже — как в исполкоме у них. Стол большой, за столом самый главный в кожаном пиджаке.

Сбоку револьвер прицепленный, на фуражке звезда большевистская. Чешет самый главный усы одним пальцем, смотрит на Мишку прищуренными глазами.

— В чем дело?

— Мальчишку поймали, товарищ Дунаев, — объясняет милицкий.

— Безбилетный?

— А шут его знает! Мешок, что ли, утащил.

— Иди ко мне ближе.

Здорово оробел Мишка — руки по швам опустил. Левая вздрагивает от испуга, и ноги чуть-чуть в коленях трясутся. Потолок над головой будто книзу опускается, и вся орточка на волнах покачивается.

А товарищ Дунаев нарочно молчит, не торопится. Только глазами прищуренными смотрит на Мишку:

— Как зовут?

А у Мишки каждый волосок на голове поднимается, и в носу делается жарко: шмыгнуть не успевает им.

— Который год?

— Одиннадцать — двенадцатый.

— Молодец! Табак куришь?

— Никак нет.

— Не скрывай, Михайла Додонов, нам все известно...

Увидал улыбку Мишка на губах у главного, подумал: «Врет он, ничего не знает, если смеется...»

А главный опять улыбается.

— Зачем мешок украл?

Отлегло на сердце у Мишки, снова подумал: «Давай я обману маленько, можа, поверит».

Начал рассказывать: давно они собирались в Ташкент с отцом, купили билет, пропуск, а отец дорогой помер. Надо бы взять у него билет с пропуском, а Мишка не догадался, две станции без билета проехал. Тут еще мальчишка навязался к нему из их деревни: возьми да возьми — один боится ехать. И тоже захворал. Кого хочешь спроси — в больнице он лежит. Побежал Мишка повидаться с ним, а в это время свисток на чугунке подали. Ну, Мишка напугался, бежал-бежал, на бабу наткнулся. Не видать ничего. Задел ногой за ведро — баба кричать начала. Услыхали мужики, подумали — жулик он. А это его мешок, собственный. В этом мешке еще мешок, а в том мешке кружка завернута, соли на дорогу щепотки две и бабушкина юбка. Он никогда не воровал.

Развязал мешок — верно: кружка, соль и юбка.

Поглядел товарищ Дунаев на Мишку, опять усы почесал одним пальцем.

— А ты знаешь, без билета не полагается ездить по железным дорогам?

— Конечно, знаю, куда же деваться? Голодно больно...
— А в Ташкенте чего думаешь делать?
— Поработаю маленько.
— Чего умеешь работать?
— Чего придется. Можя, навоз кому почистить или за плугом ходить...

Покрутил головой Дунаев, самый главный, улыбается.

— Вот что, Михайла Додонов: мальчишка ты ловкий. По-правильному я должен наказать тебя за это, чтобы ты еще ловчее был. Завтра будешь дрова таскать вместе с бабами безбилетными. Поработаешь — дальше поедешь. А бесплатно у нас не полагается ездить. Понял?

Мишка ждал хуже.

Вышел из ортчека с милицейским, сказал облегченно:

— Работы я не боюсь. Чего хошь заставь — сделаю...

16

Длинный день! Тянется, и конца ему нет. Сначала солнышко на гору все поднималось, потом все под гору спускалось, а до вечера далеко. И дров казенных целые горы — когда перетаскаешь по одному полону? Напружинивал Мишка крепкую мужицкую спину — сразу по три тащил. Выворачивались глаза от натуги, вздрагивали, мотались короткие ноги в широких лаптях. Думал, похвалит кто за усердную работу, а бабы ругаются:

— Ты, мальчишка, не больно надсаживайся: здесь — не дома.

— А что?

— Силу береги.

Первой свалилась кудрявая девка с голыми оцарапанными ногами. Голова закружилась, и во рту затошнило у нее. Поглядела она вокруг помутившимися глазами, белая сделалась вся. Схватила себя за голые оцарапанные ноги — не поймет ничего. Будто бабы и будто не бабы около нее. Ткнулась носом в землю и давай палец сосать.

— Что, Настенька, смерть твоя?

— Силушки нет.

Положила смерть Настенькину голову на березовое полено и ноги согнула ей около самого подбородка. Покормить бы умирающую в складчину — легче будет! — хлеба негде взять. Своим поделиться жалко: и себя обидишь и ее не накормишь.

— Ладно, жизнь такая.

Встревожились бабы и снова умолкли.

Каждой думалось о себе: «Доеду ли?»

Стояли полукругом нахохленные, злые, голодные, а Настенька

в этом полукруге лежала покорная, тихая, с голыми оцарапанными ногами. Когда вечером повели на станцию ее, Мишка позади шел тяжелой походкой. Низко сидел старый отцовский картуз, закрывая глаза козырьком, болели надерганные руки.

Теперь он — не маленький, видит, какие дела. Придется и ему захворать нечаянно — кто поможет? Надо будет самому держаться, что-нибудь выдумать. Иначе — смерть.

Но как ни думал Мишка — выходило плохо.

Пробовал он по вагонам пройти — не дают.

Таковыми глазами смотрят, словно заразный он.

Таким голосом гонят, будто всю жизнь ненавидели Мишку.

Кто-то даже из горшка плеснул прямо на голову.

Здорово рассердился Мишка:

— Ишь, буржуи, черти! Красных на вас пустить хорошенько...

Отошел немного, опять вернулся.

«Можга, корочку выкинули вместе с водой».

Присел на корточки в темноте, начал пальцами шарить под ногами. Нашупал чего-то, а это — камешек. Нашупал еще чего-то, а это — дерьмо ребячье. Вытер Мишка пальцы о коленку и глаза закрыл от обиды.

— Как смеются над нашим братом!

Подумал, подумал, опять шарить начал. Нашупал рыбью косточку, губами обдул, о рубашку потер.

«Кабы не захворать с нее: под ногами валялась...»

А рот уже сам разевался, и щеки голодные двигались от нетерпенья: «Ешь, с рыбы не захвораешь».

Захрустела косточка на зубах, потекли по губам голодные слюни. «Ладно. Куда же деваться?»

17

На вокзале Настенька лежала под лавкой.

И мужик вот так валялся на той станции, и мальчуган с облезлой головой — много народу, помочь некому. Плачут, плюют, ругаются, стонут. Свое горе у каждого, своя печаль мучает.

И вошла тут в Мишкино сердце такая тоска, хоть рядом с Настенькой ложись от тоски. Но Мишке нельзя этого делать.

В Ташкент поехал, должен доехать. Лучше дальше умереть, чем на этом месте. Неужели не вытерпит? Вытерпит. Ночью нынче обязательно вытерпит. А утром завтра юбку бабушкину продаст. Дадут фунтов на пять печеного хлеба — и больно гожа. Сразу не станет есть. Отломит полфунта, остальное спрячет. Пять фунтов — десять полфунтов — на десять дней. В десять дней можно туда и оттуда приехать, если поезда не станут стоять.

Хорошо легли Мишкины мысли, по-хозяйски.

Маленько полегче стало.

Мужики в углу про Ташкент говорили, упоминали Самаркан. Тоже город, только еще за Ташкентом четыреста верст. Наставил уши Мишка, прислушался. Хлеб очень дешевый в Самаркане, дешевле, чем в Ташкенте. А в самом Ташкенте цены поднимаются и вывозу нет — отбирают. Если к сартам* удариться, в сторону от Самаркана, — там совсем чуть не даром. На старые сапоги дают четыре пуда зерном, на новые — шесть. Какая, прости господи, юбка бабья — и на нее полтора-два пуда. Потому что Азия там, фабрик нет, а народ избалованный на разные вещи. Живет, к примеру, сарт, у него четыре жены. По юбке — четыре юбки, а чай пьют из котлов. Увидят самовар хороший — двенадцать пудов.

Потревожили разговоры хлебные Мишкину голову — защемило, заныло хозяйское сердце. Тут же подумал про юбку: «Не продам, можа? Вытерплю?»

Полтора-два пуда — не шутка. Сразу можно все хозяйство поправить. Уродится к хорошему году — тридцать пудов. Сколько мешков можно насыпать! И себе хватит и на лошадь останется, если купить.

Закачалась перед глазами спелая пшеница, изогнулась волной под теплым лопатинским ветерком. Стоит Мишка в мыслях хозяином на загоне, разговаривает с мужиками лопатинскими.

«Ну как, Мишка, жать пора?»

«Завтра начну».

А вот и мать с серпом, и Яшка, брат, с серпом, Федька без серпа ползет — маленький...

Обязательно надо терпеть.

Юбку здесь нельзя продавать.

Пойдет если поезд не рано, можно по вагонам походить. Всякие люди есть: кто прогонит, кто подаст.

Долго ходил по платформе Мишка — утомили хозяйские мысли, ноги не двигались. Устал. Сел около вагона отдохнуть маленько, да так и уснул, прислонившись головой к колесу. Крепко укачал голодный рабочий день, убаюкала радость мужицкая, ничего не увидел во сне.

Утром вскочил непонимающий: за спиной больно легко.

Вскинул руки назад, а мешка там нет.

«Батюшки!»

Бросился под вагон — нет.

Метнулся вперед — нет.

Обежал кругом четыре вагона — нет и нет.

«Господи!»

Пот выступил на лбу, под рубашкой мокро, и сердце закаменило — не бьется.

Подогнулись ноги, размякли.

Сел Мишка на ржавый рельс, горько заплакал.

Легло большое человеческое горе на маленького Мишку, придавило, притиснуло. Упал лицом он между шпалами, вывернул лапти с разбитыми пятками и забился ягненком под острым ножом.

Не мешки украли с юбкой — последнюю радость.

Надежду последнюю утащили.

18

Плакал Мишка час, плакал два часа — чего-нибудь делать надо. Выплакал горе на одну половину, зашагал по рельсам за станцию — уйти надо с этого места. Ушел сажен двести, про Сережку вспомнил: проститься бы с ним. Можя, не увидишься. Найдется хороший человек — пожалеет, не найдется — конец. Еще маленько он, пожалуй, потерпит, а если до вечера не дадут — не знай, что будет с ним: наверное, свалится... Ляжет с горя и не встанет никогда. Людям не больно нужно, и увидит кто, нарочно отвернется. Много, скажет, ихнего брата валяется, пускай умирает...

Ты, солнышко, не свети — этим не обрадуешь.

И ты, колокол, напрасно на церкви звонишь...

Тяжелая печаль — тоска человеческая.

Хлебца бы!..

В больнице Мишку неласково встретили.

— Чего надо?

— Сережка здесь лежит.

— Завтра приходи, нынче нельзя.

— Мне ненадолго.

— Умер он, нет его.

— Как умер?

— Иди, иди. Не знаешь, как умирают? Зарыли. Вот тебе и Сережка!

Какой несчастливый день! Посидел Мишка на больничном крылечке, под дерево лег.

Плохо обернулось: юбки нет, и хлеба никто не дает. А зачем это грачи кричат? Вот и этот ползет, как его... жук. Поймать надо и съесть. Ели собак с кошками лопатинские, а жук этот, как его...

А вон воробей прыгает. Все-таки есть и воробьи пока. Угу!.. Яшку бы с ружьем на него...

Встала над Мишкой сухая, голодная смерть, дышит в лицо ржаным соленым хлебом. Откуда хлеб?.. Поднимает щепочку, и щепочка хлебом пахнет. Понюхает — бросит... Выдернет травку — пожует. И опять глаза тоской закроются.

Смерть.

А все-таки есть хорошие люди.

Стояла над Мишкой сухая, голодная смерть, пересчитывала последние часы и минуты Мишкиной жизни. Уже по губам провела холодными пальцами, на спину положила: гляди в последний раз на чужое далекое небо — наглядывайся. Бегай мыслями в отчаянье между Ташкентом и Лопатином, отрывай от сердца думы мужицкие. Стучала смерть, словно сапогом тяжелым, по Мишкиным вискам, в уши нашептывала: «Зачем плачешь? Все равно никто не пожалеет».

А в это время товарищ Дунаев из орточка проходил, увидал мальчишку знакомого, остановился:

— Ба! Михайла Додонов. Ты что здесь валяешься?

— Мочи нет.

— Что с тобой?

— Обессилел я.

— А-а, это нехорошо!

Глядит Мишка на товарища Дунаева — человек будто хороший и голосом ласковый. Не рассказать ли ему свое горе, можа, пожалеет... Вот и звезда красноармейская у него, наверное, как Иван их — коммунист.

— Товарищ Дунаев, нет ли у вас кусочка маленького?

— Зачем тебе?

— Есть больно хочется, боюсь захворать...

А Дунаев веселый.

— Зачем боишься?

— Мать у меня дома осталась: не вернусь — и она пропадет с ребятишками. Поддержите в таком положении!..

Чешет Дунаев усы одним пальцем, улыбается:

— Ну, что же! Поддержать надо, если такой ты отчаянный. Шагай за мной потихоньку.

Сон снится или наяву происходит?

Пришли в орточку. Дунаев говорит своему подчиненному:

— Товарищ Симаков, этого мальчишку накормить надо и на поезд сунуть. Пускай проедет станции четыре.

Нет, это не сон.

Дали Мишке четыре куска и супу котелок поставили, сами смеются:

— Ешь, Михайла Додонов, не робь! Будешь отчаянным — не пропадешь. Ты беспартийный?

А у Мишки от радости ложка не держится.

— Ячейка у нас есть.

— Ходишь в нее?

— Ну, есть когда. Иван у нас из коммунистов, он ходит.

Чешет усы товарищ Дунаев одним пальцем, Мишку разглядывает.

— Хороший ты мужик, Михайла Додонов. Вылизывай все...

Набалился Мишка с голодухи на горячую пищу — инда потом ударило по всему телу, дышать тяжело: лишнего переложил. На носу и около ушей каплюшки повисли.

— Ну, как теперь? Доедешь?

— Доеду.

— Посади его, товарищ Симаков, от моего имени. Скоро поезд пойдет на Ташкент.

Чудные люди. То сами арестовывают, то сами на поезд сажают. Или горе Мишкино помогло тут, или на самом деле народ такой есть...

Растворил товарищ Симаков двери вагонные, мужики к нему — сразу десять человек. Начальник чего хочешь может сделать.

— Посадите вот этого мальчишку к себе.

— Некуда, товарищ! С полным удовольствием...

А Симаков и сам нарочно притворился:

— Нельзя, товарищи, мне приказано посадить — начальник велит.

Мужики расступились.

Глядят на Мишку со всех сторон, глазами щупают. Что за человека к ним сажают — почет такой!

19

Тронулись ночью.

Громко орал паровоз на подъемах, скоблился, пыхтел, а под гору падал стремительно, точно в пропасть огромную. Страшно качался вагон, готовый сорваться колесами с рельсов, летели мешки со стенок, грохались сундучки, хлопали железные ставни в двух окнах, торопливо хватающих теплые звезды на черном убегающем небе. Как лошади, возились мужики в темноте, били по головам друг друга вытянутыми ногами, шарили мешки, перекидывали сумки.

— Чей сундук?

— Чья кружка подо мной?

— Это кто?

— А это кто?

— Куда тычешь в рыло?

Чиркали спички, выедавая неровные пятна, лезли на глаза короткие обезображенные туловища с двигающимися бородами, взвизгивали бабы.

Мишка лежал облегченный.

Успокоила его горячая пища и хлеба за пазухой четыре куска. Жалко бабушкину юбку, но мешки не такие, чтобы из-за них

не дышать: малы и с заплатками. Если посчастливится в Ташкенте на работу поступить, мешки можно новые достать. Теперь он не маленький. А о юбке лучше не думать. Такая наука нашему брату — рот не разевай. Разве можно класть в одно место все вещи? Вот и ножик потому целый остался — на поясе был. Положи в мешок — тоже бы пропал.

Потрогал Мишка ножик складной, спрятал за пазуху. Брюхо ремнем стянул покрепче, потом передумал. Лучше на ремне, только бы веревочка не порвалась. Таких ножей теперь не найдешь: «Бритва! Любую палку перережет».

Можно и пиджак на базар отнести. Берут бабьи юбки, возьмут и пиджак кому надо. Унывать не стоит. Пиджак, ножик, ремень солдатский. Если нет там фабрик настоящих, и на картуз охотники будут. За пиджак, к примеру, два пуда, за картуз с ножом — полпуда.

Прошло мимо Лопатино-село, встала перед глазами изба голодная, а в избе голодной мать хвораая лежит, Мишку с хлебом дожидается. Яшка воробьев на огороде разыскивает. Ни за что не догадаются дугу под сараем поднять. Забыл Мишка положить ее на место, а Яшка не догадается... Любит до смерти палочки тесать — плотник самодельный. Учить бы хорошенько на мастерового, да где к такому году: еле-еле без ученья продержаться. Навалилась беда на мужиков — не стряхнешь. Если вернется Мишка из Ташкента — первым делом о посеве подумать надо. Можя, способья дадут к тому времени. Без своего загона опять придется по Ташкентам ездить, мученья сколько принимать.

Разложился Мишка мыслями хозяйскими в темном набитом вагоне, накидал в уме пудов с фунтами, про Сережку вспомнил: «Плохой он был, слабосильный. А ты? Я маленько потверже».

В это время мужик какой-то дернул за ногу:

— Ты, мальчишка, куда едешь?..

Мишка не откликнулся.

Опять мужик за ногу дернул:

— Спишь, что ли?

Мишка притворился: пускай думают, что он спит. Можя, про него станут говорить: это интересно.

А мужик ругается другому мужику:

— Зачем мы посадили этого парнишку? Выкинуть надо к черту...

Другой мужик говорит:

— Выкинуть его нельзя: ортека посадила.

— А зачем нам ортека? Мы заняли вагон, мы должны и думать о нем. Хорошо настоящего человека посадить, тот заплатит, а с этого чего возьмешь?

Устроил Мишка ладонь трубкой, приставил к уху, слушает.

«Неужто такое право имеют — из вагона выкинуть?»

Опять сказал другой мужик первому мужику:

— Лучше не связывайся с этим мальчишкой. Шут его знает, кто он такой! Можя, родственником приходится ортчека? Выкинь попробуй, и не развяжешься потом.

Слушает Мишка в темноте, улыбается: «Ага, боитесь маленько!»

Спорят мужики, что им с Мишкой делать, а Мишка нарочно похрапывает, будто не слышит.

«Ругайтесь! Я теперь все ваши мысли знаю...»

Опять другой мужик говорит первому мужику:

— Гнать мы его не будем. Выползет он «на двор» завтра утром — больше не пустим.

Мишка похрапывает.

«Думайте! Ни за что не слезу, два дня буду терпеть...»

Через час и мужики потыкались головами друг на друга, уgomонились.

Легла темнота непроницаемая в закупоренный вагон, перепутала руки-ноги. Перестали и бабы возиться, стиснутые мужиками.

Ползет по изволокам паровоз, на подъемах громко вскрикивает. То разбежится на несколько верст, то медленно-медленно покачивается, колесами постукивает, а под мирный стук колес вяжутся и рвутся засыпающие мысли у притворившегося Мишки:

«Еду, еду — раз!

Ловко, ловко — два!

Так-так-так! Так-так-так!

Молодец, молодец!

Ты приедешь, ты приедешь!

Раз, раз, раз!

Не робей, не робей, не робей!

Ремень-ножик! Ремень-ножик!

Пуд-пуд-пуд!»

20

Оренбург.

Пасмурное утро.

Прохватывает ветерок.

Сидит Мишка в уголке, из вагона не выходит. Надо бы в город сбегать, «на двор» маленько сбегать — разговор ночной не пускает. Ладно, потерпеть можно.

Мужики разложились с жарниками около вагонов, ведра повесили. Кто жарит, кто парит — так и бьет капустой в нос. Бабы картошку чистят, мясо режут, огонь губами раздувают. Денежный народ собрался в Мишкином вагоне.

Принес мужик четыре дыни, начал сдачу пересчитывать. Увидел Мишку в углу — отвернулся. Другой мужик табаку мешок притащил: табак здорово по дороге идет. За каждую чашку — пятьсот, а киргизы ни черта не понимают. Шутя можно сорок тысяч нажить, и сам будешь бесплатно покуривать.

Еще двое самовар притащили, машинку для керосину — обед готовить, сапоги с наделанными головками, три топора.

Все утро бегали по оренбургским базарам, набили вагон сверху донизу: табаком листовым, табаком рассыпным, самоварами, ведрами, чугунами, топорами, пиджаками, ботинками, юбками — повернуться негде.

Еропка, мужик маленький, тоже из Бузулукского уезда, подцепил часы «американского золота». Сказал кто-то — часы хорошо в Ташкенте берут, — он и купил за двенадцать тысяч. Глядел-глядел на них — головку свернул. Стали часы — нейдут. И к правому уху, и к левому уху прикладывал их Еропка — нейдут. Пропали двенадцать тысяч — кобелю под хвост выбросил.

Или оттого, что часы нейдут, или еще какое горе ущемило Еропкино сердце, — увидел он Мишку в вагоне, рассердился:

— Чей это мальчишка едет здесь?

И мужики словно только сейчас увидели Мишку:

— Кто его посадил к нам?

— Ты куда едешь, товарищ?

Поглядел Мишка на мужиков, поправил старый отцовский картуз, говорит, как большой настоящий мужик.

— Еду в Ташкент, дядя у меня комиссаром там.

— А сам откуда?

— Я сам дальний. Бузулукского уезда.

— Какой волости?

— Волость у нас Лопатинская.

— А как фамилия твоему дяде?

Мишка глазом не моргнул.

— Фамилья ему не наша: мне — Додонов, ему — Митрофанов. Брат он приходится моей матери, коммунист.

Еропка, мужик маленький, сказал:

— Я сам Бузулукского уезда, двадцать верст от вашего села, а такой фамилии не слыхал: ты, наверное, врешь!

Мишка глазом не моргнул.

— Что мне врать! Справься в ортчеке, там знают.

— Кого?

— Дядю Василья.

Еропка головой покачал.

— Что-то не верится мне. Который тебе год?

— Четырнадцатый.

Переглянулись мужики, обшарили Мишку глазами со всех сторон:

— Обманывает, сукин сын!

Подошел Семен, красная борода, строго спросил:

— Деньги есть?

Мишка глазом не моргнул.

— Есть.

— Сколько?

— А у тебя сколько?

Все засмеялись от такой неожиданности.

— Ай да мальчишка! Не сказывай ему — в карман залезет.

Прохор косматый больше всех поверил в Мишкину силу. Подсел поближе, разговор хозяйский завел.

— Давно твой дядя в Ташкенте служит?

— Третий год.

— Там останешься или домой вернешься?

Мишка лениво плюнул мимо Прохоровой бороды.

— Увижу. Понравится — останусь, не понравится — домой поеду. Даст хлеба бесплатного дядя пудов двадцать, и хватит до нового нам.

— А семья большая у вас?

Понравилось Мишке мужиков обманывать — неопытные, каждому слову верят. Поправил старый отцовский картуз, начал рассказывать теплым, играющим голосом. Семья у них небольшая: мать и два брата. Отец в ортчека служил полтора года — из коммунистов он. Ну, убили его белогвардейские буржуи, теперь им пенсию высылают за это. А который сажал Мишку на той станции, тот товарищ отцу приходится, самый главный начальник. И письмо от него везет Мишка тому самому дяде, который в Ташкенте комиссаром служит. А этот самый дядя тоже письмо прислал Мишкиной матери: пускай, говорит, приедет мальчишка ко мне, я его поставлю на хорошую должность и хлеба могу выслать без задержки. Два раза лопатинские мужики ездили к нему. Даст им дядя бумагу казенную — никто не трогает. Которых остановят, у которых совсем отнимут, а они покажут бумагу с дядиной печатью — пальцем не имеют права тронуть.

Наслушался Прохор Мишкиных сказок, позавидовал.

— Ты, видать, здоровый человек! Надо с тобой подружиться маленько.

Мишка глазом не моргнул:

— Чего со мной дружить? Увидимся в Ташкенте — помогу.

— Как?

— Через дядю...

Сразу обогрела Прохора такая надежда. Заерзал, завозился он около Мишки, и голос ласковый сделался у него:

— Это бы хорошо, мальчишка... Сам знаешь, какие наши дела... Отнимают!

— Со мной не отнимут...

Тут и еще мужик подсел в хорошую компанию, слушать больно приятно.

— Ты что, паренек, не слезешь ни разу?

— Зачем?

— Маленько бы ноги размял.

Мишка улыбается:

— А чего их разминать-то, чай, они не железные!..

Наелись мужики горячей пищи, веселее стали. Трое к бабам легли на колени, трое кисеты развязали — деньги проверять. Один мужик целую кучу наклал бумажек николаевских, другой — серебро высыпал в подол. Которые на коленях лежали у баб, песню затанули. Еропка убежал часы продавать.

Целый день ходили нищие по вагонам: бабы с ребятами, мужики босоногие. Подбирали мосолки выброшенные, глядели в вагонные двери страшными, провалившимися глазами. Плакали, скулили, протягивали руки. Боязно стало глядеть Мишке на чужое голодное горе — скорее бы тронуться с этого места. Хорошо, если поверили мужики, а выкинут из вагона — не больно гожа.

К вечеру захотелось «на двор», но выходить нельзя.

Стиснул зубы Мишка, начал в себя надувать, инда пузырь в кишках готов лопнуть. Воды много выпил, дурак, на той станции, а больше терпеть — испортиться можно.

Долго крутился Мишка, поджимая живот: и в себя надувал, и дышать переставал, зубы стискивал — никак нельзя больше терпеть. Огляделся кругом — народу немного. Только две бабы спиной к нему сидят да мужик в углу поет «Иже херувимы».

Прислонился плечом в дверях Мишка, будто на станцию глядит, и давай потихоньку пускать, чтоб не шумело.

«Слава богу, все!»

21

Зашумели ночью мужики, закрутились, тревогой охваченные. Первым прибежал Еропка, словно сумасшедший.

— Машинист не хочет ехать! Задние деньги собирают. Если здесь сидеть — дорожке встанет.

— Сколько надо?

— По ста рублей с человека.

— Ах, мошенники!

— Тише, дядя Иван, не надо ругаться. Здесь сидеть — дорожке встанет.

Сели кольцом мужики в темном переполненном вагоне, вытянули бороды трясучие, словно колдуны лохматые. Расстегнули нехотя пуговицы у верхних штанов, вытащили дрожащими рука-

ми глубоко запрятанные десятки из нижних штанов. Дорого стоит копеечка мужицкая! Шумят в темноте бумажки, двигаются бороды вздернутые, одна на другую натыкаются.

— Все дали?

— Все.

— А мальчишка как?

— Ну-ка, разбуди его!

— Эй ты, племянник! Деньги давай.

Хотел Мишка голову спрятать в мешках — ноги торчат. Ноги сунет в мешок — голова наружи. А мужики, как галки, теребят с двух сторон.

— Слышь, что ли?

— Давай деньги.

Долго думать тоже нельзя — догадаются, и не думать нельзя. Поднял голову Мишка, нехотя в карман полез.

— У кого ножницы есть?

— Зачем тебе?

— Деньги расшить в подоплеке.

— Марья, дай ему ножик!

Нашарил Мишка бумажку в кармане, поднятую на той станции, громко сказал, протягивая дрогнувшую руку:

— Кто собирает деньги? Держи.

— Сколько?

— Сто.

Спас темный вагон.

Сунул Еропка бумажку Мишкину в потный кулак, побежал машиниста искать. А у Мишки голова закружилась от сильного волнения и сердце затопало радостью. Ну и народ! Про дядю на-сказал — верят. Бумажку сунул вместо денег — верят. Или счастье такое Мишке, иль мужики больно неопытные. Чудно!

А все-таки страшно.

Вернется Еропка, скажет:

«Выкиньте этого жулика отсюда: он мне бумажку простую сунул...»

Зажал Мишка голову обеими руками от страха, думает. И смешно ему над Еропкой, мужиком бузулукским, и страх под рубашкой ходит острыми колючками.

Вернулся Еропка, шепчет мужикам:

— Сделал! Триста верст проедем с этим паровозом — без передышки. Машинист больно попался хороший. Я, говорит, товарищи, моментом перекину вас, потому что сам понимаю, в каком вы положении.

— Значит, в точку попал?

— В самый раз.

— Это хорошо!

И Мишка в темноте улыбается: «Это больно хорошо».

Охватили степи киргизские тишиной и простором, крепко стиснули старый, расхлябанный паровоз, не пускают вперед. Вертит стальными локтями он, будто на одном месте крутится, голосом охрипшим помощи просит. Задыхается, пар густой пускает, как белое облако. Тает белый пар, черным дымом из трубы заволакивается. Тукают колеса, дрожат вагоны.

Не пускают вперед степи киргизские, тишиной и простором держат изогнутый хвост. Только под гору бешено срывается паровоз, крутит головой на поворотах, змеей тонкой поезд извивается. Давит мосточки играющими колесами, фырчит, задорится, локтями светлыми проворно работает. Выскочит на бугорок, словно заяц испуганный, и опять по-старичьи с натугой тащит длинный примороженный хвост.

Весело Мишке смотреть на широкие степи киргизские, на дальний дымок из долины, на огромного верблюда, высоко поднявшего маленькую голову. Поглядит верблюд на Мишкин поезд, поведет во все стороны маленькой головой на выгнутой шее — снова спрячет черные губы в колючей траве.

Ни одной деревни вокруг.

Бугры плешивые, да коршуны степные сидят на буграх.

А небо как в Лопатине, и солнышко как в Лопатине.

Ветерок подувает в раскрытую дверь.

Лежат мужики — развалились, покоем охваченные, сытыми мечтами окутанные. Мирно торчат бородавки поднятые, громяют чайники с ведрами. Кто гниду убьет в расстегнутом вороту, кто ногтем поковыряет то место, где блоха посидела. Вытащит вошь из рубца, раздавит «несчастную» на крышке сундучной, посмеется:

— Вошь больно хорошая — жалко убивать.

— Зачем же убил?

— Без пропуска едет. Залезла под рубашку ко мне и сидит, чтобы орточка не нашла. Проехала две станции, кусать начала! Я везу ее, и она же меня кусает. Хитрая, черт!

Ржет вагон, покатывается со смеху.

Только Еропка, мужик маленький, с горем большим на часы посматривает. Долго искал дураков на базарах оренбургских, чтобы продать им сломанные часы вместо новых, — не нашел. Торговцы над ним же смеялись:

— Дураки, дядя, все вывелись: ты самый последний остался.

Грустно Еропке, мужику маленькому.

Раскроет крышки у часов и сидит, как над болячкой, брови нахмутив. Под одной крышкой стрелки стоят неподвижно, под другой — колеса не работают. Пропали двенадцать тысяч — кобелю под хвост выбросил. А на двенадцать тысяч можно пшени-

цы купить фунтов пятьдесят. Налетел, черт-дурак, сроду теперь не забудет.

Если о камень разбить окаянные часы — жалко: сосут двенадцать тысяч, как двенадцать пиявок, Еропкино сердце, голову угаром мутят.

Мужики нарочно поддразнивают:

— Сколько время, Еропа, на твоих часах?

— Что, Еропа, не чикают?

— Голову свернул он нечаянно им...

— Продаст! Эта вещь цены не упустит. Только показывать не надо, когда будешь продавать...

Ржет вагон, потешается над Еропкиным горем.

Семен, рыжая борода, четыре юбки зацепил в Оренбурге. Сначала радовался, барыши считал. Проехал две станции, тужить начал. Слух нехороший пошел по вагонам: киргизские бабы и сартовские бабы юбок не носят, а в штанах ходят, как мужики.

Кряхтит Семен, рыжая борода, тискает дьявольские юбки. Упадет головой в мешки, полежит вниз рылом, опять встанет с мутными, непонимающими глазами. Выругает большевиков с комиссарами (как будто они во всем виноваты!), плюнет, зажмет горе в зубах, снова ткнется головой в мешки.

Иван Барала примеряет сапоги на левую ногу. Три пары купил он, радуется малым ребенком. За старые дают три пуда зерном, а у него совсем не старые. Стучит Иван Барала ногтем в подметку, громко рассказывает:

— Два года проносятся, истинный господь! Как железные подметки — ножом не перережешь...

Мишке легче.

Если бабы киргизские ходят в штанах, значит, и жалеть не стоит бабушкину юбку. Все равно дорого не дадут за нее — старенькая она. Пощупал ножик складной, улыбнулся: «Бритва! Любую палку перережет».

Проход около Мишки голубком кружит, заговаривает, носом пошмыгивает, ласково чвокает. Это не плохо, если дядя у мальчишки комиссаром. Всякий народ нонче. Который большой — ничего не стоит, который маленький — пить даст. Надо пристроиться к нему: можа, на самом деле помощи окажет.

Ходит маятником Прохорова борода возле Мишкиного носа, а голос у Прохора ласковый, так и укрывает с головы до ног.

Вытащил кошель с хлебом, подал и Мишке маленький кусочек.

— Хочешь, Михайла?

— А сам что не ешь?

— Кушай, не стесняйся: будет у тебя — и мне дашь. Надо по-божески делать...

Притворился Мишка, спокойно сказал, обдувая пыльный кусочек:

- Урюку дядя полпуда хотел дать.
- Тебе?
- Матери моей.
- Урюк — штука хорошая, только, наверное, дорогой?
- Ну, что ему, он богатый!

Говорит Мишка большим, настоящим мужиком, сам удивляется: «Вот дураки, каждому слову верят!..»

23

А киргизы совсем не страшные, чудные только. Жара смертная, дышать нечем от раскаленных вагонов на станции — они в шубах преют, и шапки у каждого меховые, с длинными ушами. Лопочут не по-нашему: тара-бара, тара-бара — ничего не поймешь! Ходят с кнутами, сидят на карачках. Щупают пиджаки у мужиков, разглядывают самовары, трясут бабьи юбки.

Еропка, мужик маленький, сразу троих привел, кажет часы на ладони, стоит подбоченившись. Сейчас надует киргизов, потому что Азия — бестолковая.

Светят зубами киргизы, перебрасывают часы с рук на руки, пальцами крышки ковыряют. Еропка кричит в ухо старому сморщенному киргизу:

— Часы больно хорошие — немецкой фабрики!

Киргиз кивает головой.

— «Мериканского» золота! — еще громче кричит Еропка.

Семен, рыжая борода, вытаскивает юбки из пыльного голубого мешка, расправляет их парусом, тоже кричит киргизу в самое ухо:

— Бик якша!* Барыни носили.

Лопочут киргизы — тара-бара, тара-бара! — ничего не поймешь.

Семен чуть не пляшет около них.

— Господской юбка, господской. Москва делал, большой город...

Иван Барала ножом ковыряет подметку у сапог.

— Бабай*, щупай верхи, щупай! Да ты не бойся, их не изорвешь. По воде можно ходить — не промочишь. Из телячьей кожи они. Сам бы носил — тебя жалко.

Кивают киргизы меховыми шапками, неожиданно отходят. Еропка за ними бежит:

— Шайтан-майтан, жалеть будешь мои часы!

— Стой, мурло! Давай три пуда.

Киргиз машет руками.

Много товару из вагонов вывалилось, еще больше — крику.

Серебро на бумажки меняют, золото на бумажки не меняют. Черпают табак из мешков, машут пиджаками, юбками, постукивают сапогами.

Хочется Мишке по станции побегать — боязно: не успеешь на поезд прыгнуть — останешься. Увидал, киргиз мимо идет, — не вытерпел: вытащил ножик складной, кажет. Киргиз остановился. Взял ножик у Мишки, разложил, зубами светит, пальцами лезвие пробует. Мишка кричит что есть духу, высовываясь из вагона:

— Продаю!

Киргиз лопочет по-своему, вертит головой.

Еще громче Мишка кричит:

— Пуд!

Еще пуще киргиз вертит головой. Мишка беспомощно оглядывается. Морщит брови, чтобы найти понятное слово, нарочно ломает слова русские — скорее поймет.

— Пшенич, пшенич! Пуд!

Русский из другого вагона говорит киргизу по-киргизски:

— Пуд!

Киргиз сердито плюется.

— Э-э, урус!

Мишка тихонько спрашивает русского:

— Сколько дает?

— Ничего не дает, ругается.

А когда киргиз уходит, Мишка кричит ему вслед:

— Киргиз, киргиз! Шурлюм-мурлюм-курлям! Купи картуз.

Смеются мужики над Мишкой, и сам Мишка смеется, как он по-киргизски ловко научился говорить. Не терпится ему, не сидится, через минуту прыгает из вагона. По носу бьет горячими щами из больших чугунов. Торговки над чугунами громко выкрикивают:

— Щей горячих, щей!

На листах железных печенки жареные лежат, головы верблюжьих, потроха бараньи, вареная рыба. Манят четверти теплым молоком, за сердце хватают хлебные запахи.

Треплет Мишка старый отцовский картуз, показывает ножик с ремнем:

— Купи, купи!

Заглядится на печенки с бараньими потрохами, остановится:

— Тетенька, дай голодающему!

Замахнется половником торговка, опять нырнет Мишка в толчею людскую, бегают вокруг киргизов. Оцепят киргизы со всех сторон, такой крик поднимут — и сам Мишка не рад. Кто ножик тащит, кто — картуз. Один, самый старший, с черными зубами, даже за пиджак ухватил. Лопочет, раздевает, чтобы пиджак примерить. Мишка кричит киргизам:

— Дешево я не отдам!

Напялил пиджак киргиз, а вагоны у поезда дернулись.

Вырвал пиджак у киргиза Мишка — ножа нет.

Отыскался ножик — ремень киргизы рвут друг у друга.

Чуть не заплакал Мишка от такой досады:

— Давайте скорее, некогда мне!

А вагоны двигаются. Прямо на глазах двигаются.

Вертятся колеса, и вся земля вертится, вся станция с киргизами вертится. Бежит Мишка с правой стороны, а двери у вагонов отворены с левой стороны. Если под вагоны нырнуть — колесами задавит. Бежит Мишка жеребенком маленьким за большой чугунной лошадьё — лапти носами задевают, пиджак на плечах кирпичом висит. Не бегут ноги, подкашиваются. Тяжело дышит разинутый рот — воздуху не хватает.

Увидал подножку на тормозной площадке, ухватился на ходу за железную ручку обеими руками — так и дернуло Мишку вперед. Не то голова оторвалась, не то ноги позади остались, а голова с руками на железной ручке висят. Тянет туловище Мишку вниз, под самые колеса, словно омут засасывает в глубокое место. Хрупают колеса, пополам разрезать хотят, на мелкие кусочки истереть. Болтает Мишка ногами отяжелевшими, а вагоны все шибче расходятся, а ноги в широких лаптях, будто гири тяжелые, тянут вниз, и нет никакой возможности поднять их на приступок. Руки разжать — головой о камни грохнешься, о железные рельсы.

«Прощай, Ташкент! Прощай, Лопатино село! Смерть!»

Оторвутся Мишкины руки — вдребезги расшибется Мишкина голова.

Но бывает по-другому, когда умирать не хочется.

Не хотелось Мишке умирать.

Собрал он последние силы, натянул проволокой каждую жилу, ногами подножку нащупал. Изогнулся, опрокинулся спиной вниз — легче стало держать каменный отяжелевший зад.

«Теперь не упаду».

Обрадовался маленько, а с площадки человек смотрит сердитыми глазами. Что-то сказал, но колеса вагонные поглотили голос, смяли торопливыми стуками. Не понял Мишка, только поглядел жалобно на человека сердитого.

— Дяденька, поддержи!

Смяли и Мишкин голос колеса вагонные, проглотили стуком, откинули в сторону мимо ушей. Долго глядел человек на повисшего Мишку, вспомнил инструкцию — не возить безбилетных.

«Пускай расшибется!»

А потом (это уже совсем неожиданно) ухватил Мишку за руку около плеча, выволок на площадку. Поставил около сундучка с фонарем, сердито сказал:

— Убиться хочешь?

Мишка молчал.

— Чей?

— Лопатинский.

— С кем едешь?

— С отцом.

— А отец где?

— В том вагоне.

Оглядел человек суровыми глазами Мишку, отвернулся:

— Надоели вы мне!

Мишка молчал.

Сидел он около сундучка, вытянув ноги в больших лаптях, не мог отдышаться с перепугу. Ломило вывернутые руки, кружилась голова, чуть-чуть позывало на рвоту. Хотелось лечь и лежать, чтобы никто не трогал.

Опять прошло Лопатино в мыслях.

Выглянула мать голодающая, два брата и Яшкино ружье на полу. Тряхнул головой Мишка, чтобы не лезли расстраивающие мысли, равнодушно отвернулся от давнишней печали. Никак не уедешь от нее. Мишка в Ташкент — и она за ним тянется, как котенок за кошкой. Хорошо, характер у него крепкий, плакать не любит, а то бы давно пора зареветь громким голосом. Выпало счастье от товарища Дунаева, опять потерял.

Лезут мысли нехорошие в голову, расстраивают Мишкино сердце, выжимают слезы из глаз.

Колеса вагонные дразнят:

Не доедешь,
Не доедешь,
Смерть!

Не доедешь,
Не доедешь,
Смерть!

Вынимает человек из сундучка хлебную корку, бережно обкусывает маленькими крошками, косится на Мишку, Мишка отвертывается.

— Куда едет твой отец?

— В Ташкент.

— Разве слаще умирать в Ташкенте?

— Чего?

— Так, ничего. Хлеба вам там припасли, растопырьте карманы.

Стучат колеса.

Бегут от поезда степи киргизские — пустые, безводные.

Мелькают столбы телеграфные.

Не сидит воробей на них.

Не треплется мочалка на проволоке телеграфной.

Ни один мужик не проедет мимо насыпи по узенькой дорожке.
Степь огромная без деревень.

Пустырь без собачьего лая...

Только бугры высокие с синими головами да воздух над буграми рекой переливается. Проскочит мимо будка разоренная, с выбитыми окошками. Бросится в глаза сорванная крыша, напмнит Лопатино, где стоят пустые голодные избы. Схватит тоска непонятная Мишкино сердце, сожмет в кулак, ниже опустится голова разболевшаяся.

— Много денег везет твой отец?

Это все человек мучает разными вопросами.

Не хочется Мишке языком ворочать, надоело и хвастать каждый раз. Но как же ему доехать без этого? Все допытываются, перед всеми надо увертываться. Не увернешься — ссунут. Бросят котенком на самой дороге, выкинут в степь без людей и жилья, скажут:

— Жулик он! Нет у него ни отца, ни матери. Без билета едет и без пропуска.

Смотрит Мишка усталыми покрасневшими глазами, говорит спокойно, как большой настоящий мужик:

— Денег было много — утащили половину.

— Где?

— Карман на станции срезали.

Человеку становится весело.

— Значит, дурак, если свой карман проворонил!

— Неопытный! — вздыхает Мишка.

— А ты как отстал?

— Брюхо у меня заболело. Сел «на двор» маленько, а вагоны пошли. Отец кричит: «Садись скорее!» Я споткнулся, ухватился вот тут, насили удержался. Спасибо, ты мне руку подал...

— А если бы не подал?

— Тогда бы убился.

— Хлюст ты, видать!

— А ты, дяденька, кто?

24

Ночью пришлось слезать.

На станции горели фонари бледным светом.

В темноте копошились люди.

Двигались огромными толпами, толкая друг друга, тонули в криках, в тонких голосах плачущих ребятишек.

Лежали стадами, плакали, молились, ругались голодные мужики.

Точно совы безглазые, тыкались бабы:

с закутанными головами,
с растрепанными головами.

Тащили ребят на руках,
тащили ребят, привязанных к спине,
тащили ребят, уцепившихся за подол.

Словно овцы измороженные, падали бабы около колес вагонных,
кидали ребятишек на тонкие застывшие рельсы.

Щенками брошенными валялись ребята:

и голые,

и завернутые в тряпки,

и охрипшие, тихо плачущие,

и громкоголосые, отгоняющие смерть неистовым криком.

Еще одним горем прибавилось в гуще голодных и злых, переполнивших маленькую киргизскую станцию. Еще одна капля человеческого страдания влилась, никому не нужная, никем не замеченная. Вытряхнул кондуктор Мишку, весело сказал:

— Довез тебя до этого места, говори — слава богу. Теперь иди отца ищи.

Далеко Мишкин отец.

Походил он в чужом голодном стаде, согнанном из разных сел и деревень, тяжело вздохнул. Начал вагон искать, в который посадил его товарищ Дунаев, а ночью все вагоны одинаковые, все вагоны заперты, словно амбары, насыпанные пшеницей.

Заперлось, загородилось горе вшивое, никого не пускает.

Поторкался Мишка в один вагон, кто-то крикнул в маленькую щелочку:

— Чего тебе надо?

— Наши едут здесь.

— Шагай дальше! Ваши уехали, остались только наши...

Поторкался в другой вагон — не ответили.

Из третьего закричали:

— Чего людей беспокоишь?

— Не пускай всякий сброд!

Обошел Мишка два раза длинный, растянутый поезд, поежился, поморгал глазами, сел.

— Черти безжалостные! Съем я, что ли, ваши вагоны?

Пошел.

А идти некуда.

Стоят вагоны темные в три ряда. И ночь будешь ходить — не отворятся, и день будешь ходить — не отворятся. Везде ползают люди:

под вагонами

за вагонами,

на станции,

за станцией.

А горе свое рассказать некому.

Лезет горе Мишкино из глаз опечаленных, но плакать Мишке нельзя: это он хорошо знает. Никто не услышит голос жалобный, никто не поднимет слезу упавшую.

Надо терпеть.

И отец покойный всегда говорил: «Слезам беде не можешь».

Все равно Мишка должен доехать, если поехал. Теперь уж, наверно, немного осталось, а назад не вернешься... Попадется на дороге город большой, можно будет ножик с ремнем продать. Начал Мишка высчитывать, который день, как он из дому ушел, перепутал: если нынче среда, то десять дней, а если пятница — двенадцать дней.

За станцией в ящике навозном рылся мальчишка, залезая головой по самые плечи. Остановился Мишка около него, поглядел с любопытством:

— Ты чего тут делаешь?

Не ответил мальчишка.

Взглянул равнодушно, опять залез по самые плечи. Вытащил мосол, сунул за пазуху. Подошел и Мишка к ящику с другой стороны, тоже стал торопливо рыться. Оба рылись молча, хватая друг друга за руки. Через минуту Мишка залез в ящик с ногами, мальчишка в озлоблении дернул его за рукав:

— Я тебя звал сюда?

— Сам пришел!

Мишка в ящике казался маленьким — торчала одна голова. Хотел мальчишка или ударить его по высунутой голове, или картуз закинуть в сторону. В это время пробежала собака с огромной горбушкой в зубах. Увидал мальчишка горбушку в собачьих зубах, стремительно бросился за собакой, размахивая руками. Выскочил и Мишка из ящика.

— Кидай кирпичом!

Кирпича под руками не было.

Схватил Мишка обрубок рельсы, но поднять не мог.

Бежали двое голодных с двух сторон, а собака, подбрасывая задом, убегала за станцию, в поле. Легко перескочила канавку за станционными огородами, остановилась на бугорке, держа в зубах украденную горбушку.

Остановились и ребята.

С темных сырых огородов бежали еще собаки.

— Укусят! — сказал Мишка.

Мальчишка мрачно ответил:

— На одну бы я пошел с хорошей палкой.

— Тебя как зовут?

— Трофим.

— Айда назад.

— Погоди, сейчас они драться будут.

— Зачем?

Трофим не ответил.

Стоял он в одной рубашке с разорванной грудью, босиком и без шапки. На плечах, вместо пиджака, висел обрывок рогожки, стянутый веревочкой под горлом, и маленький неразговорчивый Трофим в таком наряде похож был на маленького смешного попа в коротенькой ризе.

Собаки обнюхались молча.

Потом зарычали, оскалились, налетели на ту, что держала горбушку в зубах, свились клубком, кувыркнулись, выпрямились, снова наскочили.

Долго смотрел Трофим на них молча, немигающими глазами, потом сказал глухим, загробным голосом:

— Хорошо с собачьими зубами быть.

Мишка на минуточку оробел, разглядывая Трофима. Кто он такой, в коротенькой поповской ризе? Схватит Мишку по-собачьи за самое горло, повалит вот тут и отнимет пиджак с картузом. Теперь богатых везде убивают, а Мишка богаче Трофима.

От страха Мишкиного Трофим еще больше вырос, освещенный месяцем на пустынном, мертвом поле, наполненном голодными, грызущимися собаками. Было собак не более пяти, а Мишке казалось — тысячи их с оскаленными ртами, и, когда перегрызут друг друга, станут они людей на станции грызть.

Трофим неожиданно сказал:

— Ты боишься собак?

— А ты?

— Я ничего не боюсь.

— Какой тебе год?

— Четырнадцатый.

Поглядел Мишка на Трофима сбоку и тоже сказал, как будто ничего не боится:

— Ровесники мы с тобой: мне тоже четырнадцатый пошел.

— Врешь!

Чтобы сделать себя большим, Мишка чуть-чуть поднялся на носках.

— Скоро пятнадцатый пойдет. Я только ростом маленький, а годами старый. Два пуда поднимаю.

— Чего?

— Чего хочешь, гирию или мешок.

На станцию вернулись друзьями.

Узнал Мишка, что Трофим из Казанской губернии, был в четырех городах, ушел из дому шестой месяц, пробирается в Ташкент. Если доедет туда, назад не вернется. Очень плохо у них в Казанской губернии, жрать нечего, поэтому и отец у Трофима помер раньше времени — тридцати восьми лет от роду. Два раза на войне был — не умер, а с голоду повалился.

Мишка сказал:

— Теперь всем мужикам плохо. С нашего брата берут, нашему брату не дают...

— В партию надо переходить! — вздохнул Трофим.

— В какую?

— К большевикам.

— Разве примут?

— Кого примут, кого нет.

— Большевиков не хвалят, — сказал Мишка.

— Всякие есть большевики! — опять вздохнул Трофим.

На станции горел один фонарь. Было поздно.

В голове у Мишки грудились невеселые мысли.

В вагонах,

под вагонами,

за вагонами

люди будто нарочно притаились, не ворочались, не кричали, крепко стиснули зубы, зажали голодные рты.

В темной пугающей тишине, прорезанной одиноким фонарем, заунывно и горестно плакала баба с ребенком в два голоса. Один голос глухой, из наболевшего нутра, другой — отчаянный, выкриками. То хлестнет, взовьется, то пиликает чуть слышно дребезжащей струной.

И сплетаются,

рвутся,

хрипят,

обгоняют друг друга два голоса,

как два ручья.

И течет по двум ручьям горе-горькое, брошенное в широкую киргизскую степь, на маленькую станцию. Ни вперед, ни назад не продвинешь его.

Трофим сказал Мишке, показывая на бабу:

— Заехала из чужой стороны, выехать не может.

— Разве ты знаешь ее?

— Я всех знаю, четыре дня хожу по этой станции. С мужем ехала она, а муж у нее умер. Вон там и зарыли его...

В голову Мишке лезли невеселые мысли.

Сидели они с Трофимом рядом в тесном вокзальном проходе, около самых дверей, рассказывали про свои деревни, которые теперь неизвестно в какой стороне остались. Мишка рассказывал вяло, слушал неохотно. Надоело думать ему об этом, надоело и повторять каждый день. Перед глазами зажмуренными —

лентой развернутой —

проходил Ташкент, город невиданный:

сытый,

хлебный,

улыбающийся.

Глядят оттуда буграми высокими:
черные куски,
белые куски,
пшеница богарная,
пшеница поливная.

А зерно не как у нас — крупное...

Перебивая Мишкины мысли, Трофим громко шептал незасыпающим голосом:

— Ты сколько фунтов съешь?

— Где?

— В Ташкент когда приедем.

Подумал Мишка, поднимая отяжелевшие веки, тихо сказал:

— Много!

Долго плакала баба с ребенком. Кашляли мужики в темноте.

Лаяли собаки за станцией.

Трофим с Мишкой подбадривали друг друга хорошими надеждами. Ехать уговорились вместе. Прислушиваясь к собачьему лаю, видел Мишка огромную степь без людей и жилья, а по этой степи тысячами бегут голодные собаки с оскаленными ртами, гонят большую лохматую собаку с горбушкой в зубах, вьются огромным клубком. Летит собачья шерсть под застывшим месяцем степью пустынной. Горят собачьи глаза, щелкают зубы... Перегрызли собаки друг друга, откуда-то новые явились, ринулись на станцию диким стадом, махнули через Мишкину голову, подмяли под себя. Приподняли, бросили, ухватились за пиджак с картузом. Вырвался Мишка, в ужасе смертельном открыл глаза заснувшие, не поймет ничего. Крик, шум, ругань, визг, а Трофима рядом нет.

— Паровоз подают!

Стон. Крик. Плач.

— Пустите!

— Посадите!

— Задавили!

— Батюшки!

— Сунь по зубам!

Нельзя оставаться на маленькой станции в безлюдной киргизской степи:

голод съест,

вошь съест,

тоска съест,

отчаянье...

За крыши хватаются, за колеса, за буфера, за подножки.

На крышах, на колесах, на буферах, на подножках — только бы уехать из страшного, пустого места. На руках висеть, волочиться по шпалам, уцепившись за вагонный хвост, — только бы уйти, убежать от голодной настигающей смерти.

Летит степью под застывшим месяцем собачья шерсть.

Горят глаза собачьи.

Щелкают зубы.

— В бога — мать — пусти!

— В крест — царя!

— Товарищи!..

Завертелся Мишка, закружился.

Не пробить ему огромную людскую стену около вагонов.

Колыхнет живая стена, двинет локтями, попятится задом, отбросит в сторону, потащит на другой конец. Нет силы перескочить живую лязгающую стену, нет силы и оторваться от нее. Тянет, всасывает она, крутит в котле, душит, мнет.

Бросился Мишка к маленькому застывшему паровозу, навстречу Трофим под рогожкой несется, маленьким смешным попом в коротенькой ризе.

— Попал?

— Куда?

— Айда со мной!

До смерти обрадовался Мишка: двое — не один.

Ухватил Трофима за рогожку — поскакали мимо мужиков с бабами, мимо вагонов. Прибежали в самый хвост — солдат стоит. Поглядели на солдата издали, вперед ударились.

— Стой! — сказал Трофим. — Надо на крышу лезть. Ляжем на брюхо — нас не увидят...

Встал Мишка на плечи Трофиму — до крыши высоко.

Потянулся маленько, чтобы за крючок ухватиться, — сорвался, грохнулся, ударил Трофима ногами по голове.

Рассердился Трофим, крикнул:

— Баба! Становись под меня.

Больно ушибся Мишка, но плакать некогда.

Встал под Трофима — и Трофим сорвался, ударил Мишку ногами по голове.

— Айда в другое место — не залезешь тут.

— Руку я зацарапал.

— Кровь?

— Течет маленько.

— Посыпь песком!..

Когда свистнул паровоз, покрывая людские голоса, Мишка с Трофимом лежали на крыше вагонной, вниз брюхом. Трофим облегченно шептал, нюхая пыльную крышу:

— Живой маленько? Сейчас поедem...

Шибко рвал киргизский ветер Мишку с Трофимом, все хотел сбросить в безлюдную степь. И когда глядели они на согнутых баб с мужиками, залепивших вагонные крыши, думалось им: плывут они по воздуху, над землей, над степью, и никто никогда не достанет их, никто не потревожит. Только один раз больно сжалось Мишкино сердце — мужик напротив крикнул:

— Умерла!

Головой около Мишкиных ног лежала косматая баба кверху лицом и мертвыми незакрытыми глазами смотрела в чужое далекое небо. Тонкий посиневший нос, неподвижно разинутый рот с желтыми оскаленными зубами тревогой охватившей перепутали Мишкины мысли, больно ударило затокавшее сердце.

Трофим поглядел равнодушно.

Так же равнодушно и мужики повесили бороды, думая о своем. Один из них сказал:

— Бросить надо, чтобы греха не вышло!

— Куда?

— С крыши.

Мишка напружинился.

Закрыв глаза, думал он о Лопатине, об оставленной дома матери, перебегал мыслями в Ташкент, но мертвая баба с оскаленными зубами закрывала и мать, и Лопатино, и далекий измучивший Ташкент, до которого никогда не доедешь. Тревожно оглядывая мертвую, шепнул Мишка украдкой Трофиму:

— Кто она?

— Голодная.

— Кинут ее?

— Нельзя днем кидать — увидят...

Навернулась огромная туча, залепила солнце, черным пологом упала над поездом. Лезет поезд с народом в эту тучу, режет ее свистками, кричит, орет, никак не может уйти. Или туча придавила, или косогор на пути: колеса перестали плясать, вагоны перестали раскачиваться. Медленно вытягивая хвост, поезд пошел тихим ходом, готовый остановиться совсем. Разом плеснул тяжелый, крупный дождь из огромного ковша, застучал по грязной обтертой крыше. Мужики сомкнулись кучей. Неподвижно сидели и Мишка с Трофимом под Трофимовой рогожей. Только мертвая баба по-прежнему лежала вверх лицом, с мертвыми незакрытыми глазами, налитыми дождевой водой. А когда огромная туча разорвалась на мелкие клочья и клочья поползли над степью, роняя последние капли, — подступил сырой, холодный вечер.

Крошечным пятном обозначилась впереди маленькая станция. Ближней долиной прошли верблюды.

Над бугром закурился дымок.

Трофим сказал Мишке, вздрагивая голым телом:

— Озяб?

— А ты?

— Я маленько озяб. Есть хочется! — опять сказал Трофим.

— Мне тоже хочется, — сознался Мишка.

— Терпеть умеешь?

— А ты?

— Я по два дня терпел.

Не хотелось Мишке разниться от товарища — уверенно мотнул головой:

— Потерпим!..

На станции мужики торопливо попрыгали. Остались на крыше вагонной только Мишка с Трофимом да мертвая баба с желтыми оскаленными зубами. Полный месяц, высоко поднявшийся над станцией, мягким светом обнял мертвое тело, заглянул в разину-тый рот. Мишке сделалось страшно, но Трофим спокойно сказал:

— Мы не будем прыгать. Прыгнешь если, на другую крышу не скоро сядешь. Останешься на этом месте, хуже будет. Ты боишься мертвых?

— А ты?

— Чего их бояться, они не подымутся...

Поезд стоял недолго.

В темноте взмахнули фонарем около паровоза, разом стукнули буфера и

в ночь,

в холодную сырость

грузно двинулись вагоны, лениво играя колесами.

Проскочила последняя будка.

Глазом тусклым глянул последний фонарь.

Над вагонами повис негреющий месяц желтой лысой головой.

— Холодно! — сказал Трофим. — Давай обоймемся.

Мишка расстегнул мокрый пиджак, и Трофим под рогожкой крепко обнял его вздрагивающими руками, прижимая живот с животом, грудь с грудью.

Так же крепко обнял и Мишка товарища, стягивая полы пиджака на Трофимовой спине; и, холодной, мглистой ночью, дыша друг другу в лицо, спасая друг друга от смерти, ехали они на вагонной крыше маленьким двухголовым комочком, слитые в одну непреклонную волю, в одно стремление — сберечь себя во что бы то ни стало.

— Мне теплее! — говорил Трофим.

— Мне тоже теплее, — соглашался Мишка.

— Подыши маленько в эту щеку!

— А ты мне подышишь?..

— Угу...

Был короткий миг, когда в сердце у обоих родилась неиспы-

танная радость от согревшей дружбы. Не высказывалась она словами, ехали молча, но оба чувствовали ее в том, как хорошо, не страшно двоим.

И мертвая баба, теперь не пугающая, будто говорила им: «Так, ребята, так!»

26

Утром продавали Мишкин пиджак на большой киргизской станции.

Трофим сказал последний раз тоном опытного человека:

— Четыре тысячи проси.

— Дадут?

— Не дадут — убавить можно. Первым покупать буду я. Ты хвали хорошенько свой товар и меня нарочно ругай, если я стану дешево давать. Понял? Заходи в народ.

Вошел Мишка в пеструю базарную гущу, держа на руке отцовский пиджак, сбоку к нему придвинулся Трофим:

— Громче кричи!

Мишка взмахнул пиджаком:

— Эй, купи, продаю!

Дал Трофим ему отойти немного, опять придвинулся, громко спросил:

— Стой! Сколько просишь?

— Ты не купишь! — обернулся Мишка.

— А ты откуда знаешь?

— Денег у тебя нет.

— А ты мои деньги считал?

— Чай, так видать...

Трофим рассердился:

— Эй, шантрапистый осколок! Говори окончательно — сколько?

— Четыре тысячи.

— Уступка будет?

— Набалвашь тебя, чай, он не больно старый...

Стояли Мишка с Трофимом в пестрой базарной гуще друг против друга, громко спорили, чтобы обратить внимание на пиджак, но никто, ни один человек не хотел остановиться около них. Поглядят издали — отвернутся.

Трофим сказал, повертывая головой:

— Хитрые, черти, не обманешь!

Уже падало веселое настроение, пиджак казался плохим, ненадежным, и в минуту отчаяния думалось: никогда не продашь его ни за тыщу, ни за полтыщу. В это время подошел молодой парень чуть-чуть повыше Трофима, уставился на ребят черными блестящими глазами.

Мишка взмахнул пиджаком:

— Купи!

Подвернулся киргиз с узенькой бородкой, выпятил губы, разглядывая пиджак снутри и снаружи, по-русски спросил:

— Сколько?

— Дешево отдаю, за четыре тыщи.

— Тыща!

Трофим из-за спины у киргиза крикнул:

— А кто здесь хозяин этому пиджаку?

— Я! — повернулся Мишка.

— Сколько просишь за него?

— Четыре тыщи.

— Продать хочешь или болтаться пришел? — строго спросил Трофим.

— А тебе чего надо тут? — так же строго ответил Мишка.

— Если хочешь продать, бери три тысячи с меня — и больше никаких. Хочешь?

Посмотрел киргиз на нового покупателя, сплюнул, разгорячился, начал подкладку пальцем ковырять. Мишка по-купечески говорил:

— Не ковырай, товарищ, матерья хорошая, два года будешь носить.

Подступили еще киргизы, загалдели, зацыкали:

— Две тыща!

— Нельзя, товарищ, дешевле не отдам.

— Три тыща. Ну!

Трофим осторожно шепнул:

— Убавь одну!

Хлопнул Мишка киргиза по руке, как большой, настоящий мужик, громко сказал:

— Прощай, пиджачок! Матерья больно хорошая.

С хлебом стало не страшно.

Нес его Мишка около сердца, крепко прижимая. Глаза блестели радостью, губы от нетерпения подергивались. Хотелось тут же, возле торговки, прямо на базаре, вцепиться голодным ртом в большой каравай, глотать непрожеванными кусками, но есть на базаре было неудобно: рядом кружились голодные беженцы, смотрели на хлеб голодными, провалившимися глазами, могли отнять, и Мишка с Трофимом, самые богатые люди теперь, ушли обедать за станцию, в степь.

Хорошо светило солнце с высокого неба.

Вокруг белели киргизские юрты.

Беззлобно лаяли собаки.

А главное — хлеб.

Мягкий, еще теплый каравай лежал на коленях у Мишки, и от этого степь широкая, и небо над степью, и дымок, и белые киргиз-

ские юрты тоже казались мягкими, теплыми, успокаивающими.

— Ну, давай! — решительно сказал Мишка, запуская острый ножик в хлебный мякиш. — Держи за мое здоровье!

Сам он радостно перекрестился, принимаясь за еду, удивленный, взглянул на товарища.

— Ты что не молишься?

— Бросил.

— Зачем?

— Так, не хочется... Дай мне еще кусочек! Много, убавь. Сразу не будем есть, оставим вперед.

Ели долго и все по маленькому кусочку. В животах у обоих становилось тяжело после голодухи, тело наливалось покоем, сладкой, сытой ленью. Хотелось уснуть под солнышком, забыться, ни о чем не думать. Мишка протягивал ноги в широких лаптях, подолгу лежал с раскинутыми руками. Потом опять садился, сонно глядя на убывающий каравай, резал от него по маленькому кусочку.

Трофим успокаивал:

— Пиджак не жале! Только бы живым остаться — лучше будет...

На станции, после обеда, долго пили холодную воду у водокачки; широко подставляя под кран сытые, отдохнувшие рты, начали умываться.

— Надо прифорснуться маленько! — говорил Трофим, разглядывая грязное брюхо. — Давай руки песком тереть!

— Голова больно чешется, — поежился Мишка. — И вот тут все время ползает.

— Вошки?

— Угу!

— Ты не дразни их, они хуже будут кусаться...

Поиграли, побрызгались холодной водой, стало совсем легко. Наигравшись, Мишка лукаво прищурился:

— Ну, теперь ты сам хлопочи!

— О чем?

— Как на поезд нам попасть.

— А ты чего будешь делать?

— Я тебя хлебом кормил...

27

Станция не сажала.

По вагонам, по вагонным крышам ходили солдаты с ружьями, сбрасывали мешки, гнали мужиков с бабами, требовали документы. Мужики бегали за солдатами, покорно трясли головами без шапок. Охваченные тупым отчаянием, снова лезли на буфера, с буферов на крыши, опять сбрасывались вниз и опять по-бычьему,

с молчаливым упрямством заходили с хвоста, с головы поездных вагонов.

Мишку с Трофимом сгоняли четыре раза.

Четыре раза солдаты замахивались прикладами, грозно кричали:

— Марш отсюда!

В тупике, около разоренного вагона, сидели трое мужиков, две бабы, девчонка, старик и угрюмый солдат с деревянной ногой. Глядя на составленный поезд, думали мужики, что удастся, может быть, и им как-нибудь вскочить, уцепиться, выехать из страшного места, но, когда подали паровоз и вагоны с голыми, опорожненными крышами медленно пошли мимо депо в голубую степь, один из мужиков в отчаянии сказал:

— Смерть теперь нам! Вперед не двинешься и назад не вернешься. Куда идти?

— Пойдем на разъезд, — ответил другой. — Там сядем.

— А посадят нас?

— А на черта мы будем спрашивать!

— Не дойдем! — сказал солдат. — Силы не хватит...

Неожиданно поднялся третий мужик:

— Все равно сидеть нельзя!

— Идти хочешь?

— Пойду один.

Старик, прилепившийся к мужикам, точно курица лапами, разгребал песок дрожащими пальцами, осторожно нащупывал камешки, клал на ладонь их, долго обнюхивал грязным нечувствующим носом. Петра, высокий, сгорбленный мужик, поглядел на старика с удивлением, будто сейчас только заметил:

— Ты, дедушка, чей?

— Я, милок, и сам не знаю чей, — губерню свою потерял...

— Едешь куда?

— Куда мне ехать? Сижу вот на этом месте пятый денек, а тронуться не могу. С сыном ехали, ну, он помер у меня, хочу с вами пристроиться.

— Мы пешком пойдем, здесь не сажают.

— Ну, так что же! Я ходьбы не боюсь, ребятушки, только бы здоровье в ногах держалось маленько. Я, бывало, по семьдесят верст отбачивал без передышки.

Бабы с девчонкой тревожно глянули в широкую пугающую степь. Идти им страшно было, и от своих отрываться страшно. Стояли они покорные, вялые, перехлестнутые лямками от холщовых сумок. Сидор, босой мужик, мягко почвокал губами:

— Пойдем или нет?

— Пойдем! — откликнулся Ермолай. — А ты, дедушка, как?

— Пойду и я потихоньку. Куда же деваться?

— Дойдешь?

— Можя, дойду, бог даст...

Сгрудились маленьким покинутым стадом.

Трофим решительно поглядел на Мишку...

— Они идти хотят. Ты не боишься?

— А ты?

— Я пойду.

— Я тоже пойду...

— Дойдешь сорок верст?

Мишка поправил живот.

— Теперь я больше уйду...

Высокий, сгорбленный Петра в распоротой шапке шагнул передом, на минуточку остановился. Поглядел в раздумье на станционную колокольню с желтым загоревшимся крестом и, размахивая поднятой палкой, повел остальных вдоль светлых, играющих рельсов в голубую зовущую степь с синими верхушками гор — под тонкое пение телеграфных проволок, под дряблый, нерадующий звон вечерних колоколов.

Мишка с Трофимом шли ягнятами позади.

Они не спрашивали, возьмут ли их мужики, даже с собой хорошоенько не уговорились... Нужно было идти ближе к Ташкенту, в сытый, хлебный край, скрывающийся за далекими курганами, а станция не посадила, сбросила с вагонной крыши, и пошли они без раздумья, мелкими, веселыми шагами, не чувствуя страха. Все казалось им, что мужики обернутся и скажут:

— Куда?

И тогда они ответят мужикам:

— В Ташкент!

Мужики обертывались, но никто не спрашивал, куда идут ребятишки, никому не было дела до них. Солдат, переваливаясь на один бок, широко загребая деревянной ногой, громко рассказывал:

— Вода, понимаешь, в Ташкенте больно холодная, и видно все в ней, будто в зеркале... Ягода разная, как бы не соврать, растет целыми десятинами. Идешь, к примеру, день — и все сады, сады, сады... Избы у каждого без крыши, и канавки нарыты для пропуска воды.

— А хлеб почему?

— Хлеб дешевый. Если поработать сартам недели две, пудов двадцать можно загнать на готовых харчах...

Старик, девчонка, бабы, три мужика и Мишка с Трофимом, ободренные веселым голосом хромого солдата, доверчиво смотрели на синие верхушки гор и шли вперед неровным растянутым треугольником за дешевым, волнующим хлебом.

Широко легла далекая, утонувшая в мареве степь с редкими курганами. Одиноко кружат степные орлы над мертвыми, побуревшими солончаками, опять садятся на древние могилы степных князей и сидят, как верные часовые, с черными неподвижными головами. Крупные нетронутые репейники цепью растянутой уходят в овражки, выбегают на бугры, тревожат мертвым своим одиночеством, вековым ненарушенным покоем. Поднялось, опять опустилось солнце, короче стали полуденные тени.

Солдат с деревянной ногой уже не рассказывал о холодной прозрачной воде, а красными, воспаленными глазами злобно оглядывал мертвые степные просторы, безнадежно говорил:

— Не дойдем мы до станции — силы не хватит!..

Бабы, девчонка криво разевали сухие, измороженные рты, брали друг друга за руки, молча плакали от гнетущего страха. Только Сидор, босой мужик, и Ермолай с жесткими нечесаными волосами шли упорно, выгнув черные, обветренные шеи, широко двигали избитыми ногами. Петра, шагавший впереди, высоко поднимал дорожную палку, вглядывался из-под ладони вдоль светлых убегающих рельсов, успокаивающе говорил:

— Вот там чернеет чего-то.

А когда доходили до черного пятнышка, радующего глаз, опять тоска сжимала сердце: это было брошенное киргизами становище, куски размытой глины — тяжелый, грустный труд беглецов. Опять Петра вглядывался из-под ладони, опять отыскивал пропавшую станцию.

Станция не показывалась. Только проволока телеграфная гудела, да изредка попадались опрокинутые вагоны, брошенные под откос, и сломанные колеса от пушечных передков — последний след минувшей гражданской войны, прошедшей степью от Туркестана до Самары.

Мишке с Трофимом было легче других.

Они уже поели, напились, отдохнули и в карманах несли по большому куску оставшегося хлеба.

Иногда украдкой Мишка бросал в рот маленькую крошку, шепотом говорил Трофиму:

— Нам с тобой гожа, а?

— Дойдем! — успокаивал Трофим. — Только бояться не надо.

Старик шел левым боком вперед, с трудом волоча одеревеневшие ноги. Сделал он на бугорке последний выдох из пыльных ноздрей, слабо улыбнулся добрыми, лучистыми глазами, покрестился на степное плывущее марево.

— Стойте, ребятушки, туго мне!..

Поплыла, закачалась степь в изумленных глазах, поплыли, за-

качались репейники, завертелись столбы телеграфные, звонче запела в ушах телеграфная проволока.

— Стойте, ребяташки, я не дойду!

Растопырился старик, молча сел на сухую, горячую землю. Солдат присел около старика, крепко стиснул руками деревянную ногу.

— Постойте, братцы, я тоже не дойду!

Сели и Сидор с Ермолаем. Петра неожиданно бросил палку:

— Ой, дорога наша, дороженька, далекий путь!..

Он нашарил в кармане остаток табаку, закурил, нарочно начал глотать едкий, режущий дым, чтобы успокоить пустые, голодные кишки. После трех затяжек у него закружилась голова, и он, раскинув руки, опрокинулся на спину. Сидор с Ермолаем сидели, уткнувшись подбородками в поднятые колени, бабы с девчонкой лежали врастяжку. Старик свернулся комочком, положив кулак под голову, а солдат, разглядывая деревянную ногу, глухо сказал равнодушным, мертвым голосом:

— Пропадем!

Мишка со страхом смотрел на мужиков, упавших в дороге, вглядывался в степь без жилья и людей — сердце у него замирало. Хорошо, если станция близко, а если до нее еще сорок верст? Оторвал он маленькую крошку в кармане, бросил в рот, чтобы хлебом успокоить налетевшую тревогу. Солдат посмотрел на Мишкин карман голодными глазами.

— Хлеб у тебя?

Мишка взглянул на Трофима.

Трофим лениво сказал, не теряя спокойствия:

— Какой там хлеб — глину жует!

Зашевелился старик, подняли головы Сидор с Ермолаем, а бабы с девчонкой взглянули тоскующими глазами, и голодная поднятая кучка несколько секунд сидела встревоженным полукругом, выставив уши. Или ветерок принес обрадовавшее слово, или земля шепнула его измученному телу.

— Где хлеб? — спросил Петра.

Солдат показал на Мишку:

— Вот у этого человека.

Мишка испуганно поднялся, готовый на смертную битву за последнюю радость, загорелся глазами, будто хореk, вытaщенный из норы. Неожиданно поднялся Трофим, взял товарища за руку:

— Айда, дорогу мы знаем!..

Мишка с Трофимом попятились в сторону, потом остановились, не спуская с мужиков встревоженных глаз. Мужики тоже смотрели на них в глубоком раздумье, точно готовились к нападению. Позади показался дымок.

На закатном солнце обозначился остов вытянутого поезда, коротко блеснули рычаги паровоза.

— Идет! — крикнул Петра. — Сюда идет!

В новой тревоге от дальнего поезда мужики приготовились встретить его на небольшом косогоре. Решили уцепиться за подножки, повиснуть на задних буферах — только бы не остаться на ночь в страшной степной тишине.

Солдат в тоске своей пощупал деревянную ногу:

— Я не прыгну, товарищи!

Баба обрадовалась, что солдат не прыгнет, робко сказала:

— Не прыгайте, мужики, убиться можно.

Ей не ответили. А она, пораженная мыслью остаться в степи, в отчаянии просила бога, чтобы солдат не прыгнул и мужики остались бы вот такой артелькой.

Поезд подходил все ближе из-за крутого поворота. Проворно работал паровоз стальными локтями, фукала паровозная труба черным разинутым ртом, нежно таял белый паровой дымок.

Петра наклонился к старику:

— Дедушка, машина идет! Ты встанешь?

— Чай, встану как-нибудь.

Сидор громко сказал остальным:

— Прыгайте на разное место! Кучей не стойте!

Трофим наказывал Мишке:

— Когда будешь хвататься, становись головой к паровозу, чтобы воздухом не сшибло.

— А ты вместе сядешь?

— Где придется, я половчее тебя.

Поезд шел почтовый и чуть-чуть замедлил размашистый ход на косогоре. Фыркнул паровоз — крутолобый чугунный мерин, — глянул на собравшихся светлыми стеклами передних фонарей. Зашипел горячий пар, пущенный машинистом, откинул в сторону баб с девчонкой, уронил старика под откос. Мишка, как во сне, услышал голос Трофима:

— Прыгай!

И опять, как во сне, увидел бегущую навстречу подножку у зеленого вагона, протянул вперед руки, громко без памяти закричал:

— Дяденька!

Впереди мелькнула Трофимова голова, заболтались в воздухе Трофимовы ноги. Когда Мишка почувствовал, что Трофим попал на поезд, скрытая мужицкая сила, глубоко запрятанная в маленьком теле, распрямилась огромной пружиной, подбросила его вперед. Проскочила еще одна и еще одна подножка. Из окошек вагонных высунулись люди и все глядели на бегущего вдоль поезда мальчишку в широких лаптях, что-то кричали ему, а он, тяжело раздувая горячими ноздрями, хотел было ухватиться за последнюю подножку, но сила невидимая оторвала его от земли, опрокинула, смяла, бросила в черную глубокую яму...

Медленно тянулись друг за другом не попавшие на поезд: Ермолай, Петра, солдат с деревянной ногой, бабы, девчонка. Отстают, перекликаются, разорванные темной пугающей ночью, упорно шагают вперед. Нащупывают травку, растирают на зубах. Отдохнувши, опять ползут настойчиво, непреклонно. Опять солдат рассказывает о холодной прозрачной воде и зеленых садах, а старик, убаюканный пройденными верстами, покорно лежит в высокой сухой траве под откосом. В последний раз окидывает мыслями потухающие родные поля, чувствует запах родной земли и в порыве последней любви целует степную киргизскую землю, как свою, любимую — старческими умирающими губами.

— Уроди, кормилица, на старых, на малых, на радость крестьянскую!..

Подошло, опажнуло мужицкое и страшное горе, расцвело невиданной радостью: со всех сторон, со всех дорог идут — ползут трудящиеся из больших и малых сел, из больших и малых деревень. Каждый несет по зернышку, кладет свое зернышко в родную голодную землю. Цветет голодная земля колосьями хлебными, радуется измученная радостью измученных. Широко расходятся молодые весенние всходы, наряжается земля в зеленое платье. Улыбается старик зеленому полю — замирает улыбка на вытянутых посиневших губах.

— Кормилица, уроди!

Проходят поезда, проходят пешеходы, сброшенные с поездов, никто не видит радость человеческую на мертвых губах старика, упавшего в дальнем пути.

«Слава тебе, безымянная!»

Увидел Мишка небо черное, украшенное крупными звездами, степь черную, без единого звука, понял не сразу. Посидел, будто после крепкого сна, почесал ушибленную голову, и вдруг охвативший ужас сковал ему разум и сердце: ушли, бросили его, никому он больше не нужен, и никто не выведет его из страшного места.

Волосы у Мишки поднялись вместе с кожей, мысли помутились, глаза застыли. Прямо на него двигалась огромная тень. Тряхнул он головой. тень раскололась на две половинки, и у каждой половинки выросли руки, ноги и большие киргизские головы в страшных качающихся шапках. Шли киргизы в страшных шапках, подпрыгивали, вытягивались, шуршали травой, скалили зубы, махая руками.

Дикий крик одиноко прорезал черную ночную тишину:

— Мамынька!

Бежал Мишка недолго.

Сзади его хватали киргизские руки, в уши кричали страшные киргизские голоса: «Смерть!»

Перед глазами обезумевшими вырос огромный репей огромным великаном — бежать больше некуда. Упал Мишка на колени перед великаном и лежал в покорном молчании до самого утра.

Это была не смерть.

Смерть ходила по вагонам, по вагонным крышам, по грязным канавкам, где валялись голодные. Смерть настигала солдата с девчонкой, ушедших вперед, разыскала их на маленькой станции, куда они торопились, а у Мишки в кармане лежал кусок припрятанного хлеба и тысяча рублей, оставшаяся от проданного пиджака.

Когда обогрело утреннее солнце, страх ночной прошел, остались только стариковская слабость да сильная головная боль. Глаза смотрели безжизненно, ни о чем не думалось. Вспомнилась мать, но мысль о ней тут же потухла. Все проходило в тяжелом неразгаданном сне. Тупо, равнодушно вытащил Мишка из кармана хлеб, тупо, равнодушно съел его. Хотел было лечь, тихонько поплакать на чужой, нелюдимой земле, а тело опять налилось крепостью, брови нахмурились, вспыхнула упрямая воля: «Пойду!»

Четко обозначались дальние горы, телеграфные столбы и две дорожки светлых играющих рельсов. Посмотрел Мишка в обе стороны, сердце забило тревогу: «Куда идти? Где Ташкент?»

Если в ту сторону — можа, не там...

И если в эту сторону — можа, не там...

Горят, играют рельсы на утреннем солнце, идет по ним тяжелый страх от широкого безграничного простора, от далеких синих гор.

А плакать нельзя.

Кто увидит Мишкины слезы, если нет кругом ни одного человека?

Кто поможет Мишке, если стоять на одном месте целый день?

Прошел он шагов двадцать в одну сторону — остановился: «Заплутаешься!»

Прошел шагов двадцать в другую сторону — опять остановился: «Не выберешься».

Мать, наверное, думает: едет сынок или умер давно? Может быть, и сама умерла, и Яшки с Федькой нет давно. Стоял Мишка в глубоком раздумье, плотно сжав побледневшие губы, сразу припомнилась вся жизнь и первый день, когда из дому вышел. Неужто погибать придется? Глянул на светлые рельсы, в изумлении замер, вчера поезд шел на этот косогор, значит, и идти нужно на этот косогор, в эту сторону.

Стянул Мишка покрепче солдатский ремень, нахлобучил ста-

рый отцовский картуз, пощупал ножик в кармане, смелее двинулся на синие дальние горы.

Широки степные просторы.

Страшно в них человеку, плывущему маленькой точкой, тоскливо и орлам степным сидеть на древних могилах князей... Нет в степях человека, нет и голоса человеческого. Репьи, кустарники, голые солончаки, изрезанные глубокими трещинами, да редкий верблюжий помет. Попадется бумажка, выброшенная из вагонного окошка, — забелеет сиротливо покинутой гостьей, прижавшись у корней сухой травы; глянет радостью волнующей брошенный мужицкий лапоть, занесенный из далекой неведомой деревни, из далекого неведомого села. Вздохнет Мишка, вспомнит Сережку с Трофимом, Яшку с Федькой, мать, лопатинских мужиков, лопатинскую речку и опять упорно двигает ногами, крепче стискивает в тревоге побледневшие губы. Если нападут сейчас киргизы на него, скажет он им: «Зачем вам убивать меня? Возьмите мой ножик, ремень с картузом, штаны, рубашку и тысячу рублей, только не убивайте».

Течет по степным просторам воздух, пронизанный солнцем. То морем, то речкой огромной течет, то маленьким ручейком. Ухватит зоркий, настороженный глаз далекие призраки, похожие на дерево или на человека, на плывущую деревню с соломенными крышами, как в Лопатине, а через минуту ни дерева, ни человека нет, ни обманувшей растаявшей деревни.

Напрягает Мишка последние силы, пересчитывает столбы телеграфные, упрямо, настойчиво думает: «Не бойся, чай, ты не больно богатый какой!»

Уже двести столбов отсчитал, перевалил на третью сотню. Упрямая воля к жизни, ведущая по шпалам маленьким встревоженным червяком, укрепляла Мишкины ноги, и он даже подпрыгивал, пробовал легонько бежать. Когда вспоминал про Трофима, попавшего на поезд, горькое чувство обиды подхлестывало еще сильнее. Теперь он один, бросили его, не пожалели, и надеяться ему надо только на себя. Пускай думают, что он умер, пускай едут в вагонах, если такие люди находятся, которые товарищей бросают, а он все равно идет, и никто его не тронет, потому что он бедный, и это, наверное, сразу все видят. Прошел он двести столбов и еще двести пройдет; до тех пор будет идти, пока не умрет. А умрет, куда же деваться? Значит, такая судьба у нашего брата: терпеть надо...

С косогора из широкой долины глянула маленькая станция. Со станции навстречу двинулся поезд, черным столбом вылетел паровозный дым. Мишка от радости крикнул:

— Вот она где!

А когда поравнялся с поездом, помахал мужикам старым отцовским картузом, стоя под откосом, проводил заблестевшими

глазами последнюю площадку, нагруженную хлебом, вспомнил про мешки, которые у него украли, и опять маленьким шариком покатился вдоль светлых, играющих рельсов.

«Теперь я не боюсь!»

Навстречу шли три лохматые собаки. Людей кругом не было. Остановился Мишка, и собаки остановились, одна легла между рельсами, Мишка оробел и от страха, что собаки могут разорвать его, начал молиться богу, припоминая молитвы, но все молитвы перепутались, а собаки не уходили. Тогда Мишка с замиранием сердца пошел в обход, согнулся, стараясь сделаться еще меньше ростом, чтобы собаки не заметили его, а одна собака тоже пошла в ту сторону. Остановился Мишка, и собака остановилась. Вспомнил он про медведя и двоих ребятишек в лесу: если притвориться мертвым, медведь не тронет. Может быть, и собаки не тронут, если умереть нарочно? Присел Мишка на голые солончаки, осторожно вытянул ноги, чуть-чуть приподнял голову и зорко настороженными глазами стал наблюдать за собаками. От Мишкиного страха собаки выросли, стали огромными, с длинной черной шерстью, с длинными оскаленными зубами и вдруг растаяли. Потом поднялись на воздух тремя черными тучами, пробежали над Мишкиной головой и залаяли далеко-далеко. Наклонилась ближе к земле Мишкина голова, легла будто в мягкую подушку, глаза закрылись. Спал он крепко, долго, видел во сне трех собак, но это были совсем не киргизские собаки, а свои, лопатинские, и сам Мишка лежал не на голых солончаках в далекой степи, а дома, в Лопатине, на берегу лопатинской речки. Собаки лизали ему руки, ложились на спину, вертели хвостами. Одна из них спросила человеческим голосом:

«Ты уже вернулся из Ташкента?»

Поглядел он хорошенько на собаку, а это лошадь около него. Встала она на колени пред ним и тоже говорит человеческим голосом:

«Садись — довезу!»

Сел Мишка верхом, поехал. Лошадь вдруг взвилась на дыбы, вскинула задние ноги, сбросила Мишку под себя, ударила копытом прямо в лоб.

Кто-то сказал, трогая Мишкины ноги:

«Вставай, мальчишка! Или умер?»

Не было кругом ни собак, ни людей, только слабо глянул в лицо станционный огонек. Очнулся Мишка, нащупал ножик в кармане, тысячу рублей, вскочил, встряхнулся, побежал. Станция была маленькая, безлюдная; между рельсов валялись арбузные корки, втоптаные в пыль, выброшенные мосолки. Кто-то ехал тут, кто-то дальше проехал, остались только развороченные жарнички из натасканных кирпичей, мусор, навоз и темная безголовая тишина. Мимо прошли два киргиза, поглядели на Мишку. По-

глядел и Мишка на них, поднял два мосолка. Третий киргиз пошел прямо на Мишку, растопыривая руки. Попятился Мишка к станционным дверям, и киргиз пошел за ним. Ноги у Мишки задрожали, в голове помутилось. Стиснул он в кармане ножик, тысячу рублей — последнюю радость свою, нырнул в станционную дверь. Увидел вторую дверь в задней стене, толкнул тихонько, выскочил на заднее крылечко, шагнул вдоль палисадника... Сердце билось, ноги путались, а там, на станции, кто-то кричал громким голосом, и нельзя было разобрать ни одного слова. Никогда раньше не боялся Мишка, теперь вдруг оробел и голову повесил, не зная, что делать. Помилуй бог, если убьют его или рубашку последнюю снимут. Заступиться некому, и закричит — никто не услышит.

Отдышался немного, пополз. Прошел станционные постройки, вышел за станцию, остановился около маленькой будки.

Будка была без жильцов и окон, с ободранной жестью на крыше, с развороченной печкой, с выдранными половицами. Из окошка разбитого вылетела ночная птица — ноги у Мишки подкосились. Когда успокоился немного, робко вошел в нежилую, пугающую будку.

Ночь проходила медленно.

Разыгрался ветер, рвал остатки жести на крыше, шумел, колотил в стены, подвывал собачьими голосами. Потом ударил гром. Вспыхнула будка, словно загорелась вся. Метнулась по углам ломаная молния острыми растопыренными ножницами, и опять в выбитые стекла полезла черная ревущая ночь.

Полил дождь.

Мишка сидел в уголке, всовывая руки в рукава рубашки, вздрагивая, ежился, и вся его прежняя жизнь, простая, нестрашная, казалась теперь оторванной, потерянной навсегда. Где он сидит сейчас? Ближе к Лопатину или ближе к Ташкенту? И понять не мог, куда попадет скорее. Может быть, никуда не попадет, потеряет дорогу, обессилеет, останется вот в этой степи.

Резкий паровозный свисток оборвал встревоженные мысли, поднял Мишку на ноги, вытолкнул из будки в мокрую шуршащую траву, под дождь и ветер, под удары грома и, слепнущего от вспыхивающей молнии, повел на маленькую станцию; там, прорезывая темноту, горели два паровозных фонаря.

Падая, разъезжаясь лаптями по осклизлой земле, спотыкаясь о шпалы, не думая о дожде и ветре, толкающем из стороны в сторону, бежал Мишка к поезду, идущему в Ташкент. А поезд этот обязательно на Ташкент, потому что фонари глядят в эту сторону. И если Мишка не уедет сейчас, то пропадет в этих местах, и уйти ему от своей смерти будет некуда...

Около паровоза копошились люди, стучали молотками.

Повертелся Мишка за спиной у них, побежал вдоль вагонов,

царапая руками запертые двери. Еще больше испугался, что его не посадят, и опять очутился около паровоза.

Кто-то крикнул из темноты:

— Не стой под ногами.

Отошел шага два, снял картуз.

Лил дождь, шумел ветер, а Мишка стоял, будто нищий, около паровозной подножки, держа в руке старый отцовский картуз. Когда подошел машинист с зажженной паклей и багровый свет, потрескивая на дожде, упал на Мишкино лицо, вырывая его из темноты, Мишка громко сказал:

— Дяденька, миленький, пожалей меня Христа ради!

Машинист не ответил.

И опять Мишка стоял.

Лил дождь, шумел ветер, стучали молотками по колесам, а он с непокрытой головой, дрогнувший от холода и отчаяния, жался около паровозной подножки. Опять показался машинист с зажженной паклей, и опять Мишка схватил его за руку:

— Дяденька, пропадаю я здесь!

Машинист остановился:

— Ты кто?

А Мишка и сам не знает, кто он теперь: мальчишка голодающий из Бузулукского уезда. За хлебом поехал в Ташкент, а товарищи бросили его, и в вагон никто не сажает. Нельзя ли с ними пристроиться как-нибудь? Он заплатит маленько, если чего надо: ножик есть у него и деньгами тысяча рублей.

— Подожди! — сказал машинист. — Кондуктор сейчас придет, его проси хорошенько.

Мишка встал на колени, протянул вперед руки и голосом отчаяния, голосом тоски и горя своего мучительно закричал:

— Дяденька, товарищ, Христа ради посади, пропаду я здесь!..

Машинист не ответил. Долго ползал под колесами, стучал молотками, потом ушел на станцию.

Лил дождь, шумел ветер, Мишка стоял около паровозного колеса, мучая себя нерешительностью, и вдруг, никого не спрашивая, полез на паровоз. Согрел немножко спину о паровозную трубу, повернулся грудью. Согрел немножко грудь, опять повернулся спиной.

К утру дождь перестал.

Стало тихо, туманно, мертво.

В бледном рассвете выступала станция, киргизские юрты за станцией.

Пришел машинист.

Увидя Мишку с посиневшим лицом, мутные Мишкины глаза, налитые страданием, спросил несердитым голосом:

— Едешь, товарищ?

Мишка жалобно ответил:

— Дяденька, не гони меня отсюда! Замерз я всю ночь...

— Куда же ты едешь, голова с мозгами? Ведь ты пропадешь!..

Легче бывает, когда люди разговаривают, и смелости больше. Рассказал Мишка, куда и откуда он едет, немножко прихвастал: ему бы только до Ташкента доехать, там у него родственники есть. Два раза писали они Мишкиной матери и очень просили, чтобы он приехал. Если, говорит, понравится ему у нас, совсем может остаться, а если не понравится — домой вернется с билетом.

Слушал машинист, улыбался, разглядывал посиневшие Мишкины губы, неожиданно сказал:

— Идем со мной!

Не сразу поверил Мишка, а когда очутился около паровозной топки и увидел невиданные рычаги с колесами, гайки, ключи, ручки и огненное паровозное жерло, полыхающее жаром, в голодной голове вспыхнули тревожные мысли: куда он попал?

Потянул машинист одну ручку — наверху, над крышей, гудок засвистел. Повернул другую ручку — паровоз вдруг тронулся, поплыл: сначала легко, осторожно, потом разошелся вовсю и летел вперед с такой быстротой, что у Мишки сердце заходило и мысли в голове кувыркались. Какая сила несет их, и кто все это устроил?

На подъемах паровоз шел тише, потом опять пускался во весь дух, а машинист в черной рубашке смотрел из окна, покуривая трубочку. Другой человек подкидывал дров в огненную глотку и, нарочно подхватывая Мишку, кричал машинисту:

— Товарищ Кондратьев, бросим его вместо полена?

— Кидай! — смеялся Кондратьев. — Жарче будет...

Смотрел Мишка на новых людей с большим уважением, видел, что они шутят с ним, и от этих шуток, от паровозного тепла становилось легче, веселее. А когда товарищ Кондратьев отвернул маленький краник, нацедил из него кипятку в чайник, напился сам и подал Мишке жестяную кружку, Мишка, тронутый любовью, задушевно сказал:

— Давно я не пил горячей воды!

Кондратьев отломил корочку хлеба.

— Хочешь?

Нет, тут не корочка виновата.

Не наелся Мишка, мало было ему черствой корочки, но не хлеб согрел его радостью, а добрая ласка, хорошая улыбка на лице у товарища Кондратьева. Сидел он будто дома, на горячей печке, часто дремал, забывался, сонно нащупывал ножик в кармане, спокойно и радостно думал: «Какие хорошие люди!»

Когда стали подъезжать к большой станции, Кондратьев сказал:

— Ты, Михайла, сейчас прыгнешь отсюда: паровоз в депо пойдет, на починку. Починим хорошенько его, чтобы он не дура-

чился у нас, опять поедem в Ташкент... Теперь уже недалеко осталось.

Мишка поник головой.

— Ты что напугался?

— Люди больно не всякие! Который посадит, который нарочно гонит.

Кондратьев похлопал по плечу:

— Не бойся, Михайла, со мной поедешь, только со станции далеко не бегай. Как пойдет паровоз из депо, свистну я тебе два раза в этот свисток, ты и беги ко мне. Понял? Не увидишь меня около паровоза — жди...

— Ну, ладно, дяденька, я так и сделаю.

— Угу!..

— А пока мужиков наших на станции погляжу, можа, кто попадетсЯ. Вы папиросы курите?

— Зачем?

— Можа, я вам папирос куплю?

Кондратьев улыбнулся.

— Если купишь мне папирос, я тебя не посажу...

На станции Мишка ласково поглядел в лицо ему, нехотя прыгнул с паровоза, присел за вагонами, разулся, вытащил оборины из лаптей, лапти растрепанные бросил, а чулки, связанные обориной, перекинул через плечо и босиком, в глубоко посаженном картузе пошел на базар. Сразу не хотелось давать большую цену за хлеб, и Мишка все приценивался у разных торговков, словно мужик, покупающий лошадь. Цены были везде одинаковые, страшно хотелось есть, особенно при виде караваев, и, поглядев в последний раз на припрятанную тысячу, купил он большой кусок ситного. Съел половину, отяжелел, раздулся, утомленно подумал: «Будет, завтра доем!»

Мимо пронесли мужика на носилках.

Поглядел Мишка на русую бороду, на синие штаны, на голые почерневшие пятки, вобрал в себя чужую печаль, погрустил над умершим:

— Все-таки я счастливый человек: он вот умер, а я еду потихоньку...

За станцией сидели мужики, бабы, девчонки — целое голодное стадо. Мишка спросил двоих мужиков:

— Вы откуда едете?

Мужики не ответили. Мишка рассердился.

— Что же вы не скажете?

Тогда один мужик сказал:

— Ты, мальчишка, не лезь, без тебя тошно...

А другой добавил:

— Четыре дня токуем на этом месте — не до разговоров тут...

И Мишка сказал, как большой, настоящий мужик:

— Я тоже сидел не хуже вашего, в степях один ночевал, пешком шел.

— Как же ты шел?

— Шел вот, нужда заставила.

— Болтаешь не знай чего! — покосились мужики.

Мишка поправил старый отцовский картуз, начал рассказывать, как его бросили товарищи, как он ночевал одну ночь прямо в степи, а другую — в будке, и никого с ним не было. Потом попался машинист, товарищ Кондратьев, посадил его на паровоз, поил чаем из своего чайника и хлеба немножко давал. Будь таких людей побольше, давно бы все доехали.

Рассказывал Мишка спокойно, голосом уверенным, твердым и сам от этого казался ростом выше. Мужики слушали внимательно, задние подвинулись ближе, смотрели в лицо рассказчику, а он, довольный и сытый от съеденного хлеба, помахивая парой чулок, стоял среди мужиков, как маленький проповедник, укрепляющий верой и бодростью на далекий и неоконченный путь.

Увлеченный вниманием, начал хвалиться:

— Пойду сейчас на паровоз сяду!

— На какой паровоз?

— К товарищу Кондратьеву.

И пошел.

Обернулся к мужикам, подумал: «Завидно им' маленько!»

Бегали два паровоза маневровых, резко гудели свистки, отцеплялись вагоны, лязгали буфера, паровозам подсвистывали стрелочники в тоненькие рожки. Увидя кондуктора с двумя флажками за поясом, Мишка спросил:

— Это, товарищ, куда паровозы пойдут?

— К матери в штаны! — сказал кондуктор.

— Ну?

— Вот тебе и ну!

Оба засмеялись. Кондуктор пошел дальше, а Мишка стоял на горячем рельсе босыми ногами. Мимо прошел красноармеец с винтовкой. Мишке и с ним захотелось поговорить:

— Товарищ, сколько сейчас часов?

— А тебе сколько надо?

— Два есть после обеда?

— Есть! — сказал красноармеец. — Два больших и третий маленький.

Мишка не сердился: шутят с ним, и сам он шутит. Вчера маленько напугался, нынче после пищи веселее стало. Хорошо, если бы каждый день съедать по такому куску...

Около будки стоял стрелочник с медным рожком в руке. Рожок был начищенный, светлый, а стрелочник — с большой бородой и глазами — не сердитый. Подошел Мишка поближе к нему, от нечего делать сказал:

— Товарищ, ножик не купишь у меня?

— Зачем мне его?

— Можя, годится куда.

— Ну-ка, покажи!

Прежде чем отдать ножик, Мишка поднял с земли толстую щепку.

— Порежь, попробуй, как бритва берет!..

Попробовал стрелочник — ножик острый.

— А ты его не украл?

Мишка обиделся: это же его собственный ножик, отец покойный привез из солдатов, и, если бы не нужда, он бы его ни за что не продал, потому что таких ножей не найдешь, особенно здесь. Даже в Бузулуке у них, наверное, нет таких...

— В каком Бузулуке?

— Город такой, меньше Самары!

Разговаривали долго.

Ножик Мишка не продал, но не было пока и нужды большой. Кое-где он протягивал руку за милостыней, снимал старый отцовский картуз и спокойно, совсем не жалобно, говорил:

— Дайте кусочек хлеба!

Ему кричали:

— А ну тебя к чертям, мальчишка, надоели вы, как собаки!

Раньше бы Мишка рассердился, но теперь просил он не от голода, не от пустых, голодных кишок — маленько озорничал: в кармане у него лежал маленький кусочек, и ходить с ним было не страшно. Только в одном вагоне сразу два человека раздобрились: один, читавший книжку, бросил яблочную сердцевину с большим червяком, а другой, в синих очках, насыпал подол арбузных корок. Мишка обрадовался, ел арбузные корки прямо с кожурой, раздулся и, лениво шатаясь с отяжелевшим брюхом, совсем не заметил, как день наклонился к вечеру: легли вечерние тени, зажглись фонари. Около агитпункта играла гармонь.

Из толпы собравшихся выскочил молодой мужик, ловко раздвинул круг, ударил шапкой о землю, топнул ногой, обутой в мордовский лапоть, весело крикнул гармонисту:

— Поддавай паров!

Потом и собравшимся крикнул:

— Сторонись, товарищи-ребята, сейчас буду нужду давить! Николай, тряхнем перед смертью, все равно скоро умирать будем...

Гармонь перешла на камаринского.

Хлопнул мужик в ладони, изогнулся, присел, выбросил ноги, двинулся задом на пятках, завертелся на носках, ухнул, ахнул, неожиданно сел, кувыркнулся через голову, пошел растопыркой.

— Э-эх, рассукин сын камаринский мужик, ты зачем, зачем головушкой поник?

Играла гармонь, плясал веселый мужик, а с путей несли раздавленную бабу, залитую кровью. Или нечаянно попала она под колеса маневрового поезда, или сама бросилась с тоски и голода — никто этого не знал, никто об этом не спрашивал. Увидел Мишка только голову с длинными распущенными волосами, висела она, как у зарезанной овцы, и тяжелый страх, горькая, недетская жалость сдавила Мишкино сердце. В слабом свете ночных фонарей ходил он, удрученный, смятый новыми мыслями, и везде видел надоевшее черное горе: плакали бабы, скулили ребята, злобно ругались мужики, а паровоз из депо не приходил.

Устал Мишка, клонило ко сну, но спать не ложился: уснешь — опять останешься на этом месте.

И ночь прошла, и утро глянуло мутными глазами, а паровоз не приходил. Не видно и товарища Кондратьева.

«Неужто обманул? Неужто один уехал?»

Длинной вереницей стояли вчерашние вагоны, в вагонах еще спали, спросить некого, а сам Мишка не мог догадаться: эти вагоны или другие пришли? Стало досадно и страшно. Ехал-ехал он, шел-шел — опять несчастье. Наверное, никогда не доедет и где-нибудь обязательно пропадет, потому что ошибки во всем выходят у него. Надо бы ему на этом месте дожидаться, а он ушел — гармонь прослушал.

31

Широко разругмянилось небо за станцией, и тоска Мишкина, как перед смертью, ущемила ему разболевшееся сердце. Хотел он заплакать от досады, дернуть себя за волосы, но из депо, попыхивая трубой, весело вышел отдохнувший паровоз, громко вскрикнул в утренней тишине, и сердце Мишкино запрыгало воробьем: — Идет, миленький, идет!

Отбежал в сторону Мишка, чтобы колесами не задавило, а в окошечко из паровозной будки товарищ Кондратьев глядит, и в зубах у него вчерашняя трубочка. Увидал он Мишку, крикнул чего-то, но Мишка не расслышал, побежал по шпалам за паровозом. Обернулся паровоз назад, стал пятиться к вагонам, стукнул их, остановился. Опять товарищ Кондратьев крикнул Мишке, шмыгающему носом:

— Ну, Михайла, едем!

Сразу зачесалось все тело у Мишки, а слова какие сказать — не найдет. Поправил картуз, поскоблил шею, громко ответил:

— Я всю ночь не спал!

Засмеялся товарищ Кондратьев:

— Ты молодец, я знаю. Лезь скорее, а то один уеду.

В это время Мишка был самый счастливый человек на всем свете.

Опять, как на прежних станциях, бегали мужики, бабы, кричали, плакали, просили посадить, а он спокойно сидел в уголке на полу, да не где-нибудь, а на паровозе, и не просто сидел, а все время улыбался. Вспомнил Сережку с Трофимом, подумал: «Вот бы сюда показаться им!»

Повернул товарищ Кондратьев рычажок — медленно пошли назад станционные постройки. Не вытерпел Мишка, вылез из уголка и, довольный, веселый и гордый, выглянул в узенькую дверь: увидел двоих мужиков, бегущих вдоль паровоза, бабу с ребенком, красноармейца, услышал плач...

Еще быстрее побежали назад фонари, деревья, старые вагоны без колес, пеленки на вагонах, дрова, телеги, доски — в лицо глянула веселая, голубая степь. Заблестели озера в зеленых камышах, светлые арыки, опять широкая степь, опять зеленые камыши, горы, камни, песок. Глядел Мишка жадными заблестевшими глазами и в мыслях своих горячо благодарил товарища Кондратьева, который везет его, будто сына. А товарищ Кондратьев, чувствуя Мишкину радость по блестевшим глазам, спрашивал нарочно:

— Ну, Михайла, как наши дела?

— Помаленьку.

— Скоро в Ташкент приедем!

— Сколько дней еще?

— Не будь остановок больших — день да ночь, а утром там...

Хотел сказать Мишка хорошее слово, чтобы понял товарищ Кондратьев, как Мишка благодарен ему, но слова такого не было на Мишкином языке, только глаза блестели, полные любви и преданности. Съел он оставшийся кусочек, не наелся, но тут же подумал: «Ладно, терпеть буду...»

К вечеру товарищ Кондратьев спросил:

— Шибко хочешь есть, Михайла?

Стыдно было лезть Мишке в глаза хорошему человеку, и он твердо сказал:

— Вы сами ешьте, разве мне напасешься?

А товарищ Кондратьев опять:

— Ничего, Михайла, сделаемся! На вот корочку, поломай об нее зубы, они у тебя молодые. Зубами не возьмешь — в воде размочи...

Не видел Кондратьев Мишкиных глаз, любящих и преданных, только голос дрогнувший услышал:

— Благодарим покорно, дяденька!

Размякла корочка сухая в горячей воде, размякло и Мишкино сердце от большого взволновавшего чувства. Съел он корочку, выпил горячую воду и, протягивая Кондратьеву складной непроданный ножик, дрогнувшим голосом сказал:

— Возьмите мой подарочек за ваше снисхождение!

И у Кондратьева голос дрогнул:

— Зачем мне?

— Везете вы меня, жалеете.

— Спасибо, Миша, положи в карман.

Но так горячо упрашивал Мишка, так ласково блестели у него глаза — отказаться было нельзя. Взял Кондратьев большой деревянный ножик с дырочкой в рукоятке, повесил за веревочку на один палец, помотал, улыбнулся и, высунувшись головой в окно, долго смотрел в лиловую вечернюю степь добрыми, смеющимися глазами.

Спал Мишка в эту ночь хорошо и спокойно. Во сне видел мать, Яшку с Федькой, лопатинских мужиков с бабами. Мать ему истопила баню, подошла будто к кровати, тихонько сказала: «Спишь или нет, Миша? Сходи, сынок, помойся после дороги, вот я и рубашку припасла тебе...»

Вымылся Мишка, даже попарился веничком — очень уж натомилось тело за долгий путь, — пришел из бани большим, неузнаваемым. Сел за стол на переднюю лавку, начал рассказывать про товарища Кондратьева.

«А Сережка наш как? — спросила Сережкина мать. — Ты где его бросил?» Мишка спокойно ответил: «Сережка не выдержал: положил я в больницу его, он и помер там».

Стала Сережкина мать плакать, стала жаловаться на Мишку, а мужики лопатинские говорили: «Михайла тут не виноват, умереть может всякий человек»...

Хотел Мишка на двор пойти, поглядеть хозяйство оставленное, а в избу вошел сам товарищ Кондратьев, крикнул в самое ухо: «Вставай, вставай!»

Вскочил Мишка непонимающий, увидел Кондратьева, услышал веселый, ободряющий голос:

— Ну, Мишка, видишь?

— А чего это?

— Сейчас в Ташкенте будем.

Стукнуло Мишкино сердце, оборвалось, будто упало куда, глаза заслепило. Сначала ничего не видел, только пятно зеленое бежало вдоль паровоза, а когда паровоз пошел тише, глянули сады ташкентские, глиняные стенки, тонкие, высокие деревья.

— Эх, Ташкентик!

Мимо садов ехали чудные, невиданные — двухколесные телеги (арбы). Сытые лошади с лентами в хвостах и гривах играли погремушками. На лошадях верхом сидели чудные, невиданные люди с обвязанными головами, а от огромных колес поднималась белая густая пыль, закрывала сады, деревья, и нельзя было ничего увидеть сквозь нее.

Потом верхом на маленьких жеребятах (ишаках) ехали толстые чернобородые мужики, тоже с обвязанными головами. Сидят мужики на маленьких жеребятах, стучают жеребят по шее

тоненькими палочками, а жеребята, мотая длинными ушами, идут без узды, и хвосты у них ровно телячьи.

Паровоз сделал маленькую остановку.

Высунулся Мишка, увидел торговцев с корзинками на головах, услышал нерусские голоса. Из корзиночек глянули яблоки разные и еще что-то, какие-то ягоды с черными и зелеными кистями, широкие белые лепешки.

«Вот так живут!» — подумал Мишка, облизывая языком сухие, голодные губы.

Кондратьев спросил:

— Ну, Михайла, рад теперь?

А он и сам не знает хорошенько: будто рад, и будто сердце сжалось — очень уж много всего.

Кондратьев успокаивал:

— Ничего, Михайла, теперь не пропадешь.

— А русские есть здесь?

— Всякие есть. Пойдешь в город, увидишь. Ты знаешь, где живут твой родственники?

Застыдился Мишка, покраснел, отвернулся в сторону:

— Знаю.

— А как они приходятся тебе?

— Родня маленько.

Мучил Кондратьев вопросами, а Мишка тоскливо думал: «Вру я тебе! Неужто не видишь ты?»

В городе, на станции, взглянул он в последний раз на товарища Кондратьева, низко поклонился, заморгал вдруг глазами, из которых неожиданно покатились слезы, душевно сказал:

— Ну, дяденька, благодарим покорно.

— Ничего, Миша, ничего, не кланяйся. Устраивайся хорошенько!

— А вы опять приедете сюда?

— Я всегда тут езжу...

— Ну, прощайте пока, можа, не увидимся.

— Прощай, Миша, счастливый путь тебе.

Выпрыгнул Мишка из паровоза, перекинул чулки через плечо, оглянулся, еще раз поклонился товарищу Кондратьеву и, озираясь на каменные здания, горячие от солнца, на высокие деревья, покрытые пылью, маленькой каплей влился в людскую гущу. Сунул руку в карман, а ножик... Вон он...

— Что такое?

Сначала Мишка удивился, хотел бежать к паровозу, потом облегченно подумал: «Разве возьмет такой человек!»

На станции лежали мужики, бабы: голые, полуголые, черные от ташкентского солнца, больные, умирающие. Поглядел Мишка издали, подошел ближе, постоял, подумал: «Неужто и здесь хлебом нуждаются?»

Вышел.

Робко направился в зеленую улицу с высокими деревьями, остановился.

Запрокинул голову, разглядывая сучкастое дерево, засмотрелся на чернобородого мужика, едущего верхом на маленьком жеребце, и вдруг испугался: навстречу шел какой-то человек или не человек: руки, ноги видно, голову, а спереди вместо лица — черная занавеска*. Отошел Мишка в сторону от невиданной диковины, поморщился, выпячивая губу, и снова медленно двинулся по узенькой зеленой улице в пыльный, сухой, горячий город. Долго чернела голова в большом отцовском картузе, долго белелись чулки, перекинутые через плечо. Вот остановился, поглядел в грязный, пропыленный арык, опять пошел, повернул за угол и скрылся...

32

Поздней осенью, в ясный теплый денек, на маленькой станции, между Бузулуком и Самарой, остановился ташкентский поезд. Из вагонов, с вагонных площадок попрыгали мужики. Поезд стоял недолго. Когда вагоны двинулись дальше, деловито постукивая колесами, на твердом подмороженном песочке, рядом с рельсами, горкой лежали сложенные мешки привезенного хлеба, помеченные крестиками, палочками, кривыми, неровными буквами.

На двух мешках, весом пуда по три, было написано химическим карандашом: «Мих. Додон».

К мешкам подошел плотный загоревший мальчишка в большом разорванном картузе, внимательно оглядел завязки на мешках, потыкал мешки пальцем, самодовольно раздул черные, немытые щеки.

По высокому ясному небу побежала синяя тучка, зацепила солнышко одним боком, бросила легкую тень.

Плотный загоревший мальчишка широко, по-мужицки расставил ноги, обернутые тряпками, спокойно и важно поглядел на два мешка, крепко завязанные двумя узлами, хватил шмыгающим носом крепкого осеннего воздуха, кашлянул, потрянул головой.

— Холодно как у нас! Наверно, морозы по ночам пошли... Это был Мишка.

В Ташкенте он долго ходил по базарам, ночевал под заборами, валялся около грязных арыков, думал, совсем умрет — брюшная болезнь пристала к нему: целыми днями понос мучил, и кишки выворачивало наружу от гнилых подобранных яблок с персиками. Но все-таки не пропал он в тяжелые дни, вытерпел,

перенес: и вошь, и грязь, и брюшную болезнь... Проел ножик с ремнем, подбирал гнилые яблоки, протягивал руку за милостыней, и все это ему надоело, опротивело, — такими делами зерна не привезешь, а Мишке нужно зерно, чтобы самому посеять, хозяйство спасти...

Встал он на работу в садах у богатого узбека, встретил бузулукских мужиков и ушел с ними работать в степь. Молотил пшеницу, резал камыш, джугару*, заработал два мешка, пуда по четыре, два пуда отдал за провоз, проел дорогой, не желая милостыньку кланчить, и вместе с мужиками вернулся в родные края.

Лопатинских на станции не было.

Когда к мешкам подъехали две телеги из соседнего села и мужики погрузили свой хлеб, Мишка сказал возчикам:

— Кладите и мои мешки, я маленько заплачу за это.

— Тяжеленько будет! — заупрямились возчики.

Мишка развел руками:

— Чего тут тяжелого! Пудов шесть — не больше. Доедем потихоньку, торопиться некуда, а вам все равно мимо нашего села проезжать.

Круто выгнулись лошади костлявыми спинами, знакомым скрипом запели колеса, крякнули лубочные телеги, и мешки, нагруженные тяжелым желтым зерном, тихо поплыли по узенькой полевой дороге в прозрачную тишину опустевших полей.

Мишка шел рядом с мужиками позади телег, жадно оглядывал бугорки, долинки, суслиные норы, думая о матери: «Жива или нет?»

Окинул он взволнованными глазами голые, умершие поля, подержал на ладони твердый комышек земли, поднятый с незасеянной десятины, вздохнул:

— Почем у нас лошади теперь, если купить?

Дома его встретила пустая, притихшая изба с зелеными стеклами в маленьких окнах. Со двора, из отворенных ворот, глянула мелкая кудрявая травка, высокая лебеда у плетней и брошенная почерневшая дуга колечком вверх.

Мать не выходила встречать.

Не выбежали и Яшка с Федькой.

Мужики-возчики снесли на руках во двор Мишкины мешки с пшеницей, положили на завалинку под окошком.

И опять никто не выходил встречать приехавшего.

Дрогнуло сердце у него, в глазах потемнело.

Вылез дедушка Игнатий из своей калиточки, приставил ладонь к глазам, разглядывая телеги с мешками, слабым голосом крикнул:

— Пособье, что ли, кому?

Кто-то поглядел из окошка напротив.

Отсыпал Мишка возчикам зерна за подводу, подбежал к сухонькому мотающемуся старику:

— Дедушка, а наши где?

Уставился дедушка Игнатий тусклыми непонимающими глазами, обнял бороду дрожащими пальцами.

— Постой, постой, откуда ты?

Подошли две бабы, пощупали мешки на завалинке, подобрали два упавших зернышка, протяжно сказали:

— Батюшки, чего он привез!

В пустой почерневшей избе, на голой кровати, под мертвыми глазами двух икон из переднего угла лежала хвора мать.

Яшка с Федькой умерли.

Наклонился Мишка к хворой матери, тихонько сказал:

— Мама, встань, приехал я.

Испугалась и обрадовалась мать, слабо пошевелила губами:

— О господи, Мишенька!

— Хлеба привез я, мама, тебе!

Вынул из кармана зачерствевший кусок белого хлеба, горсть насушенных яблок, сунул матери в холодную руку.

— Держи, мама, ешь!

— Живой, что ли, ты, сынок?

— Живой, мама, не бойся!

Стоял Мишка около матери, черный, большой, неузнаваемый, а она сухими пальцами гладила его по щеке.

— Ах ты, милый!

Потом он долго ходил по опустевшему двору, заросшему кудрявой травкой. Увидал сухой лошадиный помет, вспомнил про лошадь: покупать придется. Увидел гнездо куриное с двумя перышками на почерневшей соломке, грустно вздохнул: заново придется налаживать ему все хозяйство. Лошади нет, и курицы нет...

В худую крышу сарая залетел воробей уцелевший, попрыгал на перекладине, нахохлился, задумался, поглядел прищуренными глазами на Мишку.

Задумался и Мишка, глядя на воробья. Поднял дугу почерневшую, поставил в угол, встал около мешков с пшеницей, твердо сказал:

— Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться...

И. ЛИКСТАНОВ

*М*АЛЫШ О К





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ГОЛУБЫЕ АВТОБУСЫ

Положив узелок на колени, мальчик сидел под колоннами вокзала и смотрел... Подъезжали красивые автомобили, хлопали дверцами и уступали место другим машинам, еще красивее. Вагоны трамвая уходили от вокзала переполненные. Громкий голос радио время от времени раздавался над головой мальчика. Такой же голос, но потише, он не раз слышал на руднике, в клубе старателей.

В другое время все это было бы очень занятно, но не сейчас. Холодный ветер срывал с туч капли дождя, короткий бушлатик и брюки из легкой серенькой материи защищали плохо, и мальчик съежился, соединив рукава муфточкой, стараясь согреть озябшие руки. Едва ли он спрашивал себя, что делать: делать было нечего.

Радио сообщило, что поезд отправился дальше. Как только привокзальная площадь успокоилась, к мальчику подошел милиционер. Он уже знал, что случилось, и был недоволен поведением маленького путешественника.

— Как же это ты так опростоволосился, коли не врешь? — сказал он укоризненно. — Едешь к дяде на ура, деньги и документы по-глупому в чемодане держишь. Дядю не застал, чемодан пропал, и вот ты в пиковом положении, коли не врешь... Ладно, посиди здесь, а потом сержант сведет тебя куда надо. — И, сделав налево кругом, милиционер зашагал дальше по мокрому блестящему асфальту.

Если бы маленький путешественник был смелее, он спросил бы, что означает туманное «куда надо», но в этот день он потерял смелость, и его лицо было ничуть не веселее сумрачного неба, с которого все сыпалась и сыпалась мелкая холодная водяная пыль.

Вдруг он встрепенулся. К вокзалу один за другим подкатили три автобуса, голубые, как чистое летнее небо. В ту же минуту из-за угла хлынула шумная волна ребят с чемоданами, баулами и рюкзаками. Многие были одеты в черные шинели, а были одетые совсем по-домашнему. Все они суетились, будто каждый хотел сразу сесть в два автобуса. Распоряжался посадкой полный высокий старик в черном бушлате и маленькой кепке.

— Галчата, галчата, всем места хватит! Не толкайся, галчата! — весело покрикивал он.

— Порядок, эй, порядок! — помогая ему, солидно повторял милиционер.

Когда посадка благополучно кончилась, милиционер взял под козырек, сказал старику несколько слов, кивнул в сторону нашего маленького знакомого, и старик подошел к мальчику.

— Сколько лет?.. Грамотный?.. Хочешь на завод, чем так болтаться? — быстро спросил он и, не дожидаясь ответа, схватил мальчика под руку и посадил на ступеньку автобуса.

Ребята в автобусе зашумели: «Этот не из нашей группы!» — но старик второпях ответил: «Ладно, подойдет без группы», дверца сама собой закрылась, машина качнулась, и новый пассажир, потеряв равновесие, опустился на мягкое кожаное сиденье. Вокзал со своими колоннами плавно завернул за автобус и стал удаляться. За окнами, покачиваясь, плыли большие дома, навстречу катили трамвайные вагоны. Беспокойные пассажиры автобуса протирали рукавом запотевшие стекла и смотрели.

— Однако большой городишко! — одобрительно заметил паренек в черной шинели.

— Ничего подобного, — тотчас же возразила девочка, сидевшая впереди. — Наш Днепропетровск гораздо больше.

— А ты чем его мерила — своей косичкой? Воображаю, сколько лет возилась! — усмехнулся паренек и тут же спросил у своего неподвижного соседа: — А ты тоже эвакуированный или с неба свалился?

— Уральские мы, из Румянцевки, — хрипло ответил мальчик, напряженно глядя прямо перед собой.

— «Мы» в единственном числе или во множественном? — поинтересовался подросток и не получил ответа, так как его попутчик не разобрался в этой премудрости. — Как тебя зовут?

— Малышев Константин Григорьевич, — внятно проговорил мальчик, не изменив направления взгляда.

— Какой ты Малышев! Ты Малышок, ростом с вершок, да и то по большим праздникам! — И веселый сосед дружески толкнул Костю локтем.

На Костю смотрели узкие смеющиеся глаза, освещавшие худощавое загорелое лицо с немного расщепленным носом, и он в ответ невольно усмехнулся своему новому товарищу.

— Однако мы, наверное, никогда не приедем! — спохватился подросток и крикнул: — Ребята, наш автобус заблудился!

Ребята засмеялись, кто-то мяукнул лучше настоящей кошки, а девочка из Днепропетровска презрительно отметила:

— Миша Полянчук продолжает глупо острить.

— Кажется, она намекает на меня! — обрадованно догадался сосед Кости. — Миша — это я. Полянчук — определенно я.

Так Костя Малышев узнал имя и фамилию своего соседа, который ему сразу понравился, потому что держался не гордо, хотя был года на три старше Кости.

«НУ И ВОРОНА!»

Автобусы остановились возле белого двухэтажного дома на окраине, и приезжие набились в большую натопленную комнату. Шум, смех, толкотня. Но в этой суматохе Миша чувствовал себя как рыба в воде. Он пробрался в угол, поставил на пол зеленый сундучок и оглянулся.

Всем своим видом Костя показал, что он очутился возле Миши случайно, хотя это было вовсе не так — он не решился упустить из виду своего единственного знакомого. Миша без лишних слов оказал ему великодушное покровительство.

— Сядь на сундучок и сиди как приклеенный, — сказал он. — А я посмотрю, что тут делается.

В комнате было шумно. Время от времени из дальнего угла доносился женский голос:

— Тише, тише, ребята! Вот навезли шуму-то!

Костя продолжал смотреть прямо перед собой, будто все это не имело к нему никакого отношения. Вдруг он сглотнул слюну. Рядом на фанерном бауле сидел мальчик ненамного старше Кости, с продолговатым бледным лицом и темными задумчивыми глазами. Он завтракал, откусывая от толстого ломтя хлеба и тонкой пластиночки сала. Только сейчас Костя почувствовал, как он голо-

ден и как неопределенно его будущее. К счастью, из толпы вынырнул Миша.

— Пошли оформляться, Малышок! — озабоченно проговорил он, достав клеенчатый бумажник. — Дай-ка твои документы.

— У меня нет, — с трудом ответил Костя.

— Как это «нет»? Нужны документы, понимаешь, чтобы было написано, кто ты. А то, может быть, ты кто-нибудь другой.

— Я не другой, — возразил обеспокоенный Костя. — У меня метрика была в чемодане... Я в вагоне заснул... а он пропал.

— Поздравляю! Ну и ворона! Кто же документы в чемодане держит? Чудак! — Миша призадумался и решил: — Все равно пойдем. Скажешь, что документы потерял в пути. Ты ведь хочешь устроиться на завод? Вот и скажи. Может быть, примут.

За деревянным некрашеным барьером сидели две женщины. Та, что постарше, отыскивала в списке фамилии приезжих и говорила женщине помоложе: «Выдайте этому», и «этот», другой, третий получали все, что полагалось.

— Держи крепче, — повторяла женщина. — Хлебная карточка, продуктовая карточка, талоны на добавочный хлеб, пропуск в столовую. Распишись. После бани и обеда пойдешь устраиваться в общежитие. Следующий! Держи крепче...

— А этот все документы потерял, — сказал Миша, поставив своего подшефного возле барьера. — Он к нам в пути пристал и не отстал. Его к нам тот старый человек посадил, который эвакуированных ребят на вокзале встретил.

— Бабин Герасим Иванович, — подсказала женщина. — Ну, тогда все в порядке... Постой, постой, а почему этот мальчик такой маленький? — удивилась она, так как Костю почти не было видно за барьером. — Сколько ему лет?

— Он не маленький, он только коротенький, — с самым серьезным видом объяснил Миша. — Ему исполнилось неполных пятнадцать лет в прошлый вторник. Я точно знаю. — И он подмигнул ребятам, стоявшим в очереди.

— Не дурачься, — сказала женщина, невольно улыбнувшись. — Здесь не цирк, а отдел кадров... Ты, мальчик, аккуратно заполни эту анкету и отдай мне.

АНКЕТА КОСТИ МАЛЫШЕВА

Личный листок по учету кадров содержал очень много вопросов. Миша помог Косте устроиться на подоконнике и сунул в руку огрызок чернильного карандаша:

— Пиши: «Малышев Константин...» Как там дальше?

Прикусив нижнюю губу и покраснев, Костя принялся выводить фамилию.

— Извиняюсь, гражданин, вы же неграмотный! — догадался Миша.

Это было не совсем правильно. Костю можно было считать грамотным человеком, но в зависимости от времени года он писал то лучше, то хуже. К концу учебного года у него получалось неплохо, а к началу школьных занятий руки, огрубевшие за лето в работе, выводили каракульки.

— Вижу, какой ты грамотей! Говори, а я буду писать.— Огобрав у Кости карандаш, Миша задал первый вопрос: — Ты мальчик или девочка?

— Будто сам не видишь! — обиделся Костя.

— Так и запишем: «Девочка, нос немного сапожком, глаза серые, на щеке ямка, на подбородке еще одна», — забормотал Миша, но, конечно, написал правильно, что Костя мальчик.— Где родился?

— Сначала родился в Ивделе, а потом с Митрием поехал жить в Румянцевку. Там близко...

— Национальность твоя — русский?

— Русские мы, ясно... А у нас и манси-вогулы есть.

— При чем тут манси? Зачем ты меня путаешь?

Конечно, манси были ни при чем, и Костя шмыгнул носом.

— Чем родители занимались?

— Батя когда-сь золото мыл.

— Много намыл? Пуд или вагон?

— Что ты — пуд! Ему форта не было. Мне и то боле везло.

— А там у вас золота много?

Этот вопрос задал паренек с бледным лицом, тот, который только что жевал хлеб. Его темные глаза, устремленные на Костю, стали очень большими и светились любопытством.

— Не мешай, золотоискатель! — сказал Миша.— Видишь, люди делом заняты.

Они вернулись к анкете. Оказалось, что на некоторые вопросы отвечать совсем легко — нужно только ставить черточки. Партийный стаж — черточка. Это значит — нет стажа. Ученая степень, участие в выборных органах, служба в армиях — черточки.

— Кто тебе родной? — спросил Миша.

— Митрий на фронте. Брат он мне... А еще дядя. Я к нему приехал, а он... тоже на фронте.

— Почему же ты не написал ему, прежде чем ехать?

— А почему я знал, что он на фронте!

Услышав этот удивительный ответ, Миша убежденно заявил:

— Нет, ты определенная ворона!

Новая «ворона» переполнила чашу. Глаза Кости налились

слезами, губы задрожали. Написав: «Больше никого нет», Миша сказал в утешение:

— Не кисни, Малышок. Поступишь на завод — не пропадешь. Вот только лет тебе мало... Ну ничего. Может быть, не заметят. Подпишись, сдадим анкету — и обедать.

Так на одном из военных заводов, который не имел имени, а имел только номер, появился рабочий Малышев.

В те дни на Урал приезжали тысячи эвакуированных рабочих. Были среди них и воспитанники ремесленных училищ, и просто подростки, потерявшие родителей в военной грозе. Шли на заводы и молодые уральцы, чтобы помочь фронту своим трудом.

— А я из города Харькова, с реки Лопань да Нетечь, которая хоть лопни — не течет, — сказал Миша. — Не успел вот ремесленное училище кончить... — Он помолчал, лицо его затуманилось. — У меня отец, мать в Харькове остались. Боюсь за них... Фашисты там. А ты что думаешь... — И он отодвинул тарелку, не доев картофельное пюре.

Это было, когда они с Костей обедали в столовой. Работница, сидевшая за их столом, вздохнула:

— Сейчас у всех что-нибудь такое есть.

И Косте тоже показалось, что пюре горькое.

ДВА В ОСТАТКЕ

По окраинной улице, растянувшись цепочкой, шли подростки с чемоданчиками, баулами, рюкзаками. Они громко делились наблюдениями:

— А тут совсем как деревня.

— И дома все деревянные.

— Трамвай здесь не ходит...

Шумную процессию вел маленький озабоченный человек, размахивая портфелем. Он останавливался то у одного, то у другого дома и, заглянув в список, командовал: «Давай трех мальчат!.. Два мальчика!.. Пятерку!..» Отобрав сколько требовалось подростков, он уходил с ними в дом и через минуту появлялся снова. Когда процессия стала коротенькой, он крикнул: «Давай семерых!» — открыл очередную калитку и, пропуская ребят во двор, сосчитал:

— Один мальчик, два мальчика... Семь мальчиков! Восьмого пока не нужно. Восьмой подожди!

Седьмым был Миша Полянчук, а восьмым — Костя Малышев. Калитка захлопнулась перед его носом.

— Этот со мной! Он со мной хочет устроиться! — зашумел Миша.



А. Неверов. Ташкент — город хлебный.

— Не мешай, парень! — осадил его провожатый. — Ступай в дом!

С беспомощным видом Костя посмотрел на мальчика, который прислонился к телеграфному столбу, засунув руки в карманы черного потрепанного пальто. Продолговатое бледное лицо было спокойно, а глаза чуть-чуть улыбались Косте.

— А нас куда? — спросил Костя растерянно. — Тут и улице конец.

— Испугался? — усмехнулся мальчик. — На улице не бросят. Может быть, вместе устроимся, — предположил он, подумал и добавил: — Я против ничего не имею. Ты мне годишься.

Что это означало? Но калитка открылась, и появился провожатый, весело размахивая портфелем.

— Совершенно правильно, бухгалтерия сошлась, два в остатке, — отметил он. — В самый раз! Пошли, ребята, ножками-ножками!

— Не кисни, Малышок, все равно я перетащу тебя в наше общежитие! — крикнул Миша, выглянув из калитки.

— Ладно, ладно! — усмехнулся провожатый. — Ишь командир объявился! Не на плохое пареньков веду...

За большим пустырем и за холмиком было продолжение улицы. Здесь расположился новый выводок домишек, которые еще не успели одеться: один без забора, у другого крыша не закрыта с торцов, третий нацепил ставни только на половину окон. Дом, к которому они подошли, имел и забор с карнизом, и ворота с козырьком, и лавочку на толстых бревнышках.

Спустя минуту в просторной, светлой кухне этого дома открылось совещание. Решающий, но приветливый, певучий голос принадлежал старушке с круглым, добродушным лицом.

— Уж думала, раздумала да и снова надумала, — говорила она, улыбаясь гостям. — Пускай молодые люди у нас живут. Только смотри, Яков Семенович, если ребятки балованные, так ты их сразу заberi: Катюша на меня беда как рассердилась, зачем мальчишек пускаю. Мальчишки, мол, всегда озорные. — Она вздохнула и добавила: — А дровец скорее доставь, Яков Семенович. Мой Вася заготовить на зиму не успел. Уж холодно стаёт, топить надо, а у меня дров — сам видел: раз обогрелся да и заговелся.

— Не беспокойтесь, Антонина Антоновна, дрова на этой неделе лично заброшу, семью фронтовика не заморозим. А что касается ребят, так это не от меня зависит. Директор приказал всех девочек поближе к заводу расселить, а мальчиков на Нагорную улицу. Выбрал я для вас постояльцев, которые сзади плелись, в глаза не прыгали, да кто их знает — может, в каждом полтора беса сидит. Так вы с ними, в таком случае, построжее...

— Куда уж мне! — отмахнулась Антонина Антоновна. —

С внучкой и то управиться не могу. Забрала в голову школу бросить, на завод поступить, фронту помочь, а сама только от гриппа встала. Тетка в лесничество ее зовет, молочка попить, так куда там — нипочем слушать не хочет...

— Да, Екатерина Васильевна — барышня характерная, — подтвердил Яков Семенович, расправил кепку, натянул ее на лысую голову и заторопился: — Смотрите же, ребята! Попали вы в интеллигентный дом и ведите себя без скандала. По дому помогайте — воды там принести или дров, обратно, наколоть. Мужчин, кроме вас, в доме нет... Ну-с, до свидания, расслаживаться некогда. Народ со всей России прибывает. Наш коммунально-жилищный отдел с ног сбился — новых работников устраиваем... — Усмехнувшись, он легонько хлопнул Костю по спине: — Эх ты, работничек, богатырь труда! Интересно, чего нарабатываешь...

Он ушел. Косте стало тоскливо. Приуныл и другой мальчик, опустил глаза и нахохлился.

Антонина Антоновна не торопилась стучаться в сердца маленьких жильцов — она только спросила, как их зовут. Костя едва слышно назвал себя, а его сосед, не поднимая глаз, пробормотал:

— Всеволод Булкин...

— Что же, Костя и Сева, посмотрите, где жить будете.

В БОКОВУШКЕ

Это была просторная боковушка с бревенчатыми нештукатуренными стенами. Дверь в нее вела из сеней. Два деревянных топчана, покрытых серыми одеяльцами, столик и табуретка — вот и вся обстановка. Антонина Антоновна рассказала мальчикам, что боковушку пристроил к дому ее сын Василий Федорович Галкин, чтобы в тишине писать диссертацию по своей специальности. Да вот не пришлось Васеньке стать кандидатом технических наук — ушел воевать, и пристройка опустела.

— А нательное бельецо у вас есть? — помолчав, спросила она. — Покажите-ка, сынки...

В узелке, развернутом Костей, оказались длинноухая шапка из молодого оленьего меха, полотенце и алюминиевая кружка; Сева вынул из баула пару трикотажного белья, летние белые туфли, голубое кашне.

— Голь перекатная! — вырвалось у старушки. — Дождем шито, ветром подбито...

— Я не голь! — сердито блеснул глазами Сева. — Мы в Каменке жили не хуже, чем вы.

— Папаша-то что делал?

— Агроном эмтээс! — с гордостью ответил Сева и тихо добавил: — А теперь он красный партизан против фашистов.

— А мамаша где? — нерешительно спросила Антонина Антоновна.

— В Каменке, — отрывисто проговорил Сева, отвернулся и стал приводить в порядок баул, а когда старушка, вздохнув, ушла, он заочно продолжил спор: — Конечно, они хорошо живут, а все-таки пускай не гордится. Подумаешь, голь! У них в гостиной мебель под чехлами, фикусы большие... Я из кухни видел. А у нас тоже так было, даже лучше... Только шкуры медвежьей на полу не было, потому что на Украине медведи не водятся. — Он посмотрел в оконце и нашел крупный изъян в хозяйстве: — Сеновал у них без сена, коровы, наверное, совсем нет, а у нас две сразу было. Вот вам и «голь перекатная»...

— И собаки нет, — добавил Костя. — У Митрия тоже две было.

— Две коровы?

— Не, собаки... Муська да Кусачка.

После всех происшествий этого дня Костя размяк, острые блестящие песчинки закололи глаза. Он протер их кулаком, зевнул, ощупал поясок брюк, убедился, что «свин-голова» и там-га — его богатство и гордость — не потерялись, разделся и лег. Он лег на жесткий тюфячок, укрылся шершавым одеяльцем, и это ложе показалось ему таким теплым, таким мягким... Тотчас же сон прильнул к нему и погасил все думы. Костя заснул...

«ТАНК ПРИШЕЛ!»

...И, как ему показалось, сразу проснулся, разбуженный хриплым криком. С сильно бьющимся сердцем Костя сел на топчане. Было совсем темно, но он разглядел, что на другом топчане тоже кто-то сидит.

— Танк... Танк пришел! — захлебываясь, быстро проговорил Сева.

— Привиделось тебе, приснилось, — откликнулся напуганный Костя.

Топчан заскрипел. Освобождаясь от кошмара, Сева прерывисто вздохнул, что-то пробормотал, улегся, но чувствовалось, что он прислушивается к тишине.

— Видел я танки, — сказал Костя, чтобы нарушить тревожное молчание. — В старательском клубе на картине парад показывали. Много танков!

— То не такие... То наши, со звездой.

— А какие еще?

— С крестом... фашистский.— И Сева объяснил: — Фашисты в Каменку на танках прорвались.— Помолчав, он продолжал нерешительно, точно проверяя себя: — Танк с улицы в наш дом пришел. Все как повалится, мама как закричит... Потом смотрю — белый крест, а в середине черный... Танк через наш дом прошел...

— Зачем же? — шепотом спросил пораженный Костя.

— Чтобы через наш двор на другую дорогу выйти... Фашисты хуже зверей. Они хотят, чтобы Советской власти не было, чтобы мы рабами были. Они хотят нашу землю забрать.— Он долго молчал, а потом спросил: — Ты золото добывать умеешь? Правда? Не врешь?

— Мылся,— солидно подтвердил Костя.— Старался, конечно. Чего мне врать...

— А как это — моются, стараются? Ты мне расскажешь, да? Мне нужно... Мы на одной станции долго стояли — полдня. Там за вокзалом дом, и на стене большой плакат: «Старатели, дадим государству больше драгоценного металла! Больше золота — больше танков, пушек, самолетов для разгрома ненавистного врага!» Понимаешь? Фашисты у всех покоренных народов танки забрали. У них стало больше танков, чем у нас. Надо добыть на Урале много золота, купить тысячу танков и еще всякое оружие. Понимаешь? Сразу все на фашистов пустить, всех до одного передавить... Гады проклятые!..

Он говорил с увлечением и горячо.

— Ну ладно! Спи,— закончил он.— Завтра поговорим о деле...

Свернувшись клубочком, Костя, прежде чем заснуть, подумал, как хорошо было бы раздавить всех фашистов танками, чтобы ни одного не осталось на советской земле. Затем он принялся думать о Митрии. Лишь один по-настоящему родной человек был у Кости — веселый, добрый Митрий, а отца и матери Костя совсем не помнил: они давно умерли. Где Митрий? Далеко на фронте. Костя остался один... Спасибо заводу — его накормили, в бане дали пару чистого белья, устроили на квартире. Что он будет делать на заводе? Ему пока только и приходилось мыться-стараться на золоте, да молотком на строительстве барakov стучать, да еще немного белковать — белку бить. Но это уж совершенно лишнее в городе. А что, если ему завтра скажут: «Не годишься ты на завод, да и лет тебе мало. Ступай куда знаешь»? Поможет ли ему Миша Полянчук? Он хороший человек, этот Миша, и как жаль, что их разлучили!

Долго не мог уснуть и Сева, долго не возвращался сон, испугнутый танком. Вдруг пригрезился белый домик под черепичной крышей, в густом саду. На крылечке стояла мама и ласко-

во звала: «Севушка, пора обедать!» Слезы обильно потекли по его лицу. Он знал, что придет фашистский танк с белым крестом, и все повалится, и он, выбравшись из дома, побежит куда глаза глядят. Будет бежать долго-долго, пока не встретит красноармейцев. И уедет он на Урал и не вернется в белую, зеленую, солнечную Каменку...

Глава вторая

ШАГИСТЫЙ И ЕГО ХОЗЯЙКА

Утро было холодное, ясное. Стараясь не шуметь, Костя вышел на крыльцо и огляделся. Посреди двора был колодец с деревянным ведром, а на столбе сеновала висел заржавевший железный рукомоийник.

Костя направился к колодцу — достать воды, умыться — и вдруг услышал за спиной глухое рычание. Он сначала оцепенел, потом заставил себя неторопливо, спокойно обернуться и увидел громадную пепельно-серую сибирскую лайку в пышном воротнике, с оскаленной мордой. Неожиданная встреча не обещала ничего хорошего. «Медвежатник! — мелькнуло у него в голове. — Худо будет». Только неподвижность могла отсрочить начало военных действий — отсрочить, но не отменить. Собака приседала, готовясь к нападению. Нужно было что-то предпринять.

Во дворе разыгралась немая сцена. Костя взлетел, как мячик. В воздухе мелькнула собака, щелкнула зубами, мягко упала на лапы, быстро обернулась, будто обожглась о землю, и подняла морду. Сидя на жердях сеновала — поджав ноги и обхватив колени руками, — Костя внимательно, серьезно разглядывал обманутого врага, не выдавая своего торжества.

— Ну, чего ты? — медленно проговорил он. — Я тебя не трогал, а ты на меня... Чего нужно? Я свой, понимаешь? Свой, здесь живу... Совсем глупый пес!

Обескураженная неудачей, собака, склонив голову, недоверчиво прислушивалась к словам незнакомца.

Стукнула рама окна. Послышался повелительный голосок: — Шагистый, тубо! Шагистый!

У окна стояла худенькая девочка, вероятно одного возраста с Костей, и разглядывала его с улыбкой. Она причесывалась, встряхивая головой, чтобы помочь гребню, который запутался в пушистых светлых волосах.

— Подумаешь, испугался! — презрительно бросила она. — Шагистый только повалил бы тебя. Он маленьких не кусает... Ты у нас живешь? Не понимаю — разве тебе в зоопарке было плохо?

Ты, наверное, у мартышек научился так прыгать. Вот и сиди на сеновале, а я принесу тебе морковку. Шагистый, постереги нашу мартышку!

Обиднее этих слов нельзя было бы ничего придумать. Костя покраснел и, не раздумывая, прыгнул со своего насеста. Шагистый положил лапы ему на плечи и, рыча, обдал лицо горячим дыханием.

— Шагистый, Шагистый, не смей! Тубо! Это свой! — крикнула девочка, перегнувшись через подоконник.

— Чего испугалась? — пряча страх, усмехнулся Костя. — Ясно, Шагистый меня не тронет. — Глядя в глаза собаке, он твердо сказал: — Свой! Понимаешь, свой! Говорят тебе — тубо!

Огоньки в зеленых глазах Шагистого потускнели. Теперь надо было вести себя смелее. Без церемонии стряхнув тяжелые лапы с плеч, Костя направился к колодцу. Поведение мальчика смутило Шагистого. Его все боялись, а этот вовсе не боялся — как видно, действительно был свой. Он притворно зевнул, искоса взглянул на девочку, тотчас же отвел глаза и опустил хвост.

— А ты где бегал? — строго спросила девочка. — Думаешь, я не знаю? Кто тебе разрешил со двора уходить? Сколько раз говорила, чтобы к Пестряковым не смел! У-у, скверный, непослушный пес! Вот я напишу папе на фронт, как ты себя ведешь, он тебе задаст! (Уши Шагистого прилегли, вид стал виноватый, но девочка уже не обращала на него внимания.) Ты на заводе будешь работать? — спросила она у Кости.

— А то где! — наливая воду в умывальник, ответил он, как отвечают на пустой вопрос.

— Я тоже сегодня оформлюсь на завод... Ты токарь или слесарь? — Не получив ответа, она фыркнула: — Подумаешь, гога-магога! Я токарем буду, не задавайся! — и захлопнула окно.

Возвращаясь в дом, Костя сказал: «Эх ты, кошкин брат» — и стряхнул на Шагистого капельки воды с пальцев. Приоткрыв пасть, Шагистый улыбнулся, и пушистый хвост едва заметно вздрогнул. Это означало: «Я понимаю, что тебя не нужно хватать за ноги». Он снова рыкнул, но уже неуверенно: на крылечке показался еще один незнакомец, с полотенцем через плечо.

— Тубо! — повелительно произнес Костя. — Это тоже свой! — И он сказал Севе: — Не бойся, не укусит.

— Очень нужно бояться! В доме еще хуже собака есть, — произнес Сева с обидой, — не позволяет в кухне умываться. Будто я не умею умываться, чтобы на пол не хлюпать... Дура!

В сенях Костю встретила Антонина Антоновна.

— Ранняя, ранняя пташка... — пропела она и, оглянувшись на кухонную дверь, шепнула: — Сева-то поцапался с моей принцессой. Вы уж под сеновалом умывайтесь, пока на ней колючки не обломаются.

— Ладно, под сеновалом даже лучше, — сказал Костя, взглянул в кадку и решил: — Воды натаascaю... Да молоток и гвоздочки дай. Скоба на крыльце как только держится...

— Похозяйничай, похозяйничай, сынок! — обрадовалась старушка. — Без хозяина дом — сирота... А я сбегая к Ниночке Галкиной. Пускай вам на завод дорогу поближе покажет.

Когда он приколачивал скобу для обтирания ног, подошел Шагистый и на минутку уткнулся носом в его плечо. Костя почесал Шагистого между ушами и посмотрел, нет ли блох.

НИНА ПАВЛОВНА

Старушка накормила мальчиков вареной картошкой и налила чаю. Сева по-взрослому прихлебывал из стакана, а Костя так не умел — он потихоньку пил из блюдечка. Ему стало жарко, лицо запотело, нос отсырел, и он громко втянул воздух.

— Высморкайся! — не удержалась Антонина Антоновна. — Совсем дитё, а туда же, на заводе работать... Ох, и чего этот Гитлер наделал! Сколько народу с места сдвинулось!

В дверь постучали, и вошла молодая женщина в синем вязаном берете и в сером стареньком пальто. Костя сразу догадался, что это Ниночка Галкина, которая поведет их на завод ближней дорогой.

— Здравствуйте! Где тут мои попутчики? — произнесла она мягким голосом. — Ух, какие большие кавалеры!

В кухне, где было очень светло, стало еще светлее — такой чистый смех был у этой женщины, такой радостью светилось ее милое смуглое лицо.

— Только-только вы ушли, как я письмо от Васи получила, — сказала она старушке. — Он здоров и велит вас поцеловать, вот так, и так, и еще так! Как я счастлива! Десять дней ни строчки не было... — Она постучала в дверь гостиной: — Катюша, я только что письмо от Васи получила! — Она поспешно добавила: — Наверное, завтра и вам письмо будет. Хочешь прочитать страничку?

За дверью послышался и затих шум шагов, но ответа не последовало. Старушка со стуком поставила чашку на блюдечко.

— Вот какой поперечный характер! — сказала она. — Ну, и не набивайся, Ниночка...

— Что ж, пойдемте, мальчики, — вздохнула явно опечаленная Нина Павловна. Она взглянула на старушку, будто искала ее поддержки, и, пересилив себя, постучала в дверь гостиной: — Катя! Слышишь, Катюша! Директор завода разрешил зачислить тебя младшей лаборанткой термического цеха. Приходи

сегодня. Я закажу пропуск. Не забудь школьное удостоверение и метрику.

Теперь из-за двери послышался холодный, уже знакомый Косте голосок:

— Спасибо, Нина Павловна... Я раздумала поступать в термичку. Сегодня мы с Леночкой Туфик оформляемся учениками токаря в молодежный механический цех.

— Напрасно, совершенно напрасно! — забеспокоилась Нина Павловна. — Ты еще не окрепла после болезни. Доктор говорит, что могут быть осложнения. В термическом цехе тебе будет не трудно, и ты все же принесешь пользу фронту.

— Спасибо за внимание, — насмешливо ответила Катя. — А может быть, я не хочу работать в одном цехе с... родственницей.

— Глупенькая! — шепнула Нина Павловна и сдвинула брови, будто ей стало больно.

— Вот какой характер! — повторила возмущенная Антонина Антоновна.

Спустя минуту из дому вышли трое и направились вниз по улице. Мальчики следовали за Ниной Павловной. Костя все старался понять, почему Катя относится к ней так нехорошо, но, конечно, не мог решить задачу.

Замедлив шаги, Нина Павловна подождала мальчиков.

— Лучше всего ходить на завод через Земляной холм, — сказала она. — Это самая короткая дорога. Смотрите, какой широкий вид открывается отсюда!

Город начинался неподалеку от холма и уходил далеко-далеко, за край земли. Сначала по берегу узкой речушки были рассыпаны обыкновенные деревянные домишки. Потом дома начинали тесниться, складываться в широкие улицы. Дальше все чаще встречались каменные постройки, а вдали сомкнулись высокие дома. Тут и там над фабричными трубами вились серые и ржавые дымки. По улицам рассыпались черные точки, которые издали казались почти неподвижными, — это были люди. А еще были трамвайные вагоны и автомобили — они двигались заметно для глаза.

— Однако большой городишко! — солидно повторил Костя слова, которые слышал накануне от Миши Полянчука.

— Да, городишко! — усмехнулась Нина Павловна. — В нашем городе сейчас больше миллиона жителей. И все работают для фронта, чтобы скорее дать столько оружия, сколько нужно. Мой муж, Василий Федорович Галкин, пишет, что фронтовики крепко надеются на Урал, и мы оправдаем их надежду. — Она вздохнула. — Вот и Катя идет в цех. Такая слабенькая... Она долго болела, после того как Василий ушел на фронт...

— Я хотел в кухне умыться, а она запрещает! — вдруг проговорил Сева, который все утро хмуро, замкнуто переживал

стычку с Катей и все же не мог сдержать жалобу.— У нас дома мраморный умывальник, а не то что жестяной. Подумаешь, хозяйка! Жалко ей!

Нина Павловна посмотрела на него серьезно.

— Значит, вы уже повздорили,— отметила она.— Этого нужно было ожидать. Катя — такая задира! Но знаешь что, Сева, не спеши составлять о ней мнение. Катя — не ангел. Она вспыльчивая, упрямая, как козленок, но я пристыжу ее за умывальник, и она непременно раскается. А вообще она великодушная, щедрая. Когда наш уличный комитет собирал теплые вещи для красноармейцев, она отнесла все лишнее, что было... и не только лишнее...— Она хотела еще что-то сказать, но оборвала себя: — А вот наш завод!

Тропинка обогнула холм, и внизу открылся пригород — несколько кварталов между шоссе и полотном железной дороги. За высоким забором стояли бок о бок три корпуса с круглыми крышами, как у вагонов. Над ними возвышалась наполовину выведенная толстая труба, похожая на обломок красного карандаша. Еще не было закончено и одноэтажное кирпичное здание, которое вытянулось вдоль больших корпусов. Приглядевшись, Костя увидел человечков, которые сновали между корпусами.

Из лесу выскочил паровоз, забежал на заводской двор, схватил три вагона, загудел и потащил их в лес, будто мамка повела ребят на прогулку.

— Завод маленький,— разочарованно пробормотал Сева.— В Каменке и то больше машиностроительный завод был... А что здесь делают?

— Конечно, наш завод не гигант,— ответила Нина Павловна с ноткой ревности в голосе,— но, уверяю тебя, он делает такую вещь, от которой не поздоровится фашистам.

Сева недоверчиво улыбнулся, а Костя подумал, что завод не чепуховый, и это было приятно.

НА ЖЕЛЕЗНОМ ЛИСТЕ

К заводским воротам шли мужчины, женщины, подростки. Некоторые здоровались с Ниной Павловной, говорили с ней о заводских новостях.

— Заготовки из Первоуральска пришли...

— Да, я видела, как паровоз забирал порожняк.

— Нам еще станков дали. Ничего станки, годящие...

Это сказал высокий и полный старик, которого Костя сразу узнал и вспомнил его фамилию, имя и отчество — Бабин Герасим Иванович,— так как память у него была хорошая.

Старик, конечно, был старый, но в то же время как будто и молодой. На круглой голове задорно сидела маленькая кепка, замасленная, как блин. Усы и брови были белые, а глаза — шарики из черного стекла — прятались в смеющихся морщинах.

Он, кажется, тоже узнал Костю.

— Возьмите этих мальчиков в молодежный цех, Герасим Иванович, — сказала Нина Павловна. — У вас они быстро привыкнут к делу и не разбалуются. Они живут на квартире у матери моего Васи.

— Я бы взял, да с галчатами просто беда: ломают инструмент почем зря, — шутливо ответил Бабин и уже серьезно добавил: — Что будем делать, Нина, ума не приложу! Станков нам набросали — не пройдешь, а инструмента нету. Ни тебе резцов, ни фрез. Ключа пустякового и то не имеется. Пока новую инструменталку пустим, сиди, как без рук, а директор программу требует, спуску не дает...

— У каждого своя забота, — заметила Нина Павловна. — В термическом цехе монтаж затягивается, хоть плачь.

— Чего там плакать! — успокоил ее старик. — За месяц завод наладили. Не узнал бы твой Василий этого места. Была мастерская, а раз-два — стал завод... Еще и не то будет.

Вахтер широко распахнул ворота. На улицу выкатил трактор-тягач. Он тащил большой грохочущий, скрежещущий по мостовой железный лист.

На листе, как на подносе, держась друг за друга, стояли три паренька и радовались шумной поездке.

— Куда? Куда подались, галчата? — крикнул Бабин.

— Начальник цеха послал на заводской разъезд, — ответил паренек постарше. — Эвакуированный инструмент собирать.

— Стой! — завопил Бабин.

И шофер сразу остановил тягач.

Старик схватил Костю и Севу за руки, перебежал с ними на железный лист и сказал Нине Павловне:

— Будь добра, передай Тимошенко, что я на разъезд с ребятами подался, а то нахватают мамины дети пустяков... Шофер, подкинь газку! Держись!

Все, кто был на листе, уцепились за Бабина. Лист дернулся, загрохотал, заскрежетал. Бабин махнул кепкой смеющейся Нине Павловне, для задору надел кепку уже козырьком назад и — вот честное слово, если не верите! — быстро забил чечетку.

— Уж если мастер Бабин за что зацепился, так не отпустит! — крикнул Герасим Иванович. — Правда, орел? — И он встряхнул Костю.

Сосновая роща осталась позади. Тягач выехал к полотну железной дороги и свернул на пустырь. Костя почувствовал, что

рука Бабина, лежавшая у него на плече, отяжелела. Он поднял глаза и увидел, что от недавней веселости не осталось и следа — мастер нахмурился.

— Глянь, что творится, глянь! — пробормотал Бабин.

Он велел шоферу остановить тягач и зашагал вдоль полотна железной дороги.

Сначала Косте показалось, что под высокой насыпью разросся странный густой кустарник с толстыми стволами и короткими, причудливо изогнутыми ветками. Но нет, это был не кустарник. Это были сотни и сотни станков, выгруженных под откос. Если бы Костя знал заводскую технику, он понял бы, что под откосом нашло себе место оборудование для нескольких механических заводов, что здесь есть самые разнообразные станки — токарные, строгальные, шлифовальные, сверлильные. Но и не зная всего этого, он понял, что не дело, когда машины так брошены. Правда, некоторые станки были покрыты толстым слоем желтого сала, а каждый рычаг был обернут промасленной бумагой, но на других станках уже появилась красная ржавчина.

— Что натворил фашист поганый, сколько техники с места сорвано! — бормотал старый мастер, качая головой.

— Откуда это, дядя? — спросил Костя.

— Откуда? Разве я знаю — откуда! Может, с юга а может, из Ленинграда. Наши увезли, чтобы техника фашистам не досталась.

На одном из станков ребята увидели надпись, сделанную белой масляной краской: «На этом станке я 20 июня 41 года поставил рекорд — 750 проц. нормы. 25 июня пошел бить фашиста. Прощай, станочек! Семен Кравец».

— Молодчина Кравец! — одобрил мастер. — Боевой парень. Он, значит, воюет, а станок от хозяина отстал...

— Герасим Иванович, надо все станки забрать! Чего они будут здесь! Скоро снег пойдет, засыплет их, — наперебой заговорили ребята.

— Куда их возьмешь! — с грустью возразил Бабин и махнул рукой.

«ПОБЕДИТ»

К приехавшим подошел сторож в короткой шинели, с винтовкой за плечами. Он был в туго накрученных обмотках и поэтому казался тонконогим.

— С какого завода? — спросил он. — Что брать будете?

И когда один из пареньков протянул ему бумажку, он перевесил винтовку с плеча на плечо, попросил закурить, сразу по-

дружился с гостями и рассказал, что ночью пришел еще один эшелон с заводской техникой.

Станки разгрузили аккуратненько, а инструмент просто высыпали вон за тем тополем.

Пошли за тополь.

— Тягач давай сюда! — закричал Бабин и стал копаться в том, что, на взгляд Кости, было только железными брусками, плашками, гайками с красивыми бороздками. — Батюшки, батюшки мои! — говорил Бабин, сдвигая кепку то на ухо, то на темя. — А фрезов, фрезов сколько! Собирай, галчата, собирай подряд, клади на лист!

Сначала работа показалась легкой, и Костя рассматривал инструмент: что это за бруски с блестящими пластинками-коготками на конце? Для чего они? Но спрашивать было некогда.

— Ребята, здесь останьтесь! — распорядился старик, когда лист был завален инструментом. — А я на завод за подмогой. Живым духом вернусь!

Тягач сердито запыхтел и едва утащил лист с грузом и сияющим Бабиным. Костя и Сева побрели вдоль полотна железной дороги.

— Знаю я станки, — сказал Сева. — При нашей эмтээс была мастерская, а там были станки... Вот это токарный. Железо резать...

— Ну да, железо резать! — поразился Костя. — Железо, поди, твердое.

— Подумаешь, твердое! Даже сталь, поди, режут, а сталь в сто раз тверже. — Сева поднял с земли брусок с острым коготком. — Это резец. Его вставляют в это. — И он показал на станок. — Это быстро крутится, а резец режет... Стружка получается железная, медная и стальная тоже. Красивая такая.

— Ага! — кивнул головой Костя, будто все понял. — Вот бы научиться железо и... сталь резать!

Глаза Севы заблестели. Он ловко проскользнул между станками, туда, где лежало много ящиков. Из одного ящика высыпались красные, будто огненные, бруски.

— Что это? — нетерпеливо спросил Сева, протянув Косте тяжелый брусок. — Золото, да?

— Станут тебе золото бросать! — усмехнулся Костя. — Медь это.

— А говоришь, на Урале золота много...

— Много, да взять трудно.

— Трудно, подумаешь! — решительно проговорил Сева, снял кепку и взъерошил свои сильно отросшие пепельные мягкие волосы. — Я на заводе все равно не останусь и тебе не советую. Много мы здесь наработаем! Можно больше пользы принести.

Если бы я умел золото добывать, я бы... — И он многозначительно свистнул — мол, ищи ветра в поле.

— Зима скоро. На заводе останусь, коли возьмут, — ответил Костя, поняв, к чему клонит товарищ, и не соглашаясь с ним.

— Сказал бы лучше, что наврал про золото! Не умеешь золото добывать. Куда тебе!

— Не врал я, — омрачился Костя. — Я на металл везучий. И сам найду, а коли что, от вогулов хоть сколько золота принесу. У меня на то тамга есть...

Огорошив товарища этой таинственностью, Костя отправился дальше и увидел ящики, сложенные столбом. На них было написано черной краской одно слово: «Победит». Что это значило? Костя попробовал приподнять верхний ящик, но даже не смог сдвинуть его.

Запустив пальцы в щель, Костя вытащил маленькую пластинку, завернутую, как конфетка, в парафиновую бумагу, взвесил ее на ладони и удивился: тяжелая. Пластинка была из темного металла с желтым отливом.

Послышался грохот железа и пыхтение тягача.

— Давай сюда, галчата! — весело крикнул Герасим Иванович. — Получай хлеб, сало. Вода в бачке...

Прежде чем взять свой паек, Костя протянул мастеру пластинку, но не успел спросить, что это такое.

— Где взял? Покажи! — набросился на него старик, а увидев ящики, крепко обнял Костю. — За это я тебя расцелую! — и действительно громко чмокнул в щеку. — Везучий ты, а везучий человек всегда полезный... Это «победит» — такой состав металлический, прессованный. Понятно? Любую сталь режет. Для завода «победит» дороже золота!

— Как же! — буркнул Сева, пожав плечами.

Погрузка возобновилась. Было уже не так легко, как до завтрака.

Руки стали черными, на бушлатах и пальто появились пятна от машинного масла и ржавчины; кто-то отдал палец и сосал его, сидя в стороне. Неутомимый Бабин сделал с железным листом три рейса, потом привел еще две трехтонки. Унялся он лишь тогда, когда солнце склонилось к сосновой роше.

— Шабаш, ребята! — сказал он без сожаления. — Поработали славно. Подковали наш заводик. За это накормлю я вас на верхосятку. Директор дал талоны на усиленное питание.

Мальчики бросились садиться в машину.

«УРАЛЬСКАЯ КАША»

Замазанные, усталые, веселые, ребята заняли два столика в обеденном зале. Они получили суп-лапшу с жирным мясом, рыбные консервы с лапшой и сладкий пудинг из лапши.

— Лапша на лапше,— пробормотал Сева недовольно.

За спиной Костя услышал голос:

— Малышок! Как живешь, корешок?

Миша! Это был Миша Полянчук, о котором Костя сегодня не раз вспоминал и которого очень хотел увидеть. Он широко улыбнулся другу из-за большой кружки с чаем. Миша присел рядом.

— Как устроился на квартире? — прежде всего осведомился он.— Тепло, чисто! Уговорил я одного парня поменяться с тобой местами в общежитии, да вот не удалось вместе пожить: уезжаю на Северный Полюс. Правду говорю. Так сборочный филиал завода называется. Десять километров отсюда, и все прямо, с поворотами. Буду работать бригадиром в молодежном цехе.

— А что на филиале собирают? — спросил Сева.

— Привет, знаменитый золотоискатель! — узнал его Миша и шепнул так громко, что все услышали: — Поменьше о нашем заводе расспрашивай, а то арестуют как шпиона. Мы уральскую кашу для Гитлера стряпаем, чтоб он подавился.

— Что болтаешь, хлопец! — строго остановил его Бабин.— Ты постарше ребят, вот и должен их правильному поведению учить, язык не распускать. Шуткой начнешь, правду ляпнешь, а шпиону пожива. Наш завод делает ширпотреб для широкого потребления. А что именно — ша!

— Гайки да балалайки,— вставил один из пареньков.

— Прощай, Малышок! — сказал порядком смущенный Миша.— Сейчас автобус на Полюс отправляется. Спешу... Когда-нибудь увидимся. Ты в каком цехе будешь?

— В механическом молодежном, в первой бригаде,— ответил Бабин.

— Значит, токарить научится?

— Пока новички в подсобных рабочих походят,— решил Бабин.— Девчат на это дело не поставишь...

По выражению Мишиного лица Костя понял, что его друг не очень обрадован таким решением. Подсобные? А что делают подсобные? Сева этого тоже не знал. Все выяснилось, когда мальчики, прибежав домой, повстречались у ворот с Катей и еще какой-то толстой девочкой в очках.

— Нас учениками токаря на завод приняли! — с радостью сообщила Катя.— Завтра получим станки в бригаде товарища Бабина. А ты тоже токарь, да?

— Подсобным буду,— пробормотал Костя.

— Ой, подсобники стружку из цеха вывозят, заготовки подносят! — всплеснула руками толстая девочка.

— Подсобники!.. — протянула Катя. — Нечего было гогу-магогу разыгрывать! — И, вздернув голову, с обидным смехом ушла в дом.

— Глупо, тупо, неразвито! — крикнул ей вслед Сева, но когда мальчики переступили порог боковушки, он хмыкнул: — Дóжил! Золото мыть умеет, а будет мусор из цеха выносить. Тебя это устраивает?

Да, Костю устроило это. Он был доволен, что его оставили на заводе.

Глава третья

«ДА ИЛИ НЕ Т?»

Дни бывают хорошие и обыкновенные, но бывают и совсем плохие. Правда, таких дней немного, хоть на том спасибо. Вот как прошел один неблагоприятный день в жизни подсобных рабочих первого цеха Константина Малышева и Всеволода Булкина.

— Говорят тебе, не смей умываться из нашего рукомойника!

— Малышку в кухне умываться можно, а мне непременно на морозе?

— Малышок воду носит и, когда умывается, на пол не хлопает.

— И я по воскресеньям воду ношу.

— Ну и умывайся по воскресеньям, а сегодня вторник! Убери эту грязную тряпку!

— Подумаешь, только у тебя хорошее полотенце! Токарь знаменитый! Станок задним ходом запустила, а резец тупым концом зажала. Весь цех со смеху покатился...

— Бабушка, не верь ему! Мой станок не имеет заднего хода. Он все врет!

— Токарь полевого разряда! — пустил Сева.

— Лодырь, Булкин-Прогоулкин! — не сдавалась Катя.

В боковушку Сева вошел оживленный, как это бывало всегда после стычек с Катей. Он бросил полотенце на топчан, кусочек мыла — на подоконник, натянул шапку-ушанку, потом ватник, сел на пол, призадумался, снял ботинки, достал из баула белые туфли, надел их и зашнуровал.

— Ты зачем это? — удивился Костя.

— Не видел, что у моих ботинок подметки отстали? — сердито ответил Сева и пообещал: — Лучше скажи своей Катьке, что, если она меня еще раз Прогоулкиным назовет, худо ей будет!

— Чего там она моя! — откликнулся, покраснев, Костя. — Дурак ты!

— Зато ты умный... Недаром такие длинные уши выросли...

Это был намек на длинноухую шапку из оленьего меха, которую теперь носил Костя. Шапку ему купил Митрий у манси. Грела она замечательно, но товарищи всё подшучивали над Костей. Ладно, глупый смех не в обиду. Тем не менее обладатель удивительной шапки надулся.

Зима нагнала серые тучи, насыпала снегу и урезала день. Когда Костя и Сева вышли из дому, было еще темно, однако не настолько, чтобы белые туфли Севы остались незамеченными. В воротах на мальчиков налетела подруга Кати, Леночка Туфик.

— Наверное, Катя уже ушла! — испугалась она, но тотчас же, разглядев белые буфлы Севы, засмеялась: — Ой, не могу! Подсобник по снегу на бал отправился!

— Тебе дело, очкастая! — осадил ее Сева.

Мальчики шли молча. В последнее время отношения между ними совсем испортились. Сева добивался, чтобы Костя сказал «да», но Костя твердил «нет». Он не согласен, и делу конец! Он по глупости рассказал Севе о синем тумане и даже показал тамгу старого вогула Бахтиарова, но из этого вовсе не следует, что он хочет бросить завод и идти за золотом. Он надеялся, что Бабин все же поставит его учеником токаря, и, кажется, надеялся не напрасно. Старый мастер относился к нему хорошо, так как Костя работал старательно и быстро привык к заводу. Он уже знал, какие есть станки и для чего они, он каждую свободную минуту проводил возле станков, наблюдая с завистью, как его товарищи режут сталь, и... разве можно было сравнить токарный станок с промысловым ковшом или даже вашгердом!..

На углу в утренних сумерках замаячила фигурка в ватнике и большой теплой шапке с торчащими ушами.

— Здорово, деяти! — сказала фигурка тоненько.

Сева ответил: «Здорово», а Костя промолчал. Он недолюбливал токаря из ремонтного цеха Кольку Глухих, с которым подружился Сева. Этот Колька был худенький, хорошенький, с румяным личиком и маленьким ртом бантиком. Суетливый, суматошливый, увлекающийся, он не нравился Косте. К заводской работе Колька, как и Сева, относился легко, считая, что это неинтересная чепуха и что настоящие дела можно свершить где угодно, только не в цехе. Пустой человек, хоть и токарь второго разряда... Но одного нельзя было отнять у Кольки — он интересно рассказывал, как живут дикие индейцы, как плавают по морям матросы и как охотятся за тиграми.

О его жизни было известно немного: он жил с матерью и сестрами в собственном домике возле Земляного холма; его отец, гвардии капитан, воевал на фронте, и Колька им очень гордился.

Из кармана Колька вытащил книгу и вручил Севе:

— На. Это «Всадник без головы». Очень интересная. Первой страницы нет, но ты поймешь.

— Читал я «Всадника без головы». А где «Золотая лихорадка»?

— «Золотая лихорадка» у Ваньки Белобородова. Послезавтра отдаст... Ага, ты надел белые туфли! Думаешь, так тебе и выпишет Бабин ботинки!

— Выпишет! Цех должен спецобувь дать. А свои я почию и спрячу до похода в тайгу.

— Дельно, деятель,— одобрил его Колька.

Разговор возобновился, когда мальчики вышли на холм.

— Ну как, он согласен? — обратился Колька к Севе.

— Ну как, согласен? — спросил Сева у Кости.

Уходя от вопроса, который будто прилип к его спине, Костя ускорил шаг.

— Понравилось стружку таскать! — насмешливо проговорил Сева.

— Меня за станок поставят,— возразил Костя.— С завода самоволом уходить нельзя,— привел он еще одно соображение.

Нагнав его, Колька пошел рядом, то и дело оступаясь с узкой тропинки в сугробы.

— Ты пойми, ты как следует обдумай свое положение! — заговорил он горячо.— Какую пользу ты приносишь фронту? Таскаешь стружку на Гималаи. Ты чернорабочий, и только. Ну, поставят, предположим, тебя токарить. Когда ты еще настоящим токарем станешь! Через год или через два. А когда мы из тайги вернемся, о нас в газетах напишут, честное слово!

Сердце Кости сжалось. Как надоело ему таскать стружку на свалку, которую ребята прозвали Гималаями! Как часто мечталось о тайге, где уже давно шел зимний промысел! Хоть бы на минутку перенестись в Ивдель, в Румянцевку, увидеть друзей-товарищей, сбегать на лыжах в тайгу с берданкой Митрия, подышать родным воздухом...

— Поведи нас за Ивдель,— продолжал убеждать его Колька.— Покажи дорогу к золоту. Пойми, что мы сразу принесем такую пользу!.. А стружку пусть другие таскают.

— По дороге нас поймают,— сказал Костя, чувствуя, что железный обруч все сильнее сжимает сердце.

— Наврал он! — вмешался Сева.— Выдумал про какую-то вогульскую тамгу, а теперь вертится.

— Нет, все это правда. Я тоже слышал, что вогулы знают хорошие золотые места... Но только нужно иметь друга-вогула... Так что же ты скажешь, Малышок? — просительно продолжал Колька, заглядывая в лицо Косте.— Соглашайся, деятель, ей-богу!

Послышался заводской гудок. Сначала он был далекий, хрипловатый, а потом окреп, нашел Костю, и сердце сразу очистилось от смуты. Нужно было спешить на работу, вот и всё.

— Да ну вас, чего привязались! — сказал он и в тот же миг слетел с тропинки в глубокий сугроб.

— Шакал! — яростно крикнул Сева. — Фронту помочь не хочет! В другой раз я тебя еще не так!

В глазах у Кости потемнело. Он пытался выбраться на тропинку, но снег и сухая глина осыпались под дрожащими руками.

— Держись, парень! — услышал он незнакомый голос, схватился за палку с толстым резиновым наконечником, протянутую ему сверху, выбрался на тропинку и очутился лицом к лицу с человеком в военной шинели и военной фуражке без звездочки.

Он был высокий, худощавый, и лицо у него было очень бледное, почти прозрачное, с небольшой золотистой бородкой; опершись левой рукой о палку, он с улыбкой смотрел на Костю, который, тяжело дыша, сбивал с одежды снег и глину.

— Что ж это вы в тылу не ладите? — спросил он. — Воевать нужно на фронте, а вы в тылу баталии устраиваете. За что они тебя?

— Я им тоже покажу! — рванулся вслед за обидчиками Костя.

Но человек заступил ему дорогу.

— Постой, не спеши в драку, — сказал он спокойно. — А где спасибо?

— Спасибо, дядя, — смутившись, поблагодарил Костя и неожиданно для себя спросил: — А вы, дядя, с фронта?

— Не сразу... В госпитале долго лежал. (И только тут Костя заметил, что человек держит правую руку подогнутой, будто деревянную.) А ты работаешь? На каком заводе?

— На номерном.

— Плохо дело, если у вас ребята не дружные, — укоризненно проговорил человек. — Не много наработаете...

— Не, не все такие, — встал на защиту завода Костя. — У нас ребята со зла не дерутся. Драться мастер не велит. А эти... Дураки они...

— Кажется, ты немного остыл, — сказал человек. — Беги на завод, а не то опоздаешь.

Мячиком скатился Костя с холма. Человек в шинели проводил его улыбкой. Он, прихрамывая, шел в том же направлении и внимательно рассматривал завод, будто изучал его.

УЖАСНЫЙ РЕЗЕЦ

К проходной завода Костя поспел, когда затихал последний гудок.

— В другой раз под гудок не пропущу, засоня! — пригрозил старенький вахтер, бросив взгляд на пропуск.

Проскользнув в цех, Костя сразу увидел Севу, который начал неторопливый рейс с тележкой. Уже шумели станки, завивая первую стружку, вжикала шлифовалка, бросая снопы искр из-под корундового круга; по среднему проходу, позванивая, пробежал электрокар... Работа шла полным ходом, и никому не было дела до двух подсобных рабочих.

— Мастер приказал стружку от колец убирать. Берись за тележку, — сказал Сева как ни в чем не бывало и, заложив руки в карманы ватника, зашагал впереди, спокойный, с сосредоточенным взглядом, с крепко сжатыми губами, и Костя невольно подчинился ему.

Станки, резавшие кольца, находились в глубине цеха, возле боковых колонн.

На предпоследнем работала Катя, а на последнем — Леночка Туфик, эвакуированная с Украины. Она жила неподалеку от Галкиных со своей матерью-медработницей, а ее братья воевали на фронте.

На заводе Леночку звали Ойкой, потому что она всегда ойкала, будто пугалась.

— Ой, похоронная процессия тихим шагом в белых туфлях идет! — ойкнула она, увидев Севу и Костю.

Костя поставил тележку возле кучи мелкой стружки и вынул из короба железный совок.

— Наконец-то явился! Целый год ждать нужно! — сказала Катя. — Удивляюсь, — продолжала она, ловко зажимая заготовку-трубку в патроне станка, — почему ты работаешь за Булкина-Прогулкина?

— Они друзья! — прыснула Леночка. — Один друг на другом катается.

— Чего вяжетесь! — не стерпел Костя.

— Совершенно правильно, нечего за него заступаться, если сам не понимает, что он раб-слуга Прогулкина, — сказала Катя. — Можешь даже его белые туфли зубным порошком чистить...

— А зубы — гуталином, — прыснула Туфик.

Это было глупо, но Костя почувствовал себя уничтоженным. Однако пытка его только начиналась.

— Ужасный резец! — небрежно заметила Катя. — Опять села режущая кромка... Придется заправить.

Намерение Кати так поразило Леночку, что она сняла очки в широкой черной оправе и стала их протирать.

— Ой, ты же не умеешь заправлять резец! А если мастер увидит?

— Мастер на совещании у директора, — сказала Катя и направилась к крайней колонне, возле которой стоял наждак.

Что-то очень острое вонзилось в сердце Кости. Они с Катей поступили на завод одновременно, но Катя уже самостоятельно заправляет резец, а он убирает стружку у ее станка. Вот она включила рубильник. Наждачный круг быстро завертелся, отбрасывая капельки воды. Вот она, наморщив лоб, крепко прижала к черному блестящему наждаку резец, и вверх ударил фонтан белых искр. Казалось, что девочка схватила за голову длиннохвостую комету. Вот, остановив наждак, Катя тронула пальцем горячую кромку резца, удовлетворенно кивнула головой, вернулась на место, напевая, зажала резец и пустила станок.

Настал торжественный момент. Сейчас резец коснется вращающейся заготовки, покажется маленький серый дымок, завьется стружка, а на трубе-заготовке блеснет серебряная дорожка. С каждым оборотом заготовки дорожка будет становиться все глубже, и резец пройдет сквозь стенку заготовки.

Вместо скрипа врезанного металла раздался противный визг, что-то хрустнуло. Головка резца — пластинка из стали-быстро-реза — исчезла, точно ее не бывало.

— Пережгла! — с ужасом выдохнула Леночка.

Случилась беда. Катя беспомощно улыбнулась. Никогда еще Костя не видел девочку-задаваку такой жалкой. Это почти испугало его, и тотчас же та пропасть, которая разделила их с первого дня знакомства, закрылась. Нужно было немедленно что-то сделать, чтобы Катя не улыбалась так жалко. Нужно было помочь, не рассуждая, как он помог бы тонущему человеку...

Когда в пролете появился мастер Герасим Иванович, станки работали, а Костя кончал уборку. Все, по-видимому, обстояло благополучно, но по лицу мастера ребята поняли, что дело плохо. Заложив руки за спину, Бабин бросил взгляд на резец Леночки Туфик, подошел к станку Кати, посмотрел и крикнул. Щеки Кати запылали, голова склонилась низко-низко.

— Останови! — сказал старик.

Нажав красную кнопку «стоп», Катя замерла.

— Правду, значит, мастер второй бригады сказал, что здесь кто-то наждак гоняет. Ты куда свой резец девала? Где этот взяла? Сожгла резец? Кто позволил резец заправлять? Богатые мы стали — инструмент по глупости жечь! Чего молчишь? — прикрикнул Герасим Иванович.

Синие, полные стыда глаза смотрели в сторону Кости. «Что делать? Что делать? Я, конечно, не выдам тебя, но я не знаю, что делать!» — отвечал он взглядом.

— Инструмент портишь, да еще и прячешь, — очень тихо

сказал мастер.— Не скажешь — в уборщицы переведу! Не посмотрю, что отец на фронте.

Костя разгреб мелкую стружку в коробке, вытащил испорченный резец и протянул мастеру. Старик перевел на него взгляд.

— На пару, значит, мастера обманули? — с угрюмой насмешкой отметил он и повернулся к Леночке Туфик, которая притворилась, что поглощена работой: — А ты думаешь, твое дело сторона? Останови!

Выключила станок и Леночка.

— Где Галкина новый резец добыла? — продолжал следствие Бабин, переводя взгляд с Кости на побледневшую Леночку и обратно.— Где стащили?

— Мне токарь Стукачев из второго цеха дал! — выпалил Костя.

— Та-ак! Вся троица за мной ступай!

Ребята отрывались от работы и, глядя им вслед, шушукались. Случилось что-то очень серьезное. Мастер был мрачнее грозовой тучи, а его свита готова была провалиться сквозь землю.

СУД И ПРИГОВОР

Герасим Иванович присел на свой столик в конце цеха, сложил руки, посмотрел на Катю, Лену, Костю, и его взгляд оставался жестким, на кого бы он ни глядел.

— Не допущу я этого, Галкина! — отрезал он.— Если каждый начнет инструмент портить, скажи, что будет? А то будет, что производство станет. А ты еще и врешь своему мастеру, пакость прячешь! — воскликнул старик, хлопнув ладонью по столу, и густо покраснел.— Хотел тебя с нарезки колец на расточку поставить, разряд досрочно дать, а теперь подождешь, Галкина... Ступай к станку!

Удар был сильный. Катя хотела что-то сказать, не нашла слов и, еле волоча ноги, понурившись, пошла на место.

— Ты зачем за станок просился? — услышал Костя вопрос.— Зачем хочешь токарем стать? Фронту помогать?

Костя кивнул головой.

— Ты сегодня фронту пособил? Нет, ты ему сегодня определенно напортил. Помог ломщику: пакости, мол, и дальше, а цех пускай без резцов посидит, меньше боевой продукции даст. Придется тебе, Малышев, в подсобных ходить, пока сознательным не станешь.

За колоннами, чтобы никому не попасться на глаза, Костя прошел к своей тележке. Катя стояла возле стены, закрыв лицо руками. Конечно, Косте было очень жаль себя, но еще больше он

жалел Катюшу, чувствовал, что должен ей что-то сказать, но не знал, что именно.

В дверях термического цеха показалась Нина Павловна. Катя быстро подошла к станку.

— Катя,— нерешительно окликнула ее Нина Павловна,— мне только что сказал Сева, что ты вчера вынула из ящика письмо... Я уже третий день в цехе. Может быть, пришло письмо и для меня, ты не знаешь? Антонина Антоновна ничего не слышала?... А что пишет папа? Почему ты расстроенная? С ним ничего не случилось?

— С папой ничего не случилось,— ответила Катя и отвернулась от нее.

Она пустила станок и, упрямая, будто ледяная, погрузилась в работу.

Послышался мужской голос:

— Товарищ Галкина!

Пришлось Косте снова отступить за колонну. Он старался не попадаться на глаза директору завода, потому что директор был строгий и озабоченный. Казалось, что этот коренастый небольшой человек в мохнатом пальто все что-то ищет в цехах, не может найти и сердится; его глаза так и постреливали острыми огоньками, а голос был отрывистый, требовательный.

— Сколько сегодня? — спросил он коротко.

— Четыре или пять из десяти,— ответила Нина Павловна виновато.— Опыт обходится слишком дорого, Лев Борисович. Признаться, меня это мучает, и я думаю...

— Мы не имеем права отказаться от полной проверки вашего предложения,— остановил ее директор.— Если ничего не дает нагрев «рюмки» в соли, переходите на свинцовую электрованну, но не опускайте рук. Вы коммунистка. Вы должны дать образец борьбы за новую технику. Кстати, первое же заседание партбюро будет посвящено задачам технического прогресса. Обсудим вопрос о транспортере Балакина для уборки стружки, о вашем способе закалки «рюмки»... Наш новый парторг обещает, что парторганизация завода возьмет это дело под свое наблюдение. Приготовьтесь сделать сообщение на заседании бюро.

— Даже страшно становится,— вздохнула Нина Павловна.

— А вы не нагоняйте на себя страху,— вдруг усмехнулся директор.— Уверен, что эту задачу вы решите. Вы ученица лучшего термиста города, Василия Галкина, вы должны справиться... Да и парторганизация поможет. Новый парторг крепко берется за дело — фронтовик, ничего не скажешь... А теперь отправляйтесь домой отдохнуть. Но сначала посмотрим, как идет монтаж электрованн.

Старшие отправились в термический цех, Костя снова взялся за тележку, а Катя, занятая своими думами, даже не посмотрела

на него. И хорошо! Только что он пожертвовал бы всем, чем угодно, чтобы успокоить, ободрить ее, а теперь сердился на «принцессу».

Почему? Вернее всего, Костя не хотел видеть Катю такой, какой она показала себя при разговоре с Ниной Павловной.

Да, Нина Павловна была мачехой Кати. Бабушка, Антонина Антоновна, рассказала Косте, что Василий Галкин женился на Ниночке Пестряковой перед самой войной, спустя два года после того, как умерла его первая жена, мать Катюши. Все говорили, что Катя будет расти возле умной и доброй женщины, но она твердила, что отец не должен был забывать мамочку, и не хотела иметь ничего общего с Пестряковой, как она продолжала называть Нину Павловну.

По мнению Кости, она поступала нехорошо, неправильно и зря обижала хорошего человека.

Косте повстречалась Леночка Туфик, вконец расстроенная, с красными глазами.

— Что Катя делает? — спросила Леночка, всхлипнув. — Ой, Малышок, зачем мы не помешали ей резец заправлять? Герасим Иванович говорит, что это был наш долг...

— Да ну ее, поперечную душу! Помешаешь ей, как же! — пробормотал Костя и сердито двинул тележку к цеховым воротам.

ДЕЛО НА ГИМАЛАЯХ

По двору тележка кое-как прошла, хотя дорога была неудобна, а на Гималаях, как называли ребята гору стружек на свалке, началось мучение. Мелкую стружку полагалось сбрасывать посередине свалки, за хребтом из клубков стружки-вьюна. На хребет были проложены мостики, но доски обледенели, тележка все скатывалась, и пришлось обратиться за помощью к ребятам из второй бригады. Сначала Костя помог им выбить из коробки стружку-вьюн, а они помогли поднять тележку на хребет.

— Куда стружку на людей сыплешь! Ворона!

Это сказал Сева. Забравшись с Колькой Глухих в глубокую выемку Гималаев, он курил, как взрослый.

— А ты... ты чего лодыря гоняешь? — проговорил Костя, ошеломленный его наглостью.

— Мало еще я тебя гонял, а то умел бы стружку высыпать.

Дальше все стало неясно. Костя не помнит, как он очутился в выемке, почему пришлось драться не только с Севой, но и с Колькой.

Когда наступило прояснение, оказалось, что он лежит на спине, на нем сидит Сева, а Колька давит на его плечи коленями.

— Хочешь снегом закусить? Хочешь снегом закусить?..— спрашивал Сева.

— Ты скажи, Малышок: поведешь нас в тайгу? Покажешь дорогу к золоту? В последний раз спрашиваем! — сказал Колька.

— Смелые вы — двое на одного! — ответил Костя, задыхаясь.— Больно мне нужно с вами путаться! Сам пойду, а вас нипочем не поведу.

— Дай ему мороженого! — распорядился Колька.

— Кушайте, Малышок! — нежно проговорил Сева, зажимая ему рот снежком.

Послышался голос, тихий, но такой... такой, что все оцепенели:

— Брось!

Все трое вскочили. На них сверху, заложив руки в карманы бушлата и прищурившись, смотрел Бабин.

— Вот чем молодцы занимаются,— отметил он.— Безобразие устраивают, а в цехе стружки — выше головы.

— Он на нас первый бросился,— заявил Колька.— Он все время задирается.

— То резцы пережженные прячет, то кулаками тычется! — с отвращением проговорил мастер.— Идите в цех!

Несправедливость горька, даже если она неумышленна. Мальчики тащили пустую тележку, а за ними шел мастер и читал нотацию, называя Булкина лодырем, а Костю драчуном и обманщиком. Костя молчал... Все обернулось против него. Спрятал он Катин резец? Да, спрятал. Напал он на Кольку и Севу? Да, напал. Но разве мастер поверил бы, что Костю заставили броситься в драку?

В общем, все рухнуло: исчезла надежда стать токарем, и по-иному он смотрит на Катю, и...

Старый мастер присел за свой столик.

— Требуется вас разогнать по разным углам,— решил он.— Лодырничаете! Ты, Булкин, останешься на прежней работе.

— Много наработаю в летних туфлях! — сказал Сева, выставил ногу и повертел ею: мол, гляди сам.— Мои ботинки каши просят, а цех до сих пор спецобуви не дал.

— Нету покамест ордерков на ботинки,— вздохнул Бабин.— Скоро валенки распределять будем. Оно даже и лучше по зимнему времени. Морозы-то крепчают.— Он обратился к Косте: — А ты, Малышев, возьмишь в инструменталке контргайки, найдешь Зиночку Соловьеву и съездишь с нею на строительство завода. Покрутись возле нашей шефской строительной бригады. Больше пользы будет...

ЦЕХ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ

Зиночка Соловьева была секретарем комсомольской организации, и без нее, конечно, не обходилось ни одно молодежное дело. Она была маленькая, темноглазая, звонкоголосая, носила шубку и шапку из беличьего меха, но даже самые завистливые девочки не позавидовали бы ей — такая шубка была старенькая и потерянная. Может быть, Зиночка была хорошенькая, а может быть, дурнушка — этого никто не знал, потому что ее трудно было разглядеть — так она спешила. Случайно Костя слышал, что она дочь учителя, что в Белоруссии фашисты погубили всю ее семью. Старую беличью шубку достал завод, потому что Зиночка эвакуировалась в одном летнем платье.

В комнату комсомольского комитета, куда с увесистым мешком контргаяк явился Костя, все плотнее набивались ребята с лопатами и кайлами. Зиночка озабоченно говорила: «А вот Иван Петров пришел, а вот Федя Кострицын явился, а вот Наташа Олесова» — и отмечала пришедших в списке, стараясь спрятать под шапочку то одну, то другую черную тугую кудряшку.

— Ребята! — крикнула она и вскочила. — Запомните, кто в какой бригаде будет работать. Едем!

Она бросилась в дверь, точно спасалась; все бросились за нею, а Костя вышел последним, но потом в суматохе его оттеснили к середине кузова пятитонной машины, и он ничего не видел, кроме спин. Как только машина тронулась, все запели, и громче всех Зиночка — ее голосок был острый, как шильце, и все высовывался из кучи других голосов. Машину трясло и качало, Костя за кого-то схватился, кто-то схватился за Костю, чья-то лопата больно уперлась ему в бок, но все-таки он сразу привык к этому шумному путешествию. Но вот машина стала раскачиваться с борта на борт, а потом сразу остановилась. Все повалились, засмеялись и начали прыгать на землю. Костя увидел строительство, над которым шефствовал весь город.

Справа и слева стояли кирпичные старые корпуса, а между ними, на большом пустыре, все кипело и снега совсем не осталось. Люди скребли землю лопатами, дробили кайлами, бросали в кузовы машин, а плотники стучали топорами, устанавливая толстые столбы. Все очень спешили, старались, но Костя сразу рассмотрел, что это не настоящие землекопы и плотники, — они были одеты не по-рабочему и не очень ловко обращались с лопатой, кайлом и топором.

Через весь пустырь был протянут полотняный плакат: «Построим цех «Б» за двенадцать дней!» И Костя удивился: даже небольшие бараки в Румянцевке строились летом месяц-два, а тут построй-ка зимой меньше чем за две недели!

Человек с красной повязкой на руке показал приехавшим их

участок. Зиночка крикнула: «Ребята, время дорого!» — схватила чье-то кайло и начала бить землю, и комсомольцы наперегонки взялись за работу.

— А гайки куда? — спросил Костя у Зиночки, так как ему стало совестно бездельничать.

— Ах, да! Совсем забыла. Пойдем скорее! Их ждут в цехе!

Они пробежали между двумя кострами, возле которых грелись шоферы, потом между двумя кирпичными цехами и очутились перед новой деревянной постройкой, такой большой, что она все загородила.

На этой постройке тоже был плакат:

«Принимай, фронт, подарок уральской общественности! Цех «А» построен за тринадцать дней».

В громадном, еще пустом цехе было тепло и немного дымно, пахло свежим деревом, горели яркие лампы и гудели, как живые, печки-«буржуйки», поставленные на железные листы.

ПРОФЕССОР И ГВОЗДИК

У Кости отобрали мешок, но он даже не заметил этого.

Присев на корточки, люди зашивали рамы больших щитов тонкими шелевками в елочку. Работа простая, но Костя невольно рассмеялся. Человек, насмешивший Костю, тоже не походил на плотника. На голове у него была высокая каракулевая шапка, на носу — очки в прозрачной оправе, а лицо такое серьезное, будто он заколачивал золотые гвоздики. Но все равно он не умел. Он стукнул раз, и гвоздик ушел в дерево на треть; еще стукнул — очки съехали на кончик носа, а гвоздик лег набок. Тут Костя и засмеялся.

Поправив очки, человек строго посмотрел на него.

— Смеешься? — спросил он.

На всякий случай Костя сделал шаг назад, а женщина, которая пришивала шелевки к этой же раме, назидательно заметила:

— Профессор вообще не любит критики.

— Нет, я не люблю глупого смеха... Он думает, что так легко забивать гвозди. Да?

— А то трудно! — пробормотал Костя.

— Ах, тебе не трудно! — воскликнул тот, кого женщина назвала профессором. — Покажи, как ты забиваешь гвозди, а мы посмеемся! — И он протянул Косте молоток.

— Попался, Малышев! — сказала Зиночка, которая вдруг очутилась возле Кости. — Проси извинения, и пойдем.

Но Костя, взяв молоток, присел на корточки, легким ударом прищепил гвоздик, хлопнул молотком и задержал его на шелевке.

— Ага, гвоздик-то выскочил! — воскликнул профессор. — Критиковать легче, чем дело делать. Где гвоздик, молодой человек?

Когда Костя медленно поднял молоток, оказалось, что шляпка ушла глубоко в дерево. Профессор недоверчиво поскреб ее ногтем.

— Гм... Гм... Один случай решительно ничего не доказывает! — заявил он. — Еще.

Прищепив три гвоздика, Костя быстро стукнул три раза, и все гвозди спрятались.

— Нет, вы посмотрите, что делает этот клоп! — восторженно закричал профессор. — Это абсолютно точный удар, это... это, вероятно, классик забивания гвоздей! — Приподняв над головой шапку, он протянул Косте руку: — Приношу искреннее извинение. Вы имеете полное право смеяться, когда я порчу гвозди. Где вы так научились?

— Когда бараки в Румянцевке строили, — сказал смущенный Костя, нерешительно прикоснувшись к его руке.

Люди, работавшие на обшивке щитов, столпились вокруг Кости. Он показывал им, как забивать гвозди, охотно стучал молотком и даже не заметил, что Зиночка куда-то исчезла.

— Да ведь мы уже с ним встречались! — слышался знакомый голос. — Я думал, что этот паренек умеет только драться, а оказывается, он и полезное дело знает.

Рядом с Зиночкой, опираясь левой рукой на палку, стоял человек в шинели, тот самый, который сегодня утром помог Косте выбраться на тропинку Земляного холма. Конечно, это Зиночка привела его посмотреть, как ловко стучит молотком Малышев.

— Хорошо гвоздики заколачиваешь, — сказал он. — Мастерски делаешь. — Он обратился к Зиночке: — Нет, товарищ Соловьева, я не согласен с твоим предложением. На подшефном строительстве работников хватает, а вот в тарном цехе Северного Полюса паренек пригодится. — Он сказал Косте: — Завтра заводская комсомольская организация отправляет на Северный Полюс бригаду социалистической помощи. Хочешь поехать?

— А на Северном Полюсе Миша Полянчук работает? — спросил Костя, еще не веря своим ушам.

— Да, да! Он комсорг тарного цеха и бригадир передового участка, — сказала Зиночка.

— Значит, ты согласен? Включи, товарищ Соловьева, его в бригаду. Как твоя фамилия, парень?.. Ну, вот и познакомились, Малышев. Покажи себя на Северном Полюсе. — И, кивнув головой, он ушел, прихрамывая и мягко постукивая палкой по деревянному полу.

— Это новый парторг Цеха на заводе, Сергей Степанович Тагильцев, — пояснила Зиночка. — Он с фронта и очень, очень деловой!

Как только вернулись на завод, Зиночка пошла с Костей к Герасиму Ивановичу, и тот без спора отпустил своего рабочего: — Пускай съездит... Я на него сердит. Драчливый мальчонка растет. Да еще и врать научился.

Старик отвернулся от него, но это была последняя тучка. Впереди зажглось солнце — Костя был рад, что увидит Мишу.

В ТЕРМИЧКЕ

Когда ждешь что-нибудь хорошее, то кажется, что часы стали длинными-длинными, но это только так кажется. По приказу мастера Костя до конца смены помогал кладовщикам разбирать инструмент, а когда прогудел гудок, решил, что нет смысла бежать домой, что не надо встречаться с Севой и Катей: к тому же он боялся утром опоздать на автобус. «За печи пойду», — подумал он, отправился в термичку, как называли на заводе термический цех, и в дверях столкнулся с Ниной Павловной, которая только что вернулась из дому.

Узнав, зачем явился Костя, она предложила:

— В лаборатории есть теплый уголок, и ты хорошо переночуешь. Пойдем...

Термический цех работал днем и ночью. Он был такой закопченный, что казалось, вместо стен и потолка у него глубокая темнота. Здесь всегда было много металла. Блестящие или ржавые детали, сложенные штабелями, ждали закалки, а в других штабелях детали были черные и жирно лоснились — эти уже получили закалку.

— Сколько годных «рюмок» в последней партии? — спросила Нина Павловна у пожилой женщины, работавшей за контрольным столом.

— Одиннадцать из двадцати, — ответила та недовольно. — Сколько ты, Нина, с Дикерманом «рюмок» перепортила... Уж теперь, если своего не добьетесь, всем калильщикам позор.

— Добиться надо, — задумчиво проговорила Нина Павловна. — Дело не только в позоре, а в том, что это важно для фронта...

Вниманием Кости завладели главные нагревательные печи, которые назывались туннельными. Две печи стояли рядом — длинные, гораздо длиннее автобуса. В одном конце печи светилось широкое садочное окно, в которое работницы подавали деталь за деталью, а в другом конце, как узкий огненный зрачок, багровело окно для выдачи нагретых деталей.

Он заглянул в садочное окно, и печь показалась огненным туннелем. Там все было раскалено добела — и стены и свод. По туннелю медленно ползли к выдаче заготовки, уложенные рядами.

Ползли они, конечно, не сами — их передвигала цепь, которая через прорезы в полу крючьями цепляла заготовки. Пока заготовка проходила через печь, она нагревалась: была черной, а становилась белой, раскаленной. Оставалось окунуть ее в черное масло и закалить: сделать крепкой, твердой...

— Ты засмотрелся, Малышок. Пойдем! — позвала его Нина Павловна, которая успела о чем-то переговорить с калильщиками.

В лаборатории было светло, чисто. Удивительно, почему для черного калильного дела нужно так много книг, что они едва помещаются в шкафу, так много непонятной посуды из тонкого стекла и еще весы и микроскопы!

— Вымой руки, — сказала Нина Павловна. — Теперь закуси. Вот бутерброды с сыром. Ешь, не стесняйся... А я — за работу.

КАПРИЗНАЯ «РЮМКА»

Раньше Костя думал, что работать можно промывочным ковшом, молотком, с ружьем в лесу, за станком или с тележкой, а оказывается, что можно и так: Нина Павловна вынула из портфеля толстые тетради, книги, сложила руки и задумалась, глядя на грубую заготовку для детали «рюмки» и на готовую блестящую деталь.

— Ты, конечно, знаешь, что мы делаем для фронта? — вдруг спросила она.

— «Катюши» делаем, — ответил он тихо, соблюдая военную тайну.

— Да, делаем некоторые детали для снаряда «катюши»... Это сильное оружие. Фронт требует все больше «катюш», и мы могли бы дать больше, если бы не «рюмка». Сейчас токари точат «рюмки» из закаленных заготовок. Горят, ломаются резцы, работа идет медленно. Можно было бы точить «рюмки» из сырой, незакаленной стали, а уж потом калить готовые, но закалка готовой «рюмки» не удастся: у нее слишком тонкие стенки. В закалке «рюмка» деформируется, корежится, получается брак... Сегодня мы успешно закалили только пятьдесят пять процентов «рюмок». Позорно мало!.. — Нина Павловна прошла по лаборатории и твердо проговорила: — Жива не буду, а научусь калить «рюмки»-тонкостенки. Нагрев деталей в соли ничего не дал. Посмотрим, что даст работа со свинцовой нагревательной ванной. Не пойдет дело так — пойдет как-нибудь иначе. Вася учил меня, что в нашем деле важнее всего упорство... впрочем, как и во всяком другом. Всех ученых-металлургов на ноги подниму, сто режимов закалки перепробую, но своего добьюсь! Кто знает, сколько жизней спасет каждая лишняя «катюша» и чья это будет жизнь! — Она села за

стол и начала перелистывать книгу.— Ложись спать, Малышок, завтра я рано подниму тебя...

За шкафом стоял диванчик. Костя лег, укрылся ватником и немного подумал о сегодняшнем дне, который начался плохо, а кончился совсем хорошо. Вот он уедет на Полюс...

Где-то за холмом останется дом, где живут девочка-задавака с синими глазами и обидчик Булкин... Плохие они люди, лучше обойтись без них. Где-то останется цех со старым мастером... Не хочет Бабин сделать Костю токарем по металлу, не дает ему резать сталь — не надо.

— Спишь? — вполголоса спросила Нина Павловна.

— Не...

— А о чем ты вздыхаешь?

Он промолчал, застигнутый врасплох.

— Тебе жаль оставлять завод и товарищей?

— Больно они мне надобны, поперечные души! — ответил он с досадой.

— Правда, ведь вы не дружите... И это плохо, что вы не дружите... Все-таки спи, Малышок...

Да, Малышок уедет к Мише на Северный Полюс, до которого «десять километров, и все прямо, с поворотами», и сделает это с радостью; а то, что он глубоко вздохнул, так это просто непонятно почему.

Глава четвертая

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Утром, еще в потемках, заводской автобус уехал на Северный Полюс. Пассажирами были ребята из молодежного механического цеха.

— А долго мы полярников, моржей-тюленей, будем на буксире тащить-вытаскивать? — спросил кто-то.

— Ребята, ребята! — вмешалась Зиночка Соловьева.— Я вас предупреждаю: не ставьте на Полюсе вопрос так, что мы приехали брать их на буксир. Это обидное слово. Полярники работают самоотверженно, но получен приказ, что нужно ускорить отправку продукции на фронт. Вот мы и едем помогать филиальским...

Пассажиры автобуса притихли. Костя почувствовал себя важным человеком: он едет выполнять важное правительственное задание.

Сначала за окном мелькали дома, потом фары освещали только стволы сосен, и наконец автобус стал. Приехавшие вышли. Перед ними был высокий забор с колючей проволокой. Сбоку падал луч яркого света. Зашелестел шепот:

— Гляди, прожектор светит...

— А зачем?

— Чудак, не понимаешь! Чтобы сразу было видно, кто идет.

— На Полюсе строго...

— А ты думал!..

— Гляди, на вышке часовой в шубе...

В заборе открылась дзержина, и послышался голос:

— Давайте по одному!

Когда пришла очередь Кости, он увидел в сторожке двух военных.

— Имя, отчество, фамилия? — спросил один из них, глядя в список.

В эту минуту Костя смотрел на овчарку, которая, свесив язык, сидела возле другого военного.

— Малышок, — ответил он, но тотчас же поправился: — Малышев Константин Григорьевич...

— В другой раз не путайте, Константин Григорьевич! — сказал военный, взяв под козырек. — И без того видно, что вы малышок.

Переступив порог, Костя очутился на широком дворе. Ребята уже разделились на группы, и возле каждой группы стоял взрослый. Тотчас же кто-то обнял Костю:

— Вот сюрприз! Если не ошибаюсь, это Малышок-корешок! Этого я заберу вместе с его шапкой в тарный цех!

— Да, да, Миша! — поспешила Зиночка. — Он ловко забивает гвоздики. Вчера на заводе он всех удивил. Парторг Цека приказал включить его в бригаду.

— Не знал, что у моего Малышка такой талант, а то уже давно перетащил бы его на Полюс. У нас для хорошего молотка много работы.

Зиночка крикнула: «Тихо» — и обратилась к ребятам:

— Еще раз напоминаю, как нужно себя вести на Полюсе. Соблюдайте все правила филиала. По цехам без толку не бегать, вахтеров и взрослых рабочих слушаться. Ничего не зарисовывать, не записывать. Вернувшись домой, никому ни слова — ни отцу, ни матери, ни знакомым. Все понятно?

Голоса прошумели: ребята пообещали молчать.

— Больше всего я уверен в Малышке, — шепнул Миша. — Он даже мне ни словечка не сказал. Наверное, язык откусил, когда кашу ел. Говори, не рад меня видеть?

— Рад, — ответил Костя, и больше у него не нашлось слов.

Группа Миши Полянчука направилась к большому сараю из толстых бревен. Возле сарая лежали штабеля длинных и коротких досочек. Широкие ворота открылись. Из сарая хлынула волна шума и белого пара. Показалось, что этот шум вытолкнул по рельсам вагонетку, высоко нагруженную плоскими, аккуратными ящиками. Потом ребята увидели цех, освещенный электрическими

лампами. За верстаками работали подростки — сколачивали из досечек щитки. Ближе к выходу взрослые рабочие мастерили из щитков ящики, навешивали петли и запоры.

Бригадиры разобрали новичков и поставили их за верстаки.

— Будешь сколачивать донце, — сказал Миша, протянув Косте молоток. — На две поперечины клади три доски — вот так, одну к другой. Каждую доску пришивай к поперечинам четырьмя гвоздиками. Покажи, как ты можешь, корешок.

Чуть-чуть призадумавшись, Костя легкими пристуками молотка поставил все двенадцать гвоздиков на место, потом, как из пулемета, хлопнул двенадцать раз. Гвозди, спасаясь от его молотка, спрятались в дерево.

— Ух ты! — удивился Миша. — А еще раз!

Стараясь не улыбаться, Костя забил шесть гвоздей, держа молоток в правой руке, а потом перебросил его в левую руку и заколотил остальные гвозди.

— А я могу и с пальца забивать, глянь!

Не отнимая пальцев от гвоздя, Костя быстро опустил молоток. Мише показалось, что на свете стало двумя пальцами меньше, но Костя успел убрать их в тот самый миг, когда гвоздь погружался в дерево.

— Так ты не балуй. Придется новые пальцы пришивать — где я иголку и нитку возьму? А вообще нужно признать, что ты виртуоз.

— Чего? — спросил удивленный Костя.

— Виртуоз — это значит такой ловкий, что просто ах. И знаешь, — проговорил Миша задумчиво, — мне пришла в голову мысль. — Он хлопнул себя по лбу. — Думай, голова, — шапку куплю!

— Ай! — послышалось рядом.

Рыжая девушка, которую Костя знал — она работала на заводе в инструментальном складе второго цеха и ее называли «мировым пожаром» за цвет волос, — положила палец в рот, как конфетку.

— Я не умею молотком, — прошепелявила она. — Все пальцы поотбивала.

— Вынь палец, маникюр испортишь. Ты складывай досечки, а Малышок будет сколачивать! — приказал Миша.

Работа пошла веселая. Костя с увлечением хлопал молотком. Рукоятка точно приросла к ладони, и было приятно, что подростки бегают смотреть на работу новичка, было приятно, что Зиночка хвалит его.

— Стоп, доночный участок! — крикнул Миша, вскочив на верстак, и, когда затихли молотки, объявил: — Костя Малышев со своей подручной Клавой Еремеевой уже выполнили по полторы нормы, чего и вам желают!



И. Ликстанов. Малышок.

Ребята зашумели.

— С подручной и дурак сумеет,— заявил кто-то.

Но было ясно, что это зависть, и больше ничего.

— Товарищ Полянчук, прикажи продолжать работу,— сказал полный мужчина в черном ватнике и высоких фетровых валенках, приведенный в цех Зинойкой Соловьевой. Он внимательно пригляделся к работе Кости и обратился к Мише: — Действительно, если тарники научатся так работать и если разделить операции, как предлагаете вы с Соловьевой, то дело пойдет лучше. А ты, Костя, помнишь, как тебя учили работать молотком?

— Дед Вак Иванович Крюков, как бараки строили, дал вот столечко гвоздиков,— Костя взял из ящика горсть гвоздей,— да еще доску-дюймовку дал. Показал, как робить, а потом велел забивать да клещиками вытаскивать и...

— И что?

— И кажет: «Покуль не научишься забивать с одного стука, обедать не позову»,— закончил Костя.

— Когда же тебе удалось пообедать? — удивилась Зиночка.

— Два дня хлебец жевал, а в третий и пообедал...

— Школу он прошел строгую,— засмеялся высокий человек.— Мы так учить не будем. Тебя, товарищ Полянчук, завтра заменит на участке Круглов, а ты займись Малышевым, научи его культурно передавать свой метод. Пускай он подготовит в своей стахановской школе несколько таких же инструкторов.

— Красота, Малышок! — сказал Миша, когда этот человек ушел.— Завтра мы с тобой проведем весь день в Верхнем общежитии. Это был начальник филиала Шестаков, понимаешь? Дело пойдет, Малышок!..

— Все-таки какое чутье у нового парторга,— радовалась Зиночка,— он сразу понял, что Малышок пригодится в тарном цехе. Я просто готова влюбиться в нашего парторга! Говорю совершенно откровенно...

Еще веселее Костя застучал молотком. Клава покраснелась, огненная челка прилипла ко лбу и потемнела, но, когда работа спорится, человек не замечает усталости.

ВЕРХНЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Тропинка взбежала между скалами на площадку, поросшую старыми елями. В серебристом лунном свете Костя увидел Верхнее общежитие — резной красивый дом, где жили бригадиры филиала. До войны здесь помещалась лыжная база спортивного общества. Костя обернулся. Под горой расстиралось бескрайнее лесное море, спокойное и молчаливое.

— У нас словно как на курорте,— сказал Миша.

Они вошли в дом, поздоровались со старушкой уборщицей и по узкой лестнице поднялись на второй этаж, в комнатку-клетушку. Миша зажег коптилку, и Костя прежде всего увидел в углу несколько пар лыж. Правда, это были не такие лыжи, какие подарил ему Митрий,— те были широкие, подбитые оленьим мехом, а эти очень узкие, длинные, щеголеватые.

— Чьи это? — спросил он осторожно.

— А хоть чьи... Их забыли в столярке. Я пробовал кататься, только у меня пока не получается. Ровного места нет, одни горы. Трудно устоять на лыжах.

— Чего там трудно! — усмехнулся Костя.— Завтрась побежим?

— Решено! Заодно давай условимся, что ты забудешь слово «завтрась» и будешь говорить «завтра».

В круглой железной печурке загудел огонь. Миша вскипятил чай и на стол выставил хлеб, сахар и немного масла в стеклянной баночке. Счастливый Костя пил чай; Миша радушно угощал его хлебом с маслом.

— Ты немного похудел — должно быть, потому, что решил подрасти,— сказал он, улыбаясь, своему другу.— Правильно задумано. Рости тебе надо целый метр с половиной, не считая двух четвертушек... Ну, чего молчишь? Язык у тебя очень коротенький. А как тебе живется?

Теперь все обстояло замечательно, потому что возле Кости был Миша, тоже немного похудевший и ставший взрослее, но по-прежнему веселый, ласковый.

Номерной военный завод, дом за холмом — все это показалось очень далеким, и было неясно, существовало ли это на свете или только приснилось.

— За станок еще не поставили? В подсобных ходишь? Не хмурься. У меня есть совершенно блестящий план.

Только-только Костя собрался спросить, что это за план, как в дверь постучали.

— Товарищ Собинов, вас ждут! — И густой голос пропел: — До-ре-ми-фа-соль-ля!

Какой Собинов? Но Миша ответил, точно и впрямь был не Полянчук:

— Сейчас, товарищ Шаляпин! — И он объяснил Косте: — Здесь почти все украинцы живут. Мы перед сном концерты устраиваем, как знаменитые певцы. Хочешь послушать?

— Хочу...

— А глаза слипаются... Ложись-ка спать. Я с товарищами посижу часок. Только займи не больше пятидесяти процентов койки. Я тоже иногда ночью сплю.— И с этой шуткой Миша ушел.

Раздевшись, Костя повесил носки возле печурки и нырнул под одеяло. Как спокойно было в комнатухе над заснеженным лесом! Внизу что-то мягко зазвенело, голоса слились в незнакомую красивую песню, и Косте стало грустно, потому что его счастье было неполным. Где Митрий? На фронте... Фронт — это, наверное, вроде той поляны, где Митрий принял на длинный вогульский нож большого медведя и где они с Митрием потом свеживали жирную тушу. Только на фронте вместо медведя — фашист. Убил Митрий фашиста? Непременно убил, и не одного фашиста, а много, не счесть... Голоса внизу зазвучали веселее, и грусть стала нежной.

Если разобраться, Костя прожил с братом очень мало. Митрий все уходил да уходил в тайгу, оставляя Костю в Румянцевке, у старушки Павлины Леонтьевны Колобурдиной. Он был уверен, что братишка не пропадет. Ведь Костя и золото мыть и на строительстве работать — все умеет. Вот только учиться было некогда... А Митрий бродил с товарищами по берегам золотоносных речушек, ловил соболей капканами; прошлой зимой подался к вогулам, весной принес шесть собольих шкурок да заветную тамгу Володьки Бахтиарова, забрал Костю со строительства барakov, сдал шкурки в «Заготпушнину» и пировал два месяца. Потом вдруг война, и вот Митрий, обнимая Костю, щекоча его своими усиками, говорит...

На этом Костя заснул...

Из лесу вышла большая осторожная тень на высоких ногах. Ее выслала в разведку тайга, узнав, что в резном доме появился Малышок. Тень остановилась на опушке, чуть слышно втянула воздух, почуяла запах дыма и качнула рогами — большими, как старые еловые лапы. Долго смотрела она на освещенные окна — три внизу, одно под самой крышей. До круглых настороженных ушей доносились людские голоса — люди пели, как иногда поют охотники у костра. Тень забеспокоилась, медленно повернулась и ушла в лес, широко переставляя ноги по глубокому лунному снегу.

НА ЛЫЖАХ

Солнце светило в окошечко, когда Костя открыл глаза. Как он заспался после вчерашнего длинного дня! На печурке чайник хлопотливо стучал крышкой.

— Вставай, Малышок! — весело окликнул Миша. — Зимний день коротенький. Нужно провернуть тысячу дел на большой скорости.

За завтраком Костя поделился с другом мыслями о брате.

— А ты напиши в Румянцевку старушке, у которой вы жили, и спроси, нет ли писем от брата,— сразу посоветовал Миша.— Если есть письма, пускай пришлет их на твой нынешний адрес. Давай спланируем день так: сейчас возьмемся за дело, потом пройдемся на лыжах, а вечером напишем письмо.

Убрав со стола, Миша принес снизу отрезок доски, достал молоток и гвозди.

— Покажи, как ты держишь молоток. Правильно я держу?

— Не!.. Неправильно,— определил Костя.— Ты ручку-то не жми, не силься. Держи легонько, играючи,— хоть сколько стучи, не утомишься.

— Теперь покажи, как ты опускаешь молоток.— Хорошенько приглядевшись, Миша все понял.— Вернее сказать, что ты его не опускаешь, а бросаешь всей тяжестью на шляпку гвоздя. Так я говорю?

— Выходит, так... А надо всех ребят научить? Тогда я долго здесь буду?

— Ты обучишь человек десять, и они тогда станут инструкторами передового метода. А хочешь на филиале остаться?

— А то нет! — откровенно признался Костя.— Чего я буду в подсобных ходить!

— Все учтено! — скрепил Миша.— У меня такой же план. Продолжаем! Теперь покажи, как молоток должен касаться шляпки гвоздя, чтобы он без разговоров входил в дерево.

Долго еще со смехом и шутками трудился Миша, пока будущий руководитель стахановской школы не усвоил, как нужно передавать ребятам искусство заколачивания гвоздя с одного удара.

Заодно Костя учился правильно произносить слова. Потом Миша вздумал забивать гвозди по-стахановски и так разохотился, что обо всем забыл.

— На лыжах-то пойдем? — напомнил Костя.

Они вышли на крылечко, пощурились, привыкли к солнцу, и началась возня. Костю удивило то, что ловкий, подвижной Миша выглядит увальнем на лыжах. Спортивные лыжи были не такие удобные, как охотничьи лыжи, но Костя сразу привык к ним, сделал несколько петель вокруг Миши, который кое-как ковылял через полянку, бросил палки под елью: «А ну их!» — и побежал, расставив руки, немного согнутые в локтях, по-вогульски.

— Давай под гору скатимся,— предложил он Мише.

Тяжело дыша, тот посмотрел вниз и покачал головой:

— На сосну налечу. Тут их много торчит.

— А ты от сосны в сторону...

— Вот тогда я уж непременно другую сосну сломаю, самую толстую.

— Какой ты! — огорчился Костя и вдруг закричал: — Глянь, глянь, зверь! — и показал на широкий след под сосной.

— При чем тут зверь! — удивился Миша. — Корова, наверное, была...

— Какая корова! Кажу, зверь! — И пояснил: — Сохатый тут был... ну, лось по-городскому. Понимаешь?

— Что же, может быть, — согласился Миша. — Я слышал, что несколько лет назад в здешний парк культуры забежали два лося. За ними нельзя охотиться возле города, вот они и бродят где попало. Знаешь, что я придумал, корешок? Воспользуйся случаем и покатайся в полную волю. Беги за своим зверем, а я заберусь домой и почитаю...

ЗОВ ТАЙГИ

Улыбнувшись другу, Костя бросился под гору — не за сохатым, а просто так. Маленькая фигурка мчалась между соснами, оставляя за собой облако легкой, блестящей снежной пыли. Вот на пути встретилось какое-то препятствие — пенёк или камень, прикрытый снегом. Костя сжался, подтянул лыжи, подпрыгнул и снова замелькал среди толстых стволов.

«Чертенок!» — подумал Миша с невольной завистью.

Костя летел все дальше. Воздух наполнил грудь, свистел в ушах, горячил лицо. Он забыл обо всем, что было за этими соснами. Тайга, родная тайга, неожиданно найденная возле города, приняла его — не гостя, а хозяина.

Он скатился в долинку между горушками и побежал, оглядываясь по сторонам. Ладный, рослый лес, только больно уж чистый. Какие завалы валежника начинались почти сразу за Румянцевкой, как много было палых лесин, как часто путь преграждали речушки! Но и здесь хорошо! Каждая сосна отдает ему часть своего чистого дыхания, каждая что-нибудь шепнет. Между ветвями светится нежное зеленоватое небо, на темной хвое лежит бледное солнечное золото, а вокруг много следов — и заячьих, и лисьих, и горностаичик пробежал...

Это дом, это его дом, и приветливые сосны передают его друг дружке. Вот эта — сколь велика, кряжиста! Под такими соснами девушки манси разбивают становья, когда приходится заночевать в тайге. Повесят на дерево оленью шкуру — значит, они дома, поднимут костерок и сидят, поджав ноги, перебирают косички, судачат о лесных новостях, высмеивают парней и хвастаются ниткой зеркальных бус или удачным выстрелом.

За той гущей, где никогда не бывало ветерка, впору разбить большое становье для оленьего обоза, когда манси везут грузы на

далекий прииск. Разожги долгопламенные костры-нодьи и отдыхай в верном тепле. Развернет молодая черноглазая женщина мягкие оленьи шкуры, достанет голенького младенчика, полненького, как кедровое ядрышко, и подбрасывает, и ловит его на ласковые руки, и целует на лету, а ребенок тянется ручонками ко всему, что блестит, — к пламени костра и солнечному лучу.

Скоро, скоро он увидит Митрия. Они условились, что Костя выбежит навстречу брату к Черному камню, который одиноко торчит в тайге. Митрий, наверное, уже вышел на условленное место и чутко прислушивается. Длинные уши меховой шапки завязаны сзади свободным узлом, лицо загоревшее, а зубы такие белые, что издали видать его улыбку. Митрий крикнет: «Где пропадаешь?» — а Муська с веселым лаем покатится под ноги Косте. С одного взгляда он увидит, сколько беличьих шкурок на поясе у Митрия и что еще попало ему на пути, но скажет домашнее: «А бабка Павлина нынче баньку для тебя топит... А дядька Колыш завтра на пельмени зазывает», и они пойдут на квартиру по Костиной лыжне. Он поравнялся с черной скалой и не сразу понял, что человек, стоявший возле скалы, опершись на лыжную палку, — не Митрий. Человек был статный, с приветливым лицом, в теплой шапке, с винтовкой за плечами.

— Здравствуйте, — солидно сказал Костя.

— Здоров будь! Каким стилем бегаешь? Где учился?

— Сам учился да Митрий учил, братан мой... На фронте он.

— Значит, встречусь с ним...

— А я ему брат родной, Константин Григорьевич Малышев, — поспешно добавил Костя.

— Ишь как ловко выходит! — усмехнулся военный человек. — Я думал, что только он тебе брат, а оказывается, и ты ему брат. Запомним... — Он достал из-под полы полушубка фляжку, предложил: — Испей чайку! — и налил в алюминиевый стаканчик крепкого подслащенного чая. — Прощай, я пошел! — сказал человек и двинулся широким, красивым шагом, будто лыжи сами плыли по снегу, а их хозяин тем временем мерил дорогу палками.

Костя подумал, что это, должно быть, самый отличный стиль. Вдруг он увидел: солнце, рассеченное березкой, вот-вот заденет горушку... Домой надо... А зачем домой? Если бы ружьишко да краюшка хлеба — разве не здесь его дом? Вишь как вывернулась, пала сосна, козырьком подняв сохлые корни. Расчистить глинку под корнями, натаскать еловых лап, завалить на три четверти щель, изнутри закрыть лаз — и как будет сухо, тепло в лесном жилье! Без огня переспишь, живой встанешь...

Солнце стало большим, красным, опустилось на горушку, обломало краешек. Сосновая хвоя занялась густой розовой подкраской.

Шепот пробежал по лесу: «Уходишь? Зачем?» Сердце ответило: «Может, скоро вернусь». Костя бежал домой, складывая в уме важное решение. Когда он вновь увидел резной домик, решение поспело.

ТАМГА

Миша заклеил конверт.

— Я уверен, — сказал он, — что твой брат уже шлет письма с фронта, а Колобурдина просто не знает, куда их переправить. Теперь все в порядке. Бросим письмо в почтовый ящик и будем ждать ответа.

Они сварили картошку и поели. Костя был немного обеспокоен, как человек, выбирающий удобную минуту для серьезного разговора.

— Взгрустнул о Дмитрие? — спросил Миша.

— Дело есть, — с важным видом ответил Костя.

— Большое? Международного масштаба? Поделись...

Взяв складной Мишин ножик, Костя отвернулся, распорол шов на поясе брюк, достал кусочек бересты, свернутой в тугую трубку, развернул ее и протянул заинтересованному Мише.

— Что это?

— Тамга. Не видишь, что ли?

— Действительно, тамга как живая! — шутливо обрадовался Миша, разглядывая нехитрый рисунок, сделанный на бересте голубой краской. — Вот только жаль — я не понимаю, что значит тамга. Смешной человечек держит лук и три стрелы... А на что эта тамга?

— Ты ее какому хошь манси-вогулу покажи, а он тебя к самому старому Володьке Бахтиарову сведет. Ты ему тамгу дашь, а он тебя в синий туман возьмет.

— Что за синий туман?

...Когда Костя кончил повесть о Святом озере с поющими рыбами и золотым дном, путь к которому знает старый Бахтиаров, Миша спросил:

— Извиняюсь, гражданин, зачем вы мне рассказывали детские сказки? Неужели ты веришь глупостям?

Особенно обидело Костю то, что его друг так и выразился: «Извиняюсь, гражданин». Лицо его потемнело, глаза сердито блеснули.

— Я дело сказываю, — проговорил он наконец.

— Значит, ты предлагаешь мне пойти в синий туман?

— Предлагаю вот, — проронил Костя. — Как знаешь, так бери.

— Хорошо, рассмотрим вопрос технически, — серьезно сказал

Миша.— Пускай даже все обстоит, как ты говоришь. Кто нас отпустит с завода?

— Ну, не отпустят...— многозначительно произнес Костя.

— Значит, ты предлагаешь сбежать?

Не слова товарища обеспокоили Костю, а та подозрительность, которая в них прозвучала. Действительно, Миша смотрел на своего маленького товарища с таким выражением, будто увидел чужого, нехорошего человека.

— Металла-то сколько принесем! — поспешил укрепить свою позицию Костя.— По десять килограммов верных возьмем. Правду говорю...

— Допустим, принесем мы золото. Что дальше? Богачами станем? — допытывался Миша.

Началось самое трудное. В словах Миши звучало насмешливое презрение: это касалось не только всей затеи, но и Кости, к которому еще минуту назад Миша относился так доверчиво. Он понял, что погибает во мнении своего друга.

— Мы себе только на лапотину... ну, на обзаведение малость оставим, а все остальное сдадим,— объяснил Костя.— Танки, оружие всякое купить. Севолод рассказывает, золота нужно много.

— Вот, оказывается, в чем дело! — с облегчением заметил Миша.— А я думал, что ты о своем кармане заботишься. Три четверти вины прочь! Теперь слушай, корешок. Если даже все это, что ты мне рассказывал, чистая правда, я в этом деле тебе не товарищ. На заводе никто поющим рыбам не поверит, никто нас не отпустит, а бежать я, понятное дело, не хочу. Это будет предательством, понимаешь? Я комсомолец, Костя, а комсомольская честь всего дороже. Как я могу обмануть комсомол, как могу бросить дело! Теперь скажи, кто такой Севолод, какое отношение он имеет... к синему туману.

Когда Костя объяснил, что Сева Булкин — это тот самый «золотоискатель», которого Миша видел в день приезда на завод, когда Миша узнал, что Сева с Колькой Глухих добиваются, чтобы Костя повел их за золотом, он снова встревожился:

— «Золотоискатель» тебя на побег подбивает, очень просто! Непременно попрошу Зиночку, чтобы она взялась за вашу компанию. Вы сдуру такое натворите, что всю жизнь не расхлебаете.

Дело обернулось неладно. Костя испугался, что вмешается шумная Зиночка Соловьева, а Сева и Колька увидят, что он их выдал, хоть сам же завел речь о синем тумане.

— Ты Зиночке-то не рассказывай,— пробормотал он.

— А глупости бросишь? Нет, непременно добьюсь, чтобы ты на филиале остался. У меня жить будешь. Тебе учиться надо, я об этом позабочусь. А «золотоискателю» передай, что он думает глупо. Ишь герой нашелся! Будто без него государство не может добыть столько золота, сколько нужно. Ошибается! И сейчас

золота добывают много — в газетах об этом пишут. Но сейчас для нас дороже другое золото.

— Какое это? — недоверчиво спросил Костя.

— Вот какое.— Миша взял его жесткие руки, положил на стол, а рядом с его руками положил свои, сжатые в кулаки.— Вот самое дорогое золото — наши руки. Они должны дать фронту оружие — столько, сколько нужно. Вот наш завод делает «катушки», вот Большой завод, что басом гудит, уже печет танки, как пироги. И не он один. Нужно только, чтобы руки делали то, что прикажет партия. Сам подумай, что будет, если рабочий с завода уйдет! Это все равно что с фронта. Рабочие руки, если они работают честно, дороже всякого золота.

Впервые в жизни Костя посмотрел на свои жесткие, крепкие руки с большим уважением.

— Все понял? — спросил Миша.

— Ясно, понял,— ответил Костя.— Нельзя с завода уходить.

— Точка! — скрепил Миша.

В ту ночь сохатый не пришел на полянку, где стоял резной дом под высокой крышей. Тайга, вероятно, догадалась, что мальчик из Румянцевки совсем хорошо понял, что его настоящее место на заводе, что он не имеет права бросать производство, пока его руки не сделают всего для победы.

Глава пятая

НАСТАВНИК

В тарном цехе было немало отличных работников. Бригадиры дали пятерку лучших ударников в школу Кости Малышева. Все они были старше своего наставника и поэтому отнеслись к нему немного насмешливо. Миша побаивался, что Малышок смутится, растеряется, покажет себя маленьким, но он ошибся. В суровом северном крае, где вырос Костя, люди борются с природой артельно: они сообща моют золото, валят лес, ходят на охоту.

В артелях слово старшего — закон, но старшим становится тот, кто имеет больше опыта.

Окинув спокойным взглядом своих учеников, Костя молча установил три гвоздика и забил их тремя ударами.

— Кто так может? — спросил он.

— Подумаешь, удивил! — заговорили ребята.

Из пятерых человек трое решили эту задачу.

«Фокус не удался»,— подумал встревоженный Миша, но Костя как ни в чем не бывало установил двенадцать гвоздиков и забил их.

— А теперь кто? — спросил он.

Четыре гвоздя с одного раза утопил маленький серьезный Валя Вихряков, другие и того не сделали.

— Что ж вы! — серьезно сказал Костя. — Мне хоть сто гвоздей выставь, все заколочу. Уметь надо! — Он говорил твердо, без хвастовства, и Миша успокоился. — Вот ты, Вихряков... Ты работаешь ладно, а молоток неправильно держишь, гвоздь тебя не боится. Чуть что — он набок. Дай руку!

Валя недоверчиво протянул руку. Костя повернул ее так, чтобы можно было поставить на ноготь большого пальца гвоздик шляпкой вниз, но гвоздик не держался.

— Видишь, сработал мало, а рука трясется. Ты молоток держи легонько, на воздушках. Ты молотком играй...

«Честное слово, он молодец! — обрадовался Миша. — Этот пример он сам придумал. И где он такие слова взял? Вот чудак!» А Костя говорил слова дедушки Вака, которые дедушка Вак слышал когда-то от своего деда, построившего чуть ли не весь Ивдель из кедрового леса.

Мишу отозвали по спешному делу. Когда он вернулся к учебному верстаку, будущие инструкторы хлопали молотками, а Костя внимательно наблюдал за ними.

— Идут дела, ребята? — спросил Миша.

— Ничего особенного, — сказал коренастый, самостоятельный подросток, Петя Гусаков. — Надо только гвоздики прищепывать пер-пен-ди-ку-ляр-но, а молоток опускать па-рал-лель-но. — И он с одного стука вогнал гвоздь в дерево.

— Вот молодец работник! — одобрил Костя.

И ученик обрадовался похвале.

Раздался обеденный гудок. Миша позвал Костю к выходу так, чтобы его друг прошел мимо верстака, за которым работал третьего дня. Над верстаком висел плакат из пестрой обойной бумаги, а на нем было написано: «Привет Косте Малышеву и Клаве Еремеевой! Вчера они выработали по 225 процентов нормы».

Было очень приятно, что о Косте написали такими большими буквами.

— Клава-то где? — спросил он.

— Ее забрали в моечный цех — с молотком ей все-таки трудно.

...В тарном цехе снова началась работа. Стукнул один молоток и прислушался — имеются ли охотники пошуметь. Тотчас же ответил другой молоток. Некоторое время они перекликались: «Тук или не тук?» — «Конечно, тук-тук». — «Ну, так тук-тук-тук!» К зачинщикам присоединились другие молотки, и вскоре все зашумело. Особенно быстро стучали молотки там, где будущие инструкторы учились правильно забивать гвозди.

«КАТЮШИ»

Смена кончилась. Цех опустел, только взрослые рабочие продолжали собирать ящики.

— Малышок, пошли! — позвал его Миша, вернувшийся от начальника филиала; он был в отличном настроении и, тормоша Костю, поделился большой новостью: — Уверен, что твое дело получится. Начальник попросит заводской отдел кадров закрепить тебя за филиалом. Доволен?

Костя ответил широкой улыбкой.

Они пересекли двор филиала. За центральным корпусом Костя увидел штабеля металлических деталей, накрытые досками; деталей было много — тысячи и тысячи.

— А таких на нашем заводе не делают, — отметил он, рассматривая штабель.

— Да, их с другого завода присылают.

У входа в центральное здание Миша показал красноармейцу красный пропуск, и они очутились в просторном и низком цехе. Все было затянуто теплым туманом, так что электрические лампочки плавали в радужных кольцах. Заиндевелившие ворота открылись. По мокрым рельсам в клубах пара вкатилась вагонетка, груженная деталями.

— Эти детали к нам издалека пришли. Видишь, как их засадили, чтобы они не ржавели, — сказал Миша.

Женщины, надев брезентовые рукавицы, опускали детали в котел с кипятком, потом выкладывали их на столы и снимали оттаявшее густое сало сначала деревянными скребками, а потом тряпками.

Приходилось сменять несколько тряпок, пока сталь не становилась блестящей, как зеркало.

В дальнем конце цеха зазвенел голос, потом еще один, и затем все запели. Костя увидел Клаву Еремееву. Она пела громче других и улыбалась. Прислушавшись, Костя разобрал слова новой песни.

— Вот почему наш снаряд называют «катюшей»: он хорошо поет, — сказал Миша. — Когда «катюша» летит, так будто небо на куски лопается и хвост огненный получается. Потом ударит — все сожжет. Фронтовики нашу продукцию очень любят...

— Надо сделать больше «катюш», чтобы всех фашистов пожечь и на куски разорвать! — решил Костя.

В сборочном переделе рабочие внимательно осматривали детали, взвешивали, чтобы все снаряды были одного веса. В стороне, за железными ширмами, блестела электросварка. Сварщик закрыл лицо железной маской со стеклянными глазами, а из-под маски виднелась пышная борода, и Косте это показалось смешно.

Возле дверей упаковочного передела Костя увидел всю «катюшу». Она показалась ему не страшной, но Миша сказал, что когда ее начинят «уральской кашей», тогда не подступись.

Они вошли в помещение, длинное и узкое, как коридор. Вдоль стен до самого потолка лежали блестящие «катюши», точно дрова в поленнице.

Косте стало беспокойно: зачем они здесь лежат, когда приказано отправить «катюши» на фронт, и чем скорее, тем лучше?

— Да, все нужно отправить, — подтвердил Миша. — Надо-то надо, а тары не хватает...

В конце коридора несколько ребят развинчивали «катюши», укладывали их в ящики, а ящики грузили на вагонетки.

— Эй, Миша, где упаковка? — крикнул смуглый скуластый паренек — как видно, главный в бригаде. — Это видишь? — И он подбородком показал на штабель готовых «катюш». — Совсем слепой стал? Да?

Сначала он говорил шутливо, но потом рассердился.

— Ты, Мингарей, не шуми, — обиженно остановил его Миша. — У нас в цехе рабочих некомплект, а все-таки мы вчера и сегодня цеховую норму дали...

— «Норма, норма»! — вмешался такой же скуластый и сердитый подросток — должно быть, брат Мингарея. — А долг когда отдадите? Куда «катюшу» паковать? В твою норму?

— Да, между прочим, граждане, где тара? — спросил высокий, худощавый рабочий, ловко поднимавший ящики на вагонетку. — Последнюю десятку пакуем, а потом что? Ты «катюшу» на фронт в кармане понесешь? Буксир вам нужно послать, чтобы поняли!..

— Помощнички фронту! Лодыри! — слышался из-за штабеля «катюш» звонкий и насмешливый голос. — Весь филиал тарники проваливают, совести у них нет!

Миша бросил спорить и двинулся к выходу. Мингарей пошел впереди, заложив руки в карманы и выпятив живот.

— Норма есть — тары нет, — приговаривал он, передразнивая Мишу. — Ходит руки в брюки, ничего не делает... Ай работник!

Костя уже хотел поддать Мингарея плечом так, чтобы тот отлетел, но Миша взял его под руку, и они ушли из цеха.

Сначала Миша сердито молчал, а потом проговорил:

— Видишь, как ящики нужны! Простая штука — доски да гвозди, а не хватает тары — и «катюши» лежат. Заводы дают все больше деталей, а мы паримся, график отгрузки «катюш» не каждый день выполняем... Думаешь, не стыдно? Еще как стыдно! Я бы сейчас сквозь землю провалился... Начальник филиала говорит, что мы будем расширять цех и на заводе еще одну сборку построим. А ты поскорее учи ребят владеть молотком. Это большая помощь фронту!

ТРЕВОГА

Теперь Костя хорошо понял, что без тары, без ящиков нет «катюш», что он занят большим делом, и старательно учил ребят.

Он совсем забыл о заводе, о Севе... О Кате Галкиной он тоже забыл так крепко, что нарочно совсем не вспоминал о ней. Зачем ему было думать о заводе, где его считали последней спицей в колесе и где девочка-задавака однажды отказалась обедать с ним за одним столом,— да, да, был такой случай в столовой! Обидных воспоминаний набралось немало, и он забывал завод все крепче, но сам завод стал припоминать, куда запропастился Малышев, который хотел резать сталь.

— Малышок, ты крепко окопался на филиале,— сказала Зиночка Соловьева, встретив Костю.— Мне говорил Миша, что ты хочешь остаться в тарном цехе. Конечно, ты здесь очень выдвинулся. А все-таки скажи, что ты предпочел бы: стать полярником или пойти за станок?

— А что? — спросил Костя, у которого сразу пересохло в горле.

— Вопросом на вопрос не отвечают,— заметила Зиночка, но не стала ждать ответа.

Ничего, решительно ничего определенного не услышал Костя, но выяснилось, что он вовсе не расстался с мечтой о станке. Станок? Почему она спросила о станке? А вдруг...

Обедать в тот день Костя пошел один, так как Миша задержался на приемке заготовок. Он сел за столик, за которым обедала Клава Еремеева.

— Слыхал? Нас скоро заберут отсюда обратно на завод,— сказала Клава.— Ох, как я рада, ты представить не можешь! Надоело в мойке мокнуть... Зиночка сегодня ездила на завод и говорит, что там все вверх дном. Главк прислал телеграмму, чтобы срочно расширяли производство. Нам еще много станков дали.

— Куда их возьмешь? — недоверчиво и в то же время с надеждой спросил Костя.— Где столько цехов найдешь и где рабочих наберешь?.. — Он повторил слова, когда-то слышанные от Бабина, так как любил повторять солидные слова.

— Ну, не знаю! — беспечно ответила Клава.— А только все это правда. И рабочих, конечно, найдут. Я за станок пойду с удовольствием. А ты останешься здесь инструктором?

— Как скажут,— хмуро ответил Костя.

Станки! Новые станки в цехе! Мечта, которая вместе с ним переступила заводской порог, снова поманила его. Вот тут-то и нужно было, чтобы Миша укрепил его желание остаться на филиале, но, как нарочно, Миша все время был занят и только в конце смены немного поговорил с Костей:

— Завтра примем от тебя инструкторов. Сделаем это торжественно, а потом составим новую школу передовиков... Ступай домой, покушай плотнее и ложись спать, меня не жди.

Все это почти не заинтересовало Костю. Медленно-медленно шел он домой, к картошке не притронулся, заснул и проснулся в тревоге. То ему казалось, что надо вернуться на завод, а то становилось жаль филиала, жаль Миши, и он не знал, что делать.

КОНКУРС МОЛОТКОВ

Когда Костя утром вошел в цех, он увидел большой плакат. На нем было три огненно-красных слова и столько же ярко-зеленых восклицательных знаков:

«Будь снайпером молотка!!!»

Это ему понравилось. Забивая гвозди, Костя и не думал, что он снайпер, а теперь сразу понял — так и есть! Снайпер — это такой стрелок, который бьет без промаха. А разве его молоток ошибается? Это бывает так редко, что даже говорить не стоит.

Посередине цеха верстаки были плотно сдвинуты, и получился помост, а на помосте стояли два верстака. Над ними висел такой плакат:

«Забьешь гвоздь, как снайпер, — угодишь в сердце фашисту!»

Возле помоста толпились, шумели ребята. Ученики Кости стояли отдельной кучкой. Они были встревожены и обрадовались, увидев своего наставника.

— Как тебе нравится, Малышок? — спросил Миша. — Здорово мы с Зиной придумали насчет снайперов молотка! Как на фронте, правда? Сегодня проводим конкурс молотков. Не подкачай!

Явился начальник филиала Шестаков и сказал маленькую речь:

— По почину комсомольской организации мы проводим конкурс молотков... — Он немного помолчал и заговорил совсем просто: — Ребята, заводы дают нам на сборку все больше деталей. Вы видите, какие штабеля лежат во дворе. Можно усилить сборку «катюш» для братьев-фронтовиков, а тары не хватает. Без ящика «катюшу» на фронт не отправишь, она любит хорошую деревянную шубу. (Послышался смех: ребятам понравилось, что ящики — это деревянная шуба.) Так вот, надо делать больше ящиков, а для этого нужно владеть молотком, как снайпер на фронте владеет винтовкой.

На помост вскочил Миша.

— Порядок конкурса следующий, — объявил он. — В каждой смене соревнуются две пары. В первой смене — инструктор стаха-

новских методов труда Константин Малышев и укладчица донцев Люся Полисюк. С ними соревнуются Петр Зозуля, еще не овладевший снайперским молотком, но выполняющий полторы-две нормы в день. Для него донца будет складывать Женя Костина. Каждой смене дается двадцать минут. Посмотрим, ребята, у кого как пойдет работа!

Ребята теснее сдвинулись у помоста и затихли. Миша взял у Зиночки ее часики-браслетку.

— Укладчицы, приготовьте первые заготовки! — скомандовал он. — Внимание!

Глотнув от волнения воздух, Костя опустил взгляд на заготовку, чтобы не видеть блестящих глаз, следивших за каждым его движением.

Послышался сипловатый утренний гудок.

— Начали!

И Миша махнул рукой сверху вниз, будто отрубил кусок времени.

Сначала Костины пальцы не хотели слушаться. Они, наверное, испугались всего этого торжества — каждый палец спешил впереди другого, и ничего хорошего не получалось: то гвоздик уронят, то прищепят неправильно, то молоток пойдет вкось. Он рассердился и перестал думать, что на него смотрят. Зрители зашумели: «Петька, не отставай!», «Малышок гвоздь положил, честное слово, положил!», «Зозуля, не позорься!».

— Молчание! — с важным видом приказал Миша. — Прошу не нервировать соревнующихся!

Теперь Костя хорошо владел каждым пальцем и не чувствовал никаких нервов. Он хотел снять сколоченный щиток, но его осенило: он положил следующий щиток на уже готовый, сколотил его, положил сверху еще один щиток, сколотил и снял три щитка сразу.

— Правильно, — одобрил Миша. — Время экономишь!

Петя по выкрикам ребят знал, что он отстает, но он был стойчивый паренек: он сделал так, как его соперник, — тоже стал экономить время.

— Вот молодец! На лету хороший пример перехватил! — громко сказал начальник филиала.

— Кончили! — крикнул Миша.

Только теперь Костя бросил взгляд на своего противника. Петя так крепко сжал губы, что они побелели, и на лбу у него блестели капельки пота. Посмотрев на стопку донцев, сколоченных Костей, он спрыгнул с помоста и, опустив голову, расталкивая зрителей, пошел к своему верстаку.

— Стой, Петрусь, это не дело! — остановил его Миша. — Надо друг другу руку пожать, как футболисты. Чего обиделся? Все было по-честному, для фронтовой пользы. Правда, ребята?

Ребятам было немного жаль Петю.

— Чего ты, на самом деле! — закричали они. — Чего надулся? Ты тоже так сумеешь!

Вернувшись, Петя быстро пожал руку Косте и остался смотреть с другими ребятами.

— Ребята, результат у вас перед глазами! — объявил Миша. — Снайпер молотка Константин Малышев со своей помощницей Люсей Полисюк выдал щитков почти в два раза больше, чем Петр Зозуля со своей помощницей Женей Костиной. Вот что значит владеть молотком по-снайперски!

Все аплодировали, а Костя не знал, куда деваться. Впрочем, он никуда не девался: все-таки приятно, когда хвалят за хорошую работу. Потом снова начались минуты волнения. На помост поднимались ученики Кости, соревновались с лучшими ударниками производства и побеждали их. Теперь уж всем ребятам было ясно, что снайперский молоток — не шутка, и они говорили друг другу, что стать снайпером можно быстро, только нужно тренироваться несколько дней до пота.

— Учитесь, боевые ребята тарного цеха, это нужно для фронта! — подзадоривал их начальник филиала, когда конкурс кончился. — Ученики Малышева сделают вас снайперами молотка, было бы только у вас желание. Каждому, кто овладеет молотком, мы дадим помощника-укладчика из новичков. За подготовку первой группы инструкторов передовых методов труда Малышеву объявляется благодарность в приказе по филиалу и выдается полная премия — ватный костюм, валенки и две пары белья...

Кажется, все было хорошо, почему же на душе было так смутно? Вот вопрос, ждавший ответа от победителя.

— Можно Зозулю взять в стахановскую школу? — спросил он у Миши.

— Одобряю! Поговори с ним, а то парень заскучал.

Когда Костя подошел к Пете, тот притворился, что не заметил его, не поднял глаз и продолжал работать.

— Дай-ка молоток! — сказал Костя. Он внимательно осмотрел его и качнул головой. — Совсем плохой! Я таким и не стал бы работать. Запарился бы враз... Ты зачем ручку подрезал? Ты сделай длиннее, да не круглую, а вот такую. — И он показал Пете свой молоток. — У тебя стук правильный, ты только молоток подгони по руке... Да гвоздь в два стука не забивай, а в один.

— А я привык в два стука.

— Хочешь в стахановскую школу пойти? Научишься как надо...

— Добре, — отметил Петя будто равнодушно, а на самом деле обрадованный.

Теперь, кажется, все стало совсем хорошо — почему же на душе было так тяжело? В этот день Миша дал Косте отдых, но

лучше бы Костя не имел свободной минуты. Он смотрел, как его ученики учат подшефных, а за спиной стояла навязчивая тревога. Он все собирался поговорить с Зиной и не решался. Миша снова не мог провести с ним вечер — он задержался у начальника филиала на совещании.

НЕОЖИДАННОСТЬ

Стараясь не шуметь, Миша вошел в комнату, окликнул: «Спишь, Малышок?» — зажег коптилку и развернул большой пакет. В пакете были черный ватный костюм, темно-серые, крепко скатанные валенки и две пары бязевого белья. Миша положил все это богатство на табуретку, чтобы Костя, проснувшись, сразу увидел премию, присел к столу и задумался. Во сне Костя выглядел озабоченным — можно было бы сказать, что знаменитый снайпер молотка спит, сжав кулаки.

Миша вздохнул... Он привык к этому неразговорчивому парнишке, который улыбался редко, но так широко, что одна его улыбка заменяла не меньше пяти обыкновенных.

— Что же, — со вздохом проговорил Миша, — может быть, все-таки получится по-нашему... Еще похлопочем...

Ему на глаза попала записка, оставленная Костей: «Еш картошку на печке». Он вынул карандаш, вернул слову «ешь» мягкий знак, сбегавший в слово «печка», поставил отметку «2» и снял котелок с печурки.

На другой день Миша не сразу сообщил Косте неприятную новость. Он дал своему другу налюбоваться валенками, помог облачиться в ватный костюм, и они вышли из дому. Казалось, что рядом с худощавым Мишей катится черный мяч — таким круглым и плотным стал в своей великолепной обновке Костя. Небо перед зарей переливалось тихим звездным мерцанием, мороз обжигал щеки, но не мог пробрать крепко упакованного снайпера молотка.

— Кстати, Малышок, — сказал Миша, — не так-то легко тебя отвоевать. Вчера начальник филиала полчаса ругался по телефону с заведующей отделом кадров и с начальником первого цеха. Они требуют, чтобы ты вернулся на завод.

Затаив дыхание Костя ждал продолжения.

— Все ваши ребята под Новый год возвращаются на завод. Тебя это, конечно, не привлекает?

— Больно мне нужно в подсобных ходить...

— А если тебе дадут другую работу? Если тебя поставят за станок?

Косте сразу стало жарко, в ушах зашумело.

— Что ж ты молчишь? — обеспокоенно спросил Миша. — Что тебя больше привлекает — работа на филиале или учеба за станком?

Мысли заметались и перепутались. Филиал — это Миша, это слава в тарном цехе... Но станок!..

— Станок — это не молоток, — проговорил Миша, будто прочитал мысли своего друга. — Станок интереснее? А мне кажется, что быть мастером интересно в любом деле... Впрочем, выбирай сам!

А что было выбирать, какой тут был выбор! Станок, заветный, желанный станок, позвал его, и он должен был ответить: «Иду! Иду резать сталь!» Кроме того, если бы Миша мог до конца прочесть все мысли своего друга, он, к своему удивлению, увидел бы тонкую фигурку девочки, склонившейся к станку, он понял бы, что Костя должен непременно сравняться с этой девочкой, до которой сейчас ему было очень далеко, как он думал...

— Во всяком случае, ты подготовишь еще одну группу инструкторов, — сказал Миша, будто только это его и занимало.

— Ясно, — ответил Костя тихо.

Медленно и в то же время незаметно прошли последние дни пребывания Кости на Северном Полюсе. Он учил ребят забивать гвозди и искал оправдание тому решению, которое уже было принято им. Далеко ходить не приходилось — оправдание было под рукой. Дела тарного цеха быстро поправлялись — снайперские молотки стучали все увереннее, и некоторые ребята уже забивали гвозди с пальца, хотя Костя их этому не учил. Но дело не только в молотках. Теперь все видели, что работать бригадами в два человека гораздо сподручнее. В цехе появились новые слова: «укладчик» и «сбойщик».

— Ай да мы! — воскликнул Миша, когда Костя сказал, что может сдать вторую группу инструкторов. — Шутки шутками, а мы уже так даем тару, что упаковщики помалкивают, не жалуются. Пойдем, сам увидишь!

В упаковочном цехе залежи готовых «катюш» сильно уменьшились. Тара, только что поданная на вагонетках, ждала загрузки.

Упаковщики работали без остановки: снимали ящики с вагонеток, развинчивали «катюши», готовили их к снаряжению и упаковывали. Все это они делали молча, понимая друг друга без слов.

— Эй, Мингарей, долго еще будете вагонетки держать? — спросил Миша. — Не справляетесь, так людей попросите... Соображать надо!

Бросив на него быстрый взгляд, Мингарей усмехнулся.

— Командовать пришел? — сказал он. — Не туда попал, Миша, имей в виду...

— Если сейчас заваливаетесь, что будет через неделю? — продолжал Миша. — Вот что меня интересует.

— А что будет через неделю? — сердито осведомился высокий и тонкий рабочий. — Чего пугаешь?

— Прижмут вас наши снайперы по-настоящему, — пообещал Миша. — Правда, Малышок? Вот кто тебе горячо сделает, Мингарей! Будете плакать от нашего Малышка...

— Мы плакать не будем, — сказал Мингарей и прищурился. — Мы, башка, вторую смену робим, чтобы больше «катюш» отправить, а нужно будет — и на третью смену останемся. Мы не плачем. Ты, Миша, нас твоим знаменитым Малышком не пугай. Мы тоже комсомольцы, мы не боимся.

Он деловито вывел гостей во двор, будто хотел что-то показать, закрыл цеховые ворота и припер их спиной.

— Ты не ходи к нам, — сказал он решительно; его лицо в дневном свете было очень сурово. — Давай тару и нас не трогай. Не бойся, мы справимся!

— Все равно пришем буксир, — пообещал Миша.

Мингарей ступил к нему и сжал кулаки.

— Ты прилешь? — спросил он.

— Пришем, не беспокойся. Не проси — сами догадаемся. Мингарей схватил горсть снега и съел его:

— Видел?

— Ну?

— Не справимся — пускай меня... пускай меня Гитлер всю жизнь снегом кормит!

— Ненормальный ты! Завалите филиал, вот я что говорю.

— Мы заваливали?! Заваливали мы?! — повторил Мингарей и задрожал. — Не ходи к нам с Малышком! Давай тару, давай много тары, а сам не ходи разговоры разговаривать. Зря время тратишь и мою бригаду дергаешь. Голова!

Когда за ним закрылись ворота, Миша сказал:

— Мы их потащили, а они сборку потащат... Конечно, упаковщикам трудно. У них сейчас комсомольское знамя филиала, они боятся его потерять. Мингарей гордый, и бригада у него хорошая. Но знамя мы отберем непременно. Вот какие дела пошли... А ты уезжать хочешь, чужак! Говори: уедешь?

Невыносимо тяжело стало Косте: неужели он оставит филиал, неужели он оставит Мишу, к которому так привык?

— Говори: да или нет? — настаивал Миша. — Может быть, передумаешь?

— Уеду... — почти сквозь слезы проговорил Костя. — А коли за станок не поставят... обратно приеду...

Он отвернулся, чтобы Миша не видел его лица.

ГДЕ СТАНКИ?

Еще не проснувшись по-настоящему, посапывая и хмурясь, Костя одевался, а Миша делал последние наставления:

— Ботинки в белье положи; не растеряй. Ботинки отдай в ремонт. Вот кожа на подметки, возьми — она мне ни к чему. Как ты зарплату тратишь? На конфетки, наверное... Проси хозяйку молоко для тебя покупать, слышишь? Ножичек мой дарю тебе на память. И лыжи захвати. А теперь слушай: вот письмо.— И он протянул небольшой пакет, на котором было написано: «Тов. директору».— Это письмо от начальника филиала. Если все же решишь к нам перебраться, отдай письмо директору. Вчера я по телефону говорил о тебе с парторгом Цека Сергеем Степановичем Тагильцевым. Он обещал поддержать просьбу филиала... Все!..

Они позавтракали, вышли из дому и двинулись по узкой, извилистой тропинке среди молчаливых сосен. Много, очень много мог бы сказать Миша на прощание Косте — что привык к нему, что он заменил бы Косте старшего брата,— но он промолчал, так как чувствовал, что его друг и без того тяжело переживает грустную минуту.

У железнодорожной площадки филиала стояло несколько вагонов и шумно дышал паровоз, окутанный облаком плотного пара. Из одного вагона доносились голоса.

— Этот порожняк пойдет на завод за деталями. Ваши уже в вагоне,— сказал Миша, повернул Костю лицом к свету и обнял.— Прощай, друг! Если надумаешь к нам, я буду рад. А решишь остаться на заводе, работай, как на филиале работал! Всего!

Наклонившись, Миша быстро поцеловал его в щеку и заглянул в приоткрытую дверь вагона.

— Заводские, принимайте своего Малышка! — крикнул он.— Жаль отдавать, да ничего не поделаешь!

— Малышок, Малышок явился! — откликнулась Зиночка.

В вагоне, тускло освещенном фонарем «летучая мышь», на пустых ящиках сидели ребята и хлопали рука об руку, так как было холодно.

— А теперь споем «Катюшу», как ее на филиале поют,— предложила Зиночка.— Ребята, научим всех заводских комсомольцев петь «Катюшу» по-новому!

Тотчас же зазвенели голоса девчат. Все запели. Их поддержал паровозный гудок. Вагон вздрогнул, состав тронулся, и колеса на прощание торопливо сказали стрелкам: «Малышок, ток-ток, Малышок уехал».

— Ребята, помогли мы филиалу, не осрамились? — спросила Зиночка, когда песня кончилась.— Не стыдно возвращаться?

— Чего там стыдно! Конечно, помогли моржам-тюленям! — раздались голоса.

Паровоз затормозил, и вагоны, раскатившиеся под уклон, громко закрипели колесами. Кто-то забарабанил в дверь и распорядился:

— Ребята, вылазьте! Состав на заводскую ветку идет, вас дальше не повезем!

Ребята горошком высыпались из вагона на промерзшие, звонкие доски железнодорожной площадки и, набирая снегу в валенки, побежали к заводу, огни которого блестели за сосновой рощей. Костя сразу узнал это место: здесь они собирали инструмент, здесь нашли «победит», вон там чернеет старый тополь. А где станки? Где станки-пришельцы? Где станки, которые, по словам старого мастера, не могли надеяться на пристанище? «Железный кустарник» бесследно исчез, будто лишь пригрезился Косте. Значит, город все же вывез эвакуированное оборудование.

До начала дневной смены оставалось не меньше часа, но в молодежном цехе, который работал в одну смену, уже горели все огни, и Костя сразу увидел, что цеховые проходы сузились, появилась новая, четвертая линия станков. Она еще не вся вступила в строй. Несколько станков только что попали с мороза в тепло и обросли пушистым инеем, но иней уже таял, тут и там обнажился черный влажный металл.

Кто-то прикоснулся к плечу Кости. Это был Герасим Иванович Бабин.

— Вернулся, Малышок? — сказал старик. — Вот и славно...

Не было ничего странного в том, что мастер уже в цехе. Он обычно приходил на работу пораньше, но Костю удивило то, что Герасим Иванович как будто стал меньше, похудел, сгорбился.

— А я, Герасим Иванович, на филиале премию получил: две пары белья, пимы да ватный костюм, — похвастался Костя.

— Слышал, что хорошо работал, — ответил мастер, будто что-то припоминая. — А я вот в цехе...

— У нас станки новые?

— Не ходил домой, — продолжал мастер задумчиво, медленно. — Назначили меня старшим по оснащению новых станков — и правильно... Коли старику не спится, пускай все ж таки польза от этого будет. — Его рука, лежавшая на плече Кости, стала тяжелой; он объяснил, почему сон ушел от него: — Сына Виктора на фронте фашисты убили... Виктор у меня четвертый, меньшей... Старший на «Металлисте» механиком, двое средних на фронте сражаются. Все трое — коммунисты. А меньшей погиб, комсомолец мой... — Он помолчал и добавил: — Жаль парня... Бойкий был. Только-только десятилетку кончил... Вот и не спится.

— Фашистов надо всех «катюшами» поджечь, на куски разорвать! — сказал Костя, которому стало жаль мастера и Виктора.

— Дождутся они! — ответил старик, и тут его глаза резко блеснули, а рука крепко сжала плечо Кости. — Дождутся, проклятые!

Они медленно пошли вдоль новой линии станков. Получилось так, что Герасим Иванович провел Костю в самый конец цеха, за колонны.

Раньше это помещение пустовало, а теперь здесь горела яркая лампа, и Косте бросились в глаза четыре станка, поставленные в ряд, — небольшие, с тяжелыми станинами, с контрприводами вместо коробок скоростей, — словом, старые машины.

Один станок работал, медленно обтачивая деталь, которую на заводе называли просто трубой или карманом. Возле станка беседовали трое: пожилой рабочий в комбинезоне, директор в своем мохнатом пальто и еще человек, как будто знакомый, в аккуратном черном полушубке; этот человек стоял спиной к Косте, опираясь левой рукой на палку.

— Старинные станки, Лев Борисович, — сказал рабочий. — Много ли с них возьмешь...

— Надо, чтобы производительно работала вся техника, — возразил человек в полушубке, и по звуку голоса Костя окончательно узнал парторга. — Мы должны заставить и старую технику работать по-новому.

— Правильно, — поддержал его директор. — Четыре таких «Буша» взял ремонтный цех, четыре — здесь. Они делают немного, но делают уверенно. За эти станки мы поставим галчат Герасима Ивановича, пускай привыкают... Кстати, нужно наложить пломбу на ручку для переброски ремня. Обточку «труб» будем производить при постоянном режиме. Режим сделаем по работникам. — Он усмехнулся, взглянув на Костю. — С этими станками, Герасим Иванович, ваши галчата справятся?

— Подучим, так справятся, — ответил Бабин. — И четверка галчат на примете есть. — Тут старик тихонько встряхнул Костю. — Вместе живут, вместе балуют. Нужно их к серьезному делу приставить, в рост пустить...

Вдруг послышался высокий звук, прозрачный и чистый, как струя ледяной воды, и такой тонкий, что в ушах зазвенело. Это дрожала под резцом сталь, это проснулась душа металла.

— Запел, — ласково сказал рабочий. — Перекаленная заготовка попала, а «Буш» обрадовался. — И, отведя резец, он нажал на красную кнопку «стоп» на колодочке управления.

Директор ушел, а парторг остался. Он улыбнулся Косте, как видно узнав его. Теперь лицо у Сергея Степановича было не такое бледное, как раньше, бородку он сбрил, в глазах у него светилась живая усмешка, и всем этим он напомнил Косте его брата.

— Здравствуй, снайпер молотка! — сказал парторг. — Недаром ты съездил на филиал. Помог полярникам, спасибо! Мне

звонил оттуда комсомолец Полянчук. Просил, чтобы я помог тебе закрепиться за филиалом. Ты привез письмо от начальника филиала? Где оно?

Рука Кости коснулась пакета, лежавшего в кармане ватника, и тотчас же отдернулась, будто обожглась.

— А что мне на филиале делать! — сказал он, испуганный и несчастный. — Там уж снайперов полно... Обойдутся...

— Он давно за станок просится, — вмешался Герасим Иванович. — Вы уж, Сергей Степанович, у меня кадры не отбирайте. Каждый человек на счету.

— За станок хочешь? — сказал парторг, внимательно вглядываясь в лицо Кости. — Из учителей в ученики идешь? Мешать не буду. Не каждый так может... Если ты можешь, значит, расти будешь. Рости, парень! — И он ушел прихрамывая.

— Герасим Иванович, вы меня на этот станок поставьте! — умоляюще проговорил Костя, указав на станок, который только что так звонко с ним поздоровался.

— Все они на один манер, — ответил мастер.

Костя понял это как согласие.

ХОЗЯИН СТАНКА

Так вот как сложилась судьба станков. Когда фронт приблизился к заводам, люди спешно погрузили оборудование в вагоны и увезли его в уральские и сибирские города. Незнакомые люди выгрузили станки, и вдоль полотна железной дороги вырос «железный кустарник».

Потом началась осень, и дождь поливал станки; потом пришла зима, и снег засыпал их. Но советские люди, не глядя на мороз и пургу, строили новые цехи и заводы. Они отогрели станки, отремонтировали их, смазали, укрепили на фундаментах и подключили к энергии. Сначала станки были некрасивые, ржавые, с облупившейся масляной краской, но люди сняли ржавчину наждачной шкуркой, покрасили станины, и вот мальчику в длинной шапке кажется, что «Буш» — это очень красивый, даже необыкновенный станок. Он, Костя Малышев, — хозяин этого замечательного станка, хозяин стеллажа для готовых деталей, хозяин инструментального шкафчика! Чудеса!

Оборудования прибавилось и во втором и в третьем цехах. Взрослые рабочие ремонтировали и налаживали станки. Несколько раз Костя встретил директора — озабоченного, с глазами, красными от бессонницы. Всюду поспевал начальник первого цеха Тимошенко — маленький, черный, мешавший русскую и украинскую речь.

Костя обрадовался, когда увидел Нину Павловну, только что пришедшую на работу, и Нина Павловна обрадовалась ему. Оказалось, что она все знает: и то, как он отличился на филиале, — об этом она прочитала в многотиражке, и что его ставят за станок — это она слышала от Герасима Ивановича.

— Поздравляю, медвежонок, твои дела идут хорошо, — сказала она, когда они с Костей сидели в лаборатории. — А мои оставляют желать лучшего... Пей чай... Закалка «рюмки» в свинце пока идет неважно, и... писем с фронта нет... Ты еще не видел Катю? Не узнаешь ее — так она изменилась, похудела. Сева говорит, что она получила письмо-треугольничек, вероятно, с фронта... Я спросила ее, что за письмо, — она ничего не сказала... А бабушка слышала, что Катя ночью плакала, как ребенок. Что все это значит? Она мучается, потому что знает что-то тяжелое... и одна несет тяжесть... А я мучаюсь, потому что не знаю ничего и придумываю всякие ужасы... — Она отвернулась от Кости, быстро вытерла глаза и встрепенулась: — Надо идти в цех, готовиться к митингу. Сегодня такой большой день — мы все на заводе подпишем новогоднее письмо со своими обязательствами и отошлем его в Москву.

Этого Костя не знал.

— И я подпишу?

— Как же иначе! Ведь ты тоже хочешь победы над фашистами. Вот и докажи это за станком.

Провожая Нину Павловну в цех, он опасливо задал вопрос, который очень занимал и тревожил его:

— А кто будет стружку убирать, коли подсобников за станок ставят?

— Стружка? Ну, это решенная задача, — успокоила его Нина Павловна. — Наш инженер-конструктор, Павел Петрович Балакин, предложил замечательный транспортер-вибратор, вроде транспортеров для погрузки песка и зерна. Такой вибратор будет установлен в каждом цехе и выведен в окно. Стружка пойдет в бункера, а из бункеров — в вагоны для отправки на переработку.

С души скатился тяжелый камень. Вот спасибо Павлу Петровичу Балакину! Теперь Костя мог спокойно браться за станок, не оглядываясь на стружку.

К Л Я Т В А

В тот день, в последний день 1941 года, на Урале прошли митинги. Они состоялись везде, где люди трудились для фронта, — на заводах, рудниках, шахтах, лесных промыслах, на железной дороге, в колхозах. На митинги пришла вся армия труда — те, кто добывал руду, плавил металл, занимался наукой, валил

лес, растил хлеб, делал все, что нужно для танков, самолетов, военных кораблей, пушек и «катюш».

В цехах номерного военного завода люди собирались у трибун с красными знаменами.

В первом цехе участниками митинга были подростки, а младшим среди них был Константин Малышев.

Председатель цехкома — мастер третьей бригады — взошел на трибуну и махнул шапкой.

— Товарищи! Внимание, товарищи! — крикнул он. — Разрешите считать новогодний митинг открытым!

Шум и говор оборвались. Ребята плотнее сдвинулись у трибуны. Кто-то сказал: «Давай ближе!» — и стал толкаться, но на него зашикали, чтобы знал, когда можно дурить, а когда нельзя, и наконец наступил полный порядок.

— Товарищи! — продолжал председатель митинга. — В новом году мы должны делать «катюш» гораздо больше, чем делали до сих пор, чтобы скорее разбить фашистов. Весь Урал обсуждает новогоднее письмо, весь Урал дает партии и правительству священную клятву — самоотверженно трудиться для фронта. Обсудим письмо и мы! Проект письма прочитает товарищ Соловьева. Может быть, у вас будут поправки или дополнения, а может быть, кто-нибудь вообще напишет лучше.

Ребята засмеялись. Кто же возьмется составить такое письмо! Его нужно написать складно, а разве это легко?

Положив перед собой большой лист, Зиночка подняла руку.

Ребята увидели, что у нее бледное, светящееся лицо, а глаза — как темные жаркие огоньки.

Она стала читать, но сначала получалось едва слышно, и кто-то сказал: «Громче!» Зиночка стала еще бледнее, голос поднялся и зазвенел. Тут Косте стало понятно каждое слово, будто все слова были взяты из его взволнованной души.

— «Мы, трудящиеся, обязуемся отдать все свои силы для победы над немецкими фашистами, работать дни и ночи, чтобы в новом, 1942 году удвоить, утроить выпуск всех видов вооружения и боеприпасов, еще лучше снабжать всем необходимым нашу доблестную Красную Армию, которая под руководством родной Коммунистической партии сотрет с лица земли гитлеровскую банду», — читала Зиночка.

Ребята захлопали в ладоши.

— Кто хочет высказаться? — спросил председатель митинга. — Возьмите слово, Герасим Иванович!

Снова все стали аплодировать, потому что уважали старого мастера самой лучшей бригады. Он медленно взошел на трибуну, снял кепку, и ребята удивились, точно в первый раз увидели, какие у него белые волосы — как снег. Он призадумался, глядя на молодежь.

— Тут дело понятное,— сказал он.— Каждый должен сознавать, что такое фашист...— Он чуть-чуть грустно улыбнулся и продолжал: — Хочу я свой понятный пример привести... Слушай меня! Сколько тут вас есть — подними руку, чтобы мне видно было.

Конечно, участники митинга не поняли, зачем нужно голосовать, но подняли руки, а паренек, стоявший рядом с Костей, поднял обе руки и, подмигнув, шепнул:

— А мне не жаль для хорошего человека.

Этого паренька Костя знал — он был эвакуированный и работал в третьей бригаде на шлифовке.

Старик тоже поднял руку.

— Вот... Жили мы тихо-мирно, никого не обижали, войны не хотели, а фашист сделал войну,— сказал он.— Теперь слушай меня: кого собака Гитлер отца-матери лишил, без домашней жизни оставил, опусти руку.

Этого никто не ждал. Тут и там руки стали нерешительно опускаться. Паренек, который из озорства поднял обе руки, продолжал улыбаться, но улыбка у него стала бледная. Он быстро, коротко вздохнул и опустил руки.

Опустилось много рук, и стало так тихо, так тихо, что по коже пробежал мороз.

— Так... Видишь, что поганый фашист натворил, сколько нашего молодого народа осиротил! — с горечью в голосе сказал Бабин.— А теперь опусти руки, у кого отцы, братья на фронте. Кто письма получает, а может... не получает.

Снова опустилось много рук. Опустил руку и сам мастер, опустил руку и Костя. Он впервые по-настоящему подумал: «Жив ли Митрий?» — и ему стало трудно дышать.

— Ишь как мало рук поднятых,— покачал головой Герасим Иванович.— А теперь убери руки, кто хотел в институтах, в университетах учиться, да фашист помешал.

Будто ветер скосил руки — все до одной. Серьезный, задумчивый, Герасим Иванович смотрел на ребят, а ребята тоже стали задумчивыми; они молча, сосредоточенно смотрели на старого мастера.

— Понял меня? — спросил он.— Столько от фашистов горя, что перенести невозможно.— Он выпрямился, стал высоким, хлопнул кепкой по краю трибуны и крикнул: — Вы — как знаете, не маленькие, а я письмо подписываю и даю слово работать так, как в этом дорогом письме написано!

Герасим Иванович уже сошел с трибуны, но что-то вспомнил, быстро вернулся и отрывисто проговорил:

— Новые станки у нас поставлены... Есть, конечно, и последнее слово техники, однако есть и старые: станки «Буш», например. Куда им до наших советских! Но работать вполне можно. Пускай

и старье послужит фронту. Станки есть, а где мастера? Станки сами крутиться не будут. Значит, ребята, учись, инструкторов слушай, а кто на прежнем станке останется, тем более за высокий процент бейся. Наши «катюши» — фашисту смерть. Ты здесь процент добавишь, а на фронте фашистская душа к черту вылетит, туда ей и дорога! Ты здесь пролодырничаешь, а фашист жив останется. А может, он в твоего отца, брата целится, убить его или искалечить хочет. Понимать надо!

Послышался чей-то голос:

— Подписывать письмо! Чего там говорить! Все ясно!

Это был сигнал к буре. Все закричали:

— Подписывать, подписывать письмо!

— Нет, товарищи, еще надо говорить, — остановил их председатель митинга. — Неизвестно, что каждый из вас обещает сделать. Кто возьмет слово? Ты, Галкина?

Вытянув шею, Костя поднялся на цыпочки, чтобы лучше видеть.

Катя взошла на трибуну, красная, будто долго бежала, застыла, опустив голову. Никогда еще Катя не казалась Косте такой маленькой и худенькой. Катя подняла глаза.

— Я клянусь... я клянусь работать по-стахановски, — проговорила она. — Всегда вырабатывать полторы нормы... Систематически...

— Это дело! — откликнулся Герасим Иванович. — А я тебя, Галкина, на другой станок ставлю. Тогда что?

— Все равно... Я быстро освою станок... Потому что фашисты... такие проклятые... — Она не закончила, сорвала берет с головы, так что волосы сразу распушились облачком, спрятала лицо в берет и медленно сошла с трибуны.

Выступали и другие ребята. Они обещали хорошо работать, беречь инструмент, ухаживать за станком. Наконец все проголосовали — скорее послать письмо, без поправок. Ребята столпились вокруг стола, покрытого красной скатертью, передавали друг другу ручку и старательно писали под письмом фамилию. Зиночка беспокоилась:

— Ребята, ребята, прошу вас, подписывайтесь в столбец, а то не поместится.

Колька Глухих похвастался:

— А у меня росчерк красивый, как у директора! Я последний распишусь.

К столу подошла Катя, взяла ручку, написала «Галкина Е. В.», призадумалась, тряхнула головой, решительно провела черточку-тире и поставила: «150%».

— Что ты делашь! — растерялась Зиночка.

— Обязательство свое на новый год написала. А что? — сказала Катя. — Чтобы сразу видно было...

— Ничего, это дела не портит,— успокоил Зиночку старый мастер.— Так даже лучше...

— И я напишу! — вызвалась толстененькая Леночка Туфик, торопливо протирая очки.

Взяв у нее ручку, Костя вывел первые три буквы фамилии «Мал», поскорее приделал коротенький росчерк, поставил «150%», передал ручку следующему и отошел от стола, смущенный своей смелостью.

— Его еще к станку не поставили, а он уже в стахановцы метит,— улыбнулся мастер.— Не уходи, Малышок, и вы, девочки. А Булкин еще болеет?

— Булкин-Прогулкин говорит, что еще болеет,— с многозначительной гримаской ответила Катя, оправившаяся от своего волнения. Потом она небрежно сказала Косте: — Ах, ты уже приехал с Северного Полюса! — будто и без того не было видно, что он приехал.— Ты знаешь, что тебя ставят за станок? Ты рад?

— А то нет...

— С чем и поздравляю,— бросила Катя и, обняв Леночку, пошла с нею прогуляться по цеху и послушать, как ребята, приехавшие с Северного Полюса, поют новые песни.

Подписей становилось все больше. Теперь даже трудно было увидеть в этой массе подписей фамилию Кости. Возле каждой подписи стояло обязательство: 120, и 150, и даже 200 процентов. Старики и молодые на заводах и в колхозах подписали письмо. Подписей набралось больше миллиона. Газеты напечатали письмо, и все государство, все фронты узнали, что уральцы поклялись дать в 1942 году в два-три раза больше оружия, чем в 1941 году. А ведь наступал тот великий год, который кончился Сталинградской битвой.

Казалось, что все фронты кричат Уралу:

«Больше оружия!»

С Уральских гор донесся спокойный ответ:

«Клянусь — оружия дам сколько нужно!»

Этот могучий голос сложился из миллионов голосов, и был среди них слабый голос, принадлежавший Константину Малышеву. Но этот голос шел от самого сердца.

«СЛАБОЕ ЗВЕНО»

Дальше все было так просто, даже удивительно. Старый мастер окинул взглядом тройку ребят, собравшихся возле его столика, и сказал:

— Шагай, гвардия, за мной!

И «гвардия» отправилась в конец цеха, за колонны.

Здесь, заложив руки в карманы, их ждал Иван Стукачев, молодой токарь, воспитанник ремесленного училища, веселый и добродушный парень лет восемнадцати. Он старался во всем походить на старых рабочих и уже умел с помощью кепки прекрасно выражать свои чувства: надвинет кепку на глаза — озабочен; осадит на затылок — начались горячие дела; хлопнет кепкой по ладони — сердится.

Увидев «гвардию» Бабина, он чуть слышно свистнул и сдвинул кепку на ухо — в знак того, что весьма озадачен.

— Вот так кадры! — сказал он.

— Брось, Стукачев! Эти кадры, какие ни есть, всю мелкую деталь для «катюш» делают, а теперь будут и «трубы» для второго цеха давать, — пристыдил его старик.

— Мне, положим, все равно, Герасим Иванович, — решил Стукачев. — Обещает директор в танковое училище меня зачислить, если я взвод токарей подготовлю... Ладно! — Он крикнул: — Смирно! По порядку номеров рассчитайсь!.. А почему здесь трое! Где четвертый?

— Здесь, — слышался спокойный голос.

Все обернулись. Прислонившись к колонне, стоял Сева Булкин.

Косте показалось, что за то время, что они не виделись, Сева стал выше и тоньше; глаза казались еще темнее на побледневшем лице.

— Выздоровел? — спросил мастер.

— Нет... Бюллетень еще не кончился... Пришел посмотреть, как кто будет технику осваивать.

— Ну, если болееешь легонько, так посмотри, а потом домой ступай...

Мастера позвали в цех, он ушел, а Стукачев тотчас же приступил к обучению новичков.

— Ставлю вопрос прямо, — сказал он с важным видом. — Доверили вам станок — значит, учись серьезно, чтобы сразу польза фронту была. — Он ткнул пальцем в один из станков, потом показал на заготовки — короткие отрезки труб, лежавшие на полу, — и начал лекцию: — Это что? Токарный станок «Буш», музейная редкость. Дурак испугается, а умный спросит, что за станок «Буш» и как его крутят.

— Знаем мы станок, — хвастливо сказала Катя. — Только Малышев да Булкин не знают. Они подсобники.

— Кто тебе слово разрешил? — прикрикнул Стукачев.

Покраснев, Катюша оттопырила нижнюю губу и отвернулась.

— Подбери губу, телега переедет, — мирно посоветовал Стукачев и продолжал лекцию: — Что же мы имеем в станке? Это — патрон. В нем деталь зажимают. Это — задняя бабка. Она деталь

с другого конца придерживает. Это — суппорт. Он резец держит и передвигает его справа налево...

Так он объяснил, для чего служит каждая часть станка и как с нею обходиться. Например, как закреплять деталь? Берешь торцовый ключ, вроде того ключа, которым кондуктор открывает двери вагонов, вставляешь в отверстие патрона и повертываешь. В патроне расходятся три железных кулачка. Вставляешь между ними конец заготовки и повертываешь ключ в другую сторону. Кулачки сдвинулись и зажали заготовку.

— Ставь «трубу»! — приказал Стукачев Косте.

Это было совершенно неожиданно. Костя подхватил с полу заготовку и поднял на уровень патрона. Но ведь кулачки были сведены, между ними не прошел бы и палец, а не то что широкая «труба».

— Интересуюсь, куда девалось то, что я тебе в голову, как порядочному, сыпал? — спросил Стукачев, и Костю точно кипятком обварило. — Что нужно прежде сделать?

— В токари лезет! — процедил Сева.

— Посмотрим, как ты умеешь, указчик! — сказал Стукачев.

— Есть что уметь...

Не спеша Сева приготовил патрон и зажал деталь так уверенно, точно занимался этим делом целый год без выходных дней. Затем он позвенел гаечным ключом, раздвинул губу резцедержателя на суппорте, вставил резец, постучал по нему ключом, выровнял так, чтобы резец подходил к заготовке под прямым углом, закрепил его уже по-настоящему, нажал белую кнопку «ход» и, повертывая стальную ручку суппорта, подвел резец к заготовке. Резец со скрипом врѣзался в сталь и снял первую стружку.

Остановив станок, Сева проверил мерительной скобой-подковой диаметр «трубы» в том месте, где уже была снята стружка. Заготовка прошла между губами скобы так, что они только чуть-чуть коснулись металла.

— Ловко! — невольно признал Стукачев. — Давай!

Новоявленный токарь пустил станок. Толстая, рваная по краям, ломаная стружка стала медленно наползать на резец. Сева бросил на ошеломленных ребят победный взгляд.

— А этих, конечно, нужно учить, — сказал он Стукачеву, как равному. — Девочки только кольца резали — детская работа. А Малышев совсем ни бе ни ме...

— Ты нос не задирай! Они тебя еще за пояс, может, заткнут, если на соревнование вызовут. Так, ребята? — И Стукачев сказал Косте: — Ну, слабое звено, видел, как зажимают заготовку? Надо головой думать, что делаешь. Смотри да учись...

Домой возвращались втроем — Катя, Леночка и Костя. Он не напрашивался в попутчики, Катя сама предложила: «Пойдем с нами».

— Не понимаю, когда Булкин научился токарить,— сказала она, растирая уши, зашипаные морозом.

— А я знаю,— откликнулась Леночка.— Когда было комсомольское собрание и я осталась послушать — помнишь, Катя? — я видела, что Булкин вертится возле наладчика, который «Буши» настраивал. И Колька Глухих тоже там был. Наверное, Булкин тогда учился!

— Подумаешь, удивил! — фыркнула Катя.— Не понимаю, что он этим доказал? Что он умный? Он только форсит... Все равно мы его догоним, перегоним и нос покажем!

— Ой, непременно! — воскликнула Леночка и тут же выразила опасение: — Только вот Малышок совсем... неопытный.

— Надо, чтобы Малышок не был слабым звеном,— твердо решила Катя.— Я возьму над ним шефство, очень просто!

Они обсуждали вопрос о «слабом звене», будто Костя был глухим или находился на другом краю света. Но Костя все слышал, и его гордость, которая сильно выросла на Северном Полюсе, возмутилась: о первом снайпере молотка говорят так высокомерно!

Вечер был темный.

На Земляном холме посвистывал ветер. Внизу лежала темнота, только кое-где виднелись слабые огоньки.

Никто не верил, что фашистские самолеты долетят до Урала, но город все же затемнялся.

Свет в дома давали поздно, автомобили бегали с тусклыми синими фарами, а у трамваев были густо закрашены стекла.

— Раньше, до войны, внизу было огоньков больше, чем звезд,— припомнила Катя.— Было светло, весело... Мы с папочкой Новый год в клубе «Профинтерн» встречали, а потом во Дворце пионеров была большая елка, концерт... Теперь все не так!

Девочки побежали, спасаясь от мороза, а Костя нарочно отстал от них. В своем ватном костюме он не боялся холода и, кроме того, не хотел напрашиваться в общество девочек, считавших его «слабым звеном».



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

ВЕЧЕР

Большой сугроб за воротами расступился, выскочил Шагистый, отряхнулся, узнал Костю, положил ему лапы на плечи и заскулил. Как полагается настоящей лайке, Шагистый зимой жил в снежной берлоге, от этого его шерсть становилась еще пушистее. Костя сунул ему кусочек хлеба, припрятанный от обеда. Шагистый, пятясь, забрался в логово и, вероятно, подумал: «Катя каждый день здесь живет, но она не знает, где брать корочки, а Малышок где-то долго бегал, но не забыл принести корочку, потому что он добрый».

В жарко натопленной кухне Костю встретила Антонина Антоновна и всплеснула руками.

— Не узнать тебя, Костенька! — запела она. — Уж как тебя ладно одели! И кормили, видать, за обе щеки — ишь какой кругляшок наел!

— За станок меня ставят, — сообщил Костя. — А Севолод-то середь дня из цеха ушел. Недужит...

— Недужит, недужит Севушка... Я ему морсу в распределителе взяла, пускай пьет кисленькое.— Она вздохнула, опасливо посмотрела на дверь гостиной, хотя Катюша еще не вернулась домой.— С принцессой тоже невесть что случилось. Писем, говорит, не получала, а вот поди же...

В боковушке Костя повернул выключатель и сразу встретился со взглядом Севы. Положив под топчан лыжи, он присел на табуретку снять валенки, а Сева упорно следил за ним: глаза на осунувшемся лице блестели.

— Лежишь? — спросил Костя.

— Нет, танцую...

— Болтаешь! — обиделся Костя.— Уж и поговорить с тобой нельзя!

— Малышок, постой, Малышок, не уходи! — вскинулся Сева, когда Костя взялся за ручку двери.— Все-таки скажи определенно: почему ты не хочешь вести нас в тайгу? Пойдем в тайгу! — В голосе его прозвучала тоска.— Пойдем! Мы решили с Колькой добыть золото, сдать его и сразу на фронт пойти. Понимаешь?

Его голос, его слова тронули Костю.

— Глупо ты думаешь, — сказал он.— Без твоего золота фронт обойдется, а без рук не обойдется. Мы оружия сделаем сколько нужно. Миша сказывал, наш завод «катюши» делает, а Большой завод уже много танков дает.

— Что ты понимаешь! — отмахнулся Сева.— Много ты работаешь!

— Все одно никак нельзя с завода уходить, — стоял на своем Костя.— Я слово дал полторы нормы вырабатывать. Понял?

— Значит, точка! — криво усмехнулся Сева.— Никогда ты полторы нормы не сделаешь. Видели мы сегодня, какой из тебя токарь. Жалкое ничтожество!

Как раз в эту минуту Антонина Антоновна позвала Костю пить чай. Сначала он пил чай сердито, а потом подумал: «Это Булкин все со зла говорит... Буду токарем!» А тут еще Катя прибежала от Леночки Туфик и сказала такое, что Костя и думать забыл о Севе.

— Малышок, мне надо с тобой поговорить. Зайди в гостиную!

— Принцесса растаяла! — прошептала старушка.— Иди уж!..

Смущенный Костя нерешительно переступил порог гостиной, куда до сих пор лишь иногда мельком заглядывал из кухни. Теперь он вблизи увидел всю роскошь галкинского дома: круглый одноногий стол, покрытый гарусной скатертью, ковровый диванчик, кресла в чехлах, на стенах — картинки в золоченых рамах, а на полу, возле топившейся печи, — медвежью шкуру. В уголке на столике стоял стеклянный ящик, в котором плавали золотые рыбки, — это было самое занятное.

На медвежьей шкуре сидела Катя с книгой в руках.

— Садись, пожалуйста,— сказала она.— Это книга моего папочки о металлорежущих станках, видишь? Вот станок совсем как «Буш». Мы решили с Леночкой — всю ее прочитаем и станем квалифицированными токарями. Только нужно еще и математикой заниматься, а то тут есть всякие формулы. Хочешь учиться с нами? Я буду тебе все объяснять.

— Я учиться люблю,— согласился Костя.

Катя задумалась, глядя на огонь, шумевший в печке.

— Папа на заводе начальником термички был,— вдруг проговорила она.— Тогда завод только запасные части для тракторов делал. Папа был самым лучшим инженером термообработки, его на другие заводы для консультации всегда приглашали. Он даже диссертацию писал. А Нина Павловна у него училась, сама ничего не умела... Если бы папа был на заводе, он в одну минуту показал бы, как «рюмки» калить, не то что Нина Павловна.— И она пренебрежительно фыркнула: — Подумаешь, ученица Василия Галкина!..

Это напомнило Косте стычку Кати с Ниной Павловной. Для того чтобы переменить разговор, он сказал, погрузив пальцы в густую и жесткую медвежью шерсть:

— Добрый медведь, большой...

— Это папа его убил! — подхватила Катя.— Он на охоту ездил в лесничество, к моей тете.— Она улыбнулась воспоминаниям.— Папа за рулем в «газике» сидит, а Шагистый вместо пассажира. Важный такой, щурится, и язык набок. Я ему один раз автомобильные очки надела, а он хитрый — снял и под сеновалом закопал... Этого медведя папа ножом уложил.— Она нашла на шкуре разрез и продела в него свой тоненький палец.— Вот видишь, я правду говорю. У папы был длинный кинжал с костяной ручкой. Он его и на фронт взял — проклятых фашистов бить в самое сердце.

— А Митрий тоже на медведя с ножом ходил...

— Твой брат? Он на фронте? Ты писем не получал?..— спросила она и улыбнулась печально-печально.— Скоро Новый год, Малышок! Знаешь что? Давай загадаем, чтобы в новом году все было так, как мы хотим. Сначала ты, а потом я. Говори, чего ты хочешь?

— Пускай наши всех фашистов побьют, чтобы Митрий домой вернулся,— немного подумав, высказал Костя главное желание.

— Хорошо! Теперь моя очередь... Только у меня есть три желания. Я тоже хочу — пускай война кончится... Раз! Пускай папочка скорее мне письмо пришлет, чтобы он сам, собственной рукой написал... Это два! — Она помолчала и добавила, не отрывая глаз от огня: — Хочу быть самой первой стахановкой в городе и папе об этом написать, когда он сам мне напишет. Вот!

Под окном весело залаял Шагистый. Антонина Антоновна,

вздремнувшая на теплой лежанке в кухне, спросонья проговорила:

— Кого бог шлет?

Катя впустила Леночку, и та на весь дом крикнула:

— Ой, скорее идем к нам! У нас Соня и Верочка из инструментального цеха. Они патефонных иголок принесли. Скорее, Катя, а то Новый год пройдет!

Получился маленький вихрь, в котором закружились Катя и Леночка, Катина шубка, ее беретик, — и сразу ничего не стало, в доме зазвенела тишина.

— Костенька, ты погляди — верно, девочки дверь бросили, — сказала Антонина Антоновна.

Он вышел в сенцы. Действительно, дверь была открыта, и на пороге стояла Нина Павловна, почесывая Шагистого между ушами.

— Меня прогнал с завода Сергей Степанович, — сказала она. — Велел выпастся на весь новый год. Вот, забежала пожелать счастья. — Она помолчала и подняла на Костю умоляющий взгляд. — Малышок, Катя тебе ничего не говорила о письме? Может быть, она с тобой поделилась? Ведь она относится к тебе неплохо...

Что он мог ответить? Если Катя и получила письмо, то, судя по ее словам, не от Василия Федоровича. Но это была только смутная догадка.

— Загадывала она на Новый год письмо получить, — сказал Костя, чувствуя, что это и есть то самое, что нужно было знать Нине Павловне.

— Загадывала письмо получить? Да? — с радостью и страхом спросила она, сразу ослабела и прижалась спиной к стене. — Значит, он... он жив, ведь так? То письмо, которое она получила, может быть, не страшное? Но почему же она так изменилась? Все мысли спутались...

— Ты ступай домой спать, — серьезно и мягко сказал Костя. — Получишь и ты письмо.

— Пойду, — покорно согласилась Нина Павловна. — Спасибо тебе, ивдельский медвежонок. Ты сделал мне такой подарок! Пойду и буду думать, думать... Шагистый, славный пес, проводи меня, я покормлю тебя вкусным...

Шагистый взглядом спросил у Кости: «Можно? Не думай, что я делаю это ради похлебки или косточки. Разве можно отпустить ее одну — такую слабую и уставшую!»

— Ступай, хвостатый! — разрешил Костя.

Он запер дверь, присел в гостиной на медвежью шкуру, начал читать книгу о станках и задумался. О чем? Он не успел понять. Снова прилетел большой шмель в бархатной шубе, усыпанной звездами, сел на крышу, и дом немного задрожал от его ровного гудения. Наступил Новый год.

НОВЫЙ ГОД

Впервые в жизни Костя дождался Нового года. До сих пор получалось так, что Новый год заставлял его в постели: в Румянцевке людям некогда было сидеть до полуночи. Впрочем, они были уверены, что, проснувшись утром, увидят себя на новой ступеньке бесконечной лестницы, которая идет вверх, вверх — в будущее.

Итак, Костя встретил Новый год, а все сразу пошло по-старому.

Вернулась из гостей Катя и сказала:

— Сначала у Леночки было довольно весело, а потом стало так скучно... Бессовестная я — танцую, а должна все плакать... Куда девался Шагистый? Наверное, опять побежал подлизываться к своей Ниночке...

В боковушке Сева снова принялся за глупости.

— Пойдем в тайгу, Малышок, — сказал он, приподнявшись на топчане и глядя на Костю горящими глазами. — Принесем много золота. Нам спасибо скажут. Не вывертывайся! Подумаешь, нашел причину — полторы нормы! Кому нужны твои полторы нормы!

Грустная, оказывается, штука Новый год!

Нет, настоящий Новый год утром открывает дверь боковушки и говорит добрым голосом Антонины Антоновны:

— Каково тебе, Севушка? Испей теплого молочка. А ты, Костенька, вставай. Самовар уже на столе.

Новый год — это когда Антонина Антоновна и Костя пьют сладкий чай с картофельными шанежками и вдруг входит Катюша, присаживается к столу и говорит:

— Бабушка, я хочу здесь чай пить. Дай мне шанежку с румяным бочком... Малышок, поедem на Ленинскую площадь посмотреть елку, а то мы с Леночкой боимся мальчишек.

Новый год — это очень высокая елка на площади, осыпанная золотым и серебряным снегом, украшенная блестящей звездой, а под елкой — большой дед-мороз из белой ваты и две ледяные горки. По горкам с криком, визгом, смехом мчатся бесконечные вереницы ребят, покрасневшихся и таких вострепанных, точно в суматохе они перепутали руки, ноги, шапки.

— Я тоже хочу, — сказала Катя.

— Ой, нас затолкают! — испугалась Леночка.

По ледяным ступенькам они взошли на площадку, схватились друг за друга и скатились по скользкому, блестящему льду.

— Еще! — приказала покрасневшая Катя.

Они катались, пока не попали в мала кучу. Первым выбрался Костя и вытащил Катю и Леночку.

— Давай еще! — предложил он.

— Хватит! Ты совсем как маленький,— пристыдила его Катя, посмотрела на уличные часы и решила: — Пройдемся, пока не замерзнем, а потом сядем на трамвай.

Оказалось, что на всех улицах есть заводы и некоторые помещаются в таких домах, что даже не поверишь, что это завод.

— Здесь до войны был университет, и студенты в аудиториях слушали лекции,— говорила Катя,— а тут было кино с джазом, и тоже сделался завод.

Прямо на улице лежали заготовки, а кое-где под снегом краснела ржавая стружка.

— Глянь! — удивился Костя.

Он увидел зеленую вывеску, точно такую же, какую видел в Ивделе: «Золотопродснаб, старательский магазин». Что делает здесь старательский магазин, кто сдает золото?

— Ничего ты не знаешь,— сказала Катя.— Нам в школе географичка объясняла, что наш город стоит на золоте. На городском пруду золото даже и теперь моют.

— Надо как-нибудь пойти на пруд и намыть золото,— сказала Леночка.

Это рассмешило Костю.

— Думаешь, металл сверху лежит? Пока домоешься, хребет натрешь.

— Очень нужно!

— Вот и нужно! — сказал Костя, подумав о своем богатстве — об увесистой, блестящей «свин-голове».

Они на минутку зашли в магазин.

— Шоколад! — поразилась Катя, увидев толстые плитки в серебряной бумаге.— Как давно я не ела шоколада... Теперь из-за войны его совсем нет. Папа всегда покупал шоколад без начинки. Я люблю, чтобы шоколад был твердый-претвердый, сладкий-сладкий и немножко горький, чтобы казалось, что зубы болят и вот здесь, под ушами, было так щежотно... А теперь я и с начинкой съела бы...

— Перестань, пожалуйста, Катя, а то мне тоже захотелось! — заныла Леночка.— Идем скорее отсюда!..

Костя считал, что шоколад — это баловство. Они с Митрием покупали из сладкого только рафинад, белый и крепкий, как мрамор, да леденцы. Сейчас Костя мог бы получить в обмен на «свин-голову» сколько угодно шоколада, но...

— Наш трамвай идет! — крикнула Катя.

Вагон был битком набит, так что Косте пришлось немного повисеть на подножке. Постовой милиционер посмотрел на него страшными глазами, хотел свистнуть, но, вероятно, ради Нового года решил не свистеть.

ЗОЛОТАЯ МИНУТА

Самым важным в новом году было то, что Костя стал токарем. Правда, он был пока только учеником токаря, но все-таки его мечта осуществилась, и недаром он ради этой мечты простился с Северным Полюсом, отказался от звания первого снайпера молотка.

Каждый человек переживает золотые минуты, когда он учится нужному и интересному делу. В такие минуты сердце бьется радостно, и радость остается на всю жизнь. Как сразу вырос Костя, когда на лешне-охоте сбил с высокой лесины первую белку! Митрий похвалил его за удачный выстрел, а он с тех пор особенно подружился с тайгой, она стала его слугой и кормилицей. А что творилось с сердцем, когда он нашел «свин-голову»! Ведь все ребята решили, что даром теряют время, и побежали купаться, а он продолжал поиск, и его упорство вознаградилось. Он понял, что трудное дело нужно продолжать до тех пор, пока не добьешься своего.

— Вот что я думаю, Малышок, — сказал Стукачев, — ты возле моего станка торчал, глаза проглядел, ты все головой знаешь — значит, руки обязаны сделать. Приказываю тебе работать в новом году отлично, мастерски!

— Воображаю, мастер-кнастер! — тихонько сказала Катя.

— Не сбивай парня! — оборвал ее Стукачев и пожаловался: — Вот компания мне досталась! Начинай, Малышок, да крепче держись!..

Он сказал это без своей обычной усмешки, так как понимал, что наступил серьезный час в жизни вчерашнего подсобного рабочего, сел на стеллаж и сделал вид, что занят только своей цигаркой. Спасибо ему! Но все же Костя чувствовал себя беспомощным, тем более что в его спину вонзились тысячи булавок — это девочки и Сева искоса наблюдали за «слабым звеном».

— Делай, малец! — шепнул Стукачев добродушно.

И Костя стряхнул оцепенение. Он взял торцовый ключ, но не сразу попал в отверстие на патроне. Голова знала, как это делается, а руки были — хоть оторви...

— Как будто хватит, — шепнул Стукачев, а может быть, сам Костя это подумал.

Он поднял с полу заготовку, принялся вставлять в патрон, и это далось ему не сразу. «Мало кулачки развел», — подумал он с ужасом, но заготовка вошла в патрон, он обрадовался и поскорее зажал ее. Как только голова поняла, что она знает правильно, руки стали слушаться лучше, но все еще двигались будто оцупью.

— Тавот! — подсказал Стукачев.

Набрав из баночки на лучинку желтого тавота, Костя смазал то место, где заготовка должна была прикоснуться к конусу задней бабки, чтобы заготовка легче вращалась. Он стал поверты-

вать штурвальчик задней бабки. Ему было жарко и душно.

Решительная минута приближалась.

— Включай! — приказал Стукачев.

Подняв руку, Костя осторожно коснулся белой кнопки «ход». Станок ни с места. Сева чуть слышно свистнул. Костя сильно ткнул в кнопку, толстый ремень привода со свистом скользнул по блестящему шкиву, патрон сделал первый оборот... Стукачев поднялся со стеллажа, взял Костину правую руку и положил на стальную рукоятку. Резцедержатель плавно двинулся к вращающейся заготовке.

— На нониус смотри! — сказал Стукачев. — Как только нолик станет против этой неподвижной черточки — хватит...

Рукоятка была вставлена в алюминиевый кружок, а на этом кружке были выгравированы деления и цифры. Кружок вращался вместе с рукояткой, и вот нолик стал как раз против черточки на неподвижной части алюминиевого обода. Теперь край резца приходился возле края заготовки — стоило сдвинуть его влево, и он должен был врезаться в металл.

— Я сам, — сказал Костя хрипло.

— Сам так сам!..

Стукачев снял свою руку, и руке Кости стало холодно и одиноко.

— Давай рычаг самохода.

И Костя нажал книзу стальной рычаг.

Случилось чудо, о котором он так мечтал. Все ожило, все пошло! Резец коснулся вращающейся заготовки. Металл закрипел. Сбежала, завилась стружка — сначала узкая, а потом шире и толще; задымилась, отогнулась, обломилась, упала под станок, исчезла с глаз.

Не сталь резала сталь, а он, Константин Малышев, вспотевший и счастливый, резал ее своей волей. Он имел в жизни несколько золотых минут, но эта минута была самая удивительная. Он, Костя Малышев, превращал черную, грубую заготовку в блестящую деталь «катюши», он был хозяином станка и хозяином металла. Грозная «катюша» ждала его труда.

— Теперь слушай дальше, — сказал Стукачев.

Костя слушал учителя, а руки горели — поскорее подвести резец, включить самоход... Много радостей может быть у человека, но эта радость взлетает так высоко, что открывается весь широкий мир, и мир становится родным, собственным. Была черная труба-заготовка, одна из тех, которые тысячами лежат в штабеле под снегом, а он коснулся ее резцом — она приняла его труд и стала дорогой, нужной. Чего не сделает человек, умеющий резать сталь! Вот горы — он их сроет, вот реки — он их запрудит, вот тайга — он прорубит в ней широкие просеки и построит города, вот немец идет на его землю войной — он пожжет, уничтожит

фашистов, потому что он хозяин металла, он мастер «катюши»!

Очень большим чувствовал себя в этот день бывший подсобный рабочий Малышев. Это случилось тогда, когда Катя, Леночка и он сидели на медвежьей шкуре. Катя вслух читала книжку о металлорежущих станках, а потом задавала вопросы. Леночка отвечала хорошо, хотя и ойкала каждый раз.

— А ты, Малышок, все понимаешь? — спросила Катя. — Повтори!

Как раз в эту минуту, услышав вопрос Кати, он вздрогнул и открыл глаза. Ведь он так устал сегодня от волнений, его так сладко разморило возле печки, в которой уютно шумел огонь...

— Ты никогда не станешь квалифицированным токарем! Ты — слабое звено! — крикнула Катя, хлопнув ладонью по книге о металлорежущих станках.

Не сказав ни слова, Костя вышел из комнаты.

— Зачем ты так резко, Катя... Он обиделся, — вступилась Леночка.

— Подумаешь, нежности! Он еще гогу-магогу разыгрывает! — фыркнула Катя, скрывая свое смущение. — Ничего, вернется...

Она ошиблась — Костя не вернулся. Гордость взяла его за руку, увела из комнаты и шепнула на ухо: «Ты никогда и никому не позволишь унижать себя. Выполнишь полторы нормы и скажешь обидчице с синими глазами: «Обошлись сами, потому что не дураки и не слабое звено, а токарь не хуже других». Он был гордый человек, этот Константин Малышев, который научился резать сталь.

«МАЛЫШЕВ — ПЯТЬ...»

С тех пор Костя не ходил слушать Катину книгу, хотя и жалел об этом. Но все-таки он учился. Его учил Стукачев, он присматривался к работе взрослых токарей второго цеха, а кроме того, голова старалась, чтобы руки работали лучше.

Вот так он учился.

Дней через десять Стукачев привел за колонны Герасима Ивановича.

— Принимайте, товарищ начальник, новое токарное пополнение!

Никто не обратил на мастера внимания — все притворились, что, кроме своей работы, ничего не видят. За крайним станком спокойно работал Всеволод Булкин.

Возле соседнего станка пыхтел озабоченный Костя Малышев. Вынимая деталь из патрона, он повернул торцовый ключ скуп,

самое большее на три четверти оборота, и так же скупно повернул штурвальчик, отводя заднюю бабку. Он снял деталь, подхватил с полу заготовку и — раз! — вставил в патрон. «Правильно идет! — мысленно одобрил его мастер. — Старательности в нем много, и рука твердая».

Третьим стоял станок Леночки Туфик. Она промеривала деталь, когда только что выключенный станок давал замиравшие обороты. «За это я ее поругаю, — подумал мастер. — Скобу портит...» Станок Кати Галкиной обдирал заготовку, а она, чтобы не терять времени, занялась приборкой. «Аккуратистка, работница растет!» — поразился мастер.

— Стоп! — приказал он и, когда станки затихли, объявил: — В конце смены я вас попрошаю, а завтра поставлю на норму. Установлена норма — двадцать «труб». Больше дашь — никто не обидится. Будешь твердо выполнять двадцать — разряд получишь. Поняли? И ты, Булкин, понял?

— Почему это я должен не понять? — покраснел Сева. — А только я думаю, что норма высокая. Во втором цехе всего...

— Ух ты, галчонок! — удивился мастер. — Много тебе двадцать? Ладно, делай две! — Он рассердился. — Ты со мной не торгуйся! Ты у фронтовиков спроси, сколько нужно делать.. Галкина, можно двадцать?

— Не знаю, — равнодушно ответила Катя. — Меня двадцать вообще не интересуют. Нужно тридцать — сто пятьдесят процентов нормы. Я такую клятву дала.

— Вот это дело! — одобрил Герасим Иванович. — Постараешься — сделаешь и тридцать. Только нужно желание иметь, а не нормы по всему заводу подсматривать! — И он ушел, приказав ребятам продолжать работу.

— Захотим — сто пятьдесят процентов сделаем, хотя такого обязательства не брали, — сказал Сева вслед мастеру. — Вот посмотрим, как Екатерина Васильевна сто пятьдесят раз хвостик подожмет, а потом покажем ей настоящую работу.

— Лодырь! — внятно проговорила Катя. — Форсу показал на весь завод, всем нахвастался, а на работе стоп... Не бойтесь, господин-сковородин Булкин-Прогулкин, вам не придется меня учить...

Вернулся Стукачев, провожавший мастера, и скомандовал:

— В последний раз — смирно! Больше я с вами не играюсь... Нужно еще шестнадцать человек в токари подготовить, чтобы директор направил в танковое училище. Давайте норму, а споры-разговоры прошу бросить. Если будут недоразумения, помогу чем могу... Прощай, гопкомпания!

Он пожал каждому ученику руку в знак того, что имеет дело не с кем-нибудь, а с токарями, махнул кепкой и ушел. Ребята с сожалением проводили взглядом своего добродушного, веселого

учителя. Они понимали, что теперь все зависит от их рук, и... как-то еще сложится самостоятельная работа.

В тот день Костя вполне самостоятельно обработал пять деталей. Ему казалось, что сделано много, хотя он выполнил всего двадцать пять процентов нормы, но он все любовался и любовался блестящими «трубами». Это были точно такие же «трубы», какие выпускал второй цех, какие он видел на Северном Полюсе. Да, такие же, но с большой разницей: они были гораздо лучше всех других, так как вышли из его рук. Контролерша второго цеха померила «трубы», сделанные ребятами, мелом написала на каждой «п» — «принята» — и сказала:

— Вот не было печали — из-за таких пустяков в первый цех бегать!

Но Костя даже не обиделся. Хорош пустяк — такие замечательные детали!

Раздался нетерпеливый звонок. Это прикатил электрокар. Водительница тоже фыркнула:

— Это и комар унесет!

Опять-таки глупые слова! Никого не спрашивая, Костя перегрузил все детали на электрокар, будто был простым подсобным рабочим, а не токарем.

Складывая «трубы» одна на другую, он считал:

— Малышев — пять... Булкин — семь... Туфик — девять... Галкина — двенадцать...

— У кого больше? — спросила Катя, которая только что отнесла стружку на транспортер.

— Конечно, у тебя! — доложила Леночка. — За тобой я, а меньше всего — у Малышка.

— Сам виноват! — сказала Катя, будто разбила об пол ледяшку.

Даже это не испортило его настроения. Когда электрокар отправился из-за колонн, он побежал рядом. Его «трубы» лежали внизу. Никто, кроме Кости, уже не смог бы сказать, кто какие «трубы» из этой партии сделал, и все же его работа существовала как-то отдельно. Даже когда на фронте «катыши» разлетятся сотнями осколков, его труд не исчезнет, потому что «катыши» пожгут фашистов, а бойцы скажут спасибо Косте, не зная его имени.

Он вернулся за колонны, навел порядок в инструментальном шкафчике и уже собрался уходить, когда за колонны прибежала Леночка.

— Ой, что-то забыла! — сказала она, оглянувшись и шепотом спросила: — Булкина нет?.. Знаешь, Малышок, зачем я вернулась? Катя говорит, чтобы ты не сердился за то, что было. Помнишь? Она говорит, чтобы ты пришел сегодня слушать книжку. И сегодня мы начинаем заниматься по математике. Ей очень жаль, что ты так мало вырабатываешь и позоришься перед Булкиным.

Последние слова все испортили.

— Больно мне нужно... — ответил он и выключил свет.

— Какие вы все! — воскликнула Леночка. — С вами абсолютно невозможно.

— Обойдемся, — сказал Костя и ушел.

Не нужно ему жалости! Сегодня он сделал всего пять, но сам сделал, а завтра сделает больше и тоже сам. Выработает он и норму и полторы нормы и докажет, какой он человек. Но было приятно, что Катя послала к нему Леночку мириться.

Глава вторая

КТО ВПЕРЕДИ, КТО СЗАДИ?

У входа в молодежный цех висят три доски показателей, точно такие же, как в цехах, где работают взрослые токари. Слева выстроились фамилии — сколько в бригаде рабочих, столько и фамилий, — и указано, сколько процентов задания выполняет токарь. Если выполнил меньше ста процентов, цифра написана белым мелком, а если больше ста — красным. Сегодня написано, что Галкина за прошлый день выполнила 85, Туфик — 75, Малышев — 60, а Булкин всего 50 процентов нормы.

Но Сева не всегда последний за колоннами. День-два он работает плохо, где-то пропадает с Колькой Глухих, а потом вдруг прилипнет к станку, работает злой, только и ищет случая поругаться с Катей, назвать Леночку очкастой, задеть Малышка. Всех обгонит, мастер его похвалит, а он снова раскиснет, еле двинется и все заговаривает с Костей о тайге и золоте...

Ровно и все лучше работает Костя. Он сообразил, что при черновой обдирке, когда «Буш» снимает с заготовки толстую стружку, вовсе не обязательно часто промеривать диаметр обточенной части заготовки, так как станок надежно соблюдает заданный размер. Правда, об этом говорил и Стукачев, но Костя все время беспокоился, правильно ли работает «Буш», то и дело нажимал красную кнопку «стоп», которая ему особенно нравилась, и терял много времени. Каждый день он делает маленькие полезные открытия и поэтому рассматривает показатели вполне спокойно, стараясь сообразить, когда он перейдет на красный мелок.

На минутку задержалась возле доски Катя.

— Это только цветочки, а ягодки будут впереди! — сказала она, обняла Леночку и проронила: — Гуд морнинг, гога-магога, — то есть поздоровалась с Костей по-английски, потому что до поступления на завод она училась в школе говорить на этом непонятном языке.

— Ой, бонжур! — сказала ему Леночка, потому что она в школе на Украине училась говорить по-французски.

Что касается Севы, то он посмотрел на показатели с таким видом, будто интересовался, как играют маленькие дети.

— «Из кожи лезут вон, а возу все нет хода», — сказал Сева маленькому Маркину из третьей бригады.

— Зато ты орел! — прыснул Маркин. — Галкина вчера восемьдесят пять процентов сделала, а у тебя пятьдесят. Ты скажи, почему тебя называют Булкиным-Прогоулкиным? Очень остроумно!

— А сколько у меня позавчера было? — И Сева ткнул пальцем в показатель. — Смотри, если слепой. Восемьдесят пять и без брака, не то что у Галкиной...

— Врешь ты, не делает она брака! — не утерпел Костя, возмущенный ложью. — Это ты вчера две «трубы» запарол, а у нее брака не бывает.

— Защитник нашелся! — И Сева подмигнул Маркину. — Знаем мы, почему он за Галкину вступается. Он и пережженный резец помог ей спрятать. Понимаешь?

— По-ни-ма-ем! — протянул Маркин. — Он Онегин, она Татьяна.

В таких случаях Костя не сразу находил, что нужно сказать, он просто выругал Севу:

— Дурак ты, вот что... Врешь про людей со зла!

— Ах, какой длинноухий рыцарь печального образа нашелся! — И Сева отправился за колонны, предоставив Косте выслушивать шутки Маркина.

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!

Вероятно, в тот день кто-нибудь рассказал Кате, что Костя вступился за нее, поэтому она сделала новый шаг к примирению.

— А Прогоулкин снова пяточки сальцем смазал, — сказала она, проходя мимо Кости. — Интересно, куда он сбежал?

— За резцом пошел да в медпункт — палец занозил...

— Ты зачем уже резец на чистовой меняешь? — удивилась Катя, присмотревшись к его работе. — Сколько ты деталей между сменами резца провертываешь?

— Три.

— Три, три, дырку протрешь! — засмехалась Леночка. — Знаешь, Катя, он все время резцы переставляет.

— Глупо! Стукачев говорил, как работу организовывать, а ты, Малышок, все делаешь не так, как люди. Ты полсмены обдирай, а полсмены отделявай. Понимаешь?

Чего там было понимать! Но Косте всегда хотелось поскорее увидеть совсем законченную деталь — чистенькую, гладенькую, блестящую. Просто сердце радовалось, когда попевала новая «труба».

— А как не все отделаю? — пробормотал он.

— Подумаешь, страх! Останется одна-две на завтра. Зато не надо через каждые три обдирки или отделки резец менять. Получается экономия времени. Понимаешь, нужно экономить время.

До сих пор Костя знал, что есть день и есть ночь, есть столько-то часов между гудками, и не обращал никакого внимания на такую мелочь, как минуты и секунды, а оказалось, что эту мелочь нужно беречь, если хочешь сделать много. Катя все это ему объяснила, хотя и не совсем понятно, но самое главное он понял: станок должен крутиться как можно больше. Скрепя сердце он принял ее совет, начал обдирать, только обдирать заготовки, и его беспокоило, что отделанных «труб» еще нет.

— Пятнадцать, вот видишь! — радостно сказала Катя, сосчитав перед обедом обдирки у его станка. — Теперь поставь чистовой резец, отделай все, и у тебя будет семьдесят пять процентов нормы. А если бы ты с утра был умнее, наверное, получилось бы восемьдесят пять.

В тот день Сева был совсем раскисший, у него все не ладилось, и он часто отлучался от станка.

— Нашел учителя! — пробормотал он, пожав плечами. — Учись, Малышок, если собственная голова не варит.

— Леночка, ты читала в многотиражке про лодырей? — тотчас же откликнулась Катя. — Так смешно написано, как с натуры. Правда?

В конце смены, когда Герасим Иванович наведлся за колонны справиться об успехах молодежи, Катя спокойно сообщила:

— У меня восемнадцать, а девятнадцатую я до гудка закончу.

— Правильно, — улыбнулся мастер, сосчитав заготовки у ее станка. — Смотри, к тому времени, как я из дома отдыха вернусь, чтобы полная норма была!

— Непременно сделаю! — пообещала Катя, бросив торжествующий взгляд на Булкина. — Норма совсем не трудная, надо только уплотнять время, а не бегать каждый раз в медпункт.

На две детали отстала от своей подружки Леночка, а на стеллаже возле Костиного станка мастер увидел пятнадцать «труб».

— Идет дело, Малышок! — признал он. — Не так чтобы шибко, а все же вперед — не назад. Старайся, молодец.

МЫСЛЬ ПРОБУЖДАЕТСЯ

Когда Костя привел в порядок станок и сменил бушлатик, в котором работал, на ватную фуфайку, Катя предложила:

— Пойдешь посмотреть «Разгром немцев под Москвой»?

Он согласился: если она хочет мириться, так и он согласен.

Киносеанс в красном уголке должен был начаться через полчаса после гудка для новой смены, и Костя пошел из цеха в цех, заложив руки за спину, гордясь сегодняшним достижением. Семьдесят пять процентов — это не шутка: это три четверти нормы. Остается еще нажать, еще уплотнить время — и сто! Как он жалел, что утром часто менял резцы!

Прежде всего он навестил Нину Павловну, которая последнее время почти не оставляла завода и так заработалась, что лицо ее потемнело и похудело. Нина Павловна стояла возле электрокалильной ванны: она смотрела на свои ручные часики, а Дикерман, старший калильщик термического цеха, держал щипцами деталь, погруженную в расплавленный свинец.

— Время! — скомандовала Нина Павловна.

— Раз! — И Дикерман выхватил раскаленную красную «рюмку» из свинца. — Два! — крикнул он, ударил щипцами о край ванны так, что с «рюмки» слетели красивые блестящие капельки свинца, сунул «рюмку» в бак с маслом, выдержал ее там и вынул. — А вот вам три! — сказал он и осторожно поставил черную деталь на железный стол.

— Здравствуй, медвежонок! — приветствовала Нина Павловна Костю. — Подожди меня. — Она пошла к контролерам, поговорила с ними, вернулась и, натягивая рукав свитера на часики, распорядилась: — На сегодня хватит. В последней партии семь годных из десяти и одна — условный брак... Можно считать, семьдесят пять процентов... Вот вам «блестящее достижение». Просто руки опускаются... Завтра попробуем режим профессора Колышева.

Дикерман вытер платком подбородок, заросший белой щетиной, и снова взялся за щипцы.

— Извините, товарищ инженер! — сказал он сердито. — Кажется, вы помните, что нам говорили на заседании партбюро? Если даже эту чертову «рюмку» нужно калить в золоте, так нам дадут чистое золото. Значит, нужно работать и не опускать рук. Я вам говорю это как старый человек и как молодой член партии.

— Вы на ногах с утра. Отдохните немного.

— Вы тоже с утра не на курорте. Но, конечно, если вы настаиваете, я могу отдохнуть. Так что же советует профессор Колышев?

Они начали совещаться, сколько времени выдерживать «рюмку» в свинце, и Нина Павловна забыла о Косте, да это и к лучшему. Только что он хотел похвалиться своей победой, но радость

уже опустила крылышки. Задумчивый, прошел он во второй цех.

Стукачев полсмены учил ребят токарить, а полсмены работал за станком, но делал полторы нормы, как обязался под Новый год, поэтому он иногда задерживался в цехе. Вокруг его станка спорили взрослые рабочие.

— Высокая скорость резания да большая подача — это понятно, — сказал один из них, — никого ты этим, Ваня, не удивил. Однако победитовых резцов опять нет, а сталь-быстрорез горит. Покажи-ка вот новый режим обработки!

— Доказываю, что быстрорез держит, если дать охлаждение, — с вызовом в голосе ответил Стукачев.

— Хорошо, что твой станок с охлаждением, а тут просишь насосики сделать — как горох в стенку. Черепахой ползешь, да и то резцы горят... Что там говорить!

Токари пошли по своим местам, а Костя впился глазами в синюю стружку металла, которая сбегала с резца.

Струйка желтоватой эмульсии падала на резец и пофыркивала, коснувшись горячего металла.

— Берет, берет, парень! — сказал Стукачев, сдвинув кепку на макушку. — Доказываю, что на этой детали можно повесить режим обработки в полтора раза. Нужно только...

Раздался противный визг, какой Косте уже пришлось услышать, когда Катя сожгла резец. Улыбка исчезла с лица Стукачева.

— Все ж таки сгорел! — процедил он сквозь зубы, выключил станок и задумался, глядя на резец. — Правда, я слишком большую скорость резания закатил. Так еще в цехе никто не работал. А по-старому мне уже неинтересно.

— А на «Буше» можно режим повесить? — несмело спросил Костя. — Хоть чуть... А то «Буш», как черепаха, ползет.

— Не видел ты пломбу? Вам только разреши режим менять, так вы чудес наделаете! И вообще, видишь, что человек переживает, значит, скройся в тени!

Пришлось скрыться в тени ни с чем. Как это ни с чем? В голове толпились беспокойные мысли. Только что семьдесят пять процентов казались ему высокой горой, а теперь они стали ниже муравьиной кучи.

Забыв о киносеансе, он вышел во двор. Здесь разгружались машины, доставившие заготовки с трубопрокатного завода. Громко командовал разгрузкой начальник материального склада, маленький толстый человек. Вдоль стен поднялся высокий штабель труб, похожий на медовые соты. По сравнению с этой грудой металла «Буш» показался крохотным, бессильным.

Когда Костя вспомнил о кино, оказалось, что сеанс уже кончился и все разошлись по домам.

СТЫЧКА

— Ой, Шагистый Севку Булкина загрыз! — крикнула Леночка, налетев на Костю, как бомба. — Иди скорей, а то будет ужас!

Со двора вперемежку доносились звонкий голос Катюши и грозное рычание. В сугробе возле крыльца возилось что-то темное, а на крыльце подпрыгивала Катя.

— Шагистый, Шагистый, — выкрикивала она, — покажи ему, как драться! Проучи его — пускай помнит!

«Урры!» — отвечал Шагистый, готовый выполнить приказ хозяйки.

Это было не дело, это никуда не годилось. Костя крикнул: «Поди прочь, хвостатый!» — и пнул Шагистого в бок. Громадный пес, рыча, отскочил. Сева поднялся из сугроба весь в снегу. На крыльцо выбежала Антонина Антоновна.

— Ах, бесстыдница! — разохалась она. — Да что же это такое? Да как же тебе не совестно!

— Он тоже сам виноват! — подала голос Леночка. — Он Катю толкнул, а потом меня, не понимаю, за что...

— Счастье его, что Малышок заступился! — бушевала Катя. — В другой раз прикажу Шагистому еще не так! Пускай руки в ход не пускает! Будет лодырь ходить рваный-латаный!

В боковушке Костя разглядел, что у Севы совсем белое лицо. Привалившись боком на подушку, он тяжело дышал, с полужакрытыми глазами. На его руке багровел след, оставленный крепкими зубами. Шагистый не любил Севу, так как чувствовал, что его не любит хозяйка, и охотно показал, что такое зубы лайки-медвежатника.

— Зачем девочек трогаешь? — сказал Костя.

— Знаешь ты... — ответил Сева бессильно. — Кто их трогал! А она идет с Ойкой да на всю улицу: «Лодырь, лодырь, господин-сковородин Булкин-Прогулкин!» А я терпеть должен, да? Подумаешь, задается, что девяносто пять выработала!..

Сказав это, Сева отвернулся. Костя заметил, что у Севы вздрагивают плечи, и вдруг пожалел товарища, только он не понял этого, так как жалость прикинулась досадой на Катюшу. Не имела она права напускать на Севу глупого Шагистого. Собака должна знать свое дело — стеречь дом, поднимать медведя, вылавливать белку, а это что же такое — на человека! Так не годится! Снимая валенки, Костя сердито посапывал.

Он даже не пошевелился, когда за дверью послышался властный голосок:

— Малышок, зайди на минутку!

— Что же ты не бежишь к Галкиной? — насмешливо спросил Сева. — Пойди подслужись... Катька перед сеансом рассказывала ребятам, что взяла над тобой шефство, на буксире тащит. Красно-

та! Ученик перед учительницей на задних лапках служит... Тьфу!

Сева не подозревал, как много соли и кислоты оказалось в его словах. Костина гордость встала на дыбы.

Так вот что оказывается: Катя болтает, что он ее подшефный, что он тащится на буксире, как слабое звено! Вот куда дело пошло!

— Врет! — пробормотал Костя. — Она только малость помогла. (Сева при этих словах хмыкнул.) Вот попрошу мастера режим-скорость повысить, сразу норму дам.

— Так он тебе и разрешил! Пломбу видел?

— А коли «Буши», как черепахи, ползут!

— Нарочно такой режим для «Бушей» сделали... Не позволит мастер менять. — Помолчав, Сева добавил: — А мы с Колькой знаем, как можно норму сделать и пломбу не трогать. Пока мастер в доме отдыха будет, можно попробовать. Может, даже полторы нормы выйдет...

— Полторы? — усмехнулся Костя. — Вот сделай да меня научи, спасибо скажу...

Наступило молчание.

— А если сделаем полторы нормы, в тайгу пойдем? — спросил Сева.

— Чего рядишься? Сначала сделай, а потом, может, и потолкуем, — ответил Костя все так же насмешливо.

В сенях слышались голоса девочек. Провожая подругу, Катя умышленно громко сказала:

— Я уверена, ну совершенно уверена, что мы завтра перевыполним норму. Пожалеет гога-магога, что с Булкой нянчится!

— Ой, не кричи! — взмолилась Леночка. — А что, если не получится?

— А я говорю — получится, получится, получится! — пропела Катя и хлопнула дверью.

Обитатели боковушки совещались. Сева рисовал что-то на клочке бумаги, а Костя, рассматривая чертежик, сомневался, но сомнение становилось все слабее, а желание попытать счастья — все сильнее.

ТАИНСТВЕННЫЕ ДЕЛА

Затихли далекие утренние гудки, и давно уже проснувшийся Герасим Иванович вздохнул.

— Что-то мои галчата подделывают? — сказал он соседу, разделившему с ним комнату в доме отдыха. — Вот ворчишь на них, так и оттрепал бы за уши, чтобы не баловали, а не видишь их, и всякие думки являются.

Отдыхает, отдыхает старый мастер. Как только новые станки заняли свое место в заводских цехах, как только получили они все необходимое для работы, директор приказал Герасиму Ивановичу отправиться в загородный дом отдыха на два-три дня. Поехал мастер — и не обрадовался. Принялись за него врачи, как за старый станок: и осматривают, и выслушивают, и в ваннах полощут, и даже к энергии подключают — честное слово, устраивают электролечение. Герасим Иванович не протестует — он понимает, что у врачей тоже есть своя норма выработки, он им не мешает выполнять план, он только скучает по цеху.

Все грезится мастеру, что он идет между станками, заложив руки за спину, и замечает всякую мелочь. Что это Степа Турбин такой бледный? Болен паренек или дома что случилось? На Петюниной ботинки новенькие. Ишь как сияет своими сиреневыми глазками, щеголиха курносая! Вот возьмем да проверим, как она за станком ухаживает, что ей дороже — ботинки или станок. Интересно, куда Сеня Игошин сбежал? Должно быть, опять в третьем цехе пялит глаза на громадный станок «Булард». Придется паренька на «Булард» отдать — головенка у него хорошо работает, механик растет.

Кажется мастеру, что он и не отлучался из цеха, что в цехе все обстоит по-старому. Ошибается Герасим Иванович. Не все в цехе идет по-старому. Растет, шумит молодежь в шапках-ушанках, задорных беретах, в замасленных ватниках и стоптанных валенках. Вот Маша Петюнина придумала шлифовать деталь 116-«А» по-новому — не кольцо за кольцом, а всю трубку-заготовку сразу. Завкомовский художник, по просьбе Зиночки, написал Петюниной поздравительный плакат и вывесил над доской показателей. Перед этим плакатом, открыв рот, стоит мальчик в длинноухой осенней шапке и смотрит как зачарованный. Значит, не только Нина Павловна и Стукачев имеют голову, которая думает, — у Петюниной тоже голова настоящая. А что представляет собой Петюнина, если не считать ее новеньких ботинок? Худенькая, маленькая, голосок тихонький, а вот какой плакат написан о ней желтыми, красными и голубыми буквами.

Мальчик в оленьей шапке прошел за колонны, и через минуту к нему присоединились еще два подростка. Они осмотрели второй с края «Буш», особенно ту его часть, которая называется «гитарой», — набор шестеренок. При этом они напоминали трех заговорщиков, задумавших серьезное и даже опасное дело. Совещание вел тоненький и суетливый паренек — с видом знатока он что-то объяснял своим собеседникам по поводу «гитары» станка и разыгрывал из себя инженера.

Совещание оборвалось, как только за колонны явились Катя и Леночка. Мальчики разошлись с таким видом, будто встретились случайно и говорили о пустяках.

КАТИНА ВЫДУМКА

Обычно Катя еще до гудка бралась за работу — подготавливала все необходимое, чтобы не приходилось отлучаться от станка.

Теперь, проводив Севу нетерпеливым взглядом, она присела на стеллаж возле Кости.

— Напрасно, гога-магога, ты вчера не зашел, — сказала она. — У нас с Леночкой было производственное совещание. Мы обсуждали мое рационализаторское предложение.

Костя промолчал.

— Чего ты надулся? Тебе лодыря жалко?

— Нельзя собаку на человека уськать...

— Пускай не дерется, — откликнулась Леночка.

— А зачем вы его лодырем на всю улицу обзывали?

— А если он такой и есть? День работает — день гуляет. Почему ты его защищаешь? Ты клятву дал, а сам лодыря по головке гладишь! Твой Севка саботажник!

— Чего? — спросил Костя.

— Саботажник — это который притворяется, что работает, а на самом деле лодырь, — пояснила Леночка. — Точь-в-точь Булкин...

— Да, конечно, он саботажник! — настаивала Катя. — Почему мы все можем стараться для фронта, а он работает по настроению? Даже ты вчера семьдесят пять процентов сделал, а он пятьдесят... Ты еще скажи, что он богатырь труда! — И она засмеялась.

Как больно задела его неосторожные слова «даже ты»! Да когда же уймется, когда перестанет обижать людей поперечная душа!

— Не саботажник он, — сказал Костя. — Может, он хочет для фронта как больше сделать. Ты себя лучше других не считай. Другие, может, не хуже...

Он отвернулся от Кати и увидел Севу, который только что показался из-за колонны. Как-то странно, с быстрой усмешкой, посмотрел он на Малышка и тотчас же отвел взгляд. Может быть, он слышал весь разговор, слышал, как его защищали, и Косте стало неловко. Он взялся за работу.

— Как вам угодно, товарищ Малышев, — решила Катя, тоже увидевшая Севу. — Можете даже со мной вообще не разговаривать, я плакать не буду. — Она обратилась к Леночке: — Начнем, девушка. Пускай поучится!

На Ойкином станке заготовка была уже ободрана наполовину. Катя включила свой «Буш», отошла в сторону и скрестила руки на груди.

— Меня нет... — многозначительно произнесла она.

Леночка засуетилась. Как только станок закончил операцию,

она, оглядываясь каждую секунду на станок Кати, точно он мог взорваться, поскорее установила новую заготовку. К этому времени резец на Катином станке уже ободрал всю заготовку. Леночка ойкнула, сняла ее, установила новую и бросилась к своему станку. Так она перебегала с места на место, а Катя следила за нею, крепко сжав губы, чтобы не вмешаться.

— Довольно, — сказала она. — Вот видишь, все получается правильно.

— Ой, Катенька, как я боялась запороть! — произнесла взволнованная и счастливая Леночка.

— Какая ты трусиха! Вот смотри!

И Катя начала делать то, что делала Леночка, но она не суежилась, не пугалась, двигалась между станками легко, осторожно, как по ниточке, а ее глаза горели синим огоньком. Казалось, что она ставила и снимала детали не спеша, а на самом деле получалось быстро. Все у нее было под рукой — и ключи, и мерительная скоба, и баночка с тавотом.

Сначала Костя невольно обрадовался, что все идет так ладно, а потом ему стало грустно. Он понял, что даст эта выдумка девочкам. Если понадобится, они смогут отлучаться из-за колонн, а «Буши» будут все работать да работать. Вот если бы Костя мог договориться с Севой работать так, как придумала Катя, можно было бы отказаться от перенастройки станка. Но Сева, уловив его подавленный взгляд, насмешливо посвистел, точно сказал: «Подумаешь, чудеса! Вот мы сделаем штуку, так это штука!»

— Учись, Малышок! — хвастливо бросила Катя. — Впрочем, у лодырей учиться легче!

Кто ее дергал за язык! Она начала день обидным словом и продолжала все хуже и хуже. Ух, как захотелось Косте добиться сразу полуторных норм да и сказать мимоходом обидчице: «Вы у нас поучитесь, Катерина Васильевна! А то ползете, как черепахи, просто жалко смотреть!»

В тот день Катя и Леночка впервые выполнили норму, и за колоннами раздался победный визг, а Костя выработал восемьдесят пять процентов. Лучше, чем вчера, но все же так мало, так плохо, что и говорить не хочется...

Глава третья

ЖРЕБИЙ

Трудно сказать, что делали старенькие «Буши» до войны. Вероятно, стояли на заводике в каком-нибудь мирном южном городке, точили простенькие детали в час по столовой ложке, и

работали за ними седоусые токари, считавшие, что лучше их станочков на свете ничего нет. Разве мог кто-нибудь предположить, что «Буши» попадут в горячие руки молодых рабочих военного времени, которым казалось, что все делается слишком медленно!

На другой день утром Сева сообщил Косте, что Колька Глухих уже достал нужную шестеренку и можно хоть сейчас выполнить задуманное дело.

— А чей станок перестроим? — осторожно спросил Костя.

— Странно, — пожал плечами Сева. — Ты же первый хотел полторы нормы выполнить! Твой станок и перестроим.

— Ловкий ты! — сказал обеспокоенный Костя и чуть не закончил: «Тебе легко чужим станком распоряжаться, а мне что будет, если неаккуратно выйдет?»

Он только подумал это, но Сева понял его мысль и улыбнулся.

— Хочешь плавать не замочившись, — отметил он, порылся в своем инструментальном шкафчике, где было много всякой всячины, и показал Косте два длинных и тонких гвоздика. — Видишь, носик у одного острый, а у другого совсем тупой. — Отвернулся, зажал гвоздики в кулаке, оставив наружу шляпки, и сказал Косте: — Тяни какой хочешь. Если вытащишь острый гвоздик, мы переставим шестеренки на твоём станке, а если тупой — на моём. Понятно?

Нужны ли были ещё доказательства, что Сева тоже готов рискнуть! И Косте захотелось непременно вытащить острый гвоздик, выиграть право на перестановку шестеренок. Он протянул руку, призадумался, захватил ногтями одну из шляпок... вытащил острый гвоздик.

— Видишь, твоё счастье! — И Сева изо всех сил забросил гвоздик, оставшийся в его кулаке. — Значит, твой станок переналадим.

Получилось так, как пожелал Костя, но он испугался. До сих пор он мог выбирать: «хочу» — «не хочу», а теперь оставалось только действовать.

— Ладно, скажи Николаю, — решил он.

В конце обеденного перерыва девочки привели за колонны Зиночку Соловьеву.

— Вот как мы организовали работу, — сказала Катя. — Теперь у нас совсем не будет простоев!

Посмотрев, как девочки работают, Зиночка загорелась и сразу нашла для всего этого солидное название:

— Девушки, это многостаночничество и взаимопомощь. Определенно! У вас действительно не будет простоев. Вы молодцы, орлицы! Ваш опыт надо подхватить...

Она умчалась и через минуту притащила начальника первого цеха Тимошенко.

— Так це ж понятно! — сказал он.— При работе на станке есть время машинное, когда сам станок работает, и есть время ручное, когда токарь налаживает станок, снимает деталь да шо еще. На такой крупной детали, как «труба», да еще при таком слабом режиме машинное время получается большое. Свободно можно два станка обслуживать, а то и три...

— Однако мальчики не догадались так сделать, а девочки догадались и уже выполняют норму. Молодцы они или нет? — волновалась Зиночка, обиженная его хладнокровием.

— Молодцы, молодцы! — признал Тимошенко.— Добре, добре, хвалю! Сегодня получите столовые талоны в зал ударника...— Он добавил с сожалением: — Вот погано тилько то, шо эта деталь для нашего цеха не характерная. Мелочь делаем. А на мелкой детали машинное время короткое. На двух станках не успеть.

— Что же ты отстаешь, Малышок? — спросила Зиночка, как только начальник цеха ушел.— На Северном Полюсе ты гремел, ты был новатором производства, а здесь совсем потерялся. Сергей Степанович как-то сказал, что ты стоящий паренек, а ты не оправдываешь доверия. Неужели тебе не обидно? Вы с Булкиным должны перенять пример Кати и Леночки, вызвать их на соревнование и перегнать...

— Ах, как страшно! — вполголоса откликнулась Катя.— Все равно ничего не получится...

— Нет, не размагничивай его! — возразила Зиночка.— Я уверена, что он тоже покажет всем высокий класс...— И при этом она подмигнула Косте, не подозревая, что мальчики задумали нечто совершенно поразительное.

В конце смены за колонны на минуту забежал Колька Глухих и тайком от девочек сунул Косте что-то завернутое в бумагу, а Костя спрятал сверток в инструментальный шкафчик.

Мальчики втроем отправились домой. Заслышав голоса квартирантов, Шагистый высунул нос из берлоги и поскулил, чтобы привлечь внимание Кости, но тот пробежал мимо. Шагистый, должно быть, подумал: «Странно! Если у него сегодня нет корочки, я могу это простить, но почему же он даже не назвал меня хвостатым?» — и забился подальше в берлогу.

«С ДОБРЫМ УТРОМ!»

Вернулся, вернулся в цех Герасим Иванович Бабин! Каких только ученых слов не наговорили ему доктора, хотели оставить мастера в доме отдыха еще на целую декаду, но мастер улыбнулся, сказал: «Вот как собаку Гитлера побьем, все внутренние гайки

и шурупы подтянем. А сейчас, простите, некогда. Работать нужно». И уехал.

Рано утром он побрился, помолодел и задолго до гудка отправился на завод.

— Дывись, це ж Герасим Иванович! — обрадовался Тимошенко, когда мастер зашел в его контору. — Я ж казав, що Бабин самый неподходящий элемент для отдыха. Сидай, сидай, мастер!

Не успел Герасим Иванович сесть, как Тимошенко завел разговор о том, что директор сейчас особенно жмет на мелочь, потому что заводам-кооперантам неохота возиться с малыми деталями, а из-за них задерживается сборка.

В то время как они обсуждали вопрос об установке дополнительных револьверных станков, за колоннами появились три паренька, зажегся свет.

— Давай! — прошептал Колька и засуетился, крепко сжав свой ротик и побледнев от волнения.

Отперев шкафчик, Костя, тоже взволнованный, испуганный, достал бумажный сверток; из свертка появилась шестеренка.

Колька, звеня ключом, отпустил гайки, прикрепляющие шестеренки к «гитаре», и вместо маленькой поставил большую шестерню. Теперь ходовой валик,двигающий суппорт, должен был работать раза в три быстрее, чем раньше.

— Готово! — шепнул Колька и своей шапчонкой, зажатой в кулаке, смахнул со лба капельки пота. — Пробуй, Малышок!

— Дыши! — сказал Сева, непривычно оживленный, подвижной, с горящими глазами.

На станке уже была установлена деталь, прошедшая накануне обдирку. Костя включил станок. Он сделал это сам, но казалось, что вместо него работает кто-то другой и тянет его в пропасть. Патрон стал вращаться. Костя медленно подвел резец к детали и застыл, не в силах перевести дыхание.

— Ну! — нетерпеливо сказал Сева и дернул рычаг самохода.

Суппорт двинулся влево, и резец снял первую стружку. Удивительно, замечательно! Стружка стала широкой. «Буш» немного задрожал. Никогда еще старенький станок не работал так резво. Ребята даже рты открыли.

— Видал? — торжествуя, засмеялся Колька. — Ха-ха, деятели!

— Ух, берет! Ух, берет! — сказал Сева. — Вот это да!

Щеки Кости запылали, волна радости смыла, унесла камень — нет, целую гору! — с его сердца. Прочь страхи, которые всю ночь мерещились ему, прочь сомнения! Смотрите, что делает «Буш»! Идите сюда, за колонны, и смотрите! Вот вам и подшефный Галкиной! Нет, пускай Галкина поучится у него, так будет правильнее!

— А он дрейфил,— проговорил Сева с завистью.— Мы, Николай-чудотворец, и мой станок переналадим?

— Понравилось? — усмехнулся Колька.— Попросишь, так переналажу...

Вернулся, вернулся в цех Герасим Иванович. Вот, заложив руки за спину, идет он между станками, поглядывая налево и направо.

В общем, надо признать, что в цехе порядок. Правда, кое-кто воспользовался отсутствием мастера. Бастриков не убрал стружку из-под станка — как видно, спешил в драматический кружок; у Получиной шкафчик нараспашку. Но грешно жаловаться на ребят — не подвели мастера.

Возле доски показателей Герасим Иванович остановился, просмотрел итог каждой бригады и нахмурился. Его бригада шла ровно: 120—130 процентов изо дня в день. Хорошо? Да, еще недавно это было хорошо, но вторая бригада вдруг добавила десяток процентов и почти догнала первую. Видишь как? Только зазевайся, и уже тебе наступают на пятки. Что же, галчата, надоело вам в передовиках ходить? Мастер пробежал фамилии на доске первой бригады, взял на заметку Перепелкину, которая почему-то потеряла два десятка процентов и едва вытягивала норму, решил крепко пробрать отставшего Мишу Никулина, а потом повеселел: молодец Катя Галкина, молодец Леночка Туфик и почти молодец Малышок! Вот только Булкин идет неровно, нет в нем упорства...

Герасим Иванович услышал позвякивание металла, удивился и направился в конец цеха.

— Ставь на обдирку! — сказал Сева.

— Сам знаю! — ответил Костя, снял отделанную деталь, установил заготовку и переменял резец на обдирочный. Теперь он был уверен в станке и даже немного посвистел сквозь зубы, как делал это Стукачев.

— Ух, берет! — снова прошептал Сева, когда резец с шумом врезался в сталь.— Ух, станочек, ух...

Вдруг Костю охватил ужас — он понял, что обязательно должна случиться беда. Кто бы мог подумать, что «Буш», старый и спокойный «Буш», может так дрожать, биться, кричать, как он забился, закричал резким голосом раненого металла!

— Стой! — метнулся Колька.

Станок замер без вмешательства Кости. Патрон вращался, но резец омертвел, не брал стружки. Ходовой валик — толстый полированный шток, обязанный передавать движение суппорту,— застыл.

В ту минуту, когда три паренька окаменели перед лицом непонятной катастрофы, послышался знакомый голос:

— Чего натворили?

Герасим Иванович наклонился к станине «Буша», осмотрел «гитару», снял кепку и опустился на стеллаж. Сначала вся кровь бросилась ему в лицо, потом отхлынула, и губы задрожали в какой-то странной, растерянной улыбке.

— Встретили мастера с добрым утром, — трудно проговорил он. — Где шестеренки возьмешь?

Все это потрясло Костю. Если бы было возможно, он дал бы нарезать шестеренки из себя.

СТАНКОЛОМ

Никогда еще люди не любили машины так горячо, как в те грозные военные дни. Советские люди знали, что каждое орудие, каждая винтовка, гремевшая на фронте, делается станком в глубоком тылу, что без их станков патронные сумки и снарядные ящики опустеют, самолет не поднимется в воздух, а военный корабль не выйдет из гавани. Вот почему они берегли машины как зеницу ока, а тех людей, которые обращались с техникой небрежно и портили ее, называли позорным именем — станколом.

На заводе было три случая порчи оборудования, но аварию по вине ученика токаря Константина Малышева нужно было признать самой тяжелой: не имел он права так распоряжаться станком, так своевольничать. Это было ни на что не похоже. Молодые рабочие тайком бежали за колонны посмотреть на шестеренки с выкрошенными зубьями. Девочки ахали, а пареньки посвистывали с видом превосходства: с нами-де такое не случится. Явилась Зиночка и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Какой тревожный сигнал!

Когда за колоннами раздавалось обидное слово по адресу станколома, Катя и Леночка поеживались и переглядывались круглыми глазами, а Сева... Сева ничего не видел и не замечал, работал бледный, даже какой-то серый. Что же касается виновника всего происшествия, то он отсутствовал. Крохотное, почти незаметное существо, забившееся в уголок, вовсе не было Костей Малышевым. Это было просто маленькое ничто, вычеркнутое из жизни.

Что это говорит главному механику суетливый, горячий Тимошенко? Что отвечает главный механик? Наконец они условились поставить на станок шестеренки с малозагруженного «Буша» из ремонтного цеха, а потом на свободе нарезать новые шестеренки.

Сердце Кости обливалось кровью. Как он изранил свой замечательный, свой любимый станок! Чего бы он ни дал, чтобы сгинул этот тяжелый сон!..

Кто-то наклонился к Косте, заслонил его от цеха:

— Не отчаивайся, Малышок...

Это сказала Нина Павловна. Слезы сдавили горло, и Костя еще ниже опустил голову. Возвращаясь в свой цех и поравнявшись с Катюшей, Нина Павловна что-то сказала. Девочка удивленно посмотрела на нее и увидела серьезное лицо, похудевшее, с добрыми глазами.

— Не оставляй Малышка! — повторила Нина Павловна. — Он сделал это не по злой воле.

До самого обеда Костю никто не трогал, но мастер не позволил ему возобновить работу на «Буше». До самого обеда... А что такое обед? Когда Катя сказала: «Пойдем в столовую, Малышок», он не сообразил, чего она хочет.

— Он абсолютно ненормальный! — прошептала Леночка, готовая прослезиться.

— Пойдем же! — настойчиво повторила Катя. — Надо обедать, понимаешь?

Она схватила его за руку и потащила. Он подчинился.

У цеховых ворот, возле досок показателей, шумели, смеялись, что-то выкрикивали ребята. Среди них стоял завкомовский художник — длинный парень, который только и умел, что рисовать. Он пристроил над доской первой бригады новый плакат и, по-видимому, очень гордился своей работой. Действительно, получилось здорово: на плакате был изображен несимпатичный человек в длинноухой шапке. Приплясывая, он доламывал станок какой-то небывалой конструкции. Во все стороны летели громадные болты, гайки и шестеренки. На плакате вверху было написано большими черными буквами: «Позор станколому Малышеву!» — а внизу еще хуже: «Станколом — помеха производству и фронту».

— Ой, не могу! — выдохнула Леночка.

Тотчас же Костя повернул обратно. Катя схватила его за локоть и попыталась успокоить:

— Ну совсем, совсем не похоже на тебя нарисовано! Только шапка немного похожа, а больше ничего. Идем в столовую!

Не ответив, Костя вырвался и ушел за колонны. Он снова забился за инструментальный шкафчик, прислонился к стене и опустил голову, глядя на ноги... Сева подошел к нему, остановился и долго молчал, не решаясь что-то сказать. Лицо у него было по-прежнему расстроенное.

— Имей в виду, Малышок... — наконец проговорил он отрывисто и глухо. — Имей в виду, что я возьму всю ответственность на себя. Ты тут ни при чем. Понял? Считай, что сломан мой, а не твой станок.

— Картинку на меня нарисовали, — горько усмехнулся Костя.

— Это ничего не значит... Я честный человек... — добавил Сева непонятно почему.

— Не значит? — переспросил Костя. — А вот и значит! — Его глаза зло блеснули. Он закончил: — Уйду с завода! Не нужны мне такие вот! Уйду вот... в тайгу... Скажи Николе...

Не этого ли слова добивался Сева так долго, не это ли слово всячески выманивал у Малышка? Почему же он теперь пошел прочь, еле передвигая ноги?

Девочки постарались скорее вернуться в цех. Катя протянула Косте алюминиевую мисочку:

— Ешь, я для тебя хлеба и каши на свои талоны взяла. Ешь, Малышок, а то не вырастешь, — и ласково улыбнулась.

Он неохотно принялся за еду. Девочек удивило его лицо, в котором все было сумрачно и спокойно.

За колонны прибежала цеховая рассыльная и пропищала: — Малышев, начцеха зовет! Скорее!

Покончив с кашей, Костя встал, вытер руки, застегнул бушлатик и направился к конторке начальника цеха. За ним в том же направлении двинулся Сева, а к ним присоединился Колька Глухих.

В Р А Ж Д А

Директора и парторга весь день не было на заводе. Об аварии «Буша» они узнали, когда говорили из обкома партии с главным инженером по телефону. Главный инженер передал трубку начальнику молодежного цеха Тимошенко, и тот рассказал директору, что станколомом является ученик токаря Константин Малышев, что участвовал в этом безобразном деле другой ученик, Всеволод Булкин, а переналадил станок молодой токарь из ремонтного цеха Николай Глухих.

— Та це ж одна шайка-лейка, — сказал Тимошенко. — Дружки-товарищи. Я — на Малышева, а они все — на меня, сами все рассказали, бо вин молчит, як чугунная тумба. Ой, и впертый же хлопец!

Спустя четверть часа за колонны явился Герасим Иванович и посмотрел исподлобья на Костю, на Севу.

— Малышев, Булкин, сейчас к директору пойдем. Глухих с собой возьмите, — приказал он, круто повернулся и зашагал в цех.

Девочки испуганно глядели на Костю и Севу: к директору — ой, страшно как! Но поразительнее всего было спокойствие, с каким мальчики приняли приглашение. Костя даже не шевельнулся, а Сева, как только мастер скрылся, сказал:

— Взялись прорабатывать, нашли удовольствие... Будто без этого не обойдется...

— Что ты говоришь, Сева? — слышался голос Нины Пав-

ловны.— Конечно, без этого не обойдется. Нужно ведь с вами крепко договориться, чтобы вы берегли технику.

В этот печальный день Нина Павловна несколько раз наведывалась за колонны. Теперь она присела возле Кости, взяла его за руку.

— Почему ты молчал у начальника цеха? — спросила она.— Подумай, как можно после всего этого доверять тебе станок?

— Я... я фронту не помеха,— шепнул Костя, встал и ушел в свое испытанное убежище.

— Ты, Сева, старше и грамотнее Малышка,— сказала Нина Павловна.— Конечно, хорошо то, что ты у Тимошенко признал и свою вину, но почему ты так легко говоришь о проработке, почему стараешься ожесточить Малышка? К чему это?

Вдруг Катя выключила станок и сжала кулачки.

— Он лодырь, вредитель бессовестный! — крикнула она запальчиво.— Это он, он так нарочно подстроил, чтобы станок сломался, чтобы Малышка в свою компанию затащить и тоже лодырем сделать. Вредитель такой!

Это было тяжелое обвинение. Правда, казалось, что Костя, уставившийся глазами в землю, ничего не слышит, но Сева все же счел необходимым объясниться.

— Ты, Галкина, в наши дела не суйся! — сказал он твердо.— Конечно, мы с Колькой сделали плохо. Но мы не думали, что так получится... Я искренне хотел, чтобы Малышок полторы нормы выполнил. А теперь я всю вину на себя принимаю. Вот! — Он закончил: — Дура! — и пустил свой станок.

Все это было довольно убедительно, но оказалось, что Нину Павловну интересует не станок, а совсем другое.

— Какая у вас скверная обстановка,— проговорила она задумчиво.— Совершенно невозможная обстановка. Вы ведете себя как враги. Дошло до того, что Катя напустила на Севу собаку. Мне об этом бабушка рассказала. Как это не по-советски — такая вражда! (Катя хотела в ответ сдерзнуть, но сдержалась и отвернулась к станку.) Нет, подумайте, разве мы могли бы воевать, если бы все жили врозь? А какую дружную компанию вы могли бы составить, и тогда не было бы таких безобразий, как сегодня. Почему вы не дружите?

— Очень приятно с Булкиным-Прогоулкиным дружить! — бросила Катя.

— Думаешь, ты мне нужна! — не смолчал Сева.

Нина Павловна досадливо махнула рукой, хотела что-то сказать, но в это время появился Бабин.

— Пошли, работнички! — скомандовал он.

Оглянувшись, как человек, неожиданно оторванный от своих мыслей, Костя глубоко вздохнул и двинулся за мастером и Ниной Павловной.

СПОР

До этого случая мальчикам не приходилось бывать в кабинете директора, но от других ребят они слышали, что в кабинете на письменном столе стоят четыре телефонных аппарата: один — разговаривать с цехами, другой — с обкомом партии, третий — с наркомом боеприпасов, а четвертый, самый важный, к которому никто, кроме директора, не смел прикасаться, — говорить прямо с Кремлем. Может быть, это было так, а может быть, вовсе не так, но Костя даже забыл сосчитать телефонные аппараты.

В кожаном кресле за столом сидел директор, а возле стола в другом кресле, вытянув свою негибачую ногу, — Сергей Степанович. Он просматривал какие-то бумаги, беря их со стола здоровой левой рукой.

Директор приказал секретарше больше никого не пускать и спросил у Нины Павловны, что ей нужно.

— Я знаю этих мальчиков... Мне хотелось бы присутствовать, — ответила она.

— Можете, — разрешил директор. — Ребята, сядьте, — указал он на стулья напротив письменного стола, а как только Костя, Сева и Колька уселись, спросил: — Кто Малышев?

— Посередине сидит, — сказал Сергей Степанович, окинув ребят спокойным, серьезным взглядом.

— Самый маленький, — отметил директор, прикуривая от электрической зажигалки. — Припоминаю, что видел его в цехе. Это тот самый Малышев, который на филиале отличился?

— Тот самый, — подтвердил Герасим Иванович. — И тут, положим, тоже отличился, только на другой манер.

— Да, — признал директор, — расправился со станком. Дико, варварски расправился! — Он спросил у Кости: — Вот ты, Малышев, сколько пудов можешь унести? — Тут он рассердился и прикрикнул: — Встань, я старше тебя!.. Так сколько пудов унесешь?

— Два пуда далеко нашивал, — пробормотал Костя.

— Неправда, не унесешь.

— Нашивал... Я тягучий...

— Так вот, тягучий человек, завтра ты должен пронести десять пудов через весь заводской двор. Слышишь?

— Не осилить, — невольно усмехнулся Костя. — Десять — это много.

— Жила лопнет?

— Может лопнуть.

— Почему же ты решил, что станок, рассчитанный, скажем, на два пуда, должен тащить десять? Доверили тебе надежный, исправный «Буш», который, худо-бедно, может выдавать в смену двадцать «труб», а ты его портишь. «Трубы» — важная часть

«катюш». Двадцать «катюш» — это такой залп, который может уничтожить роту или батальон фашистов. Тебе кажется, что ты только шестеренки сломал, а может быть, из-за твоего безобразного поступка мы не успеем отбить на фронте вражескую атаку... Может быть, из-за этого кто-нибудь погибнет... Понимаешь, что ты наделал?

Молчание было тяжелым, но ответить было еще тяжелее.

— Расскажи, как это получилось, и дай слово, что это не повторится, — сказала Нина Павловна.

— Я как лучше хотел, — хрипло, невнятно проговорил Костя, хотя дал себе слово, что после оскорбления, нанесенного ему художником, будет молчать. — Я как лучше хотел... Полторы нормы дать. А они, как черепахи, ползут!..

— Вот в чем дело! — живо откликнулся парторг. — Но почему ты не посоветовался со старшими? Кто тебе позволил своевольничать? Не так вас, кажется, учит Герасим Иванович.

— Не помеха я фронту! — горячо заговорил Костя, мысли которого пошли своим порядком и воскресили чувство острой обиды. — Я фронту не помеха, а они на стенке зачем написали! — Ему стало так горько, что он все забыл, кроме тяжкого оскорбления. — Уйду с завода, не нужны мне такие вот! — крикнул он и отвернулся, вытирая лицо шапкой.

— Что о нем написали? — спросил директор.

— Плакат вывешен, что станком Малышев — помеха фронту, — пояснил Бабин.

— Ну, это крепко, — поморщился Сергей Степанович и перевел взгляд на Зиночку Соловьеву.

— Это председатель цехкома погорячился, — поспешно откликнулась она. — Я уже сказала ему, что плакат нужно снять...

— Уйду с завода! — упрямо повторил Костя.

— Глупости болтаешь, — остановил его директор. — Сначала станок сломал, а теперь хочешь и рабочие руки забрать? Сбежишь — поймает, судить будем как дезертира производства.

— В тайге не поймаете, — с чувством превосходства усмехнулся Костя. — В тайге я первый всякого поймаю.

Тут не стерпел парторг. Он рассердился, посмотрел на Костю хмуро.

— Совесть тебя поймает! — сказал он и стукнул своей палкой в пол. — Она поймает, будь уверен! Всю жизнь будешь помнить, как ты фронтовикам в тяжелый год помог... Станок из строя вывел, работу бросил, в тайгу собрался. А я думал, ты самостоятельный, верный человек.

— Так! — поддержал его директор, вынул из стола папку с широкой шелковой завязкой и раскрыл ее. — С тобой, Малышев, мы поступим строго, — решил он. — Ты кое в чем помог заводу. Филиал представляет к награждению нескольких человек за

успешную работу в 1941 году. Есть среди них и ты. Вот что написано: «Малышев Константин Григорьевич — инициатор движения «снайперских молотков» в тарном цехе, оказавший филиалу значительную помощь в выполнении декабрьского задания». Просят представить тебя к медали «За трудовое отличие». Да, хорошо бы, Константин Григорьевич, получить медаль, но сам понимаешь — не могу и не хочу я сейчас просить за тебя Михаила Ивановича Калинина. Теперь слушай. Я поставлю вопрос о твоём награждении, как только ты выполнишь следующие условия: ты должен поскорее освоить станок и работать так, как обещал, твой станок должен быть самым чистым в цехе, а инструмент — самым стойким. Стоимость ремонта станка ты покроешь из своей зарплаты... Сколько это составит, товарищ Тимошенко?.. Шестьдесят рублей? Вот за три месяца равными долями и внесешь. Что же касается плаката, то его надо снять...

— Да, надо снять, тем более что плакат не совсем правильный, — поддержал парторг. — Конечно, ты, Малышев, фронту не помеха, но ты сделал ошибку, а враг старается воспользоваться каждым нашим промахом. Вот почему не надо ошибаться. Понимаешь? Постарайся, чтобы твои товарищи тоже подтянулись, стали работать хорошо, отлично, по-стахановски. Подумай над этим, Малышев, над этим стоит крепко подумать.

Удивленный, выбитый из колен словами директора и парторга, Костя опустил на стул. Но тут вскочил Сева. До сих пор он сидел какой-то безжизненный, равнодушный ко всему, что говорилось, как человек, который про себя решил все вопросы, а тут он вскочил...

— Малышев ни в чем не виноват! — заговорил он высоким, срывающимся голосом. — Это я во всем виноват, я его подговорил, а он согласился. Он меньше. И потом, мы жребий метали, но... Это из-за меня он... он медали лишился... Я прошу всю вину переложить на меня, будто я сломал мой станок, а не его... Я очень прошу! — И он умолк, задохнувшись, весь вострепанный, тонкий, дрожащий от возбуждения.

— Слыхали уже эту песню! — отмахнулся Тимошенко.

Положив подбородок на рукоятку своей палки, Сергей Степанович смотрел на Севу внимательно, но не строго, и Косте даже показалось, что в его серых глазах появилась сначала удивленная, а потом добрая усмешка. Но вот парторг перевел взгляд на Костю и посмотрел пристально, требовательно.

— Ты, Малышев, слышал, что сказал твой товарищ? — спросил он. — Булкин хочет принять на себя всю вину. Ты этому рад? Ты согласен — так, что ли? Сказывай толком! — закончил он по-уральски.

Косте стало обидно. Только что Сергей Степанович назвал его самостоятельным человеком, а тут вдруг Сева повернул дело, как

с ребенком, и Сергей Степанович будто согласен с ним. Но в душе Костя понял, что это не так.

— Станок-то мой! — проговорил он сердито. — Не маленького нашел. Я сломал, я и в ответе! — И он отвернулся от всех и прежде всего — от Севы.

— Малец-то все же самостоятельный! — отметил директор.

— Да, по своей вине награду потерял, своим трудом и вернет, — сказал парторг. — Сядь, Булкин. Твое предложение не принято. Каждый отвечает за свой проступок, и это правильно, без этого не добьешься чувства ответственности решительно от всех работников. Понял?

Опустившись на стул, будто подкосились ноги, Сева поник, пришибленный, с красными пятнами на щеках. Костя посмотрел на него, на ошеломленного Кольку, который слушал, приоткрыв свой ротик, и тоже сел. Он и слышал и не слышал, как директор распекал Севу и Кольку, как объявил всем троим строгий выговор. Наконец мальчикам разрешили уйти.

— Малышок, задержись немного в цехе, а потом зайди ко мне в лабораторию, — сказала Нина Павловна.

Разговор старших у директора затянулся. Говорили о том, что нужно учить, воспитывать ребят, которые пришли на завод, минуя ремесленные училища, надо учить молодых патриотов, которые ненавидят фашистов так горячо, хотят сделать больше, чем позволяет умение, а вот по-глупому портят оборудование.

— Правда, — сказал Бабин. — Техминимум нужен, курсы, школы стахановские... Моих галчат подучи, так они у черта голову оторвут и себе приставят. Ох, галчата, галчата!

— А Малышев — паренек честный, — отметил парторг. — И этот Булкин не так уж плох. Способен на благородный поступок. Но все-таки нельзя оставлять Малышева под его влиянием... Вы, Нина Павловна, говорите, что знаете этих мальчиков. Давайте поговорим о них.

«СДЕЛАЙ ТАК!»

Нина Павловна, работавшая за столом, оторвалась от книги и подняла голову.

— Хорошо, что пришел. Присаживайся, — сказала она Косте. — Надо побеседовать. Знаешь о чем? Как ты будешь жить дальше.

Костя насупился и постарался оживить в сердце обиду.

— Чего говорить... Заплачу за ремонт станка да и уйду...

— Брось, — спокойно ответила Нина Павловна. — Прекрасно понимаешь, что никуда не уйдешь. С какой стати? У тебя хоро-

шие перспективы — стать квалифицированным токарем, получить правительственную награду. — Она помолчала. — Сергей Степаныч просил меня сказать тебе вот что...

Он сразу почувствовал, что теперь, когда Нина Павловна передает ему слова Сергея Степановича, нельзя дурить и упираться. Он стал уважать парторга с первой же встречи, а после разговора у директора уважение еще возросло.

Нина Павловна заговорила медленно, будто припоминала сказанное парторгом, и глаза на ее похудевшем лице светились, настойчивые и строгие:

— Вот что, Малышок: прежде всего тебе нужно освободиться от влияния Севы. Он неплохой человек, он способен на благородный поступок, но до сих пор не понял своего святого долга — работать упорно, отдавать все силы фронту. Пока он этого не понял, ты должен опасаться его влияния, не идти у него на поводу. Он тебя до того доведет...

— Не маленького нашел! — живо возразил Костя, задетый за живое.

— Хорошо, — кивнула головой Нина Павловна. — Если ты не маленький, то, может быть, ты знаешь, как по-настоящему приохотить Севу к делу?

Этого Костя не знал.

— Как сделать, чтобы у вас за колоннами ребята сдружились и надежно взяли Севу под свое влияние?

Этого он тоже не знал, да и было ли это возможно?

— Если бы ваша четверка сдружилась, как дружит весь советский народ, все было бы лучше, чем теперь. Вы с Севой переняли бы правильный опыт девочек, вы не испортили бы станок. Может быть, и Катя стала бы не такой поперечной. Скажи, положи руку на сердце, могло бы так быть?

— Ясно, — признал Костя.

— Вот и сделай так! — с неожиданной силой произнесла Нина Павловна. — Сделай, чтобы за колоннами вместо глупой детской вражды была хорошая дружба. Сергей Степанович уверен, что ты мог бы добиться этого, потому что ты крепче, устойчивее твоих товарищей. Слышишь? Он надеется на тебя. Сделай так, и ты увидишь, насколько лучше станет жизнь, как успешно пойдет работа.

В дверях появился старший каильщик Дикерман.

— Товарищ инженер, третий цех выдал свежую партию сырых «рюмок»! — доложил он весело. — Будем мы сегодня работать или нет?

— Будем, конечно, будем! — И Нина Павловна на прощание сказала: — Малышок, подумай о том, что тебе говорили... Нужно серьезно думать, Малышок!

Он остался один на один с трудными задачами. Все пере-

плелось, спуталось. По-настоящему было ясно лишь одно: он не имел права бросить завод. Мало того что завод поддержал его в тяжелую минуту, дал жилье и хлеб,— Костю еще научили резать сталь, сделали полезным для фронта. Как же он мог оставить производство, свой любимый станок?.. Но от него еще требовали, чтобы он приохотил Севу к работе, установил за колоннами мир. Почему? Разве это его касалось? Разве он отвечает за Севу и Катю? Как будто не отвечает, но если бы Сергей Степанович сказал ему: «Откажись открыто от этой задачи», он не смог бы отказаться. Уже давно он понял, что за колоннами плохо, неладно.

По дороге домой он думал, думал... Мыслей было много, мысли так и мелькали, а решений, кажется, не было.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Окно боковушки светилося.

— У нас Колька Глухих,— сказал Сева, открывший дверь Косте.

На топчане сидел Колька и курил. Делал он это для важности и морщился, щурился от горького, едкого дыма, глаза его слезились. Не торопясь Костя разделся, снял валенки и сел, поджав ноги по-вогульски. Колька заерзал, бросил на Севу быстрый взгляд и начал переговоры:

— Малышок, мне сказал Сева, что ты решил идти в тайгу. Держишь слово?

Наступил ответственный момент.

— Решил было, да вот передумал,— медленно ответил Костя, глядя поверх головы Кольки, будто вычитывал решение с бревенчатой стены боковушки.— Слышал, чай, что мне директор да Сергей Степанович велели? Никак нельзя мне уходить.

— Вот так здорово! — вскинулся Колька.— Ты же слово дал нас к манси повести. А теперь отказываешься?.. Слышишь, Севка? Он отказывается!.. Знаешь, что за это среди честных людей полагается?.. Скажи ему, Севка!

Сева, сидевший на краешке топчана, равнодушный, будто посторонний, нетерпеливо пожал плечами.

— Мы ведь тоже не сделали со станком того, что обещали.— Он усмехнулся.— Где полторы нормы... Николай-чудотворец?..

— Все равно это безобразие! — волновался Колька.— Он не имеет права! За это надо его так проучить...

— Ты не грозись,— усмехнулся Костя.— Не испугались такого.— Он помолчал и высказал совершенно удивительную мысль, может быть, неожиданную для него самого: — В тайгу не

пойду. А коли вам охота, я вас не держу. Головы ваши, ноги не мои. Тамгу дам и письмо к дружку-товарищу напишу. Пускай вас проводит. У меня в Румянцевке дружок верный. Панфил Колыш, дяди Колыша паренек. Что скажу, то сделает.

Колька беспомощно смотрел на Севу.

— Можно и так,— сказал тот неохотно.— Если этот Колыш человек верный, то, в конце концов, все равно...— И снова погрузился в свое раздумье, точно к чему-то прислушивался.

— Тамгу дам и письмо к Панфилу Колышу напишу,— продолжал Костя.— Пока собираться будете, я вам голова, а потом Панфил головой будет. Он парень стоящий, надежный... Вот. Собирайтесь в тайгу, а я посмотрю, чтобы все ладно было.

— В чем дело? Если ты ручаешься за этого Колыша, то...— И Колька сразу перескочил к вопросу, который интересовал его больше всего: — Говори, что нужно для похода?

Теперь Костя почувствовал себя твердо: он знал, как в родных местах люди сговариваются для похода в тайгу, как вожаки учат младших артельной спайке.

— Первое дело — друг за дружку держитесь,— сказал он.— Если у тебя брат меньшей да брат старшой, а артельный голова — твой отец родимый, солнышко красное. Что солнышко — то и ты. Солнышко спать — и ты лег; солнышко гулять — и ты скок. Артель — сто голов, один ум, а сто умов стало — артель пропала. Ну, и снаряжение нужно. Это своим порядком.

— У меня папино ружье есть,— вставил Колька.— Складное, двустволка центрального боя. Можно в мешок спрятать, и никто не заметит. Пороха и дробы достанем. Сами набьем патроны...

Началось обсуждение — что нужно для похода в тайгу. Эта тема совершенно захватила Кольку, но его компаньон не принял никакого участия в совещании, так что Колька даже возмутился:

— Разве тебя это не касается? Почему я должен обо всем думать и заботиться!

— Подумаешь, заботы! — процедил сквозь зубы Сева.

Наконец встал самый важный вопрос — срок выхода экспедиции.

— Знаешь, Малышок, мне кажется, что не нужно ждать осенних туманов, можно раньше выступить,— сказал Колька, подмигнув Севе.— Конечно, попасть в синий туман интересно, но ведь нам важно что? Нам важно, чтобы у нас был друг манси, который хорошо знает золотоносные места. Понимаешь? Мы попросим Бахтиарова, чтобы он за тамгу показал нам хорошее место. Пускай оно будет не такое богатое, как Святое озеро...— И Колька снова чуть-чуть подмигнул Севе.— Но лучше взять золота хоть меньше, да быстрее. Ведь война не ждет, Малышок... Ты не думай, что мы не верим в синий туман, но...— Он спутался и замолчал.

— Что ж, ваше дело,— согласился Костя.— Бахтиаров, конечно, всякие места знает...

— Все-таки расскажи про синий туман,— попросил Колька.— Я очень люблю такое...

— Сказывал я уж... Ну, слушайте.

В стены боковушки вошел мир, полный чудес. Участники похода очутились на вершине высокой горы, возле шалаша из оленьих шкур. Наступила минута, которая не повторится никогда.

Темно-зеленая неподвижная тайга лежала внизу без конца и края. Тени облаков скользили по вершинам сосен и кедров, как взмахи легких крыльев, и исчезали в тишине.

Откинулась пола шалаша, и вышел Бахтиаров — старый, морщинистый, темнолицый, в казакине, расшитом тусклым, потемневшим галуном, с волосами, заплетенными в тугую косичку.

Он остановился над обрывом, заслонил глаза рукой от солнца и стал смотреть. Обладатели тамги ждали его слова.

Все туманнее и мягче становился парной, неподвижный воздух, все бледнее небо. И вот в темно-зеленом таежном покрове земли обозначилась узкая, извилистая, синяя-синяя трещинка. Она была очень узкая... нет, немного шире... нет, очень широкая. Такие трещины прошли по всей тайге, разделив ее на острова и островки.

Это над лесными речушками поднимался синий туман, овладевал долинами и логами, молчаливо наступал на гору. Не стало ничего, кроме светлого неба, да бледного солнца, да синего-синего моря, подступавшего все ближе к вершине горы. Бахтиаров обернулся к трем смельчакам, глухо проговорил:

— Айда!

Трое двинулись за ним. Теплая мгла охватила их, скрыв солнце, а впереди смутно, призрачно маячила фигура проводника. Путешествие к Святому озеру началось, но переживали его в своем воображении лишь Костя и Колька, а Сева машинально перелистывал какую-то растрепанную книжку.

ТУПОЙ ГВОЗДИК

Поздно ушел Колька Глухих домой. Закрыв за ним дверь, Сева вернулся в боковушку, опустился на топчан возле столика.

— Ты ровно занедужил,— сказал Костя, готовясь забраться под одеяло.— Сам не свой...

— Нет,— шепнул Сева,— это просто так.— И через силу, будто делал опасный шаг, продолжал: — Я тебе сейчас скажу такую вещь, что ты... меня убьешь. Но я должен сказать...

— А может, и не убью. Зачем тебя убивать, ты не зверь,— пошутил Костя.

— Я перед тобой подлец,— так же трудно проговорил Сева.— Это из-за меня ты лишился медали...

Напоминание было тяжелым, Костя омрачился.

— Ты за старое не берись,— сказал он.— Я потерял, я и обратно заработаю. Слыхал, что Сергей Степанович сказал? Не маленькие тут, не твоя печаль.

— Нет, моя!..

Он сорвался с места, полез в карман своего ватника, висевшего у двери, что-то достал и протянул Косте на ладони. Это был тупой гвоздик. Тот самый гвоздик, который остался в кулаке Севы после того, как Костя вытащил свой жребий. Сева с досады забросил тупой гвоздик — почему же гвоздик снова очутился у него? Зачем Сева его показывает? Сначала Костя ничего не сообразил, а потом сразу сообразил и похолодел: Сева смошенничал, Сева перед жеребьевкой подменил тупой гвоздик острым, у него в кулаке было два острых гвоздика. Костя переналадил свой станок по фальшивому жребию.

— Ты... ты зачем так сделал? Так нахально? — спросил он, еле ворочая языком.— Злодей ты, проклятый ты человек! — крикнул он с отчаянием.

— Я был уверен... я был уверен, что мы переналадим станок правильно,— тусклым голосом ответил Сева.— Я не хотел тебя подводить. Я только хотел, чтобы ты свои полторы нормы выполнил, от обязательства освободился, чтобы тебе некуда было податься от синего тумана. А когда ты медали лишился, я почувствовал... Медаль ни за какое золото не купишь! — глядя на Костю темными, неестественно большими глазами, он сказал облегченно и в то же время с болью: — Теперь все знаешь. Хочешь — убей, хочешь — на мороз выбрось. Как хочешь...

С гудящей головой, разбитый, Костя лег и отвернулся к стене. Сева остался сидеть у столика.

— Ложись... Свет потуши,— сказал Костя.

Свет в боковушке погас, но Сева не лег спать, и сон не пришел. В голове Кости метались самые разнообразные мысли: тяжело, очень тяжело было то, что он глупо доверился Севе, а тот обманул, надул его, как маленького, сделал станколомом, подвел под строгий выговор в приказе, который завтра будет вывешен в цехе на черном щитке возле доски показателей. И в то же время почему-то стало особенно жаль Севу, стало жаль этого мальчика, который пережил так много и теперь все метался, все тревожился.

— Не могу, не могу я на заводе! — вдруг выкрикнул Сева, сделал резкое движение, и что-то скрипнуло, порвалось — как видно, он рванул на себе рубашку.— Я не могу так больше! Принес бы золото, всем бы доказал, что могу много сделать...— По-

молчав, он с горькой усмешкой кончил:— Теперь ты, конечно, тамги не дашь.

Костя сказал медленно, будто искал что-то в темноте:

— А я от своего слова не отказ.. Делай как знаешь... Тебе на заводе скучно, а мне ничего. Я останусь... Только пока я тебе тамгу не дам, ты будь мне друг-товарищ... понятно? А то нет у меня друга-товарища. Только Миша один...

— Малышок, разве я когда-нибудь от этого отказывался! — воскликнул Сева даже как-то испуганно.

— Что я, то и ты,— проговорил Костя, додумывая свою мысль.

— Честно, что ты, то и я!..

Не зажигая света Сева стал раздеваться и делал это так осторожно, точно боялся неловким движением нарушить решение Кости.

— Малышок, ты великодушный человек,— сказал он тихо.— Я тебя не раз обижал, а ты не мстил... Ты меня даже защищал... Помнишь? И сегодня ты опять поступил великодушно... Я не хочу быть перед тобой низким подлецом, Малышок!

— Ладно, спи знай,— ответил смущенный Костя.

Глава четвертая

ДЕСПОТ

За колоннами еще никого не было, когда Герасим Иванович привел сюда Костю.

— Вот... Ты, Малышев, сломал, напакостил, а мы наладили,— отрывисто проговорил он, указав на «Буш».— Работай да помни, что тебе вчера приказали. Плохо работать будешь — в бригаду чистоты переведем, заводскую территорию со старушками убирать. Хорошо работать будешь — старое поминать не станем... Что скажешь?

Что мог ответить Костя?

«Заготовки пойду таскать»,— решил он.

Помолчав, мастер уже не так строго проговорил:

— Недружно вы здесь живете, чужаком друг другу. При таком положении вы все станки переломаете, а не то что... Хоть разгоняй вас по разным углам. А это жаль... Квалификация у вас хоть маленькая, а уже имеется. Вот Нина Павловна вчера разговор с парторгом имела, будто ты паренек с понятием. А ничего ты, в общем, не смыслишь, как я посмотрю. У Галкиной в чем душа держится — заготовки тащит, чуть не падает. Так нет у тебя соображения помочь. Девочки ведь — не мужики.

— Помогу...— пообещал Костя.

— Делай, ладно будет,— одобрил мастер.

Как только Сева показался за колоннами, Костя приказал:

— Давай заготовки таскать!

Тайком Сева взглянул на Костю — тот был спокоен, как всегда, разве что немного серьезнее.

Заготовки нужно было возить со двора, с мороза, и ребята не любили этого занятия. Молча мальчики сделали два рейса с тележкой и сложили подернутые инеем заготовки у своих станков.

— Пошли! — И Костя взялся за тележку.

— Зачем? — удивился Сева.— Мне на два дня хватит.

— Что говорят! — прикрикнул Костя.

И Сева подчинился, чтобы быть с ним заодно, но, увидев, что товарищ складывает заготовки возле станка Галкиной, остолбенел.

— Еще что! Очень нужно! Что я им, подсобник, что ли? — зашумел он.

— Пакость строить можешь, а как доброе что, так тебя нет,— сказал Костя, глядя ему в глаза.— У Галкиной в чем душа держится, через силу работает, а ты...

Сева опустил взгляд, взялся за тележку и потащил ее к цеховым воротам. Когда они вернулись, их встретили две пары изумленных глаз: пара синих и пара черных и блестящих, как спелые вишни.

— Ты, Катерина, рабочие рукавицы Севолоду отдай,— деловито распорядился Костя.— Свои он невесть как разодрал. А тебе рукавицы не снадобятся. А коли что, у Ленушки возмешь.

Это было официальным заявлением, что девочки освобождаются от возни с заготовками.

— Ничего не понимаю,— сказала Катя.

— И не понимай... Думаешь, сами мы? Мастер приказал, а то в чем у тебя душа держится,— объяснил Костя и пошел к станку.

— Все-таки мерси,— поблагодарила Леночка.

Начался день. Внешне все обстояло по-старому: пыхтел у станка Костя, шушукалась с подругой Леночка, равнодушно работал Сева. Но все же день был особый. Отправляясь сдавать резцы в заправку, Катя как бы между прочим предложила:

— Малышок, тебе нужно резцы заправлять?

Он вручил ей один резец, а из шкафчика Севы вытащил два, на редкость тупых.

— Не трогай, сам отнесу! — бросился к нему Сева.— Подумаешь!

— Работай! — осадил товарища Костя.— Только и глядишь — с места сбежать!

Да что же это такое, в самом деле! Сева хотел взорваться, но встретился со взглядом Кости и снова сдался. Обедать Костя

пошел один через второй цех, чтобы не встречаться со знакомыми ребятами. Вернувшись за колонны, он увидел, что возле Севы вертится Колька.

— Малышок, я ножи заказываю Гришке Панову из инструментального цеха,— сообщил он шепотом.— Рукоятки из черного эбонита, и на рукоятке девиз: «Вперед!» Чехлы из брезента сами сделаем...

Костя промолчал.

— Кстати, ребята в цехе говорят, что вы с Севкой для девчат заготовки таскаете, как подсобники. Охота вам унижаться! — не дождавшись ответа, заметил Колька.

— Это дело не твое,— осадил его Костя.— Мы не унижаемся, а социалистическую помощь оказываем.— Он распорядился: — Завтра до смены и ты приходи помощь оказывать.

Такого явного вызова Колька не ждал. Он растерялся, уставился на Костю, потом бросил взгляд на Севу, ища поддержки и защиты, но Сева сделал вид, что ничего не слышит.

— Ты что, что? — забормотал Колька, нелепо улыбаясь и топчась на месте.— Ты это серьезно? Смешно, ей-богу! Почему я должен для чужих да еще в чужом цехе заготовки таскать?

— Испугался друзьям-товарищам помочь! — отметил Костя.— Слабосильная ты команда, вот что! Куда тебе в тайгу... Не пущу я тебя!

Что правда, то правда — Колька был весь какой-то несущественный. Светлые волосики венчиком выбивались из-под шапчонки, руки были тонкие, движения торопливые: легковесный человек.

— Я тебе не согласен подчиняться! — заявил он с отчаянием, стараясь выдать это отчаяние за гордость.— Севка, удивляюсь тебе, честное слово!

Костя знал, что теперь нельзя допускать послаблений, и молча занялся работой.

— Ну-ну, здорово!.. — протянул Колька.— В конце концов, если ты так ставишь вопрос, то не надо и тайги. Подсобником я становиться не согласен из принципа!

Но его голос прозвучал так жалко, так неуверенно, что Сева усмехнулся: ничего, если он может таскать заготовки для девчонок, то и Глухих — не барин.

И Колька понял, что ему придется отложить свой принцип.

— Алло, Малышок-корешок!

Костя не поверил себе — на него смотрел Миша Полянчук, неожиданно появившийся между колоннами.

ИСКУШЕНИЕ

Это был Миша Полянчук, такой же, как всегда, с веселыми глазами, с носом, немного расщепленным на конце, в шапке-ушанке, молодцевато сидевшей на голове — ухо направо, ухо налево.

— Малышок, жив-здоров? Сейчас я в отдел капитального строительства зайду, а потом посмотрю длинный цех и канаву. После смены поболтаем о твоих делах, друг сердечный.

Не помнил Костя, как он сдал готовые «трубы» старенькой учетчице тете Паше, как убрал у станка. Ему было тревожно, неловко: он догадывался, что Миша знает о его беде. Когда он освободился, все ушли и за колоннами стало тихо, явился Миша.

— Присядем рядком да потолкуем ладком,— сказал он, усадил Костю на стеллаж и обнял его за плечи.— Станок, значит, сломал? — спросил он так просто, что у Кости отлегло от сердца.

— А ты почему знаешь?

— Сегодня утром Зиночка по телефону сказала. А тут как раз начальник филиала меня на завод кое за чем послал. Здорово тебя прорабатывали?

— Как след,— ответил Костя, отвернувшись.

— За дело?

— Ясно, за дело,— признал Костя.— Станки ломать — не порядок...

— Вот это я люблю! — одобрил Миша, обнял его еще крепче и поучительно добавил: — Сознательность важнее всего.— Он помолчал и приступил к вопросу, который особенно занимал его.— А к нам ты не надумал, Малышок? У нас дела пошли боевые. Снайперов молотка стало много, и Петрусь Зозуля — самый лучший. Упаковка чуть совсем не заporолась. Мы ей людей послали. Мингарей опять снег ел, а помощь все-таки принял, потому что главное — это интерес фронта... Начальник филиала говорит, что если ты согласен перебраться на филиал, то он лично устроит это дело.

Как это было заманчиво, как переворачивалось сердце у незадачливого токаря!

— Снабжение у нас улучшили, два новых общежития открыли для взрослых рабочих и одно — для молодых. Клуб еще,— продолжал искустель.— Кино часто бывает... Сколько хочешь сеансов смотри... Вчера конфеты выдавали сверх нормы, вот попробуй.— И он сунул Косте большую конфету без обертки.— Она не то что шоколадная, но на шоколадную нечаянно посмотрела... Так что же я услышу, корешок?

Зажмурить глаза, потряхнуть головой, сказать «да», будто в воду прыгнуть,— и конец всем волнениям, впереди счастье, жизнь возле Миши, которого он полюбил, как брата...

— Директор велел за ремонт станка три месяца платить,— глядя прямо перед собой, проговорил Костя.— Обязательство выполнить. Слышь? К медали меня представляли, а теперь не дадут.— Тут лицо великого деспота сморщилось, он протянул Мише конфету в знак того, что отвергает все соблазны, и закончил: — Не рука с завода уходить. Ребята болтать станут... что меня из токарей выгнали...

— Правильно, Малышок! — со вздохом признал Миша, обняв его еще крепче.— Я об этом тоже думал... Знаешь, я, между прочим, немного боялся, что ты сразу согласишься, уцепишься за меня... А согласишься — значит, ты не совсем такой, каким сначала показался. А ты правильно! Попал в тяжелое положение — не уходи, пока не выправишь. Ну, а киснешь зачем? Вот уже ямка на щеке, полная слез. Это не по-геройски. Ешь конфету. Сладкое от слез помогает. А это домой возьми.— И он положил в карман Костиного ватника несколько конфет.

Когда Костя немного успокоился, Миша стал прощаться:

— Теперь я к вам буду чаще наведываться как комсорг всего филиала. Мы в оба следим, как у вас подвигается монтаж новой сборки. Нам уже некуда тару девать. В нашем цехе сейчас инженер Балакин работает, рационализаторские предложения собирает. Такой чудак, веселый, а поет, будто колесо скрипит. Парторг у нас чуть не каждый день бывает. Деловой!.. Ну, кажется, ты успокоился. В общем, Малышок, я уезжаю спокойно. Прошу тебя, в другой раз не ломай станки. Давай руку!

Ушел, ушел друг-товарищ, и Костю охватила самая тоскливая тоска. Он отказался от предложения Миши, потому что должен был так сделать, но ведь он от счастья отказался, и теперь уже нельзя было взять слово назад.

Гордость не позволила бы ему сделать это, пока он не выполнит все условия, поставленные директором, чтобы никто не смел говорить, что он сбежал от трудного дела как последний трус.

СЕРЫЙ ПАКЕТ

В те дни мороз стоял такой крепкий, что даже Шагистый не вытерпел и перебрался из своей снежной берлоги в сенцы. Костя вспомнил, что не припас корочки, достал конфету, колебался и отломил кусочек для своего любимца. Не сообразив, в чем дело, Шагистый сразу проглотил подачку и только тут понял, что совершил большую ошибку, так как не успел распробовать что-то чрезвычайно вкусное. Он вильнул хвостом и вопросительно посмотрел на Костю: «Интересно, что это было?»

— Тебя хоть чем корми, ты, дурной, не понимаешь, — упрекнул его Костя.

В боковушке, сидя с ногами на топчане, Сева тянул чай из эмалированной кружки и читал газету, лежавшую у него на коленях. Зимой он пристрастился к чаю и газетам, достал где-то помятый голубой эмалированный кофейник, брал кипяток на кухне и пил до тех пор, пока в животе не начинало булькать.

Теперь он пил чай по-особому — отхлебнет, сладко-сладко зажмурится, вытянет губы, нежно свистнет: «Фью!» — снова отхлебнет и снова свистнет.

— Ты чего кикимору строишь? — спросил Костя.

— Чай со свистом вприкуску пью, — объявил Сева. — Сам изобрел... Фью!

— Сахар-то по карточке получил? Неужто все съел?

— А в поход что возьму? — напомнил Сева. — Я половину сахарного пайка в неприкосновенный мешочек пересыпал. Хочешь чаю со свистом? Мне не жалко.

— Пей с конфетой, — сказал Костя и положил конфету на стол. — Думаешь, мне жалко?

Севу обрадовало, что Костя начинает с ним дружить.

— Хорошая конфета, третий высший сорт с перцем, — похвалил он, расправившись с конфетой молниеносно. — А скажи, неужели правда, что рысь даже на людей кидается? Ведь это небольшое животное...

— Бывает небольшая, а бывает ничего... На мужика, может, и не кинется, а на дитё вот кинулась.

Прихлебывая чай, он стал рассказывать Севе о повадках рыси, но стукнула входная дверь, весело заскакал Шагистый, послышался голосок: «Перестань, глупый, повалишь!» — и Катя постучала в дверь:

— Малышок, я для тебя письмо из нашего ящика вынула!

Письмо?.. В сенцах Костя получил из рук Кати серый пакет, заклеенный хлебным мякишем, с косолапо написанным адресом, и растерялся, так как получил письмо впервые в жизни.

— Я думала, это мне письмо, а это тебе, — разочарованно сказала Катя.

— С фронта, поди? — спросил он.

— Вот смешной! Разве фронтовые письма бывают с марками?.. Что ты его вертишь? Распечатай! Фу, какой ты! Дай сюда!..

Она надорвала конверт и вынула лист шершавой бумаги, а из этого листа выпал маленький листочек и медленно опустился на пол. Катя подхватила его, развернула и взялась за сердце.

— Ох, Костя, знаешь, это... — прошептала она.

Костя смотрел на листочек, боясь принять его, — и все-таки принял, посмотрел и прочитал. Там было написано, что сержант

Дмитрий Григорьевич Малышев пал смертью храбрых в боях с фашистскими захватчиками. И Костя все понял, но будто он в эту минуту был где-то очень далеко, и то, что он понял, поэтому казалось каким-то смутным, неправильным. Он стоял неподвижный, испуганно глядя на бумажку.

— Пойдем! — шепнула Катя, взяла его за руку и провела в гостиную.

За ними пробрался Шагистый и понюхал медвежью шкуру, которую он знал еще тогда, когда эта шкура была живой, страшно рычала и отбивалась от него лапами с острыми, кривыми когтями. В память об этих когтях Шагистый не сел на шкуру, а устроился прямо на полу, положив морду между лапами и переводя взгляд с одного на другого. У хозяев что-то случилось: сидя на медвежьей шкуре, они молчали, но они думали очень грустное, и Шагистый это чувствовал.

— А ты? Тоже такое получила? — спросил Костя.

— Нет... я такого... не получала, — едва слышно ответила Катя, и ее глаза стали неподвижными и прозрачными, как стеклянные. — Если я такое получу, я... непременно умру...

Шагистому захотелось поскулить. Он подошел к Кате и чуть-чуть лизнул ее в щеку. Щека была мокрая, соленая. Катя не рассердилась, только слабо отмахнулась. Стараясь не наступать на медвежью шкуру, Шагистый потянулся к Косте, ткнулся носом в его плечо и снова лег.

— Шагистый нас пожалел, — сказала Катя. — Хочешь, я прочитаю письмо?..

Писал румянцевский сосед под диктовку Павлины Леонтьевны Колобурдиной. Отвечая Косте, старушка сообщала, что ей передали из военкомата похоронную о Митрии. «Погиб наш сокол ясный, погубил его фашист проклятый», — писала Павлина Леонтьевна, а дальше было несколько поклонов от знакомых.

— Если я тоже получу такое, я непременно умру, — повторила Катя.

Горе сжало сердце Кости. Он как-то вдруг снова понял, что Митрия нет на свете. Он встал, ушел, сел в сенцах возле кадки с водой и обнял за шею Шагистого, который последовал за ним. Так он сидел, поджав ноги по-вогульски, и смотрел в темноту широко открытыми глазами.

...Митрий, Митрий, как же это так, большой брат Митрий! Как же смог убить тебя фашист? Ведь ты медведя убил... Ты белку бил малой пухлякой в ее быстрый глазок, чтобы не портить шкурку. Ты за сохатым бежал быстрее ветра, и зверь не мог уйти... Как же это убил тебя фашист?! Ты бы не поддался ему, Митрий! Ты бы ударил его насмерть длинным ножом и руками придушил бы его, а коли что, так и зубами бы грыз его, проклятого...

Да нет, никто не поверит ни в Румянцевке, ни в городе Ивделе, ни в вогульских юртах, что большой Митрий, веселый Митрий пал наземь. Не верит этому и Костя и не поверит никогда. А то, что он молча плачет, обхватив шею Шагистого и прижавшись к нему головой, так это просто потому, что о Митрии написали такую страшную бумажку, это потому, что болит его сердце, а он не волен теперь над своим сердцем.

Потом его глаза наполнил жгучий невидимый огонь. Он глядел, глядел в темноту, и ему казалось, что там стоит кто-то черный, злобный и ненавистный — такой ненавистный, что сердце стало тяжелым, как свинец. Он знал, кто это! Это был тот, кто раздавил танком дом Севы, кто осиротил его товарищей из молодежного цеха, кто убил Митрия, кто принес столько горя в богатую и счастливую страну. До сих пор он был далеко, а теперь стоял в двух шагах, совсем близко, и насмешливо щерился.

— Постой, постой! — едва слышно произнес Костя. — Постой, будет тебе! — повторил он, до боли сжав кулаки.

ТИШИНА

Бывает так, что после бури ветер сложит крылья, тучи останутся на небе и наступит тишина. Тяжелая тишина охватила Костю. Дни потянулись медленные, сумрачные. Он пораньше уходил на завод, привозил заготовки, работал, не отлучаясь от станка, делал все больше и больше, следил, чтобы Сева не раскисал, не лодырничал, но, сколько бы он ни сделал, радости не было, и кончалось все усталостью без мыслей и желаний. Обедал он как-то неохотно, забывал поужинать — не хотелось есть.

В цехе все знали, что погиб его брат-фронтовик, и, не высказывая этого, жалели Малышка.

Раньше парторг Сергей Степанович при встречах с Костей в шутку спрашивал, не жалеет ли он, что променял звание первого снайпера молотка на станок, а теперь смотрел внимательно, будто хотел без слов понять, о чем он думает, и в его серых глазах светилось сочувствие.

Парторг нередко бывал в молодежном цехе. Обычно его сопровождала Зиночка Соловьева, но однажды он пришел за колонны без Зиночки и, опершись на свою палочку, долго смотрел, как работает Костя.

— Ну, молодец, парень! — сказал он вполголоса. — Видел я сегодня на доске показателей... Норму ты выполняешь, и твой товарищ подтянулся. Это хорошо! Значит, напрасно я за тебя боялся. Крепко стоишь...

Костя склонился к станку, в носу у него защипало.

— Вот какие наши люди! — проговорил Сергей Степанович, точно беседовал с собой. — Лишился ты единственного брата. Большое это горе... Другой, может быть, руки опустил бы, а ты все лучше работаешь. Понимаешь, это значит, что твой труд — это борьба, что ты врагу мстишь и за брата и за все!

— Понимаю, — шепнул Костя непослушными, дрожащими губами. — Я, может, еще больше сделаю.

— Уже немало фашистов от твоей честной руки в землю легло и еще больше ляжет!.. — Сергей Степанович помолчал, глядя на Костю все так же внимательно, и добавил: — Одно мне в тебе не нравится, Малышев: похудел ты, осунулся. Ты себе этого не позволяй, следи за собой. Ослабеешь — врагу легче будет. Я скажу, чтобы тебе дали дополнительное питание.

— Не надо... Обойдусь... Как все, так и я...

Тут случилось то, что очень удивило ребят: парторг своей подогнутой, искалеченной рукой обхватил Костю, привлек к себе, заглянул ему в глаза, ничего не сказал и ушел, ступая быстрее, чем обычно.

Забившись за инструментальный шкафчик, Костя просидел там до тех пор, пока ребята не убежали обедать.

На заводе стал чаще бывать Миша. Иногда Костя шел с ним посмотреть, как подвигается копка канавы от нового сборочного цеха к речке. Продрогнув на канаве, они забирались в термический цех, за печи, и Миша рассказывал о теплой стране Украине или тихонько пел украинские песни, которые очень нравились Косте, потому что были печальные.

Подготовка к походу в тайгу тем временем продолжалась, но вел ее главным образом Колька и возмущался, что Сева не проявляет никакой инициативы. Зато у Кольки инициативы было сколько угодно. Например, он купил в магазине «Охотник» два светящихся карманных компаса и, проверяя их, ходил на работу по одному компасу, а с работы — по другому. Он также достал геологическую карту Урала, какие-то научные книги и, захлебываясь, толковал о горах Тум, Мартай, Попова сопка, так как был уверен, что Бахтиаров поведет их именно на эти горы. Однажды он сказал, что решил привести Севу к кровавой клятве.

— Не делают у нас так по-дурному! — высмеял его Костя.

Чем глупее были выдумки Кольки, чем больше суетился, увлекался этот паренек, тем насмешливее улыбался Костя, а после разговора с парторгом вся затея вдруг представилась ему детской игрой, и ему было странно, что Сева продолжает в ней участвовать, хотя и без прежнего пыла. Но к чему Костя относился ревностно, так это к соблюдению полной тайны. Он приказал компаньонам прекратить на заводе всякие разговоры о подготовке

экспедиции. Колька охотно согласился с ним, назвал соблюдение тайны конспирацией и предложил всем посвященным при случайных встречах на заводе подмигивать друг другу левым глазом. Костя отнесся к этому как к очередной глупости и нарочно забывал подмигивать. Сева последовал его примеру, так что Колька подмигивал один.

Итак, соблюдалась полная тайна-конспирация. Тем большей неожиданностью явился для Кости один разговор с Ниной Павловной.

Глава пятая

КРАХ КОНСПИРАЦИИ

Однажды Нина Павловна и Костя вместе шли на работу в утренних сумерках. Мороз оборвался, было тепло, и они не спешили.

— Не ладится дело, Малышок! — пожаловалась Нина Павловна. — Сколько уж у нас перебывало ученых, сам профессор Колышев взял над нами шефство, а всё семь с половиной, иногда восемь успешно закаленных «рюмок» из десяти. Главк пишет, что он согласен на пятнадцать — двадцать процентов брака «рюмок» по вине закалки. Но как жаль терять пятнадцать — двадцать деталей из каждой сотни! Надо, во что бы то ни стало надо добиться минимального брака!

Сверху они увидели костер. Его жгли землекопы.

Канава приближалась к холму.

— Вот скоро дополнительную сборку пустим, деталей потребуется еще больше, — проговорила Нина Павловна. — Надо спешить с моей работой. А вы, ребята, подгоните «трубы». Завод снова получил повышенное задание. Начинаются самые горячие дни. — Она помолчала и с усмешкой заметила: — Знаешь, я готова разочароваться в тебе, Малышок. На первых порах ты кое-чего добился — заставил Севу помогать девочкам, атмосфера за колоннами стала лучше, но... Ты считаешь, что Сева работает хорошо?

— Ясно, лучше работает. Вчера уже норму дал.

— Мне кажется, что норма ничего не доказывает. Сева не увлекся работой по-настоящему, она не стала его главным интересом. Антонина Антоновна заметила странную вещь: Сева тайком сушит сухари и складывает в мешочек под топчаном. Сахар он тоже копит...

Конспирация лопнула с треском. Растерявшийся Костя ждал продолжения.

— Мне кажется, что Сева хочет сбежать с завода, — подвела итог Нина Павловна. — Я, конечно, и мысли не допускаю, что ты с ним заодно. Ведь так?

— Так, — ответил Костя.

— Ты понимаешь, что это было бы черным предательством, которое никогда не простится, не забудется?

— Понимаю... Да и Севолод к работе привыкнет — не уйдет. Глупость это, больше ничего...

— Боюсь такой глупости! — сказала Нина Павловна. — Придется обратиться к Зиночке и Герасиму Ивановичу, если не удастся отговорить Севу. Это твой долг, потому что ты, по-видимому, знаешь о глупости, как ты называешь Севин замысел. Слышно, надо наконец понять, что мы должны помогать фронтовикам без задних мыслей, отдавая работе все силы, все думы. Поговоришь с Севой?

— Поговорю, — пообещал Костя, обрадованный, что Нина Павловна пока не дает делу хода.

— С Катей тоже нехорошо, — озабоченно проговорила Нина Павловна. — От нее только и осталось, что ее характер да глаза. И это нельзя объяснить лишь последствиями болезни. Конечно, она спрятала какое-то горе, какое-то беспокойство и надорвалась. Нет ничего тяжелее такой ноши, если ее несут в одиночку. Малышок, посоветуй Кате обратиться к доктору! Убеди ее!

Так кончился этот неожиданный разговор.

ПОРВАННАЯ ГАЗЕТА

Костя легко себе представил, как может дальше пойти дело: Нина Павловна, чего доброго, скажет о приготовлениях Севы Зиночке Соловьевой, та при случае скажет Мише, а Миша вспомнит разговор о тамге, свяжет приготовления к побегу с именем Кости и обвинит его в том, что он неверный человек...

Взбурдаженный, Костя бросился в красный уголок, где Сева перед работой обычно читал газеты и журналы. Здесь Севы не было.

Заведующая красным уголком Анна Семеновна с возмущением о чем-то рассказывала Зиночке Соловьевой, потрясая газетой.

— Малышок, Малышок! — окликнула Зиночка. — Что творится с Севой? Сел читать газету, потом порвал ее, нагрубил Анне Семеновне... Что это за некультурность!

— Никогда больше не позволю ему брать газеты! — заявила тоненькая и строгая Анна Семеновна. — Если каждый начнет рвать газеты, что будут читать другие?

Костя нашел товарища в цехе, за колоннами. Сева сидел на стеллаже, маленький, съезжившийся, запустив пальцы в свои пышно отросшие пепельные волосы, а в сторонке растерянно топтался Колька.

— Ты зачем газету некультурно порвал? — спросил Костя. — Вот будет тебе от Зиночки!

— Не твое дело, хоть ты не лезь! — качнул головой Сева, поднялся и, как деревянный, потащил за собой тележку.

— Что с ним случилось? — спросил Колька. — Я ему говорю: «Нужно понемногу покупать дробь», а он ругается: «Пошел вон, ты мне надоел!» Вот так здорово!

Когда они присоединились к Севе, он уже кончал грузить заготовки; отрезки труб гремели, с силой брошенные на тележку.

— Стой! — приказал Костя. — Кто велел сухари сушить?

— Инициатива масс, — пошутил Колька. — А тебе жаль! Это он мой хлеб сушит.

— Не дам тамгу! — забушевал Костя. — Нина Павловна от бабушки прознала, что Севолод сухари запасает. Понятно — сбежать надумал.

— Фунт! — поразился Колька. — Мы же условились, Севка, что ты будешь сухари конспиративно сушить, как только бабушка куда-нибудь уйдет.

— Она, наверное, по запаху догадалась, — безучастно сказал Сева.

— Конспирацию выдумали, головы дырявые! — продолжал бушевать Костя. — Велит Нина Павловна уговорить Севолода на заводе остаться, хорошо работать, кабысь он под моим влиянием. А то расскажет она Зиночке. Будет вам конспирация, не наморгаетесь!

— А ты скажи, что уговорил... — сразу нашелся Колька. — Ты, Севка, нажми на работу!

— Чего ты мной распоряжаешься! — крикнул Сева. — Что я тебе — раб? Да? Вы мне оба надоели! «Кабысь-кабысь»! Без вашего влияния обойдусь! — И он яростно потащил тележку.

— Стой, жилу сорвешь! — сказал Костя и стал помогать.

После того как все станки получили полный запас заготовок, Костя спросил:

— Значит, тамга тебе ни к чему, коли меня слушать не хочешь? Вот и ладно.

— А ты и обрадовался, — насмешливо сказал Сева, швырнув рукавицы в шкафчик. — Не радуйся. Не мне тебя слушать. Ты меня слушать будешь... — Он полез зачем-то в шкафчик, закрылся от Кости дверцей и вдруг проговорил незнакомым, будто очень далеким голосом: — Если бы ты знал, что они с Каменкой сделали. Они ее в зону пустыни превратили, гады проклятые! —

Он помолчал, захлопнул шкафчик и поднялся с красными пятнами на щеках, но спокойный, будто натянутый.— Ну, чего смотришь? — прикрикнул он на Костю.— Я сейчас одну штуку пойду искать, а ты... поработай на двух станках!

Это было большое решение: Сева несколько раз отклонял предложение Кости работать на пару и делал это из принципа — не хотел, как он выражался, обезьянничать с Кати Галкиной. Теперь, к великой радости Кости, он вдруг отказался от этого глупого принципа.

Как только резец прошел половину заготовки на его станке, Костя пустил станок товарища. Девочки подошли посмотреть, что получается.

— Зачем ты бегаешь от станка к станку? Совершенно лишнее,— тотчас же стала советовать Катя.— С твоего места хорошо видно, что делается на Булкином станке. Зачем ты торопишься? Вот смешной!

Когда пришло время ставить новую заготовку, она предложила:

— Давай помогу, гога-магога!

— Не трожь! — отказался он и действительно успел все сделать, потому что заставил себя не торопиться, и оказалось, что времени достаточно.

Установив заготовку, он, умышленно замедляя движение, направился к своему станку.

— Вэри вэл! — невольно признала Катя.

Леночка тоже одобрила:

— Ой, трэ бьен!

Костя уже знал, что это по-английски и по-французски значит «очень хорошо».

— Саво! — сказал он.

— Что такое? — удивилась Катя.

— Хорошо! Вогулы-манси так говорят,— пояснил Костя.— Думаешь, мы не умеем по-непонятному?

Появился Сева. Он осторожно нес две баночки из-под консервов, наполненные водой и сплюснутые так, что на них получились носики. Одну он отдал Косте, сказал: «Вот, гляди!» — вылил немного воды на резец, и сталь в ответ благодарно зашипела.

— Охлаждать надо! — пояснил Сева.— Лучше будут резцы при обдирке стоять.

— Я, конечно, тоже об этом думала,— сказала Катя Леночке.— Надо непременно попросить баночки в столовой, там их много.

Все это в целом было удивительно. Сева впервые позаботился о станке, предложил правильное дело и этим не ограничился — собрал свои и Костины запасные резцы и сказал:

— Неси в заправку, я на двух станках работать стану.

Девочки во все глаза следили, как поведет себя Сева, который теперь был самым «слабым звеном» за колоннами. Не обращая на них внимания, он подошел к станку Кости и нажал кнопку «стоп».

— Зачем остановил? — встревожился Костя.

— Нужно, чтобы один станок опережал другой ровно на пол-операции, тогда можно все успеть, — объяснил Сева. — Соображать надо. Ну, кто с кем заодно?

— Нынче я с тобой заодно, — широко улыбнувшись, признал Костя.

— Значит, не дашь тамгу?

— Не... Коли ты так будешь робить — дам!

— То-то! — невесело усмехнулся Сева. — Я тебе покажу, кто такой Булкин-Прогоулкин!

В тот день случилась еще одна удивительная вещь. Перед самым гудком Катя приказала Леночке управляться с двумя станками, взяла железный лист с длинной проволочной ручкой, на котором ребята таскали стружку, и начала уборку.

— Сам сделаю, — остановил ее Костя, когда она подошла к его станку.

— А может быть, я не хочу быть в долгу! — строптиво ответила она.

Она нарочно нагребла большой ворох стружки и потащила лист к транспортеру. Было трудно, но Катя наклонилась вперед и закусил губы с такой решимостью, что стало ясно — ни за что не отступит поперечная душа. Вернувшись с пустым листом, она нагребла еще больше стружки и вдруг опустилась на стеллаж.

— Ножки не держат, — пожаловалась она шутливо, но губы ее покривились. — Ничего, не сахарная!..

Сева — да, Сева Булкин! — схватился за ручку листа и подтащил к транспортеру.

Как-то получилось, что с завода вышли все вчетвером: впереди Костя, за ним девочки, а поодаль Сева. Он плелся на такой дистанции, чтобы быть в компании, в то же время не теряя права сказать: «Я иду домой самостоятельно». Сначала девочки весело болтали, а потом Костя услышал испуганный голос Леночки:

— Катя, ты что?.. Что ты бадуешься!

Он обернулся и увидел, что Катя сидит на земле.

— Все качается, — тусклым голосом, с трудом проговорила Катя и оперлась руками о землю.

— У тебя голова закружилась, — догадалась испуганная Леночка.

Она заставила Катю подняться, взяла ее под руку и сказала Косте:

— А ты под другую руку возьми. Она заболела.

— Сама дойду... — слабым голосом возразила Катя и засмеялась: — Малышок, смотри — Ойка язык высунула...

— Ты же знаешь, что это у меня условный рефлекс. Я всегда язык высовываю, когда... Ой, она опять села!

— Весь холм качается, — сказала Катя, ощупывая снег. — Как противно... Я сейчас умру...

— Мы с Севолодом ее под руки потащим, а ты, Ленушка, сзади толкай, — распорядился Костя.

Кое-как они доставили Катю домой.

Так она заболела в первый раз. Она лежит на диване в гостиной, бледная и худенькая, такая худенькая, что душе вовсе не в чем держаться. Даже глаза — драчливые глаза — призакрылись и вот-вот погаснут... В доме тихо... Леночка побежала домой ужинать, бабушка перестала охать, Сева в боковушке пьет чай со свистом, хмуро переживая сегодняшний день, а Костя сидит на медвежьей шкуре и, обхватив колени руками, смотрит в огонь.

ЧУДЕСА

Несколько дней прошло. Катя болела — не с кем было Леночке шушукаться, не слышно было за колоннами небрежного Катиного голоса. Хорошо, что теперь у Кости прибавилось забот, так как у них с Севой стало правилом работать на пару, и приходилось особенно следить за напарником. Сева изменился сильно. То работал очень хорошо, старался сделать так, чтобы Костя был с ним заодно, то вдруг все валилось из рук, и ему приходилось быть заодно с Костей. В такие минуты лучше было его не трогать.

— Что ты ко мне лезешь, чего ты пристаешь! — начинал он кричать тонким голосом. — Подумаешь, ударник! Сколько ни старайся, все равно полторы нормы на этих черепахах не выработаешь! Может быть, опять шестеренки переставишь?

Сейчас, когда умения у Кости прибавилось, когда он легко управлялся с двумя станками и каждый день перевыполнял норму, он все угрюмее поглядывал на темную свинцовую пломбу, сковывавшую ручку для переброски ремня. Стоит только убрать ненавистную пломбу, перекинуть ремень на шкиве с одной ступеньки на другую, и патрон станет вращаться быстрее, то есть скорость резания повысится. Если к тому же маленько ускорить ход суппорта, то... Но тут припоминалась поломка станка — и крылышки опускались: нельзя! Хоть плачь, а нельзя!

Может быть, Костя думал именно о свинцовой пломбе, когда, по распоряжению Герасима Ивановича, остался вечером за колоннами подкрасить инструментальные шкафчики. Он получил в

кладовой не только зеленую, но и немного ярко-желтой краски, сделал у шкафчиков желтые уголки, и получилось очень красиво.

— Где здесь Малышев, который станок сломал? — послышался веселый голос.

Не раз Костя встречал на заводе инженера-конструктора и рационализатора Павла Петровича Балакина, слышал от ребят, что он умный и чудной, и уважал Балакина за то, что он сконструировал транспортер-дрожалку для уборки стружки. По его мнению, Балакин был вовсе не чудной, только он был очень длинный, тонкий. Когда он разговаривал с кем-нибудь, кто был ниже его, он наклонялся и становился похож на вопросительный знак. Говорил он звонким голосом, который легко перекрывал шум машин, часто смеялся, носил зеленый блестящий ватник, а под ватником — шелковую трикотажную рубашку и цветной галстук.

Косте в нем нравилось все: и светлые волосы, зачесанные так, что получался высокий гребень, и живые желтые глаза, и немного вздернутый нос, и привычка пощелкивать длинными пальцами.

— Я Малышев, — сказал Костя.

— Конечно, ты! Несомненно, ты! — обрадовался инженер. — Миша Полянчук художественно описал мне твою наружность. У тебя одного шапка с такими длинными ушами, что на десять осликов хватит. — Он протянул Косте пакет: — Вот посылка от Миши. Прекрасный парень этот Полянчук! Замечательно поет украинские песни... Он попросил меня поинтересоваться твоим станком. Ну-с, так что же случилось?

Засунув руки в карманы, раздвинув полы ватника, как крылья, и наклонившись над Костей, он выслушал печальный рассказ и возмутился:

— Как ты посмел такую гадость устроить! Ты думаешь, на «гитаре» станка можно трепака играть?

— А я хотел как лучше, — ответил Костя, который вовсе не боялся этого человека.

— «Хотел, хотел»! Мало хотеть — надо знать и уметь!

— Нашли Малышева? — спросил Герасим Иванович и присел на стеллаже.

— Поставь, Малышев, заготовку, хочу посмотреть его в работе, — сказал Балакин, закончив осмотр всего станка.

Приближались какие-то важные события. Взволнованный Костя включил станок. «Буш» принялся снимать стружку. Казалось, что сейчас он делает это особенно медленно, но инженер одобрительно похлопал по станине:

— Молодец, старичок, старайся!.. Работает он почти на пределе, не правда ли, Герасим Иванович? На этой операции ничего не выиграешь.

— Правильно,— поддержал его Герасим Иванович.— Так все и рассчитано.

— А вот посмотрим, все ли... Покажи, Малышев, отделочную операцию.

Переменив резец, Костя стал отделять «трубу».

— Лодырь! — сразу решил Балакин.— Лодырь ты, господин «Буш»! На обдирке стараешься, на отделке отдыхаешь. Такой режим резания на легкой отделочной операции никуда не годится. Это позор, а не режим... Как по-вашему, Герасим Иванович?

— Спорить не буду,— неохотно согласился мастер.— Да что поделаешь, коли у работников квалификации настоящей нет...

Ни слова не говоря, Балакин сорвал пломбу с ручки для переброски привода и сделал то, о чем так часто мечтал Костя: передвинул ремень на шкиве.

— Теперь скорость повысится раза в три, да и то станок не будет по-настоящему нагружен,— пояснил он.— Продолжай, парень, отделку!

Снова заработал станок, и стружка побежала быстрая, узкая и горячая.

— Ишь какую гладкую поверхность дает! — одобрил Герасим Иванович.— Просто под зеркало работает...

— Нужно еще подачу увеличить, и будет совсем хорошо...— заметил Балакин.— Не найдется ли, Герасим Иванович, у вас шестеренок?

Получив запасную шестеренку и вооружившись гаечным ключом, Балакин перестроил «гитару». Костя включил станок. Теперь стружка стала шире, но бежала так же быстро, и быстрее резец подвигался вдоль «трубы». Костя не успел насладиться этим счастьем: отделка детали кончилась и пришлось нажать кнопку «стоп».

— Сами судите, Павел Петрович, как тут позволишь ребятам хозяйничать,— сказал Герасим Иванович.— Похозяйничал уж Малышев... Такое получилось, что вспоминать неохота.

— Да, дело рискованное,— задумчиво признал Балакин, пощелкивая длинными, тонкими пальцами и встряхивая ими, будто сбрасывал капли воды.— Однако вот что досадно: четыре «Буша», четыре родных брата, при черновой обдирке работают на совесть, а при отделке — четверть силы. Сколько времени при этом теряется!

— Да, теряется,— сказал мастер.— Факт, теряется... Но ведь и станок нужно пожалеть. Сломать станок — раз плюнуть.

Мысль Кости заметалась, ища выхода.

— Герасим Иванович, а что, если...— заикнулся он, еще не зная толком, что скажет.

Старшие смотрели на него, ожидая продолжения. У Кости в горле пересохло; стало неловко, беспокойно.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Павел Петрович. — Да думай же ты! — крикнул он весело. — Тут же совсем простое дело!

Действительно, все стало ясно, будто за колоннами пролетела яркая молния.

— Пускай три станка обдирают, а один отделяет. Правда, дядя? — выпалил Костя, и его облило жаром.

— Правда, тетя! — одобрил Балакин, засмеялся и щелкнул Костю по лбу. — Сварила голова! Это я больше всего люблю!

Еще несколько дней назад Костя навряд ли решился бы подать такую мысль, но теперь, когда за колоннами кое-что изменилось, это предложение показалось ему почти естественным. Не удивило оно и Герасима Ивановича.

— Что ж, в таком случае, дело другое, — немного подумав, согласился он. — Один станок настроим на отделку, а остальные оставим черновыми.

— Давай займемся математикой, — сказал Павел Петрович, вынув из кармана записную книжечку с блестящим карандашиком. — Какая у вас норма? Сколько делаете?

...По дороге домой Костя завернул к Леночке Туфик. Его впустила в переднюю полная маленькая женщина — точная копия Леночки, только с седыми волосами.

— Что вам нужно, молодой человек? Закройте за собой дверь получше, — сказала она басом, помешивая в кастрюле, стоявшей на примусе.

В переднюю выбежала Леночка.

— Ой, мама, это же Костя Малышок, который сломал станок! — воскликнула она. — Помнишь, я тебе рассказывала? Он у Галкиных живет...

— Ай, как нехорошо! — сказала Леночкина мама. — Зачем же вы сломали целый станок?.. Проходите в комнату, сейчас будем ужинать...

— Времени нет, — отказался смущенный Костя. — Ты, Ленушка, завтрашь приходи в цех чем пораньше. Производственное совещание будет.

Когда дверь закрылась, Леночкина мама сказала:

— Просто не верится, что такой серьезный мальчик сломал целый станок. Конечно, я абсолютно уверена, что он сделал это нечаянно.

В тот вечер Антонина Антоновна сообщила Косте, что Катя капризничает, не ест и не пьет, так как ей все невкусно, что она жалуется, будто ее все забыли.

В пакетике, присланном Мишей, Костя нашел пару новых носков, скрепленных ниточкой, и десяток мятных пряников, таких твердых, что с ними не справился бы даже победитовый резец, но в одну минуту справились зубы мальчиков. Два пря-

ника Костя отделил бабушке, а два Кате, но принцесса передала через бабушку, что она не нуждается в каких-то пряниках.

— Как знает,— сказал обиженный Костя и оставил пряники на кухонном столе.

В пакетике еще была записочка:

«Грызи пряники, помни обо мне! Я рассказал инженеру-рационализатору П. П. Балакину, как и почему ты сломал станок. Он посмотрит «Буш» и, может быть, что-нибудь придумает. Передай поклон золотоискателю. В воскресенье увидимся, если ты будешь на комсомольском воскреснике. Твой друг М. Поляничук».

Костя был благодарен Мише за носки и пряники, а больше всего за знакомство с Балакиным.

Хорошо иметь такого друга, как Миша!

Глава шестая

ПОВОРОТ

Накануне, когда Герасим Иванович поручил Косте созвать производственное совещание, Костя в душе приготовился к большим событиям — и не ошибся. Недаром вместе с Герасимом Ивановичем за колонны явилась Зиночка Соловьева.

Надев очки, Герасим Иванович посмотрел на ребят поверх стекол и призадумался.

— Техника — дело такое,— сказал он вдруг,— сегодня приловчился и взял подходящее, а помозгуешь, так возьмешь еще больше. Техника — это железо. «Буши» — тоже железо. Железу все равно, как работать, а человеку не все равно, человек хочет фронту помочь. Вот потому в технике последней остановки нет. Все от рук да головы зависит. Если будет ваше желание, «Буши» по-новому заработают.

Он объяснил, что получится, если три «Буша» сделать черновыми, а четвертый перевести на отделку деталей, то есть разделить операции, и спросил, все ли понятно.

— Абсолютно понятно! — прошептала Леночка.

— Ну хорошо, операции разделим, каждую «трубу» станем через две пары рук пропускать,— продолжал мастер.— Значит, теперь надо работать дружно. Уж так не выйдет, что один землю роет, а другой зубами мух щелкает.— И Герасим Иванович многозначительно посмотрел на Севу.— А почему? Потому что придется всех вас на один наряд поставить. Задержал ты «трубу» в обдирке, а на отделочном станке простой получился, у всех процент скатился; проворонил ты на отделке, а лишние обдирки

в заделе остались, в показатель не вошли, — опять всем накладно.

Ребята начали понимать, к чему ведет мастер.

— На заводе народ в бригады тянется, — сказал Герасим Иванович. — Вот задумали рабочие второго цеха по-гвардейски работать. Сегодня там уже фронтовая бригада Ивана Стукачева объявится. (Этого Костя не знал и от всего сердца позавидовал взрослым рабочим.) И у вас бригаду можно сделать для пользы дела. Только как бы не получился смех на весь цех...

— Товарищи, вы понимаете, почему Герасим Иванович так ставит вопрос? — строго спросила Зиночка.

— Понятно! — проговорила Леночка и заспешила: — Все понятно! У нас все недружные, все перессорились. Сева с Катей не говорит, и я на него сердита, потому что он меня толкнул, хотя я его не оскорбляла. Да, Сева, ты поступил грубо, некультурно!.. Малышок тоже недавно поссорился с Катей... — Упавшим голосом она закончила: — Ой, просто не знаю, что у нас выйдет!

— Вот посмотри, комсомол, какая глупость творится, — сказал Герасим Иванович. — Хоть Сергею Степановичу жалуйся, честное слово. Поговори с ними, Зина! Не столкнутся — я их на другую работу поставлю, а к «Бушам» сознательных ребят дам. Не позволю я теперь по-старому работать, коли придумалось правильное дело! — И он ушел, расстроенный этим разговором.

— Какой стыд, ребята! — вспыхнула Зиночка. — У вас даже обыкновенная бригада не склеивается, а на Большом заводе уже есть молодежные фронтовые бригады, и парторганизация придает этому громадное значение. Вчера на городском комсомольском активе ребята рассказывали, как там поставлено дело. Вот с кого нужно брать пример!

Оказывается, молодежь Большого завода задумала работать так, как бойцы сражаются на фронте: умри, а не отступай. Хоть две, хоть три смены подряд работай, а задание выполни. Если кто-нибудь отстает, другие по-братски помогают ему. А для того чтобы дело шло лучше, бригада принимает торжественную присягу.

Есть в бригаде командир, есть политрук — словом, все как у военных, и бригада называется фронтовой, потому что все трудятся самоотверженно, чтобы с честью выполнить священную клятву уральцев.

— Они молодцы! — вырвалось у Леночки, но тут же с горькой обидой она добавила: — Сразу видно, что это комсомольцы, а у нас все... поперечные!..

— А я не верю, что вы не можете понять, какое это важное дело, — перебила ее Зиночка. — Разве вы не патриоты? Неужели придется ставить сюда других ребят, которые поймут, что бригада лучше сработает на «Бушах»? А чем эти ребята отличаются от

вас? Вы тоже ненавидите фашистов, любите Родину и хотите победы. У тебя, Леночка, два брата на фронте, и оба уже были ранены. У тебя, Малышок, погиб единственный брат. Неизвестно, жив ли отец Катюши. У Севы тоже так... Вы думаете, что если я всегда такая веселая, так у меня на душе легко? У меня... я всех родных потеряла... и в личной жизни у меня ничего, ничего нет...— Ее голос сорвался, и она поскорее закончила: — Впрочем, при чем тут я... Я лишь хочу, чтобы вы поняли... Может быть, какой-нибудь фашист ходит живой только потому, что вы перессорились, как дети, сработали меньше, чем могли...— Она схватила руку Кости, потом так же порывисто пожала руки Леночке и Севе.— Давайте дружно, ребята!.. Малышок, почему ты молчишь? Ведь это ты двинул дело с «Бушами»!

Слова получились оборванные, горячие, когда Костя заговорил; навряд ли он запомнил коротенькую речь.

— Фронтovou бригаду нужно сделать! — сказал он.— Кто не согласен, то поди прочь!.. В цехе хороших ребят полно... Я их на «Бушах» учить стану... Не мудрость! А поперечных нынче не надобно... Обойдемся!..

— Я, конечно, за фронтovou бригаду! — вскочила Леночка, стала протирать очки и крепко зажмурилась, что означало у нее полную решимость.

— Ты, Севолод, что молчишь? — крикнул Костя.— Кто с кем заодно?

— Чего ты наскакиваешь! — с обидой ответил Сева.— Только ты сознательный? По-моему, другие тоже есть...

Как только Зиновья, к своей радости, убедилась, что вопрос о бригаде решается положительно, она круто перевела его на деловые рельсы. Решили, что сразу после комсомольского воскресника состоится организационное собрание в доме Галкиных с участием Зиновьи.

Беспокойным, тревожным был день.

Голова Кости думала о тысяче вещей и решала разные вопросы.

— Тебе, Ленушка, придется круто робить, — сказал он.— Герасим Иванович сегодня Катюшин станок переналадит. На отделочную операцию тебя поставим, пока Катерина не выйдет...

После гудка, когда Костя и Сева вышли за ворота завода, к ним присоединился Колька Глухих и начал болтать глупости:

— Малышок, правду мне Сева сказал, что у вас организуется гвардейская бригада? Смешно, честное слово! В тылу — и вдруг гвардейская! Фу-ты ну-ты!

— Дураку, ясное дело, всё смех... — ответил глубоко оскорбленный Костя.

— Положим, неизвестно, кто дурнее! — отбрыкнулся Коль-

ка.— Организуют в тылу какую-то гвардейскую бригаду да еще берут в нее Булкина! Ха, ха, и еще раз ха!

— А тебе что за дело? — высокомерно осведомился Сева.— Завидно, что тебя в фронтовую бригаду не возьмут! А за Булкина не бойся — он не хуже других.

— Нет, я, конечно, не думаю, что ты хуже, — пошел на попятную Колька.— Только, если ты примешь присягу, как же будет насчет тайги? Хотя, конечно, ты уже готов отказаться от тайги. Гайка слаба!

— У кого гайка слаба? — угрожающе спросил Сева и остановился.

— У кого? У меня здесь зеркала нет, чтобы тебе его показать, — сострил Колька.

Этот разговор произошел на том самом месте, где несколько месяцев назад Сева столкнул Костю с тропинки. Раз! — и Колька полетел в глубокий снег.

— Привык ты толкаться! Нынче твой черед! — крикнул Костя.

И Сева последовал за Колькой.

Пока они барахтались в сугробе, Костя насмехался над ними, а потом протянул руку — помочь. Колька стащил его в сугроб, они пошумели, насыпали друг другу снегу за ворот и побежали домой.

МИР

Катя через Антонину Антоновну приказала Косте явиться в гостиную и осыпала его упреками:

— Почему ты скрыл от меня о станке и бригаде? Леночка мне сейчас рассказала. Только она спешила домой — я ничего не поняла.

— И я вчерась хотел рассказать, да ты пряничков не взяла...

— Вчерась-карась! — передразнила Катя.— А зачем ты пряники через бабушку передал? Если бы ты сам принес... Мне и так надоело поправляться, а тут еще они меня все сразу забыли!

— Не забыли мы... Будешь в бригаде на отделочной операции работать, нам же лучше.

— Буду! Во фронтовой бригаде я так буду работать!..— горячо проговорила Катя.— Знаешь что, Костя, ты сиди там, где сидишь, и совсем не смотри на меня... А я тебе расскажу, что я думала, когда вы обо мне так бессовестно забыли, а я лежала и все плакала. Только ты никому не будешь болтать? Хорошо?

Сидя на медвежьей шкуре, Костя слушал Катю, а она говорила, говорила, прижав руку к своему сердцу, которое запуталось в жизни:

— Я такая несчастная, Малышок! Уверяю тебя! Я хочу, чтобы все было хорошо, а получается плохо. Когда я... одно письмо получила, я хотела сделать, как папа просил. А потом увидела Нину Павловну... и вдруг сделала не так. Пускай она хорошая, добрая, но я все сержусь на нее. Теперь не так сержусь, как раньше, но все равно... Я поперечная, правда? (Костя подумал: «Правда», но промолчал.) Я решила: пускай я Нине Павловне не скажу, а вместо этого буду работать изо всех сил для победы. Я Нине Павловне не сказала о моем папе. Только у меня все время было вот здесь, на сердце, так тяжело, что я заболела. А если я не смогу для фронта самоотверженно работать, значит, папа совсем погиб... Ты думаешь, почему я такая поперечная? Потому что у меня все как-то плохо...— Она немного поплакала в подушку и сердито сказала: — Ну, что же ты молчишь? Молчит, как чурка!

Получив разрешение говорить, Костя посоветовал:

— Ты с Ниной Павловной помирись. Она человек хороший и тебя уважает... А в бригаде мы сразу полторы нормы сделаем. Хочешь, покажу математику?

— Надо сейчас же со всеми помириться! — загорелась Катя.— Скажи Севе, пускай идет сюда.

Оторванный от чая со свистом и неожиданно очутившийся в гостиной, Сева оцепенел.

— Здравствуй, Сева! Как ты поживаешь? — сказала Катя, протянув ему руку.— Садись, пожалуйста, на кресло. Ты, пожалуйста, не сердись на меня за Шагистого. Это было в последний раз... Сейчас придет Леночка, мы должны посоветоваться о бригаде...— Она крикнула: — Бабушка, бабушка, мы будем пить чай здесь, как до войны!

Старушка поверила себе лишь тогда, когда на круглом столе была постелена скатерть и самовар занял свое почетное место.

Смущение Севы прошло не скоро, а счастливая Леночка протирала очки, чтобы лучше видеть. Когда Севе налили чаю, он отхлебнул и по привычке свистнул, хотя Антонина Антоновна, расщедрившись, сделала сладкий чай.

— А Герасим Иванович будет нам электрокар давать — заготовки возить,— сообщил Костя, которому казалось неприличным молчать.

— А я все волнуюсь! — призналась Леночка.— Надо в цехе ничего не говорить, пока не получится...

— Зачем ты волнуешься! — воскликнула Катя.— Когда я придумала на пару работать, ты тоже почему-то боялась.— Она достала тетрадку, карандаш и, прикусив язык, старательно написала на первой страничке: «План бригады».— Вот! Давайте запишем все, что нужно. Кто возьмет слово?

— Надо, чтобы резцов был запас,— начал Сева.

— Да, да! Это правильно, Сева! Вот я уже записала.

— И как это хорошо, уж как это хорошо, молодые люди, когда все мирно, тихо! — сказала Антонина Антоновна.

Конечно, замечание Антонины Антоновны не было внесено в план, хотя, если здраво судить, в каждом деле нужно начинать именно с дружбы. Уже перестал шуметь самовар; уже забралась на свою теплую лежаночку в кухне Антонина Антоновна; уже Сева пил пятую чашку со свистом и Леночка тоже пыталась пить так, но у нее, кроме шипения, бульканья и смеха, ничего не получалось; уже гудок Большого завода принес поздний час, а у членов будущей бригады все находилось что сказать. Наконец Леночка ойкнула, что так засиделась, а Сева из вежливости пошел закрыть за нею дверь.

— Завтра позову Нину Павловну,— напомнил Костя.— Ты с нею помирись.

Катя испугалась, закрыла глаза и затрясла головой.

— Нет, нет, завтра еще не надо! — прошептала она.— Я сама скажу, когда позвать. Вообще ты ничего не понимаешь в женской психологии!

Конечно, Костя не знал, что такое психология, но решил, что это совершенно лишняя и вредная вещь.

ВОСКРЕСНИК

День был самый отличный из всех зимних дней. Солнце тоже вышло на воскресник. Заводская молодежь собралась во дворе возле первого цеха, подурачилась. Участники воскресника разбились на бригады, разобрали кайла и лопаты, заиграл новый завкомовский оркестр — три трубы и два барабана,— и под предводительством Зиновки все двинулись на воскресник. Канавка начиналась у нового сборочного цеха, выходила с заводского двора и пересекала пустырь. Она должна была обогнуть склон Земляного холма и подойти к речке, которую в шутку называли воробьиным водопоем.

Вдоль канавы уже лежали блестящие желтые глиняные трубы для канализации.

Возле холма заводских ребят встретили ребята с филиала. Они явились под предводительством двух командиров — Миши Полянчука и Мингарея Бекирова. Прямо на ватник Мингарей надел медаль «За трудовое отличие», которую недавно получил, и поэтому он был главным командиром.

Перед воскресником состоялся митинг.

— Мы вызываем вас копать канаву для новой сборки как

надо,— сказал Мингарей.— У нас на филиале все работают хорошо... Мы так привыкли.

— А мы, значит, не привыкли? — зашумели заводские ребята.

— У нас никто руки в брюки не ходит! — задорно продолжал Мингарей.— Давайте, кто больше сробит — тот молодец!

Снег так блестел, что глаза закрывались, мороз был мягкий, совсем теплый мороз, и руки просились поработать. Десятники из отдела капитального строительства показали ребятам трассу канавы, которая шла по вешкам, а Зиновка и Мингарей развели бригады по местам.

— Малышок, Малышок, иди к нам! — кричали филиальские ребята.— Малышок, забыл уже, как гвозди забивал!

— Э, нет, такого работника не отдадим! — решила Зиновка и придержала Костю за ватник.

Все равно — Костя стал последним в первой бригаде заводских ребят, а Миша — первым в своей бригаде, так что получилось рядом. Оркестр заиграл. Ребята поскорее сбросили снег с трассы, кайлами разбили промерзший слой земли, и в обе стороны полетели первые сыпки. Костя не спешил: он достал напильник, подточил лопаты, свою и Мишину, потом поработал так, чтобы немного согреться, снял ватник и шапку и взялся за лопату по-настоящему, чтобы совсем отогнать морозец.

— Простудишься,— сказал Миша.

— Не дует,— успокоил его Костя.— А хоть бы и дуло — работа что шуба.

— Попробуем и мы... Если простужусь в невидимой шубе, чихать буду за твой счет.

Они работали и разговаривали. Услышав, что Балакин помог Косте совладать со станком и что за колоннами организуется фронтовая бригада, Миша сказал:

— Вот теперь я окончательно уверен, что ты не побежишь за золотом. Тебя захватила работа — значит, ты нашел самое дорогое золото. Правда?.. (Костя мысленно согласился с ним.) А теперь объясни: почему у тебя дело подвигается быстрее, хотя ты как будто и не спешишь?

— А ты торопыга-недопрыга,— улыбнулся Костя.— Ты лопату рукой не подгоняй. Ты ее ногой в землю жми... А коли бросаешь, на руку понадейся да маленько за лопатой качнись. Не спеши кидать да тяжелей набирай. Намаешься меньше, а сработаешь что надо.

— Оказывается, ты и по лопате мастер,— засмеялся Миша.

Рядом с Костей на землю легла тень. Он поднял глаза и увидел Мингарея Бекирова. Знатный бригадир Северного Полюса стоял подбоченившись и улыбаясь.

— А ты, Миша, по лопате не мастер,— сказал он.— Что же ты от Малышка отстаешь? Придется тебя проработать.

— А ты что гуляешь, указчик?

— Смотрю, как кто ударничает.— Он подмигнул Косте.— Молотком и лопатой ты умеешь... А станок зачем сломал? Станок — не лопата, а? Нехорошо, башка! Станок сломал — медаль не получил. Лучше бы ты молотком стучал.

Он говорил добродушно, шутливо, но напоминание о станке и о медали оскорбило Костю.

Не ответив Мингарею, он изо всех сил налег на лопату и густо покраснел.

— Ты, Мингарей, не трогай его,— сказал Миша.— Дело со станком прошлое. А сейчас Малышок придумал такую штуку, что ему сразу две медали дадут. Придется твоей знаменитой бригаде накрыться.

— Да ну! — притворно испугался Мингарей.— Ай-яй-яй, что теперь делать будем! Хоть ложись и помирай...

Набрав лопату потяжелее, Костя бросил землю под ноги обидчику.

— Отойди, засыплю! — крикнул он.

— Мы тебя, Малышок, в упаковке помним,— медленно проговорил Мингарей, сузив глаза и выпятив грудь.— Ты нам горячо сделал. Снайперские молотки нас тарой засыпали. Только мы не испугались, башка,— мы комсомольцы! У нас теперь рационализация. Нам деталей на сборку и упаковку не хватает... Что ты мне землю на ноги валишь? Ты деталями меня завали — это будет дело!

— Завалим! — сердито пообещал Костя.

— Ну, гляди — осрамишься, я смеяться буду. Имей в виду...

Переваливаясь с ноги на ногу, он пошел вдоль траншеи, проверяя, кто как работает, задирая и подзадоривая ребят.

— Вот так он всегда,— сказал Миша.— Он работник отчаянный. Работает так, что искры сыплются. Бригада у него завидная. Тарный цех сначала прижал упаковку, а они не сдались, всё лучше работают, знамя не уступили. Богатыри! — Он помолчал и добавил: — А ты напрасно ему под ноги землю бросил. Знаешь, есть такие люди, у которых самолюбие с мозолем. Чуть тронешь — и пропало дело.

— А пускай не задирается...

Со склона холма была видна вся трасса канавы, шумно кипевшая народом.

Уже всем ребятам стало жарко — ватники и шапки полетели в снег. Запестрели, как цветы, ситцевые рубашки, вязаные кофточки, свитеры — белые, красные, желтые, синие.

Когда оркестр переставал играть, все кричали: «Музыка, землю заставим копать!» — и оркестр снова брался за свое дело.

Тут и там не обошлось без баловства. Кто-то швырнул в Мишу снежком, Миша ответил тем же.

— Знаешь, Малышок, — признался он, — я, кажется, немного устал, а до центра земного шара еще далековато. Не пора ли отдохнуть, как ты думаешь?

Друзья пожевали хлеба и устроились на солнышке отдохнуть. Миша принялся рассказывать о филиальских делах, но Костя и слушал и не слушал. Он думал о том, как сложатся дела в бригаде, не получится ли смех на весь цех. Да что там — на цех! На весь завод, филиал... Даже страшно подумать, что будет тогда.

Вдруг Миша залепил ему лицо снегом. Костя в шутку полез драться, они повалились в снег и барахтались до тех пор, пока Миша не осилил.

— Ты же сам захотел снега! — со смехом объяснил он. — Я тебя спросил: «Хочешь снега?» — а ты сказал: «Да». О чем ты думал, когда, как попка, смотрел на белый свет?

Снова загремели барабаны, заухала большая труба и запищала маленькая. Все взялись за лопаты, и упорнее всех работал Костя, чтобы отогнать беспокойные мысли.

Раньше всех отработалось солнце и пошло на закат. Оркестр заиграл последний марш. Ребята оделись, покачали Мингарея за то, что он глубже всех зарылся в землю, отнесли инструмент на место. Филиальские побежали садиться в автобус, и Костя проводил друга.

— Прощай, башка! — сказал Мингарей и протянул Косте руку. — Помни наш разговор!

— Не забуду! — с достоинством ответил Костя.

Автобус запыхтел и укатил.

175

В доме Галкиных были гости.

Вернее, одна гостья — Зиночка Соловьева, а Леночка не считалась, так как она весь день провела возле Кати.

— Теперь все в сборе! — обрадовалась Зиночка, увидев Костю. — А я уже прочитала ваш план. План очень подробный. Вот видите, как вы хорошо начали дело! Я говорила Сергею Степановичу о бригаде. Он вполне одобряет. Напрасно, Леночка, ты боялась, что у вас не получится дружно.

— Нет, вчера все помирились, — сказала счастливая Леночка. — Это Катя... Не отрицай, Катя, это ты со всеми помирилась.

— Я тоже кое-что сделала, — сообщила Зиночка, прижимая ладони к щекам, которые после свежего воздуха разгорелись в тепле. — Я написала текст присяги. — Она стала посередине

комнаты и торжественно, с выражением прочитала: — «Боевая присяга фронтовой молодежной бригады». Ваша фронтовая бригада будет первой в молодежном цехе, и нам никто не простит, если мы осрамимся...

— Не осрамимся! — возразил Костя. — Лодырничать не будем — так не осрамимся.

— Решено! Читаю дальше... — И Зиночка прочитала всю присягу, которая начиналась словами: «Мы, юные патриоты любимой Родины, принимаем торжественную присягу в том, что...»

— Все очень хорошо, только я не согласна! — сказала Катя, как только Зиночка кончила читать. — Там написано, что мы должны вырабатывать сто пятьдесят процентов нормы, а это мало.

И Костя тоже забеспокоился: сто пятьдесят процентов казались ему великолепным достижением.

— Мало, мало! — затвердила Катя. — Сейчас докажу. Наша норма — двадцать «труб» на станок, восемьдесят «труб» на четыре станка. Восемьдесят — это сто процентов. Теперь три станка будут только обдирать заготовки. Значит, каждый должен ободрать не двадцать, а сорок заготовок, а три черновых станка — сто двадцать. Ведь так? А отделочный станок их все отделает, получится сто двадцать готовых «труб». Сто двадцать в полтора раза больше, чем восемьдесят. Полтора раза — это сто пятьдесят процентов. Подумаешь, геройство — давать полторы нормы! Мы с Леночкой делали и по двадцать пять «труб». Значит, теперь можно ободрать на каждом станке пятьдесят заготовок, а на трех станках — сто пятьдесят. Я сейчас высчитаю... Мы с Леночкой недавно повторили проценты...

— Сто восемьдесят семь процентов, — опередила ее Зиночка. — Только, ребята, знаете, я не советую сразу брать такое обязательство. Ведь надо привыкнуть к бригадной работе. Я советую сто шестьдесят...

— Вот так мало! — невольно заметил Сева, который до сих пор молчал.

Вспомнив разговор с Мингареем, Костя стал смелее.

— Сто шестьдесят сробим, — сказал он.

— Испугался! — пожала плечами Катя. — Я за сто семьдесят пять.

— А ты как думаешь, Сева? — продолжала опрос Зиночка.

Скрывая невольную улыбку, Катя наклонила голову, но все поняли, что она подумала: она подумала, что Сева тем более испугается.

— Мы с Малышком вчера тоже по двадцать три сделали, — ответил Сева спокойно. — Без смены резцов ободрать пятьдесят заготовок нетрудно. Я за сто восемьдесят пять процентов, а то и мараться не стоит.

— Он форсит! — вскочила Леночка. — Он только что говорил, что полторы нормы не мало, а теперь... Он всегда хочет всех удивить... Это нехорошо с твоей стороны, Сева! Мы серьезно, сознательно, а ты форсишь!

— Кто форсит? — спросил Сева и покраснел. — Только ты сознательная? Протри очки, а то они запотели.

— Не приставай к моим очкам! Очки в комнате не потеют! — отмахнулась Леночка. — Как тебе не стыдно!..

— Ставлю на голосование! — крикнула Зиночка и постучала карандашом о стол, чтобы оборвать ссору. — Кто за сто семьдесят пять, как предлагает Катя?.. Ты, Леночка?.. Ага, теперь и ты, Костя... Сева остался в меньшинстве... Итак, записываю: «Обязуемся выполнять ежедневно не меньше ста семидесяти пяти процентов общеbrigадной нормы». Все в порядке! — Она вдруг сделала страшные глаза: — А кто будет командиром? Мы забыли о командире. И о политруке. Так нельзя!

— Вношу предложение! — выступила Катя. — Командиром пускай будет Малышок, а политруком Леночка. — И она стала защищать свое предложение: — Если бы не Малышок, мы не додумались бы переналадить станок, и он за дружбу, а Леночка скоро будет комсомолкой.

— Ты согласен, Сева? — спросила Зиночка.

— Ладно, — ответил он. — Только Малышок любит власть показывать.

Совещание кончилось.

Леночка побежала домой за патефоном, а Сева и Костя принялись рассматривать золотых рыбок в аквариуме.

— Думаешь, если я в бригаду вступил, так в тайгу не пойду? — тихонько сказал Сева. — Пообещал к золоту дорогу открыть, а потом под бригаду подвел. Я понимаю твою дипломатию...

Командир бригады даже рот открыл: он и думать забыл о тайге, о тамге, о синем тумане и золоте.

— А... а как же ты присягу дашь? — спросил он.

— Не бойся, мой гражданский долг будет выполнен, — туманно ответил Сева.

Леночка пришла с патефоном, и начались танцы. Сева всех удивил — он хорошо танцевал и вальс, и падеспань, и польку.

Держался он очень культурно, даже подвинул Зиночке стул, когда она устала.

— Знаешь, Малышок, я будто и не болела! — радостно сказала Катя. — Больше не хочу сидеть дома. Скучное, в общем, занятие... Я все думаю, как мы будем работать в бригаде, даже из-за этого сбиваюсь, когда танцую. А ты совсем не умеешь танцевать?

— На присядку могу да кадрили...

— На присядку только в ансамбле песни и пляски танцуют. Я в клубе «Профинтерн» видела. А кадрили в городе совсем не в моде.

Все равно Косте нравилось заводить патефон, ставить пластинки и смотреть, как веселится Катя.

Глава седьмая

ПЕРЕМЕНЫ

Утром Костя на минутку забежал в термический цех поделиться с Ниной Павловной своими радостями — и удивился. Запудренные цементом каменщики бетонировали рядом со старой свинцовой ванной новые фундаменты, а электрики устанавливали большую мраморную доску — распределительный щит.

В стороне стояли Нина Павловна и Дикерман. Она посмотрела на Дикермана, Дикерман посмотрел на нее, и трудно было сказать, кто из них больше взволнован.

— Как это неожиданно! — сказала Нина Павловна. — Как гром с ясного неба! Что будет?

— А что будет? — пробормотал Дикерман. — Будет то, что требуется. Будем сыпать «рюмки», как семечки. — И он озабоченно потер ладонью щеку, заросшую седой щетиной.

— Будем давать «рюмку» при двадцати пяти процентах брака... — с тревожной усмешкой напомнила Нина Павловна.

— Почему двадцать пять, когда всего пятнадцать — двадцать? — немного рассердился Дикерман.

— Я не считаю условного брака и вам не советую, — строго остановила его Нина Павловна, и ее брови сошлись. — Надо давать совершенно безупречную «рюмку». Условный брак — это все-таки брак.

— Так что вы хотите? — уже по-настоящему рассердился старший калильщик. — Я вас не понимаю! Будем воевать с браком, вот и всё. Как вам это нравится! Главк принимает наш метод закалки тонкостенных деталей, сам обком партии поздравляет нас по телефону, вас назначают начальником цеха, о нас пишут вот такую статью в газете, — и он отмерил руками целый метр, — а вы всё недовольны. — Он увидел Костю, обрадовался, что нашел слушателя, и спросил его: — Скажи, разве это не смешно?

— Малышок поймет меня, — улыбнувшись, сказала Нина Павловна. — Ведь это перемена в производстве не только для нашего завода. Дело такое ответственное... Костя, я слышала, что у вас организуется фронтовая бригада. Как это хорошо! Вы

нашли правильный способ закалки молодых душ, а мы еще на полдороге к решению своей задачи...

Как видно, разговор о Кате нужно было отложить, а тут еще появился директор с каким-то важным седобородым стариком. Нина Павловна пошла им навстречу, почтительно назвала старика профессором, и старшие отправились в лабораторию.

За колоннами собралась вся бригада; была здесь и Зи-ночка.

— Перед работой делайте так, как делают фронтовые бригады на Большом заводе,— сказала она, посмотрев на часики.— Устраивайте пятиминутку. Сначала читайте сводку Совинформбюро о положении на фронтах, а потом кратко обсуждайте производственные вопросы... Сегодня понедельник, свежей газеты нет. Но во вчерашней газете напечатана интересная статья.— Она выхватила из кармана газету, свернутую в трубку.— Товарищ политрук бригады, прочитай это...

Леночка заглянула в газету, от неожиданности шепнула «ой!» и украдкой бросила взгляд на Катю. Услышав название статьи: «Новатор техники инженер Галкина», Катя залилась огнем, пода-лась вперед и прослушала статью не шевелясь, с широко откры-тыми глазами.

Статья была написана с полным соблюдением военной тайны. В ней говорилось, что в одном уральском городе, на одном заводе работает коммунистка Нина Павловна Галкина, заменившая в цехе своего мужа, фронтовика, известного инженера-термиста Василия Галкина. Нина Павловна упорно искала способ закалки одной ответственной детали для одного ответственного заказа. Парторганизация и ученые ей помогли, и вот в основном она нашла этот способ. Было еще написано, что на заводе вообще много новаторов, как Иван Стукачев, инженер Балакин, калиль-щик Дикерман и другие.

— Вот как пишут о нашем заводе! — воскликнула Зиноч-ка.— Катя, ты должна гордиться Ниной Павловной!.. Я больше ничего не скажу, Катя, но ты, конечно, меня понимаешь...

— Это папа учил ее термообработке! — с гордостью, с тор-жеством в голосе ответила Катя.— Папа всегда был новатором производства. Он сам говорил, что Нина Павловна — хорошая ученица. Так что ничего особенного...— Она нетерпеливо доба-вила: — Когда же мы наконец станем работать? Всё совещаемся и совещаемся!

— Правильно! — поддержал ее Костя, довольный тем, что Катя все же обрадовалась успеху Нины Павловны, и приказал: — Берись за работу!

— Дисциплина! — одобрила его Зиночка.

— Это он может...— как бы про себя отметил Сева.

МИЛЛИОН ЗАБОТ

На заводе радовались достижению термического цеха и говорили, что Нину Павловну, наверное, наградят орденом. Но никто не подозревал, что за колоннами молодежного цеха тоже происходят большие события.

Миллион забот обступил командира бригады. Когда Костя шел на завод, он думал, что сделает так: развернет тетрадь и начнет выполнять план по порядку. Но оказалось, что план все же не совсем полный.

— Резец перемени, Севолод, — сказал он, услышав, как охает резец на Севином станке. — Бревном режешь.

— У меня запасного еще нет, — ответил Сева, который в это время управлялся с двумя станками.

— А у меня всегда запасной есть! — похвалилась Леночка.

— Дай его Булкину! — распорядился Костя.

— А как же я сама? — удивилась Леночка, но встретила взгляд командира, достала резец и передала Севе.

— Ты, Ленушка, нынче смотри за резцами для своей бригады, — решил Костя. — Все резцы в своем шкафчике держи, заправлять давай. Теперь твоего-моего нет, все заодно...

— А в плане не написано, чтобы один человек за всеми резцами следил, — напомнила Леночка.

— Потом запишу, — пообещал Костя.

С черновыми станками было нетрудно — они работали, как и раньше. Пришлось только доставить побольше заготовок. Зато отделочный станок заставил бригаду поволноваться. Сначала Катя осмотрела его, несколько раз включила и остановила, но еще не было ни одной ободранной заготовки.

— Вот и торчи, как чучело гороховое! — пожаловалась она. — Все работают, а ты жди. Выработаешь так сто семьдесят пять, как же!

— Есть первая! — сообщила Леночка.

— Получай еще одну! — подоспел Сева.

— Несите-ка сюда обдирки! Ножками-ножками! — приказал Костя. — Отделочнику не разорваться обдирки подбирать. На отделочном станке машинное время малое — только успевай детали ставить да снимать. — И он еще подумал: «Да и перетащи все детали, коли душа еле держится».

— Этого в плане тоже нет, чтобы обдирки подносить, — недовольно напомнил Сева.

Торопясь, Катя зажала деталь в патроне, взяла первую стружку, промерила диаметр, включила самоход и, прижав руки к груди, прошептала:

— Вот быстро идет, как сумасшедший!

Не мог оторвать глаз от станка и Костя. Шипел резец, легко снимая стружку, откидывая ее широкими петлями и оставляя за собой гладкую, блестящую поверхность. Лишь когда резец прошел всю деталь, Костя, удивленный тишиной, обернулся. Леночка и Сева затаив дыхание смотрели на Катин станок. За ними стоял Герасим Иванович и улыбался.

— Ловко получается? — спросил мастер.

— Ой, замечательно! — крикнула Леночка, бросилась к Кате, обняла ее и закружилась.

Герасим Иванович смеялся.

— Ты сумасшедшая! — запыхавшись, сказала Катя. — Не мешай работать!

— А черновые станки стоят, — напомнил мастер. — Кыш по местам!

Он присел на стеллаж и стал наблюдать, как налаживается процесс. Сначала все шло гладко. Но вот миновала первая радость, началось что-то вроде лихорадки, и эта лихорадка становилась все сильнее. Черновые станки работали ровно и выдавали одну тройку деталей за другой. Получалось так: выстроится последняя тройка возле отделочного станка — Катя сейчас же начнет волноваться. Ей все кажется, что сию минуту появится следующая партия обдирок. Еще не успеет она отделать последнюю обдирку — и опять топчется на месте, оглядывается на станки своих товарищей: не запаздывают ли они, не получится ли у нее простой, и все ребята тоже беспокоятся. Кажется, еще немного — и они примутся подталкивать неторопливые «Буши».

— Поди сюда! — позвал мастер Костю и вполголоса сказал: — Все на волоске держится, командир...

Волосок порвался. Сначала сел резец на Леночкином станке, потом на Костином. Остановив свой станок, Сева снял почти до конца ободранную заготовку и показал мастеру: раковина! В заготовке чернела дыра, которая была скрыта до тех пор, пока резец не снял слой металла. В ту же минуту Катя кончила отделывать последнюю деталь и оглянулась.

— Доработались! — сказала она со слезами в голосе.

Хорошо, что слышался гудок на обед. Герасим Иванович поднялся со стеллажа.

— Обедать идите, — приказал он. — А твое дело, командир, думать. Не придумаешь ничего — я помогу, только не люблю я этого. Сам соображай.

— Видно, как он соображает! — сказала окончательно расстроенная Катя.

Возле досок показателей ребята задержались. Присев на корточки, завкомовский художник что-то рисовал, а вокруг толпились удивленные зрители. Художник замазал голубой краской

фамилии молодых токарей, работавших на «Бушах», ловко нарисовал красное знамя, а на знамени написал: «Первая фронтовая молодежная бригада. Командир Малышев К.».

— Что за бригада? Откуда такая? — спрашивали ребята.

Катя обернулась, не увидела Кости и вернулась за колонны.

Два черновых станка работали под присмотром командира.

— Ты запас для меня делаешь, да? — виновато спросила она. — Ты... ты рассердился, что я так при мастере ляпнула? Совсем нечаянно вышло, уверяю тебя!

— Ладно, — великодушно простил Костя. — Иди обедай...

В столовой Леночка уже заказала для Кати все, что полагалось.

— Мы здесь обедаем, а Малышок запас для отделочного станка готовит, — сообщила Катя. — Мне даже неловко...

— Он ужасно сознательный! — воскликнула Леночка. — Надо скорее его сменить.

Их задержало суфле. Его только что привезли с молочного завода и еще не успели разлить в кружки.

— Куда ты? Ты же любишь суфле... — сказала Леночка, когда Сева вскочил и направился к выходу.

— Один только ваш Малышок сознательный!.. Выпей мое суфле! — ответил он с досадой.

— Постараюсь! — прыснула Леночка, тут же сконфузилась, что она такая жадная, и добавила: — Я Кате половину отдам...

Когда девочки вернулись в цех, они увидели, что Костя и Сева уже приготовили небольшой запас обдирок для Катиного станка.

НОВЫЙ ВЕТЕР

Сразу после сменного гудка Колька Глухих помчался за колонны с изумительной, поразительной новостью. Стоп — неудача! За колоннами былолюдно. Леночка и Сева под руководством Зиночки прикрепляли к центральной колонне большой фанерный щит. Для этого они сдвинули два инструментальных шкафчика, на них поставили табуретку, а на табуретку взгромоздился Сева. Девочки боялись, что он упадет, но Сева успешно сделал все, что требовалось. На щите было написано: «Здесь работает молодежная фронтовая бригада».

За черновыми станками токарili Костя и Катя, а Герасим Иванович сидел на стеллаже. Колька, притаившись за колонной, слышал его неторопливую речь:

— Видишь, Малышок, что получается. Еще все лыком шито, а сколько уже за пробную смену «труб» сдали! Наладите работу, и не то будет... Это ты правильно сообразил, что Галкина должна иметь задел обдирок. Ты ее станок до простоев не доводи, чтобы общий показатель не съезжал. Только не позволю я вам после смены сверхурочно дыры латать. Ваше дело молодое — в кино бегать, учиться, как в присяге задумано. Ты работу так организуй, чтобы задел не снижался, тогда и будешь кум королю.

Колька сгорал от мучительного нетерпения. Да когда же кончится этот пустой разговор! Уф! Герасим Иванович ушел, но Зиночка задержалась за колоннами, где стало так уютно, где было так светло и от добавленной сильной лампы, и от веселых лиц ребят.

— Значит, до завтра! — наконец сказала она. — Я попросила машинистку покрасивее перепечатать присягу на чертежной бумаге... Всего хорошего, юные гвардейцы труда!

Теперь девочки стали за черновые станки, Костя и Сева потащили лист со стружкой на транспортер-вибратор, или, как его называли в цехе, дрожалку, а Колька, конспиративно оглядываясь и равнодушно посвистывая, последовал за ними. Транспортер находился у противоположной стены цеха. Лотки тряслись с однообразным дребезжащим звуком.

— Детали, последнее слово техники! — задыхаясь, сказал Колька. — Заказал Ваньке Байдукову, инструментальщику, зажигалку новой конструкции... Берет запас горючего на целый месяц... Два фитиля...

Было в порядке вещей то, что Костя встретил чудесную зажигалку насмешливой улыбкой, но Сева!.. Он, сбрасывая стружку на транспортер, точно не слышал экстренного сообщения. Разочарованный, оскорбленный Колька толкнул его плечом:

— Слышал?

— Новую игрушку нашел, деятель... — отметил Сева спокойно. — А сколько ты еще светящихся компасов купил, голова? — И ушел с Малышком, не обращая внимания на ошеломленного конспиратора.

Колька растерялся... Ведь какой это был человек! В школе, а потом на заводе он непременно чем-нибудь увлекался, первый подхватывал моду и суматошился за десятерых. Начнут ребята собирать диковинные камешки — его карманы тотчас же разбухнут, камни появятся везде: в школьной парте, дома на подоконниках, даже под подушкой. Он камнями хвастается, он камнями обменивается. Пройдет мода на камни, но некоторые ребята продолжают заниматься минералогией, составляют коллекцию, дружат с камнерезами, мечтают поступить в Горный институт. Кольки среди них нет. Его уже захватило новое увлечение: то он наспех клеит авиамодель, которая одним махом

должна побить все имеющиеся всесоюзные и мировые рекорды дальности, продолжительности и высоты полета, то ищет какую-то необыкновенную почтовую марку, то с ожесточением гоняет голубей...

Как только он остался один на один с золотой тайгой, он почувствовал себя несчастным. Ему и в голову не пришло, что он может сказать Севе: «Выкладывай начистоту, почему ты так охладел? Если раздумал идти в тайгу, я возьму дело в свои руки». В конце концов, для него было важно не золото, а всяческий шум — тайные совещания, подмигивания, зажигалки с вечным огнем и светящиеся компасы во всех карманах.

СО СТОРОНЫ

На другой день Колька пораньше явился в цех с одной мыслью: выяснить мучительный вопрос об экспедиции.

Опять неудача! За колоннами был весь цех, чуть ли не весь завод. Колька с трудом пробился сквозь толпу ребят, захваченных тем, что происходило. Возле бригадной доски показателей директор о чем-то беседовал с парторгом. Были тут еще Зиновка Соловьева, Нина Павловна, Герасим Иванович, Балакин, начальник первого цеха Тимошенко, токарь Иван Стукачев. Члены бригады стояли каждый у своего станка. Катя Галкина была бледненькая, натянутая. Леночка Туфик поправляла очки. Она то озиралась вокруг, как совушка, то крепко жмурилась. Костя напустил на себя серьезность, а Сева вообще был неузнаваем. Он неизвестно когда успел подстричься, а вокруг шеи навернул голубое шелковое кашне.

— Вот так шум, деятели! — сказал Колька. — Тут и женят, тут и замуж выдают?

Но молодые рабочие, столпившиеся между колоннами, не поддержали его шутку.

Как раз в эту минуту Зиновка спросила у Кости, точно сама не видела:

— Товарищ Малышев, все члены бригады на месте?

— На месте... — ответил «товарищ» Малышев.

— Юные патриоты молодежного цеха, следуя примеру рабочих второго цеха, решили по-новому, по-фронтовому, организовать свой труд, чтобы скорее выполнить клятву уральцев, — волнуясь, громко заговорила Зиновка. — Они организуют фронтовую бригаду и принимают присягу... Оглашаю текст присяги.

— Снимите головные уборы! — сказал директор и первый снял шапку.

Головы обнажились. У Кольки между лопатками посыпались

холодные мурашки. Чего бы он ни дал, чтобы занять место Севы или Кости! Все ребята подались немного вперед, чтобы лучше слышать, а Колька выскочил так далеко, что Герасим Иванович бросил на него строгий взгляд.

— «Мы, юные патриоты любимой Родины, принимаем торжественную присягу в том, что...» — читала Зиночка, внятно выговаривая каждое слово.

Члены бригады повторяли за нею, а все, кто слушал, повторяли эти большие слова про себя.

Когда Зиночка прочитала, что члены бригады не оставят рабочее место до тех пор, пока не выполнят любое задание, как гвардейцы не покидают поля боя до полной победы, ребята зашептались:

— Здóрово! Как гвардейцы!

А когда Зиночка прочитала, что члены бригады обязуются вырабатывать ежедневно не меньше ста семидесяти пяти процентов общебригадной нормы, ребята так и качнулись. Шутка ли — сто семьдесят пять процентов! И не уходи, пока не сделаешь! Услышав это героическое решение, каждый спросил себя: «А я так смогу?»

Почему же Колька ничего не понял? Он подмигнул и громко сказал:

— Булкин-Прогулкин — и вдруг сто семьдесят пять!.. Булка, ты серьезно?

Он выскочил с этой глупостью как раз тогда, когда Зиночка сделала паузу, передышку, прежде чем перейти к обязательствам по культуре и дисциплине. Его слова повисли в воздухе. Сева притворился, что не слышал их, но даже его лазоревое кашне покраснело...

Колька встретился с сердитым взглядом парторга, хотел нырнуть в толпу зрителей, но ребята между колоннами сбились плотно, и ему не удалось спрятаться.

— Прошу слова! — сказал директор, когда члены бригады расписались под присягой. — Прежде всего поздравляю наших юных патриотов с тем, что они нашли в себе мужество последовать примеру взрослых и принять серьезные обязательства... да, серьезные обязательства. Придется работать упорнее, больше... Фронтная молодежная бригада будет достойна своего боевого имени. Никто не сомневается в том, что они преодолеют трудности.

Кто-то в задних рядах крикнул:

— Теперь не дрейфь, а то просмеем!

— Не сдрейфим! — воинственно ответила Катя. — Доска показателей скажет, как мы дрейфим!

Теперь взял слово парторг Сергей Степанович. На заводе полюбили этого спокойного, внимательного человека. Все знали,

что он фронтовик, что он награжден боевым орденом, и поэтому все зааплодировали.

— Нет, не сдадут своих позиций юные гвардейцы трудового фронта! — сказал он. — Бригадники покажут дорогу тем рабочим молодежного цеха, которые пожелают внести в свой патриотический труд больше организованности, производственной культуры и дружбы. Тут один молодой рабочий, которого вы, может быть, знаете...

Поднялся смех:

— Знаем — лодырь, каких свет не видал!

— Марками почтовыми торгует!

— Глухих, о тебе говорят!

— Этот Глухих бросил обидное — прямо скажу, глупое — слово по поводу члена бригады Всеволода Булкина. На месте Булкина я ответил бы так: «Не бойся, товарищ! Никто меня не тащил в фронтовую бригаду. Я вступил в нее добровольно, подчиняясь патриотическим велениям своего сердца. Советую тебе последовать моему примеру и крепко взяться за работу, чтобы твой отец-фронтовик мог гордиться своим сыном». Правильно ли я ответил, товарищ Булкин?

— Все правильно! — сказал просветлевший Сева.

— Слово имеет стахановец Иван Стукачев! — объявила Зиночка.

— Ребята! — сказал Стукачев, снял кепку, надел ее, снова сдернул и улыбнулся. — От имени фронтовиков второго цеха поздравляю вас с организацией бригады. Вы давайте больше деталей, а я, коли меня отпустят в танковую школу, на фронте не подкачаю! — Все, в том числе и директор, зааплодировали, а Стукачев вынул из кармана резец и протянул его Косте: — Вручаю тебе мой чистовой победитовый резец. Смотри, чтобы меньше ста семидесяти пяти процентов этот резец не знал!.. Давай руку! — Он крепко пожал руку своему бывшему ученику.

— До гудка одна минута, — сказал директор, посмотрев на часы. — Молодежная фронтовая бригада начинает свой первый день. Надеюсь, что она недолго будет единственной в молодежном цехе. — И он крикнул: — За станки! Отметим этот день высокой выработкой!

Рабочие молодежного цеха разошлись по своим местам. Вокруг только и было разговоров, что о бригаде, только и было интересов: справится ли она со своими обязательствами, не завалится ли? Все желали ей успеха, так как каждый молодой рабочий видел себя в близком будущем тоже гвардейцем трудового фронта. Нина Павловна шепнула Косте: «Смотри, какое большое дело ты начал!» — и он смутился. Конечно, дело получилось большое, а кто его начал? Неужели он? Он с помощью

Балакина предложил мастеру разделить операции, но ведь еще до этого Катя придумала работать на пару и доказала, что дружная работа дает больше, чем работа в одиночку. Вот и реши, кто начал!

— Посмотри за моим станком, я смотаюсь на пять минут, — сказал Сева на ухо Косте.

— День не начался, а ты — бегать!

— Я не бегать... Мне нужно... — настаивал Сева. — Мне нужно с Колькой Глухих объясниться. — И по его лицу, по блеску глаз было видно, какое объяснение задумал Сева.

— Что выдумал! Вот присягу дал вести себя культурно, а сам надумал драться... От станка не уходи!

— Командир, я уже третью деталь из задела беру! — крикнула Катя. — Где свежие обдирки?

Пришлось Севе взяться за работу.

ОДНО СЕРДЦЕ

Так вот, за колоннами, в молодежном цехе, было четверо рабочих, которые совсем недавно пришли на завод из родной семьи. Как только молодые рабочие немного овладели техникой, они решили сделать так, чтобы старенькие «Буши» стали как один сильный станок, а для этого понадобилось, чтобы четыре рабочих сердца стали как одно большое и сильное сердце.

После того как Костя получил серый пакет, ему иногда казалось, что он одинок.

Теперь это тяжелое чувство не возвращалось, потому что он заботился не только о себе, но также о Кате, Леночке и Севе. Когда они радовались, он тоже радовался, а когда печалились, он старался, чтобы печаль скорее прошла.

Если у Кости что-нибудь не ладилось, Катя непременно спрашивала: «Ну, что у тебя?» — и все бригадники ему помогали.

Ребята вместе ходили на работу и с работы, в столовую и кино. Если кто-нибудь из них отлучался неизвестно куда, все беспокоились, где он, а если у кого-нибудь заводился секрет, все обижались до тех пор, пока секрет не раскрывался.

Раньше Катя считала только себя лучше других, а теперь она гордилась, что их бригада самая лучшая в цехе. Леночка Туфик по-прежнему ойкала и шушукалась с Катей, но работала все лучше и лучше и готовилась вступить в комсомол.

Сева?.. Вот с Севой, пожалуй, было неясно. Он совсем раззнакомился с Колькой, работал не хуже других, но ребятам казалось, что у него есть тайна. Однажды он ушел в город на весь

выходной день, вернулся оживленный, встревоженный, принес всем по леденцовому петушку на палочке, и ребята пили чай, облизывая петушков, что было забавно. Но ведь не за петушками же Сева ходил целый день! Он, кроме того, бегал в заводоуправление справляться, нет ли ему письма, но ребята не знали, кто ему должен написать.

Старый мастер убедился, что Малышев — удачный командир.

Костя завел в бригаде строгий порядок — даже для подкраски шкафчиков и стеллажей он установил определенные дни. Он делал так. Сначала объяснял на планерке, что придумал, добивался, чтобы все признали: да, придумал правильно, а потом, если кто-нибудь делал не так, он говорил: «Что ж, ты своему слову не хозяин?» — и Леночка его поддерживала. Командиры новых молодежных бригад бегали к Косте советоваться насчет порядка. Он без отказа давал совет, а потом проверял, как получилось.

Много больших событий было в жизни бригады. Например, вся бригада участвовала в общегородском слете передовиков производства в оперном театре.

Косте очень понравился большой, красивый театр, и он узнал от ребят новые слова — «партер», «бельэтаж», «ярус» — и услышал интересные речи о том, как сталевары, прокатчики, пушкарники, машиностроители выполняют уральскую клятву.

Девочки купили мальчикам зубные щетки. Костя сразу научился чистить зубы — не мудрость, но вздумал сушить щетку на печке, она рассыпалась, и он предложил пользоваться Севиной щеткой поочередно, но Сева объяснил, что это негигиенично, то есть нездорово. Так Костя узнал еще одно хорошее слово и купил новую щетку, даже лучше старой...

— Малышок, на минутку!

Костя, бегавший во двор посмотреть, из какого штабеля лучше взять заготовки, увидел Кольку Глухих. Они ушли за Гималаи — свалку стружки.

Колька потоптался на месте и спросил:

— Значит, с золотом и тайгой точка? Севка не шьет и не порет...

Золото, тайга? Костя так давно не слышал об этих вещах, что его сердце встрепенулось. Может быть, оно встрепенулось еще и потому, что с крыш свисали первые маленькие сосульки; может быть, оно встрепенулось потому, что снег на солнечной стороне Гималаев стал темным и сочился мутными слезками, в которых дрожали разноцветные огоньки. Костя внимательно посмотрел на Кольку, на несчастного Кольку Глухих, которому до сих пор ребята молодежного цеха напоминали, как он оскандалился, когда бригада принимала присягу. Скривив свой маленький ротик, конспиратор жалко улыбался.

— Я за Севолода не ответ,— сказал Костя.— А ты с ним толком поговори.

— Да, как же! Я хотел, а он кричит: «Пошел вон с твоими дурацкими игрушками! Очень ты мне нужен! Скажи спасибо Малышку, а то я с тобой объяснился бы как следует»,— и кулак, будто маленькому, показал. Вот здорово! Может быть, он нашел другого товарища для похода в тайгу?

— Не... не нашел,— подумав, ответил Костя.— Да, может, Севолод и сам не пойдет...— Толкнув Кольку плечом, он добавил: — Ты не кисни, все ладно будет! У меня мысль есть...— и побежал в цех.

О чем думала его голова, когда было сказано это слово, удивившее Кольку? Действительно, казалось, что у Кости есть какая-то мысль, а какая именно, он сам не знал. Он просто думал, что вот болтается в ремонтном цехе, возле незагруженных «Бушей», Колька Глухих. Взрослые рабочие в этом маленьком цехе часто меняются, нет над Колькой старшего, и он лодырничает.

Вскоре произошли события, которые сделали эту мысль ясной.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

КУТЕРЬМА

События начались в то утро, когда Костя опять чуть не поссорился с Катюшей. Они шли на работу. Было совсем светло. Солнце теперь вставало рано, чтобы скорее растопить тонкий серебряный ледок в лужах, из которых за ночь убегала вода. Леночка и Сева о чем-то разговорились и незаметно для себя ушли вперед, а Костя с Катей отстали.

— Не нужно бежать, как на пожар, — сказала она. — Погода такая хорошая. Подышим воздухом.

Они дышали воздухом, но дело было не в воздухе. На холме солнце вдруг осветило ее лицо, и Костя увидел, что у Кати серые щеки, глаза тусклые, а под глазами мешочки. Она зажмурилась, остановилась, нетерпеливо размотала шарфик, пожаловалась: «Опять бабушка меня так глупо закутала!» — а потом покачнулась, схватилась за Костину руку и стала часто, коротко дышать.

— Постой немного, — шепнула она. — Почему-то мне сразу стало... нехорошо.

— Занедужила? — встревожился Костя.

— Нет, ничего... Пожалуйста, не поднимай шуму!

Она медленно двинулась дальше, а Костя пошел рядом, чтобы в случае чего не дать ей скатиться с холма.

— Сама виновата, Катерина! — сказал Костя.

— Опять ты пристаешь со своими глупостями! — сердито ответила она, так как поняла, что скрывалось за его словами. — Кто тебя просит? Думаешь, как только пойду к доктору и... помирюсь с Ниной Павловной, так сразу и вылечусь? Все это напрасно, потому что папа, конечно, погиб... Сколько времени прошло, а писем все нет... И я уверена, что она... тоже перестала ждать. Забыла папу... Совсем забыла, бессовестная такая!..

Это возмутило Костю. Он видел, он хорошо видел, как измучилась, похудела Нина Павловна, дожидаясь весточки с фронта, как непосильно она работает, чтобы отогнать тяжелые думы. Да и Катя, конечно, видела это. Он чуть не выругал ее, но сдержался, бросился вперед и нагнал Леночку.

— Подожди Катерину, недужит она, — сказал он. — Пойдем, Севолод, вместе.

Дальше произошел разговор, опять-таки очень болезненный для Кости.

— Лену послезавтра в комсомол принимают, — сообщил Сева. — А ты почему не подаешь заявление?

— Не примут меня в комсомол, годы не вышли, — ответил несчастный командир самой счастливой бригады.

— Как это — не вышли? Для завода вышли, а для комсомола нет? Вот чудак!

— И для завода не вышли... Миша в анкете про меня правильно написал, да, видать, в отделе кадров не заметили.

— Ну и считай, что, если тебя на завод приняли, значит, и для комсомола ты подходишь. Так и напиши в заявлении.

— Нельзя комсомолу врать, — совершенно расстроившись, возразил Костя. — Я бы написал, да нельзя.

Не заладился этот солнечный день и для самого Севы. Он до гудка забежал в заводоуправление справиться, нет ли письма, долго пропадавал, а когда явился за колонны, Костя не решился сделать ему замечание. Сева застыл столбом у станка, потом полез в шкафчик, стал перед ним на колени и закрылся от всех дверцей, как делал это всегда, когда хотел скрыть свои чувства.

Что случилось? Раздумывать над этим было некогда — новая неприятность подстерегала бригаду. Второй цех не смог дать электрокар. Ребят так пришпорило, что они решили возить заготовки со двора в тележке.

— Не приставай! — едва слышно сказал Сева, когда Костя начал торопить это дело, но все же три раза подряд привез заготовки, сделав рейсы удивительно быстро.

Костя хотел его похвалить, но у Севы все еще было такое сумрачное, бледное лицо, что язык не повернулся. Вдруг за колонны влетел маленький, толстый начальник материального склада в сопровождении Герасима Ивановича.

— Кто позволил заготовки из-под креста брать?! — кричал начальник склада. — Что за безобразие! Куда ваши старшие смотрят?

Оказалось, что Сева брал заготовки из ближнего штабеля, отмеченного косым черным крестом, куда складывали металл, забракованный центральной заводской лабораторией.

— За такую штуку мы тебе, Булкин, выговор по цеху дадим, — сказал Герасим Иванович. — Вот твоя знаменитая лень опять наружу в полной красоте вылезла.

— Я брал заготовки без «бэ», — оправдывался Сева. — Они не в штабеле лежали, а возле штабеля. На них не написано мелом «бэ», — значит, они не брак...

— Кто лучше знает — ты или я? — разозлился начальник материального склада. — Хозяин нашелся!

— Чего там кричать! — успокоил его Герасим Иванович и приказал: — Тащите теперь, ребята, все, какие есть, заготовки в бракованный штабель.

Поднялась кутерьма. Мальчики бросились выправлять положение. Из двух черновых станков один стал. Начались простои и на Катином станке. Когда все заготовки были заменены годными, Катя подсчитала отделанные «трубы».

— Спасибо, Сева, мы из-за тебя уже на восемь «труб» опоздали, — сказала она.

Виновник происшествия промолчал — может быть, потому, что за колоннами был Герасим Иванович, а может быть, потому, что признавал свою вину.

— Ты его, Катерина, не трожь: у него что-сь стряслось, — мимоходом шепнул Костя.

— Ну и денек! — вздохнула Катя. — Все вверх дном! Совсем сели!..

НЕУДАЧНАЯ СЪЕМКА

Но самое тяжелое было впереди. Во второй половине смены Зиночка привела за колонны пожилого рыжебородого человека. Под мышкой у него был деревянный фотографический штатив, а пальто оттопыривалось на боку. В последнее время за колоннами перебивало много гостей; их приводила то Зиночка, то работники завкома, то сам парторг — показать, как используется старая техника. Гости бывали разные, но этот был самый серьезный.

— Здесь работает наша лучшая молодежная фронтовая бригада, — сказала Зиночка. — С нее и можно начать.

Гость огляделся и пробормотал:

— Культурно, культурно. Сниму актив бригады, — решил он. — Самых боевых... Редакция просит групповой снимок новаторов, лучших молодых стахановцев.

— В бригаде только четыре человека, — замялась Зиночка. — В активе, конечно, сам Малышев — он известный новатор, потом Катя Галкина — она лучшая стахановка, и потом политрук бригады Лена Туфик... — И она замолчала.

— И еще Всеволод Булкин! — строптиво добавила Катя. — Вообще в бригаде все работают хорошо.

— Но, Катя, ты понимаешь, что нужно снять актив, — зашептала Зиночка. — А Сева сегодня устроил такую возмутительную вещь... Разве это сознательность?

— Ничего! Он больше не будет.

— Ой, конечно! — поддержала подругу Леночка.

— Пожалуйста, мне вовсе не интересно сниматься! — равнодушно проговорил Сева и крепче затянул кашне на шее.

— У нас вся бригада заодно! — вступился за него Костя. — Мы всегда вместе. Сниматься — так всем.

— Всех сниму! — решил фотограф. — Аппарат выдержит. Хорошо то, что народ дружный, — значит, актив... Молодые люди, подойдите к доске показателей. Мальчики, снимите шапки и пригладьте волосы. Смотрите только друг на друга, будто меня не существует...

Ребята смотрели друг на друга во все глаза, но прекрасно видели, что делал будто несуществующий рыжебородый человек: он достал из-под пальто фотоаппарат в кожаном чехле, привинтил к штативу и нацелил на бригаду, потом в его руках очутилась непонятная штука — металлическая трубка с площадкой. Рыжебородый насыпал на площадку серебряного порошка из баночки и поднял трубку высоко над головой.

— Вы, молодые люди, всегда такие серьезные? — спросил он. — Ку-ку!

Невольно все рассмеялись. Тут что-то щелкнуло, и блеснул ослепительно яркий свет.

— Культурно, культурно! — похвалил ребят фотограф. — А теперь назовите себя и скажите, кто у кого на фронте. Я запишу.

Когда очередь дошла до Кати, она сказала:

— Я Галкина Екатерина... У меня папа фронтовик.

— Пишет?

— Нет, давно не пишет. — И отвернулась.

Человек нерешительно проговорил:

— Значит... значит... — Он, может быть, хотел спросить: «Значит, неизвестно, жив ли?» — но решил так: — Я только

запишу, что отец на фронте. У меня тоже... сын не пишет с декабря прошлого года. Он был в энской особой дивизии. Я надеюсь, что все обойдется. И вы, Катя, не расстраивайтесь...

Этот суровый человек теперь стал просто грустным, опечаленным пожилым человеком. Зиночка повела его в другие бригады.

— Нас в газете напечатают!.. Ой, я совсем как слепая выйду! Меня никто не узнает! А рот я открыла, потому что смеялась!.. — затараторила Леночка.

— Ты что, Катерина? — спросил Костя.

Она пошатнулась, провела рукой в воздухе, хотела опереться о станок, но промахнулась и медленно опустилась на пол, точно выбирала место, где сесть.

— Ну что ты, что ты, Катенька! — залепетала Леночка и бросилась к ней. — Опять голова закружилась?

— Папа тоже с декабря не пишет... Он был... в особой... — сказала Катя, закрыла глаза и склонилась до самого пола.

— Да поднимите же ее! — закричала Леночка.

Первым подоспел Сева, но Костя отстранил его, стал поднимать Катю и даже испугался — в ней совсем не было веса.

— Сами идите в медпункт, если вам нужно! — сердито проговорила Катя, вырвалась из рук Кости и опустилась на стеллаж.

Ей дали напиться воды из кружечки, Костя взял под руку, Леночка под другую, и они повели — вернее, понесли — Катю. К ним присоединилась встревоженная Нина Павловна. И Катю доставили в медпункт, где главным был старый доктор.

До дороге Катя созналась, что была простужена и ходила на работу с температурой, скрывая это от бабушки и товарищей. И не хотела идти к врачу, потому что боялась, что он заставит ее сидеть дома. С тяжелой душой возвращался Костя за колонны. Бригада вдруг осиротела, потому что лишилась одного человека. Она лишилась одного человека: маленькой, слабенькой синеглазой девчурки, но как будто стала в тысячу раз слабее, чем была, — так ему показалось.

ОДИН ЗА ТРОИХ

Он сначала не понял, что случилось. За колоннами уже горел свет, и все черновые станки, все три черновых станка работали. От станка к станку ходил Сева, осторожно и легко, будто двигался по ниточке, готовой порваться. Лицо у него было непривычно оживленное, какое-то светлое, красивое, точно освещенное еще одной яркой лампой. Он остановил станок, снял ободранную деталь, зажал новую заготовку, пустил станок, проходя мимо другого станка — охладил резец, а на третьем ловко сменил заготовку и продолжал путешествие.

Острая зависть пронзила сердце Кости. Но это была не только зависть — это было также восхищение. «Ты, гляди, наделаешь делов», — хотел он сказать товарищу, но промолчал, потому что его руки зачесались, загорелись. Он мысленно повторял каждый шаг, каждое движение, сделанное Севой, и не сразу заметил Герасима Ивановича... Между колоннами появилось несколько ребят из цеха. Все молча смотрели, как Булкин управляется с тремя станками.

Для того чтобы успокоить руки, Костя стал за отделочный станок, к которому его всегда тянуло. Побежала, заструилась синяя, горячая стружка. Старый мастер посветлел, шуганул зрителей: «Дела другого нет — семерым на одного глазеть!» — присел на стеллаж возле Кости и призадумался. Всего два работника было за колоннами, и все же продолжалась жизнь, весело звякали отделанные «трубы».

По порядку, заведенному Костей, каждый токарь, сдав обдирку отделочнику, ставил под своей фамилией на доске показателей меловую единичку — так велся учет соревнования внутри бригады. Взяв мелок, Костя провел под всеми единичками толстую черту. Это означало, что за колоннами случилось что-то очень важное.

Как только раздался гудок, Герасим Иванович скомандовал: — Шабаш!

Станки замерли, и ребята подошли к мастеру.

— Заболела Галкина, — сказал он. — Доктор говорит, придется отпуск дать — может быть, на месяц-полтора.

— И питание, — подсказала Леночка, которая незаметно присоединилась к ним. — Мальчики, вам поклон от Кати. Я отвела ее домой.

— Питание подбросим, — пообещал мастер и спросил у Кости: — Давать еще человека или справитесь?

— Сами видели, — отозвался Сева. — Справимся и вдвоем.

— Ты не прыгай! — не очень строго остановил его мастер. — Думаешь, как проработал часок на трех станках, так и король!

— Ой, он на трех станках работал? — с восторгом прошептала Леночка.

— Да! — сказал мастер, отвечая своим мыслям. — Были у вас руки что крюки, а теперь руки в порядке... Ты, Малышок, на трех станках тоже справишься?

— Должно быть...

— А я непременно собоюсь, — призналась Леночка.

— А на отделочном?

— Справляюсь, обязательно справлюсь! Я уже один раз немножко пробовала.

— Герасим Иванович, в ремонтном цехе четыре «Буша» стоят, а им одного хватит, — неожиданно для самого себя сказал

Костя.— Пускай нам лишние отдадут. За колоннами место есть. Вот поглядите!

— Еще что выдумаешь! — удивился мастер, но все же пошел за Костей в конец участка, осмотрел площадь возле самой стены и признал: — Конечно, два-три «Буша» поставить можно, хоть и тесновато. Выйдет на работу Галкина — может, и поговорю с Тимошенко.

— А зачем ждать? — пожал плечами Сева.— Обдирку вдвоем на пяти станках поведем.

— А с отделкой как? — прикрикнул мастер.— Вносишь предложение, так отвечай за свои слова. Отделочный станок нынче только-только справляется. Куда ободренные заготовки сдавать? Думать нужно!

Он ушел, против воли озабоченный. Костя отослал Леночку домой и сосчитал готовые «трубы».

— Сто двадцать! Полторы нормы... Сработали! — огорченно сказал он.

Вместо ответа Сева зажал заготовку, пустил станок, подошел к станку Кости... Все было ясно. Костя обрадовался, подхватил с полу обдирку и зажал в патроне отделочного станка.

— Давай! — бросил Сева.

— Давай! — откликнулся Костя.

В цехе уже было совсем пусто, но за колоннами «Буши» продолжали свое дело. Костя снял первую готовую «трубу», а Сева велел ему:

— Считай!

— До скольких?

— До... ста шестидесяти!

Это значило — двести процентов плана! «Испугал!» — задорно подумал Костя и крикнул так, что в цехе зазвенело эхо:

— Сто двадцать одна!

За колонны, шаркая валенками, прибежала учетчица, старенькая тетя Паша, с замасленным блокнотом.

— Что же вы, не сдаетесь, ребята? — спросила она.

— Не сдаемся! — ответил Сева.— Смена не кончилась!

Фронтальная бригада не сдалась.

ПРИЗНАНИЕ

Крикнув: «Сто шестьдесят!» — Костя выключил станок и побежал сдавать резцы в заправку и договариваться об электрокаре. Когда он возвратился, Сева уже кончил уборку стружки и сидел на стеллаже, вытянув уставшие ноги на середину прохода. Костя улыбнулся. Ему живо представилось, как завтра заойкает Леноч-

ка, как обрадуется Катя, услышав, что, несмотря на все неудачи, фронтовая бригада устояла и впервые сделала двести процентов — две нормы, целую гору «труб», которые так весело блестят, отражая свет ламп.

— Только они — актив! — процедил Сева сквозь зубы. — Только они — новаторы, а Севка — Булкин-Прогулкин... Надавали вам горячих? Съели?

Его слова ошеломили Костю. Стало темно, холодно, точно у него отняли что-то очень большое, светлое, хорошее. Да ведь и то сказать — какие злые, малкие это были слова.

— Значит... значит, нарочно ты так вот сделал? — через силу проговорил он, желая этим выразить, что его товарищем руководило только желание пофорсить, показать себя. — Я думал, ты на самом деле... а ты нарочно, нахально... — И, махнув рукой, он пошел прочь, чтобы скорее скрылся с глаз неправильный человек.

— Как это можно нарочно на трех станках работать? — насмешливо осведомился Сева.

— Мало что... Ты это со зла, а не сознательно...

— Только вы сознательные?

— Уж не такие, как ты...

Сева вскочил и крепко схватил его за плечо.

— Только вы сознательные! Да? Только вы! — выкрикнул он тонким голосом, глядя на Костю бешеными глазами, и его губы задрожали. — На! На, читай, сознательный! — Выхватив из кармана потертый клеенчатый бумажник, Сева вынул из него и сунул Косте какую-то бумажку.

Это было извещение о том, что среди эвакуированных граждан, зарегистрированных в бюро, Софья Наумовна Булкина не числится и что в бюро также не поступало запросов о местонахождении Всеволода Булкина. Конечно, Костя не смог разобраться, в чем дело.

— Я сегодня это извещение получил, — объяснил Сева. — Помнишь, я в воскресенье куда-то ходил? Это я в бюро ходил... которое об эвакуированных справки собирает. Я там заявление написал, запрос, где моя мама, Софья Наумовна Булкина. — Его голос охрип. — Видишь, мама не эвакуировалась... Значит... ее фашисты в Каменке убили.

— Почему знаешь? Может, и не убили.

— Да... много ты понимаешь! Помнишь, когда я в красном уголке газету порвал? Я ее не порвал... я только кусок вырвал... Читайте!

На обрывке газеты был напечатан «Рассказ партизана», и Костя все прочитал.

Один красный партизан перешел фронт и рассказал, что фашисты превратили в «зону пустыни» Каменку, которую они называли «партизанское гнездо номер первый».

Фашистские танки всё раздавили, фашистские пули убили всех, кто не успел бежать, а фашистский огонь сжег все, что не успели уничтожить танки. Вот и исчезла Каменка — красивый зеленый городок, где до войны люди жили хорошо, богато. Теперь Костя все понял. Он понял, почему Сева так взялся за работу и вступил в бригаду, почему он так изменился. На сердце у него стало тепло и жалостно, захотелось стереть обидные слова, которые он только что сказал товарищу.

— А я думал, ты пофорсить хотел...

Сева стал рыться в шкафчике и закрылся от Кости дверцей.

— Я и пофорсить хотел, дурья ты голова, — ответил Сева, будто совсем спокойно, — чтобы вы понимали... Еще неизвестно, кто сознательнее. — Он помолчал и проговорил совсем тихо, но так, точно грыз железо: — Фашисты — гады. Они хотят везде так сделать — «зону пустыни»... Я их ненавижу больше, чем все вы! Я бы каждого убил своей рукой... Я везде буду первый, и за станком, и все сделаю, что задумал!.. — Голос его оборвался, он помолчал, со стуком захлопнул дверцу и поднялся с красными пятнами на щеках. — Где электрокар? Заготовки нужно привезти, резцы из заправки взять. Поворачивайся!

— Ты что сосешь? — с надеждой в голосе спросил Костя, когда они складывали возле станков привезенные заготовки. — Сахар небось?

Уже немного успокоившийся Сева вынул изо рта корочку.

— Не беспокойся, сахар пойдет куда нужно, — ответил он. — Пускай сдохну, если до похода трону запас!

Итак, несмотря на всю свою сознательность, Сева все-таки собирался за золотом.

НЕСЛЫХАННОЕ ЛЕКАРСТВО

Прежде чем отправиться домой, Костя забежал в лабораторию к Нине Павловне. Она ходила из угла в угол, а возле стола сидел старенький, совсем лысый доктор из медпункта и задумчиво постукивал пальцами по ручке кресла. Этого человека на заводе уважали, потому что он всегда интересовался, кто болен, кто поправился, всегда шутил, что болеть вредно для здоровья, и всех угощал витаминными таблетками.

— Тебе что нужно? — спросил он у Кости. — Покажи язык... Ух, какой мокрый и красный! Стой возле печки, пока не высохнет, а потом съешь это. — Он положил на язык Кости кисленькую таблетку и продолжал разговор с Ниной Павловной: — Так вот, голубчик, я повторяю: все это не только результат болезни, но и тяжелого нервного состояния... Нужен покой, сон и питание —

это главное... Вы говорите, что можно отправить барышню к ее тете в лесничество. Недели через две надо так сделать, а пока — сон, покой и питание.

— Сон и покой — это вполне доступно, — ответила Нина Павловна, — а вот питание... Она ничего не ест...

• — Отдохнет немного — появится аппетит. Но о питании нужно подумать серьезно. Конечно, завод поможет... Но что он даст? Сахару, муки... По мирному времени нужен был бы шоколад, какао, как можно больше молока, масла, яиц... Вот тогда мы подняли бы барышню недели за три, за месяц...

— Шоколад, какао? — усмехнулась Нина Павловна. — Вопрос не в деньгах... Где это взять сейчас? В магазинах, конечно, нет... Но что-то нужно придумать... Я завтра отпрошусь у директора на полдня. Весь город переверну, а достану.

До сих пор Костя был уверен, что шоколад — это баловство, а теперь понял, что шоколад — лекарство. В его памяти, как наяву, встали толстые плитки в серебряной бумаге.

Доктор ушел, наградив Костю еще одной таблеткой.

— Что делать, Малышок? — сказала Нина Павловна. — Как поскорее вылечить Катюшу, капризульку нашу?.. Знаешь, она не отняла рук, когда я их грела. Смотрит на меня так горячо, жалобно, хочет что-то сказать, а сердце все бунтует, все не уступает... Руки такие тоненькие, холодные, каждая косточка видна. До чего довела себя, глупенькая! — Нина Павловна сжала виски, подумала и сказала: — Понадобится — достану и птичье молоко! Вася мне не простит, если с нею что-нибудь случится. Ты не можешь себе представить, как он ее любил!..

Нину Павловну вызвали в цех пробовать новый способ закалки деталей, а Костя вернулся за колонны, где его ждал Сева, закончивший подготовку участка к завтрашнему дню.

«Я ДОСТАНУ!»

На другой день Нина Павловна явилась за колонны уставшая, озабоченная и рассказала ребятам о своей неудаче: она обошла весь город и только даром потеряла время.

На базаре продавали плитки шоколада, но такого плохого, что она не решилась купить. Была в облздравотделе, была в горторг-отделе... везде была. Люди говорят: «Война, ничего не поделаешь». Кто-то сказал, что шоколад и какао есть в госпитале, но, конечно, совесть не позволила ей туда обратиться.

Ребята слушали молча.

— Как она себя чувствует? — спросила Нина Павловна, закончив повесть о своей экспедиции.

— Все спит,— ответила Леночка.— Я к ней зашла, она открыла один глаз, сказала: «А, это толстая Ойка!» — и опять заснула..

— Пускай спит,— вздохнула Нина Павловна.— Доктор говорит, что дня через два-три появится аппетит. Нужно приготовить необходимое питание. Завтра с утра опять пойду искать.

— Не ходи! — сказал Костя.— Я пойду... Ты попроси Герасима Ивановича, пускай меня отпустит.

— Куда ты пойдешь?

— Шоколад да еще что покупать.

— Где ты достанешь, чужак! — засмеялся Сева.— Подумаешь, чудотворец! Теперь уже он форсит... видишь, Лена!

— Действительно, где ты достанешь? — спросила Нина Павловна, удивленно глядя на Костю.

— Не украду!

— Возьми деньги,— протянула она пачку бумажек.

Поколебавшись, он старательно спрятал деньги, которые ему были совсем не нужны, и приказал ребятам продолжать работу.

— Завтра, Севолод да Ленушка, вы на пару останетесь,— сказал он.— Должны справиться.

— Не бойся, справимся... Но разрешите все-таки узнать, товарищ командир, куда вы собрались? — осведомился Сева.

— Секрет,— ответил Костя.

— И не надо! — обиделась Леночка.— Не спрашивай его больше ни о чем, Сева! У нас тоже будет секрет. Я тебе одному скажу. Очень большой, важный секрет...

Так они и остались со своими секретами.

Нина Павловна, заглянув на минутку за колонны, сказала, что Герасим Иванович разрешил Косте завтра пойти в город, потому что, как заявил старик, бригадир, конечно, должен заботиться о членах своей бригады.

Глава вторая

ЗОЛОТИНКА

Утром, как только Сева отправился на работу, Костя сказал Антонине Антоновне:

— Ты, Антоновна, меня снаряди. Рюкзак дай, баночку... Мешочек еще... Гляди, не нашуми, не потревожь Катерину.

Он говорил так серьезно, что Антонина Антоновна, очень уважавшая своего квартиранта, поспешила выполнить его просьбу.

— Куда ты? Кажись, продукты я все выкупила на месяц,— спросила она, когда сборы были закончены.

— Вернусь — скажу, — пообещал Костя.

На конечной остановке он забрался в пустой трамвай и без приключений доехал до Ленинской площади, откуда оставалось два шага до цели путешествия. Магазин с зеленой вывеской только что открылся. Высокая старуха сдавала щепотку рассыпного золота — всего несколько темно-желтых крупинок. Молоденькая приемщица, сидевшая в стеклянной будке, бросила на чашечку весов крохотные разновески-листочки.

— Два чистых грамма, — равнодушно сказала она.

— Ну и то, — согласилась старуха и искоса посмотрела на Костю, точно боялась, что он схватит эти несчастные крупинки.

— Тебе что, мальчик? — спросила приемщица.

— Завмага позвать нужно.

Он знал свои права, знал, что сдатчик золота — важный человек.

Никто не смел допытываться, кто он, откуда, где поднял металл, и все должны его уважать. Приемщица поняла, что посетитель имеет основания разговаривать независимым тоном.

— Осип Пантелеевич, вас спрашивают! — позвала она.

В будке появился полный человек, посмотрел на Костю, но будто никого не увидел.

— Кто именно?

— Я спрашиваю, — обиделся Костя. — Шоколад есть?

— Тебе сколько пудов? — насмешливо спросил завмаг, продолжая разыскивать посетителя где-то под потолком.

— Два килограмма возьму, — ответил Костя. — Какао еще нужно. Это которое пьют... Масло скоромное... Муки крупчатки...

— Какао нет... товар для старателей ненужный. Да и шоколад только для витрины держим.

— Как это — ненужный? В «Золотопродснаб» жаловаться стану!

— Да ты с чем пришел, чего командуешь! — вскипел завмаг, теперь уже рассмотревший требовательного покупателя.

— Что мне разговаривать! — окончательно рассердился Костя. — Не пустой я пришел, ясно. — И он положил на мраморную дощечку возле весов «свин-голову».

Это сразу изменило поведение завмага.

— Да-а! — протянул он, рассматривая самородок. — Это да! Блеска-то сколько! Червонное золото. — Он засмеялся: — Ну, точь-в-точь свиная голова, даже ушки имеются, — и взял пузырек с кислотой.

— погоди, не сдаю, коли какао нет, — остановил его Костя.

— Через полчаса привезу с центральной базы. Здесь близко.

— Тогда... — Костя твердо выговорил, — тогда принимай.

Завмаг капнул на самородок кислотой, убедился, что это действительно чистое золото, и бросил на весы. «Свин-голова»

стукнула о костяную чашечку, и в сердце Кости тоже что-то стукнуло: он любил забавную золотинку, он мечтал превратить ее в костюм, в ручные часы, велосипед... Но он решил сделать то, что делал, и довел до конца то, что решил.

— Сорок три! — весело объявила приемщица.

— Батюшки, везет же добрым людям! — ахнула старуха.

— Пиши боны, — разрешил завмагу Костя. — Да за какао пошли. Без какао не уйду.

Хороший сдатчик — большой человек, если даже он вовсе не большого роста; хорошему сдатчику почет и уважение. Костя вручил старшему продавцу рюкзак, баночки, мешочек и сел возле окна, уверенный, что продавцы сделают все на совесть. В магазине уже было немало покупателей, а Костя оставался главным — старатели поглядывали на него с любопытством. Кто он, откуда? Где поднял завидную золотинку? Почему покупает то, чего не покупают другие? Но старательский закон строгий — нельзя спрашивать у незнакомого человека, где он старался, где поднял металл, а тем более нельзя расспрашивать такого серьезного человека, как этот насупленный паренек.

— Товарищ сдатчик, заказ готов. Какао тоже тут, пей на здоровье! — И завмаг поставил на прилавок битком набитый рюкзак. — Вот боны, вот расчет на бумажке записан. Хоть проверь, хоть доверяй: точно, как в аптеке...

— Чего там, — великодушно отказался Костя, — дома посмотрю...

— Ну-с, носить к нам не переносить, таскать вам не перетаскать! — пошутил завмаг.

Старичок в рваном тулупе и с золотыми зубами притопнул ногой.

— Хороший парнишка, правильный! — крикнул он. — Хошь, в сыночки задаром возму? Только ты меня корми, чего попрошу. Одевай, что по плечу.

Все засмеялись, смеялась даже старуха, сдавшая два грамма металла. Сдатчики решили, что старичок умеет выбирать сынков, и помогли Косте пристроить рюкзак за плечами.

Солнце уже разгорелось, и на тротуарах стало мокро. Костя, вышедший из дому в валенках, шагал по дороге. Он думал о своем, и трудно было бы сказать, о чем он думал. Было только ясно, что он не жалел о сделанном. Он простился со своим единственным богатством, и лишь на короткий миг сжалось его сердце, зато теперь оно стало шире, чем раньше, — в нем было все спокойно и как-то светло.

На что он променял золотинку? Может быть, кто-нибудь сказал бы: на ничто! Но глупое, неправильное слово только рассмешило бы Костю. В этом «ничто» было и здоровье Катюши, и полная жизнь за колоннами, и, может быть, добавочные «Буши»,

и слава фронтовой бригады, и... Простившись с самородком, он стал сразу богаче, гораздо богаче, чем был. Правду говорил Миша Полянчук, что на свете есть вещи дороже золота. Ради своего товарища, ради своей бригады Костя простился с золотинкой самородинкой и взамен получил еще золотую минуту — может быть, самую лучшую и радостную.

ПОПЕРЕЧНАЯ ДУША

Антонина Антоновна была твердо убеждена, что Малышок не способен на дурное дело, и все же испугалась, когда он выложил из рюкзака на кухонный стол масло, две пачки пиленого сахара, мешочки с мукой и какао, отдельно завернутые плитки шоколада. Глаза и рот у нее стали совершенно круглыми. Она попробовала муку на палец и на язык, убедилась, что это не сон и что лучшей муки не найти.

— Завод дал, что ли, Костенька? — с надеждой в голосе спросила она.

— Завод, — согласился он. — Какао на молоке варить нужно, рассказывают. — Поняв беспокойство старухи, Костя усмехнулся: — Ничего... Взято — не украдено. Скажешь, что завод дал.

— Бабушка, кто у нас? Это Малышок, да?.. Малышок, иди сюда! Я уже проснулась, — слышался голос за дверью.

Катя лежала на диване, натянув одеяло под самый подбородок, и смотрела на Костю с такой улыбкой, будто очень провинилась.

— Вот как я сразу заболела, — сказала она. — Знаешь, совсем, в общем, ничего не болит, только голова кружится все в одну сторону и так спать хочется. А уши — как не мои. Плохо слышат. Все какой-то шум, шум... как радио... — Она вдруг все сообразила и забеспокоилась: — А ты почему дома? Зачем ты с завода ушел?

— Герасим Иванович разрешил... Должен я о бригадниках думать.

— А по-моему, все это лишнее, — решила Катя и быстро приподнялась на локте: — Иди на завод! Наверное, все станки стоят...

Для того чтобы успокоить ее, Костя сказал, что работа за колоннами не стоит, так как Сева приловчился управляться с тремя станками. Он думал, что Катя обрадуется, но она отвернулась к стене и враждебно проговорила:

— Ну конечно, я так и знала! Вы прекрасно обойдетесь без меня! Вы здоровые, а я больная — от меня одно беспокойство. Хоть сейчас можно умереть... А только я первая придумала работать на двух станках. Да, первая, первая! Разве я виновата, что заболела? — Она всхлипнула. — Хотя, конечно, виновата, потому

что...— И, минутку помолчав, приказала тихо и твердо: — Ступай на завод и скажи Нине... почему она не идет? Долго мне еще так одной все думать и думать? Я больше не хочу так... не могу... Слышишь!

— Пойду! — вскочил он, готовый лететь сломя голову.

— Постой! — остановила она его, спохватившись.— Уж ты обрадовался убежать... Разве тебе интересно со мной сидеть! Ну и беги, пожалуйста, очень ты мне нужен!..

Их беседа продолжалась недолго, а чудо все же успело случиться. Дверь широко открылась, вошла Антонина Антоновна с подносом в руках.

— Ну, внученька, уж хочешь не хочешь, а поешь,— пропела она.— И ты, Костенька, позавтракай.

Непонятно, когда Антонина Антоновна сварила какао, когда испекла лепешки, но она сделала это. Широко открыв глаза, Катя ойкнула совсем как Леночка:

— Ой, какие белые лепешки! А это какао пахнет...— Увидела плитку шоколада и рассмеялась: — Бабушка, это шоколад! — Схватила плитку, откусила и, зажмурившись, сказала: — Совсем такой, как папа покупал.— Она жевала шоколад, закрыв глаза и улыбаясь, но сначала перестала улыбаться, потом перестала жевать, открыла глаза и спросила: — Бабушка, где ты его взяла?

— Да вот Костенька принес... Завод прислал...

Синие глаза остановились на Косте и сожгли его без остатка.

— Он врет! — сказала Катя.— Таких пайков не бывает... Малышок, откуда это?

— Тебе дело? — пробормотал Костя, не зная, как поступить.

— «Дело, дело»! — затвердила Катя.— Это она прислала? Это Нина, да? Опять свою доброту показала! Я сразу догадалась! — Она легла, натянув одеяло на голову, и сказала со слезами в голосе: — Вот и всё! Она ничего, ну решительно ничего не понимает, твоя Нина Павловна... Не смей ее звать, слышишь? Она подумает... что я ее за шоколадку зову! Очень нужно! А я могу только ей сказать о папе, больше никому, а то папа обидится... если он жив. Теперь я не смогу ей ничего сказать... Теперь все кончено, совсем кончено! — И горько расплакалась.

— Поперечная ты душа! — жалобно проговорила Антонина Антоновна.— Люди к тебе как лучше, а ты все уронишь, все тебе не ладно... Уж вовсе в тебе ничего не осталось, кроме голоса да волоса, а ты все фырчишь, все фырчишь...

Тяжело вздохнув, Катя проговорила, пряча заплаканное лицо в подушку:

— Пусть! Никого мне не нужно!

Пришлось повести дело начистоту.

— Не с завода это,— сказал Костя,— и не от Нины Павловны. Я купил.

— Вот я сейчас так и поверю, — равнодушно, устало откликнулась Катя. — Богач нашелся! Уходи сейчас же, бессовестная вруша! Уж и не знаешь, что придумать...

— Правду говорю! Да ты гляди сюда! — потребовал Костя. — Я самородочек червонный сдал...

Недоверчиво прислушиваясь, Катя одним глазом посмотрела из-под одеяла, а Костя вынул боны и стал объяснять: это, мол, боны, которые выдаются сдатчику металла, а это расчет — в нем написано, сколько граммов тянет самородок, сколько за него начислено золотых рублей, какие продукты отпущены и, значит, все точно-правильно, и он нисколько не врет.

— Врал я когда? Говори: врал?

— А откуда у тебя самородок? — все еще недоверчиво допытывалась она. — Ты же совсем... небольшой.

Будто металл смотрит, кто моется — большой или маленький! Когда уже была война и Митрий ушел на фронт, Костя старался с румянцевскими ребятами на выработанном прииске под Крутой горой. Мылись, мылись, да намыли мышиную чуть — всего ничего. Ребята сказали: «Ну его, тут совсем пусто, даром стараемся!» — и побежали купаться в озерке, а Костя решил: «Ладно, кто последний стоит, тому удача», и, как нарочно, в ковшике что-то стукнуло, не каменно, а тяжело. Он отмыл глинку, и на солнышке весело заблестел самородок, точь-в-точь похожий на свиную голову. Он никому не сказал о находке, чтобы другая удача не испугалась шума, сберег самородок. И вот пришел час, когда нечаянная золотишка пригодилась.

— Почему же ты мне не показал самородок? У, какой ты! — упрекнула его Катя, как-то нечаянно протянула руку, взяла начатую плитку шоколада и стала угощать Костю: — Пей, пожалуйста, какао и ешь лепешки. Я не буду... Я только немного шоколаду... Знаешь, когда я его ем, у меня опять под ушами щемит. Так щекотно, совсем как до войны... — Она немного смутилась и тихо добавила: — Ты очень добрый, спасибо тебе...

Притворившись, что не слышал последних слов, Костя сказал, что ему некогда рассиживаться, так как еще есть много дел, и Катя его не задерживала.

ВАХТА НА 200 ПРОЦЕНТОВ

Он примчался в цех и сразу успокоился. Станки крутились. Сева зажимал на одном из станков свежую заготовку. Леночка подбежала, поставила новую заготовку, схватила обдирку, блеснула очками, вернулась к отделочному станку, сняла готовую «трубу», снова пустила станок... Она не ойкала, не пугалась, рабо-

тала ловко, быстро и была серьезная, красная. «Ладно управляется!» — подумал Костя. Он сосчитал готовые «трубы» и задел обдирок, проверил, заправлены ли запасные резцы, убедился, что все в полном порядке, и... почувствовал себя неловко, будто собрался куда-то ехать, но оказалось, что его совсем не ждут.

— Как настроение, безработный командир? — мимоходом спросил Сева, который, казалось, только теперь заметил Костю. — Сколько шоколаду достал?

— Сколько надо, столько достал... Думаешь, как полсмены на трех проработал, так уж и король?

— Всегда так можем, — заверил его Сева. — Помощи не требуем.

— Сева! — сказала Леночка басом.

— Чего изволите? — в шутку вытянулся Сева.

— Опять форсишь? — строго пристыдила она. — Кто мне обещал? Ты совсем нескромный, ты... все еще не как комсомолец.

— Ладно! — усмехнулся Сева. — Я пошутил... Конечно, Малышок, приходится трудновато. На мне рубашка мокрая, вот пощупай.

— После обеда включусь! — решил Костя.

— Не надо, Малышок! — взмолилась Леночка, отвела его в сторону и зашептала: — Сегодня пускай мы вдвоем... Мы с Севой стоим вахту на двести процентов... Меня сегодня... в комсомол принимают, а потом, может быть, Севу тоже примут. Я так волнуясь! — Она стала еще краснее и сказала: — Мне хочется сделать, как на фронте, чтобы показать, как я... Ну да, мне хочется быть настоящей боевой комсомолкой! — Она сконфузилась, нахмурилась и призналась: — Ты думаешь, мне не совестно? Катя гораздо слабее, а она самоотверженно работала. В цехе все девушки — орлицы, а я просто... толстая Ойка. Я хочу доказать... понимаешь, хочу доказать, что я для фронта сделаю все, как поклялась... А то я думаю, что я... недостойна комсомола и меня просто так принимают...

Наступила большая минута в жизни Леночки, и Костя почувствовал, что должен ее успокоить, ободрить.

— Глупо ты думаешь! — сказал он. — Ты сознательная и для фронта полезная. Ты орлица не хуже других. Тебя в комсомол правильно принимают...

— Ой, ты неправду говоришь! — обрадовалась Леночка.

По-видимому, Сева решил загладить свою недавнюю шутку:

— Ты, Малышок, все-таки думаешь насчет новых «Бушей»? — спросил он.

— Ясно, думаю.

— А знаешь, что с индюком было? Он только думал, да ничего не делал. Взял и помер...

— Сева! — грозно сказала Леночка.

— Я ничего...— ответил Сева.— Вот взялась меня муштровать! — и подмигнул Косте.

Нужно было по-настоящему думать о дополнительных «Бушах» из ремонтного цеха, нужно было думать о расширении станочного участка за колоннами, но пока некогда было этим заниматься. Имелось совершенно неотложное дело.

Глава третья

ЗАПИСКА ВАСИЛИЯ

Нина Павловна бессильно опустилась на лавочку у ворот галкинского дома и закрыла глаза.

— Я немного посижу,— сказала она Косте.— Теперь все кажется таким трудным... Что ей сказать? Что я услышу от нее?..

— Ты не сиди,— ответил Костя, напуганный мыслью, что если теперь ничего не получится, то не получится уже никогда.

Только сейчас он по-настоящему увидел, как изменилась Нина Павловна за немногие месяцы их знакомства. Густая тень легла на лоб и щеки, глаза запали, а губы стали темными, в уголках рта обозначились горькие складочки; тяжело было смотреть на это лицо, измененное горем.

— Катерина-то ждет,— напомнил он, чтобы вывести ее из неподвижности, оцепенения.

Она вздрогнула, встала и, не оглядываясь, вошла в дом; шепотом поздоровалась с Антониной Антоновной, спросила, как чувствует себя Катя, взялась за ручку двери и обернулась к Косте. Теперь ее лицо было бледным, глаза светились. Может быть, она ждала поддержки.

— Бабушка, сколько времени? Уже темнеет, а никого нет,— слышался слабый голосок из гостиной.

Выпрямившись, Нина Павловна переступила порог.

— Это я, Катя,— спокойно сказала она.— Как ты себя чувствуешь, девочка?

Костя тоже вошел в гостиную, чтобы на всякий случай быть возле Нины Павловны. Началась длинная молчаливая минута. Она кончилась вздохом облегчения, когда Катя сказала:

— Это ты, Нина? Иди сюда!

В сумерках Костя не различал лица Кати, сидевшей на диванчике, и лица Нины Павловны, которая опустилась на стул возле Кати. Теперь Катя должна была ответить Нине Павловне, как она себя чувствует, но она молчала, и Нина Павловна тоже ничего не спрашивала. Две тени были безмолвны в сумерках. Костя стоял неподвижный, неподвижнее дверного косяка, к которому присло-

нился. Вдруг Нина Павловна быстро пересела на диван, обняла Катю, прижала к себе и стала целовать руки, которыми Катя закрыла лицо.

— Девочка моя...— говорила Нина Павловна, задыхаясь.— Худенькая моя, маленькая... Пальчики мокрые... Молча плачешь?... Ты молча, все молча...— и целовала, целовала ее.

Костя ушел из гостиной в боковушку. Случилось то, чего он хотел, о чем много раз думал. Но Костя ни разу не подумал, что будет после того, как помирятся Нина Павловна и Катя, а это и было самое тяжелое. Ему было и радостно и так горько, что он чуть не разревелся. Потом сразу силы упали, он снова испытал то, что уже испытал сегодня за колоннами, когда почувствовал себя лишним, и снова Костя был один, а тишина обступила его и сдавила сердце.

Дверь скрипнула, отворилась, пропустила Нина Павловну и осторожно закрылась.

— Малышок, ты здесь? — спросила она, села на топчан, помолчала и едва слышно, как будто спокойно проговорила: — Василий погиб...

Он не понял. Нина Павловна как подкошенная упала лицом на топчан, обхватила голову руками и забилась в беззвучных рыданиях.

Костя сидел, окончательно растеряв мысли. Вдруг Нина Павловна затихла, будто душа оставила ее тело, разбитое горем.

— Неправда это... неправду говоришь,— пробормотал Костя.

— Нет... кажется, правда,— ответила Нина Павловна как-то устало, бездушно.— Я все надеялась, все берегла надежду... А Катя, оказывается, получила эту записку...

Фронтовой друг Василия переслал Кате записочку, написанную отцом в самую последнюю минуту, когда старший лейтенант Галкин уходил со своей группой пробиваться из вражеского окружения. Его группа ударила на север, завязала горячий бой, отвлекла фашистов, а в это время вся Уральская дивизия ударила в другую сторону и вышла из окружения.

Нине Павловне и Косте было трудно понять это военное, коротко описанное дело, но, вероятно, Галкин знал, что он идет на смерть. В боковушке было уже совсем темно, и Нина Павловна на память прочитала записку, которая кончалась, как завещание: «Помни меня, расти честным советским человеком, люби Нину, моя девочка, и не теряй надежды».

— А мне ничего не написал,— произнесла Нина Павловна с укором и жалобой.— Хотя... может быть, каждая минута была дорога... Иначе он, конечно, написал бы...— Она глубоко вздохнула и озабоченно добавила: — Наверное, все лицо заплакало. Хорошо, это электричество еще не горит, она не увидит... Она там плачет, а я здесь... ~~отсиживаюсь!~~ Зайди в гостиную, Костя, а то

мне с нею так тяжело...— Она закончила горячим шепотом: — Ведь мне надо, надо надеяться, а я, кажется, не могу... Сразу все так случилось... Где Василий? Что с ним? Если дивизия вышла из окружения, то, может быть, и его отряд пробился?..

Дверь за нею закрылась.

ГОЛОС НАДЕЖДЫ

Когда Костя вернулся в гостиную, он услышал оживленный голос Нины Павловны и с трудом разглядел, что Нина Павловна и Катя, обнявшись, сидят на диване.

— Какая ты глупенькая, какой ты ребенок, Катя! — говорила Нина Павловна. — Откуда ты набралась таких ужасов? Неужели ты не помнишь, какой папа? Ты ведь помнишь? У тебя есть его портреты...

— Я... я их давно спрятала, — призналась Катя. — Я боялась на них смотреть. Но все равно я помню... Хорошо помню!

— Высокий, да? Широкоплечий, — подсказала ей Нина Павловна. — Лицо узкое, тонкое, умное, лоб широкий, а глаза такие же, как у тебя.

— Нет, у него темнее, — поправила Катя.

— Ну, разве чуть темнее, но все равно синие-синие... А каким ты его помнишь: хмурым, сердитым?

— Нет, что ты! — возразила Катя. — Он был всегда такой добрый, веселый...

«Митрия манси Веселым Митрием звали», — подумал Костя, сидевший на медвежьей шкуре.

— А помнишь, какой он был сильный?

— Сильнее никого не было! — с гордостью сказала Катя.

— Он на медведя ходил чуть ли не с голыми руками, с одним ножом... А как он бегал на лыжах, как плавал!.. Помнишь, он нес тебя с прогулки на плече от самого Красного бора, а потом смеялся и говорил, что его плечу чего-то недостает.

«И Митрий на медведя с ножом ходил... А на лыжах лучше всех бегал», — подумал Костя.

— Ты все, все вспомни! — говорила Нина Павловна. — Ты вспомни и подумай: разве с таким человеком могло случиться то, чего ты так боишься? Кто был смелее, отважнее твоего отца? Кто был таким ловким?

— Никто! — твердо сказала Катя.

«Митрий к дикому козлу на сажень подходил», — подумал Костя с грустной улыбкой.

— Как же ты можешь думать, что с ним что-нибудь случилось, глупенькая моя!

— Нет, я тоже думаю, что с ним ничего не случилось! — воскликнула Катя. — Это я только тогда думала, когда оставалась совсем одна. Нет, с ним ничего не случилось! И знаешь, почему еще я так думаю? Вот я тебе все искренне скажу. Если с ним... что-нибудь случилось, то мне нужно умереть, а я не представляю, как можно умереть. И вот я чувствую, понимаешь, все время чувствую, что не умру... Значит, папа наверное жив. — Она помолчала и шепнула: — Только если с ним все-таки... что-нибудь случится, тогда я непременно умру, вот увидишь... Зачем мне тогда жить!..

— Если ты еще повторишь это глупое слово, я рассержусь! — строго остановила ее Нина Павловна. — Что это за мысли! Я не думала, что ты такая малодушная! Хотя нет, я знаю, я хорошо знаю, откуда у тебя такие мысли. Ты со своим горем забила в угол. Ты думала, что этим все кончилось, вся жизнь кончилась. А ты представь, ты на одну минутку представь: вот к тебе пришли все те женщины, которые потеряли на войне своих родных, любимых людей — мужей, отцов, братьев, сыновей... Они пришли к тебе с заводов, из учреждений, из колхозов, со всей страны и спрашивают: «Что нам делать, Катя? Научи нас, как нам жить дальше». А ты говоришь им...

— Нина... — жалобно шепнула Катя.

— Нет, слушай, — с болью продолжала Нина Павловна. — А ты им говоришь: «Больше незачем жить, работать, бороться. Это нужно было делать, пока на фронте были ваши родные люди. А теперь это не нужно. Вам незачем жить, вы должны умереть... Какое вам дело до тех, кто остался на фронте!..»

— Нет, нет! — горячо ответила Катя. — Зачем ты так... Это я только для себя решила... для себя одной... что я не буду жить, не смогу жить, Ниночка...

— А разве те женщины решают не каждая для себя? — проговорила Нина Павловна. — Только они решают правильно — они остаются жить и работают еще больше, чем работали раньше, потому что на фронте миллионы родных людей. Они такие близкие, такие дорогие, эти люди, каждый из них — свой, любимый человек, как бы его ни звали! Разве можно его бросить, оставить без помощи? Нет, стыдно тому, кто опустит руки, кто забудет о миллионах родных людей... Еще больше работать, еще больше делать для фронта!

— И ты тоже... ты тоже потому так много работаешь, что думаешь — папа... погиб?.. Да? — со страхом спросила Катя.

— Нет! — твердо ответила Нина Павловна. — Забудь это слово. Василий не мог погибнуть! Я тебе объяснила, почему он не мог погибнуть. Такие люди не погибают. И чем больше я работаю, тем крепче верю — он жив и будет жить.

— Да... он жив, он не погиб! — повторила ее слова Катя. — Я теперь все время буду так думать. Только... ты не уходи, Ниночка...

ка, ты мне больше говори, какой был папа. Никуда не уходи, а то я опять стану глупо думать... Сегодня суббота, а завтра выходной день... Ты всегда будешь у нас, да? Зачем тебе жить у Пестряковых, не понимаю. Всегда живи у нас. Хорошо?

— Ты устала, девочка? Хочешь спать?

— Возле тебя мне теперь так спокойно. Расскажи еще о папе.

Обняв колени руками, Костя смотрел в темноту пристально и настойчиво, и снова его глаза наполнил невидимый огонь. Но черный убийца не осмелился появиться. Он теперь был далеко, там, где на него шли великаны — такие, как Митрий, такие, как Василий. Неправда, значит, что погиб Митрий! Он продолжал сражаться, потому что Василий был такой же, как Митрий, — они обнялись, слились, и враг бежал от них. Великаны становились все сильнее, потому что где-то далеко-далеко, в Уральских горах, человеческое сердце поняло, что нельзя на смерть отвечать смертью, что нужно на смерть отвечать борьбой и верой, чтобы победила жизнь...

Было очень тихо.

В СЕМЬЕ

Залаял Шагистый, слышались голоса. В ту же минуту зажглось электричество, в гостиную влетела Леночка, за нею показался улыбающийся Сева, а за ними Антонина Антоновна, — и все счастливые, все со своей радостью.

— Катя, Катюшенька, меня в комсомол приняли! — крикнула Леночка; увидела Нина Павловну, растерялась, все поняла и обрадовалась еще больше. — Ой, как хорошо! — и бросилась обнимать Катю.

— Малышок, мы двести до комсомольского собрания дали! — сообщил Сева. — Вахта так вахта!

— Ниночка, чай я здесь соберу! — суетилась Антонина Антоновна.

Костя вышел на кухню за Антониной Антоновной и сказал ей:

— Совсем помирились.

— Вижу, вижу! — прошептала старушка радостно и опасливо, будто боялась спугнуть мир. — Уж самой себе не верю... Спасибо, Костенька, что привел.

— Ты, Антоновна, на стол подай получше! — распорядился Костя. — Ты не скупись, не жалея. Покорми всех как след...

Вышла Нина Павловна и прогнала Костю:

— Иди к ребятам! Мы с бабушкой будем хозяйничать.

В гостиной Леночка рассказывала Кате, как они стояли вахту с Севой и вдруг стали садиться резцы, потому что попались очень твердые заготовки, а Герасим Иванович забеспокоился и принес —

сам принес, вы подумайте! — победитовые резцы. А потом было общее комсомольское собрание, Леночка рассказала свою биографию, и...

— Ей зааплодировали, а она испугалась и под стол президиума полезла, — сказал Сева.

— Ничего подобного! — покраснела Леночка. — Я вовсе не испугалась. Только у меня слетели очки, и я полезла их достать... А ты знаешь, Катя, я почему-то не знала, что у меня такая коротенькая биография. А Зиночка тоже выступила и сказала, что скоро вся, ну совершенно вся наша бригада будет комсомольской...

— Брось! — не поверил Костя и стал еще счастливее.

Поспели картошка, оладьи, какао на молоке, все получили шоколад, но даже и без этого пышного угощения вечер остался бы самым лучшим из всех вечеров в доме Галкиных. Если бы Косте предложили уступить хоть одну минуту за все самородки Урала, он ответил бы с презрением: «Подите прочь с вашим золотом!»

Ему было хорошо среди людей, которые стали одной семьей и среди которых он занимал свое место — большое или маленькое, он об этом не думал. Да и зачем было над этим раздумывать! Может быть, мир пришел бы в дом Галкиных и без участия Кости, потому что хорошее находит тысячи правильных путей, но Костя не был равнодушен к судьбе людей и теперь с полным правом торжествовал победу.

Глава четвертая

БРИЗ

Весна никогда не начинается сразу: она начинается несколько раз, но сперва у нее получается не так, как нужно. То она забудет закрыть дверь на север — ворвется студёный ветер и все заморозит; то по ошибке выпустит из зимнего чулана снежные тучи; то совсем спутается — и солнце светит, и ручьи шумят, и носы краснеют. Но не надо сердиться на весну — рано или поздно она сделает правильно. Тогда люди скажут: «Да, это настоящая весна!» — потому что сразу видно, какая весна настоящая. Весенним вечером Нина Павловна, отдыхая дома, читала у открытого окна. Закончив укладку рюкзака, Катя села на медвежью шкуру и вздохнула.

— Доктор сегодня мне сказал, что как только я вернусь из лесничества, после праздника, выпишет меня на работу, — сказала она.

— Ты была сегодня на заводе? — удивилась Нина Павловна. — Почему же ты не зашла в термический цех?

— Я вообще никуда не заходила, — ответила Катя. — Я сначала пошла за колонны, вижу — они все работают... Я расстроилась и ушла.

— Ты хотела бы, чтобы они бездельничали? — усмехнулась Нина Павловна, отложила книгу, села рядом с Катей, обняла ее и спросила: — Почему ты расстроилась?

— Просто я никому не нужна, — объяснила Катя. — Я стояла за колонной, смотрела, а у них все идет... очень хорошо. Леночка вполне справляется. Зачем я им теперь нужна? Я больная, а Леночка здоровая... — Она подумала и добавила: — Нина, возьми меня в термический цех! Хорошо?

— Стоило получать квалификацию токаря, чтобы потом переучиваться! Уверяю тебя, что такая стахановка, как ты, нужна в бригаде.

— Не нужна я бригаде, не нужна, не нужна! — затвердила Катя. — А кроме бригады, мне тоже ничего не нужно... Все равно, как только доктор выпишет меня на работу, я пойду за колонны, стану за свой станок... И пускай только посмеют меня прогнать! Пускай только Ленка посмеет! Я буду ее щекотать вот так, вот так!.. — И она принялась щекотать смеющуюся Нину Павловну.

Разговор как будто кончился шуткой, но на другой день Нина Павловна передала его ребятам. Это было, когда они шли вчетвером на завод, на холме нагнали Сергея Степановича и пошли медленно, так как Сергей Степанович из-за своей раненой ноги не мог ходить быстро. Такие встречи бывали не раз, и ребята любили эти неторопливые прогулки с парторгом. Обычно он шел впереди, слушал разговоры ребят, иногда вставлял словечко-другое или расспрашивал, как идет жизнь в цехе, в чем нуждается молодежь.

Ребята уже убедились, что он ничего не спрашивает просто так и ничего не обещает, лишь бы пообещать. Из его слов непременно получалось что-нибудь путное, потому что он был деловой и, как говорил Сева, пользовался большим авторитетом.

— Конечно, я сразу отдам Кате ее станок! — поспешила заявить Леночка. — Но только я совсем не понимаю, Нина Павловна, что мы будем делать все вчетвером. Теперь каждый из нас может обслуживать два станка, а мальчики даже три, мы все многостаночники, а станков у нас всего по одному.

— Слышишь, Малышок? — многозначительно произнес Сева.

— А хоть бы и слышал, — ответил недовольно Костя. — Виноват я, что не получается? И Герасим Иванович говорит...

— Что у вас не ладится? — спросил Сергей Степанович.

Ребята рассказали, что именно и почему не получается. Он признал, что это действительно сложно, пожалел, что ничего не может посоветовать, но все-таки совет у него нашелся:

— А почему бы вам не проконсультироваться у инженера Балакина? Он вчера вернулся из командировки и теперь перешел на другую работу. Кстати, мне нужно с ним повидаться. Пойдем, Малышев!

Это было самое лучшее, что можно было придумать. Услышав, что Балакин вернулся на завод, Костя обрадовался, так как твердо верил, что Павел Петрович может решить любую задачу. Вдвоем с Сергеем Степановичем они вошли в здание заводоуправления. В самом конце коридора Костя увидел на двери плакат с четырьмя большими буквами: «БРИЗ». Тут же маленькими буквами было написано объяснение: «Бюро рабочего изобретательства и рационализации». В просторной комнате Костя увидел Павла Петровича Балакина, который развешивал какие-то чертежи по стенам. Сразу же выяснилось, что он такой же, как прежде, веселый и голос у него прежний — звонкий.

— Привет первым посетителям нового заводского отдела! — крикнул он. — Присаживайтесь, прошу вас, Сергей Степанович. Я сейчас сделаю вам маленький доклад о моей поездке. Впечатлений на всю жизнь!

Он стал рассказывать, какой интересной была поездка по заводам боеприпасов, которым он помогал бороться со стружкой. На всех заводах кипит горячая работа. С каждым днем выпуск боеприпасов идет в гору, так как везде складываются фронтовые бригады, везде народ думает, как сделать больше и больше.

— Везде народ думает... — сказал Сергей Степанович. — Кстати, мы пришли к вам с Малышевым по поводу одного замысла. Не можете ли вы его проконсультировать и дать совет?

— Что у тебя опять? — добродушно спросил инженер у Кости. — Хочешь станок сломать? Говори, в чем дело.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Павел Петрович выслушал Костю, делая своим блестящим карандашиком пометки на клочке бумаги. Когда Костя замолчал, Павел Петрович пожаловался Сергею Степановичу, который остался послушать консультацию:

— Этот Малышев все время задает мне головоломки. Беспокойный паренек!

— Вы только что радовались, что народ думает, — усмехнулся парторг. — Вы уж помогите и Малышеву думать...

— Да, головы работают, — задумчиво пощелкал пальцами Павел Петрович. — Итак, в чем дело? Ты хочешь расширить участок за колоннами на два «Буша»... Так... Но если поставить эти два станка на черновую обдирку «труб», то нынешний отде-

лочный станок не успеет пропустить все обдирки. Конечно, можно перевести отделочный станок на двухсменную работу...

— Никак! Это совершенно исключено, — решительно остановил его Сергей Степанович.

— Да, понимаю: ребятам не позволят оставаться в цехе после гудка, ломать и разбивать бригаду. В таком случае, как будто остается такой выход — из двух дополнительных станков один сделать отделочным и таким образом иметь два отделочных при четырех черновых.

— Расчета нет! — испугался этого предложения Костя. — При четырех черновых два отделочных «Буша» ни к чему. — Он призадумался на минуту, еще раз проверил в уме и сказал: — Будет у нас шесть станков на участке. Норма на станок — двадцать «труб», а на шесть станков — сто двадцать. Дадут четыре черновых станка по пятьдесят обдирок — на четыре станка двести обдирок. Двести против ста двадцати...

— Сто шестьдесят пять процентов, — подсказал Павел Петрович.

— Вот видишь, — омрачился Костя. — А мы нынче при одном отделочном да при трех черновых, коли нажмем, сто девяносто, а то и двести процентов даем...

— Значит, получается, что если вы один из двух новых «Бушей» превратите в отделочный, он будет не загружен и процент выработки по бригаде снизится?

— Выходит, так, — вздохнул Костя.

— Все идет к одному, — сказал Сергей Степанович. — Нужно, чтобы два новых «Буша» стали черновыми и чтобы на участке по-прежнему был один отделочный станок. Вот вам головоломка, товарищ Балакин.

— Тогда ладно получится! Севолод считал... Он проценты знает... — быстро заговорил Костя. — Норма на шесть станков сто двадцать «труб», а мы с пяти черновых двести пятьдесят верных обдирок снимем. Двести десять, а то и больше процентов дадим.

— Жадный человек Малышев, — сказал Павел Петрович.

Костя смутился: он знал, что жадным человеком быть нехорошо, и насупился.

— Павел Петрович не в осуждение тебе говорит, что ты жадный, — успокоил его Сергей Степанович. — Жадность бывает разная. Если человек хочет себе больше заграбастать, это самое подлое чувство. Человек делается зверем. А для нашего государства нужно быть жадным. Очень жадным нужно быть, за каждую лишнюю штуку продукции драться. Сейчас надо быть жадным для фронта, а когда разобьем фашистов и возьмемся за строительство коммунизма, будем стараться для коммунизма... Жадность для себя делает человека трусливым, подлым, а забота о государственном добре создает героев труда. Вот и будь таким!

Все это Костя понял и обрадовался, что он жадный так, как нужно.

— А теперь посмотрим, что можно выжать из отделочного станка и согласится ли он давать почти в два раза больше, чем сейчас,— сказал Павел Петрович.

Началась самая ответственная часть консультации, и до самого конца парторг сидел возле Кости, поглаживая здоровой рукой свою раненую руку и поддерживая Костю, когда Павел Петрович восклицал:

— Нет, чего он хочет, чего он хочет, этот разбойник! Но надо думать, надо думать!

И инженер снова брался за карандашик или перелистывал справочники.

— Беги говори с товарищами, Малышев,— сказал Сергей Степанович, когда консультация пришла к благополучному концу.— Смотри, мы вашей бригаде даем широкую дорогу! Смело идите вперед. Если что-нибудь понадобится,— поможем.

Косте не терпелось поговорить с Севой и Леночкой.

ВЫЗОВ

Вихрем влетел он за колонны и чуть не зарылся носом — так круто остановился. За колоннами были гости. Он увидел не только Зиночку, но и двух хорошо одетых молодых людей в новых черных пальто, в одинаковых кепках и в блестящих галошах. Издали Костя и не узнал бы Мишу Полянчука и Мингарея Бекирова, но тут он узнал их сразу, только не понял, зачем они явились. Этого не знали и Леночка с Севой. На их лицах было написано: «Нам нисколько не интересно».

Гости поздоровались с командиром бригады за руку, причем Миша шепнул ему:

— Держись, корешок!

— Здравствуй, как поживаешь? — спросил Бекиров.

— Живой,— ответил Костя и приготовился слушать что-то очень важное.

— Помнишь разговор на воскреснике?

— Не забыл...

— А я думал, что ты забыл,— усмехнулся Мингарей.— Хвалился, что много деталей дашь, а сам мало «труб» точишь... А? Говорят, больше «труб» точить можно, только ты не стараешься.

— Сколько обязались, столько даем, да еще приплюсуем.

— Ничего, еще без буксира ходим,— через плечо бросил Сева.— На Северном Полюсе кое-кто к буксиру больше привык.

— Ой, не хвались! — смеясь, ответил Мингарей.

— А ты вообще не задирайся, Бекиров, — вмешалась Зиновья. — Какой ты, честное слово!.. Малышок, можно прервать работу на десять минут? Послушайте, что вам скажут полярники.

Все собрались у доски показателей.

— Комсомольский привет тебе от филиальных ребят, Малышок! — сказал Мингарей, сразу ставший серьезным. — Мы тебя помним — ты парень боевой... Дело к тебе есть. Ты знатный командир, я тоже командир. Лучше твоей молодежной бригады на заводе нет, и лучше моей на филиале нет. Так вот: моя бригада вызывает твою бригаду на соревнование — работать для фронта как надо. Ты давай больше «труб», а мы будем давать больше паковок. Мы до Первого мая будем вахту стоять на самый высокий показатель, и вы стойте. А с Первого мая будем опять соревноваться до первого июля — кто первым выполнит свои полугодовые обязательства. Вот это наш вызов вам! — Он расстегнул и широко распахнул пальто, точно ему стало жарко, а на самом деле для того, чтобы показать свою медаль «За трудовое отличие», и добавил: — Принимаешь вызов или испугался?

— Это возмутительно! — прошептала Леночка. — Филиальные думают, что лучше их абсолютно никого нет! — И стала протирать очки.

— Действительно, испугал! — не вытерпел Сева. — Вот так испугал. Сейчас заплачем!..

— Ребята, получается нехороший тон, — заявил Миша. — Ты всегда азартничаешь, Мингарей! Разве соревнования для того, чтобы друг друга оскорблять? Соревнование для того, чтобы дать хороший пример или помочь. А ты налетаешь, как на футбольный мяч... Давайте обсудим по-деловому... Вот Малышок хочет сказать.

— Ты на сколько будешь майскую вахту стоять? — в упор спросил Костя у Мингарея.

— На двести! — гордо ответил Мингарей. — А, Миша? Правильно говорю?

— И мы на двести, — спокойно сказал Костя, обменявшись быстрым взглядом с Севой. — А потом на сколько?

— Потом? — Мингарей чуть замялся, вдруг громко хлопнул кепкой по ладони и взглянул на Костю с торжеством. — На двести двадцать будем стоять!.. Верно, Миша?

— Смотри, Мингарей! — сказал Миша Полянчук. — Опять в футбол играешь!

«На шести «Бушах» столько не взять! — с отчаянием подумал Костя. — Не дадут столько шесть «Бушей»!..»

— Что скажешь, комсомолец? — спросил Мингарей, прищурившись и сияя лукавой улыбкой. — Где ответ?

— Он еще не комсомолец, — внесла ясность Зиновья. — Он

еще не комсомолец, но, конечно, вскоре станет комсомольцем...

Сердце Кости подпрыгнуло, кровь бросилась в лицо. Впервые Зиночка Соловьева соединила его имя с большим, пылающим именем — комсомол; с комсомолом, который делал людей отважными бойцами. Он еще не был комсомольцем, но он уже стал им, когда проговорил:

— До июля, коль нам еще станков дадут, будем работать на... двести тридцать процентов.

Наступила тишина. Зиночка и делегаты с Северного Полюса, удивленные, смотрели на Костю и его товарищей. Костя заметно побледнел, Сева опустил глаза, а Леночка снова стала протирать очки, зажмурив глаза и крепко сжав губы, чтобы не ойкнуть и не выдать своего ужаса.

— Зарвался? — тихо спросил Миша и положил руку на плечо Кости.

— Если лишнее сказал, я не слышал, — свеликодушничал Мингарей.

— Сказано слово! — сердито ответил Костя. — Слышал, так помни!

— Ребята, — очень внушительно выступила Зиночка, — все это не шутки. Понимаете? Мы начинаем соревнование молодежи завода с молодежью филиала. Договор Бекирова и Малышева будет первым, а потом мы вовлечем в соревнование всю молодежь. Конечно, парторганизация поддержит нас только в том случае, если договоры будут серьезные, а не филькины грамоты. Нам не нужно детского хвастовства.

— Понятно! — сказал Миша. — Так держать!

— Бригадиры до обеденного перерыва должны еще обдумать свои обязательства. После перерыва мы соберемся в комсомольском комитете и составим проект договора. А завтра проведем в цехе митинг.

Она долго говорила о том, как будет разворачиваться соревнование, но Костя не запомнил. Сейчас, вот сейчас-то он, кажется, испугался — он, кажется, понял, что зашел слишком далеко. Но это был не страшный испуг, да, может быть, это вовсе и не был испуг. Костя был готов защищать двести тридцать процентов до конца. Он ждал, что, оставшись с Севой и Леночкой с глазу на глаз, получит жаркую баню, но Сева спокойно спросил:

— В чем дело — на три «Буша» замахнулся?

— На три...

— А отделочный будет один?

— Один... Павел Петрович его настроит, оснастит. — И он промолчал, что вел с Павлом Петровичем разговор о двух, а не о трех добавочных «Бушах».

— А черновые по сколько обдирок должны давать? По пятьдесят? — допытывался Сева.

— По пятьдесят мало... — пробормотал Костя. — Пятьдесят пять нужно... Тогда двести тридцать пять процентов сделаем... А «труб» триста тридцать сдадим.

— Когда это мы по пятьдесят пять давали на станок, чу-
дак?

— А мы в обеденный перерыв станем «Буши» крутить...

— «Крутить, крутить»! Значит, ты или я пойдем обедать, Галкина за отделочным, а Леночке придется три станка взять... Накрутишь тут!

— Я научусь! — быстро проговорила Леночка. — Умру, а научусь! Ты, пожалуйста, не думай, что я такая дура! — И она обиделась.

— Ну, если ты научишься, тогда выйдет! — решил Сева. — После гудка будем как-нибудь задерживаться, а Мингарея обгоним.

— Ой, непременно! — воскликнула Леночка. — Он такой хвастун, что я даже удивляюсь, как ему не стыдно.

Не успел Костя по-настоящему перевести дыхание и разобратся в своих мыслях, как за колоннами появился Герасим Иванович.

Он бросил на Костю строгий взгляд, не удовлетворился этим, надел очки, посмотрел на Костю поверх стекол, приказал: «Ступай за мной!» — заложил руки в карманы и, переваливаясь, пошел из-за колонн, увлекая за собой Костю, как пароход увлекает на буксире утлую шлюпчонку.

СОГЛАСИЕ

Он шел за мастером и — странное дело! — с каждым шагом чувствовал себя увереннее, тверже. Почему? Очевидно, новость облетела весь цех и всех взбудоражила. Его встречали и провожали взгляды, в которых он читал тревогу, одобрение, задор. Маленький Маркин подкатился к нему шариком и шепнул: «Не дрейфь! Надо с филиальских пыльцу сбить», а долговязый револьверщик Карамолин стукнул себя кулаком в грудь и сказал: «Малышок, имей в виду!» — причем было ясно, что он тоже требует от Кости решимости и отваги. Так-то так, но было непонятно, куда ведет Костю строгий мастер.

У цеховых ворот Герасим Иванович круто остановился и повернулся к Косте всем корпусом.

— Опять своевольничаешь? — спросил он. — Ты куда сунулся, я тебя спрашиваю? Посоветоваться не мог, прежде чем хвост трубой задирать?

— А коли они насели, — ответил Костя. — Вас-то за колон-

нами не было, а они... Мингарей думает, что против филиальных никто не устоит. Только они на филиале сознательные!..

— А ты сознательный? Не вижу! Дратся — дерись, я против полезной драки ничего не имею. Но ты понимаешь, чем шутишь? Ты именем лучшей фронтовой бригады шутишь. Кто позволил? Кто будет за тебя позор рахлебывать?

— Не опозоримся! — защищался Костя. — Три «Буша» дайте. Многостаночный участок сделаем...

— Распыхался! — проговорил мастер, глядя на него уже сквозь стекла очков. — Ишь распыхался, ишь залетел! — добавил он и отвернулся, чтобы скрыть невольно пробившуюся улыбку. — Что-то ты врешь насчет трех «Бушей»... Ступай за мной!

Мастер свернул в коридор, который соединял станочный участок ремонтного цеха с первым цехом. Все стало ясно, но Костя даже не успел обрадоваться, так как увидел директора завода и Павла Петровича, которые осматривали «Буши».

На участке из четырех станков работал лишь один; за ним стоял Колька Глухих, страшно заинтересованный необычным наплывом посетителей.

— А вот и виновник торжества, — сказал директор. — Здравствуй, Малышев!.. Ты что же это делаешь представителям филиала безответственные заявления? Хочешь и свою бригаду и молодежный цех подвести?

После памятного разговора с директором Костя почему-то перестал бояться этого человека, и директор стал даже казаться ему красивым, хотя у него были широкий нос и узкие глаза, из которых он так и постреливал огоньками, то сердитыми, то насмешливыми. Он перестал бояться директора, но, как и все на заводе, уважал этого справедливого и простого человека.

— Никого мы не подведем, — сказал Костя. — Дайте «Бушей», так не подведем. Я филиальским и сказал: «Коли мне станков дадут, так двести тридцать процентов сделаем...»

— Позволь, позволь! Сколько ты «Бушей» просишь? — удивился Павел Петрович, вытянулся вверх и нагнулся к Косте, как вопросительный знак. — При двух дополнительных черновых «Бушах» можно рассчитывать максимум на двести пятнадцать процентов...

— А мы три «Буша» просим...

— Ах ты разбойник! — подпрыгнул Павел Петрович. — Ты же понимаешь, что один отделочный станок не обслужит шесть черновых. Значит, ты все-таки на двухсменную работу сби-ваешься?

— Двухсменную работу в молодежном цехе не разрешу, — твердо сказал директор.

— В одну смену успеем, — объяснил Костя. — Станки будем без обеденного перерыва крутить. Обедать по очереди станем

ходить. Мы многостаночники. Время уплотним. На отделочную работу Катерину Галкину поставим.

— Верно... У этой Галкиной руки золотые,— как бы про себя отметил мастер.

Старшие задумались. Директор, Балакин и Герасим Иванович несколько раз прошлись по участку, совещаясь вполголоса. Наконец директор подозвал к себе Костю.

— Мне только одно непонятно, Малышев,— сказал он,— как же ты теперь в тайгу удерешь, коль скоро ты такую историю затеял? — Эта шутка означала, что предложение Кости принято.— Сегодня, Герасим Иванович, я дам команду о переброске трех «Бушей» за колонны. Проследите за этим делом. А вы, Павел Петрович, подумайте об оснастке отделочного станка. Нужно также усилить бригаду одним человеком на всякий случай.— Он быстро обернулся к Кольке Глухих: — Сильно ты загружен?

— Не... не... очень,— заикаясь, ответил Колька.

— Ты очень не очень загружен,— пошутил директор.— Ремонтный цех вполне обойдется взрослыми токарями... Малышев, возьми Глухих в бригаду? У вас при семи станках рабочей силы будет в обрез. Чуть кто вышел из строя — и готов прорыв. Возьми, Малышев, в свою бригаду Глухих. Если он станет работать хорошо, мы сообщим об этом гвардии капитану, порадует фронтовика...— Он помолчал и добавил: — Впрочем, я не буду неволить: подбор работников в бригаду — твое дело.

Только самый тонкий психолог мог бы прочесть все чувства, которые отразились во взгляде Кольки, но два основных чувства Костя понял: радость и мольбу. «Возьми, возьми меня в бригаду! — умолял его великий конспиратор и заговорщик.— Ты видишь, какой я одинокий в ремонтном цехе. От такого одиночества не то что в синий туман сбежишь, а на луну заберешься, честное слово! Я не лодырь! Это только печальное недоразумение. Возьми меня в бригаду, и ты увидишь».

— Возьму,— согласился Костя, отвечая директору.— Только коль не будет слушаться, прогоним. Нам поперечных в бригаде не нужно.

— Так и запомни! — сказал директор Кольке.— Малышев берется сделать из тебя гвардейца трудового фронта, достойного твоего отца... Всё! Иди работать, Малышев!

— Разбойник! Как же все-таки заставить отделочный станок обслуживать шесть «Бушей»? — спросил Павел Петрович.— Ты только и умеешь ставить мне задачи...

Костя поскорее убрался из ремонтного цеха, чтобы директор, чего доброго, не отменил своего решения.

«ТЫ БЫЛ НЕ ЛУЧШЕ!»

Волнения и тревоги этого дня еще не были исчерпаны. После того как Костя вторично встретился с делегатами филиала в комсомольском комитете, после того как был составлен черновик договора, он бросился в цех и попал в бурю, в шторм. Это была буря, это был шторм негодования.

Маркин крикнул ему:

— Поздравляю с боевым работничком!

Карамолин протянул поперек прохода длинную, как шлагбаум, ногу, остановил таким образом Костю, стукнул себя кулаком в грудь, спросил:

— Мало тебе в цехе хороших ребят?

А тихонькая Петюнина пожаловалась, глядя на Костю сиреневыми глазками:

— Неужели я хуже этого блажного? Сколько к вам просилась в бригаду...

Сева работал злой, сразу похудевший. Увидев Костю, он сначала показал ему спину, потом одним рывком повернулся и спросил, едва шевеля губами:

— Ты где голову потерял?

— Моя голова при мне! — обозлился Костя. — За своей смотри! Директор велел Глухих в бригаду взять.

— Врешь! Глухих всем раззвонил, что ты сам согласился. Ты думаешь, что делаешь? Вылез на двести тридцать процентов, а в бригаду кого тащишь? Кого берешь, я тебя спрашиваю? Лодыря первой марки!

— Сева! — грозно произнесла Леночка. — Я еще раз прошу тебя, перестань!

Тут Костя увидел, что возле Леночки стоит Колька Глухих.

Он прислонился к стене, бледный, с кривой усмешкой, бросил на Костю быстрый взгляд и еще крепче прижался к стене, бледный, легковесный Колька, попавший в крепкий переплет.

— Что «Сева», что «Сева»! — зашумел Булкин. — Что ты меня муштруешь? Пусть! Пусть лучше я из бригады уйду, чем работать с этим... с этим...

— Уходи! — сказал Костя, у которого задрожали руки и в горле пересохло. — Ты что? Ты зачем нахально при нем? Сдавай станки, обойдемся!

— Сева, Костя! — произнесла Леночка точно таким же басом, каким говорила ее мама.

Она подошла к мальчикам, взяла одного и другого за плечи и решительно развела, что было вполне своевременно, так как потасовка могла начаться каждую минуту.

— Ты был лучше? — спросила она, глядя в глаза Севе.

— Не лезь! — рванулся Сева, но не выдержал ее взгляда и отступил.

— Ты был не лучше! — продолжала Леночка, тяжело дыша. — Совсем, нисколько не лучше! Я никогда не называла тебя Булкиным-Прогулкиным, а весь цех называл. Потому что ты был... ты знаешь, кем ты был... Ты работал плохо... Скажешь, неправда? — Спокойствие оставило ее, голос упал и подозрительно охрип. — Я не могу, когда так относятся... когда так... не по-комсомольски... Я прошу тебя, Сева, не надо так! — Она совсем расстроилась, стала прежней Леночкой, горько сказала: — Ой, какие вы все абсолютно невозможные! — Пошла к своему станку и закончила с отчаянием: — Лучше я первая уйду из бригады, чем быть с такими, как ты, Сева! Я тебе серьезно говорю.

— Он меня смертельно оскорбил, когда мы принимали присягу! — гордо заявил Сева.

— «Смертельно»! — усмехнулся Костя, почувствовав, что опасная минута миновала. — Что ж ты не помер, коли смертельно? Болтаешь сдуру!

Он открыл шкафчик, достал пеструю жестяную коробку из-под монпансье, выпрошенную у Антонины Антоновны, открыл ее, вынул присягу, красиво перевязанную красной шелковой ленточкой, и сказал:

— Ленушка, Севолод, подите-ка сюда. И ты, Николай, иди... Руки вытри, а то запачкаешь. Читай, чтоб слышно было.

— Не волнуйся! — сказала Кольке его заступница. — Почему ты так волнуешься? У меня мама — медработником... Я думаю, что у тебя невроз.

Стараясь не волноваться, Колька зашепшил, забормотал, но понемногу пришел в себя и дочитал присягу вполне удовлетворительно.

— Все понял? — спросил Костя.

— Конечно, конечно! — заторопился Колька.

— Будешь выполнять по-фронтовому?

— Малышок, честное слово! Ты напрасно спрашиваешь. Ты же понимаешь!.. — И его глаза быстро заморгали.

— Распишись!

Колька сделал это с таким видом, будто дал расписку в получении всех богатств мира. Костя протянул ему руку.

— Поздоровайся и ты с ним, Севолод, — сказал он.

Так Колька Глухих стал членом первой фронтовой бригады. Тотчас же Костя стал объяснять Кольке его обязанности, и великий конспиратор ловил каждое слово, каждое движение на лету, потому что он, по правде сказать, был сообразительным. Кроме того, он понимал, что либо станет гвардейцем трудового фронта, либо... Даже не хотелось думать, что будет, если он не удержится за колоннами.

ПОЧЕТ

Катя прожила десять дней в лесничестве, недалеко от города, и это были смешные дни. Ее поили молоком, заставляли дышать свежим воздухом, и тетя, у которой не было детей, все уговаривала Катю совсем перебраться к ней. Потом Катя рассказывала, что в доме лесничего часы стояли, хотя маятник качался; что же касается календаря, то его совсем не было. Она скучала и в солнечные дни ходила на Ермакову гору. Отсюда она видела родной город. Сидя на камне, Катя думала обо всем сразу: о заводе, о папе, о Нине Павловне и о своей бригаде. Да, о своей бригаде, потому что она даже не могла представить, как можно жить без своей бригады. Если бы Катя знала, что бригада тоже не хочет расстаться со своей лучшей работницей, она, наверное, побежала бы в город, не попрощавшись с тетей.

На заводе время тоже вело себя странно. Часы, минуты и секунды таяли незаметно. Сначала Костя думал, что это спешат часы и гудки, но нет, — это спешило время. Одно дело подгоняло другое и приводило за собой третье. Приказ директора был выполнен — еще три «Буша» переселились за колонны. Герасим Иванович помогал Косте налаживать участок. Надо было покрасить «Буши», подумать об инструменте, проследить, как электрики подключают новые станки к энергии, и главное — надоедать инструментальщикам, чтобы они без задержек смастерили оснастку для отделочного станка по чертежам Павла Петровича.

На самого Павла Петровича полагаться не приходилось: он готовил подарок к Первому мая — цельнометаллический транспортер для «рюмок», заказанный Ниной Павловной, — и почти не выходил из термического цеха.

Голова Кости была занята хозяйственными заботами, и почти всю программу везли Леночка и Сева. Это было нелегко, но они справлялись и не жаловались на усталость.

Возле доски показателей висел красиво написанный договор, скрепленный подписями Мингарея и Кости. Бригаде не приходилось краснеть перед этим договором: каждый день она давала сто шестьдесят «труб» — двести процентов ~~общей~~ бригадной нормы.

Теперь уже все бригады молодежного цеха соревновались с молодежными бригадами Северного Полюса. Завкомовскому художнику приходилось писать много «молний» о высокой выработке, Зиночка Соловьева увозила самые хорошие «молнии» на филиал, а Миша Полянчук привозил с филиала ответные «молнии» и часто бывал за колоннами.

Праздник приближался. За колоннами снова появился рыжебородый фотограф. Он сказал:

— Здравствуйте, старые знакомые!.. Культурно, культурно! — раздвинул штатив, привинтил фотоаппарат, нацелил его на стеллаж против окна и распорядился: — Подходите, ребята, один за другим, садитесь перед аппаратом. Улыбаться можно, шевелиться нельзя. Снимать буду без магния, с выдержкой...

Он сфотографировал Костю, Леночку, Севу и похвалил их за выдержку.

— А где та девочка? — спросил он. — Такая белокурая, синеглазая, хорошенькая. Кажется, Катя... Да, совершенно точно: Катя Галкина, У меня отличнейшая память.

Леночка тотчас же объяснила:

— Она болеет, но скоро совсем поправится. Она заболела от вас, когда вы приходили нас снимать и расстроили ее, потому что спросили об отце...

Узнав, что случилось с Катей, фотограф опечалился:

— Никогда себе не прощу, что огорчил ее. Очень, очень жаль...

— Ей тоже будет жаль, что вы ее не сняли, — вежливо сказала Леночка.

— Ну ничего, она есть на общем снимке вашей бригады, и я постараюсь сделать портрет получше... Простить себе не могу, что завел с ней разговор о папаше...

Дня через три Леночка после обеда влетела за колонны с воплем:

— Мальчики, нас вывесили! Идите посмотреть! Там столько народу!

В садике возле заводоуправления появилось прекрасное сооружение. Это была витрина в виде развернутой книги, установленная на четырех столбах. Наверху блестели буквы из нержавеющей стали: «Доска Почета», а из-за стекла на зрителей глядели фотографии знакомых людей. Сначала шли портреты взрослых стахановцев, инженеров, техников, а потом — молодых, и на первом месте — Кости, Леночки, Кати и Севы. Возле доски Почета былолюдно; зрители обсуждали, кто получился хорошо, а кто — не похоже на себя.

— А ну, как вышел Булкин-Прогулкин? — спросил Сева и, прищурив один глаз, посмотрел на свой портрет. — Кажется, ничего себе, как с натуры. Культурно, культурно!

— А Катерину рыжий дядька плохо нарисовал, — озабоченно отметил Костя. — В чем душа держится...

— Ничего ты не понимаешь! — фыркнул Сева. — При чем тут дядька? Она такой и была, когда он нас всех снимал. Фотограф не рисует, а только снимает.

— Да, не рисует! Небось веснушек у нас не нарисовал, а ее нарисовал тяп-ляп.

— Правда! — обрадовался Сева. — Ни одной веснушки нет. Он их, наверное, замазал. Культурно, культурно!

— Поздравляю, корешок! Вот теперь хорошо видно, что ты недаром держался за станок! — слышался за спиной Кости знакомый голос.

Миша Полянчук, который только что привез с филиала новую порцию задорных «молний», крепко пожал руку Косте.

— Рад, что в почет попал?

— А чего плакать? — усмехнулся Костя.

— Желаю тебе удержаться на этой доске всю жизнь, — пожелал Миша. — Но, смотри, будет нелегко. После праздника Мингарей сядет сам на себя верхом и начнет атаку. Его бригада много нового придумала. Вот, например, помост строят. Будут «катюши» паковать прямо на помосте. Подошла вагонетка — пустые ящики в сторону, заполненные ящики сдвинул с помоста на вагонетку, и всё! Большая экономия времени, и вагонетки не задерживаются. — Он призадумался и сказал: — Между прочим, Малышок, у меня к тебе есть дело по бытовой линии: не можешь ли ты поговорить с вашими хозяйками, чтобы они пустили одного жильца? Человек солидный, молодого возраста, среднего роста, не кусается, не ругается. Может спать даже на булыжниках. Спросишь?

— У нас в боковушке жить будешь! — сразу ответил обрадованный Костя, который понял, о каком человеке идет речь.

— Догадался? Правильно. Меня переводят на завод в бригаду по налаживанию новой сборки. Я теперь сборочный процесс назубок знаю. Если твои хозяйки согласятся, будет славно!

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Много, очень много хорошего обещал праздник и месяц май: возвращение Катюши, переезд в город Миши, кипучую жизнь за колоннами, двойную выработку и горячее соревнование с Мингареем, который готовился сесть на себя верхом.

Право же, праздник мог наступить каждую минуту, но он немного задержался, потому что праздник не может начаться, если не все готово. Это выяснилось, когда Костя и Колька вечером подкрашивали станины новых «Бушей». Колька обмакнул кисть в ведерко с краской и вздохнул.

— Знаешь, Малышок, я буду с тобой откровенным, — сказал он. — Мне очень тяжело в моральном отношении...

— Чего? — удивился Костя.

— Ну, на душе тяжело, понимаешь? Конечно, я тебе очень

благодарен, что ты взял меня в бригаду, но я переживаю адские муки.— Колька прижал руку, державшую кисть, к груди, попутно мазнув себя по щеке.— В цехе ребята смеются, что я на побегушках у Севы, что я впал в ничтожество и только подсобный рабочий...

— Все мы друг другу пособляем...

— Конечно, конечно, я понимаю! Я согласен! Я ничего не говорю! — заторопился Колька, размахивая кистью.— Но почему Севка ни разу не пустил меня к станку? Я вчера попросился поработать на двух станках, а он говорит: «Куда лезешь, слабое звено!» Вот так здорово! Конечно, я тогда глупо поступил с твоим станком, но почему я до сих пор слабое звено?

У Кольки было по-смешному разобиженное лицо с забавным зеленым мазком на щеке, но Костя слушал его задумчиво. Он вспомнил, как был «слабым звеном», знал, как обидно, тяжело, когда человеку не верят, что он может стать настоящим, хорошим звеном.

— Убери краску, кисти,— сказал он.— Теперь покажи, как ты можешь на двух «Бушах»!

На другой день Костя так распределил обязанности:

— Ленушка — за отделочный, мы с Николой до обеда три станка потащим, а ты, Севолод, будешь пособлять...

— Что такое? — высокомерно переспросил Сева.— Почему это я должен быть подсобным при каком-то Глухих?

— А он почему должен быть подсобным при тебе? — спросила Леночка.— Я давно хотела поговорить с Малышком, только он все время занят... Как тебе не стыдно! Мне абсолютно не нравится твой тон, как ты говоришь с Колей. Ты... Я недавно стала тебя уважать, но теперь я абсолютно разочаровалась... Да молчи, пожалуйста, а то я сейчас открыто скажу, кто ты внутри.

— Ну кто, кто? — крикнул Сева.— Что ты увидела своими очками?

— Ты опять об очках? И без очков видно, какой ты... — выпалила Леночка и пошла за станок.

Началась новая полоса в жизни Кольки Глухих. Он учился у Кости управляться с двумя станками, смотрел на него преданными глазами и готов был за него и за бригаду броситься в огонь и в воду. Леночка все еще переживала утреннюю стычку и часто вздыхала, а Сева... Когда Костя, выбрав минуту, шутливо спросил: «Кто с кем заодно?» — он ответил:

— Ну и радуйся!

— Никола-то с двумя станками свободно управляется. И с тремя управится, дай срок!

— Пока все сразу не заперет,— ревниво бросил Сева.

— Нет! — уверенно возразил Костя.— Он хоть и томошится,

а руки у него ловкие, скорые. Вот тебе и слабое звено!.. Напрасно ты про человека плохое говоришь...

— Человек!.. — Сева сплюнул и прекратил спор.

После работы Колька попросил Костю «на минуточку», увел его с участка «Бушей», оглянулся по конспиративной привычке, засуетился, но вспомнил, что теперь ему запрещается иметь невроз, спрятал руки за спину и потупился.

— Малышок, ведь я не лодырничая, правда? — спросил он.

— Ты работаешь, как надо, — признал Костя.

— Я еще лучше буду работать, вот клянусь! Вот ты увидишь! Я буду работать все время с энтузиазмом... И... и в тайгу не пойду. Честное слово!

— Да Севолод тебя в тайгу не возьмет... коли сам пойдет.

— А если бы он даже на коленях просил, я все равно не пошел бы... Вогульское золото — это чепуха. Главное — это побольше оружия и снарядов давать фронту. — Он, застеснявшись, оробев, продолжал: — Малышок, если ты мне веришь, ну хоть немного, напиши удостоверение моему батьке на фронт, что я работаю хорошо. Напишешь? Ты мне его дашь, а я сам... я сам попрошу директора, чтобы печать поставили... Батька у меня гвардии капитан... И знаешь, он хоть и строгий, но лучше его на свете нет. Я... хочу, чтобы он знал, как я... помогаю фронту.

— Напишу, — пообещал Костя. — Только ты работай с энтузиазмом.

— Малышок! — воскликнул Колька. — Если... если я буду работать без энтузиазма, убей меня без разговоров, как последнего шакала! Хорошо?

— Вот ты уж глупости болтаешь! — сказал Костя.

По дороге домой ребята говорили о Кате, которая должна была приехать из лесничества утром первого мая. Пускай приезжает! Ребята ей ничего не скажут о новых «Бушах», и Нина Павловна, по их просьбе, тоже промолчит. После праздника Катя придет за колонны, все увидит своими глазами и ахнет от удивления.

Они остановились на вершине холма. Вечер был прозрачный, спокойный — обычный апрельский вечер, но в нем было что-то очень хорошее для сердца. Легко, свободно дышалось на высоком холме, перед которым раскинулся город, зажигавший желтые и зеленые огоньки — крохотные золотые и изумрудные точки.

— Как хорошо! — прошептала Леночка. — Мне кажется, что уже Первое мая. Правда, ребята?

Далеко-далеко, за грядой каменных домов, в небо прыгнула багряная зарница, точно взмахнуло огненное крыло. До холма не скоро докатился глухой, тяжелый грохот и два отдельных коротких стука. Ребята знали, что это такое, и все же насторожились.

— Новые зенитки на пушечном заводе пробуют... А может

быть, пушки для танков,— задумчиво проговорила Леночка.

Вдруг все наполнилось гудением. Казалось, что гудит само небо; казалось, что стомоторный самолет парит над городом, то поднимаясь, то опускаясь, и что вот-вот он коснется сердца, которое сжалось и притихло.

— Моторы для танков гудят,— объяснила Леночка, хотя ребята знали и это.

— Танков будет невпроворот,— как бы про себя сказал Костя, подождал отклика Севы и не дождался.

— Ребята Ивана Стукачева в городе видели — он в школе танковой хорошо учится... Тоже говорит, что танков уже много,— добавил Колька.

— Домой пора,— отрывисто сказал Сева.

К холму один за другим катили далекие грохоты, не затихая, точно гудел в небе невидимый стомоторный самолет. Леночка болтала о празднике, о том, как хорошо они проведут этот день с Катей.

Глава пятая

АТАКА

Праздник был совсем близко. Он мог наступить каждую минуту. Завод готовился встретить его как следует. Впрочем, казалось, что за колоннами уже все сделано. Семь «Бушей» стояли на своих местах: шесть вдоль стены, а седьмой, отделочный, на почетном месте — у средней колонны. На инструментальных шкафчиках блестела свежая краска. Еловая хвоя, принесенная ребятами из железнодорожной рощи, наполнила все запахом свежей смолы. Стало так хорошо, что ребята побежали в термический цех за Ниной Павловной — пускай посмотрит и оценит.

— Бабушка беспокоилась? — спросила Нина Павловна, которую они нашли возле электрованн.— Пришлось всю ночь провести в цехе. Сегодня у нас комиссия главка...— Она шепотом добавила: — А транспортер все еще не наладился.

Возле транспортера возился сердитый Павел Петрович. Он включил мотор, наклонив голову набок, прислушался к ходу машины и щелкнул пальцами обеих рук.

— Какой грохот! — крикнул он.— Никуда не годный транспортеришко. Шумит, как трамвай. Ремонтники плохо отрегулировали ролики. Сегодня мы блестяще осраимся! — И он, вооружившись ключом, полез под транспортер.

По мнению ребят, транспортер получился правильный. Он напоминал велосипедную цепь-передачу, только с очень большими

звеньями. Каждое звено несло сеточку-люльку, чтобы подогретым «рюмкам» было удобнее путешествовать от туннельной печи к свинцовым ваннам для окончательной доводки. Но Балакин продолжал волноваться и капризничать.

— Пойдемте за колонны, ребята, а то все это уже стало мне действовать на нервы,— тихонько сказала Нина Павловна.

Ребята торжественно повели ее на участок, и она вздохнула:

— Как у вас хорошо, светло, зелено!.. Что с тобой, Малышок?

Прославленный командир фронтовой бригады застыл, пригвожденный к полу. Остальные ребята немедленно последовали его примеру — тоже вросли в землю.

Над доской показателей висел неизвестно откуда взявшийся пестрый плакат:

«Молния» по филиалу.

Горячий привет фронтовой бригаде Мингарея Бекирова!

Вчера она выработала 235 процентов нормы на упаковке готовой продукции. Так надо стоять первомайскую вахту, так надо помогать фронтовикам!»

— Вот это здорово! — ахнул Колька.

— Здорово с плюсом,— признал Сева.

— Это... это нечестно с его стороны! — возмутилась Леночка.

— Что нечестно? — спросил насмешливый голос.— Много вырабатывать — нечестно? Вот так понятие!

Только теперь Костя увидел улыбающегося Мишу Полянуку, увидел он и серьезного Герасима Ивановича, сидевшего на стеллаже.

— Да, это неправильно, нехорошо! — шумно протестовала Леночка.— Мы только что кончили расширяться, а у них никакой техники нет. Им легко хоть три нормы дать...

— Просто Мингарей в футбол играет,— дополнил Сева.— Подумаешь, удивил, на обе лопатки положил!

— Глупость порешь! — вмешался Герасим Иванович.— Не так-то легко на ручной работе много выработать. Видно, что филиальские ребята ради праздника помозговали, постарались. Ты, Булкин, радуйся, что они так сработали, да подумай, как от них не отстать...

Не добившись ни искорки радости ни от Севы, ни от других участников бригады, он коротко спросил:

— Что думаешь, Малышев?

Что думал командир бригады, что думал Константин Григорьевич, который так занесся, так погорячился перед Мингареем? Все ждали, что он скажет. Надо было решать вопрос, и решать спокойно, не выдавая своей тревоги.

— Сегодня на полную выработку пойдем, Галкину ждать не будем,— сказал он, окинув взглядом свой маленький отряд, готовый к бою.

— Правильно,— согласился Сева.

— Как людей расставишь? — поинтересовался Герасим Иванович.

Костя стал развивать план работы на семи станках при четырех токарях, считая и Кольку. До обеда Леночка должна вести отделочный станок, а мальчики — по два черновых. Первой шла обедать Леночка. Ее подменял Глухих, а Костя и Сева вели по три черновых станка. Потом Леночка сменяла Колю, он шел обедать; вернувшись, опять-таки заменял Леночку, она брала три черновых станка Севы, а Сева шел обедать, и так далее. Суть заключалась в том, чтобы станки не стояли ни минуты. Было ли это возможно? Да, это было бы возможно, если бы все члены бригады имели одинаковую квалификацию.

— Кто в футбол играет? — усмехнувшись, спросил Герасим Иванович. — Это ты, Малышев, в футбол играешь, ты горячку порешь. Да ведь и в футбол нужно с головой играть, а не так, чтобы ногами сдуру шаркать. А где твоя голова? В данном случае я ее не вижу... Ты, Глухих, за отделочным станком работал?

— Не... нет... Но я постараюсь,— пролепетал Колька.

— Не выйдет так, Малышев,— решил мастер. — Не позволю с техникой шутики шутить. Работайте, как задумали, только без этих подсменок, пока бригада в полном составе не соберется.

— Не дадим мы, сколько Мингарей дал,— проговорил командир, и его голос дрогнул от обиды,— проссмеют нас ребята...

— Да, пускай наша бригада Первого мая битой ходит, пускай в галошу садится! — изменив своему спокойствию, крикнул Сева и сорвал с головы кепку так резко, что его волосы вздыбились. — Пускай! Нечего с нашей бригадой церемониться!

Наступило тяжелое молчание. Миша шепнул Косте:

— Жалею, что притащил эту «молнию». Положение у вас ах и швах!

Но Костя ему не ответил. Он смотрел между колоннами, не веря своим глазам; Нина Павловна смотрела в том же направлении и тоже не верила себе; только Леночка поверила сразу.

— Катя! Катенька! Катюша приехала! — закричала она.

За колонны ворвалась Катя, немного опередившая гудок. Это пришла выручка, это пришла надежда.

В СВОЕЙ БРИГАДЕ

— Как у нас красиво! — сказала Катя. — Ох, сколько станков! Мы расширились! Наверное, это все Малышок устроил!.. Недаром я так спешила. Я чувствовала. Меня тетя не отпускала, а я все равно уехала. Никогда больше не буду пить молоко! Так

надоело! А где мой станок?.. Ниночка, как я рада, что приехала!.. Нет, это не мой станок! Что с ним сделали? Ничего не понимаю...

— Идем в медпункт! — приказала встревоженная Нина Павловна, схватив Катю за руку. — Не позволю тебе работать, пока доктор не осмотрит.

— Какая ты худенькая, Ниночка! — ответила Катя. — Тебя непременно нужно отправить в лесничество пить молоко. В обещанный перерыв я поведу тебя к доктору, пускай он тебя осмотрит.

Румяное, круглое лицо Катюши светилось, а глаза еще никогда не были такими синими и счастливыми. Она бросилась к своему шкафчику, надела халатик-спецовку и затянула пояс.

— Включаюсь! — сказала она решительно.

— Можешь, — согласился Костя. — Переделали мы твой станок. Вместо американского патрона самозажимный поставили. Ключа теперь не надо. Гляди: берешь рычаг на себя — патрон разошелся. Рычаг от себя — заготовку зажал. Задняя бабка тоже от рычага работает. А это упор для резцедержателя. Подведешь его до упора — дальше не пойдет. Включаешь самоход — стружка ровно в пять десятых миллиметра получится. Скорость, подачу тоже повысили. Павел Петрович все придумал. Резец победитовый я поставил, тот что Стукачев дал... Пробуй!

Она попробовала эту механику, и показалось, что станок работает сам, а ей только нужно чуть-чуть к нему прикасаться, напоминая «Бушу» порядок операций. Совсем другим стал «Буш». Но тут же выяснилось, что руки его хозяйки тоже стали другими. Они сразу нашли нужные движения и повели станок, успевая все сделать: крючком из толстой проволоки отвести стружку, чтобы она не навернулась вокруг резца, подвинуть поближе очередную обдирку, охладить резец. Все успевали сделать маленькие сильные руки.

Нина Павловна встретила с счастливым взглядом Катюши и невольно улыбнулась в ответ. Она поняла, что теперь поперечную душу уже не оторвать от бригады, которая с появлением Кати воспрянула духом.

— Я так счастлива, ты представить себе не можешь! — сказала ей Катя. — А ты еще больше похудела... Наверное, дни и ночи работаешь. — Она помолчала, перестала улыбаться, вполголоса спросила: — Я думала... все время думала, что, как приеду, ты мне скажешь...

— Нет, девочка, все остается по-прежнему, — едва шевельнув губами, ответила Нина Павловна.

— А как было бы хорошо, — сказала Катя со вздохом, — если бы к празднику пришло хоть малюсенькое письмо... Хоть одно слово!

— Да, хотя бы одно слово!.. — повторила Нина Павловна.

Теперь, когда Катя так поправилась, она еще больше походила

на Василия Федоровича. В каждой черточке ее лица Нина Павловна узнавала любимого человека, каким она его помнила. Лицо Василия привиделось ей как живое. Показалось, что муж издалика послал ей свою улыбку. Сердце закричало: «Не молчи, подай весточку! Где ты, что с тобой?»

— Нет, ты все же сумасшедшая,— проговорила Нина Павловна и поправила на Кате беретик, успевший сбиться набок.— К доктору пойдем непременно.

Бригада быстро настроилась. Костя поручил Севе, Леночке и Кольке по два черновых станка, а сам взялся за подсобную работу. Один за другим пошли «Буши». Герасим Иванович дал несколько советов Косте и мимоходом сказал Мише:

— Так-то, дорогой товарищ! Ваш Мингарей, конечно, работник завидный, но и наши галчата, если разобратся, орлы!

— Никто в этом не сомневался,— ответил Миша.— Орлы и львы.

— Когда вы перебираетесь к нам? — спросила его Нина Павловна.

— Сразу после праздника.

— Мы все будем очень рады, а больше всех, конечно, Малышок.

В термическом цехе Нину Павловну ждала тысяча дел, и это было хорошо: хорошо было то, что заботы оттеснили думу о Василии.

— Наконёц я уговорил машинку не шуметь! — с торжеством доложил Павел Петрович.— Будем пробовать весь поточный комплекс?

И вот начался пробный перепуск. Туннельная печь выдала первые подогретые «рюмки». Печной работник положил их в сеточки-люльки, и они по транспортеру поплыли к свинцовым ваннам.

— Начали! — крикнул Дикерман, схватил «рюмку» щипцами, погрузил в расплавленный свинец, и другие калильщики последовали его примеру.

Дикерман выдержал «рюмку» в свинце сколько нужно, стукнул щипцами о край ванны, и другие калильщики один за другим повторили это лихое движение. Сбив блестящие капельки свинца, они окунули раскаленные «рюмки» в масло и выставили их на железный стол-каретку. Участок электрованны ожил. Поточный комплекс закалки «рюмки», придуманный Ниной Павловной и учеными-металлургами, родился.

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК

Праздник шел по Уралу. Если бы вы спросили, где он начался, каждый труженик ответил бы: «У нас!» — и сказал бы правду. Машинисты экскаваторов на железных горах Высокой, Благодати, Магнитной вдвое быстрее наполняли тяжелой рудой вагоны, потому что начался праздник. Пушкари Перми посылали на полигонные испытания все больше пушек, потому что праздник начался. Танкостроители Челябинска ускоряли ход сборочных конвейеров, так как этого требовал праздник. Доменщики и сталевары Магнитогорска, Серова, Кушвы, медеплавильщики Кировограда и Красноуральска, алюминщики Каменска-Уральского всё быстрее выдавали плавки искрящегося металла. Уральская земля встречала праздник военными подарками.

Участок за колоннами молодежного цеха был маленьким, почти незаметным кусочком Урала, но здесь люди тоже жили мыслью о фронте. Они хотели скорее узнать, что дадут семь станков, не придется ли краснеть перед бригадой Мингарея Бекирова, перед молодежным цехом. Впрочем, на сердце у Кости становилось все легче. Отделочный станок справлялся с потоком деталей.

Он справлялся! Он успевал. Он даже как будто немного обгонял этот поток. Это вовсе не означало, что Павел Петрович ошибся в своих расчетах. Присмотревшись к работе Катюши, Павел Петрович сказал:

— Да, все зависит от рук... В таких руках отделочный станок успевает.— Но тут же добавил, погрозив пальцем Косте: — Нечего, нечего! Я знаю, о чем ты думаешь!

И он угадал, потому что Костя подумал о восьмом «Буше», который остался сиротой в ремонтном цехе.

Со стороны казалось, что Катя вовсе не спешит, но ее руки успевали оторвать от каждой минуты несколько лишних секунд, а от часа — несколько минут, и она еще умудрялась пошутить с Леночкой и дружески улыбнуться ребятам, даже Кольке, хотя в душе была не совсем довольна, что Малышок взял его в бригаду.

— А ты быстро освоился на двух станках,— все же признала она.

— С помощью Малышка,— откликнулся Сева.

— Я прошу тебя, Сева, не начинать этого разговора,— вмешалась Леночка.— Ты тоже не сам научился работать на двух станках.

— Уж и слова сказать нельзя! — И Сева подмигнул Кате: — Это ее симпатия, понимаешь?

— Ой, ненормальный! — засмеялась Леночка и всплеснула руками.— Вы все моя симпатия, а больше всех Катя.

Словом, на участке «Бушей» дела шли прилично. Ребята из молодежного цеха бегали за колонны справиться, получит ли Мингарсей достойный ответ. Потом парторг привел кучу важных посетителей и сказал:

— Вы интересовались нашим опытом использования устаревшего оборудования — вот посмотрите.

И после того как Костя рассказал о работе участка, парторг увел посетителей в термический цех. Вообще день выдался беспокойный.

— В термический цех весь город съехался. Народу полно! Дым столбом, и музыка играет, — сообщил Колька, бегавший сдавать резцы в заправку и заглянувший по пути в термичку.

— Воображаю, как волнуется Нина, — сказала Катя. — Ужасно неприятно, когда кто-нибудь смотрит, как ты работаешь.

— Тсс! — предупреждаяще зашипела Леночка. — К нам опять кто-то идет... смотреть.

Это был не «кто-то», а рыжебородый фотограф, и не один, а с неизвестным военным человеком — офицером в фронтовых погонах и с полевой сумкой.

Увидев фотографа, Катя все вспомнила — вспомнила их первую встречу, которая кончилась так печально, — и опустила голову, притворившись, что ничего не видит, хотя, конечно, ей было интересно знать, зачем они явились.

Фотограф сразу узнал ее и подошел ближе:

— Здравствуйте, Катя... Как вы поправились!

Он замолчал, снял шапку, вытер пот со лба и уставился на офицера, а офицер внимательно, очень внимательно смотрел на Катю и улыбался, трогая кончиком указательного пальца дужку своего пенсне, чтобы лучше видеть. Это было неприятно, даже обидно Кате, но она не знала, как к этому отнестись, и только покраснела.

— Ну конечно, вы не ошиблись, — проговорил офицер. — Это совершенно очевидно.

— Конечно, не ошибся! — воскликнул фотограф. — У фоторепортеров замечательная память на лица и фамилии.

— Глаза такие же синие...

— Совершенно синие! Других таких нет во всем городе. То есть, может быть, и есть, но я не встречал... Катя, можно остановиться на минутку станок?

Станок замер. Замерла и Катя. Силы сразу оставили ее. Офицер достал что-то из полевой сумки и протянул Кате.

— Вы, может быть, знаете эту вещь? — спросил он.

— Это портсигар... — сказала она. — Это папин костяной портсигар... — Она смотрела на резной портсигар как во сне. Ее губы шевелились, но не получалось ни одного слова, а щеки

становились все бледнее.— Откуда... это? — спросила она наконец с тоской.— Что с папой?

— Решительно, решительно ничего! — быстро проговорил офицер.— Ваш отец на днях дал мне этот портсигар вместо письма, потому что тут вырезаны его фамилия и инициалы... Я должен был найти вас, и вот...

Он не успел добавить ни слова.

БУРЯ

В этот день инженер термообработки Нина Павловна Галкина и профессор Колышев из Института металлов сдавали специальной комиссии новый способ — новую технологию закалки тонкостенной детали, которую на заводе называли «рюмкой». Борьба с капризной «рюмкой» подошла к концу. Об этом говорили диаграммы, вывешенные возле свинцовых ванн: цех в обычной работе уже получал девяносто и больше процентов годных «рюмок». Теперь нужно было в присутствии комиссии пропустить через ванны пятьсот «рюмок». В исходе этого экзамена было заинтересовано много заводов, каливших тонкостенные детали для «катюши».

Настал решительный торжественный момент в жизни молодого завода, в жизни Нины Павловны. В цехе было тихо, так тихо, что Павел Петрович, конечно, услышал бы даже ничтожный скрип своего транспортера, но и транспортер действовал бесшумно. Печной работник клал «рюмки» в сеточки-люльки. «Рюмки» одна за другойплыли к электрованнам. Калильщики брали «рюмки» щипцами, погружали в свинец, выдерживали, вынимали, сбивали капельки свинца, окунали в масло, ставили на железный стол-каретку, а контролеры промеривали остывшие «рюмки».

Поток шел без перерывов и не требовал вмешательства Нины Павловны.

Она наклонилась к полному, важному старику, который сидел на стуле, упершись кулаками в колени, и внимательно следил за работой калильщиков:

— Профессор, первая сотня на исходе...

Снова тишина... Парторг что-то объяснял шепотом товарищам из горкома партии. Члены комиссии главка столпились возле контрольного стола. Кончался контроль первой сотни деталей. Годные «рюмки», получив меловую отметку «п» — «принята», — выстраивались пирамидкой; забракованные, получившие перечеркнутый нолик, отставлялись в сторону.

— В первой сотне девяносто одна годная, в том числе три

с допустимым браком,— сказал один из членов комиссии профессору.— Начало хорошее...

— У нас бывало девяносто безусловных,— спокойно ответил профессор.— Нынешним результатом я недоволен.

— Бывало и девяносто две безусловных,— задумчиво проговорил Дикерман.

— Всего два раза,— откликнулась Нина Павловна.

— Но все-таки бывало! — И Дикерман лихо сбил с «рюмки» капельки свинца.

— Мне все же кажется, что ванны холодные,— сказал профессор.— Проверьте температуру, Нина Павловна.

— Хорошо,— ответила она безучастно, как человек, который боится потерять нить какой-то мысли, и продолжала следить за работой калильщиков, озабоченно сдвинув брови.

Сталь, сталь шла через руки калильщиков — сталь, такая крепкая и такая нежная, такая капризная, что возле нее впору было бы ходить на цыпочках и не дышать. Сколько хлопот доставила цеху непокорная сталь!

— Хорошо, профессор,— повторила Нина Павловна, забыв, что уже ответила ему, и осталась на месте, по-прежнему настороженная, почти окаменевшая.

Но ей всё мешали думать, всё мешали соединять в одну цепочку какие-то смутные догадки. Что это за шум в дверях цеха? Чей это звенящий голос: «Идемте скорее, идемте же!» Кто это мчится через цех? Катя? С каким-то незнакомым военным, который путается в полах шинели и придерживает пенсне.

— Нина! — крикнула Катя.— Ниночка! Папа жив! Смотри, папин портсигар! Это вместо письма. Ниночка!.. Помнишь папин портсигар... твой подарок!

Прижав руку к груди, Нина Павловна оперлась на спинку стула и сказала:

— Зачем вы ее... так встряхиваете! Ведь это сталь..

Она пошатнулась, взяла из рук Кати портсигар, посмотрела и, как слепая, пошла в лабораторию, не замечая ничего, не зная, что по ее лицу катятся слезы, забыв обо всем на свете — и даже о комиссии главка, даже о побежденной «рюмке». Катя потащила за собой офицера, с которым вообще обращалась очень решительно.

Все продолжалось гораздо меньше минуты. Первым пришел в себя старший калильщик.

— Не смей встряхивать «рюмку»! — закричал он на калильщиков.— Не смей! Ведь это сталь, надо понимать!.. У нашего инженера золотая голова!

Он вынул очередную «рюмку» из ванны, но не стряхнул с нее капелек свинца, опустил «рюмку» в масло, а потом не дыша, на цыпочках отнес закаленную деталь к столу.

— Как я сам не мог догадаться, что мы портили «рюмки»!..— Он счастливо рассмеялся.— Значит, муж Нины Павловны жив? Замечательно! Теперь ручаюсь за девяносто девять процентов абсолютно годных «рюмок». А?

Только тут все пришли в себя и заговорили об удивительном событии в жизни начальника термического цеха.

ПАРТИЗАНЫ

Ребята, конечно, не поняли, что случилось, а когда чуть-чуть поняли, Катя и счастливый вестник уже скрылись. За колоннами остался только рыжебородый фотограф. Он посмотрел на ребят с таким видом, будто только что проснулся, вздохнул и развел руками.

— Чего только не бывает,— сказал он.— Значит, ее папаша жив!

Ребята обступили фотографа, и он с пятого на десятое рассказал то, что вскоре стало известно всему заводу. Оказалось, что военный товарищ, приведенный фотографом за колонны,— это не совсем военный товарищ. До войны он работал в редакции областной газеты и писал очерки, а теперь служит в редакции фронтовой газеты и заодно посылает корреспонденции в свою родную уральскую газету. Недавно командование разрешило ему съездить на Урал и издать целую книгу военных очерков о бойцах и офицерах-уральцах. Перед отъездом домой он решил побывать в партизанском крае и собрать там материал еще для одного очерка.

Что такое партизанский край? Вот что такое: далеко за линией фронта, в тылу вражеской армии, объединились десятки партизанских отрядов, освободили от фашистов большой кусок земли и восстановили там Советскую власть. Фашисты посылают против партизан карательные отряды-экспедиции, но эти экспедиции исчезают бесследно — их уничтожают партизаны.

Время от времени в партизанский край прилетают эскадрильи советских самолетов и сбрасывают посылки — оружие, медикаменты и газеты. Недавно партизаны устроили в лесу свой первый аэродром, и к ним отправился самолет с медикаментами. На борту этого небольшого самолета устроился и сотрудник газеты.

За советским самолетом охотились фашистские истребители, но, к счастью, перелет прошел удачно. Сотрудник военной газеты очутился в центральном штабе партизанских отрядов и всю ночь беседовал с героями-партизанами. Он услышал замечательные истории о подвигах бесстрашных советских людей, которые

уничтожали фашистов где и как могли. Особенно часто он слышал о партизанском отряде уральцев и его командире, которого все звали Инженером, так как у каждого партизана есть кличка.

В этом отряде офицеры и солдаты — уральцы. Они с боями вышли из вражеского окружения, встретились с партизанами и присоединились к ним.

Этот отряд, как призрак, появляется там, где его не ждут, и там, где он появляется, не остается живых фашистов. Один только Инженер убил их больше ста. Фашисты пообещали предателям за голову Инженера десять тысяч марок, но легче поймать тень летящей птицы, чем его. Сотрудник газеты хотел повидаться с Инженером, но это не удалось, так как отряд ушел выполнять какое-то боевое задание.

Ранним утром маленький самолет должен был отправиться в обратный путь. Сотрудник газеты попрощался с партизанами и занял место позади пилота.

Вдруг возле самолета появился высокий человек с удивительно синими глазами и русой бородой. «Вот и наш Инженер», — представил его начальник партизанского штаба. Синеглазый человек сказал: «Я слышал в штабе, что вы побываете дома, на Урале, в городе Н.» — «Да». — «Там у меня на заводе работают жена и дочь, — начал Инженер. — Их фамилия...» В эту минуту заревел мотор самолета. Инженер не смог закончить фразу, выхватил из кармана костяной портсигар, показал фамилию, вырезанную на донышке портсигара: «В. Галкин», и сотрудник газеты улетел с ним в руках...

Эту историю он рассказал своим уральским товарищам-журналистам, когда выступал в редакции с докладом о путешествии в партизанский край. Фоторепортер газеты тотчас же воскликнул: «Знаю Галкиных! Одна — токарь, другая — инженер на номерном заводе. И у Кати Галкиной удивительно синие глаза».

Ребята выслушали рассказ фотографа, будто волшебную сказку.

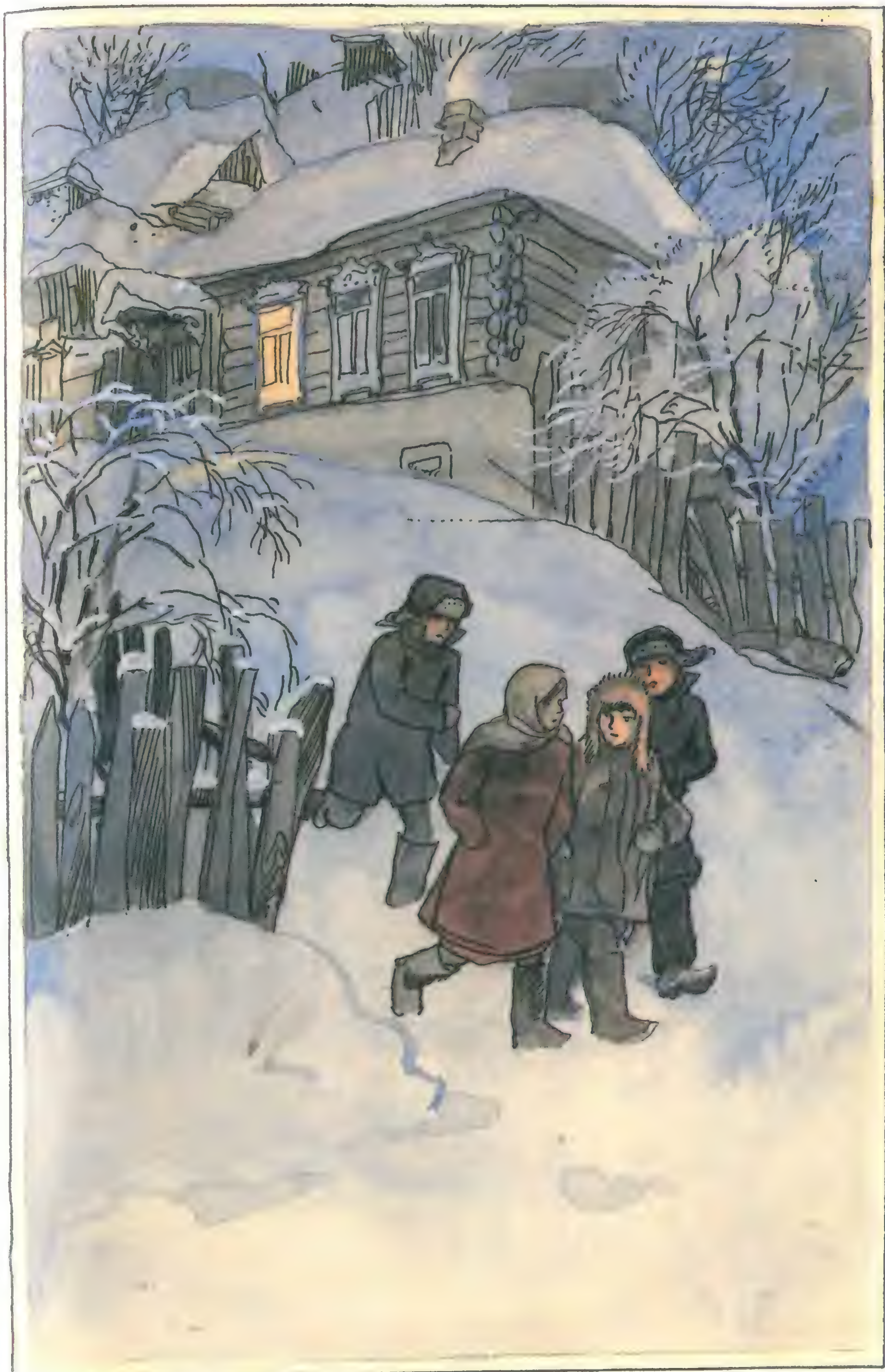
— Как... как я рада за Катю!.. — сказала Леночка, отвернувшись, пошла за станок и стала сморкаться в платочек.

— Я тоже очень рад, — сказал фотограф. — И я думаю, что, может быть, мой сын... тоже в партизанском отряде... Ведь это возможно, правда? — спросил он у ребят.

— Ясно! — уверенно поддержал его Костя.

— Вполне реально! — поддакнул Колька.

Странно было после всего этого снова увидеть себя на заводе, в цехе, возле станков, которые уже простояли четверть часа, но все это было, все это существовало, а «молния» с филиала напомнила ребятам, что грозный Мингарей Бекиров ждет ответа от фронто-



вой бригады: и теперь им хотелось в сто раз сильнее, чтобы ответ Мингарею был вполне достойным.

В эту минуту за колоннами появилась Катя — совсем необычная, тихая, даже робкая, будто она стеснялась своего неожиданного счастья, будто она боялась, что счастье может рассеяться, как легкий сон.

— Товарищ Шубин, — сказала она фотографу. — Нина Павловна просит вас непременно прийти к нам завтра с капитаном Стариковым пообедать... Товарищ Стариков уже записал наш адрес... Ребята, и вы все тоже будете у нас обедать...

— Садитесь, — озабоченно сказал фотограф. — Мне просто совестно, что я дал для доски Почета ваш старый портрет. Теперь вы на него совсем не похожи.

Он снял Катю с выдержкой и пообещал, что уже завтра принесет замечательный портрет. Потом фотограф отправился в термический цех разыскивать своего военного товарища, а за колоннами снова началась работа.

Первой пустила станок Катя. Вот она взяла обдирку и сразу отложила ее в сторону, потому что деталь стала совсем готовой. Станок «Буш» был тут решительно ни при чем — он только даром суетился и мешал Кате колдовать своими маленькими ловкими руками.

Глава шестая

ЛЕСНОЙ ПРОБЕГ

Как только просохла «молния», написанная завкомовским художником, Костя осторожно свернул ее в трубку, и мальчики бросились к заводским воротам. Где автобус? Нет автобуса! Он ушел на Северный Полюс и увез Зиночку Соловьеву. У ворот стояли Катя и Леночка.

— Что вы так долго копались! — сердито сказала Катя. — Нужно было всего одну цифру написать, а вы целый час пропадали! Зиночка очень обиделась... Ждала, ждала и уехала...

— А коли «молния» не сохла! — сказал расстроенный Костя.

— Ну ничего, — решила Леночка. — Зиночка знает, сколько выработала наша бригада. Она выступит на торжественном собрании Северного Полюса и все скажет... Пойдемте, ребята, на заседание в красный уголок. Там будет концерт...

— Дай «молнию»! — крикнул Сева.

Он выхватил из рук Кости «молнию» и бросился прочь; ребята едва нагнали его.

— Ты куда? — кричал Костя.
— Не приставай! На Полюс!
— Ты же дороги не знаешь! — ужаснулась Леночка.
— Знаю! Ребята рассказывали, как они на Северный Полюс бегали. Здесь напрямки семь километров... Через железную дорогу, а потом лесом... За полчаса добегу.

— Оставь его, Леночка, — засмеялась Катя. — Он с ума сошел!

Как видно, Костя тоже сошел с ума.

— Бежим вместе! — сказал он Севе.

— Я могу только вместех, кабысь-кабысь! — пошутил обрадованный Сева. — Нажми, командир!

Девочки кричали им что-то вслед, но Костя и Сева, не обращая внимания, припустили со всех ног, оставили за собой сосновую рощу, пересекли полотно железной дороги, миновали какие-то склады, окруженные колючей проволокой, и наконец достигли лесной опушки. Начался пригородный лесок, очень редкий, по-весеннему сырой, пахнущий только что растаявшим снегом и намокшей хвоей. Дорога была грязная, коленистая, она то и дело двоилась и троилась, огибая болотинки, и становилась все хуже.

Мальчики бежали по обочинам дороги, перепрыгивая через корни и муравьиные кучи. Ноги сами несли Костю, грудь дышала широко, он жадно втягивал лесные запахи.

Сева споткнулся о корень.

— Гляди, «молнию» сомнешь! — забеспокоился Костя. — Дай-ка я понесу.

— Пойди прогуляйся! — отказался Сева. — Кто с кем заодно, кабысь-кабысь? Сам «молнию» на филиал принесу и посмотрю, какой у Мингарея нос станет. Двести пятьдесят процентов — это штука!

Конечно, это была штука, этим можно было похвалиться. Предвкушая близкое торжество, мальчики нажали еще резвее, но вдруг Костя замедлил шаг.

— Ты что, скис? — насмешливо спросил Сева. — Ступай-ка лучше домой. Без тебя обойдусь... слабое звено.

— Не так идем, — сказал Костя. — Надо на полночь, а мы все на закат да на закат. Плохая дорога!

— Ври! — фыркнул Сева. — Ребята мне говорили... Шагай, одним словом!

— А что шагать, коли неверно идем...

Подтверждая его слова, дорога круто свернула на запад. Сева тоже сбавил скорость. Они пристально вглядывались в лесную чащу. Впереди стало светлее, что-то заблестело, зарумянилось. Казалось, что лучи заката стелются между стволами деревьев.

— Будто река... — задумчиво предположил Костя.

— Откуда здесь река? — пожал плечами Сева.

Спустя минуту они действительно очутились на берегу какой-то неподвижной реки, которая вплотную подступила к сосновым стволам и ярко отражала закатный огонь. Не сразу мальчики разглядели, что это вовсе не река, а широкая полоса жидкой глины, прорезавшая лес. Тут и там виднелись полузатонувшие стволы изломанных и размочаленных берез и сосен — какая-то страшная сила расправилась с ними, как со спичками.

— Что же это такое? — недоумевая, спросил Сева. — Отчего это?

— Будто дорога... вишь, колеи...

Кое-где среди жидкой глины виднелись продольные гребни обсохшей глины, между которыми застоялась вода.

— Ничего не понимаю! — рассердился Сева. — Вот и переберись на другой берег!

— А ну помолчи! — сказал Костя.

Они стали прислушиваться.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

Сначала казалось, что прислушиваться не к чему, а потом стало к чему. Это был тяжелый и глухой шум. Сева неожиданно сорвался с места и, размахивая «молнией», побежал навстречу шуму. Побежал и Костя.

— Знаешь, что это? Знаешь? — задыхаясь от волнения, крикнул Сева.

Костя ответил, но сам не расслышал своего ответа. Шум неожиданно вырос в миллион раз, поднялся из-под земли, качнул каждую сосну, взорвал каждую кровинку в жилах. Неожиданно Костя увидел три танка. Они показались на вершине невысокого холма, откуда спускалась неподвижная река. Три танка отпечатались на горячем медном небе и на минуту застыли. Страшными, удивительными, чудесными были эти громадные машины со вскинутыми к небу пушками здесь, в лесу, в безлюдье, будто три чудовища вышли на охоту. Не успели они оторваться от медного, пылающего неба, как появился уже второй ряд — семь машин, а за этими появился третий ряд — десять машин...

Сева, подбежав к Косте, схватил его за плечо и припал губами к его уху.

— Танки! Наши танки! Видишь! — кричал он.

У него были сумасшедшие глаза, он закружился на месте, метался, сорвал с головы кепку, замахал ею — как видно, что-то кричал, но его голос терялся в железном грохоте, который дробил-

ся о стволы сосен, делал трудным и прерывистым дыхание, заставлял сердце биться все быстрее, все радостнее.

— Танки! Наши танки! — кричал и Костя, кружась на месте, размахивая руками. — Видишь! Танки с Большого завода! — выкрикивал он, хотя и знал, что это бесполезно, так как Сева не слышит ни слова.

Танки уже поравнялись с мальчиками. Они шли ряд за рядом во всю ширину дороги, проложенной в лесу, неохотно обходя одинокую толстую сосну, сохранившуюся на маленьком островке, зарываясь в глину, разбрасывая ее, выдавливая глубокие колеи, обдавая друг друга брызгами. Они были еще некрашенные, но понизу стали желтыми от глины, и только башни остались черными, а на башнях белели буквы: «Сверх плана — первомайский». «Сверх плана — первомайский», «Сверх плана...», «Сверх плана...», и еще, и еще...

— Невпроворот! — кричал Костя. — Видишь, непроворот! — И сердце его было нестерпимо горячим, огненным.

Не он сделал эти танки, эти бесчисленные машины. Их сделали люди, которые работали на Большом заводе, — варили, резали, сваривали сталь, сверлили пушки, собирали моторы. Но ведь Костя тоже умел резать сталь, и поэтому он вдруг почувствовал, что это его воля ведет тяжелые машины вперед, вперед по трудной дороге, его сердце бьется в стальной груди грозных машин.

Танки шли своим путем, ряд за рядом, волна за волной, и ярко белели на черных башнях слова: «Сверх плана — первомайский», «Сверх плана...», «Сверх плана...» Сколько их было! Так много, что Костя и не подумал считать.

Конец! Кончилось грозное шествие. Еще пенилась и бурлила желтая глина танковой дороги, прорезавшей лес, но шум моторов быстро сбывал, как спадает вода в реке после бурного половодья; он снова превратился в глухой подземный гул, не рождавший откликов в лесу.

Костя оглянулся, позвал:

— Севолод!

Звук собственного голоса показался ему слабым, дребезжащим. Он набрал побольше воздуха в грудь и завопил:

— Се-во-лод! «Молнию» давай! Се-во-лод!

Тишина... Сева исчез вместе с «молнией». Костя крикнул еще раз-другой, не дождался отклика и побрел по лесу. Не было никакого смысла идти на Северный Полюс: к торжественному собранию он уже опоздал, и, кроме того, «молния» исчезла вместе с Севой. Но дело не только в этом... Его уже не увлекала мысль натянуть Мингарею нос и надавать ему горячих. Не это теперь было важным. А что же было важным? Он шел по тропинке, которая, по его расчетам, должна была вывести к заводской окраине,

и старался сообразить, сколько нужно сделать танков, «катюш», самолетов, пушек, чтобы свалить фашиста, бросить его наземь и раздавить, как змею гадюку. Он готов был сделать все оружие для фронта своими руками.

Стемнело, и звезды замигали, мерцали вверху, в неподвижной черной хвое молчаливых сосен. Костя не знал, далеко ли, близко ли от дома, — он просто шел вперед, улыбаясь своим мыслям и не замечая, что улыбается. Потом он забеспокоился — не заблудился ли Сева? — и немного покричал, но ответа не услышал.

ДЕЛУ ВЕНЕЦ

— Явился наконец! — хмыкнул Сева, как только Костя переступил порог боковушки. — Куда ты девался? Пропал, как сквозь землю провалился...

Картина, которую увидел Костя, была такой занятой, что он даже не успел рассердиться. Поджав ноги, Сева сидел на топчане и тянул чай из блюдечка. Вероятно, он занимался этим уже давно — его лицо блестело, глаза от удовольствия стали маленькими и туманными. На стене, прямо над Севой, как победное знамя, висела та самая «молния», которую ребята должны были доставить на филиал и вот не доставили.

Привет фронтовой бригаде Кости Малышева! — гласила «молния». — В последний день Первомайского соревнования она выработала 250 процентов бригадной нормы.

— А ты куда пропал? — спросил Костя.

Оказалось, все получилось очень просто: Сева так обрадовался танкам, что забыл о Косте, побежал за танками, бежал долго, а когда опомнился — увидел какой-то пригород и какой-то завод. Это был Большой завод. Ему осталось только сесть в трамвай, а трамвай довез его чуть ли не до Земляного холма. Дома Сева узнал, что Нина Павловна и Катя еще не вернулись с торжественного собрания в клубе, и сел пить чай.

— «Молнию»-то на Северный Полюс не принесли, — сказал Костя.

— Чепуха, — ответил Сева. — Мингарей и без «молнии» узнает, сколько мы выработали... А эта «молния» пускай у нас висит... на память.

— А хотел Мингарею горячих надавать!

— Ну его, — мирно ответил Сева. — Будут у нас еще дела с Мингареем, успеем поговорить.

Только теперь Костя додумал мысль, которая занимала его с той самой минуты, когда он вошел в боковушку. Он прекрасно знал, что Сева в два дня расправился с сахаром, полученным в счет майской нормы, — сахара у него, как и у Кости, не было, и всё же...

— Ты чего не свистишь? — спросил он.

— Дурак я был свистеть, — ответил Сева, отхлебнул из блюдечка и сладко зажмурился. — Сам свисти, если хочешь... Давай кружку — налью!

Костя поднес кружку к губам и понял, что свистеть действительно было бы глупо. Никогда в жизни ему не приходилось пить такого сладкого чая, если можно было назвать чаем густой горячий сироп.

— Жирно живешь! — сказал он. — Где сахар взял?

— Не у тебя, кабысь-кабысь!

Все стало понятно. Стараясь не выдать своей радости, Костя, будто ничего не понял, упрекнул товарища:

— Запас тронул? А в синий туман с чем пойдешь?

— В какой синий туман? — хладнокровно спросил Сева.

— В такой какой... Ясно — за золотом.

— Без твоего золота обойдусь, — ответил Сева. — Хочешь еще чаю? Мне не жалко. — И он щедро долил кружки.

Странное дело: все это только обрадовало, но как-то не удивило Костю. Напротив, теперь было бы гораздо удивительнее, если бы Сева сказал: «Давай тамгу и письмо к румянцевским ребятам, я это заслужил». Уже давно Костя почти неосознанно ждал, что его товарищ под тем или другим предлогом откажется от похода в тайгу, и теперь почувствовал, как много уверенности было в этом ожидании. Костя припомнил все — стычку на Земляном холме, драку на Гималаях, историю с тупым гвоздиком — и усмехнулся, как усмехнулся бы взрослый человек, увидев короткие штанишки, которые он носил в детстве.

Танки! Конечно, танки сыграли свою роль, но не только встречей с танками объяснялся отказ Севы от экспедиции за золотом. Слишком много важного, решительного случилось в жизни мальчиков, большая сила была у нового ветра, который ворвался за колонны в первый день существования фронтовой бригады. Новый ветер прогнал синий туман далеко-далеко, и то, что еще недавно казалось простым, верным и важным, стало шатким и неверным, как полузабытая сказка, как хрупкое сновидение. Святое озеро, поющие рыбы, золотое дно... Разве могло сравниться все это с тем, что окружало мальчиков, что было их жизнью, их борьбой, их трудным и радостным делом? Может быть, об этом же думал и Сева, — он улыбкой ответил на улыбку Кости, не спрашивая его согласия, вылил в кружку все, что было в чайнике, и похлопал себя по животу.

— Спать надо,— сказал он.— Сахару еще на завтра хватит. А Нины Павловны и Кати нет. Наверное, концерт в красном уголке большой. Интересно было бы знать, на сколько сработала бригада Мингарея. А что, если двести пятьдесят пять, например?

— Тоже выдумашь!

— Спать ложишься?

— Не... подожду...

Был теплый, совсем теплый вечер, и звезды мирно смотрели на землю. Они разыскали Костю, сидевшего на лавочке у ворот, и что-то спросили. Может быть, они спросили: «Почему ты киснешь?» А Костя и сам не понимал, чего ради ему вдруг взгрустнулось. Может быть, это произошло потому, что многое кончилось, развязалось и хотелось знать, как все пойдет дальше. Может быть, взгрустнулось и потому, что после этого тревожного дня со всеми его удивительными событиями все как-то замерло и он остался один на один с самим собой, вспомнил Румянцевку, вспомнил Митрия...

А может быть, виной всему была мысль, что Катя и Леночка слушают концерт, веселятся, а он чего-то ради по-глупому сидит у ворот да ждет их, хотя сон понемногу овладевает им и клонит его голову на плечо Шагистому, который уселся рядом на лавочке.

Шагистый насторожился, заскулил и судорожно зевнул.

Послышались быстрые легкие шаги по деревянному тротуару. Из темноты вылетела маленькая фигурка. Шагистый бросился ей навстречу. Катя — конечно, это была Катя — сказала:

— Не лезь, глупый пес! — разглядела Костю и обрадовалась: — Ты уже дома! И Сева? Уф, как сердце бьется! Мы так волновались! Где вы пропали? Понимаешь, только-только кончилось первое отделение концерта, а тут с филиала приехала Зиночка и сказала, что не видела тебя и Севу на филиале. Мы все так испугались... Думали, что вы в лесу заблудились.

— Ничего не заблудились,— усмехнулся Костя, очень обрадованный тем, что о нем думали, беспокоились.— А Мингарей на сколько сработал?

— На двести сорок пять... Он на митинге выступил и назвал нас молодцами.

— Хорошо!

— Очень,— засмеялась Катя и предложила: — Посидим здесь, подождем Нину и Леночку.

Они сели и долго молчали. Вдруг Катя шепнула:

— Вот все вижу, все слышу и совсем-совсем нисколько не верю, что все так и есть. Мы с Ниной сегодня вообще как сумасшедшие... На торжественном заседании Сергей Степанович доклад сделал. Он хвалил Нину, что она научилась калить «рюмку»,

а она ничего не поняла... И я не поняла, когда он нашу бригаду очень хвалил... Леночка потом нам все рассказала...

Счастье затопило ее сердечко, тонкие руки вдруг обхватили шею Кости, холодные, дрожащие губы коснулись его щеки.

— Братик мой родимый, вот я заплачу сейчас...— проговорила она со слезами и смехом в голосе.— Вот уже реву... У, глупая такая! Плакса-варакса...

— Глупая и есть,— ответил Костя и почувствовал, будто кровь Большого Митрия наполнила его сердце и сделала его способным творить чудеса ради Кати, ради своих товарищей, ради всех, кто был с ним заодно и в беде и в счастье, кто вместе с ним боролся и вместе с ним должен был победить врага силой своей души и искусством своих рук.

Послышались голоса. Это пришли Нина Павловна и Леночка. Они обрадовались, что Костя и Сева живы-здоровы, немного поговорили, и Нина Павловна приказала ребятам идти спать.

— Ой, совсем забыла! — спохватилась Леночка.— Малышок, Коля просил напомнить, чтобы ты написал удостоверение на фронт, что он стал хорошо работать. Напишешь?

— Ясно, напишу,— пообещал Костя.

«КАКОЙ УЖАС!»

Нина Павловна и Антонина Антоновна принялись варить и печь к завтрашнему званому обеду. Катя тоже хотела хозяйничать, но ее прогнали спать, а Костя попросил у Нины Павловны чернила, перо и бумагу и устроился на уголке стола писать обещанное удостоверение. Удостоверение пойдет на фронт, там его прочтет гвардии капитан Глухих и обрадуется, что его сын Николай уже справляется с двумя станками и вообще ничем не хуже других гвардейцев трудового фронта.

Но какое это ответственное и трудное дело — вести официальную переписку! Костя почувствовал себя таким серьезным и важным, что даже вспотел, но от этого удостоверение не подвинулось ни на шаг, потому что Костя не знал, как это делается...

Хорошо, что Нина Павловна пришла на помощь. Повязав голову чистым полотенцем и вымешивая тесто, она диктовала:

— Пиши: «Уважаемый тов (точка) Глухих (восклицательный знак)». Теперь пиши с новой строки: «От имени нашей фронтовой бригады поздравляю Вас (с большой буквы) с днем Первого мая и желаю боевых успехов (точка)». Пиши с новой строки: «Я рад

сообщить Вам (с большой буквы), что Ваш (с большой буквы) сын Николай Глухих...»

Так она продиктовала все письмо, на что потребовалось немало времени, хотя Костя старался писать быстрее и, как говорится, закрыв глаза, решал грамматические загадки, встававшие перед ним в каждом слове. Из этого испытания он вышел покрасневший и разбитый. Конечно, ему было бы легче целую смену работать на всех «Бушах», включая и отделочный, чем вести деловую переписку.

Управившись с тестом, Нина Павловна вымыла руки и, вытирая их, бросила через плечо Кости взгляд на письмо.

— Надо признаться, что почерк у тебя не блестящий, — сказала она. — Странно, я почему-то думала, что ты пишешь лучше. Постой, постой! Что это такое? — Она прочитала письмо, всплеснула руками и воскликнула: — Какой ужас! В два раза больше ошибок, чем слов! Кошмар! — Она схватила перо и стала подчеркивать ошибки.

Только что за столом сидел знатный командир самой лучшей молодежной фронтовой бригады, первый снайпер молотка, победитель Мингарея Бекирова в первомайском соревновании, и вдруг перед пораженной Ниной Павловной предстал маленький, бесконечно смущенный неуч с горящими ушами.

— Ты вообще-то учился в школе? — спросила она Малышка.

— А когда было учиться... — пробормотал он. — Митрий-то дома не сидел, кормильцем не был... Две зимы в школу бегал, а то все робил...

— Разве что так... — вздохнула Нина Павловна. — Что же, придется поправлять дело.

— По осени учиться стану! — решительно пообещал Костя. — Ребята в бригаде уж толковали, чтобы по осени всем заодно в школу взрослых пойти.

— Нет, так не годится, — возразила Нина Павловна. — До осени далеко. Фронту вы должны служить, потому что рабочих рук не хватает, но и превращаться в варваров вы не имеете права. После праздника начнем подготовку к вечерней школе. Тебе придется догонять всех других членов бригады.

— Догоню! — твердо проговорил Костя. — Я учиться люблю... — Он насупился и попросил: — Вы только удостоверение-то Севолоду не показывайте. Засмеет он меня.

— Не расстраивайся, — успокоила его Нина Павловна. — Письмо на фронт я сейчас перепишу начисто... Но имей в виду, я не дам покоя твоей бригаде, пока вы не станете академиками по всем наукам. А пока... — Она посмотрела на часы. — Ровно двенадцать! Праздник наступил! Поздравляю тебя с Первым мая, Малышок, и с победой в соревновании с Мингареем!

— А вас с «рюмкой»! — ответил Костя.

Она выпроводила Костю спать, и будущий академик ушел в боковушку счастливый и обеспокоенный, потому что впереди лежала целая жизнь и потому что его ждал большой труд. Но он не боялся ни работы, ни учения, потому что был на свете не один, и поэтому беспокойство было не страшным, не тяжелым.

Эпилог

СКАЗ О СИНЕМ ТУМАНЕ

Есть за городом Н., на полпути между номерным заводом и Северным Полюсом, невысокие горы, поросшие лесом, а среди гор раскинулась долина, по которой струятся светлые холодные ручьи. Здесь и собрались на массовку мастера «катюши».

Явились сюда токари, слесари, лекальщики, термисты с завода, пришли тарники, сборщики, упаковщики с филиала. Встретились друзья-соперники, которые соревновались горячо и дружили с каждым днем все крепче, потому что соревновались они с одной мыслью — дать больше оружия для братьев-фронтовиков, для разгрома фашистов.

Широкая долина ожила, зашумела людскими голосами.

Конечно, прежде всего состоялся митинг. Ораторы говорили о достижениях завода и филиала. Они работали не хуже, чем другие военные предприятия Урала, чем весь Урал, — за полгода выполнили обязательство, взятое на весь год, и поклялись до конца года сделать столько же. Все наладилось, все крепко стало на ноги. На заводе уже полным ходом работал новый сборочный конвейер, устроенный в длинном кирпичном цехе; открылась школа ФЗО для рабочих-новичков; начались занятия в учебном комбинате, где молодые рабочие слушали лекции, как лучше работать за станком. А те, кто задумал с осени пойти в школу взрослых, занимались в особых кружках. Самым лучшим был кружок, который вела Нина Павловна Галкина, а самым лучшим учеником в этом кружке — Костя Малышев.

Далеко-далеко от Урала гремела война. Начались грозные дни решительных боев. Враг был очень силен, но он был только силен, а советский народ становился все дружнее, советский народ трудился все лучше и верил в свою победу — значит, он был гораздо сильнее врага. Об этом говорили взрослые рабочие на митинге, и Костя тоже выступил.

— Будем стоять вахту, будем соревноваться с бригадой Мингарея Бекирова, пока не побьем фашистов! — сказал он.

Мингарей крикнул в ответ:

— Правильно, Малышок! Молодец, башка!

После митинга все отправились в тень под березы отдохнуть, так как было очень жарко. Нина Павловна стала учить Катю и Леночку плести венки из скромных цветов, собранных девочками; Миша, Сева и Колька затеяли шахматный турнир; Костя с Мингареем толковали о филиальных новостях, а Герасим Иванович укрылся газетой и задремал.

— Вся семья в сборе, — сказал директор, который ходил от одной группы к другой, потому что был непоседливый человек. Он шутливо напомнил Косте: — Вот уже лето в разгаре, а ты все в тайгу не убежал. Да еще обязался вахту до конца войны стоять. Как же это так?

— А что мне в тайге делать? — ответил Костя. — Мне и здесь хорошо.

— Мы с ним после войны в синий туман пойдем, — откликнулся Миша. — Будем золото вместо грибов собирать...

— Что за синий туман? — спросила Нина Павловна.

А Катя тоже сказала:

— Ничего не понимаю! Что за синий туман?

— Тайна, — серьезно проговорил Миша. — Открыть ее может только сам Малышок...

Все заинтересованно смотрели на Костю, Сева украдкой показал ему кулак, что означало: «Мое дело сторона, не смей меня путать в твой синий туман!» — а Колька конспиративно подмигнул левым глазом.

— Малышок, расскажи нам о синем тумане! — приказала Катя. — Это сказка, да?

— Расскажу, — согласился Костя. — Только не сказка это, не глупость...

И, глядя на круглые горушки, поросшие лесом, он начал рассказ:

— Брат мой Митрий не охоч был сидеть дома. Он тайгу любил, приволу. То на лешню-охоту побежит, то золото мыть — все удачу искал. Вот зимой подался он к дальним манси-вогулам — проведать, как лесные люди живут. Бежал он тайгой, видел один день Ивдель-реку, другой день Ивдель и третий, а там и до вогулов близко.

Бежит Митрий тайгой, глядь — лыжня проложена. Он на ту лыжню стал, спасибо сказал, легче пошел. Только вот слышит — кто-сь кричит жалобно так, будто лиса зайчика дерет, жизнь отнимает. Видит Митрий не поймешь что: мечется что-сь рыжее в снегу, клубком катится. А это рысь-разбойница на мальчонку-вогульчика с лесины кинулась — большая рысь, лютая. Крови человеческой захотела.

А что Митрию делать? Стрелять нельзя и ножом бить нельзя — мальчонку тронешь. Тут Митрий рысь за глотку схватил, на себя зверюгу принял, а рысь на нем все когтями разодрала, мясо

с ребер сняла. Ну, Митрий ее, ясно, задавил, а сам пал без памяти. Крови из него много вышло.

Оклемался, опаматовался, а он в юрте лежит, в кору да в олений мех завернут, а подле — старый старик и кажет ему по-вогульски таково ласково: «Хороший ты человек, смелый! Ты моего внука от смерти спас. Лежи поправляйся — я тебе друг, а ты мне гость дорогой». А это был самый старый на свете Володька Бахтиаров.

Он Митрия кореньями лечил, совсем вылечил, прежняя сила к Митрию вернулась. Собрался Митрий вобрат к своим бежать, а Бахтиаров говорит: «Вот тебе, Митрий, собольи шкурки, а вот моя тамга, дорожке которой не найдешь. Ты ее какому хочешь манси покажи, а он тебя ко мне доставит, и поведу я тебя в синий туман. А если кому тамгу отдашь, я и его поведу...»

Когда Костя дошел до этого места, Колька вздохнул, Сева с безразличным видом принялся переставлять фигуры на доске, а Миша усмехнулся.

— А что же такое синий туман? — спросила Нина Павловна.

— Постой, все скажу, — ответил Костя и продолжал рассказ. — В том месте, где Володька Бахтиаров живет, тайга сильная, болотистая. В той тайге туман по осени ложится на первый желтый лист. Сверху смотреть — синий это туман, вовсе синий, будто небо ясное, а в туман ступишь — белым-бело, своей руки не видишь, такой туман. И лежит тот туман и три и четыре дня, а потом ветер дунет и снимет его, как не было. Ты к Бахтиарову придешь, тамгу ему подашь, в его юрте на горе поживешь, сколько придется, тумана дожидаясь. Бахтиаров тебя кормить будет, не обидит, а как станет туман, он вскричит: «Айда!» — и пойдешь ты за ним, поспешай только, у него нога легкая. Долго будешь идти и вот дойдешь куда надо. А это озеро такое — Святое озеро. Кругом горы стоят, а оно внизу. Не велико то озеро, а другого такого нигде нет. Три речки в озеро падают, а куда уходят, не поймешь. То озеро кипит-кипит, а вода холодная, рука не терпит. И рыбы в том озере большие, лазоревые и... поют.

— Ой, — вдохнула Леночка, — абсолютно не верю!

— Молчи! — шепнула Катя. — Как ты не понимаешь, что это сказка!

— Кипит-кипит озеро, — продолжал Костя, глядя перед собой остановившимся взглядом, — а потом вода сразу уйдет невесть куда. Тут откроется дно, а на дне металл лежит — и песком и самородками кругленькими. Ты его подними, сколь унесешь, только через силу не бери. Как наберешь металла, Бахтиаров тебе велит: «Айда!» — и поведет вобрат. А идет он легко, тебя ждать не станет. Ты лишний металл бросишь, только б не отстать, а останешься — пропадешь. Придешь к юрте, туман кончится — сту-

пай домой, пируй, в другой раз не приходи: Бахтиаров в синий туман без тамги не поведет.

— Как все это интересно!..— мечтательно проговорила Катя.— А разве у тебя есть тамга?

— Значит, есть... Митрий, как от манси прибежал, мне про тамгу ничего не сказал, а как стал на войну уходить, все сказал, тамгу дал и велел, коли случай будет, к Бахтиарову пойти.

Он достал тамгу, и она пошла путешествовать из рук в руки.

— Я только не понимаю, почему для этого похода непременно нужен синий туман,— сказала Нина Павловна.

— Это все технически обосновано,— пояснил Миша,— чтобы никто не мог запомнить дорогу к Святому озеру.

— Ну, разве что так...— откликнулся из-под газеты Герасим Иванович, который, оказывается, слышал весь сказ.— А ты признайся, Малышок: неужели это брат Митрий тебе про туман да про Святое озеро рассказал?

— Не... Митрий того не говорил... Митрий только тамгу дал да велел к Бахтиарову сбегать, а Бахтиаров-де богатимое золотое место покажет. Про синий туман другие сказывали... Все то знают...

— Слышал и я о синем тумане, старинный это сказ, уральский,— сказал Герасим Иванович.— И не поймешь, правда это или наплетено.

Катя загорелась:

— Нет, наверное, все это так и есть! Знаете что? Давайте, как только кончится война, все пойдем в синий туман...

— Поддерживаю! — с серьезным видом согласился директор.— Как только кончится война, вы отправляетесь в синий туман и приносите много золота. Золото для мирного строительства пригодится. Но... до конца войны — никуда! Работников мы лишаться не можем.

— Ясно,— подтвердил Костя.

— А мне кажется, что кое-кто хотел уйти в синий туман до конца войны,— с лукавой усмешкой вставила Нина Павловна, но так тихо, что ее слова слышали не все, а понял их только Сева.

Он покраснел и снова стал переставлять шахматные фигурки.

— Ой, Катя, как же мы пойдем в синий туман, когда мы решили сразу после войны поступить в медицинский институт! — испугалась Леночка.

— Во-первых, я еще не совсем решила, в какой институт поступать, а во-вторых, одно другому не помешает. Осенью пойдем в синий туман, а зимой станем учиться в институте.

Все заговорили о том, что будет после войны. Сева сказал, что он пойдет в строительный техникум; Колька еще колебался между горным институтом, литературным факультетом университета и десятком других высших учебных заведений; Костя сказал, что

хочет научиться конструировать машины, как Павел Петрович Балакин; Миша и Мингарей тоже хотели учиться. Но до этого было еще далеко, очень далеко — не завтра и не послезавтра. Завтра они должны были снова стать за свои станки, а послезавтра, может быть, надеть солдатскую шинель и взять винтовку. И они все — они все были готовы до конца пройти славный путь в труде и борьбе, чтобы отстоять свободу и счастье своей страны, чтобы отстоять свое будущее.

— Но все-таки в синий туман мы пойдем, правда? — сказала Катя.

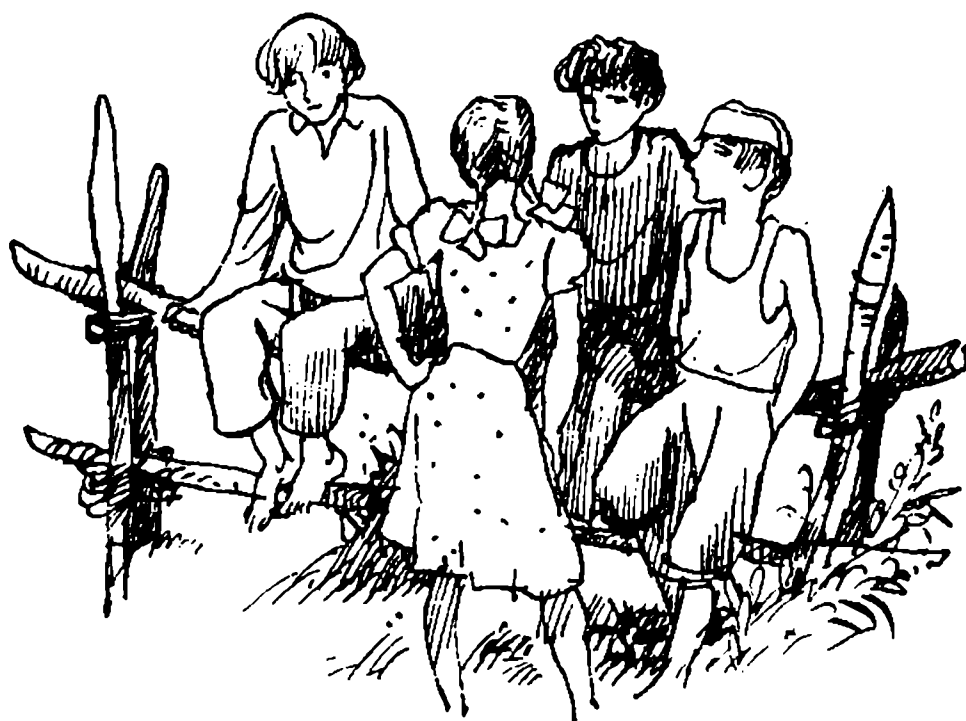
Костя поднял на нее глаза и улыбнулся:

— Ясное дело, пойдем! Время будет — все пойдем! Дай-ка я тамгу спрячу, а то потеряешь...

Зной смягчился. Ветер качнул березы. Прибежала Зиночка Соловьева, нашумела, сказала, что пора начинать игры, и увела ребят туда, где уже били барабаны и ухали трубы заводского оркестра.

АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ

Стожары





Глава 1

ПИСЬМО

Парта стояла у окна, и никто раньше Саньки Коншакова не мог уследить, как к деревне подкрадывалась весна, как на пригорках проступали рыжие проталины, темнел снег в поле, вздувалась в овраге река. И когда трогался лед, первым всему классу возвещал об этом Санька.

А еще из окна класса ему хорошо было видно дорогу, по которой два раза в неделю, к концу второго урока, проходил колхозный письмоносец Тимка Колечкин.

Тогда Санька поднимал руку и, получив разрешение выйти из класса, стремглав бежал догонять Тимку.

Но сегодня письмоносец запаздывал. Прозвенел звонок, началась большая перемена, а его все не было.

Санька налегке, не надевая стеганки, только нахлобучив на вихрастую голову пилотку, которую он носил всю зиму, отчего у него до сих пор шелушились помороженные уши, выбежал за угол школы.

Снег кругом лежал темный, ноздреватый, ручейки с глухим бормотанием перегрызали черную от вытаявшего навоза дорогу,

проталины на пригретых солнцем пригорках казались сухими и теплыми — так хотелось разуться и побегать по ним босиком!

«Где-нибудь река вскрылась. Застрянет теперь наш Тимка, не то еще письма подмочит», — озабоченно подумал Санька.

Задрав голову, он долго щурился на солнце, оглядывался по сторонам, принюхивался, словно не доверял, что все это — и солнце, и потеплевший ветер, и влажный душистый воздух — подлинное, весеннее.

Из-за поворота дороги показался Тимка Колечкин, маленький, белоголовый, в старенькой шубейке, в овчинной шапке.

Санька зашагал ему навстречу, деловито пожал руку:

— Запаздываешь, почтарь!

— У Калачевки мост разобрали. Ледохода ждут. Еле через реку перебрался, — сказал Тимка.

Санька кивнул на толстую кожаную сумку на его плече:

— Богато сегодня?

— Это еще не все... Тут и половины нет. Знаешь, сколько писем на почту приходит!.. Тысячи... разбирать не успевают. Так и лежат кучей.

— А нам опять ничего?

— Я ж поясню, — Тимка старался не смотреть на Саньку, — недодали мне почту. Запаздывают с сортировкой. Вот завтра дополучу — обязательно вам будет.

— Ты и в прошлый раз так говорил — обязательно... и в позапрошлый! — Санька уныло махнул рукой и направился к школе.

Тимка вздохнул, словно был в чем виноват перед Санькой, порылся в сумке и побежал за ним:

— Машу Ракитину позови. Письмо ей!

Санька остановился, кинул беглый взгляд на конверт и помахал рукой худенькой большеглазой девочке с короткими, пенькового цвета волосами, стоявшей с подругами на школьном крыльце.

Пряча по привычке руки в рукава жакетки, Маша Ракитина подошла к Тимке.

Ей письмо, да еще с почты. Небывалое дело!

Правда, в прошлом году после ссоры с подружкой Зиной Колесовой, жившей от нее через три дома, пришло Маше письмо с пометкой «срочное» и с тремя марками на конверте. Да и то его принес не письмоносец с толстой сумкой, а Зинкин братишка. Он вытолкнул тряпку, закрывавшую незастекленную часть рамы, бросил письмо в избу и закричал: «Зинка с тобой по гроб жизни теперь не водится! И в школу за ней не заходи, и за одну парту вместе не садись!»

Но Маша и не подумала читать письмо. Она вымела его вместе с мусором за порог, а потом, когда через два дня девочки помири-

лись, они отыскиали письмо на помойке и, не читая, разорвали на сто кусков и пустили по ветру.

Но сейчас Тимка Колечкин держал в руках настоящее письмо с почты, толстое, в белом конверте, все в жирных черных штемпелях.

Маша недоверчиво взяла его и вдруг опрометью бросилась в класс. Ученики побежали следом:

— От кого, Маша?

— Читай скорее!

— На адрес посмотри, на почерк!

Но девочка, сев на парту, выставила острые локотки и грудью прикрыла письмо:

— Уйдите... Никому ничего не покажу. Сперва сама прочитаю. Все уйдите!

Ученики неохотно разошлись по своим местам. Но головы их, как подсолнухи к солнцу, неудержимо поворачивались в сторону Маши, а глаза с завистью следили за тем, как девочка читает письмо.

Вдруг Маша порывисто поднялась, вскинула голову и возбужденно закричала:

— Девочки, ребята!.. Стожаровские, торбеевские, локтевские — все, все, кто учился у Андрея Ивановича! Вы знаете... он жив! Жив! — Девочка взмахнула письмом, как сигнальным флагом. — Письмо нам шлет... Про всех спрашивает!

Ученики вновь окружили Машину парту:

— Это правда?

— Где он теперь?

— Почему молчал так долго?

— Да читай же, не мучай!

— Нет, нет, только не Маша, — возразил пухлощекий, с выпуклыми рачьими глазами Петька Девяткин, вспомнив, как девочка всегда торопится и перевирает слова. — Пусть Коншак читает.

Дрогнувшей рукой Санька взял у Маши письмо.

В классе стало очень тихо.

Учитель, Андрей Иванович Ракитин, родной брат Машиной матери, обращался через племянницу ко всем своим бывшим ученикам. Он сообщал, что лежит после ранения в госпитале, чувствует себя совсем хорошо и хочется ему о многом побеседовать с ребятами. Молчал он так долго потому, что находился в таких местах, где не было ни полевых почт, ни письмоносцев.

Что это за места, столь далекие, учитель, конечно, расскажет ребятам, но не сейчас, а немного позже, как только вернется в родные Стожары. А встреча не за горами...

— «А чем вы, дорогие мои друзья, встретите своих отцов и братьев, когда они отвоюются и вернутся домой? — читал Санька слова учителя. — Как вы живете, учитесь в школе? Довольны ли

матери вашими успехами? Шумит ли наш зеленый сад над рекой, в котором до войны мы так любили работать? Колосятся ли в поле хлеба, которыми так славился колхоз имени Пушкина? Подробно напишите мне обо всем, расскажите про колхоз, про школу. Не удивляйтесь, друзья мои, когда найдете в этом письме немного семян».

— Каких семян? Где? — закричал Семушкин.

Маша достала из конверта небольшой бумажный пакетик, на котором было написано:

*Цензуру прошу не задерживать.
Посевной материал.*

Маша высыпала на ладонь мелкие коричневые зернышки. Головы школьников склонились над ее ладонью.

— Это мак, да? — спросила Зина Колесова.

— Не похоже, — ответила Маша.

— «Я нашел эти семена, — продолжал читать Санька, — в пустом поле, около окопа. Кругом все заросло бурьяном и чертополохом, а сквозь них пробивалось несколько созревших головок клевера, и таких на редкость крупных, что я залюбовался. Богатые, должно быть, травы выращивали люди на этом поле. Я отобрал лучшие зерна, сохранил их и теперь посылаю вам. Приютите это доброе семя, вырастите его, и оно щедро отблагодарит вас за труды.

«Что можно сделать, если зерен так мало?» — спросите вы. Но вспомните бригадира нашего колхоза Егора Платоновича Коншакова. До войны он вывел замечательный сорт пшеницы всего лишь из трех колосков. Да, да, из трех колосков, в которых было ровным счетом двести восемь зерен.

Расспросите об этом поподробнее Катерину Васильевну Коншакову и опытника Захара Митрича Векшина. Берегите, друзья мои, этот редкий сорт, выращенный Егором Платоновичем, не дайте ему потеряться. Сейчас солдатам дорог каждый колосок, каждая былинка в поле.

Придут они домой, порадуются вместе с вами на золотые нивы и скажут великое спасибо за ваше усердие и заботу.

Ваш учитель Андрей Иванович».

Школьники вновь склонились над Машиной ладонью. Сколько раз видели они семена трав и злаков в поле и на току, в ящике сеялки и под барабаном молотилки, в мешках и закромах амбаров, но никогда маленькие, темные, тугие, как скрученные пружинки, зернышки не вызывали такого интереса, как сейчас.

Глава 2

ВЕСНА

Из школы Маша возвращалась вместе с Санькой. До деревни Стожары, где они жили, было километра три.

Озорные ручейки, точно сговорившись, поминутно преграждали им путь. То они разливались широкой лужей, то, размыв дорогу, неслись сердитым потоком и бормотали: «А вот не пропустим, не пропустим!»

Маше первой надоело отыскивать переходы и мостики, и она решительно зашагала прямо через лужи и потоки. Санька еле поспевал за девочкой.

Показались Стожары. Деревня двумя длинными рядами раскинулась на высоком берегу извилистой реки Стожарки. Были тут вновь отстроенные дома и старые избы. На задворках ютились подслеповатые временные клетушки и даже землянки.

То и дело на широкой улице встречались белые смолистые срубы, лежали штабеля кряжистых бревен, кучи тонких длинных слег; расставив бревенчатые ноги, стояли «козлы» для распиловки досок.

Пусто и просторно было между домами. Не смыкались между собой, как до войны, изгороди и заборы, и только раскидистые березы да высокие тополя прочно стояли на своих старых местах.

На улицах было безлюдно. Санька с Машей свернули за усадьбы. Возвращаться домой этим путем было куда интереснее, чем вдоль деревни. Здесь, у хозяйственных построек, сновали и перекликались люди, двигались подводы, на скотном дворе, тоскуя по свежей траве, призывно и трубно мычали коровы, в кузнице необыкновенно отчетливо, как это бывает только ранней весной, звенело железо.

Оттого ли, что день был по-настоящему весенний — теплый, солнечный, с мягким ветром, или оттого, что Маша несла такое дорогое письмо, но с каждым встречным ей хотелось поделиться своей радостью.

— Здравствуйте! — говорила она колхозницам. — А мы письмо получили... от Андрея Ивановича.

Женщины останавливались, расспрашивали, и добрая улыбка трогала их лица.

У каждого из ребят были в колхозе свои излюбленные места.

Сначала Маша заглянула на птичник, потом потащила Саньку в телятник — надо же проведать телочку Долинку, которую они с матерью выхаживали этой зимой.

Белоголовая мокроносовая Долинка, узнав свою няньку, подбежала к девочке, захватила ее палец и, чмокая, принялась сосать.

Недалеко от телятника находилась свиноферма. На солнце,

в огороженном частым плетнем садке, паслись розовые, точно после бани, поросята.

— Саня... на минуточку только,— потянула Маша мальчика за рукав, заметив его скучающий взгляд.

Она быстро перелезла через плетень, присела на корточки и позвала:

— Чушь, чушь, чушь!

Поросята не обратили на нее никакого внимания. Они дружной стайкой метались из угла в угол или, окружив свинарку, тыкались пяточками в ее ноги и истошно визжали. Большие их уши-лопухи просвечивали на солнце.

— Тетенька Лукерья,— спросила Маша,— а когда клички будем раздавать? Мы с девочками столько их напридумывали: и Ромашка, и Незабудка, и Василечек...

— Какие уж тут василечки! — отмахнулась от поросят свинарка.— Разбойники... Обжоры! Все уши мне провизжали.

Наконец Маша словила одного поросенка, почесала ему спинку, и тот, блаженно похрюкивая, растянулся у ее ног.

— Ах ты дурачок, ах миленький! — растроганно зашептала Маша.

— Вот тебе и «миленький»,— засмеялась свинарка.

Маша вскинула голову. Маленький поросенок, ухватив Машину сумку с учебниками, волочил ее по земле.

Девочка бросилась вдогонку, вырвала сумку, сконфуженно перелезла через плетень и оглянулась — Саньки не было. Он уже стоял около кузницы. Подержался за поручни отремонтированного плуга, покрутил рычаги сеялки, потрогал ногой острые, как штыки, зубья бороны. Потом заглянул в дверцу низенькой закопченной кузницы, где у мерно вздыхающего горна колдовал бородатый кузнец Евсеич. Сейчас он проворным движением выхватил из горна огненно-оранжевую змейку, бросил ее на наковальню и угрожающе взмахнул молотом.

«Так тебе, так тебе!» — выговаривал молот, но змейка, точно сердясь, обсыпала кузнеца колючими искрами, потом согнулась в дугу, стала темно-вишневой и наконец, когда ее сунули в бочку с водой, зашипела, выбросила клубочки пара и превратилась в дужку подковы.

— А-а, молодой Коншаков! — заметил Саньку Евсеич.— Глазами смотри, а руками навывай... Ну-ка, бери молоточек!

Санька только того и ждал. Он сбросил куртку, закатал рукава гимнастерки и с замирающим сердцем схватил небольшой молот.

Когда Маша заглянула в кузницу, то увидела, что Евсеич в паре с Санькой ковали железо. И уж кто-кто, а девочка тоже без дела оставаться не могла. Она подбежала к кузнечным мехам:

— А я горн раздувать буду!

— Эге, прибывают подручные! — Евсеич сунул в воду подкову и вытер рукавом лицо.

Мельком взглянув на Машу, так же неторопливо вытер лицо и Санька, поплевал на ладони и переложил молот из руки в руку.

— Еще работа будет?

— Самая малость осталась, — засмеялся Евсеич, — плужков с дюжину да борон десятка два. — И он отобрал у Саньки молот. — Иди-ка домой, братец! И так, поди, второй час добираешься...

Небрежно накинув куртку на плечи, раскрасневшийся, довольный, Санька вышел из кузницы.

— Оденься, ты... — дернула его Маша за рукав. — Кузнец горячий...

Санька ничего не ответил, посмотрел в поле, прислушался, как в овраге за кузницей клокотала вода, и улыбнулся.

— Весна-то какая, Маша! Будто на тройке гонит... — И неожиданно спросил: — Ты что летом собираешься делать?

— До лета еще далеко! — удивилась Маша.

— Знаю. А думать загодя надо, — заметил Санька. — Слышала про ребят из Локтева? Все прошлое лето в поле работали. Сами пахали, сами сеяли! И знаешь, хлеб какой вырастили...

— Ну и что, Саня, что? — с нетерпением прервала его Маша.

— Вот и мы со Степой Карасевым в бригаду думаем записаться.

— В бригаду? — остановилась Маша.

— Да! К матери к моей. Слыхала, какое она дело начинает?.. Ты моего отца хорошо помнишь?

— Дядю Егора? А как же! — оживилась Маша. — С ним по грибы хорошо было ходить — всегда полный кузовок наберешь. А какие он нам свистульки голосистые делал!..

— То дело десятое, — перебил Санька, — я о другом. Помнишь, он целину начал поднимать за оврагом, на Старой Пустоши?

— Ну, помню... — ответила Маша.

— А засеять не успел — война помешала. Вот матери и запала думка: вырастить в этом году хлеб на Старой Пустоши...

— погоди, Саня, погоди, — перебила его Маша. — У тети Кати уже есть делянка... на ближнем поле.

— Это само собой. Она за ее бригадой так и останется. А на Старой Пустоши — это добавочно.

— А управится тетя Катя?

— Ей Татьяна Родионовна пополнение дает из комсомольцев. Лену Одинцову с подругами. А только матери все равно людей не хватает.

— Нет, не примут вас, — вздохнула Маша.

— Это почему же? — обиделся Санька. — Что я, работать не умею? Вот скажу матери — и запишет. Ей теперь в бригаде

каждый человек дорог...— Он покосился на девочку: — Желаешь, могу и тебя записать.

— Правда, Саня? — обрадовалась Маша. — Я ведь тоже могу и полоть и жать...

— Мое слово твердое, — заверил Санька. — Сказал — значит, запишу.

— И знаешь, Саня, — загорелась девочка, — если бы Старую Пустошь да тем зерном засеять, что твой отец вырастил! Ты видел его? Оно где хранится? Мать твоя знает?

— Наверно, знает, — не очень уверенно ответил Санька.

— Зайдем к вам, Саня, спросим тетю Катю.

Изба Коншаковых стояла на том конце деревни, который в Стожарах назывался Большим, и смотрела окнами на реку. Она была построена прошлым летом на месте добротного пятистенного дома, сожженного немцами. Маленькая, в два окна, собранная из обгорелых бревен, изба выглядела невзрачно. Много еще было недоделано: крыша над двором покрыта только наполовину, мох и пакля из стен торчали клочьями, ступеньки на крыльце еле держались. «С боков не дует, сверху не льет — жить можно. А красоту и попозже наведем», — говорила обычно Катерина Коншакова.

Санька с Машей вошли в избу. Санькина сестрица, Феня, с жесткими косичками, такая же, как и Санька, белобрысая, в звездчатых золотых веснушках, только пониже ростом, подметала пол.

В углу Никитка, толстый восьмилетний увалень, забавлялся с котенком — приучал его бегать с завязанными глазами.

— А тетеньки Катерины нету? — спросила Маша.

— Ничего. Мы без нее поищем, — сказал Санька.

Он осмотрел сени, чулан, заглянул во все старые кадки, ящики, ведра. Ему уже не терпелось обшарить весь дом.

Он заметил под кроватью крашеный фанерный ящик, тот самый, в который мачеха, проводив отца на фронт, сложила его костюм, рубахи, кое-какой инструмент и брезентовый портфель, до отказа набитый книжками и бумагами. «Вернется жив-здоров, все найдет в сохранности», — сказала тогда Катерина.

Санька вытащил ящик из-под кровати и принялся рыться в вещах. На пол полетел столярный и сапожный инструмент, какие-то бумаги.

— Саня, — остановила его Маша, — может, подождем... мать браниться будет...

— Мамка идет! — вдруг вскрикнула Феня, заглянув в окно.

ТРИ КОЛОСА

После смерти первой жены Санькин отец, Егор Коншаков, два года ходил вдовцом, потом посватался к молодой вдове Катерине и однажды привел ее вместе с сыном Никитой к себе в дом. Легонько подтолкнул Катерину к притихшим Саньке и Фене и весело подмигнул:

«Вот вам, Коншаки, и новая мамка. Прошу любить и жаловать. Живите по-хорошему, уважительно...»

Санька знал Катерину давно. Она работала в колхозе счетоводом. Ростом всего лишь отцу по плечо, черноглазая, подвижная, она ничем не напоминала рослую, медлительную покойницу мать.

«Какая же это мамка! — с пренебрежением подумал Санька. — Ей бы с нами в лапту играть».

С приходом Катерины от бывшего запустения, что царило в доме Коншаковых без матери, не осталось и следа. Всюду было вымыто, выскоблено. Появились половички, расшитые скатерти, на окнах — цветы; часто играл патефон, принесенный Катериной. Детям она сшила обновки и зорко следила, чтобы никто из них не ходил в затрапезном виде.

Феня быстро подружилась с Никиткой, привыкла к новой матери, стала учиться у нее шить на машинке. И только Санька никак не мог свыкнуться с мыслью, что эта маленькая, легкая, с черными озорными глазами женщина должна заменить ему мать. Катерина любила петь с девочками песни, заплетать им косички, рассказывать сказки, не раз ввязывалась играть с детьми в горелки.

«Веселый двор у Коншаковых», — с улыбкой говорили соседи, с которыми Катерина поладила так же быстро, как и с детьми.

С Егором Катерина жила душа в душу. Но такая жизнь продолжалась недолго. Началась война, и Егор вместе с другими мужчинами ушел на фронт.

Немцы всё ближе подходили к Стожарам. Женщины, старики и подростки вынуждены были покинуть родной колхоз, уйти в глубокий тыл.

Через полтора года Стожары были освобождены от немцев, и колхозники вернулись обратно.

— Вот мы и дома! — сказала Катерина, хотя на месте просторного пятистенного дома Коншаковых торчали лишь обугленные стены. И, заметив, что ребята на все смотрят испуганными глазами и ни на шаг не отходят от нее, она строго прикрикнула: — Это почему за юбку держитесь? А ну, марш на улицу — играйте, бегайте! Жить станем, как жили. Тятку ждать будем, строиться будем. Не век же война-разлука!

Когда поставили новую избу, Катерина отыскала сохранившиеся фотографии Егора и все их мелкими гвоздиками приколотила в переднем углу. Берданка Егора — премия от райисполкома — тоже была повешена на стену.

По всякому случаю Катерина вспоминала Егора. Ребятишки не должны плакать от таких пустяков, как ушибленная нога или порезанный палец, потому что отцу «там» больнее во сто крат; старшие не смеют обижать маленького Никитку, потому что, когда отец вернется, он все узнает и крепко накажет обидчика.

По вечерам Катерина собирала детей в круг.

— А что-то сейчас наш отец делает? — спрашивала она и певучим голосом, точно сказку, начинала рассказывать о похождениях бравого солдата Егора Коншакова.

Похождения эти всегда были необыкновенны: при всех встречах с врагом Егор проявлял силу и храбрость удивительные.

Ребята могли слушать мать без конца, хотя Санька и обнаруживал, что не все ладно в ее рассказах.

Отец был кавалерист, старший сержант, а по словам матери выходило, что он командовал тысячами людей и умел не только рубить шашкой, но и бил врагов из пулемета и пушки, давил их гусеницами танка, забрасывал бомбами с самолета.

— А тятка у нас кто? — снисходительно посмеиваясь, спрашивал Санька. — Майор?.. Полковник? А может быть, генерал?

— Ты, умник, помалкивай, другим не мешай слушать, — отвечала Катерина. — Хорош сынок, коль не верит, что батька до генерала сможет дойти.

Сейчас ребята не успели еще ничего прибрать, а Катерина уже перешагнула через порог и ахнула от изумления — такой беспорядок стоял в избе.

— Коншаки! Разбойники! — только и нашлась она сказать.

— Тетя Катя, — виновато поднялась Маша, — вы не очень сердитесь... Мы тут зерно ищем.

— Какое зерно?

— Ну, то самое, что Егор Платоныч вырастил... из трех колосков. Нам Андрей Иванович в письме про него написал.

— Учитель?! В письме?! — Катерина недоверчиво посмотрела на Машу. — Да он же без вести пропал... второй год скоро.

— А теперь объявился... Он в госпитале, Андрей Иванович... Только вот не пишет, куда раненный.

Маша показала Катерине письмо и семена клевера.

Катерина отошла с письмом к окну, прочла его и подумала о том, что весна начинается совсем неплохо, если такой хороший человек, как Андрей Иванович, подал голос... На душе стало легче. «Два года не писал... А вот объявился... Значит, и Егор напишет».

Катерина посмотрела на Саньку и Машу, которые все еще рылись в ящике.

— А зерно вы напрасно ищете. Нет его у меня. Тут еще до вас заезжал ко мне агроном один, с селекционной станции. Хоть десять зернышек просил подарить. А где их возьмешь!

— Так где же оно? Расскажите, тетя Катя,— попросила Маша.

— Что ж там рассказывать, только сердце бередить,— отмахнулась Катерина, но, заметив умоляющие взгляды Маши и Саньки, присела на лавку.— Так уж и быть, слушайте. Может, и на пользу пойдет.

Как-то пошли мы с отцом по грибы на Старую Пустошь. Ходим, аукаемся, а грибы словно попрятались от нас. И вдруг Егор Платоныч подзывает меня. Подхожу, а он сидит посреди полянки на корточках и радуется:

«Смотри, Катерина, какой я пшеничный колос нашел!»

«Экая, говорю, невидаль — колос. Я думала, ты на грибной курень попал».

А он опустился на колени и пополз по траве.

«Ищи, Катерина, ищи! Это же редкая пшеница, старинный сорт. Про нее старики чудеса рассказывают. Не полегает, не осыпается, ни морозов не боится, ни засухи».

Нашли мы еще два колоска. И правда, крупные они были, тяжелые, я таких отродясь не встречала.

Собрал Егор Платоныч урожай с трех колосков, посоветовался с Андреем Ивановичем, и весной посеяли они зерна в огороде на грядке. Грядка маленькая, со стол, но урожай получился замечательный.

А перед самой войной засеял отец новым сортом пшеницы уже целую сотку в поле. Но пшеница созреть не успела. Началась война, немец как снег на голову... Пришлось нам уходить из колхоза. Прибежала я на Егорову делянку, хотела хлеб поджечь, а он — зеленый, не горит. Что делать? Давай я его с корнями выдергивать да ногами топтать...

— Так все и загубила? — привстал Санька.

— Так и загубила.— Катерина отвернулась к окну.

— Как же мы теперь Андрею Ивановичу напишем? — спросила Маша.

— Что правду скрывать!.. Как было, так и отпишите.— Катерина вздохнула и принялась за уборку избы. Потом поглядела на Саньку, который просматривал какую-то тетрадь.— Чем это ты зачитался?

— Да вот... в тяткиных вещах нашел. Называется «Мечты-думы».— И Санька протянул матери толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете.

Катерина полистала ее.

Это была заветная Егорова тетрабочка, куда тот заносил разные планы, наблюдения, расчеты, все свои «мечты-думы», как он любил выражаться.

Был тут план и орошения огородов, и осушки Дальнего болота, и постройки электростанции на реке.

— Смотри, смотри... и про Старую Пустошь все расписано, — сказала Катерина. — Чисто как в наставлении: и какая там почва, и каких она удобрений требует... Вот кстати твоя находка, Саня... А я-то гадаю, где отцова тетрадка затерялась. Обязательно колхозницам зачитаю.

Санька посмотрел на Машу и придвинулся к матери:

— Ты и нас в бригаду запиши. Мы тоже с тобой хотим работать.

— Кто это?

— Я вот, Степа... Маша еще...

— А школа? — Катерина подняла голову от тетради.

— Чего там школа, — запнулся Саня, — не маленькие! И пахать сможем, и полоть... Лену Одинцову с подругами приняла. А мы им вот настолечко по работе не уступим.

— Да что ты, право... — нахмурилась Катерина. — Будет время — наработаетесь, земли на ваш век хватит. А пока учиться надо.

Маша тихонько выскользнула из избы. Санька вышел за ней следом.

— Говорила я — не запишет. Не так ты разговор начал, — упрекнула его Маша.

— Я напрямик люблю.

— По-другому надо... Так, мол, и так, желаем помогать взрослым. В свободное, конечно, время, после уроков... Знаешь, Саня, пойдем завтра к Татьяне Родионовне. Она поймет.

— Пойдем, пожалуй...

— Только, чур, я первая говорить буду. А то ты опять раз — и все испортишь.

— Ты — говорить, а я — пеньком стоять! — обиделся Санька.

— Ну, где надо, головой кивнешь, словечко вставишь...

— Ладно... Там видно будет, — согласился Санька.

Они расстались.

Маша побежала домой, Санька вернулся в избу.

У стола сидела грузная, одутловатая Евдокия Девяткина, соседка Коншаковых. Она доводилась Егору Платонычу дальней родственницей, считала своим долгом присматривать за семьей Коншаковых, любила поучать Катерину и ее ребят.

— Слышала я про твои дела, слышала. Высоко взлетаешь, — говорила сейчас Евдокия. — Только опасаюсь, Катюша... В хлеборобах ты ходишь без году неделю, в помощники тебе дали малолеток зеленых... Как бы конфуза не вышло. Сидела бы ты, как при

Егоре Платоныче, счетоводом в конторе — спокойно и сподручно.

— Да что ты! — вспыхнула Катерина. — Настоящие-то хлеборобы знаешь чем заняты? Чертополох выпалывают с родной земли. Кому же, как не нам, хлебом их сейчас кормить!

— Это я так, к слову пришлось, — замялась Евдокия и долго еще сидела в избе, рассказывая Катерине о своих болезнях и недомоганиях.

Глава 4

«ХОЗЯЙСТВО ВЕКШИНА»

На другой день после школы Маша с Санькой направились в контору колхоза.

Контора стояла на бойком углу проулка, где полевая дорога вливалась в большак, и, как большинство домов в Стожарах, была еще не достроена.

Всюду лежали смолистая щепа, желтые кольца стружек, груды бурых сырых опилок. Кровельщики, сбросив с крыш лохматую, взъерошенную солому, заменяли ее легкой белой дранью.

Маша с Санькой вошли в контору. Просторное, как рига, помещение было еще свободно от перегородок и пахло смолой и хвоей. Блестели потолки и стены, поскрипывали свеженастланные половицы.

В конторе было шумно и оживленно.

Председательница колхоза, приземистая, крупнолицая Татьяна Родионовна Парфенова, спустив с головы платок, наклонилась над столом и вместе с бригадиром рассматривала план колхозных угодий.

— Смотри, Маша, — шепнул Санька, — она же совсем старая, Родионовна. И волосы седые.

— Она не старая. Она моей мамке ровесница, им на сорок седьмой побежало. Только Родионовна состарилась рано. Думаешь, легко это в председателях ходить! Мамка говорит: Родионовна — как око недреманное.

— Какое? — не понял Санька.

— Ну, спит, значит, мало, сутки ей коротки. Днем она то в поле, то на скотном дворе, а ночью в конторе — наряды готовит, планы составляет. Тут посидеешь...

Вскоре бригадиры ушли, и Татьяна Родионовна заметила Саньку и Машу:

— Ко мне, ребяташки?

— К вам, Татьяна Родионовна, — выступила вперед Маша, — нам об одном деле поговорить нужно.

— Да... о деле,— поддержал ее Санька.

— Ну что ж, давайте! — Татьяна Родионовна чуть заметно улыбнулась.— А может, я уже знаю, о чем разговор будет? В бригаду к Катерине вас записать? Так ведь?

— Так,— согласился Санька и переглянулся с Машей.— А почему вы знаете?

В горле у него пересохло, и слова, которые он, несмотря на Машин запрет, все же приготовил, сразу забылись.

Он ждал, что Татьяна Родионовна сейчас засмеется и отошлет их домой готовить уроки.

Но председательница не засмеялась. Она только покачала головой и задумалась.

— Вдвоем, значит, прибежали. О себе тревожитесь. О других не подумали. А вы, по-моему, пионеры.

— Пионеры, Татьяна Родионовна,— кивнула Маша.

— А где же ваше друг за дружку? Мне тут от ребят отбоя не стало. Весна, что ли, на вас так действует... Вчера Степа Карасев с Алешей Семушкиным пришли — ставь их в пахари, и всё тут. Третьего дня еще двое заявили — тоже желают в поле работать. Теперь вы с Саней... А почему бы вам всем вместе не собраться?

— Мы соберемся,— встрепенулась Маша.— А тогда вы нас обязательно к бригаде припишете?

Не успела Татьяна Родионовна ответить, как в правление вбежала невысокая крепкая девушка с широким обветренным лицом. Это была Лена Одинцова. Она торопливо объяснила Татьяне Родионовне, что дед Векшин ни в какую не хочет отпускать девчат к Катерине Коншаковой, бранится на чем свет стоит и сейчас явится сюда собственной персоной.

И верно, через несколько минут, сердито постукивая можжевелевой клюшкой, вошел в контору высокий худощавый старик.

Татьяна Родионовна поднялась ему навстречу.

До войны Захар Митрич был известен в Стожарах как опытный огородник и садовод. Выращенные им сорта стожаровского лука и огурцов славились на всю область.

Немцы причинили много зла опытному участку при колхозной хате-лаборатории: разрушили парники, погубили плодовые деревья.

После того как Захар Митрич вернулся из партизанского отряда обратно в Стожары, он жадно принялся за работу. Выходил с косарями на луг, выезжал на пашню, но обострившийся застарелый ревматизм все чаще заставлял его отлеживаться в постели или бродить в обгорелых подшитых валенках около дома.

Видя, как Захар Митрич томится без дела, Татьяна Родионовна предложила ему место сторожа при колхозной конторе. Старик

отказался и вызвался поработать на запущенном опытном участке.

— Жить мне, Родионовна, осталось немного. Хочу напоследок к земле быть поближе. Только ты мне в помощи не отказывай.

Председательница поняла старика и выделила ему в помощь комсомолок: Лену Одинцову с подругами. В первый же год Захар Митрич принялся испытывать новые сорта хлебов, трав, овощей, выращивал саженцы плодовых деревьев и кустарников.

В колхозе кое-кто считал опыты Захара Митрича преждевременной и ненужной затеей — годы военные, людей и без того не хватает на полевые работы, но Татьяна Родионовна всячески оберегала «хозяйство Векшина», как звали в Стожарах опытный участок, и помогала ему чем могла.

Девушки оказались старательными и послушными помощницами, и старик очень привязался к ним. И вот сейчас их забирали в полевое звено...

— Под корень, значит, рубишь мое хозяйство? — с обидой говорил Векшин. — Учил девчат, пестовал, и пожалуйста — переманили...

— Захар Митрич... — попыталась перебить его Татьяна Родионовна.

— Что «Захар Митрич»? А солдаты домой вернутся... Где, спросят, былая слава колхозная, где хлеба знаменитые стожаровские, семена добрые? Что ответим? Нет, Родионовна, я по-другому хочу. Чтоб поля у нас, как океан-море, шумели, чтоб цвело все кругом, будто и лиха беда в Стожары не заглядывала...

— А я, думаешь, не желаю этого? — наконец заговорила Татьяна Родионовна. — Ты вот в партизанах был, Захар Митрич, понимать должен. На войне ведь как? Где главный бой завтра, туда и все силы. А у нас сейчас поле да хлеб — главное главного. Да не сам ли ты совет подал Катерине — Старую Пустошь поднять...

— Это верно, — согласился старик, — была и моя подсказка.

— Вишь вот... кого же на передовую линию выдвигать, как не комсомолок!

— А у меня, значит, тыловая линия?

— Нам, Захар Митрич, и твое хозяйство дорого. Без помощников мы тебя не оставим.

— Не утешай, председатель, знаю я свои резервы. Два деда вроде меня да бабка Манефа глухая.

— Да, Захар Митрич! — вспомнила вдруг Татьяна Родионовна. — Отменные есть помощники. Сами до работы рвутся. — И она обернулась к Саньке и Маше: — Вы как, ребята, согласны с дедом Захаром компанию водить?

Не успели озадаченные Маша и Санька ответить, как дед Векшин тяжело повернулся на стуле и в упор посмотрел на мальчика.

— Мальчишек к себе принять?! Пусти козла в огород, как говорят... Да они... они ж у меня прошлым летом семенные огурцы обобрали. А третьего дня камнем запустили в парник, стекла побили...

И хотя Санька ничего не знал ни про огурцы, ни про стекла, но он не выдержал упорного взгляда старика, вспыхнул и подался в сторону.

— Дедушка,— вмешалась Маша,— Саня тут ни при чем.

Захар Митрич уныло махнул рукой и поднялся:

— И не сватай ты меня с ними, Родионовна. Не будет у нас мира. Лучше бабу Манефу присылай на подмогу да дедов каких-нибудь отставных.

— Ничего, ничего, Захар Митрич! Стерпится — слюбится,— успокоила его Татьяна Родионовна.— Ты их построже держи. Ребятам это только на пользу пойдет. А помощники они тебе верные будут.

Санька с Машей вышли из конторы. Последние островки снега дотаявали на крышах, и частая капель продолбила в снегу около изб глубокие, темные, точно отбитые по линейке, канавки. Куры уже копались на завалинках, а облезлые петухи воинственно прочищали горло и хлопали крыльями. Небо над Стожарами словно расширилось, стало голубым, высоким и неоглядным.

— Ну вот, поговорили! — с досадой бросил Санька.

— А может, это и к лучшему,— примиренно сказала Маша.— В бригаду нас все равно не запишут. Соберем пионеров побольше — да к деду Векшину. Сами землю копать будем, сами сеять. Опыты разные заведем. Правда, Саня? «Хозяйство Векшина» — оно ведь тоже важное.

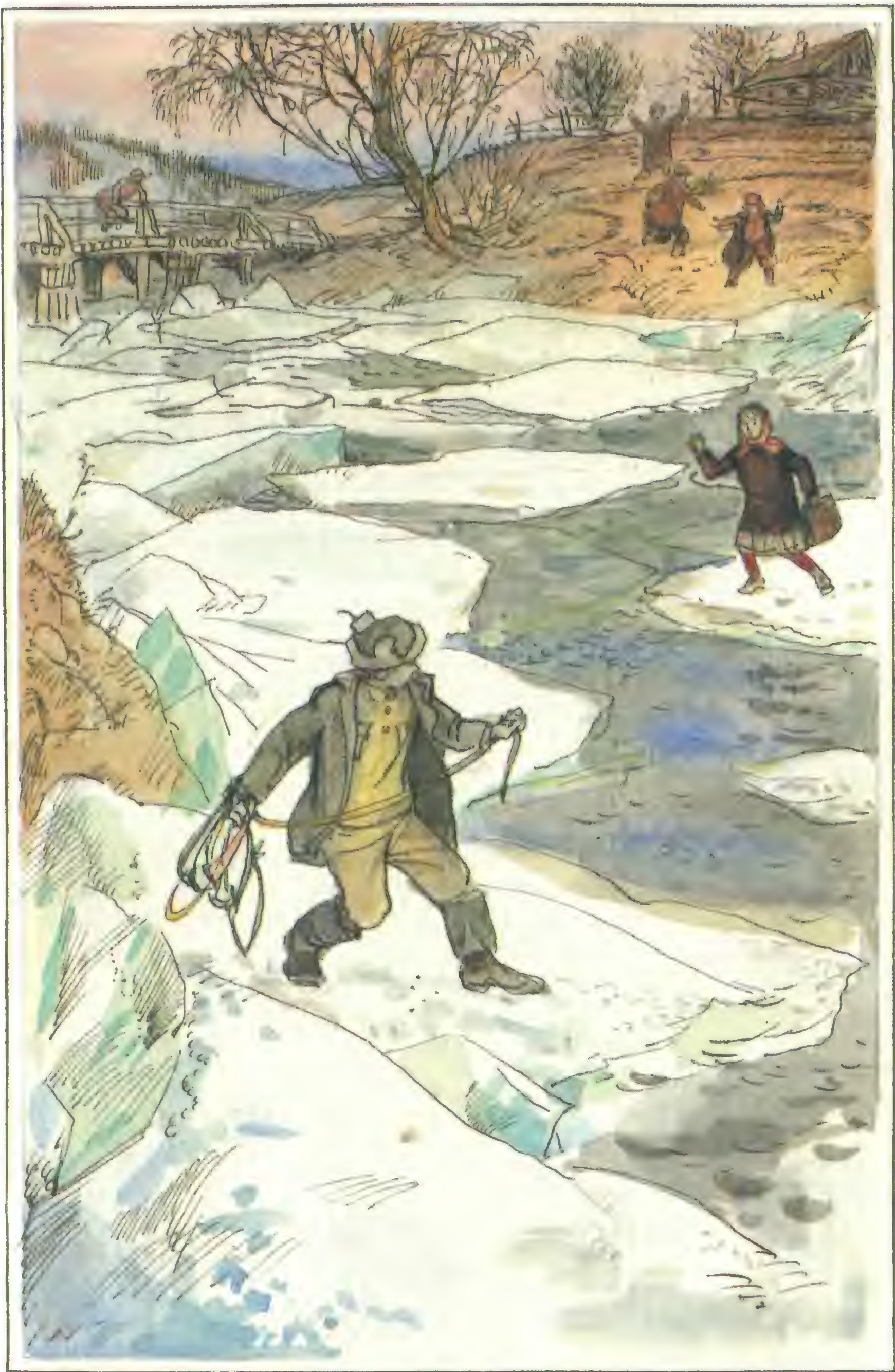
— Куда важнее,— хмыкнул Санька.— Лук репчатый выращивать, морковку с мышиный хвост, прочую там петрушку... Очень интересно!

Он был недоволен. Серьезного разговора с Татьяной Родионовной так и не получилось. И во всем виновата Маша. Надо было твердо стоять на своем, а она при первом же упоминании о «хозяйстве Векшина» развесила уши и обо всем забыла.

— Векшин вас и к грядкам близко не подпустит. Он же над каждой травкой дрожит.

— Кого это «вас»? — приостановилась Маша.— А ты, Саня, разве не с нами?

— Нет уж, освободи... Мы что-нибудь другое поищем,— усмехнулся Санька и, разбежавшись, перемахнул через широкую бурлящую промоину и зашагал к дому.



БЫСТРОТА И НАТИСК

Утром, по пути в школу, Санька заметил, что верховая вода у моста сильно поднялась и ветер из-за синей гряды елового бора дул теплый и сильный.

«Такой ветер лед разбивает,— подумал он.— Теперь жди, скоро тронется».

Хорошо, когда парта стоит у самого окна! Но позавчера Саньке не повезло.

Надежда Петровна, заметив, что Коншаков больше смотрит на улицу, чем на классную доску, пересадила его на «Чукотский полуостров» — так ученики называли щербатую парту в дальнем углу класса.

Но пропустить ледоход было никак нельзя.

Санька вступил в переговоры с Петькой Девяткиным, и тот, выговорив полкарандаша, согласился на время уступить ему свое место у окна.

Начался последний урок.

Неожиданно за стеной как будто треснуло стекло. Звук был отдаленный, слабый, но настороженное ухо мальчика отлично уловило его. Санька припал к окну. Река еще была недвижима, спокойна, но вот по бурному панцирю льда прошли извилистые трещины, показались разводья, хлынула, бурля и пенясь, вода, и вся река дрогнула, зашевелилась и неторопливо, словно пробуя силы перед дальней и нелегкой дорогой, пришла в движение.

И тогда весь класс услышал радостное восклицание:

— Пошло! Идет!

— В чем дело, Коншаков? — подняла глаза преподавательница математики. — Почему ты опять перебрался к окну?

— Лед тронулся, Надежда Петровна! — пояснила Маша и с завистью посмотрела на Саньку. Всегда он первый замечает ледоход! Но это просто потому, что у него такое счастливое место, у самого окна.

Надежда Петровна надела на нос очки, подошла к окну и посмотрела на реку.

— Действительно,— согласилась она.— Ну что ж, время, закон природы.— И, вернувшись к своему столу, обычным глуховатым голосом Надежда Петровна предложила Саньке вновь сесть на заднюю парту.

Санька вздохнул, поменялся с Петькой местами и невольно вспомнил Андрея Ивановича.

Андрей Иванович был строгий учитель, но всегда, когда начинался ледоход, он сам отковыривал замазку у окна, распахивал рамы и вместе с ребятами долго смотрел на реку.

«Отыгралась зима-хозяйка! Теперь нашу тишайшую Стожарку не остановишь — до моря добежит», — говорил он и глубоко вдыхал весенний воздух.

А ветер с реки врывался в класс, листал страницы учебников, парусом надувал географическую карту, и ученикам казалось, что синие реки и озера на ней так же оживали и начинали двигаться, как их маленькая река Стожарка за окнами.

И даже у старенького заячьего чучела, что всю зиму прожило в шкафу, шевелились уши и взъерошивалась шерстка, словно заяц собирался выпрыгнуть из класса на улицу и бежать без оглядки до первой пригретой солнцем проталины.

Долго тянулся в этот день последний урок.

Санька даже подумал, что школьная сторожиха тоже загляделась на ледоход и совсем забыла следить за часами.

Наконец прозвенел звонок.

«На реке идет лед, — казалось, говорил он Саньке, — вода рвет и мечет, выходит из берегов, а ты все еще сидишь в классе и решаешь задачки. Разве это в твоих привычках — пропускать такие события, как ледоход или половодье, дождь с градом или первый снег, бурелом в лесу или пожар в селе!»

Санька на ходу засунул книжки в сумку от противогаза, заменившую ему школьный ранец, выбежал на крыльцо и прислушался. Глухо и деловито шумела вскрывшаяся река.

Она разрезала пополам большое село Торбеево, на краю которого стояла школа, потом, причудливо петляя, вырывалась в луга и поля, пересекала редкое мелколесье и, тесно прижимаясь к обрывистому берегу, подходила к Стожарам.

Вскоре на школьном крыльце собрались все стожаровские ученики. Завязался спор, каким путем идти домой: через узкий дощатый настил, по которому ходили в школу всю зиму, или окружной дорогой, через мост.

Алеша Семушкин, юркий, как вьюн, рассудительно заметил, что дощатый настил через реку, наверно, уже снесло ледоходом и идти надо большаком, через мост.

Петька Девяткин в душе согласился с Семушкиным, но на всякий случай посмотрел на Саньку. Кто знает, что тому взбредет в голову!

Хотя Девяткин считал себя первым Санькиным другом и любил по всякому поводу повторять: «Мы с Коншаком», но Санька редко считался с его мнением.

Когда отца Девяткина взяли в армию, Петька почувствовал себя совсем взрослым.

Бегать босиком он уже считал ниже своего достоинства и в любую погоду носил тяжелые охотничьи отцовские сапоги, хотя они и доставляли ему немало горестных минут. Он завел шелковый кисет с кистями, начал курить ядовитый самосад, приобрел

расческу из пластмассы вишневого цвета, карманное зеркальце и по утрам, смочив волосы водой, усердно расчесывал их на косой пробор.

Учился Петька кое-как, второй год сидел в шестом классе и не очень обижался, когда его звали «неуспевающим с прошлого века»

Мать ко всему этому относилась снисходительно и при встречах с соседками говорила, что у ее Петеньки и без того ума палата и жизнь он проживет — в обиду себя не даст.

Петька был задирист, проказлив, но особой смелостью и сноровкой не отличался и частенько возвращался домой с разбитым носом или синяком под глазом.

Евдокия часто советовала сыну держаться поближе к Саньке Коншакову и постоянно внушала обоим, что они родные и должны всюду стоять друг за друга.

Иногда она зазывала Саньку к себе в избу, угощала, участливо расспрашивала про отца, любила вспомнить покойницу мать.

Петька всюду следовал за Санькой, и тому нередко приходилось выручать своего проказливого соседа.

Сейчас Санька тоненько свистнул.

Кто же смотрит ледоход с моста! Самое интересное место — это у излучины реки, где всегда образуется затор и льдины налегают одна на другую.

— Прoberемся, — сказал Санька и повернул на зимнюю тропу. Он шагал не оглядываясь, уверенный, что приятели не отстанут от него.

Девяткин с залихватским видом взмахнул рукой:

— Айда! Наши везде пройдут!

Школьники последовали за Санькой.

Семушкин потоптался на месте и тоже поплелся следом за всеми по зимней тропе.

Маша потянула за рукав медлительную, толстенную Зину Колесову:

— Пойдем и мы! Посмотрим.

Вскоре все собрались у реки. Она уже была не та, какой школьники видели ее из окна класса.

Словно почуяв, что путь свободен, лед шел могучей, живой лавиной. Угловатые льдины со скрежетом налезали друг на друга, опрокидывались, вставали на ребро. Черная вода кипела между ними. Мальчишки переглянулись: дощатого настила не было.

— «Наши везде пройдут»! — насмешливо бросил Семушкин Саньке. — Один такой прошел, три дня потом баграми по дну шарили. А ну, кто со мной на мост?

Девочки и часть мальчишек направились за Семушкиным.

— Давай и мы через мост, Коншак, — сказал Девяткин.

Прищуриль зеленые глаза, Санька неотрывно следил за

бегущими по реке льдинами. Он, Санька Коншаков, и не пройдет! А будь он партизаном? Ведь это очень свободно могло случиться, если бы мать, когда немцы подходили к селу, не увезла его с собой. Молодой такой партизан, разведчик или связной. И вот, скажем, весна, ледоход вроде этого; вызывает его к себе командир отряда и приказывает пробраться на тот берег реки с очень важным заданием. Но через мост идти нельзя, там немецкие часовые. А на реке ледоход. Как же быть? Санька поправил пилотку на голове, подтянул голенища сапог и прошелся по берегу, что-то выискивая глазами.

И тут он заметил Машу Ракитину. Она стояла у самой воды и не отрывала глаз от бегущих льдин; платок сполз ей на шею, обнажив маленькие розовые уши, и ветер трепал коротко стриженные волосы.

— Маша, долго тебя ждать? Идем через мост! — звала ее с пригорка Зина Колесова.

Но девочка ничего не слышала.

— Смотри, — поманила она Саньку, — льдины-то как несутся...

— Тебя зовут! Не слышишь? — подскочил к ней Девяткин.

Маша мельком взглянула на него и опять обернулась к Саньке:

— А могут они до моря доплыть?

— Могут, наверное... Правда, Маша, шла бы ты на мост с Семушкиным, — посоветовал ей Санька.

— Нет... я посмотрю. Ты ведь на тот берег побежишь через лед?

— Откуда ты взяла? — деланно удивился Санька.

— Побежишь, я знаю. Я еще в классе догадалась, когда ты на реку смотрел. А это не очень страшно, Саня?

Санька усмехнулся и ничего не ответил. Что греха таить, ему даже немного льстило, что Маша не пошла за Семушкиным, а осталась на берегу.

Но Девяткин хмуро смотрел на Саньку. Он был недоволен: без Маши ни одно дело не обходится.

Бывало, соберет он с Санькой компанию за грибами в заповедные места или за черникой на Горелое болото, и не успеют мальчишки выйти за околицу, как следом за ними бежит Маша: «Ладно же, ладно! За грибами пошли и не сказались. Припомню я вам...» И бродит целый день с ними по лесу, ни на шаг не отстает.

По грибы да по ягоды Девяткин еще терпел Машу. Но когда он собирался в поле чужим горохом лакомиться или в лес костры жечь, Маша только мешала ему.

«Отвадить надо девчонку, проходу от нее нет», — решил Петька и как-то раз без Саньки, когда Маша пришла к мальчишкам, он предложил сыграть в «голы руки не казать».

— Сыграем, сыграем! — обрадовались ребята.

Каждый обернул руку зеленым лопухом, сорвал длинный стебель крапивы. Потом все запели: «Голы руки не казать, голы ноги не казать», принялись бегать друг за другом и хлестать крапивой по босым ногам и рукам. Сначала Маше такая игра понравилась: бегаешь, визжишь, увертываешься. Но рукава кофты были коротенькие, юбка по колени, и девочке доставалось больше всех. Руки и ноги у нее покрылись красными волдырями, на глазах выступили слезы. «Хоть бы конец поскорее», — думала Маша, но мальчишки разошлись — прыгали вокруг нее, хохотали, размахивали крапивой.

Тут Маша и разъярилась. Нарвала большой пучок крапивы и, забыв про все правила игры, как веником принялась направо и налево хлестать мальчишек: по рукам, по спинам, по головам. Девяткину досталось больше всех. Отступили мальчишки и с тех пор побаивались прогонять Машу от себя.

Санька наконец нашел около дороги старую вежу, обломал сучья и, покосившись в сторону — здесь ли еще Маша, — подошел к воде.

Вскоре широкая, устойчивая льдина, похожая очертаниями на Австралию, ударилась о берег. Санька прыгнул на нее и оттолкнулся шестом.

Течение подхватило льдину, покружило на месте, потом понесло вперед и с размаху ударило в ледяной затор.

«Австралия» раскололась пополам, но Санька одним прыжком перескочил на другую льдину, потом на третью, четвертую...

Маша не сводила с него глаз.

Вот Коншак — это мальчишка! Всегда он придумает такое, от чего дух захватывает.

Недаром стожаровские мальчишки, особенно с Большого конца, считают Саньку первым смельчаком и без спора признают его своим коноводом.

Сделав последний прыжок, Санька выскочил на противоположный берег реки. Сорвал с головы пилотку, покрутил ею в воздухе и что-то закричал: шум ледохода заглушал его голос.

Тогда Санька показал рукой в сторону — мол, все идите к мосту, там встретимся.

Мальчишки переглянулись. К лицу ли им отставать от своего коновода?! Вооружившись шестами, они подошли к воде.

Первым прыгнул на льдину большеголовый, приземистый Степа Карасев, которого за его широкие плечи и маленький рост звали Степа Так-на-Так.

— Главное — быстрота и натиск! — напутствовал его Девяткин.

За Степой перебежал реку рыженький Ваня Строкин.

Дошла очередь до Девяткина. Он довольно смело прыгнул

на льдину, но потом оступился, зачерпнул сапогом воду и вернулся обратно на берег:

— Еще утонешь! Жуткое дело!

— «Мы с Коншаком»! — с презрением сказала Маша. — А еще друзья-приятели по гроб жизни.

— Ну что ж, по гроб жизни! Приятель в омут полезет, и я за ним? Спасибочки!

Неожиданно Маша выхватила у Петьки из рук шест и прыгнула на льдину.

— Умалишенка! — закричал Петька. — Утонешь!

Но Маша только помахала ему рукой.

Сначала все шло хорошо. Девочка легко перепрыгивала с льдины на льдину и вскоре была уже далеко от берега. Но тут произошло неожиданное: льдины раздвинулись, как тяжелые створки ворот, посредине реки образовалось широкое разводье, и маленькую льдину, на которой стояла Маша, стремительным течением понесло к мосту, к деревянным быкам, где лед дробился на мелкие куски, где все кипело и пенилось, как в котле.

Санька закричал, чтобы девочка сильнее гребла шестом.

Маша старалась изо всех сил. Неожиданно она поскользнулась и уронила в воду шест. Река, точно поняв, что девочка лишилась последней защиты, еще быстрее понесла льдину к мосту.

Санька с приятелями не знал, что делать. Он метался по берегу, размахивая руками, потом кинулся в сторону от берега, к сараю, около которого лежала вверх дном тяжелая черная лодка.

На помощь подоспели Степа Так-на-Так и Ваня Строкин.

Втроем они перевернули лодку и поволокли ее к берегу.

— Ребята, она ж худая! — с отчаянием закричал Степа, показывая на пробоину в днище.

Санька оставил лодку и побежал к реке. С противоположного берега до него донесся истошный тонкий голос Девяткина:

— Тонет! Караул!.. Спасайте!..

Глава 6

МАЛЬЧИК В УШАНКЕ

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не паренек в короткой куртке серого шинельного сукна, в тяжелых не по ногам кирзовых сапогах и солдатской шапке-ушанке. Он сбежал с пригорка и довольно нелюбезно встряхнул Девяткина за плечи:

— Чего надрываешься?

— Девчонка наша... На льдине... Жуткое дело!.. К мосту несет, — забормотал Петька. — Совсем глупая девчонка...

— Вижу, — хмуро перебил паренек в ушанке и, распахнув

куртку, сдернул с себя поясной ремень, словно тут же на берегу решил высечь Петьку; потом сбросил с плеч вещевой мешок и с треском оторвал от него лямки.— Ремень есть?

— Ремень?! — не понял Петька.

— Ну, поясной там, брючный... Или веревка. Все давай. Мальчик в ушанке сунул руки Петьке под пиджак, нащупал на животе ремень, снял его, потом так же бесцеремонно оторвал от школьной сумки шнурок и все это — ремни, лямку, шнурок — связал друг с другом.

Затем прыгнул на зыбкий движущийся лед и начал пробираться к Маше. Остановился у самого края разводья и, размахнувшись, с силой бросил девочке конец ремня.

Маша не сразу поняла, что ей нужно делать. Ремень просвистел над головой и шлепнулся в воду. Мальчишка быстро подтянул к себе самодельную спасательную веревку, свернул ее в кольцо, сердито крикнул: «Лови, девочка!», и вновь кольцо развернулось в воздухе. Теперь оцепенение Маши прошло. Она поймала конец ремня, уперлась ногами в льдину, и паренек в ушанке начал осторожно подтягивать ее вместе с льдиной к себе.

Разводье становилось все уже и наконец совсем закрылось. Паренек схватил Машу за руку и повел к берегу, выбирая льдины покрупнее, чтобы они могли выдержать двоих. Порой течение вновь разводило льдины в стороны.

— Ничего, девочка, ничего,— говорил мальчик в ушанке и пережидал, пока разводье не закрывалось.

Так они добрались до берега.

Почувствовав под ногами твердую почву, Маша отвернулась от реки и закрыла лицо руками. Потом поглядела на своего неожиданного спасителя.

Тот стоял в стороне и сосредоточенно развязывал узлы на лямках.

— Мальчик, а мальчик! — тихо позвала Маша.

Паренек в ушанке оглянулся.

Маша виновато улыбнулась и, не зная, как выразить свою благодарность, вдруг подбежала к пареньку и взяла у него из рук мокрые лямки.

— Давай я развяжу! — и, вцепившись зубами, принялась развязывать туго затянувшиеся узлы.

От моста мчались школьники: Санька с приятелями, Алеша Семушкин, Зина Колесова.

Встревоженные, тяжело дыша, они окружили Машу.

— Ты... ты зачем это через лед?.. — заикаясь, закричал на девочку Санька.

— Я бы пробежала,— растерянно заморгала Маша,— а тут вода кругом... голова закружилась.

— Всегда с тобой беды наживешь! — петухом наскочил на

Машу Девяткин и ударил себя в грудь кулаком.— Еще и утонуть могла. А мы отвечай! Как в прошлое лето, когда у тебя в Черном омуте ноги свело.

— Кто бы говорил! — фыркнула Маша.— Это у тебя ноги свело!

— Видали! — разошелся Девяткин, обращаясь к мальчишкам.— Еще и спорит. Нет, довольно! Заказать ей за нами увязываться! На всю жизнь. Пусть ходит со своими девчонками.

— Веселый разговор,— негромко произнес паренек в ушанке.— У вас что же, так заведено?

Санька, словно от толчка, обернулся назад. Паренек сидел на бурой проталине и переобувался.

Был он невелик ростом, худощав, смугл, глаза его чуть косили, и в них бегали озорные искорки.

— Как — заведено? — настороженно переспросил Санька.

Паренек ответил не сразу. Он выжал воду из мокрой портянки, ловко, без единой складочки запеленал в нее ногу и сунул ее в широкий зев кирзового сапога.

— А так... Девочка чуть не утонула, а они... на бережку стоят, наблюдают.

— Кто... на бережку?

— Виноват, на мостике.

— Говори, да не заговаривайся! — Санька не заметил, как сделал шаг к незнакомцу, и неожиданно, без всякой связи, но довольно сурово, как ему показалось, спросил: — Ты чей? Куда идешь?

Паренек в ушанке вскочил на ноги, притопнул сапогами:

— Патруль? Проверка документов? Прикажете доложиться?

— И проверю... очень свободно. Много тут ходит всяких...

Но паренек будто не расслышал этих слов. Он смотрел на Машу. Девочка, стоя на одной ноге, сняла с другой сапог и, прыгая, вылиwała из него воду. Нога была красная, зазябшая.

Паренек подбежал к Петьке, выхватил у него из рук свой вещевой мешок, достал сухие портянки и протянул девочке:

— Переобувайся, простудишься!

Санька чуть не поперхнулся от досады. Мало того, что неизвестно откуда взявшийся паренек выставил его чуть ли не трусишкой,— он же первый предложил Маше переобуться.

Но Маша портянки не взяла.

— Я домой побегу...— И она обернулась к пареньку в ушанке: — Пойдем к нам! Отогреешься. Тебе еще далеко идти?

— В Стожары мне, в колхоз имени Пушкина.

— В Стожары? — воскликнула девочка.— К нам, значит. Мы все тут стожаровские. Вот она, за рекой, деревня наша. А ты к кому?

— Дед Векшин — у вас есть такой?.. Захар Митрич.

— А ты... ты к деду идешь?

— К нему.

Маша отступила шаг назад, обошла паренька кругом:

— Тебя Федей зовут? Да? Федя Черкашин?

Паренек, недоумевая, кивнул головой.

— Ребята! — закричала Маша. — К Векшину внук приехал! Федя Черкашин! — И, схватив мальчика в ушанке за руку, потянула за собой: — Пойдем, я тебя провожу.

Глава 7

«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»

Изба Захара Векшина стояла на краю деревни. Чудом сохранившаяся при немцах, просторная, грузно осевшая в землю, она наклонилась вперед, словно хотела выбежать поближе к большой дороге, чтобы сказать каждому, кто заходил в Стожары: «Добро пожаловать! Заходи, места хватит».

И люди охотно сворачивали к Захаровой хате.

Возчики и шоферы, перевозившие грузы на станцию, часто останавливались в ней на ночевку. Готовили ужин, пили чай и, застелив пол свежей соломой, устраивались спать. По утрам около «государственной хаты», как звали в деревне избу Векшина, рычали моторы, ржали кони, звенели ведра.

Денег за постой старик ни от кого не брал, кровно оскорблялся, когда ему совали в руки смятые бумажки, и сердито кричал на возчиков или шоферов: «Что везешь? Хлеб, картошку? Фронтальной груз, значит, солдатское довольствие. Так и вези поскорее, нечего тут прохлаждаться, чаи распивать!»

Но поужинать с заезжими людьми старик не отказывался и, кроме того, частенько после их отъезда находил в столе оставленную банку консервов, круг колбасы, буханку хлеба.

Школьники звали Захаров дом «терем-теремок» и по вечерам забирались в него учить уроки, слушать дедовы сказки или просто «на огонек», который нигде не горел так ярко и приветливо, как в «теремке», потому что заезжие шоферы щедро снабжали Захара керосином.

Сейчас Маша первая подбежала к «терем-теремку», пошарила под ступенькой крыльца, нашла ключ и открыла дверь в избу.

— Входи, входи! — радушно пригласила она Федю. — Это ничего, что дедушки нет... Он не взыщет...

Вслед за Машей и Федей в избу вошли Зина Колесова, Алеша Семушкин и еще несколько ребят.

Санька с приятелями в нерешительности переминался около крыльца.

— А здорово он Машу выручил! — вполголоса сказал Степа Так-на-Так. — Откуда он взялся, Федя этот? Зайдем, Коншак, поговорим.

Санька молчал. Ничего не скажешь, парень находчивый, не растерялся. А он-то связался с этой худой лодкой... Но после того, что произошло на реке, как тут зайдешь в избу, что скажешь Маше?

— Кому интересно, идите, — дернул Санька плечом. — А мне домой нужно. — И он зашагал вдоль деревни.

Прятели переглянулись и поплелись за ним следом.

Маша, войдя в избу, быстро разулась, повесила пальтишко на гвоздик и залезла на печь.

Федя оглядел коричневые щелястые стены, увешанные пучками сухих душистых трав, снопами пшеницы, ржи, овса, и спросил:

— А дедушка скоро будет?

— Он придет, придет... Ты забирайся сюда, — позвала его с печки Маша, — здесь тепло.

Федя не отказался. Полезли на печь и остальные ребята.

— Не все сразу! — осердилась Маша. — Раздавите печку, она и так старенькая.

Искоса поглядывая на Федю, девочка вспомнила, как однажды дед Захар позвал ее к себе и рассказал, что у него большая радость — нашелся Федя Черкашин, тот самый мальчик-сирота, с которым он подружился, когда был в партизанском отряде. Мальчик стал ему вместо родного внука, но из-за немцев они потеряли друг друга. А теперь Федя пишет, что лечится в госпитале, в далеком городе Ташкенте, а потом будет жить в санатории. А надо ему немедленно написать ответное письмо: он, Захар, живет бобылем, старуха его померла, и пусть внук скорее приезжает к своему дедушке. Маша написала. Потом она рассказала о партизанском внуке Зине Колесовой, и они связали ему в подарок две пары варежек. Время шло, а Федя Черкашин все не приезжал. Тогда Маша с подругой стали писать ему чаще.

Они на все лады убеждали Федю, что жить ему в каком-то там санатории совсем необязательно — пусть приезжает скорее в Стожары: воздух здесь чистый, вода в речке родниковая, в лесу полно грибов и ягод, на ферме густое молоко, и Федя у них так поправится, что не уступит в силе ни Степе Так-на-так, ни Саньке Коншакову, ни Петьке Девяткину.

— Из санатория сейчас? — неожиданно спросила Маша.

— А ты откуда знаешь? — удивился Федя.

— Я про тебя много знаю. Ты ведь внук дедушке Захару, партизанский внук... Мы тебя ведь давно ждем...

— Так это твои письма были? Тебя Машей зовут?

— Машей! — засмеялась девочка. — А это вот Зина Коле-

сова. Она тебе варезки связала. А это — Семушкин. Его у нас все суслики боятся. А это...— Маша называла каждого по имени, говорила, кто чем знаменит, и ребята тянулись к Феде, пожимали ему руку.

В сенях заскрипели половицы.

— Дедушка идет,— догадалась Маша и, подмигнув ребятам, обернулась к Феде: — Ты не сразу показывайся. Спрячься пока.

Мальчишки оттеснили Федю в угол печи. Захар открыл дверь и ворчливо спросил:

— А ну, терем-теремок, кто в тереме без прописки живет?

— Я, мышка-норушка,— пискнула Маша.

— Я, лягушка-квакушка,— отозвалась Зина.

— Я, комар-пискун,— тоненьким голоском сказал Семушкин.

Захар покосился на стоявшие у порога мокрые ребячьи сапоги, башмаки, обшитые кожей валенки и покачал головой:

— Что, гуси лапчатые, промочили ноги да на печку к деду Векшину? Дома-то за это не жалуют. Выведу я вас на чистую воду, дайте срок!

— Дедушка, а мы не отогреться. Мы к вам с новостью,— сказала Маша.

— Знаю я ваши новости!

— Правда, дедушка!

И вдруг с печки, из дальнего ее угла, полились такие переливчатые, звонкие соловьиные трели, что все ребята в изумлении насторожили уши, а дед Захар даже попятился к двери:

— Что за наваждение! Кто там балуется? А ну, слазь, слазь, говорю!

— Это я, дедушка... я...

Федя легко прыгнул с печки и вновь защелкал, залился, как настоящий соловей.

— Узнаете, дедушка, чуете?

Точно солнечные блики заиграли на лице старика.

— Чую, соловушко! — И Захар, словно ему не было семидесяти лет, в ответ на соловьиное щелканье гукнул филином.

Мальчик отозвался криком ночной выпи, старик тонко и нежно засвистел иволгой, мальчик закуковал кукушкой.

Так они стояли друг перед другом, перекликались птичьими голосами, и ребятам казалось, что все птицы с округи слетелись в старую Захарову избу.

Потом, устыдившись, что разыгрался, как мальчишка, старик смущенно рассмеялся, привлек Федю к себе и обнял.

Вскоре на столе запел свою песенку кособокий самовар.

Захар открыл банку консервов, достал горшочек с медом, моченой брусники, яблок, грибов, усадил Федю в передний угол.

Потом оглядел сияющие лица детей и совсем подобрел:

— Все садитесь! Пируйте! Такой день, ничего не жалко.

Ребята разместились за столом. И, хотя большая деревянная чашка была полна просвечивающих моченых яблок, а в горшочке желтел загустевший липовый мед, они, не желая, чтобы Федя подумал о них плохо, ни к чему не притрагивались и чинно отвечали: «Большое спасибо, мы уже пили-ели...»

— А ты где птичьему языку обучился? В отряде, да? — допытывалась у Феди Маша. — И коростелем умеешь кричать, и зябликом рюмить?

— Могу.

— Меня научишь?

Алеша Семушкин все пытался завести с Федей серьезный разговор о партизанских делах.

— Обожди, торопыга, — остановил его Захар. — Дай ему передохнуть с дороги. Будет у вас время, всласть наговоритесь. — И он пристально вглядывался в мальчика.

Федя был гладко острижен, худощав и казался неразговорчивым.

«Ничего... это его солнышко тамошнее присушило, — успокаивал себя Захар. — Он у нас тут, как на дрожжах, поднимется». И старик в который раз спрашивал Федю, не болит ли у него где.

— Ничего не болит, дедушка. Я левой рукой пудовую гирю выжимаю. Я уж боролся с одним на станции.

— Ну и как?

— Да он не по-честному: подножку дал. Только я все равно вывернулся.

— Видишь, нельзя тебе пока силой мериться. Ты у меня тихо жить будешь, покойно.

— А мы его старшим поставим над всеми ребятами, — вдруг заявила Маша, которой давно хотелось сказать Феде что-нибудь приятное. — Мы его вот как слушаться будем!

— Что еще за старшим? — покосился Захар. — Внушек отдыхать приехал.

— Я ненадолго, дедушка. В ремесленное училище поступать хочу, — сказал Федя.

— Ну вот, — нахмурился Захар, — только через порог перешагнул, а уж на дверь оглядываешься. Ты поживи, присмотришь, может, и другая какая путевка выйдет.

Ребята готовы были просидеть с Федей до позднего вечера, но Захар вовремя намекнул, что дорогим гостям пора честь знать, и они, поблагодарив за угощение и распрощавшись, направились по домам.

Захар вышел проводить их до угла.

Мороз, точно искусный стекольщик, застеклил лужи хрупким ледком, и они блестели в лунном свете, как парниковые рамы.

Где-то близко, в придорожной канаве, звенел неугомонный

ручеек, словно хотел сказать, что никакие заморозки теперь не остановят шествующей весны.

И Захару показалось, что вот и к нему в дом заглянула весна — приехал внучек.

Старик улыбнулся и направился в избу.

Вот сядут они сейчас с внучком рядом, выпьют по-семейному, без чужих глаз, еще по стаканчику чаю и обо всем по душам поговорят.

Но ни разговор, ни чаепитие не состоялись. Примостившись на лавке и подложив под голову вещевой мешок, Федя крепко спал.

— Умаялся, соловушко! — шепнул Захар.

И, присев около Феди, задумался. Много лет прожил он на свете. Сколько земли вспахал, лугов выкосил, садов вырастил. Пчела его любит, конь понимает, знает он любое крестьянское дело. Но некому ему, старому человеку, передать свое умение в надежные руки — нет у него ни сыновей, ни внуков.

А вот теперь есть с кем выйти в поле, есть кому показать, как ходить за плугом, как беречь каждое зернышко.

«Никуда я его не отпущу, — подумал он про Федю, — доброго колхозника выращу. Стожары ему родным домом станут. Не забудут Векшина в деревне».

Неожиданно мальчик шевельнул во сне губами, перевернулся на другой бок. И тут старик услышал, как из развязавшегося мешка на пол что-то посыпалось. Он нагнулся, протянул руку, и зерна тонкой струей потекли ему в ладонь.

Захар подошел к лампе, прибавил огня и замер от удивления: на ладони лежали крупные, литые зерна пшеницы.

Старик кинулся к лавке, чтобы разбудить Федю. Но мальчик спал так сладко, что Захар пожалел и только перенес его на кровать и укрыл одеялом.

Потом вернулся к лавке, опустился на колени и начал бережно собирать рассыпанные на полу зерна.

*

Утром Федю разбудил легкий стук по дереву. Дед Захар сидел у порога и сколачивал из дощечек скворечню. На столе лежала горка пшеницы. Солнце било в окна, и зерна горели, как литые из меди.

Федя вскочил с кровати, заглянул в свой мешок:

— Вы уж все знаете, дедушка?

— Смотрю и глазам не верю! — Захар покачал головой. — Чудо прямо, что зерно домой вернулось.

— Помните, дедушка, мы с вами через лес пробирались? Вас

тогда немцы схватили. А котомка с зерном у меня осталась.

— Так ты же, Федюша, через сколько рук потом прошел: солдаты, госпиталь, санаторий... А зерно целехонько. Ума не приложу. Волшебное какое-то!

— Оно и есть волшебное... Кому ни расскажу, как мы с вами его от немцев спасали, все говорят: «Счастливое зерно. Сто лет жить будет». Ну, я и берег. Только одному раненому в госпитале десять зернышек подарил — очень уж он просил. Домой потом послал, в Поволжье.

Захар подошел к столу, пропустил пшеницу сквозь пальцы:

— Ну что ж, зернышки, поплутали по белу свету, поскитались, пора вам и в землю ложиться, расти да колос вынашивать.— И он попросил внука про пшеницу никому пока не рассказывать: времени прошло много, и неизвестно, сохранили ли зерна свою всхожесть.— Потерпи до лета, Федюша. Колос будет — тогда и людей порадуем.

Глава 8

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

На другой же день история с «быстротой и натиском» на реке стала известна всем стожаровским мальчишкам. Особенно постарался в этом Алеша Семушкин.

В большую перемену он собрал во дворе около себя половину класса и принялся клятвенно уверять, что своими глазами видел, как векшинский внук нырнул в ледяную воду и вытащил Машу Ракитину.

В школе не очень доверяли рассказам Семушкина, так как всегда и всё он видел «своими глазами»: и где упала падучая звезда, и когда пробился родник в овраге, и как молния расщепила кряжистый дуб в Субботинской роще.

Но появление Феди Черкашина было так необычно, что ребята на этот раз слушали Семушкина охотно и доверчиво.

— Силен парень! — захлебывался от восторга Семушкин.— В реку, как тигр, бросился. Оно и понятно: партизан.

— А Коншаков где был? — спросила Зина Колесова.

— Что там Коншаков! Молодец среди овец... А Девяткин так совсем перетрусил.— Семушкин уморительно изобразил в лицах, как Санька с Петькой растерянно бегали по берегу реки и кричали: «Караул, спасите!»

— На нас тень наводит,— шепнул Девяткин Саньке.

Они стояли под березами в школьном саду и наблюдали за грачами, которые, заселив прошлогодние гнезда, орали от радости, как пьяные.

Петька пошел к деревянному сараю, где Семушкин «наводил тень», а Санька сделал вид, что его интересуют только грачи.

Но уши его были настороже. Он давно знал, что Семушкин любит сочинять про него всякие небылицы. Он, Санька, малышей в бабки обыгрывает, и задачки у Маши списывает. Что-то он сейчас плетет мальчишкам!

— Выхваляется этот Черкашин — жуткое дело! — сообщил вернувшийся Девяткин. — Будто мы с тобой нарочно Машу на лед заманили, а потом бросили.

— Это кто так говорит? Черкашин? — вспыхнул Санька.

— Семушкин передает... Они уже дружки с Черкашиным, водой не разольешь.

Весь день Санька не находил себе места.

Мальчишки гурьбой следовали за Семушкиным, и тот охотно, каждый раз с новыми подробностями, повествовал о векшинском внуке. По его словам выходило, что Федя не кто иной, как знаменитый партизанский разведчик, он восемь или десять раз ходил в ночной поиск, самолично захватил двух фашистов и имеет боевое ранение — шрам на боку.

После уроков, когда Санька с приятелями возвращался домой, разговор вновь незаметно перешел на Федю.

— Далось вам! — осердился Санька. — Ну и отправляйтесь, цацкайтесь с ним!

Мальчишки остановились у моста и замолчали. Река почти очистилась, вода шла мутная, волоча отдельные запоздалые льдины.

— Скоро рыбалить пойдем, — сказал Степа Так-на-Так.

— Семушкин говорит, они гранатой рыбу будут глушить, — заметил Петька.

— Откуда у него граната? — вдруг насторожился Санька.

— Черкашин обещал подарить. Он с собой привез. У него в мешке и патроны есть, и нож трофейный, и много еще чего. Алеша своими глазами видел.

— Ну, это он... это уж он совсем прибавляет, — забормотал Санька, и неизвестно было, к кому относились эти слова: к Семушкину или к Феде.

На душе было беспокойно. А если все это правда, что болтает Семушкин? Мальчишки же за Черкашиным по пятам будут ходить!

И разве захочет кто-нибудь теперь слушать Санькин рассказ о том, как они с мачехой угоняли от врага коров и лошадей, как он спас Муромца! Бомба тогда разорвалась около самой конюшни. Старый, вислогубый мерин, одурев от страха, так взбрыкнул, что сшиб Саньку с ног и помчался в сторону деревни. Но Санька не растерялся, вернул Муромца. На груди у него остался багровый след от подковы. Но кого же удивишь теперь такой меткой,

если у векшинского внука шрам на боку и мешок полон патронов!

— Наговорит этот Семушкин... Надо самим проверить,— предложил Санька.

Мальчишки тут же наметили план. Они будут ждать на мосту, а Петька Девяткин пойдет к Векшину в избу и все, что надо, попытает у Феди — ведь никто лучше его не умеет подлаживаться к людям.

— Ты, главное дело, в мешок загляни,— наказал Санька.

Девяткин подошел к избе, заглянул в окно и, убедившись, что деда Захара нет дома, толкнулся в калитку.

— Теперь Девяткин залется соловьем,— засмеялся Степа.— Мать родную продаст, другом-приятелем прикинется.

Минут через тридцать Девяткин вернулся обратно.

— Ничего такого и нет,— сказал он скучным голосом.— Сидит, посуду моет после обеда.

И он сообщил, что Федя Черкашин оказался не очень-то разговорчивым и толком узнать от него ничего не удалось.

Правда, в партизанском отряде Федя был, но занимался больше тем, что помогал деду Векшину собирать грибы, ягоды, готовить обед партизанам.

— Кашевар, значит! — присвистнул Санька.— Ну, а фрицев сколько он захватил?

— Ноль целых ноль десятых... Не брали его в разведку, мал еще.

— А мешок видел? Гранаты есть?

— Тю... чего захотел! — фыркнул Петька.— Даже и патронов нет. Книги одни.

— А еще?

— Кружка с ложкой, белье, зерна какие-то...

— Зерна?

— Не то пшеница, не то еще что. Я не рассмотрел, неинтересно.

— Поймал нас на живца Семушкин,— облегченно засмеялся Санька и после этого случая немного успокоился.

Вскоре Федя пришел в школу. Его посадили в шестой класс. Учение мальчику давалось нелегко. Он многое перезабыл и сейчас старался изо всех сил, чтобы не отстать от товарищей.

*

Посоветовавшись с Леной Одинцовой, Маша созвала пионеров и рассказала им, что сама Татьяна Родионовна поручает им работать на участке деда Векшина.

Ребятам это польстило. Помогать Векшину вызвались Зина Колесова, известная своим умением выращивать отличные поми-

дору, Алеша Семушкин и еще пять человек. Присоединился к ним и Федя Черкашин.

Тут же после сбора Маша повела ребят на участок к деду Векшину. Участок лежал позади усадеб, примыкая одной стороной к реке, другой — к перелескам.

Ребята остались за изгородью, а Маша с Зиной прошли на участок и заглянули в маленькую теплицу, оборудованную на месте старого блиндажа. Захар, склонившись над ящиками с землей, поливал из лейки рассаду.

— Дедушка, мы пришли, — сообщила Маша. — Какая работа будет?

Но дед Захар отнесся к этому без всякого воодушевления.

— И много вас?

— Девять человек. Если нужно, еще ребят соберем.

— Куда столько! — испугался Захар. — Двоих-троих с избытком хватит. И чтобы рьяные до земли были, неотступные. Тебя вот, скажем, могу принять, Зину Колесову...

— А мальчишек?

— И не проси. Налетит этакая саранча, помнет все, затопчет, каждый стебелек обгрызет.

Маша вернулась к поджидавшим ее ребятам и передала свой разговор с дедом.

— А мы, значит, не рьяные, — обиделся Семушкин.

Ребята решили поговорить с Леной Одинцовой.

— Упрямый старик, — задумалась Лена. — А знаете, ребята, надо его задобрить. С пустыми руками к нему лучше не являться. Вот ты, Зина, покажи ему свою рассаду томатную. А вы, мальчишки, птичьих кормушек понаделайте, скворечен.

— Изгородь можем починить, — предложил Семушкин.

— Мы ему семена клевера подарим. Помните, нам Андрей Иваныч прислал? — сказала Маша.

— И еще семян надо собрать, — поддержал ее Федя.

— Каких семян? — не поняла Зина.

— Разных... Пшеницы там, ржи, овощей... Дедушка говорит, что хорошие сорта — их по зернышку искать надо.

С этого дня ребята начали собирать семена. Ходили по соседним колхозам, беседовали с полеводами, огородниками, опытниками, выпрашивали у них на развод лучшие сорта семян. Через неделю они заявили к деду Векшину с внушительной коллекцией.

Первым демонстрировал свои находки Алеша Семушкин. Он вывернул все карманы и высыпал на стол семена огурцов, брюквы, капусты:

— Я и больше могу принести, вы только скажите.

Дед Захар вооружился увеличительным стеклом и долго рассматривал каждый сорт. Потом принялся допрашивать Алешу:

где найдены семена, на какой почве выращены, какова была их урожайность.

— А я в школе выменял, у ребят,— помявшись, признался Алеша,— на перышки...

Старик смел все зерна в общую кучу:

— Впустую старался. Семена без паспорта мне не нужны. Таким зерном только кур кормить.

Больше других повезло Маше и Феде. Они принесли из Локтевского колхоза от опытника Колокольцева десять зернышек редкого сорта многолетней ржи и щепотку голозерного ячменя и смогли ответить почти на все вопросы деда. Захар записал историю каждого сорта в тетрадочку и убрал зерна в сундучок.

— Ну что ж, засеем на пробу, попробуем. Охота есть — ищите и дальше. Но только, чур, с разбором, всякое безродное зерно на хватайте.

Ребята теперь все чаще собирались в «терем-теремке», и Санька не мог понять, что их туда притягивает.

Однажды он спросил Машу:

— Всё Федю слушаете, про его боевые дела? Как он ши да кашу варил?

— Нет, мы семена собираем.

— Какие семена?

— Для посева. Я уже два сорта нашла. И больше бы достала, да дед Захар бракует здорово, спасу нет.

— Игру завели? — усмехнулся Санька.

— Зачем игру! — обиделась Маша. — Деду Захару помогаем. Ты погляди, что у меня есть. — Она достала из сумки несколько пакетиков с семенами. — Это тыква, это соя амурская. Учительница ботаники подарила...

— Давай, давай, проверим! — Девяткин схватил из пакетика несколько тыквенных семечек, кинул их в рот. — Липовая твоя тыква! Подмоченная и затхлая.

— Сам ты затхлый! — рассердилась Маша и убрала пакетики. — И не имей такой привычки — сортовой фонд хватать!

— Фонд! — фыркнул Петька. — Мышам на разживу.

Глава 9

ЗА ОКОЛИЦЕЙ

Весна шагала семимильными шагами. Земля покрылась зеленой щетинкой травы, неумолчно заливался жаворонок, спирально уходя в небо, и с полей несло теплым, благодатным, полным тонких запахов воздухом.

Дорога из школы домой в эти дни стала удивительно длинной.

Ребят тянуло и к лесной опушке, где около рыжих островерхих куч уже хлопотливо сновали муравьи, и к топким берегам реки, где вспыхивали первые желтые цветы. Лес стоял еще голый и прозрачный. Только орешник, ольха да береза развесили длинные дымчатые сережки, и, продираясь сквозь лесную чащу, ребята поднимали облачко тонкой желтоватой пыли.

На полях бойко пробивался из земли хвощ, и мальчишки охотно жевали его водянистые розовые стебли.

Но чаще всего школьники задерживались у околицы деревни. Разувались, снимали пиджаки и куртки и заводили бесконечные игры в войну, в лапту, в чижи на счет до ста очков, в городки на двенадцать фигур.

Редкая игра обходилась без Саньки Коншакова.

Пошлет его, бывало, мать к соседке за солью. Выйдет он на улицу, увидит, как мальчишки у околицы играют в лапту, и нахмурится от досады.

Старшие объединились против маленьких, играют не по правилам, частенько плутуют. И загорится тут Санькино сердце.

— Неправильно играете!

Разобьются мальчишки заново на партии, уравниют силы, и игроков точно живой водой sprysнет.

Санька, конечно, старший в своей партии. Каждому игроку он определит его место, укажет, кому за кем бить по мячу. Себя он всегда оставлял для заключительного удара.

Вот взмахнул лаптой первый игрок — промахнулся. Нацелился второй — тоже мимо. Не повезло и третьему. Доходит очередь до Саньки. На него с надеждой смотрят десятки глаз. Санька — старший, «матка», и он должен выручить свою партию.

Санька не спешит. Он долго выбирает лапту по руке. По правилам, последний игрок имеет право на три удара по мячу. Первый и второй удары Санька наносит вполсилы. Мяч отлетает недалеко от кона. Противник торжествует — Санькина партия явно проигрывает.

Но Санька спокоен. Он откладывает в сторону легкую дощечку, которой ударял по мячу, подходит к изгороди и вытаскивает из земли тяжелый кол. Долго примеривается, плюет на ладони и вдруг кричит:

— Подавай!

Один из игроков подбрасывает в воздух мяч. Обхватив кол обеими руками, Санька описывает им широкую дугу и с хеканьем наносит последний удар.

Упругий резиновый мяч взвивается так высоко в небо, что кажется, никогда больше не опустится на землю.

— Выручил! Выручил! — восторженно кричат мальчишки, стремглав бегут до заповедной черты и возвращаются обратно к кону.

И так увлечется Санька игрой, что забудет обо всем на свете. Потом опомнится, прибежит домой и, не моргнув глазом, скажет матери, что луку у соседки не нашлось.

— Я ж тебя не за луком посылала — за солью, — разведет руками Катерина.

— Я и про соль спрашивал. Тоже нету...

Как-то раз ребята затеяли игру в «колы-забивалы». В землю воткнули остро отточенный, как карандаш, осиновый кол. Рядом положили несколько березовых поленьев. Санька поставил всех мальчишек в круг и начал выбирать водящего.

Неожиданно к ним подошел Федя Черкашин:

— В колы играете? Знаю такую игру. А водят у вас как — по жребию или на охотника?.. Ага, по счету. Тогда и меня посчитайте. — И он втиснулся в круг.

Санька смерил новичка взглядом.

— Посчитаем, посчитаем, — согласился Девяткин и, подмигнув Саньке, стал на его место.

И все улыбнулись, потому что знали: если Петька захочет кого сделать водящим, это так и будет.

Девяткин ходил по кругу, тыкал мальчишек толстым пальцем в грудь и бормотал считалочку:

— Катилось яблоко вокруг города, кто его поднимет, тот вон выйдет...

На кого приходилось последнее слово, тот отходил в сторону. С каждой минутой круг все более сужался. Вот остались только двое: Петька и Федя. Девяткин в последний раз так ловко пробормотал «катилось яблочко», что водить досталось Феде.

— Имей в виду: у нас до конца играют... пощады не просят, — предупредил Санька.

— А как же иначе, — согласился Федя и лег лицом на землю.

Мальчишки побежали прятаться. Когда голоса и топот ног стихли, Федя поднялся с земли и постучал палкой в полено, предупреждая всех, что начинает поиски.

Он заглядывал в канавы, в огороды, за дворы, шарил в кустах и, обнаружив игрока, со всех ног бежал к колу и троекратно ударял по нему палкой: игрок найден и должен выйти из укрытия.

Иногда Федя уходил от кола слишком далеко. Тогда, точно из-под земли, выскакивали ребята и березовыми поленьями загоняли кол в сырую, податливую землю.

Заслышав удары, Федя мчался обратно, но игроки уже исчезали.

Снова в поиски.

Наконец все мальчишки обнаружены.

— Теперь тащи кол! — напомнил Санька.

Но это было не так легко. Молодой, в соку, осиновый кол по самую маковку ушел в землю. Не за что было даже ухватиться.

Федя нашел обломок железного прута и попробовал взрыхлить землю.

— Железкой нельзя, не по правилам, — остановил его Санька. — Надо голыми руками.

Федя попыхтел минут десять, но ничего не мог сделать. Пришлось водить еще раз. В землю воткнули новый кол, и все началось сначала. Теперь Федя искал осторожнее. Далеко от кола не уходил, зорче осматривался по сторонам.

Наиболее опасным и хитрым игроком оказался Санька Коншаков. Он прятался в самых неожиданных местах.

Второй кол Федя также не смог вытащить. На беду, он зашиб о камень ногу и захромал.

— Проси пощады — пожалеем! — снисходительно предложил Санька.

— Привычки такой не имею, — отказался Федя.

Подбежала Маша.

— Напали на свеженького, обрадовались! — закричала она на мальчишек и предложила Феде отыгаться за него. — Они плутуют, наверное... Я их сразу выведу на чистую воду!

Но Федя от помощи отказался. Игра затянулась до позднего вечера.

Утром, нагнав прихрамывающего Федю по пути в школу, Санька насмешливо сказал:

— Не отыгрался вчера! Сегодня после обеда опять водить будешь.

— Я?! — растерялся Федя.

— А кто же! У нас все по-честному играют. Степа Карасев прошлым летом две недели водил... похудел даже. А Девяткин как-то матери вздумал пожаловаться, так мы его потом от всех игр отлучили...

И после обеда Федя снова пришел за околицу:

— Давайте в колы играть. Я водить буду.

— У тебя же нога болит, — удивились мальчишки.

— Поджила малость.

Но играть ребятам не хотелось. Они только что на вырубку собрались — костры жечь. Санька даже коробку спичек из дому унес.

— Ладно, — сказал он, — мы тебя прощаем.

— Тогда считаю, что отыгрался, — сказал Федя.

Мальчишки только переглянулись и смолчали. В другой раз затеяли игру в чижи. Подошел Степа Карасев.

— Так-на-Так водит... на новенького! — обрадовались мальчишки.

Степа был нерасторопен, доверчив, хитрить не умел, плохо разбирался в правилах игры. Ребята пользовались этим, и он постоянно был в проигрыше.

Степу без конца «маяли» в чижи, заставляли бегать за мячом. А когда играли в войну, он обычно выполнял роль «конной тяги», перевоза на дребезжащей тележке ржавую трубу от миномета, которая в одном и том же бою была и противотанковой пушкой и гаубицей.

Сегодня на Степе отводил душу Петька Девяткин. Федя сидел на бревнах и следил за игрой. Петька заслонял собой вычерченный на земле круг, и Степа никак не мог попасть в него деревянным, заостренным с обоих концов чижом.

Мальчишки решили, что Степе теперь не отыграться до позднего вечера. Неожиданно Федя подошел к играющим, взял у Степы чиж:

— Посиди, я за тебя отмаюсь.

Через несколько минут чиж вкатился в круг. Федя предложил Девяткину сыграть еще одну партию. Петька вынужден был согласиться: после выигрыша не принято отказываться.

Сыграли партию, и Федя вышел победителем. Началось «маяние». Федя играл расчетливо и точно. Он с такой силой ударял по чижу палкой, что тот с жужжанием пролетал над землей и падал далеко за дорогой.

Петька терпеливо разыскивал чиж в траве и долго целился, стараясь попасть в круг. Но Федя, изловчившись, отбивал его палкой еще на лету — это было по правилам — и отсылал в другую сторону, к огородам. Казалось, что круг был огражден незримой стеной.

Мальчишки с веселым оживлением следили, как Девяткин бегал из стороны в сторону. Он пыхтел, ругался себе под нос, поглядывал на Саньку. А тот только посмеивался: ничего не скажешь, игра идет по-честному, по всем правилам.

Начало смеркаться.

— Домой пора, отложим до завтра! — взмолился Девяткин.

— У Степы пощады проси, его выигрыш, — сказал Федя.

— Конец игре, конец, — забормотал сконфуженный Степа. — Не надо завтра.

Федя последний раз ударил по чижу, и тот, как стриж, очертив вечернее небо, упал далеко за огородами.

— Эх, ты! — Девяткин подошел к Саньке. — За свой конец вступить не мог.

— Поделом тебе! Не плутуй, по совести играй.

— Родной, тоже...

— Велика родня! На одном солнышке греемся, — засмеялся Санька.

НА ПОЧТЕ

Когда письмоносец Тимка Колечкин появлялся на деревенской улице с полной сумкой писем и газет, Катерина выбегала ему навстречу, затаскивала в избу и заставляла на глазах у нее перебирать всю почту.

— Тетя Катерина, да я же помню... нет вам ничего, — почему-то виноватым голосом говорил Тимка.

— Нет, ты покажи... может, запомнил.

Но письма от Егора опять не было.

Катерина ходила грустная, молчаливая, часто задумывалась и с нетерпением ждала очередной почты. Правда, по вечерам она продолжала по-прежнему рассказывать детям о похождениях храброго солдата Егора, но делала это уже без прежнего увлечения, часто противоречила сама себе, что заметил даже Никитка:

— А чего это тятка все одного и того же фашиста убивает? Сегодня рыжего, мордастого, и вчера, и третьего дня. Неужели он такой неубиваемый?

— Разве всё рыжего? — спохватилась Катерина. — Да все они на один лад... все противные.

Однажды к Коншаковым забежал Петька Девяткин и сообщил Саньке, что завтра мать едет в город (Евдокия работала в колхозе возницей молока) и берет его с собой.

— Поедем с нами, Коншак! Завтра же воскресенье. В кино сходим, на базаре побываем.

Санька решил, что такого случая пропустить никак нельзя. Он вопросительно посмотрел на мать.

— Поезжай, Саня! — обрадовалась Катерина. — На почту зайдешь, письма спросишь.

— Это же Тимкино дело.

— Тихий он очень... сму, поди, и писем недодают. А ты побойчее поговори там, побеспокой людей. Может, отцово-то письмо в уголочке завалялось, лежит себе и лежит. Хорошенько пусть поищут.

— Ладно, зайду, — согласился Санька.

Утром он помог неповоротливой Евдокии запрячь лошадей. Сам надел хомут на вислогубого, старого Муромца, затянул супонь, завязал чересседельник. Наконец тронулись в путь.

Санька с Петькой ехали на Муромце впереди, Евдокия на другой подводе — сзади.

По дороге подводы нагнали Тимку Колечкина.

— На почту? — спросил Санька. — Садись, подвезем.

Тимка забрался на телегу, снял широкий картуз и вытер вспотевший лоб.

— Запарился, почтарь?

— Тяжелая у меня работа, Коншак.

— Что так?

— Если письмо — у которых муж или там сын живой на фронте, так ничего. А намедни вот Ульяне Князьковой извещение привез: муж пропал без вести. А у нее пятеро ребятишек осталось. Третьего дня тетке Даше — сына убило. На той неделе — Вороновым. От меня люди, как от чумного, теперь шарахаются... Да и тятка все вспоминается. Нет, пусть другой кто за письмами ходит...

— Ну-ну, — вздохнул Санька. — Раз поручено, доставляй. — И, помолчав, спросил: — У тебя отец кем на войне был?

— Сапер... Тоже работа тяжелая. На mine подорвался. — И Тимка часто заморгал глазами. — Если бы тятка был жив, разве я бросил бы школу? Учился бы в шестом классе вместе с тобой.

Санька подумал о своем отце. Почему-то вспомнился летний погожий день, когда они всей семьей отправились в Локтево, к родне в гости. Феня, разряженная, как невеста, в бусах и лентах, шагала впереди, за ней отец с Никитой на плече, рядом с ним мать, а позади всех Санька. Он был сердит и ни с кем не разговаривал. Мать ради гостей заставила его обуть новые, скрипучие, с непомерно длинными носами штиблеты, а отец, пообещав повезти всю семью в гости в рессорной тележке, вместо этого повел их в Локтево тихой полевой дорогой.

Отец шел медленно, забредал по пояс в пшеницу, перебирал пальцами колосья, щурил глаза.

— Мать, ребятишки! Благодать-то какая! Завалимся хлебом к осени.

Потом, нарвав пустотелых дудок, он принялся мастерить дудейки, которые пели птичьими голосами; из стеблей пшеницы делал пищалки с жалостливым, тонким звуком; из веток ивы и ракиты — оглушительные свистульки. Невероятный концерт огласил окрестность. Ребята гудели, свистели, издавали соловьиные трели.

Потом они вошли в лес. Молодой, прозрачный, он приветливо шумел листвой, точно Коншаковы шли в гости не в Локтево, а вот к этим березам, осинам, елям. По каким-то неуловимым приметам отец находил гнезда птиц, выслеживал ежа, белку или, улегшись около муравьиной кучи, рассказывал про трудолюбивую жизнь ее обитателей. Ребята как замороженные бродили за отцом. Санька давно забыл свою утреннюю обиду, длинноносые штиблеты уже не тяготили его. Он набрал полную фуражку птичьих яиц, весь был облеплен паутиной, измазался смолой.

— А в гости-то, Егор! — спохватилась вдруг Катерина. —

Поди, заждались нас.— И, оглядев отца и ребятишек, всплеснула руками: — Я ли не обряжала их! Стирано, глажено... А на что вы теперь похожи? Углежоги, мазепы!

— Не беда,— засмеялся Егор.— У нас тут и свой праздник ладный выходит.

...К полудню подводы прибыли в город. Евдокия сдала молоко и поставила лошадей кормиться. Потом, захватив сына, отправилась на базар.

Санька с Тимкой пошли на почту.

По дороге посмотрели картинки в витрине кино, купили в палатке розовых петушков в подарок малышам, заглянули на стадион, где когда-то Санька с отцом смотрели футбольный матч. Сейчас на стадионе в футбол никто не играл, а какие-то парнишки кололи штыками хворостяные чучела.

— Они тоже воевать будут? — спросил Тимка.

— Это у них всевобуч,— пояснил Санька.— Они еще пока гражданские.

На почте служащий подал Тимке объемистую пачку газет и писем:

— Стожаровские прибыли. Полным-полна ваша коробушка.

— Тима, а нам письма нету? — шепнул Санька.— Давай посмотрим.

Тимке самому не терпелось разобрать почту. Они вышли на сквер, сели на скамейку и принялись рассматривать письма: были тут и открытки, и затертые бумажные треугольники, и конверты, склеенные из газетной бумаги.

— «Марине Ивановне Ракитиной»,— прочел Тимка и представил, как сегодня вечером он зайдет с этим бумажным треугольником к Машиной матери.

Тетя Марина долго будет вытирать фартуком руки, потом бережно примет письмо на ладони, поднесет близко к лампе, прочтет и, спохватившись, поставит перед Тимкой крынку с молоком, нарежет большими ломтями хлеб и примется угощать: «За себя не хочешь, за Андрея Иваныча поешь. Чтобы он вот так же сыт был, поправился скорей».

Это письмо Тимка занесет Колесовым.

Старик Иван соберет многочисленную семью, пригласит соседей, оседлает нос очками в жестяной оправе и растянет чтение письма от сына-танкиста на добрый час.

— А нам нет и нет,— вздохнул Санька и подумал, что же он скажет дома матери.

Но что это? Пальцы его выхватили из пачки писем конверт из плотной белой бумаги. Адрес выбит четко, на машинке: область, район, сельсовет. «Село Стожары, колхоз имени Пушкина, Катерине Васильевне Коншаковой».

«Коншаковой, Коншаковой...» — про себя повторял Санька.

Но почему адрес и номер полевой почты выбиты на машинке и конверт такой аккуратный, а все письмо тоненькое, легкое? Нет, это не от отца. Письма от него обычно приходили пухлые, увесистые, конверт был зашит суровой ниткой.

От кого же тогда?

У Саньки похолодели руки, он растерянно оглянулся, встретился глазами с Тимкой.

— Чего ты, Саня? Ну чего?.. — тихо и встревоженно шепнул тот. — Ты читай.

Санька робко надорвал конверт.

— «Ваш муж, Егор Платонович Коншаков, погиб смертью храбрых в боях за Родину», — прочел он.

*

Всю обратную дорогу Муромцем правил Тимка, а Санька пластом лежал на телеге, лицом вниз.

В Стожары подводы вернулись в сумерки.

Санька с трудом сполз с телеги, подошел к лошади и долго не мог рассупонить хомут. Вдруг он скривил лицо, уткнулся в парную шею Муромца и глухо всхлипнул.

— Саня... Ну что ты, право... — засуетился около него Тимка. — Ты крепись... нельзя им волю давать, слезам-то. Знаешь, когда нам похоронная пришла, я совсем почти не плакал... — Голос у Тимки задрожал. — Разве вот ночью только самую малость... А на людях — ни-ни...

Санька с содроганием представил, как он передаст похоронную Катерине. Та взглянет на клочок бумаги пустыми глазами, потом повалится на лавку и заголосит тонким, щемящим душу голосом, как это было с Тимкиной матерью. Прибегут Феня с Никиткой, вцепятся в юбку матери, поднимут рев на всю улицу.

«Нет, что угодно, только не это! — со страхом подумал Санька. — Убегу лучше... домой не покажусь».

Он нащупал в нагрудном кармане гимнастерки хрустящее письмо, сквозь слезы поглядел на белоголового Тимку, оглянулся по сторонам:

— А что, Тимка, если я не покажу матери похоронную-то?

— Это как же? — опешил Тимка. — Дело такое, не утаишь...

— А может, еще ошибка какая... Вон Андрей Иванович два года без вести пропадал, а сейчас объявился.

— Это, конечно, всяко бывает, — неопределенно ответил Тимка и вдруг, потянув Саньку за руку, кивнул в сторону: — Смотри... мачеха твоя.

Санька вздрогнул и оглянулся. Мимо сараев к конюшне быстро шла Катерина. Он поспешно вытер кулаком глаза; едва не по-

ломав ногтей, развязал наконец затянувшуюся супонь, вытащил из гужей дугу и вывел Муромца из оглобель.

— Сейчас первый спрос про письмо... — поежился Тимка.

Санька приблизил к товарищу лицо и шепотом, с неожиданной твердостью сказал:

— Не покажу, и всё тут. И ты не говори. Не было и не было никакого письма. Понятно?

Он глубоко втянул воздух, но тут острый комок вновь подкатил к горлу.

Мать была совсем близко. Чувствуя, что сейчас разревется во весь голос, Санька ударил Муромца вожжами, тот рванулся вперед и тяжелым подкованным копытом наступил мальчику на ногу.

Боль пронзила ступню. Санька вскрикнул, выпустил повод и на одной здоровой ноге запрыгал к телеге.

— Ты что? — подскочил к нему Тимка.

Подбежала Катерина:

— Под копыто угодил! Горе ты мое! — Она опустилась перед сыном на колени и осторожно стянула сапог.

— Совсем одурел мерин... на людей бросается, — пожаловался Санька и погрозил Муромцу, который, опустив голову, стоял у конюшни, словно раздумывая, за что так несправедливо обидел его мальчик.

С помощью Тимки Катерина привела Саньку домой, положила на распухшую ногу примочку и принялась завязывать старым полотенцем.

Боясь, что мать вот-вот заговорит о письме от отца, Санька делал вид, что боль совершенно невыносима: охал, стонал, вскрикивал.

Но Катерина все же спросила.

— Не получал... Никому ничего не было, — потряс головой Санька.

А со стены, с фотографии, на него смотрел отец. Вот он, веселый, сильный, вместе с Катериной и ребятами перед своим домом, вот он в Москве на Сельскохозяйственной выставке рядом с высоким снопом пшеницы.

А теперь? Никогда Санька больше не увидит отца, никогда они с ним не пойдут в поле смотреть хлеба или в луга косить сено. И никто ему так ловко не смастерит свистки и дудки, не поведет в лес к заповедным грибным местам, не споет таких хороших песен про Сибирь, Волгу, про ямщика с его удалой тройкой.

И Санька почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что снова залился слезами.

— Да потерпи ты... мужичок тоже! Ведь не убил тебя жеребец, — сказала Катерина и горько вздохнула: — Эх вы, маломощные! Случись вот беда какая с Егором — как я жить буду с вами?

Саньку уложили в постель.

Когда мать вышла из избы, Тимка оглянулся по сторонам и наклонился над Санькой:

— А я видел... ты нарочно под лошадь сунулся...

— Тимка! — Санька приподнялся и схватил мальчика за руку. — Ты никому... слышишь!.. Никому про письмо не скажешь! Поклянись, Тимка!

Глава 11

ЗЕМЛЯ

Три дня лил теплый весенний дождь. Он, как шваброй, продраил землю, согнал с нее последние следы долгой зимней спячки, и все кругом ожило, зазеленело, стремительно тронулось в рост. Ивы и вербы у речки оперились нежными листьями, точно деревья завесились прозрачной кисеей.

В первое же погожее утро Захар Векшин решил начать копать землю на участке. Он осторожно оделся, чтобы не разбудить Федю, калачиком свернувшегося под одеялом.

Старик умышленно не поднял внука. Хотелось проверить, не белоручка ли тот, потянет ли его к земле, прибежит ли он сам на участок. Перед тем как выйти из дому, Захар подошел к Феде, чтобы накрыть его полушубком. И тут он обнаружил, что под одеялом никого нет. Старик забеспокоился и направился к участку. Еще издали он заметил густой столб дыма. Захар прибавил шагу.

Посредине участка пылал огромный костер. Вокруг суетились Маша и Зина Колесова. Они подбрасывали в огонь прошлогодние огуречные плети, бурые стебли помидоров, собранный со всего участка мусор.

Мальчишки во главе с Федей чинили изгородь: выпрямляли накренившиеся столбы, переплетали перекладины свежим тычинником.

— Та-ак! — удивленно протянул дед Захар. — Самоуправничаете? Хозяевами заделались...

Неожиданно подул ветер, и в углу участка что-то затрещало.

Старик оглянулся. Высокое чучело кивало ему широкополой соломенной шляпой и взмахивало соломенными руками.

Захар обошел чучело кругом и покачал головой:

— Дотошны, смекалисты!

Но тут он услышал голоса птиц. На белых сучьях около новеньких дощатых скворечен прыгали черные, как угли, скворцы. Вот один из них юркнул в круглое отверстие скворечни, через минуту вылез обратно, уселся на ветку березы, растопырил перыш-

ки, счастливо зажмурил глаза и скрипуче запел — как видно, о том, что вот он наконец вернулся из теплых далеких стран в родные края и очень доволен своим новым жильем.

Захар, прикрыв ладонью от солнца глаза, долго слушал скворца, и лицо его светлело все больше и больше.

— Дедушка, — подбежала к нему Маша, — а когда землю начнем копать? Мы и лопаты наточили.

Захар обвел глазами ребят, помял белую в колечках бороду и невольно улыбнулся:

— Ну что с вами поделаешь, неотступные вы люди! Одолели-таки меня. Когда землю копать, спрашиваете? А вы сами примечайте. Видите, скворцы новоселье справляют. Значит, время. Только, чур, — старик согнал с лица улыбку, — забалуетесь или помнете что — зараз от хозяйства отлучу.

— Все слышали? — обратилась Маша к ребятам.

— Это само собой, — сказал Семушкин.

— Если какой инвентарь нужен, вы не стесняйтесь, берите в теплице, — разрешил Захар.

— Она же на замке, дедушка. И ключ вы завсегда прячете, — заметила Маша.

— Ах, да, да! — засмеялся старик и показал ребятам, куда он убирает ключ от теплицы.

Потом он расставил ребят по участку. Все принялись копать землю.

Федя, цепко держа заступ в руках, с хрустом вогнал его в жирную землю, выворотил тяжелый ком и разрубил крепкую дернину.

Рядом с ним копала землю Маша. Она любила эту работу. Весной мать обычно отводила ей на огороде отдельную грядку, и Маша сама вскапывала ее и засекала. Огурцы и капуста мало интересовали Машу. Ей хотелось вырастить что-нибудь необыкновенное, никогда не виданное в деревне. Однажды по совету Андрея Ивановича она посеяла на грядке зернышки с загадочным и нездешним названием — люфа. Новое растение, как хмель, опутало плетень, зацвело крупными белыми цветами и завязало плоды, похожие на огурцы. Но к осени обнаружилось, что новые огурцы жестки, мочалисты, несъедобны, и даже коровы брезговали ими.

Ребята подшучивали над Машей, сочиняли про ее люфу веселые песенки, пока учитель не посоветовал девочке опустить плоды люфы в чугунок с кипятком. Плоды разварились, и Маша вытащила из чугуна мочалки, напоминающие морские губки.

«И то не беда! Овощ не получилась — мочалка в доме пригодится», — похвалила девочку мать.

Ребята поработали на участке часа полтора, потом побежали в школу.

Маша решила, что она сегодня обязательно поговорит с Санькой. Но в классе его не было. Кто-то сказал, что лошадь отдавила Саньке ногу и он сидит дома.

После занятий Маша отправилась в Большой конец, на колодец — вода в том колодце была самая чистая и вкусная, и, кроме того, по пути можно заглянуть к Коншаковым.

Девочка привязала конец звонкой холодной цепи к дужке ведра и, притормаживая ладошкой быстро крутящийся вóрот, опустила ведро на дно колодца. Потом, поплевав на руки, принялась вытягивать цепь обратно. И сразу почувствовала неладное: цепь не вздрагивала и не звенела, как туго натянутая струна.

Маша заглянула в колодец и обмерла: ведра на конце цепи не было. Девочка расстроилась: ведро новенькое, из светлой жести, мать его совсем недавно купила в городе.

Подошел Семушкин:

— Ведро упустила? Не горюй, мы его зараз вытащим.

Он принес откуда-то старый багор, привязал к цепи и принялся шарить им по дну колодца.

Собрались мальчишки Большого конца. Словно почуяв, что можно позубоскалить, примчался Девяткин; прихрамывая и опираясь на палочку, подошел Санька.

Все заглядывали в глубокий, немного таинственный колодец, давали друг другу множество советов, в какой раз опускали на дно багор, но ведро зацепить не могли.

— Не на ту приманку удите, рыбаки! — веселился Девяткин. — Вы на муху попробуйте или на червяка. — Потом дурашливо запел: — «Потеряла я ведерко, потеряла я ведро...» Вечная ему память!

— В самом деле, Маша, — уныло вздохнул Семушкин, — не достать нам его.

— Эх вы, мужики! — с укором бросила Маша. — Будь я мальчишкой, я не только в колодец, я бы... я бы со дна моря что хошь достала.

— Ох, ретива! — захохотал Девяткин. — «Со дна моря»... А море — курице по колено, шапкой покроешь.

— Чего ты, как гром, грохочешь! — вспыхнула Маша. — Вот захочу и... достану!

— Держите меня! — Девяткин повалился на землю и задрывал ногами. — Она достанет! Это как тогда в ледоход через реку бегала... Умора!

У Маши задрожали губы.

— А я говорю, — выкрикнула она, — вот обвяжите меня цепью... спускайте в колодец!

Мальчишки ахнули. Степа потянул ее за рукав и покачал головой.

Маша и сама понимала, что наговорила лишнего, но остановиться уже не могла. Схватила конец цепи и принялась опоясываться, как ремнем.

Санька, который до сих пор сидел в стороне и ковырял палочкой землю, вдруг поднялся, заглянул в колодезь, потом отобрал у девочки цепь и кивнул Девяткину:

— Неси полено.

— Какое полено? — осклабился тот.

— Березовое, можно и осиновое. И чтобы без сучков. Живо!

Девяткин пожал плечами, оттопырил нижнюю губу, но за поленом все же сходил.

Санька обвязал полено цепью, сел на него верхом, взял в руки багор и приказал мальчишкам опускать себя в колодезь. Похрустывая, цепь медленно поползла вниз. Где-то очень глубоко таинственно мерцала зеленая вода. Повеяло холодом, запахло плесенью, гнилым деревом, кругом сгущалась темнота. Сердце у Саньки замерло. Почему-то пришло в голову, что все, кто остался там наверху, на солнце, сейчас разбегутся и он навсегда останется в узком, душном колодезе.

Чтобы не было так страшно, Санька то и дело подавал наверх команды: «Прибавь ходу!», «Ровнее спускай!»

Наконец багор плеснул по воде.

— Стоп! — крикнул Санька.

Цепь замерла, и он принялся шарить багром по дну колодца. Минут через десять мальчишки подняли Саньку наверх. В руке он держал светлое жестяное ведро.

Мальчик ступил на землю. Всё кругом — зеленая трава на улице, шумящая от ветра листва на деревьях, солнце над головой — выглядело таким несказанно радостным и привлекательным, что он невольно зажмурился.

А Маше показалось, что у Саньки засорились глаза от паутины, которая облепила его лицо, и она подошла к нему с ведром воды:

— Умойся, Саня!

Когда же все начали расходиться от колодца, Маша не выдержала, догнала Саньку.

— Саня, — помолчав, призналась она, — а я бы ни за что не могла в колодезь полезть... Темно там, склизко... жабы, наверное...

— Я знал, что не могла.

Она покосилась на закутанную ногу мальчика:

— Сказывают, тебя лошадь копытом ударила. Больно, Саня?

— До свадьбы заживет.

— А как заживет, придешь к нам на участок работать?

— В грядках копать? — Санька невесело усмехнулся. — Цветочки-ягодки разводить? А может, опять люфу-мочалку выращивать?

— Зачем люфу! — обиделась Маша. — Разные сорта семян будем испытывать. Знаешь, сколько мы их насобирали! А дедушка такой сорт пшеницы нашел — все, говорит, сорта побьет.

— Было когда-то хорошее зерно... Слышала, что с ним мать сделала? Какие уж теперь опыты на голом месте!

— А отец твой, Саня...

— Что — отец?! Что ты знаешь про моего отца?! — Санька резко, всем корпусом, повернулся к Маше. — Ему тринадцати лет не было, а он за плугом ходил, семью кормил. Всю жизнь за землю держался. Пока свою пшеницу не выходил, пять лет бился над ней...

— И мы... пять лет можем! — запальчиво спорила Маша.

— Хоть десять! А мне с вами делать нечего. — Санька вяло махнул рукой и, опираясь на палочку, медленно побрел к дому.

«Что это с ним? — подумала Маша, удивленная столь неожиданной вспышкой. — Щетинится, как еж колючий. Слушать ничего не хочет...»

«Векшинская бригада», как прозвали в колхозе помощников деда Захара, между тем собиралась на участке почти каждый день.

Ребята вскопали всю землю; как лист бумаги, разлиновали ее на клетки, понаделали грядок.

Починили изгородь, построили шалаш, протянули через участок проволоку, увешанную пустыми консервными банками, бутылками, железными обручами из-под бочек. Стоило кому-либо приоткрыть калитку, и участок наполнялся веселым бренчанием, звоном и треньканьем.

Один за другим мальчишки Большого конца вступали в «векшинскую бригаду».

Однажды Санька с Петькой встретили у околицы Степу Так-на-Так.

Согнувшись в три погибели, тот тащил к участку огромную вязанку прошлогодних стеблей подсолнечника.

— И тебя завербовали? Грузчиком или как? — Девяткин загородил ему дорогу.

— Что ж, Степан? — спросил Санька. — Собирались в поле вместе работать, а ты вон куда...

— Понимаешь, Коншак... — Степа опустил на землю вязанку стеблей и вытер потное лицо. — Занятную штуку Федя придумал... водопровод строим.

— Водопровод?!

— Вот стебли подсолнуха срастим и проведем к реке. А там бочку поставим, журавль... Вода самоходом и пойдет. Нам теперь никакая засуха не страшна. Мы еще с Федей ручной культиватор изобретаем!

— Изобретают изобретатели, а вы кто такие? — сказал Девяткин.

Но Степа сделал вид, что опять не заметил его.

— Ты ходи, да оглядывайся! — строго предупредил Девяткин. — Еще наши рыбные места покажешь этому Феде, а потом за грибами, за ягодами поведешь в заповедные участки. Смотри у нас!

— Нужны ему ваши места! — засмеялся Степа. — Он сам что угодно найдет. Знаешь у него глаз какой! Он нам вчера целебные травы пояснял: какая кровь останавливает, какая рану заживляет. Они с дедушкой партизан ими лечили в отряде.

— А ну, изобретатель, разбрасывай свое добро на все четыре стороны! — строго приказал Девяткин и начал развязывать веревку, стягивавшую вязанку.

— Не тронь! — остановил его Санька. — Пусть забавляется, его дело.

Девяткин неодобрительно покачал головой:

— Чего ты раскис, Коншак? Так же весь наш конец переметнется в Федькину команду.

Но Санька, казалось, не замечал недовольного вида Девяткина.

Глава 12

НА ПОМОЩЬ

С утра деда Захара не было дома, и Федя решил постирать белье.

Принес из колодца воды, с речки — мелкого песку, приготовил из рогожи мочалку.

Потом намочил в воде свою заношенную гимнастерку; как на стиральной доске, расстелил ее на плоском камне, что лежал около крыльца, посыпал песком, немного помылил и принялся яростно тереть мочалкой. Хлопья мыльной пены летели во все стороны, лопались радужные пузыри.

Федя спешил: не ровен час, прибежит Маша, возьмется, конечно, помогать да учить, а он любит стирать по-своему.

— Ой, прачка, ой, домоводка! — услышал вдруг Федя чей-то голос. — С таким усердием не только рубаху — камень протрешь.

Федя оглянулся. За его спиной стояла Катерина Коншакова.

— Где это видано, чтобы белье так стирали?

— Видано, — немного обидевшись, ответил Федя. — У нас в отряде все так делали. И чисто, и мыла меньше идет.

Катерина покачала головой и вспомнила недавний разговор с Захаром.

Старик рассказал ей, что Федину мать, бригадира из совхоза «Высокое», захватили немцы, когда она поджигала хлеба, и бросили в огонь.

— Чего вы смотрите так? — неловко поеживаясь, привстал Федя, заметив пристальный взгляд Катерины.

— Нет, нет... я ничего, — спохватилась Катерина. — Как вы тут с дедушкой-то живете?

— Хорошо живем...

Катерина прошла в избу. Пол был вымыт наполовину, чело у печки закоптело от сажи, посуда на столе стояла грязная.

«Собрались две сиротины — старый да малый», — с жалостью подумала Катерина, потом скинула ватник и кивнула Феде:

— Ну-ка давай вместе... Воды нагреем, пол поскребем. Вы теперь с дедушкой не в лесу живете. Да и Первомай скоро. Вот и Маша на подмогу скачет, — заметила она бегущую через улицу девочку.

Когда дед Захар вернулся домой, Катерина уже развешивала на веревки выстиранное белье.

Почерневший стол был выскоблен, вымытый пол застелен вкусно пахнущими рогожами.

— Это что за мирская помощь такая? — насупился Захар, останавливаясь на пороге избы. — А если я не нуждаюсь?

— Услуга за услугу, Захар Митрич, — сказала Катерина и, вывернув карманы ватника, высыпала на стол зерна пшеницы. — Смотрите, какие семена для посева получила — овса полно. Два раза через сортировку пропускала — ну никак не отходит! Как тут сеять будешь?

Старик надел очки, долго перебирал зерна и согласился, что сеять таким засоренным зерном толку мало.

— Что ж делать, Захар Митрич, посоветуйте, — попросила Катерина.

— Егор Платонович как поступал, вспомни-ка? И так хороши семена, а он их еще вручную переберет. Каждую соринку удалит. А от этого урожая только прибавка.

— И мамка моя тоже так делала, — тихо сказал Федя, выбирая из кучи зерен серебристые шероховатые овсинки.

— Думала я об этом, — призналась Катерина. — Получи мы семена пораньше — давно бы перебрали, ни с чем не посчитались. А теперь когда же... сев подходит.

Трудно сказать, кто кого первый подтолкнул под локоть, но только Федя с Машей переглянулись и отошли в угол.

— Ты тоже об этом подумал? — шепотом спросила Маша. Федя кивнул головой.

— Посчитай, сколько ребят можно созвать?

— Для начала человек пятнадцать — двадцать...

— Давай так и скажем.

Они подошли к столу.

— Тетя Катя, — начала девочка, — мы много ребят созовем...

— Зерно перебирать — это не хитро. Справимся, — добавил Федя.

Катерина подняла голову, удивленно посмотрела на Машу и Федю, потом перевела взгляд на деда Захара.

— А ведь сущая правда! — Старик польщенно улыбнулся: я-то, мол, ребят вот как знаю!

— Охота есть, милости прошу! — обрадовалась Катерина. — Да у них же школа... экзамены скоро.

— А мы после занятий, это не помешает, — сказала Маша.

На другой день было воскресенье, но Катерина рано утром подняла колхозниц и вывела к амбару перебирать пшеницу.

Пришли помогать матери Санька и Феня.

Феня принялась за дело старательно, бойко, но Санька еле шевелил пальцами, молчал и недовольно поглядывал на ворох зерна.

«Что это с ним? Работа не по душе или приболел чем? — с тревогой подумала Катерина. — Как неживой ходит в последние дни».

И она шепнула ему:

— Может, уроков много... так иди занимайся.

Санька поднял голову. В самом деле! Работа здесь скучная, конца ей не будет. Лучше он пойдет на конюшню или в кузницу. Там куда интереснее! Но не успел Санька подняться, как к амбару во главе с Машей и Федей подошла большая компания мальчишек и девчонок. Они разместились вокруг вороха зерна и принялись за работу.

— Это ты столько народу созвал? — вполголоса спросила у брата Феня.

Санька сделал вид, что не расслышал, и с недоумением посмотрел на подошедших ребят. И кому это в голову пришло собрать их? Неужели Феде с Машей?

Маша втиснулась между Феней и Санькой, отгребла себе кучку семян:

— А давай кто быстрее, Саня... на спор! — И пальцы ее проворно начали выбирать из пшеницы зерна овса.

Санька молча отодвинулся в сторону.

— Чего неволишь себя? — наклонилась к нему Катерина. — Нужно куда, так иди... Управимся теперь...

Санька вдруг ощутил, как трудно ему подняться и сделать хотя бы несколько шагов в сторону от амбара.

— Никуда мне не нужно, — сказал он вполголоса и низко склонился над зерном.

— Тетенька Пелагея,— обратилась Маша к Колечкиной, которая напевала протяжную, унылую песню,— а вы другую знаете? Чтобы не такая скучная. А то мы свою запоем.

— Вот и правильно,— поддержала Катерина.— Начинайте.

Маша кивнула Зине Колесовой, и та, переводя дыхание, не сильным, но чистым голосом затянула «Катюшу».

Три дня после школы компания Феди и Маши приходила к амбару. Наконец зерна были отобраны одно к одному. Катерина не знала, как отблагодарить неожиданных помощников.

— Потерпите вот до нового урожая — пирогами вас угощу, пампушками, бражки наварю,— пообещала она.

— Это мы любим,— подморгнул ребятам Семушкин.— У нас один Степа без передышки целый жбан выпить может.

Возбужденные тем, что так славно поработали, пионеры вместе с Леной Одинцовой шли вдоль Стожар.

Темнота сгущалась, в окнах зажигались огни.

— А крепко нажали! — похвалился Семушкин.— Я этих зерен миллион, поди, перебрал.

— Миллион! — усмехнулся Степа.— Ну, а сжевал сколько?

— Насчет зерна вы хорошо придумали,— сказала Лена.

— А знаете что? — вдруг остановился Федя.— Давайте до конца Катерининой бригаде помогать, до самого урожая!

— А правда... давайте, ребята! — загорелась Маша.

— Вы дедушку-то не забывайте,— усмехнулась Лена и спросила, как ребятам работается в хозяйстве Векшина.

— Ладить начинаем,— ответила Маша.— Дедушка показал даже, куда ключ от теплицы убирает.

— Придирается он очень, Векшин,— сказал Семушкин.

— Совсем не придирается, а требует,— возразила Маша.— И правильно. Тебе вчера одну грядку прополоть дали, а ты треть половины сделал и купаться убежал.

— А знаешь, солнышко как припекало! Надо остыть немножко.

— «Немножко»! А сам до сумерек раков ловил.

— Дед Захар порядочек любит,— засмеялась Лена.— Мы, когда у него работали, тоже сначала думали, что он придирается. А теперь на себе чувствуем — всё на пользу пошло. Он чудодей, дедушка, каждую травку знает... шестьдесят лет на земле трудится. Вы его, как учителя в школе, слушайте, все советы запомните.

Мерцающая звезда, стремительно прочертив небо, упала за темной зубчатой грядой леса. Ребята проводили ее взглядами и, запрокинув головы, долго смотрели на небо, где, как на могучей кроне дерева, зрели спелые звезды.

— Вам Андрей Иванович про звезды рассказывал? — тихо спросила Лена.

— Часто, — ответил Степа.

— А созвездие Стожары можете найти?

Ребята долго блуждали в серебристом лабиринте созвездий, сбивались с пути, возвращались к Большой Медведице и вновь отправлялись в поиски.

— Вижу, вижу! — первой закричала Маша. — Вон они, Стожары, семь маленьких звездочек. Андрей Иванович всегда говорил: «Наша деревня счастливая, у нее имя звездное».

И, оторвав глаза от неба, ребята заговорили о войне, о Красной Армии, о том, может быть уже недалеко, дне, когда отцы и старшие братья вернутся в родные Стожары.

Глава 13

«ПЕРВОПРИЧИНА»

Катерина по-прежнему с нетерпением ждала писем от Егора. Всех, кто ехал в город, она просила непременно зайти на почту да построже разговаривать там со служащими — не иначе как теряют они солдатские письма.

*

— И чудная у тебя мать, Коншак, — как-то раз сказал Девяткин.

— Сам ты чудной! — вспыхнул Санька. — Не получай твоя мать писем столько времени, не только человека — птицу и ту попросишь: слетай, мол...

Опасаясь, как бы похоронная не попала случайно в руки матери, Санька носил ее постоянно при себе, в нагрудном кармане, и, ложась спать, всегда клал гимнастерку под подушку.

Уличные забавы и развлечения теперь мало занимали Саньку. Ни звонкие удары лапты по мячу, ни клекающий стук деревянных рюх о городки, ни восторженный рев победившей команды — ничто, казалось, не могло вывести мальчика из оцепенения.

— Ну что ты, право, какой... — опечаленно упрекал товарища Тимка, когда тот, вопреки правилам, оставлял игру в самом ее разгаре или просто проходил мимо играющих.

И, желая отвлечь мысль Саньки в другую сторону, рассказывал, как они вчера чуть-чуть не обыграли в лапту партию Алеши Семушкина.

— Мы бы обязательно победили, да у нас на выручке Петька Девяткин стоял. А какой же у Петьки удар! Вот если бы ты был с нами...

Санька молча смотрел в сторону. Он понимал, что горя сейчас у всех очень много, но от этого ему было не легче.

Были, однако, минуты, когда печаль как будто оставляла Саньку. Дробный стук топоров и пофыркивание пил около строящихся изб, звон железа в кузнице, ржание коней на лугу заставляли его на время забывать о своей потере.

После школы Санька подолгу задерживался у кузницы или бежал на конюшню.

Помогал конюху Василисе Седельниковой распрягать лошадей после работы, потом взбирался на спину своего старого друга Муромца и гнал их в ночное.

Зная, что кони за день устали, Санька щадил их, и только перед самым табуном он не выдерживал и пускал в галоп.

И тогда ему казалось, что это не он, а отец со своим эскадронном летит по зеленому лугу, взмахивает клинком и рубит фашистов.

Седельникова сначала сердилась на Саньку:

— Ты мне, казак-наездник, всех коней запалишь!

Но, увидев, как мальчик уверенно, без страха подходит к лошадям, как хорошо знает их повадки, сменила гнев на милость:

— Просись-ка, Саня, в подручные ко мне. Младшим конюхом тебя поставлю. Трудодни буду начислять...

Набравшись смелости, Санька попросил мать отпустить его работать на конюшню.

— Опять за старое,— нахмурилась Катерина.— И не выдумывай! Покуда седьмой класс не кончишь, никуда тебя не пущу. Отец как наказывал? Худо будет — последнюю одежду продать, корову порешить, а тебя учить, что бы там ни было.

Санька задумался. Это верно. Отец часто твердил:

«Ты, Саня, в сорочке родился. Теперь хоть до второго пришествия учись».

Он любил спрашивать, какие заданы сыну уроки, заглядывал в тетради, вызывался решать задачки.

«Это ничего, что мы в свое время таких не решали... я умом дойду».

Но, справившись с задачей, отец не спешил с подсказкой, а только лукаво ухмылялся:

«Думаешь, подскажу? Как бы не так! Сам попотей, на чужое да на готовенькое не зарься».

Особенно радовали отца стихи Пушкина, Кольцова, Некрасова, которые Санька заучивал наизусть. Егор радовался им, как добрым старым знакомым, и сам нередко вспоминал несколько строк:

Он видел, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно,
Как поле потом зеленеть начинает...

«Вот, брат, каленым железом выжгло. Навек укоренилось».

Потом Санька не без гордости отметил, что отцу становится все труднее и труднее состязаться с ним в знаниях.

«Превышаешь ты меня,— соглашался отец.— Ну что ж, ты нись сынок, добирайся до высокой науки. Мы с матерью ничего не пожалеем».

Но зачем все это Саньке теперь, если отец больше не заглянет в его тетради, никогда не придет в школу поговорить с учителями!..

Матери Санька послушаться не посмел — на конюшню не ушел, но от своих планов не отказался и без дела не сидел ни минуты.

Ловил рыбу, ходил в лес, обдирал с лип кору, которую потом замачивал в пруду, и плел из лыка веревки. С нетерпением ждал лета, когда можно будет собирать грибы, ягоды, ловить пчелиные рои. Бывают такие заблудшие пчелы: прилетят неизвестно откуда, сядут на дерево или на крышу избы — и тут только не зевай.

Потом нарезал у речки молодых ракушечных прутьев и принялся плести корзины и верши для рыбной ловли.

Одному работать было скучно, и он позвал Тимку Колечкина, Васю Строкина.

Тимке тоже жилось нелегко. Два раза в неделю шагал он на почту за письмами, потом разносил их по колхозу. Хватало работы и дома. Тимка копал огород, вязал веники для козы, рубил хворост, кормил маленьких сестренок и по несколько раз в день отводил в стадо рыжего теленка, который был так глуп, что через полчаса прибегал обратно и забивался в хлев.

Мальчишки частенько обижали малосильного, застенчивого Тимку, и он редко появлялся на улице.

Но с некоторых пор обидеть или обмануть доверчивого Тимку стало невозможно. Всегда за его спиной вырастал хмурый, взъерошенный Санька.

— Имей в виду! — говорил он многозначительно и, заложив руки за спину, вплотную подходил к Тимкиному обидчику.

И мальчишки знали, что после таких слов Коншаку лучше не перечить.

А Санька все больше привязывался к тихому белоголовому Тимке, и все удивлялись этой странной дружбе.

После школы он приходил к Колечкиным, помогал Тимке по хозяйству, и мальчишки не раз видели, как Санька с Тимкой водили в стадо упирающегося теленка. Потом Санька принимался за уроки, а Тимка сидел рядом, заглядывал через плечо и вздыхал — так далеко он отстал от Саньки.

Корзины у Саньки и Тимки в первое время получались ко-

собокіе, неуклюжіе, но колхозніцы брали их охотно и расплачивались хлебом, картошкой, молоком.

Посыпались заказы: кому нужна была корзина для белья, кому — для сена.

Петька Девяткин, прослышав о выгодной Санькиной затее, напросился принять его в пай и предложил безвозмездно пользоваться его ножом о двух лезвиях.

А через день он заявил, что пайщики продают корзины непомерно дешево и цены надо повысить.

— Еще чего! — возразил Санька. — Со своими да торговаться будем?

Потом он занялся огородом.

Началось это с того, что Евдокия Девяткина с Петькой вскопали весь свой усадебный участок да еще прихватили изрядный кусок колхозной луговины.

— Куда вам столько? — как-то спросил Санька у Петьки Девяткина. — Подавитесь!

— Эге! — ухмыльнулся тот. — С огородом теперь не пропадешь. Сейчас и в городе у всех огороды.

Санька посмотрел на свою усадьбу. Мать почти все дни проводила в поле, и огород был вскопан только наполовину.

Санька взялся за заступ. Копал до позднего вечера и так утомился, что, ужиная, даже задремал за столом.

Утром проснулся задолго до школы и вновь вышел на огород. Приветливо шумели старые дуплистые липы, отделявшие усадьбу Коншаковых от усадьбы Девяткиных. С весной они помолодели, покрылись густой зеленой листвой. Дальше росла черемуха. Она была огромная и белая, словно облако, которое зацепилось за изгородь и теперь не могло сняться и улететь.

За черемухой на самом дальнем конце усадьбы тянулся к небу молодой тополь. Его посадил отец в тот год, когда Санька учился в первом классе.

«Дружок твой, — сказал он сыну. — Посмотрю вот, кто из вас вырастет быстрее да кто корнями за землю крепче уцепится».

Черенок тополя долго не приживался, а потом все же пустил побеги и сейчас выглядел высоким, стройным деревцом.

Но что это делает Петька около его друга тополя?

Санька взгляделся и побежал к деревцу. Петька уже успел вскопать метра полтора коншаковской усадьбы и теперь, дойдя до тополя, перерубал заступом его корни.

— Ты... ты что это?! — задохнулся Санька.

— Ничто ему... дерево живучее... — фыркнул Петька. — Все равно на огороде у вас один репей вырастет.

Этого уж Санька стерпеть не мог. Он выхватил у Петьки заступ и, размахнувшись, забросил его в крапиву.

— Вон! Вон с нашей усадьбы!

Но Петька «вон» не пошел, а, изловчившись, схватил Санькин заступ. Санька бросился отнимать, и мальчишки покатились по вскопанной, рыхлой земле.

Из изб выбежали Евдокия с Катериной и растащили сцепившихся приятелей.

Узнав, что ссора произошла из-за тополя и усадьбы, Катерина невольно рассмеялась:

— Глупый! Да пусть копают на здоровье. Такие уж у них руки загребушие, глаза завидушие... Не об огороде у меня сейчас думка, Саня.— Она посмотрела в поле на черные квадраты колхозной вспаханной земли.— Вот она, надежда наша, крепость каменная...

Но Санька все же решил, что не позволит Девяткиным хозяйничать у них на усадьбе, и упрямо продолжал копать огород. Потом он поправил завалившуюся изгородь вокруг усадьбы, сложил в аккуратную поленницу лежавшие грудой дрова, перебрал шаткие, скрипучие ступеньки у крыльца.

По вечерам Санька старался ложиться спать последним. Выходил на улицу, осматривал, не забыты ли на крыльце веревка или ведро, проверял, плотно ли закрыты ворота, надежен ли засов у калитки.

Когда Никитка с Феней начинали возню в доме или ссорились, Санька строго на них прикрикивал:

— Совсем избаловались, маломощные! Вот я вас приберу к рукам!

А как-то раз за обедом звонко щелкнул Никитку по лбу ложкой, когда тот прежде времени начал вылавливать из миски куски мяса:

— Куда гонишь спозаранку? Сигнал жди.— И, выдержав паузу, постучал о край миски и объявил: — Теперь можно.

После школы Санька редко задерживался на улице, сразу же бежал домой.

— Домоседом стал, Коншак,— упрекал его Петька,— всё кости на печке прогреваешь.

— Тебе что! Из школы пришел, шей навернул и болтай болты хоть до утра! — сердился Санька.— А у меня дом на шее. За всем присмотр нужен.

За этими новыми делами и заботами школа стала отодвигаться назад. Возвращаясь домой, Санька на скорую руку готовил уроки, а порою и совсем не раскрывал учебников, хотя никогда учение не было ему в тягость. Науки давались Саньке легко, он жадно глотал книги, любил опережать в знаниях товарищей, и если что мешало ему, так это нетерпение. Мальчику всегда хотелось знать заранее, что же завтра расскажут учителя, какую новую страницу откроют перед ним. Это было как в раннем детстве, когда Санька, совсем еще малыш, в жаркий летний полдень

ушел от своего дома, чтобы посмотреть, что же там, за околицей деревни. А от околицы потянуло к реке, от реки — к пригорку. И Санька брел и брел, пока отец не догнал его и не принес на руках домой.

Теперь же Санька все реже и реже радовал учителей ясными и твердыми ответами, и те никак не могли понять, что случилось с мальчиком. Правда, первая двойка, которую получил Саня, наполнила его жгучим стыдом.

— Печально, Коншаков! Садись. Очень печально, — со вздохом сказала Надежда Петровна. — А впрочем, обожди. Попробуем выяснить, в чем тут первопричина.

Кроша мел и шмыгая носом, Санька тут же, на скорую руку, придумал «первопричину»: мол, мать у него целый день в поле, а он и за домом следит, и огород копает.

— Правильно, правильно! — поддержали Саньку дружки. — Хозяйство у него большое, едоков много, и корзинки плести надо...

Глава 14

БЕЗ ХОЗЯИНА ДОМ СИРОТА

После школы Санька направился к матери на делянку.

В поле шел сев. Земля, точно гребнем, была расчесана зубьями борон.

На краю Старой Пустоши, где лежала делянка Катерины, Санька заметил Захара Векшина. Лукошко, точно огромная спелая тыква, висело у него на груди. В белой холщовой рубаше, без шапки, старик торжественно шагал по делянке, мерно взмахивая правой рукой, и зерна, просвечивая на солнце, падали на землю частым золотым дождем. На межнике стояли Маша, Федя и Степа и наблюдали за севом.

Захар дошел до конца делянки, постучал по пустому лукошку и крикнул:

— Семена кончились! Поторопите-ка там...

Маша с Федей первые выбежали на дорогу. На взгорок поднималась подвода с мешками. Катерина и Лена Одинцова подталкивали ее сзади.

Неожиданно оборвался веревочный тяж, и подвода остановилась. Катерина распрягла лошадь, связала концы веревки. Но запрячь лошадь обратно в телегу было не так просто. В этот раз ей попался не спокойный, покладистый Муромец, а придурковатая, озорная кобыла Лиска. Она с такой жадностью припала к молодой траве у обочины дороги, словно ее целую неделю морили голодом, и никак не хотела входить в оглобли.

Катерина в сердцах замахнулась на лошадь вожжами. Лиска взбрыкнула, шарахнулась в сторону и помчалась в поле.

Санька бросился наперерез лошади. Та на мгновение приостановилась, скосила на мальчика хитрый лиловый глаз, словно хотела сказать: «Попробуй теперь слови!» — и круто повернула в другую сторону.

Ребята окружили Катерину. Подошел с пустым лукошком дед Захар. Заметив убегающую в хомуте Лиску, он даже поперхнулся от изумления и недовольно покачал головой.

— Ничего, Захар Митрич... Мы на себе перетаскаем — тут недалеко, — растерянно сказала Катерина и, ни на кого не глядя, хотела взвалить на спину мешок.

— С ума рехнулась! — закричал на нее дед Захар. — Шесть пудов в мешке!

— Тетя Катя, не надо! — подбежала к ней Маша и оглянулась по сторонам. Заметила у дороги две длинные жерди. — А если волокушу сделать...

Санька не знал, куда деваться от стыда. Сейчас подойдут колхозницы, бригадир, поднимут мать на смех: «Лошадь в хомуте упустила. Небывалое дело!»

Нет, пока не поздно, надо словить Лиску.

Санька бросился в поле, но Лиска была хитра и злопамятна. Она делала вид, что всецело занята травой, но, как только рука Саньки протягивалась к уздечке, шарахалась в сторону и убегала. Только минут через сорок, прижав Лиску к речной заводи, Саньке удалось словить ее.

Он всунул лошади в рот железные удила, вскочил на спину и пустил в галоп. Лиска отчаянно взбрыкнула задними ногами, но Санька сидел как влитой. Тогда Лиска применила свой излюбленный прием: с разбегу остановилась, повалилась на землю и принялась кататься на спине. Но Санька знал, с кем имеет дело, и вовремя отскочил в сторону. Подпрыгав в воздухе ногами и плотно укатав траву, лошадь поднялась, но Санька вновь вскочил ей на спину.

Поняв наконец, что мальчишку не перехитришь, Лиска смирилась. Санька пригнал ее к телеге, запряг и отвез мешки на делянку.

Когда в сумерки, возвращаясь домой, он проходил мимо избы Девяткиных, навстречу ему выбежал Петька. Он притопнул крепкими, почти новенькими тупоносыми желтыми ботинками, словно собирался пуститься в пляс, потом задрал ногу и показал толстую подошву:

— Видал обновку, Коншак! Непромокаемые, без износу...

Санька пощупал кожу и перевел взгляд на свои разбитые сапоги — до лета, пожалуй, не дотянут.

— Обувка что надо... Откуда такая?

— Спрашиваешь! — подмигнул Петька. — У меня ж matka, если что нужно, из земли выроет, из ноги выломит. — И, спохватившись, засмеялся: — Да ты не думай чего... Обувка законная. Дядя Яков из города прислал, материн брат. Он там в сапожной артели за первого мастера.

Из окна выглянула Евдокия и позвала Петьку ужинать.

— А-а, племянничек! — заметила она Саньку. — Заходи, заходи, давно ты у нас не был.

Санька неохотно вошел в избу.

Евдокия налила в миску дымящихся щей, нарезала хлеба.

— Садись, Саня, поешь.

— Да я же сытый, тетя Дуня! — отказался Санька.

— А побаски потом, когда щец похлебаешь. Знаю я ваш двор, какой он веселый да сытый. Мачеха в поле с утра до вечера, а вы, сироты, всухомятку сидите.

Как ни отказывался Санька, все же Евдокия усадила его за стол.

— Что там за оказия с мачехой-то приключилась?

— Да ничего такого...

— А ты не выгораживай ее! И так все знают, — покачала головой Евдокия, — лошадь в хомуте упустила! Да такое в столет один раз бывает. Говорила я: сиди, Катерина, в конторе, не смей людей. Нет, взвилась: в поле хочу! Людей сбила. Конфуз чистый, а не бригада. Ничего они не выходят — ни хлеба, ни соломы.

Саньке стало не по себе.

— Хлебнете вы горя с маткой своей, — продолжала Евдокия. — Семья у вас большая, кормильца настоящего нет... — И она с таким сожалением посмотрела на Саньку, что тому захотелось поскорее уйти из избы. — Как говорят, без хозяина дом сирота. Пора тебе, Саня, к делу прибиваться. Учение — оно, может, и не во вред, а сыт от него не будешь. Я вот Петра своего в город думаю отвезти, в сапожники определить. Вот и ты вместе с ним подавайся. Всё мастеровым человеком будешь. Мне и matka твоя, покойница, перед смертью и отец, когда на войну уходил, наказывали: Александра нашего в беде не оставь.

И Евдокия, растроганно всхлипнув, принялась ахать и вздыхать над Санькой. Он и сирота горемычный, и отрезанный ломоть в доме, и чужая кровь у мачехи. Вспомнила покойную Санькину мать: какая та была печальница да заботница до своих детей, как жили они с ней душа в душу — водой не разольешь, огнем не разлучишь.

Санька зябко поежился и с тоской поглядывал на дверь. А Евдокия вдруг достала иголку с ниткой, наперсток и принялась зашивать Саньке дырку на локте: «Оброшенный ты мой, забытый!»

Санька наконец не выдержал и неловко вылез из-за стола:
— Я пойду, тетя Дуня...

— Иди, сирота... Что надо будет, забегай, не стесняйся. Я ведь тебя, как родную кровь, люблю.

Дома Санька долго сидел на крыльце, слушал вечернюю улицу: где-то звенело молоко о подойник, тявкала собака, играла гармошка.

«Без хозяина дом сирота», — вспоминал он слова соседки. Был хороший хозяин в доме — его отец. Колхозники приходили к нему за добрым советом, по его слову начинали сенокос, жатву хлебов. А теперь кто придет к Коншаковым?

Вернулась с работы Катерина.

— Замучила тебя Лиска, Саня? — спросила она. — Ох, и дуrolомная лошадь сегодня досталась!

— Лошадь как лошадь. На нее только замахиваться нельзя. Не знаешь вот ничего! — упрекнул Санька и тихонько вздохнул. — И вообще, зря ты с этой Старой Пустошью связалась. Ни зерна не вырастите, ни соломы. Попроси Татьяну Родионовну, она тебя опять в счетоводы поставит.

Катерина обернулась и долго смотрела на смутно белеющее в темноте лицо сына:

— Это кто же тебе наговорил такое? Да что мы, хилые какие, увечные? Разве люди сейчас так живут, как прежде? Всё ломают, всё перекраивают! «Ни зерна, ни соломы»! Ты, Саня, таких слов и говорить не смей больше! Не серди меня.

Санька прошел в сени, разделся, лег на свой дощатый топчан. Гимнастерку по привычке сунул под подушку. В кармане ее хрустнуло письмо.

Сквозь непокрытую крышу двора светили далекие холодные звезды. Где-то среди них затерялось маленькое, неяркое созвездие Стожары. Глядя на звезды, Санька молча спорил с матерью.

Она вот храбрится, верит в свои силы. А что станет с ней, когда узнает, какое письмо носит он на груди? А ведь узнает, должна узнать. Кто поможет тогда матери? Как они, Коншаковы, будут жить?

Нет, пора ему браться за хозяйство, выходить в поле.

А может, и в самом деле податься в город, в сапожники, как говорит Евдокия? Все же ремесло, поддержка семье. Но кто будет тогда доглядывать за домом?

Так, ничего не решив, Санька наконец заснул, и всю ночь снился ему тополь, который почему-то поник, сбросил все листья, хотя до осени было еще далеко.

«ПРОЩАЙ, ШКОЛА!»

Надежда Петровна раскрыла классный журнал и опустилась на стул.

— Должна вам сказать, — медленно заговорила она, — класс в этом году огорчил меня. Петя Девяткин не сдал экзаменов по трем предметам и оставлен на второй год. — Учительница обвела взглядом притихших ребят. — А где же Девяткин?

— Он с матерью молоко повез. «Все равно, говорит, учиться не буду», — сказал Семушкин.

Учительница покачала головой и продолжала:

— Второй — Саня Коншаков...

— Его тоже на второй год оставили? — вырвалось у Маши.

Десятки ребячьих голов обернулись к Саньке. Он поднялся и с каменным лицом застыл за партой.

— В чем дело, Саня? — обратилась к нему учительница. — Учился все годы не хуже других. И вдруг точно тебя подменили. За твою письменную работу на экзамене по математике мне просто стыдно было. А вот сидит Федя Черкашин. Пришел в класс к концу учебного года, а сумел сдать три экзамена. Остальные берется подготовить к осени. Что же, Саня, с тобою стало?

Ребята ждали, что Санька сейчас заговорит, может быть, начнет оправдываться, но он только ковырял жесткую, в мозолях, ладонь и молчал.

— Печально, Коншаков, — вздохнула Надежда Петровна. — Будешь держать осенью переэкзаменовку по математике. Садись!

Санька опустил на парту.

Надежда Петровна называла все новые имена учеников, поздравляла их с переходом в седьмой класс. Потом она пожелала всем хорошо провести лето, закрыла классный журнал и поднялась. Можно было расходиться по домам. Но никто, как обычно, не бросился к двери. Ученики тесным кругом обступили Надежду Петровну. В этот последний день каждому хотелось еще о чем-то спросить учительницу, посоветоваться с ней.

Только Санька осторожно приоткрыл дверь и вышел из класса в полутемный прохладный коридор.

Через знакомую, в цветастых обоях кухню, где зимою не раз отогревал окоченевшие от снежков руки и пек в горячей золе картошку, он выбрался на тихий школьный дворик.

Стоял жаркий июньский полдень. Куры, сомлев от зноя, распластались в пыли. От водосточной трубы несло сухим жаром.

Железное ведро и высветленная цепь на вóроте школьного колодца сияли так, что слепили глаза. Сторожихин козел Берен-

дей, лютый ненавистник мальчишек, забыв весь свой воинственный пыл, смиренно забился в тенистый куст.

Не замечая жары, Санька медленно побрел вокруг школы. Невеселые мысли одолевали его.

Что-то колючее царапнуло мальчика за руку. Он оглянулся. Крыжовник. Густой, облепленный еще зелеными мелкими ягодами. А рядом кусты смородины, малины. Санька сажал их в тот год, когда Андрея Ивановича взяли на войну. Как они разрослись!.. Из сарайчика с дровами пахнуло сухой березой. Как хорошо было прятаться в закоулках между поленищами, когда он с мальчишками играл в разведку или в Соловья-разбойника! За этим окном с форточкой стояла Санькина парта.

Санька невольно удивился, почему он сегодня так остро все примечает, почему так дорог ему каждый школьный уголок.

Он медленно прошел в глубь сада, где над круглым илистым прудом стояла старая, но еще могучая береза и лениво шевелила блестящими листочками.

Это была знаменитая школьная береза, и все ребята берегли ее и любили. Меловая, в черных подпалинах кора березы от самых корней до первых толстых сучьев была испещрена именами, фамилиями, датами, надписями.

Как-то повелось, что каждый, кто покидал школу, считал своим долгом оставить на «дереве прощания» какой-нибудь след.

«Наша школа самая хорошая», — прочел Санька. — «Спасибо, Андрей Иванович, живите еще сто лет». «Н. П. все же придира».

Долго стоял Санька перед березой и вдруг понял, что он тоже прощается со школой. Уж не придется ему больше просыпаться чуть свет синими зимними утрами и, вскочив на лыжи, мчаться по насту от Стожар до школы.

Не попросят его теперь ребята прочитать на школьном вечере стихи, полные звучных и сильных слов, не надо будет осенью надевать отцовский дождевик, чтобы сухим и непомятым донести до школы праздничный цветистый плакат, над которым трудился три долгих вечера.

Санька достал из кармана перочинный ножик, выискал на березе чистое место и с тяжелым сердцем выцарапал на белой коре: «Прощай, школа!» А сбоку мелко поставил свои инициалы и дату. Затем перемахнул через изгородь и зашагал в Стожары по заброшенной, тихой дороге.

Сизые волны нескончаемой чередой плыли по посевам хлебов. Перелески были полны птичьего гомона. Ясно и звонко свистела у вершины ели иволга, точно играла на флейте. Из кустов с громким криком вспархивали стайки пестрых дроздов. Березы развесили длинные сережки. На соснах стояли молодые побеги,

похожие на зеленые свечки. Над лугом летел мелкими клочками белый пух. Это отцветшие одуванчики пустили по ветру свои пушистые шапки.

И Саньке стало хорошо и покойно. Уж не хотелось думать про школу, про неизбежный и неприятный разговор с матерью. Так бы вот он шел и шел этой тихой, заброшенной дорогой, слушал, как поют птицы, смотрел, как тень от облака ползет по земле.

Но побыть одному Саньке не удалось. Не прошел он и с полкилометра, как заметил Машу Ракитину. Она шла ему наперерез. Туфли, связанные веревочкой, болтались через плечо. Книжки по-мальчишески были стянуты ремнем. Маша крутила ремешок за конец, словно собиралась метнуть книжки далеско в траву, и пела. Трудно сказать, что это была за песня: может быть, о том, что не надо больше ходить в школу, что впереди лето с купанием, ягодами, грибами и другими радостями, или просто о том, как приятно шагать босыми ногами по траве, видеть поле, луг, слушать, как гудят пчелы.

Санька нахмурился и присел за куст — он сейчас никого не хотел видеть.

— Саня! — закричала Маша. — Ты зачем за куст спрятался? Вылезай, вылезай! Все равно вижу, где ты сидишь.

Она поравнялась с мальчиком и зашагала рядом.

— Я знала, что ты по большаку не пойдешь...

— Так уж и знала...

— И как из класса ушел, как по саду ходил — всё видела. — Маша покосилась на Саньку и тихо добавила: — И как метку на березе ставил — тоже видела.

— Какую метку?

— Тебе лучше знать. — Маша вдруг забежала вперед и загородила дорогу. — Ты что, Саня? Взаправду со школой простился?

Санька попытался обойти девочку сначала справа, потом слева, но она, крестом раскинув руки, теснила его назад:

— Нет, ты по-честному скажи, в глаза погляди. Я сама все узнаю.

— Ну и взаправду, — не глядя на девочку, хмуро признался Санька. — Что тут такого! Простился — и простился. Какой уж я ученик с двойками!..

— Ой, дурной, ой, негожий! — всплеснула Маша руками. — Да кто ж виноват? Сам нахватал! С Девяткиным связался, от школьных дружков нос в сторону...

И много еще обидного, а может, и справедливого наговорила прямая и резкая на язык Маша.

Но Санька не стал с ней спорить, а только поковырял носком сапога землю и с трудом выдавил:

— Тебе хорошо говорить... У тебя и мать, и бабушка, и сестры взрослые. А у меня кто?

Маша устыдилась своей вспышки, опустила голову. Потом робко коснулась руки мальчика:

— Саня... а ты не надо! Ну, совсем не надо... А что отец не пишет, ты и не думай ничего плохого. И переэкзаменовка на осень — это тоже не страшно. Мы тебя вы́ходим. И я помогу, и Алеша... Все лето заниматься будем.

— Хватит с меня! Я и так вполне обученный. Пахать, косить умею. В колхозе меня и с двойками на любую работу примут,— отмахнулся Санька.— Это тебе уж по ученой дорожке топать...

Маша с грустью посмотрела на мальчика... Если бы такие слова слышали его отец или Андрей Иванович... Они-то надеялись на Саньку, верили в него...

Долго шли молча. Но молчать — это очень трудно. И, когда вышли на луг, Санька выломил гибкий прутик ракиты и принялся сбивать головки цветов, метелки высоких трав. Взмах, точный резкий удар, оттяжка на себя — Санька где-то читал, что кавалеристы именно так рубят лозу,— и головки цветов, точно подкошенные, падали на землю.

Тяготило молчание и Машу. Она занялась цветами. Цветов было много: круглые ромашки с ослепительно белыми, точно фарфоровыми лепестками и с золотой пуговкой посередине, пунцовые шары клевера, нежные сиреневые колокольчики, желтые лютики, белые зонтики тмина...

Маша жадно и быстро, как все, за что она ни бралась, нарвала большую охапку цветов и принялась плести венок. Сплела одно звено, второе... Медовый запах клеверных головок ударил ей в ноздри. Шмели неотвязчиво и трубно гудели над Машиным ухом, точно сердились, что эта босоногая девчонка уносит от них так много напоенных медовым соком цветов.

— Жадные вы, жадные пчелы! — засмеялась Маша. Она любила разговаривать вслух со всем, что жило на этой земле,— с пчелами, с травами, с телятами.— Смотрите, сколько цветов вам осталось! Я же нарвала совсем немножко.— И, встряхнув короткими волосами, Маша уже забыла про венок, сунула в рот пунцовую головку клевера и принялась высасывать сладкий цветочный сок.

Она была лакомка, Маша, и всегда умела найти в поле, на лугу, в лесу что-нибудь съедобное и вкусное.

Как только начинали зеленеть луга, она бегала с девчонками за щавелем. Потом подрастали дудки, остро пощипывающая язык кислица, сладковатый, с густым белым соком молочай, поспевала черемуха, земляника в лесу, черная смородина, малина, шиповник... И все лето Маша что-нибудь грызла, жевала, надкусывала. Язык ее становился шершавым, покрывался трещинами, окрашивался в разные цвета.

«Ты бы не каждую траву жевала! — сердилась мать. — Мало ли зелени на земле растет — всего не перепробуешь».

...Маша оглянулась. Санька по-кавалерийски справлялся с колючим чертополохом. Взмах, удар, оттяжка. Прут свистел, как сабля. Но чертополох был живуч и только вздрагивал от ударов да насмешливо кивал Саньке крупным малиновым цветком, распустившимся на макушке. Гибкий прут не выдержал и переломился.

— Ой, не годишься ты в кавалерию, Саня! Совсем неспособный, — засмеялась Маша.

Санька вспыхнул и отбросил обломок прута. Маша протянула ему пучочек клевера:

— Ты попробуй. Вкусно-то как! Прямо чай с медом.

Санька засунул руки в карманы — он не охотник до таких сладостей.

— А вот и закусочка к чаю, — сказала Маша и, сорвав пустотелую дудку, очистила ее от кожицы и, звучно хрустя, принялась грызть, точно морковку.

— Да ты всю траву пожуюшь, — усмехнулся Санька и взял у Маши веточки клевера. Пососал одну головку, другую. И правда, это было вкусно.

Так, лакомясь и болтая, они миновали луг, спустились к речке, перебрались по дощатому, шлепающему по воде настилу на другой берег и поднялись на пригорок. Кряжистый, искривленный дуб шумел на ветру. Маша глянула на Саньку, и веселый огонек блеснул в ее глазах. Подскочила к дубу и быстро, как по лесенке, вскарабкалась вверх.

— Саня, залезай сюда!

Санька оглянулся — кругом никого. Он не заставил себя просить, залез на дерево, но уже выше, чем девочка. Прогнулись под ним тонкие сучья, вот-вот обломаются. С опаской поглядела на него Маша. Широко раскинулись перед детьми зеленые поля, перелески, петлистая лента реки, дороги, белые тропинки.

— Чьи это лошади там пасутся? — Санька вгляделся в сторону. — Наши или нет?

— Саня, а как отсюда видно все хорошо! — восхищенно шепнула Маша. — Смотри, вон школа! А вон три окна у крыльца — это наш класс. Ты знаешь, в новом году наш седьмой класс на втором этаже будет... — Она вдруг спохватилась и растерянно посмотрела на мальчика. — Саня... а что ж ты матери про школу скажешь?

— Скажу что-нибудь. — Он насупился и спустился с дерева.

Раздалось конское ржание. Несколько мальчишек гнали через луг, к реке, табун лошадей.

— Наши! — Санька махнул Маше рукой и по крутому откосу ринулся вниз, к табуну.

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ

Весенняя страда спала, и Катерина решила весь воскресный день посвятить дому и ребятам. «Совсем я не вижу их... как сироты бегают».

Она вымыла пол, напекла пирогов, застелила стол чистой скатертью и усадила детей завтракать.

Заметила проходивших мимо окон Машу с Федей, поманила их в избу:

— И вам место найдется. Садитесь-ка за компанию.

Маша не заставила себя долго просить, но Федя, встретившись глазами с Санькой, точно прирос к порогу.

— Меня дедушка ждет... Домой надо,— твердил он.

— Так уж ты и пироги не любишь! — засмеялась Катерина и, взяв мальчика за руку, усадила его за стол рядом с Санькой.

Тот отодвинулся от Федей, словно от горячей печки, и весь завтрак просидел молчаливый, одеревенелый, и Феня даже сказала, что Санька не иначе как проглотил аршин.

После завтрака мать предложила написать письмо отцу на фронт.

Хотя Коншаковы давно не получали ответных писем, но Катерина не нарушала заведенного порядка, и письма Егору отсылались довольно часто.

— Чья очередь-то, ребята? — спросила Катерина.

— Моя, моя! — Феня быстро заняла место в переднем углу, достала чернила и бумагу.— Санька и так два раза без очереди писал.

Санька не спорил. Он вдруг вылез из-за стола и потянулся за пилоткой.

— Уходишь? — удивилась мать.— А письмо?

— Нет, нет! — спохватился Санька.— Мухи вот... окаянные...— И, распахнув окно, он с таким усердием начал размахивать пилоткой, словно изгонял не мух, а рассвирепевших пчел.

Катерина принялась диктовать Фене письмо. Рассказала про дела в бригаде, в колхозе, упомянула о том, как хорошо и дружно развиваются посевы на Старой Пустоши.

В избу заглянул Петька Девяткин и поманил Саньку на улицу — есть срочное дело.

— Обожди! — зашипела на него Маша.— Видишь, письмо пишут.

Петька присел у порога.

— Ну как, Феня, все написала? — Катерина заглянула в

письмо.— Теперь ваша, ребята, очередь. Как год закончили. Порадуйте отца.

Первым делом было сообщено об успехах Никитки; для этого его позвали с улицы и заставили собственноручно нацарапать: «Папа, я кончил первый класс, перешел во второй, скорей побей фашистов и приезжай к нам, твой сын Никита».

Потом Феня написала о себе. Написала очень скупое, потому что была застенчивой девочкой и всегда боялась перехвалить себя.

— Нет, нет! — запротестовала Маша.— Ты перешла в пятый класс с похвальной грамотой. И учительница тебя очень хвалит. Зачем скрываешь?

— Напиши, дочка,— сказала мать.

И Феня, зардевшись, добавила еще про похвальную грамоту. Очередь дошла до Саньки.

— Покажись и ты отцу,— кивнула Саньке Катерина.

Санька усердно протирал рукавом эмалевую звездочку на пилотке.

— Что ж молчишь? Ты же знаешь, как отец любит читать о твоих успехах.

— Какие там успехи...— с трудом выговорил Санька.— Переведен — и весь разговор.

И тут он заметил, что Маша и Федя переглянулись.

— Чего уставились? — вспыхнул он.— На мне узоров нет. Говорю — переведен... так и пишите... Ну, без похвальной, конечно.

Феня потянулась к пузырьку с чернилами. Неожиданно Маша взяла у нее из рук перо, отложила в сторону и обернулась к Саньке:

— Это же неправда, Саня. Зачем ты отца обманываешь?

— Обманывает? — удивленно протянула Катерина.— Не перевели, значит? На второй год оставили?

— Это бы ничего, что не перевели,— торопливо заговорила Маша.— Он пересдать может. Ему разрешили. И мы бы все помогли... Лето долгое. Я так и говорила: не смей, Саня, не смей! А он слушать ничего не хочет.

— Что «не смей», что «не смей»? Да говори же толком! — прикрикнула Катерина.

— Ой, тетенька Катя, язык не поворачивается! Пусть он сам скажет,— взмолилась девочка.

Уже давно все пушинки были собраны с пилотки, свежо и молододоблескивала эмалевая звездочка, а Санька все еще тер ее рукавом.

— Подними голову, Александр,— тихо сказала Катерина.— Не думала, что у тебя душа такая заячья.

Санька рывком поднялся с лавки и шагнул к Маше. Лицо его

было бледно, губы дрожали. Ему хотелось закричать, что все это теперь никому не нужно. Но закричать было нельзя.

— Говори! Все говори! — бросил он в лицо девочке и ринулся за дверь.

Петька выбежал за ним следом.

— Волчонок какой, так на всех и кидается, — покачала головой Катерина и спросила Машу, за что же Саньку исключили из школы.

Девочка, потупив голову, молчала.

— Его не исключили, он сам ушел, — ответил за нее Федя и рассказал про последний день в школе.

— Сам ушел! — пораженная, приподнялась Катерина. — Ну погоди ж, поговорю я с ним!

И она быстро вышла на улицу. Заглянула в проулок, в огород, за двор — Саньки нигде не было.

Маша с Федей направились на участок. Когда они проходили мимо старой риги, оттуда выглянул Девяткин и тонким голосом крикнул:

— Сваха! Ябеда!

Федя вздрогнул, обернулся и решительно бросился в полутемную ригу:

— А ну, еще крикни!

— Могу и еще, того сто́ит, — ухмыльнулся Девяткин, но на всякий случай подался поближе к Саньке, который лежал, уткнувшись в солому.

— Федя, не надо... — нагнала его Маша.

Но потом не выдержала — так велика была обида — и сама подбежала к Девяткину:

— Сваха?! Ябеда?! Да?! А когда по грибы ходили и вы меня с Санькой в лесу оставили, чтобы напугать, я жаловалась кому-нибудь? А самопал у вас разорвало, и чуть глаз Саньке не выбило... А стог соломы в поле спалили... Кому я сказала?

— Правильно, — согласился Петька. — Потому и в компанию тебя принимали. А сейчас зачем выболтала?

— Эх ты, голова! Сейчас же совсем другое... Это школа... А это такое дело, такое дело... — И, не найдя нужного слова, Маша толкнула Петьку в грудь: — И хоть сто раз свахой меня назови, а все равно не буду молчать!

— Вот напустилась! — передохнул Петька, когда Маша с Федей ушли. — Еще и защитника привела. Видали мы таких на своем веку!

Потом он присел рядом с Санькой:

— А ты чего буйну голову повесил? Школу пожалел? Подумаешь, грусть-тоска! Все равно ты теперь неуспевающий, вроде меня. Собирай вещички, да двинем в город. Там нас дядя Яков зараз к делу поставит. Знаешь, какие у них доходы, у са-

пожников! Молотком раз стукнул — гони рубль! Шилом ковырнул — подавай десятку! Теперь, брат, холодный сапожник — наивысшая квалификация.

Санька задумчиво смотрел на отцветающую черемуху, роняющую белые лепестки, отчего земля казалась кругом обрызганной известкой.

— Мать говорит, — бубнил Петька, — как вот сена на корову накосим, мне больше в колхозе и делать нечего.

— Уйди, Девяткин, — глухо сказал Санька.

— Чего?

— Уйди, говорю!

Глава 17

К О Н Ю Х

Работы на участке хватало по горло. Посевы требовали, чтобы их пропалывали от сорняков, подкармливали удобрениями. На грядках часто приходилось рыхлить землю.

Дед Захар каждое утро раздавал ребятам наряды и к вечеру придирчиво принимал выполненную работу. Затем все собирались у шалаша, Маша доставала синюю тетрадь, и дед подводил «итоги дня».

— Похвально работал, с прилежанием, — обычно говорил он про Степу Так-на-Так. — Спины не разгибал, на солнышко не щурился... Так и запиши, Машенька.

Доходила очередь до Семушкина:

— У нашего Алеши все по-старому. Спешит — людей смешит. Две травины вылет, три пропустит. За стрекозами много бегают.

Маша едва успевала записывать за стариком.

— Чего ухмыляетесь? — замечал дед Захар ребячьи улыбки. — Такой наказ имею от Татьяны Родионовны. Полную вам аттестацию произвести — кто как труд любит да землю чтит.

Затем старик с точностью до одной сотой определял каждому его дневную выработку: сорок сотых трудодня, сорок пять, пятьдесят...

Но в синюю тетрадь Маша заносила не только ребячьи «аттестаты» и трудодни. По старой привычке, привитой еще Андреем Ивановичем, она записывала в нее свои наблюдения над жизнью растений: время сева, появление ростков, начало цветения.

Захар не скупился на советы, и частенько пионеры узнавали от него что-нибудь новенькое: как с корнем уничтожить злост-

ный сорняк, как подкормить пшеницу, как пасынковать помидоры. И неизменно в руках Маши появлялась синяя тетрадь.

— Что ты там строчишь каждый день? — однажды спросил ее старик.

— А это дневник, дедушка. Ваши советы записываем.

— Ну-ну... — довольно улыбнулся старик и после этого случая «советы» свои стал излагать более подробно и живописно. Если же замечал, что советы его идут не впрок, то не на шутку сердился.

Однажды он остановился около Семушкина, который пропалявал сорняки на клетках с посевами. Чтобы не наклоняться низко к земле, Алеша захватывал сорняки за верхушку и тянул к себе. Одни растения легко вырывались с корнем, другие обрывались.

— По верхам скачешь, а корешки где? — зашумел старик.

Он нагнулся, глубоко подрезал узкой железной лопаточкой корневище сорняка и вытащил его на свет:

— Что видишь?

— Пы... пырей, дедушка... злостный сорняк.

— Знать знаешь, а щадишь. Раз злостный — значит, под корень убивать надо... А кому на пользу твоя работа — тырпыр, суета! Землю и червяк роет. А ты со смыслом трудись. Кто ты такой есть? Завтрашний колхозник, хозяин на земле. Царь природы, можно сказать... Ты всем зеленым миром повелевать должен уметь.

Ребята доставляли деду немало хлопот.

Кроме «плановых», как любил выражаться дед Захар, овощей и посевов, пионеры выращивали на участке несколько сортов помидоров, тыкву, раннюю клубнику и целый ряд растений южных краев, до сих пор не известных в Стожарах: амурскую сою, кок-сагыз, клещевину, дагестанскую коноплю, земляной орех.

Дед сначала относился к ним с недоверием: южане, неженки, не приживутся.

Но ребята сумели защитить всходы от заморозков, и южные гости росли теперь на участке, как дома. Старик начал им заметно покровительствовать и нередко покрикивал на ребят:

— Это почему гостей забываете? Коль зазвали, так кормите-поите досыта!

Дни стояли жаркие, душные, земля покрылась коркой. Растения требовали влаги. Ребята не скупились на поливку. Целыми днями по самодельному водопроводу тонкой струйкой текла на участок вода и наполняла бочки, ушаты, кадушки.

Приходилось таскать воду из речки и ведрами. Сердобольной Маше казалось, что без воды на участке все засохнет, и она поливала подряд: овощи, злаки, плодовые саженцы.

Однажды, пошептавшись с Зиной, Маша напосила воды с речки и принялась поливать пшеницу на пятой клетке.

Подошел дед Захар:

— Воздержаться! Я кому говорю?

— Так, дедушка,— удивилась Маша,— сохнет же пшеничка... вот и желтые листки появились. И вид у нее скучный.

— Овощи поливайте! Гостей своих с юга... А пятую клетку не троньте...— И он отобрал у девочки лейку.

— Почему, дедушка?

— «Почему, почему»! Это же особенная пшеница. Сортовая. Ее нельзя нежить. Она все испытать должна: и засуху и холод. Выдержит — значит, большая в ней сила. Не стыдно такую пшеницу колхозу в подарок поднести от старых да малых.

— Это как тот сорт, какой Егор Платонович выращивал? Правда, дедушка?

— Возможное дело...

— А может, еще лучше будет?

— Хорошо бы и такой получить.

— А получим? — не унималась Маша.

— Ох, стрекоза! Не пытай ты меня! — взмолился Захар.— Ничего пока не видно. Потерпи, дай срок.

Он вколотил на углу клетки фанерку и крупно написал: «Поливать строго воспрещается».

Однажды на участок забежала Лена Одинцова — по старой привычке она часто навещала деда Захара.

Она обошла все посевы, заглянула в каждый уголок.

— Что, беглянка, заскучала по старому хозяйству? — подмигнул ей старик.

— Хорошо у вас, Захар Митрич! — призналась Лена.— И холодок, и вода течет, и ягоды поспевают... А у нас в поле печет, кругом ни кустика...

Она спросила, доволен ли дед ребятами.

— Да ничего помощники. Выдумщики только большие.

— Что так?

Захар хотел было рассказать про посевы южных растений, но вдруг заметил в углу участка укрепленный на высоком шесте флюгер из жести, дождемер, какую-то будку.

— Еще новая затея! — развел он руками.

— Это метеостанция, дедушка,— храбро заявила Маша.— Мы погоду будем предсказывать.

— Ну-ну,— хмыкнул старик.— Только со мной не тягайтесь. У меня ноги как загудят от ревматизма — зараз скажу, что дождь будет. Без ошибки!

— У них же ноги не гудят,— засмеялась Лена.

Потом она отвела Машу в сторону и спросила:

— А разве Саня Коншаков не работает с вами?

— Неинтересно ему наше дело,— пожаловалась Маша.— «Пустяками, говорит, занимаетесь».

— Как — неинтересно? — удивилась Лена.— А вы бы участок ему показали. Пшеницу свою... От нее же глаз не оторвешь.

На другой день Маша отправилась к Коншаковым. Дома хозяйничала одна Феня. Она сказала, что Санька работает на конюшне, встает чуть свет и домой приходит только обедать да ночевать.

— А с матерью у него как?

— Совсем плохо,— пожаловалась Феня.— Мамка говорит: «Учиться будешь», а Санька: «Не буду. Я трудодни зарабатываю». Хлопнет дверью — и на конюшню. Мамка уж плакала сколько раз. Упрямый он у нас, Санька.

— Упрямый...— согласилась Маша и заглянула в окно.— Смотри, смотри, идет ваш конюх!

— Ой! — всполошилась Феня.— А у меня еще обед не готов.

Саньку сопровождал Никитка. Влюбленными глазами он смотрел на брата и упрашивал взять его в ночное.

— Там видно будет,— неторопливо ответил Санька и, присев на ступеньку крыльца, начал разуваться.

Никитка принес с колодца ведро холодной воды и долго лил из ковша брату на руки, на обгорелые плечи, на спину.

— Еще плесни! Не жалеЙ! — фыркая и отдуваясь, вскрикивал Санька и будто нечаянно брызгал холодной водой на Никитку, отчего тот радостно взвизгивал.

— Ну, не балуйся, Санька!

Умывшись, Санька прошел в избу, расчесал перед зеркалом мокрые волосы, сел за стол.

— Здравствуйте, товарищ конюх! — засмеялась Маша, выходя из-за перегородки и ставя перед Санькой хлеб.— Как ваши дела?

— У нас не заржавеет. Дела идут... А у вас как? Лимоны, апельсины еще не поспели?

— У нас, Саня, пшеница на пятой клетке начала колоситься! — с гордостью сообщила Маша.— Хочешь посмотреть?

— На какой пятой? — не понял Санька.

— Я же тебе говорила... дед Захар один такой сорт нашел. Мы его и посеяли на клетке номер пять.

— И велика клетка?

— Не очень. Пять шагов в ширину, восемь — в длину.

— Ох и площадь! Я думал, хоть сотку засеяли...

— На сотку зерна не хватило. А зато какая пшеница растет! — зажмурилась Маша.— Дедушка говорит, это редкий сорт, ему цены нет. В поле хлеба только в трубку пошли, а у нас

уже заколосились. Очень он боится за них, дедушка. По ночам не спит, караулит.

Насчет «цены ей нет» Санька заметил, что такой пшеницы, какая была у отца, теперь еще сто лет не вырастить.

— А может, наша еще лучше будет? — заспорила Маша.

— Лучше?

— Ну, скажем, не хуже... или такая же... — стояла на своем Маша.

Санька снисходительно усмехнулся, но любопытство уже брало верх.

— Ладно, веди. Посмотрим вашу хваленую пшеницу, — согласился он, покончив с обедом.

— Не по форме одет, товарищ капитан, — сказала Маша, заметив, что Санька собрался идти без пилотки. — Ребята рассказывают, ты даже спать без нее не ложишься.

Санька пошарил по лавке, заглянул под кровать — пилотки нигде не было.

— Сойдет и так, — махнул он рукой.

Глава 18

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

Маша с Санькой прошли позади усадеб и остановились около «хозяйства Векшина». Девочка оглянулась по сторонам и потянула Саньку к изгороди. Перед ним плотной стеной высилась темно-зеленая крапива. Маша натянула рукава кофты и раздвинула крапиву. Потом, нажав плечом, приоткрыла искусно замаскированную калитку. И в ту же минуту в глубине участка что-то зазвенело, забренчало.

— Это у нас сигнализация такая, — шепнула Маша. — Первая линия... а дальше вторая и третья...

— Какая сигнализация? Кто придумал? — Саньке уже не терпелось поскорее заглянуть в глубь участка.

Неожиданно в кустах что-то зашуршало. Маша схватила Саньку за руку и заставила присесть у изгороди в заросли лопухов и крапивы. Из-за кустов вынырнул Алеша Семушкин в широкой соломенной шляпе.

— А я думала — дедушка Векшин... Ой, не любит, когда чужие здесь! — шепнула Маша и, приподнявшись из лопухов, вместе с Санькой пошла навстречу Семушкину. — Алеша, ты дежурный сегодня?

— Ну, я! — Семушкин загородил тропинку и посмотрел на Саньку так, словно видел его впервые.

— Чего уставился? — удивился Санька. — Не узнаешь?

— Узнаю. Ты же у нас знаменитый.

— Вот и пропусти, коль знаменитый.

— После дожличка в четверг, на ту осень, годов через восемь...— затараторил Семушкин, и острый кончик носа его смешно зашевелился.

— Подумаешь, объект военного значения! — Санька заложил руки за спину и двинулся на узкоплечего Алешу.

Но тот не моргнул и глазом. Вложил в рот два пальца и протяжно свистнул.

Из-за кустов показались Степа и Федя Черкашин.

— Ребята, ну какие вы, право...— бросилась к ним Маша.— Примем к себе Саньку, покажем ему наши посевы...— и осеклась: Федя посмотрел на нее так, словно Маша в чем провинилась.

Потом он неторопливо подошел к Саньке:

— А где пилотка твоя?

— Да, где она? — спросил Степа.

Санька с удивлением посмотрел на ребят и провел ладонью по непокрытой голове:

— А вам какая забота?

— Да так... интересуемся...— фыркнул Семушкин.— Может, потерял где... А пока от ворот поворот. Когда нужно будет, мы тебя покличем, нарочного пошлем. Пожалуйста, милости просим. А пока живем, по тебе не скучаем.

— Да, не скучаем,— подтвердил Степа и выразительно показал глазами на калитку в изгороди.

Саньке стало жарко. Ну нет, он не из таких, чтобы уйти не солоно хлебавши! Однажды в Локтеве его не пропускали через улицу пять мальчишек. Но он прошел. Не трянуть ли стариной? К тому же положение сейчас куда более выгодное. Сухопарый Федя не в счет, Семушкин храбр до первого удара, и единственно с кем серьезно придется схватиться — это Степа Так-на-Так. Ну, была не была.

Санька выставил левое плечо, сделал первый шаг. Но все дело испортила Маша. Она, как клин, втиснулась между мальчишками и закричала на весь участок:

— Что вы, чумные! Совсем рехнулись. Я вот сигнал подам, дедушку позову...— Она растолкала мальчишек и взяла Саньку за руку: — Не слушай их! Пойдем покажу, что обещала.

— Не надо мне ничего показывать! — Санька резко вырвал руку и бросился к изгороди.— И так знаю, в какие вы игры играете... Собрались детки-малютки. Нет чтобы колхозу делом помочь...— Он с силой толкнул калитку ногой. Калитка не подалась. Санька ударил сильнее.

— Уметь надо,— подбежал Семушкин и, поколдовав над калиткой, широко распахнул ее.— Так, пожалуй, лучше будет.

Скатертью дорожка. Не споткнись, Саня, забирай левее, береги жизнь молодую.— И вдруг, присев у изгороди, зашелся смехом.— Так и есть, ссыпался... Ой, мамочки, ой, помру! В яму ссыпался, прямо в крапиву...

Из-за кустов показалась Лена:

— Над кем это вы?

Маша вспыхнула и бросилась Лене навстречу.

— Как им не стыдно! — показала она на Федю, Степу и Алешу.— Я Саньку позвала, а они выгнали, смеются... Еще бы чуток — и разодрались не знаю как... Вы кто — пионеры или нет? — напустилась она на мальчишек.— Разве так можно?

— А так можно? — серьезно посмотрел на нее Федя и кивнул Степе.

Тот порылся в карманах штанов, про которые ребята говорили, что это не карман, а ремонтная мастерская, потому что в них всегда можно было найти и дюжину гвоздей, и моток проволоки, и добрый конец веревки. Сейчас Степа извлек из недр кармана зеленую суконную пилотку с красной эмалевой звездочкой и протянул Маше.

— Узнаешь, чья? — спросил Федя.

— Узнаю. Санькина.

— А где нашли — знаешь?

— Где?

— У грядки с твоей клубникой «виктория»! — вдруг плачущим голосом закричал Семушкин.— Вот где!

— Ой! — вскрикнула девочка.— И что ж вы молчите?

Она пробежала через весь участок и остановилась около грядки с клубникой.

Клубника была «сверхплановая и внеопытная», и Маша с Зиной посадили ее затем, чтобы летом было чем полакомиться.

На грядке виднелись следы босых ног, кое-где кустики были втоптаны в землю и начинавшие розоветь ягоды раздавлены.

— Перепугали вы меня! — облегченно вздохнула Маша, посмотрев на ребят, которые подошли вместе с Леной.— Я думала и впрямь все оборвали.

— Дедушке спасибо скажи. Это он Саньке помешал.— И Семушкин рассказал, как дед Захар сегодня утром чуть не захватил на участке Саньку Коншакова и Петьку Девяткина.

— Идет... дедушка идет! — шепнул Степа.— Ох и будет нам сейчас!

К шалашу, тяжело опираясь на палку, подошел дед Захар, опустился на скамейку, потер колени.

— Нездоровится, Захар Митрич? — спросила его Лена.— Вы бы лежали.

— Полежишь тут с такими сторожами! — Старик недовольно кивнул на ребят.

— Я ж, дедушка, самую малость на дежурство опоздал,— виновато признался Семушкин.

— А через эту малость у нас овес «золотой дождь» на клетке помяли, ягоды чуть не оборвали. Ну, да не о тебе речь...— Захар махнул рукой и обратился к Лене: — И что за мальчишки у нас в Стожарах! Как лето — так начинается. Дай какому стручку лучших ягод, яблоко медовое — не по вкусу, а самочинно нарвет кислых да жестких — ест и похваливает. Уму непостижимо! И чему их в школе только учат! — Старик помолчал, почесал бороду.— Попадись мне этот Коншаков, я ему напихаю в штаны крапивы. Попляшет он у меня, жук клубничный!

— Вот здорово! — фыркнул Семушкин и шепнул Маше: — Так и запиши в дневнике: «На участке появился первый сельскохозяйственный вредитель: Санька — клубничный жук».

— Не буду я ничего записывать! — отвернулась Маша.

— Совсем без отца испортился парень.— Захар строго оглядел ребят.— Вы с ним дружбу лучше не водите, хорошего не наберетесь.

— Дедушка,— тихо сказала Маша,— Санька за чужими ягодами не полезет. Он не такой...

— А это что? — Захар взял у Степы Санькину пилотку и сунул ее Маше.— Ветром задуло? Сорока на хвосте принесла?

Маша долго рассматривала знакомую пилотку с красной звездочкой.

— А может, не Санька, другой кто его пилотку обронил,— с трудом выдавила она.

— Всегда ты его выгораживаешь! — напустился на нее Семушкин.— С кем Санька теперь компанию водит? С Девяткиным. А тот каждый день около нашего участка крутится, разведочку проводит — пути подхода, отхода, все такое... Не удалось сегодня, дружки-приятели другой раз к ягодам подберутся. А ты уши развесила: пожалуйста, Санечка, заходите, смотрите... И что нам делать с тобой?

— Пусть она ныне двойную норму польет и завтра двойную,— предложил Степа.

— Слыхала, Маша? — спросил Семушкин.

— Ну и полью! Спина не переломится...— И девочка уныло поплелась за лейкой.— А все равно это не Санька... он не такой,— вслух подумала она.

— Это хорошо, когда товарищу веришь,— подошла к ней Лена.— Я тоже думаю, что Саня Коншаков тут ни при чем. Только запуталось все у вас...— И, взяв вторую лейку, она вместе с Машей начала поливать грядки.

ПИЛОТКА

Санька, конечно, не поверил напутствиям Семушкина: «Забирай левее, береги жизнь молодую», взял вправо и, как в котел с кипятком, ухнул в глубокую яму, заросшую крапивой.

Выскочил как ошпаренный и стремглав помчался к дому. Лицо и руки, обожженные крапивой, горели, покрылись крупными багровыми волдырями. Сердце Саньки было переполнено самыми мстительными чувствами.

И так посмеяться над ним! Пообещать показать какую-то необыкновенную пшеницу, завести на участок, а потом так бесцеремонно выставить вон...

Перебирая в уме всевозможные способы расправы с обидчиками, Санька незаметно дошел до своего дома.

«А зачем Федя со Степой про пилотку спрашивали?» — вспомнил он, и ему стало не по себе. Вновь принялся за поиски. Но пилотки нигде не было. Санька позвал с улицы Никитку и учинил грозный допрос. Тот клялся и божился, что не брал пилотку.

— Я как в прошлый раз надел ее, а ветер как дунет да понесет ее в лужу, а ты мне как дашь тычка, — я теперь и не смотрю на нее.

— Петька твою пилотку забрал. Он рано прибегал, ты еще спал, — сказала Феня.

Санька побежал к Девяткиным. И только свернул за угол избы, как заметил идущего от колодца Петьку. Тот нес на коромысле ведра с водой. Вид у Петьки был такой, словно он оказывал кому-то великое одолжение.

Ведра мотались из стороны в сторону, отбрасывали солнечные зайчики, вода выплескивалась на горячую белую пыль, оставляя темные пятна.

Петька сделал вид, что всецело поглощен ведрами и не замечает Саньки.

— Соседей не признаешь? — Санька ухватился за коромысло.

— А-а, Коншак! — деланно удивился Петька, ставя ведра на землю. — Вот, понимаешь, чем заниматься заставляют. Воду носи, огород поливай, то, сё... Жуткое дело! Разве это сподручно нашему брату? Тоска зеленая... Я, понимаешь, жерлицу приготовил, червей накопал...

Напав на свою излюбленную тему — о рыбалке, Петька уже не мог остановиться. На голавля сейчас самый клев. Идти надо к Черному омуту, под вечер. С ним еще собирался Тимка Колечкин. Но лучше его не брать — распугает всю рыбу...

— Про голавлей потом,— перебил его Санька.— Где моя пилотка? Тебя кто просил хапать ее без спросу?

— Так ты же сам мне позволил поносить ее. Еще третьего дня. Вспомни-ка!

— А сейчас где она? Покажи.

— Не переживай, Саня. Пилотка твоя в целости, дома у меня. В момент доставлю,— засуетился Петька и, забыв про ведра, побежал в избу.

Офицерская суконная пилотка, подарок раненого лейтенанта из госпиталя, куда Санька возил подарки от колхозниц, была гордостью мальчика. Почти новенькая, с эмалированной красной звездочкой, пилотка пришлась ему как раз впору, и он носил ее, как и положено по воинскому уставу: сдвинув на левый висок, приподняв на два пальца над бровью.

Мальчишки завидовали Саньке и часто выпрашивали у него поносить пилотку. Санька не отказывал.

Петька в обмен на пилотку не раз предлагал Саньке свою новенькую клетчатую кепку или перочинный нож вместе с роскошной расческой из пластмассы. Но Саньку не прельщали все эти блага, и Петьке доставалось только время от времени поносить пилотку день-другой.

Прошло пять минут, а Петька не появлялся. Санька заглянул через окно в избу. Там никого не было.

«Наверное, через двор убежал. Куда бы это?» — подумал Санька и оглядел улицу.

У колодца, за высокой кучей длинных ошкуренных бревен, похожих на огромные восковые свечи, он услышал ребячьи голоса.

Санька обогнул бревна и увидел Петьку и Тимку Колечкина. Они играли в бабки.

Петька только что метнул по кону тяжелой свинчаткой, и бабки, как испуганная воробьиная стая, взмыли в воздух и рассыпались по сторонам. Он собрал их и ссыпал в кепку, уже и без того доверху набитую бабками. Тимка с завистью посматривал на Петькин выигрыш.

— Так! — присвистнул Санька.— С Тимкой связался!

— Пристал, понимаешь, отбою нет: сыграй да сыграй с ним. Ну, я показал класс. Пусть учится, пока Девяткин жив.— И Петька потянулся к бабкам.

Но Санька опередил его, схватил кепку, вытряхнул бабки к ногам Тимки и шагнул к Девяткину.

Петька благоразумно отступил немного назад. А Санька, заложив руки назад, все шел и шел прямо на него. Петька прибавил шаг. То же сделал и Санька. Вдруг Петька затрусил к дому. Но бегать он был не мастер, и Санька в несколько скачков отрезал ему путь, заставил бежать вдоль улицы.

Неизвестно, чем бы кончилось это преследование, если бы Петька не заметил Санькину мать.

— Здравствуйте, тетя Катя! — закричал он, подбегая к ней.

— Здравствуй, если не шутишь. Куда это гоните, как на пожар?

— А мы трехкилометровку бежим... на спор. Санька все задавался — я, я... неперегонимый. Сами видите, кто впереди... — Пунцовый Петька перевел дыхание.

Нет, Катерина встретила очень кстати. При ней Санька, конечно, не посмеет тронуть его и пальцем.

— Что ж, Саня, первенство уступаешь? — спросила мать.

— Будет ему первенство... — процедил раздосадованный Санька.

— Вот он всегда так, тетя Катя... проиграет и сердится. — И Петька, на всякий случай держась поближе к Катерине, все дальше уходил от Саньки и посмеивался: кто же не знает, что Коншак горяч, но отходчив и к вечеру обо всем забудет!

К Саньке подошел Тимка.

— Чего вы с Девяткиным не поделили? — спросил он.

— Пилотку он мою взял... не отдает до сих пор.

— Так он же ее обронил... на участке Векшина.

— Как — на участке? Ты откуда знаешь? — остановился Санька.

— Да мы вместе туда лазили, — простодушно признался Тимка и покраснел. — За клубникой! А она еще зеленая, кислая, скулы сводит... И на деда Векшина чуть не напоролись...

— Тимка ты Тимка, коровка божия! — только и нашелся сказать Санька.

Но история с пилоткой на этом не кончилась.

Вечером, наспех перекусив, Катерина ушла на заседание правления колхоза, где сегодня шла речь о сенокосе. Детям она наказала ужинать и пить чай без нее.

Феня поставила самовар, и молодые Коншаковы сели за стол.

Не успел Санька выпить первый стакан, как в избу вошла Маша Ракитина.

— Здравствуйте! Чай да сахар вам, — сказала она.

— Милости просим, — степенно ответила Феня. — Садись с нами чай кушать.

— Спасибо, я уже дома пила.

Но Феня, как и полагается гостеприимной хозяйке, поставила к столу табуретку, обмахнула ее тряпкой и налила чашку чаю.

Маша еще раз отказалась для приличия, потом присела к краешку стола.

Санька ее не замечал, шумно отхлебывал из стакана чай и косил глазами в газету.

Маша поставила блюдце на кончики растопыренных пальцев, подула на обжигающий чай.

— А мы скоро сенокосничать будем,— певуче сообщила она Фене,— и мальчишки все и девчонки. Теперь совсем рано вставать придется, с первыми петухами. Нас сама Татьяна Родионовна позвала. «Обязательно, говорит, приходите, очень вас просим, никак нам без вас с сенокосом не управиться...»

— А я что говорил! — не выдержал Санька, хотя он и дал себе слово не разговаривать с Машей.— Не время сейчас в бирюльки играть. В колхозе и поважнее дела есть. Ну, а насчет «очень вас просим» — это уж ты прибавила.

Маша и глазом не повела на Саньку и продолжала рассказывать:

— «Сенокос у нас, говорит Татьяна Родионовна, большой, а вы наши самые первые помощники, и на вас вся надежда».

— А мне можно в помощники? — попросилась Феня.

— Четвертому классу, пожалуй, можно. Мы вас сено шевелить поставим.

— Кто это «мы»? — спросил Санька.

— А наша бригада, векшинская.

— Интересно знать,— усмехнулся Санька,— что вы делать будете на сенокосе?

— Известно что... сено сушить, косить...

— Косить?! Когда же у вас косари родились? Или после дождичка, как грибы? И много их?

— Много не много, а все мальчишки косить будут.

— И Федя Черкашин?

— Само собой.

Тут полагалось бы от удивления присвистнуть, но новость была настолько неожиданной, что Санька поперхнулся чаем и сильно закашлялся.

Перепуганная Феня кинулась к нему и забарабанила по спине.

Федя Черкашин — косарь! Собирать золу, перебирать зерна, копать на грядках, каждая из которых с пятачок,— это еще куда ни шло. Тут большой сноровки не требуется. Но косить траву!

Весь же колхоз знает, что сносных косарей среди стожаровских мальчишек раз-два и обчелся: он, Коншаков, Степа Так-на-Так, немного Петька Девяткин да еще человека три-четыре.

Наконец Санька откашлялся.

— И что вы как сговорились: в обед Никитка поперхнулся, сейчас — ты,— упрекнула его Феня и, вдруг вспомнив, что она не вынесла теленку поила, выбежала во двор.

— Тогда дело верное. С такими косарями, как Федя Чер-

кашин, Стожары по гроб жизни не пропадут, на первое место выйдем,— заметил Санька. Его разбирал лукавый смешок, но он старался говорить серьезно и почтительно.

— А ты не задирайся очень-то! — вспыхнула Маша.— Много вы с Девяткиным понимаете о себе. Связался с ним веревочкой... он и тащит тебя, не знаю куда.

— Кто тащит? — Санька с грохотом полез из-за стола.— Чего ты меня учишь, как маленького!

— Как же тебя не учить? До чего дошел... жуком клубничным заделался!

— Каким жуком?

— Есть такие на белом свете...— Девочка сунула руку под кофту, вытащила пилотку и кинула ее на стол.— Бессовестный ты!

Она опрометью выскочила за дверь, а через минуту ее злое личико просунулось с улицы в открытое окно:

— В другой раз за ягодами полезешь — пилотку дома оставляй... опять потеряешь.

— Маша!.. Маша!..— Санька кинулся к окну, но там уже никого не было.

Он долго вертел пилотку в руках, потом решительно направился к Девяткину.

Тот сидел на крыльце и пиликал на гармошке. Заметив Саньку, он быстро поднялся:

— Понимаешь, какое дело... Искал, искал твою пилотку... Как сквозь землю провалилась. Завтра опять искать буду.

Но тут, к немалому Петькиному удивлению, Санька вытащил из кармана пилотку, пребольно щелкнул его по носу и потащил за собой:

— Пошли к бревнам... поговорим.

Чувствуя, что разговор не обещает ничего хорошего, Девяткин решил пуститься на хитрость:

— Дай хоть гармошку сниму...

Санька выпустил его руку. Девяткин вбежал в калитку и закрыл ее на засов.

Глава 20

КОСИ, КОСА!

Утром Санька проснулся от чистого, звонкого перестука стальных молотков — в Стожарах отбивали косы. Молотки перекликались по всей деревне, словно возвещали людям, что пришел лучший месяц лета и самая радостная пора труда — сенокос.

Санька достал из фанерного ящика отцовскую косу, обвитую тряпкой.

Коса была тонкая, легкая, и мальчик хорошо помнил, как отец, выходя с ней на луг, перегонял всех других косарей.

«Не коса — птица! — говорили люди. — Сама порхает».

Санька размотал тряпку, протер косу мокрой травой, и, потускневшая от времени, она вспыхнула на солнце, как серебряная сабля.

Мальчик насадил ее на косье — длинную деревянную палку с ручкой посередине, вырубил из серого песчаника продолговатый брусок для точки.

Теперь предстояло самое трудное: отбить косу на стальной бабке так, чтобы лезвие ее стало тонким и острым, как у бритвы. Для этого надо было осторожно и равномерно ударять молотком по самой кромочке косы.

Но без привычки молоток прыгал в руке, и лезвие получалось неровным и зазубренным.

К тому же Санька раза два вместо косы тяпнул себе по пальцу и долго кружился по проулку, извиваясь от боли и дуя на зашибленный палец.

— Ах ты, косарь-травобрей! — покачала головой Катерина. — Не рано ли за косу берешься? Ладил бы грабли — сено ворошить будешь.

— Самое время, — ответил Санька и, когда боль немного прошла, снова сел отбивать косу.

Наконец наступило долгожданное утро.

Еще задолго до восхода солнца у правления колхоза ударили в чугунную доску.

Но сладок ребячий сон на заре, и Катерина решила не будить Саньку так рано — не беда, если он придет на сенокос немного попозже.

Так бы и проспал Санька торжественный час выхода на луг, если бы не гром и грохот над его головой. Он, как от укола, вскочил с постели, волчком закрутился на месте. И рассмеялся. На полу каталось и гремело пустое ведро. Значит, «будильник» действовал безотказно. А «заводился» он так: с вечера Санька поставил на кадушку в сенях, где он спал, пустое жестяное ведро и привязал к дужке тонкую веревку; другой конец ее протянул во двор и прикрепил к дверце хлева. Утром, выйдя доить корову, мать открыла дверцу, веревка натянулась, ведро с грохотом полетело на пол.

Натянув сапоги и одевшись, Санька выскочил на улицу. Сиреневая заря с розовыми прожилками только еще разгоралась над еловым бором. Река, словно ее налили кипятком, курилась белым паром. В конце деревни протяжно наигрывал пастуший рожок, щелкали кнуты, мычали коровы.

Санька был доволен, что проснулся так рано. Еще бы! Ведь нет большего конфуза, как заявиться на луг, когда там уже вовсю идет работа. Вскинув косу на плечо, Санька направился к конторе колхоза.

Из всех изб тянулись туда колхозницы, старики, ребяташки. Подошел дед Векшин со своей «бригадой».

— Ты бы, Захар Митрич, поберег себя,— сказала ему председательница.

— Не могу, Родионовна. Руки зудят. Хоть разок пройдуся!

Все пошли на луг, который лежал за лесом, в излучине реки, километрах в трех от Стожар.

На лугу было свежо, тихо; трава, отяжеленная обильной росой, полегла к земле, казалась дымчатой, сизой.

— А ну, братцы-стожаровцы! Богатого вам укуса! — Дед Захар поплевал на ладони и сделал первый взмах косой.— Коси, коса, пока роса!

Следом за ним пошли лучшие косари-женщины.

Но старик быстро выдохся, отошел в сторону и занялся тем, что точил колхозницам затупившиеся косы.

Мальчишек Татьяна Родионовна поставила косить отдельно от взрослых, на мягкую, сочную траву около реки.

Федя стал с самого края участка, за ним пошли Степа Такна-Так и Алеша Семушкин.

«Далеко не уйдут»,— подумал Санька и занял место позади Семушкина.

Подошел Девяткин. Он был в своих тупоносых, непромокаемых башмаках, на боку висел футляр из светлой жести, из которого, как кинжал из ножен, выглядывал точильный брусок.

Заметив Саньку, он опасливо покосился и решил, что, пожалуй, следует держаться от него подальше. Но на всякий случай попробовал завести разговор:

— Брусочек у меня хорош, Коншак... Сам косу точит. Хочешь попробовать?

Но Санька будто не замечал Девяткина. Он опустил свою косу на траву, откинул наотмашь правую руку, и коса выписала первый полукруг.

«Еще денек, и совсем отойдет!» — ухмыльнулся Девяткин и пристроился косить вслед за Санькой.

А тот шел вперед.

Коса, легонько посвистывая, как челнок, сновала то влево, то вправо, с сочным хрустом срезала под корень пестрое луговое разнотравье и собирала в толстый взъерошенный валик.

«Песня, а не работа»,— говорил, бывало, отец, и Санька подолгу мог любоваться, как он легко, точно играя, размахивал косой.

И сейчас мальчик старался во всем подражать отцу. Косу

в руках держал твердо, к земле прижимал плотно и травы захватывал ровно столько, чтобы ни один стебелек не оставался неподрезанным.

А чего только не было в густой траве!

Вот коса срезала небольшой муравейничек, и белые яйца, как рисовые зерна, просыпались по кошанине. Выпорхнула из-под лезвия серая луговая куропатка и с жалобным писком побежала по траве. Точно капельки крови, мелькнули в зелени красные ягоды земляники.

Но не к лицу серьезному косарю бегать за куропатками, нагибаться за земляникой.

И Санька косил не останавливаясь. Уже побежало тепло по жилкам, разгорелись плечи и спина, все веселее и звонче пела коса.

Но чьи это впереди ноги?

— Берегись! Пятки подрежу! — озорновато закричал Санька.

Алеша Семушкин мельком оглянулся, стряхнул с носа капельки пота и еще быстрее замахал косой, чтобы оторваться от наседавшего сзади Саньки.

— А кого за вихры привязывать будем? — засмеялся Санька, оглядывая Алешин прокос, где оставались стебли нескошенной травы. — Эх ты, косарь-травоглад! Макушки только сби-ваешь.

Алеша не нашелся что ответить, но косить стал медленнее и чище.

А Санькина коса посвистывала все ближе и ближе.

— Порядка не знаешь, — напомнил Санька. — Отстаешь — сворачивай в сторону, других не задерживай.

Семушкин с кислым видом уступил свое место Саньке, а сам пристроился позади всех косарей.

Санька поглядел на идущих впереди Степу и Федю, снял гимнастерку и, размахнувшись, бросил ее к ногам девчонок, которые разбивали граблями скошенную траву.

«Ну что ж, была не была! Пусть Маша посмотрит, как ее дружок Федя запросит сегодня пощады. Это ему не в игры играть за околицей, не на грядках копать».

— Смотри, раздевается, — толкнула Машу Зина Колесова. — Будет дело!

Девяткин поплевал на ладони, хекнул и крикнул:

— Правильно, Коншак! Загоняем их до упаду. Эгей, векшинские! Береги пятки!

Федя и Степа оглянулись и тоже разделись.

Молодые косари достигли конца делянки, сделали второй заход, потом третий, но порядок оставался тот же: Федя со Степой шли впереди, Санька с Петькой — сзади.

Неожиданно Степа чиркнул косой о булыжник, спрятав-

шийся в траве. Острие затупилось, и, сколько Степа ни шаркал по нему брусом, коса уже не срезала, а только приминала траву.

Санька с Петькой между тем наседали сзади.

Степа занял место вслед за Семушкиным.

Из-за леса неторопливо выкатилось огромное оранжевое солнце, решив, что наконец-то пора и ему начинать свой трудовой день. И луг, до того сизый и дымчатый, заиграл миллионами цветных огней, словно осыпанный самоцветами, расцветился такими яркими и чистыми красками, что молодые косари невольно залюбовались. Но ненадолго. Через минуту они вновь размахивали косами.

Теперь впереди Саньки и Девяткина оставался один Федя Черкашин. Он косил ровно, размашисто, крепко упирая ноги в землю и выставив вперед правое плечо.

«Все равно догоню», — распаляясь, подумал Санька.

Девяткин между тем начал выдыхаться.

— Не догнать нам, Коншак! — заныл он. — Ты поуже захватывай.

Санька оглянулся, вытер пот с лица, но ширины покоса не уменьшил.

Но тут Петька заметил, что Федя сам косу точит редко, а все больше бегают к деду Захару.

— Неправильно так! — закричал он. — Мы сами точим, а тебе нянька помогает. А после деда Векшина любая коса, как бритва, режет.

Федя ничего не ответил, но после этого косу точил только своими руками.

«Нашла коса на камень», — подумал Девяткин и все чаще поглядывал на солнце, прикидывая, как скоро объявят перерыв на завтрак, или подолгу рассматривал лезвие косы, трогая его пальцем, и покачивал головой: я, мол, еще бы поработал, да вот коса затупилась.

Неожиданно он разрезал косой скрытое в траве осиное гнездо.

— Осы, осы! — закричал Девяткин и, схватившись за шею, бросился к реке.

Зная, что с осами шутки плохи, молодые косари побежали вслед за ним.

Но Санька с Федей продолжали косить. Они только посмотрели друг на друга, ожидая, кто из них первый оставит работу.

Осы с сердитым жужжанием кружились над их головами.

Федя вдруг нагнулся и обсыпал голову и плечи мокрой травой. «Хитер!» — подумал Санька, но невольно проделал то же самое.

Мальчики еще сильнее налегали на косы. Майки у них потемнели от пота, но никто не хотел уступать друг другу.

Растревоженные осы вскоре успокоились; ребята, попрятавшиеся в кусты, вернулись к своим косам и с любопытством следили за состязанием.

Маша не сводила с косарей глаз. Она даже не могла сказать, кто же из них лучше косит.

То девочке казалось, что Федя выбивается из последних сил, и ей хотелось, чтобы у Саньки поскорее затупилась коса; когда же Санька начинал отставать, Маше становилось за него немного обидно.

— Жми, Коншак, газуй! — подзадоривал Девяткин. — Давай третью скорость!

— Чего ты зудишь! Не мешай! — шикнула на него Маша. Сзади подошли дед Захар с Катериной.

— Так, косари, так, травобреи! — Старик довольно погладил бороду. — Не торопись, ровнее бери. Не дергайся, Федюша, на пятку налегай, на пятку... А ты, Санька, не жадничай, поуже захватывай да валок подкашивай чаще... Смекай, Васильевна, — обернулся он к Катерине, — какой народ подрастает. Боевой резерв, пополнение нашему брату колхознику.

— Работники, что и говорить, — вздохнула Катерина. — Мой так уж совсем взрослым себя почуял... школу забросил. Не знаю, что и делать с ним.

— Загадал задачку, — посочувствовал Захар. — А ты покруче с ним, по-отцовски.

— Да уж придется, — согласилась Катерина и внимательно пригляделась к Феде.

Майка на нем была залатана неумелой рукой, сапоги прохудились.

— А и вы, Захар Митрич, незавидно с внуком живете. По-лесному, как партизаны.

— Чего там — незавидно! — с досадой отмахнулся старик. — Живем в свое удовольствие.

— Переходил бы он ко мне, Федя. Всё женские руки.

— У тебя своих полный штат... Да и характером они с Санькой не сойдутся. Задиристы, петухи, раздерутся... — И Захар поспешил перевести разговор на другое.

Вскоре на лугу объявили перерыв на завтрак.

Санька насухо вытер травой косу, вскинул ее на плечо и, встретившись с Федей взглядом, кивнул ему:

— Крепче заправляйся да косу поточи! Мы еще потягаемся.

— Потягаемся! — согласился Федя.

С ВОЗАМИ

Но после завтрака косить мальчишкам не пришлось. Их послали сушить сено и сгребать его в копны. Самое же интересное предстояло на другой день — возить сено с лугов в Стожары, где его должны были складывать около конюшни в огромные стога.

Узнав об этом, Санька прибежал к Татьяне Родионовне.

— Сказывают, старшого над возчиками нужно? — спросил он.

— Требуется.

— Так вы меня поставьте. Я на конюшне у тетки Васёны работаю. Меня кони вот как слушаются! Я смогу.

— Ну-ну, доглядывай, молодой Коншаков, старайся, — оглядев крепко сбитую, ладную фигуру мальчика, согласилась Татьяна Родионовна.

Наутро Санька с приятелями пришел на конюшню. Здесь уже были Федя, Семушкин и Степа.

Санька нахмурился: возить из лугов сено — дело нешуточное, ребят он подобрал для этого самых надежных и умелых.

— Мне людей хватает, — сухо сказал он Феде.

— А нас Татьяна Родионовна прислала: «Присоединитесь, говорит, к Коншакову».

— И мне сказала: «За подводы головой отвечаешь и подбирай в помощники кого хочешь».

— Ты и подобрал со своего конца, — заспорил Семушкин. — А мы чем хуже?

— А лошадь распряжется в дороге — что будете делать? — спросил Петька Девяткин.

— Ну и что! — дернул плечом Семушкин. — Опять запряжем, хитрость невелика.

— А колесо свалится?

— Вагой поднимем телегу и наденем.

— Тю... вагой! И сможешь? — фыркнул Петька.

Алеша похлопал по спине коренастого Степу Так-на-Так.

— Ничего, осилим, — улыбнулся Степа.

— Ну, а к мосту как съедешь? Знаешь, там крутогор какой! — наступал Петька.

— Ты, Девяткин, не задавайся очень-то, — тихо проговорил Федя. — Поедем — значит, поедем.

В спор вмешался конюх Седельникова, сказав, что работы хватит на всех. Начали распределять, кто на какой лошади поедет. Федя облюбовал Муромца.

— Не выйдет,— опередил его Санька,— у нас кони закрепленные, именные.

— Ты Лиску бери,— с серьезным видом посоветовал Петька.— Не конь — огонь! И ни за кем пока еще не числится.

Федя спорить не стал — Лиска так Лиска.

Мальчишки принялись запрягать лошадей.

Санька искоса поглядывал в сторону Феде. Тот стоял с хомутом в руках перед Лиской, которая высоко задрала голову и, казалось, не понимала, что, собственно, от нее хотят.

— Теперь до морковкина заговенья увещевать ее будет! — прыснул в кулак Петька.

— Эй, дружок, не задерживай! Выезжаем сейчас! — нарочито громко крикнул Санька и с удовольствием заметил, что все ребята обернулись в сторону Феде.

— Давай уж помогу,— снисходительно предложил Петька и, подойдя, потянул Лиску за повод.

Но шея лошади окаменела. Петька погрозил Лиске кулаком и потянулся за вожжами. Та шарахнулась в сторону.

Тогда Федя вытащил из кармана кусок хлеба, поднес к влажным розовым ноздрям лошади, потом положил его на землю.

Запах хлеба сломил Лискино высокомерие. Она опустила шею, потянулась губами за куском и сама всунула голову в хомут.

Вскоре вереница подвод двинулась к лугу.

Навьючили по первому возу сена. Санька поставил Муромца впереди всего обоза, оглядел подводы, мальчишек, застывших около лошадей, взмахнул рукой и залиvisto скомандовал:

— По передкам! Шагом арш!

Муромец неторопливо взял с места тяжелый воз. Следом за ним, мерно скрипя и покачиваясь, тронулись остальные подводы.

Когда миновали топкую лесную дорогу и выехали на укатанный проселок, Санька разрешил мальчишкам забраться на возы. Сам он продолжал степенно шагать рядом с Муромцем, заложив руки за спину, как это делал его отец, и зорко всматривался в дорогу, примечая каждую рытвину, канаву, каждый спуск и подъем.

Шумно дышали лошади, звенели уздечки, поскрипывали колеса, от них прямо несло запахом дегтя. Солнце поднималось все выше, разгоралось ярче.

Дорога пошла под крутой уклон. Санька свистнул, и подводы остановились. Он осторожно свел с пригорка Муромца, потом вторую лошадь, третью, четвертую. Дошла очередь до Лиски.

— Не надо... Сам попробую.— И Федя взял лошадь под уздцы.

Казалось, что вот-вот Лиска не выдержит давления напиравшего сзади воза, опрокинет мальчика и понесется вскачь.

Но маленькая напрягшаяся рука твердо сжимала удила,

голос Феди звучал по-хозяйски властно, и лошадь, едва не вылезая из хомута, покорно оседала на задние ноги, не шагала, а почти сползала с крутогора.

Но вот спуск кончился. Федя отпустил занемевшую руку, перевел дыхание и потрепал Лиску по шее.

Облегченно вздохнул и Санька. Потом похватился и покровительственно заметил:

— Ничего свел. Только кричишь много. Спокойнее надо.

Федя забрался на воз. Голова немного кружилась. На возу укачивало, как в люльке. Сладкий запах сена, скрип колес, напоминающий журавлиное курлыканье, посапывание коней, пестрое, нарядное поле кругом, теплый ветер над головой — все это было так хорошо, так напоминало те дни, когда он жил с матерью в совхозе.

Заслонив от солнца глаза, Федя смотрел на дорогу. Если пройти через все поле, потом через лес, где воздух в летние дни всегда так густо настоян на сосновой коре и папоротниках, добраться до станции и проехать два пролета, то к вечеру можно попасть в совхоз «Высокое». А там подняться на пригорок, к рабочему поселку, отсчитать с края третий домик, маленький, белый, точно умытый к празднику, и постучать в оконце — Федя всегда так делал, когда запаздывал домой.

«Это ты, грибник-лесовик? — ворчливо спрашивала мать. — А я уж собиралась на розыски идти. Садись, ужинай скорее!»

«Да нет, мамка, я ничуть не заблудился, — принимался уверять Федя, — на курень напал. Смотри, белых грибов сколько принес...» И, с аппетитом хлебая молочную лапшу, он долго рассказывал о грибных местах, мшистых полянках, частых ельниках...

Федя вздохнул и зарылся лицом в сено. Нет, лучше не смотреть на дорогу...

— Э-эй, на возах! Гляди в оба! — услышал он голос Саньки.

Федя открыл глаза — возы приближались к косогору. Впереди ехал Петька Девяткин. Неожиданно его воз начал крениться набок.

— Девяткин, левее правь! — закричал Федя. — Задремал, что ли! Лево, говорю!

Петька не шевелился.

Федя, не раздумывая, спрыгнул на землю, бросился к возу Девяткина.

С другой стороны к нему бежал Санька. Они почти одновременно подставили свои плечи под опрокидывающийся воз.

Душная, жаркая тяжесть навалилась на мальчиков, закрыла свет, перехватила дыхание. Сотни колючих травинок, точно иглы, впились в лица.

— Ой, мамочки! Задавило! — закричал с заднего воза Тимка Колечкин и бросился бежать к лугу.

Лошадь наконец миновала опасный крутой уклон, приподнявшиеся от земли колеса правой стороны телеги вошли в колею, воз выровнялся и отвалил от мальчиков.

Красный от напряжения, Санька потер плечи, грудь, неловко повел шеей и вдруг заметил на возу ухмыляющегося Девяткина.

— Дрыхнешь там! Ворон ловишь! — вышел из себя Санька и, подпрыгнув, ухватил Девяткина за ногу и стащил его на землю.

— Очумел, Коншак... — забормотал Девяткин, отряхиваясь от пыли и отступая назад. — Так уж и подремать нельзя...

— Мотай, говорю, отсюда! Не нужны мне такие возчики... Ясно? Федя, будешь смотреть за двумя подводами.

— Есть за двумя! — козырнул Федя и поглядел на Саньку.

Лицо мальчика, исколотое травинками, было покрыто мелкими капельками крови, точно обрызгано ягодным соком.

— Тебе умыться надо, — сказал Федя.

— И тебе надо.

Они спустились в овражек, к роднику, поплескали на лица водой, вытерли их подолами рубах.

Санька все посматривал сбоку на Федю и думал: «А ничего малый. Работать с ним можно...»

А потом принялся ругать косогор на дороге.

— Срыть его надо, — предложил Федя.

— Это пожалуй, — согласился Санька. — Обратно поедem — лопаты захватим.

Возы тронулись дальше. Около самой деревни их нагнали Тимка и перепуганные Маша с Катериной.

Маша подозрительно оглядела Саньку, а Катерина принялась расспрашивать ребят, что с ними произошло.

— Ничего и не было, — пожал Санька плечами и незаметно подморгнул Феде.

— Померещилось Тимке, — подтвердил тот. — С жары, верно, кровь в голову ударила.

Вечером возчики распрягли лошадей и повели их в ночное.

Потому ли, что Муромцу захотелось быть поближе к Лиске, по другой ли какой причине, но только Санька оказался рядом с Федей.

— Ты это вовремя плечо-то подставил, — глядя в сторону, сказал Санька. — Одному бы мне ни за что воз не удержать.

— И мне одному не удержать, — признался Федя.

— Ты где это обучился косить да лошадьми так править?

— В совхозе. Меня мать всегда с собой в поле брала.

— А меня отец...

Они помолчали. Потом Санька неожиданно сказал:

— Желаете — можете завтра на Муромце сено возить. А я Лиску возьму.

— Кони же у вас закрепленные, именные! — улыбнулся Федя.

— Это ничего... поправочку внесем.

Глава 22

В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

С сенокосом в Стожарах управились как раз вовремя — до теплых затяжных дождей. Колхозницы смогли немного передохнуть.

Особенно были рады дождям ребята: наконец-то можно будет сходить в лес за грибами, на болота за черникой, половить рыбу, разведать, каков урожай орехов в этом году!

Утром Санька, как обычно, проснулся вместе с матерью и поспешно начал одеваться.

— Куда в такую рань? — остановила его Катерина. — Поспи еще часок. В луга сегодня не ехать.

— Известно куда... на конюшню. — Санька туго затянулся ремешком, лихо заломил на висок пилотку и вдруг, почувствовав пристальный взгляд матери, оглянулся: — Что ты смотришь? Не так что-нибудь?

— Можно пока и не ходить на конюшню. Управятся там, — сказала Катерина. — А тебя сегодня учительница ждет.

— Какая учительница? — не понял Санька.

— Надежда Петровна. Говорила я с ней... Обещала она позаниматься, к экзаменам тебя подготовить.

Застигнутый врасплох, Санька ответил не сразу:

— Так я же не в игры играю. Мне трудодни за коней пишут...

— Проживем и без твоих трудодней, — вздохнула Катерина. — Ловчишь ты, парень, куролешишь без отца-то. Ты мне прямо скажи: не по душе тебе учение, не по зубам орешек? Полегче жить хочешь, вроде Петьки Девяткина?

Санька вспыхнул, вскинул голову, хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Подошел к стене, снял висевшую на стене уздечку.

— Да что же это! — жалобно вскрикнула Катерина. — Все слова мои на ветер...

Она вдруг подбежала к сыну, вырвала у него из рук уздечку и бросила в угол.

— Нечего тебе делать на конюшне! Ешь вот и ступай к учительнице. Пока вместе живем, не позволю учение бросить! Так и знай!

— Ты не кричи, не кричи...— сдавленным голосом сказал Санька и, распахнув дверь, вышел из избы.

На конюшню он пришел мрачнее тучи. Обругал ни с того ни с сего безропотного Муромца, замахнулся на Лиску, в ответ на что кобыла чуть не укусила его за плечо.

— Чего ты лютуешь, парень! — выговорила ему Седельникова. — Белены объелся? Иди-ка охолопись. — И она послала его к шорнику за хомутом.

Вернувшись через час от шорника, Санька заметил у конюшни Татьяну Родионовну. Она сидела у водопойной колоды и о чем-то разговаривала с Седельниковой.

— Иди-ка сюда, Коншаков, — хмуро подозвала председательница Саньку. — Садись, рассказывай!

— О чем рассказывать? — Мальчик не очень уверенно подошел к колоде.

— Ты до чего мать довел? От нее жалобу клещами не вытянешь, а тут в слезах прибежала, дрожит вся. Заботник тоже! Нет чтобы мать побереечь...

— Татьяна Родионовна... — Санька подался вперед.

— Знаю твои речи, знаю! Сам по себе жить хочешь. Не рано ли? Со школой вчистую разделался?

— Так пускай другие кто учатся, — выдавил Санька, — а я колхозником буду.

— Колхозником?! — удивилась Татьяна Родионовна. — Да ты как понимаешь? Умею, мол, коня запрячь, за бороной да плугом ходить, косой на лугу помахать — так уже и колхозник! Так то, бывало, и мужик умел делать. Ты вот про землю что знаешь? Вспахал полосу, засеял, и расти, зернышко. А как вспахать — глубоко, мелко? Как пласт обернуть? Какими семенами посеять? Нет, Саня, колхознику теперь много чего знать положено. А ты еще птенец бескрылый...

— Тятка мой тоже семилетку не кончал, — тихо заметил Санька. — Меньше моего учился... А какой колхозник был... Сам до всего доходил.

— Я-то знаю, — обернулась Татьяна Родионовна. — А ты вот, видно, плохо знаешь его. Егора ли Платоныча вина, что он всего три зимы учился? Ему уж за тридцать было, а он, как школьник, к Андрею Ивановичу бегал, упущенное наверстывал... Ну вот что, — поднялась председательница, — от конюшни тебя придется пока отставить. Раз мать сказала — ходи к учительнице, бери уроки... А тебе, Василиса, я другого подручного найду.

Санька взглянул на Седельникову. Та только развела руками: мол, какой может быть разговор, если приказано.

Мальчик уныло поплелся прочь от конюшни.

Вновь засеял мелкий, назойливый дождь. Деревья, опустив

мокрые листья, стояли понурые, земля была вязкой, мягкой.

«К председателю сбегала, нажаловалась,— с обидой подумал Санька про мать.— Думает, все по-хорошему у нас... А вот знала бы...»

Он в нерешительности остановился около дома. В избу заходить не хотелось. Встретится мать, опять начнутся разговоры...

— Чего мокнешь, как ракита в поле? — выглянула из окна Евдокия.— Заходи, обсушись.

Санька вошел, присел у порога.

— Что, младший конюх, вычистили тебя? — шепнул ему Петька.— А тоже — я, я, незаменимый...

— Все опекают, Саня, развернуться не дают,— заговорила Евдокия.— А ты за меня держись, я тебе дело найду.

— Тетя Дуня,— помолчав, спросил Санька,— а на сапожника там как... долго учиться надо?

— Чего там долго... Через три месяца и к делу встанешь.— Она посмотрела на ребят: — Чего вы дуетесь! По грибы бы сходили. Самая пора.

— Верно, Коншак, пойдем! — обрадовался Петька.— Степка всю «векшинскую бригаду» в Субботинскую рощу повел. Еще наши места покажет.

Санька согласился — в лесу можно пробыть до самого вечера.

Через час они добрались до рощи.

Первое же деревцо, которое Санька слегка зацепил плечом, осыпало его частыми крупными каплями. Он отпрянул в сторону, но тут мокрая ветка крушины мазнула его по лицу.

По макушкам деревьев пробежал ветер, и вновь Саньку обдало, как из душа.

Но он вскоре притерпелся к этому.

В лесу было тихо, прохладно. Рдели кровавые волчьи ягоды, часто встречались крупные синие ягоды голубики, прозрачные созвездия брусники, на полянах цвели влажные лиловые бессмертники.

От трухлявых пней пахло скипидаром, далеко были видны красные, в белых крапинках шапки мухоморов.

Санька ходил быстрым, легким шагом, остро пронизывал глазом перелески, старался не пропустить ни одной полянки.

Но на каждом шагу кто-нибудь из векшинцев пересекал ему дорогу, кругом аукались, перекликались.

Санька отошел подальше в сторону. Но грибы сегодня не баловали мальчика.

Прошло уже с полчаса, а он положил на дно кузова лишь несколько молодых подосиновиков, десятка полтора источенных улитками сыроежек и скользких, точно намыленных, маслят.

Наконец в частом березнике Санька заметил несколько крупных грибов.

«Белые», — еще издали догадался он, и сердце его зашлось, как у всякого завязанного грибника.

Но белые грибы оказались дряхлыми, насквозь источенными червями. Санька сердито сбил их ногой. Он еще немного покружил по лесу и вышел на поляну.

Сюда собрались и остальные грибники. Не было только Феди.

Ребята посмотрели друг другу в кузовки и приуныли. Не иначе, домой придется возвращаться не улицей, а задами деревни, чтобы люди не увидели, как мало набрали они грибов.

Семушкин предложил, пока не поздно, отправиться на болото за черникой.

— Смотрите, смотрите! — вскрикнула вдруг Маша и показала в сторону.

Все обернулись и увидели сквозь кусты Федю. Он шел не торопясь, мелкими шажками, часто останавливался, оглядываясь, возвращался назад, обходил каждый куст то с одной стороны, то с другой. Ребята подбежали к Феде и ахнули. Кузовок его до половины был наполнен грибами. Сверху лежали даже три белых гриба с толстыми белоснежными корнями.

Федя заглянул ребятам в кузовки и покачал головой:

— Небогато... Что же вы так?

— Подумаешь — разбогател, белый гриб нашел! — фыркнул Петька. — Знаем, зачем ты белые наверх положил — покрасоваться! А на дне у тебя и червивые грибы и поганки.

— Зачем же поганки! — Федя опрокинул кузовок, высыпал грибы на траву и принялся их разбирать. — Можно проверить.

У себя в кузовке он оставлял только белые грибы, подберезовики и подосиновики, а сыроежки, лисички, маслята откладывал в сторону.

— Берите, ребята, у кого мало.

— Ты, Федя, счастливый, — вздохнула Маша. — А нам вот грибы не попадают и не попадают.

— Это верно, грибов еще немного, — согласился Федя. — Но найти можно. А только вы как-то по-чудному их собираете. Вот ты, Маша, всё бегом да вприпрыжку, словно за зайцем гонишься. А ты, Алеша, больше за ягодами смотришь да за орехами. Куда это годится! Меня дедушка так учил: в глаза только мухомор да поганка лезет, а хороший гриб — его на ощупь искать надо. Вот смотрите, — показал он вокруг себя, — ни одного гриба не видно. Правда? — Федя опустился на колени, принялся шарить в траве, разгребать прошлогодние листья, приподнимать моховую подстилку. — А вот вам подберезовик... вот другой... вот еще гриб. А здесь лисички живут, — кивнул он на редкий сосняк,

перемешанный с молодыми березками.— А это сыроежкина полянка, а тут волнухи прячутся...

И правда, начали попадаться то ярко-оранжевые лисички, то розовые сыроежки, то покрытые белесым пушком волнушки. Ребята заметно пополняли свои кузовки и корзинки.

— А ты сам почему не берешь? — спросила Маша.

— Мои грибы от меня не уйдут,— сказал Федя, вглядываясь в лес.— Ельник начинается... Теперь должны белые пойти.

Он раздвинул разлапистые, колючие ветки и полез в самую чащу.

Маша с Семушкиным переглянулись и полезли следом за Федей. Вскоре из ельника донеслось восхищенное восклицание девочки. Затем все стихло.

Петька кивнул Саньке на ельник:

— Чего они там... посмотрим.

Санька не отказался. Его уже разбирало любопытство. Он всегда считал себя ловким, находчивым грибником, но так искать грибы, как Федя, было для него в новинку.

В частом ельнике, под густым шатром веток, было сумеречно, прохладно, как в погребе, и все казалось окрашенным в коричневый цвет — и прелая прошлогодняя хвоя, и мелкие сучья, и мох, и даже самый воздух.

Федя, Маша и Семушкин ползали по моховой подстилке и выковыривали белые грибы. Маша вполголоса бормотала. Самый большой гриб с рыхлой накренившейся шляпкой она назвала «дедушкой», поменьше — «отцом и матерью», а молодые, белесые и твердые, как камушки, — «внучатами»

Петька от неожиданности выронил из рук корзину, присел на корточки и принялся шарить во мху.

— Чур, наш корень! — заметил Алеша.

Санька потянул Девяткина обратно из ельника: раз «чур» сказано, тут уж ничего не поделаешь.

— Вот повезло! — с завистью вздохнул Петька.— Теперь все наши грибы оберут.

— Какие они наши! — осердился Санька.

Ему было не по себе. Разве можно вернуться домой с неполным кузовком!

— Чего ты за мной по пятам ходишь, как за квочкой! Мало тебе лесу? — прикрикнул Санька на Девяткина и, оставив его, ринулся в густую чащу.

Вскоре, незаметно для себя, он начал искать грибы по Фединому способу — не спешил, часто останавливался, припадал на колени, шарил в траве руками.

Дело пошло лучше. Начали попадаться и белые грибы.

К концу дня грибники вернулись в Стожары.

На улице они не останавливались, но шагали не быстро, чтобы

каждый встречный мог заметить, что кузовки у всех полны отборными, первосортными грибами.

Санька еще немного посидел за двором и, когда совсем стемнело, бесшумно вошел в избу. Лампа была перевернута: видно, все уже спали. Хотелось есть. На столе Санька заметил хлеб и крынку с молоком. Он присел к столу и невольно оглянулся.

Приподняв с подушки голову, на него смотрела мать.

Санька отодвинул крынку и поднялся.

— Да поешь ты, поешь, петух хорохористый!..— грустно сказала Катерина и, помолчав, добавила: — Новость, Саня, слышал? Андрей Иванович приехал, учитель ваш. Он теперь, говорят, из Стожар никуда не уйдет.

Глава 23

ВСТРЕЧА

Никто не созывал учеников, но утром, точно по сговору, они собрались у избы Ракитиных. Было еще очень рано, ноги стыли от холодной росы, и ребята, забравшись на изгородь, расселись рядом, как ласточки на проводах.

В окно выглянула Маша:

— Андрей Иванович уже спрашивал, про всех спрашивал... Только он еще спит пока.

— Мы обождем, мы тихо,— шепнул Семушкин.

— А что мы скажем Андрею Ивановичу, когда он проснется? — также шепотом спросила Зина Колесова.

— В самом деле...— заволновался Семушкин.— Надо что-нибудь такое... вроде приветствия! Мол, так и так, от имени бывших ваших учеников, теперь семиклассников, поздравляем с возвращением.

— Правильно,— согласилась Зина.— У тебя, Семушкин, лучше всех получается, вот ты и скажи. А еще цветы поднести надо бы... ромашки там, лилии водяные...

— И рыбы можно наловить,— предложил Степа.

— Не надо цветов... ничего не надо,— остановила Маша.

— Неловко без подарка-то,— сказала Зина.

— А мы его в поле поведем, в лес, на участок к деду Векшину. Целый день будем водить. Всё, всё покажем — и хлеба́ и травы...

— И речку с рыбой, и небо с солнышком,— засмеялся Алеша.— Нет, ты делом скажи, как приветствовать будем.

— А никак,— сказал Степа.— Просто скажем: «Здравствуйте, Андрей Иванович! Мы вас так ждали, так ждали...»

— А я к вам так долго не шел,— раздался негромкий голос.—

Что поделаешь, друзья мои! Дорога была не совсем близкой.

Ребята оглянулись. По ступенькам крыльца к ним спускался высокий, худощавый человек в солдатской гимнастерке.

— Ну вот мы и встретились!

Андрей Иванович протянул детям левую руку, так как на месте правой болтался пустой рукав, напоминая подбитое птичье крыло.

Школьники переглянулись и чуть подались назад.

— Ничего, друзья мои,— заметил их смущение Андрей Иванович.— Одна рука — это не так уж много для такой войны...

Учитель стал как бы шире в плечах, выше ростом; густые усы делали его лицо старше и строже, но светлые глаза, как и прежде, светились спокойным, ясным светом.

И ребята, радуясь, что судьба сохранила для них эти ясные глаза, добрую голову и сильное тело, окружили Андрея Ивановича тесным кольцом, и их руки, как голуби, доверчиво опустились на широкую ладонь учителя.

Андрей Иванович долго смотрел на ребят. Сколько раз в пылу сражений или в короткие минуты отдыха вспоминались ему эти детские лица! Сколько раз в непогожую, темную ночь ребячьи глаза светили ему, как звезды на небе, и облегчали тяжкий солдатский путь!

Вот неугомонная, беспокойная, как огонек, его племянница Маша; вот рассудительная, молчаливая Зина Колесова; вечно шмыгающий носом, словно принюхивающийся к чему-то Семушкин; добрейший Степа Карасев... Как все они вытянулись, повзрослели!

Голова Степы заросла густыми волосами, стала круглой, точно шар.

Сколько раз, бывало, до войны Андрей Иванович оставлял мальчика после уроков и стриг его под машинку.

Сейчас учитель положил руку на Степину голову.

— Ей-ей, стригусь, Андрей Иваныч,— густо покраснел Степа,— а они лезут и лезут, удержу нет.

— Он стрижется! — фыркнул Семушкин.— Раз в год по обещанию.

— Погоди вот! — погрозил учитель.— Сегодня же обработаю тебя под нулевой номер.

И все засмеялись, потому что знали, как Степа не любил стричься.

И тут учитель заметил, что позади всех стоит невысокий смуглый мальчик и не сводит с него глаз.

— Это, Андрей Иваныч, тоже стожаровский,— шепнула Маша.— Федя Черкашин.

— Здравствуй, Федя,— шагнул к нему учитель.— Знаю про тебя, знаю. Писала мне Маша.

— Расскажите про войну, Андрей Иванович,— попросил Семушкин, когда все ребята поздоровались с учителем.

— Узнаю тебя, Алеша Семушкин,— улыбнулся учитель,— ты нетерпелив, как и прежде. Но мне тоже хочется много узнать. Узнать о вас. Как вы жили, друзья мои, что делали. Покажите мне ваши владения.

Дети переглянулись. Что они могут показать? Разве только свой небольшой опытный участок.

— Как! Нечего показать? — удивился Андрей Иванович.— А поля, которые я вижу отсюда? А луг, лес, речка?

Маша с гордостью оглядела ребят: она же угадала, какой подарок дороже всего учителю.

И дети повели Андрея Ивановича по колхозу.

— Наша кузница! — говорила Маша, показывая на закопченную низенькую сараюшку.— Здесь дядя Евсей работает. А это скотный двор... Его недавно отстроили...— И все это рассказывалось с таким видом, как будто Андрей Иванович впервые в жизни видел и кузницу и скотный двор.

Колхозницы, встречая учителя, раскланивались с ним, поздравляли с возвращением и кивали на ребят:

— Не успели водицы испить с дороги, а они уже опять вас в полон забрали.

— Владения свои показывают молодые хозяева,— отвечал Андрей Иванович.

— Поинтересуйтесь, как мы тут на ноги встаем...

Обойдя хозяйственные постройки, дети повели учителя в поле.

Все радовало его в это утро: и полянки зеленых, волнующихся от ветра хлебов, и лилово-розовый ковер клеверного поля, и пестрое стадо коров на пастбище, и неторопливый бег реки.

Учитель повсюду задерживался, внимательно все осматривал, подолгу прислушивался к щебетанию птиц.

Мало-помалу ребячьи языки развязались. Дети рассказывали, что птиц и зверей в лесу стало больше, чем до войны. Откуда они только берутся!

В лесу появились волки, кабаны, а к стаду однажды пристал огромный рогатый лось, целый день гулял с коровами и на смерть перепугал быка Петушка.

Детей собиралось все больше и больше. Каждый спешил поделиться с учителем какой-нибудь новостью.

Один знал новые грибные места, второй научился ловить руками голавлей под корягами, третий отлично управлялся с конями.

Потом вниманием учителя завладел Алеша Семушкин. Он показал ловушки и капканы собственной конструкции, расстав-

ленные около сусличьих нор, и сообщил, что им «запланировано» за лето словить две тысячи сусликов.

— А они как, суслики, приняли твой план? — улыбнулся учитель.

— Приняли, — сказала Маша, — только в капканы все больше лягушки попадают.

Семушкин обиделся и тут же предложил всем желающим залечь и замаскироваться около сусличьей норы, чтобы на опыте убедиться, как безотказно действует его капкан.

Но Маша запротестовала: так можно пролежать до вечера, а им еще так много нужно обойти.

— А это чьи посевы? — остановился Андрей Иванович около полянки ровной, чисто прополотой пшеницы.

— Катерины Коншаковой, Санькиной матери, — сказала Маша.

— А где же Саня Коншаков? — спросил учитель. — Почему его не видно? Ты же дружила с ним, Маша?

— А мы... мы и сейчас не бранимся... — замялась девочка. — Только он какой-то такой стал...

— Какой же именно?

— А такой... — начал было Семушкин.

Но Маша уже пожалела о своих словах, дернула Семушкина за локоть и показала Андрею Ивановичу в сторону реки, где Санька с приятелями резал в лозняке прутья для корзин.

— Вот он, Коншаков. Хотите, позову его?

— Позови, Машенька.

Девочка побежала вдоль межи.

Санька, заметив ее, юркнул в кусты.

Он уже давно следил, как Маша водила Андрея Ивановича по полю. Как она радуется, Маша! Еще бы! Вернулся с войны ее родной дядя. Пройдет время, и так же встретят своих отцов и братьев Алеша Семушкин, Степа Так-на-Так и многие другие стожаровские мальчишки.

И только Егор Коншаков не вернется домой...

А как бы Санька хотел вот так же целый день ходить с отцом по колхозу, показывать ему постройки, высокие, как башни, стога сена, посевы в поле, тихие рыбные заводи на речке!

— Где ты, Саня? Иди к нам! Ну что ты маскируешься! Тебя Андрей Иваныч хочет видеть, — звала Маша.

Но Санька, как подбитый зверек, уползал все дальше в кусты, волоча за собой связку ракитовых прутьев. Сердце его сжималось от боли.

Маша, не понимая, куда мог исчезнуть Санька, покачала головой и вернулась обратно к учителю.

К Л Е Т К А № 5

Теперь осталось показать Андрею Ивановичу самое интересное.

Вскоре ученики привели его к опытному участку.

Маша осторожно приоткрыла дверцу и пропустила всех за изгородь.

Дед Векшин ходил между грядками, осматривал посевы.

Маша погрозила ребятам пальцем:

— Вы тихо... сейчас придумаем что-нибудь.

Что она придумает, девочка еще не знала, но бесенок, вселившийся в нее с утра, не давал покоя.

Она побежала к деду Захару:

— Дедушка... тут человек один пришел, нашими опытами интересуется.

— Какой человек?

— Он военный... с фронта. Спрашивает, как у нас насчет новых сортов.

— Уже выболтала, успела! — с досадой сказал Захар. — А какой уговор был?

— Этому человеку можно, дедушка... — начала было Маша.

Но старик, подняв голову, вдруг отстранил Машу в сторону и шагнул вперед:

— Кого вижу! Андрей Иваныч! Дорогой ты наш человек! — И с опаской поглядел на тощий правый рукав учителя. — Списали, значит, вчистую?

Андрей Иванович обнял Векшина:

— По документам вчистую, а про себя считаю — вроде как на другой фронт переведен.

— И правильно считаешь, — согласился Захар. — Какие там новости на белом свете, Андрей Иваныч? Где войны наши шагают?

— Далеко шагают, Захар Митрич! Вчера приказ передавали — наши Минск освободили.

— Святое дело! — просветлел Захар. — По всем приметам конец скоро лихолетью! Хмара нашего солнышка не закроет больше. Вот и мы стараемся как можем. — Старик показал на участок.

— Так это и есть опытное поле? — спросил учитель.

— Громко сказано, Андрей Иваныч! Пятачок, а не поле. Но кое-что мы посеяли. По зернышку собирали, по горсточке. Это вот лен-долгунец, здесь рожь зимостойкая, там ячмень голозерный... А это ваш подарок... Помните, в письме ребятам

прислали? — Захар показал на маленькую делянку с крупно-головым клевером.

Учитель неторопливо шел по участку, наклонялся к растениям, бережно касался цветов и листьев, словно здоровался с ними после долгой разлуки.

Вот он остановился перед высокой, в полтора человеческих роста, дагестанской коноплей. Рядом росло несколько кустов клещевины с крупными темно-зелеными лапчатыми листьями. Еще дальше на крошечных грядках учитель узнал амурскую сою, кок-сагыз, арахис, нижние мелкие цветы которого зарывались в землю и там образовывали земляные орешки.

— А эти южане откуда? — спросил Андрей Иванович.

— Об этом вы ребят спрашивайте, — сказал дед Захар. — Их питомцы.

— Это мы на пробу посеяли, Андрей Иванович, — объяснил Алеша. — А семена в школе достали.

— И то сказать, — покачал головой Захар. — Меня, как маленького, втравили в эту забаву. «Дедушка, а как поливать да как удобрять?» Отбоя от вопросов нет. А я, признаться, таких растений и в жизни не видывал. Вот мы и мозговали всей артелью, как от заморозков южан укрыть да от ветров холодных сберечь. И ничего будто — прижились гости.

— Андрей Иванович, — сказала Маша, — а если арахис у нас в поле посеять... Знаете, какая это ценная культура! И кок-сагыз.

— А еще бы виноград за сараями хорошо вырастить, дыни, — заметил Семушкин.

— Видали, куда целят, Андрей Иванович! — засмеялся Захар. — Затеи у них в голове, что семечек в огурце. Ретивый народ, неотступный...

Андрей Иванович подошел к густой кустистой пшенице на пятой клетке. Капли дождя сбегали по коленчатым прозрачно-зеленым стеблям, усатые колосья были покрыты водяной пылью.

Неожиданно сквозь облака пробилось солнце, и омытая дождем пшеница засияла, как хрустальная.

Учитель даже зажмурился и присел на корточки:

— Это что за сорт такой?

Захар сделал предупреждающий жест рукой, словно хотел сказать детям, чтобы они не мешали Андрею Ивановичу рассмотреть пшеницу, а сам, вытянув шею, не сводил с него глаз.

— Позвольте, Захар Митрич... да это... — учитель обернулся и схватил старика за руку, — Егора Платоныча пшеница? Несомненно его.

— Узнали? — спросил Захар. — Она, Андрей Иванович, она самая.

— Как не узнать! Все признаки налицо: и рост, и колос.

Да я ее из сотни сортов отличу. Она мне во сне сколько раз снилась. Но откуда же она у вас, Захар Митрич? — Учитель вдруг поманил к себе Машу: — А вы мне с Саней что писали? Погибла пшеница, ни одного зернышка не сохранилось.

— Писали... — растерянно призналась девочка, — так оно и было. Мы долго искали, всех спрашивали... Никто ничего не знал. И дедушка сказал, что она потерялась... Ведь правда, дедушка?

— Говорил, было такое дело. — Захар сконфуженно почесал затылок, потом привлек к себе Федю: — Это вот через кого все переиначилось. Его благодарите.

И, чувствуя по глазам, что ни Андрей Иванович, ни ребята ничего не понимают, он переглянулся с внуком и рассказал о всех приключениях пшеничных зерен.

*

Когда немцы начали подходить к Стожарам, Захар Векшин зарядил свою старую берданку и пришел в лес к партизанам.

Командир отряда, директор МТС, увидев старика, рассердился, приказал ему немедленно вернуться домой и гнать на восток колхозное стадо.

Но старик наотрез отказался: со скотом управятся женщины и подростки, а он как-никак мужчина, назубок знает все лесные дороги и тропы, неплохо палит из дробовика и, уж конечно, наделит тремя аршинами русской земли с десятков-другой поганых фашистов. К тому же в колхозе имени Пушкина остается фруктовый сад на полтора ста корней, дома, посевы, а это добро, как скот, на восток не угонишь.

— Сторожем при колхозе будешь? — спросил командир. — От врага убережь надеешься?

— Там видно будет...

И Захар из отряда не ушел. Вскоре нашлась ему и работа. Он чинил партизанам обувь, латал одежду, варил обед, лечил их травами.

Иногда, переодевшись нищим, он пробирался в деревни, узнавал, есть ли там гитлеровцы, полицаи, кто поставлен над советскими людьми старостой.

Однажды в лесу Захар натолкнулся на одичавшего Федю Черкашина.

Захар привел мальчика в отряд.

Федя помогал деду вести партизанское хозяйство, собирать лекарственные травы, грибы, ягоды.

По деревням теперь они ходили вместе. Туда, где рослому,

приметному деду опасно было показаться, легко проникал юркий, маленький Федя.

Мальчика полюбили в отряде, и, узнав, что он круглый сирота, многие хотели его усыновить.

— Я не сирота. У меня дедушка есть...— отвечал Федя.

Как-то раз они с дедом пробрались в Стожары. Там хозяйничали гитлеровцы. Поля охранялись — теперь они были собственностью какого-то важного немецкого помещика. Урожай в том году выдался на редкость.

Среди посевов Захар нашел сотку с пшеницей Егора Платоновича. Как ни старалась вытоптать ее Катерина Коншакова, но отдельные стебли выжили, поднялись и теперь стояли, отягощенные крупными спелыми колосьями.

— Такой сорт вырастили! И для кого! — застонал от боли Захар. — Для фашистской утробы. Теперь от него ни колоска не останется, ни зернышка. — И он пристально посмотрел на мальчика: — По чужим горохам умсешь лазить? По садам, огородам...

— Доводилось, — смущенно признался Федя.

— Все вы, мальчишки, на одну колодку деланы, испортили мне кровушки... А вот теперь, Федюша, святое дело сотворить можешь. Хоть три колоска достань. Сумеешь?

— Смогу, дедушка. Я весь хлеб оборву, — согласился Федя.

Ночью он пробрался к пшенице, и к утру старик с мальчиком принесли в лагерь полную сумку колосьев, вышелушили зерна, провеяли на ветру и ссыпали в мешочек.

— Не рано ли, дед, к посевной готовишься? — спросили его партизаны. — Еще врага с земли не спихнули, а ты о семенах думаешь.

— Самое время. Земля — не фашистская утроба. Будут семушки — будет и хлеб. Теперь доброе зерно без следа не сгинет.

Командир отряда пожурил Захара с Федей, строго-настрого запретил им устраивать подобные вылазки, но пшенице обрадовался и просил беречь ее пуще глаза.

С весны завязались тяжелые бои. Линия фронта все ближе подходила к партизанскому району. Надо было наладить связь с нашими войсками. Пробраться через линию фронта вызвался дед Векшин. С ним увязался и Федя.

— Уж очень ты мал, Федя, — покачал головой командир отряда, — тебе бы по лужайке бегать, в бабки играть, а тут такое дело... Опасно ведь, надо быть ко всему готовым.

— Я всегда готов!

— Пионер, значит... Ну, шагай, братец! — Командир крепко обнял мальчика.

И Захар с Федей пошли. Сначала болотом, буреломом, по

пояс проваливаясь в зыбкие трясины. Потом они выбрались к реке, и Захар отправился искать брод, чтобы перейти на другой берег. Федя сидел в густой траве и ждал. Неожиданно за кустами он услышал глухую возню и крики. Федя бросился было на шум, но тут до него донесся протяжный и грустный посвист иволги. Это был условный сигнал: «Я попался. Пробирайся к нашим один», — говорил дед Захар.

Федя забрал дедушкину котомку и, оседлав толстое бревно, переправился через реку.

Через два дня советские войска прорвали вражескую оборону и погнали фашистов на запад, освободив многих советских людей, в том числе и Захара Векшина.

Старик бросился искать Федю.

Мальчика нигде не было. Куда ни писал Захар, какие справки ни наводил, никто ничего не знал о его внуке.

Только через полгода, когда жизнь в Стожарах немного наладилась, Захар Векшин получил письмо из далекого города Ташкента. Федя писал, что донесение он тогда доставил, но его малость поранило, и он лежит сейчас в госпитале.

— ...Долго, коротко ли, добрался до меня внучек, — закончил свой рассказ Захар, — и пшеничку привез.

— И молчали до сих пор! Экий вы, Захар Митрич! — с упреком сказал учитель. — Да это же ребятам всякой сказки дороже.

— Опасался, Андрей Иванович: а вдруг залежались зернышки, никакой жизни в них не сохранилось. Зачем же раньше срока людей в искушение вводить!

Легкий ветерок ворвался на участок, пробежал над посевами, и они зашуршали колосьями, словно хотели сказать: «А мы живем, живем».

— А вот теперь дело ясное: здравствует пшеничка, заколосилась, зацвела. Скоро и урожай собирать будем.

Глава 25

ЛАПТА

Нарезав по большой охапке гибких, молодых прутьев, Санькина компания выбралась из зарослей ракитника и пошла домой. Санька уныло плелся позади всех. Все ему было не по душе в этот день: и плотные, серые облака на небе, то и дело моросящие дождем, и бестолковый крик галок над полями, и Петькино нытье о том, что нет ему больше никакого расчета плести корзины, раз продают они их за бесценок.

— Отвяжись ты со своими корзинами! — обругал его Санька. — Надоели они мне.

— Вот и я говорю — расчета нет, — сказал Петька. — Тебя моя мать просила зайти.

— Зачем это?

— Не догадываешься? Насчет сапожной мастерской решить надо. Она уже с дядей Яковом обо всем договорилась. Пелагея Колечкина Тимку тоже отпускает.

Мальчишки дошли до опытного векшинского участка и сели у изгороди отдохнуть.

— Чего, Коншак, скучный такой, словно петух помятый? — не унимался Петька. — Погода не веселит? А может, перед учителем струхнул? Я видел, он уже Машеньку за тобой присылал: «Дать-подать мне Коншакова».

— Что мне учитель! — дернул плечом Санька, и, чувствуя, что сказал совсем не то, что думал, покраснел и отвернулся.

— Ясное дело! Что он нам! — подхватил Петька. — Ни сват, ни брат. Это раньше — чуть что, и пожалуйста под машинку. Усаживает на стул, стрижет под нулевку, а сам целое тебе наставление читает: зачем сучок у яблоньки обломал да зачем прохожему грубо ответил. Пятое-десятое! Жуткое дело! А теперь мы ему люди не подначальные. Сами с усами, мастеровой народ. Пожалуйста, гражданин хороший, подшить, подбить, перетяжечку сделать... Нам это раз-раз! — Петька совсем расхрабрился и полез за кисетом. — Вот подойди он сейчас, а я так и скажу: «Закурите моего. Табачок-самосад, вырви глаз, злой корешок, достань до кишок».

— Кому скажешь? — обернулся Санька.

— Ну ему... Андрею Ивановичу.

Но Санька так посмотрел на Петьку, что тот опасливо отодвинулся и вздохнул: нет, с Коншаком сегодня ни о чем нельзя сговориться.

Ему тоже стало скучно. Он не любил, когда вокруг него молчали, ничего не делали, никто никого не задирали и не поддразнивали.

Петька нарвал едких, как нюхательный табак, головок какой-то травы, растер их на ладони и сунул в нос задремавшему Тимке Колечкину.

Тот вскочил, чихнул, показал Петьке кулак и опять закрылся лопухом.

Девяткин совсем заскучал, заглянул через изгородь на участок, опять подсел к Саньке и вкрадчиво зашептал:

— Ягоды у векшинцев хорошие! Уже совсем спели. И от изгороди рукой подать. Вот бы попробовать! А?

— Я по чужим ягодам не мастер.

— Машеньку с Федей боишься обидеть?

— Какое мне до них дело.

— А докажи, попробуй!

— Сказано тебе...

— Да мы ж, Саня, только на пробу. В запас брать не будем. Дед Векшин и знать ничего не узнает. Вылазку, конечно, проведем по всем правилам: дозорных выставим, сами по-пластунски...

Санька молчал.

— Ну, дело твое,— со вздохом поднялся Петька.— Раз не желаешь — мы и с Тимкой можем. Смотри, Коншак, пожалеешь! Ягоды-то — мед с сахаром! Будешь потом слюнки глотать.

— Посмей только! — Санька с силой дернул Петьку за руку.— Сиди! Никуда ты не пойдешь.

Петька вздохнул и посмотрел на мальчишек.

«Понимаете, мол, сами, какой я лихой и отчаянный парень и обязательно угостил бы всех вас сладкими ягодами, если бы не Санька», — говорил его взгляд.

— В лапту, что ли, сыграть? — лениво предложил он.— Мячик, Тимка, с тобой?

— Со мной,— ответил Тимка.

Мальчишки разбились на две равные партии.

Но игра шла вяло. Желая чем-нибудь рассмешить ребят, Петька с таким затейливым вывертом ударил лаптой по мячу, что тот полетел в сторону участка, выписал дугу и камнем упал за изгородью. Мальчишки опешили. Больше всех расстроился Тимка. Упругий, литой мяч ему подарил брат, приезжавший недавно с фронта на побывку, и он очень им дорожил. Тимка петухом налетел на Девяткина, требуя, чтобы тот сейчас же шел к деду Захару и упросил его пустить мальчишек в сад отыскать мяч.

— Что ты, Тимка, что ты! — попятился Петька.— Разве ж Векшин допустит кого! Знаешь, какой он бешеный. Да нет, сто рублей дай, а я к нему не пойду. Лучше я тебе новый мячик куплю... Вот поеду в город и привезу.

— Ты купишь! У Ваньки Строкина губную гармошку в омуте утопил... Год прошел, а ты все покупаешь.

— Так я с Ванькой наличными расплатился — семечками всю зиму угощал.

— Уж и угощал! — фыркнул рыженький Строкин.— Стакан купит и оделяет весь класс — а всё за счет моей гармошки.

И, как Петька ни клялся, что непременно привезет из города мячик, и даже не один, а два, Тимка не поверил ему, отошел в сторону и лег на траву.

Саньке стало жаль Тимку. Он хмуро посмотрел на Девяткина и поманил его к себе.

— Ну, чего? — недоумевая, подошел тот.

— Ты дурачком не прикидывайся,— тихо сказал Санька.— Доставай мячик...

— Да как же, Саня... — опешил Девяткин.

— Пробрешься на участок и найдешь. Ты опытный.

— Там же трава, посевы какие-то...

— Найдешь, найдешь! закричали мальчишки, которым очень понравилось Санькино предложение.— Мы видели, где он упал: у изгороди, в левом углу.

Девяткин начал отговариваться: на участок, конечно, пробраться дело нехитрое, но это лучше сделать в сумерки или вечером.

— А мяч с фонарем искать будешь? — спросил его Строкин.

— Тогда завтра утром... Встану пораньше и найду.

— Видали такого! — вспыхнул Санька.— Как за ягодами, так он готов хоть сейчас. А тут и хвост намок. Ладно, сиди, Девяткин. Один пойду.

— Ты? — Петька уставился на Саньку и вдруг ухмыльнулся. Ясно же, что Санька не против полакомиться ягодами, только он ищет подходящий повод.— Да вдвоем я куда угодно, хоть на край света...

Санька с Девяткиным подобрались к участку с той стороны, где у изгороди росла раскидистая черемуха. Санька забрался по стволу наверх, сел верхом на толстый сук и, протянув вниз конец палки, помог вскарабкаться на черемуху Петьке.

Минуты две они сидели не шевелясь, потом Санька начал передвигаться по черемуховому суку, что свешивался через изгородь. Чем дальше он удалялся от ствола дерева, тем сильнее выгибался упругий, пружинистый сук и наконец коснулся земли.

Тем же способом начал переправляться и Девяткин. Но тут произошла заминка.

— Чего ты? — шепотом спросил Санька.

— Хорошо тебе... Ты, как перышко, легкий...

— Выдержит... это же черемуха.

Петька осторожно начал продвигаться дальше.

Вдруг он, как мешок с зерном, тяжело свалился на Саньку и испуганно зашептал:

— Там ребята с учителем ходят... И Векшин с ними.

— Тебя заметили?

— Возможное дело... Знаешь, у Маши глаза какие... Сквозь землю видит.

На всякий случай мальчишки забрались в густой малинник около изгороди и прислушались.

На участке было тихо.

Решив, что Девяткину просто померещилось, Санька пополз в глубь участка. Полз он, тесно прижимаясь к земле, поочередно вынося вперед то правую руку, то левую. Иногда останавливался и поджидал Петьку. Тот часто вставал на четвереньки. Санька толкал его кулаком, и переползание продолжалось по всем правилам.

Не продвинулись они и десятка метров, как услышали за кустами голоса, а потом увидели деда Захара с ребятами и среди них Андрея Ивановича.

— Говорил я тебе! — зашептал Петька. — Накрылись теперь. Это они нас ищут.

Мальчишки вновь забрались в малинник. Но люди на участке, как вскоре понял Санька, никого не разыскивали. Они спокойно ходили по дорожкам, осматривали посевы и о чем-то разговаривали.

«Векшин свое хозяйство учителю показывает», — догадался Санька.

Наконец все ушли с участка. Санька переждал еще немного и, кивнув Девяткину, вновь пополз по траве. Вдруг он заметил, что Петька начал забирать в сторону.

— Ты куда?

— Так грядки-то с ягодами вон где, — показал Петька, — я-то лучше тебя знаю.

— А при чем ягоды?

— Ну-ну, — подморгнул Девяткин, — так уж тебе очень мячик нужен. И хитер ты, Коншак!..

Санька вскочил, кинулся к Петьке, но потом, вспомнив, где он находится, опять упал в траву.

— За мной!.. За мной ползи! — яростным шепотом приказал он Девяткину.

Тот уныло повернул за Санькой.

Трава вскоре кончилась, и мальчишки попали в частые всходы овса. Потом пошли делянки с ячменем, с рожью, пшеницей.

Наконец Санька с Девяткиным добрались до левого угла участка (по всем приметам мячик упал именно здесь) и принялись шарить в посевах. Искали долго, колени и локти у них стали зелеными от раздавленных стеблей, но мячик не находился. Петька часто высовывал голову и прислушивался.

— Пустая затея, Коншак, — заныл он. — Иголку в сене ищем. А знаешь, что будет, если поймают нас? Дед Векшин в штаны крапивы напихает да еще в правление стащит, матерей вызовет. Уберемся подобру-поздорову, пока не поздно.

— Ищи, ищи! — зло посмотрел на него Санька. — Любишь кататься, люби и саночки возить...

Неожиданно за кустами забренчали банки и обручи. Санька теснее прижался к земле, а Девяткин не выдержал и дал задний ход. Санька погрозил ему кулаком, но тот уже раздвинул тычинник в изгороди и выбрался с участка.

Санька взял чуть левее и вновь принялся за поиски. Наконец он нащупал упругий резиновый шарик. Облегченно вздохнув, быстро засунул мячик поглубже в карман и тем же путем, что и Петька, юркнул за изгородь.

САРАНЧА

Этот день для Андрея Ивановича был полон встреч. Заходили соседи, бывшие ученики, колхозницы. Прибежала Лена Одинцова с подругами и потащила было учителя в поле — смотреть делянку с пшеницей.

— Увольте... и так школьники целое утро водили повсюду, — взмолился Андрей Иванович.

После обеда Татьяна Родионовна созвала колхозников на собрание.

Женщины разместились перед правлением на бревнах, в тени тополей и раскидистых ив.

Здесь же были мальчишки — без них в Стожарах не обходилось ни одно собрание.

Петька Девяткин, не обращая внимания на недоброжелательные взгляды колхозниц, закурил козью ножку величиной с пастуший рожок.

— Брось сигарку, брось! — вдруг испуганно зашептал Тимка. — Учитель идет.

Девяткин невозмутимо выпустил дым через ноздри:

— Мы ему не подначальные...

— Кому сказано! — Санька вырвал сигарку и затоптал ее.

Андрей Иванович подошел к бревнам и — наверное, впервые с того дня, как ушел на фронт, — не козырнул, а приподнял пилотку над головой и поклонился.

Колхозницы потеснились и освободили ему место на бревнах.

— Опять к нам, Андрей Иванович?

— Неужто лучше Стожар и места не нашли?

— Ребят построжите. Без отцов совсем от рук отбились...

— Слово нам твердое скажите. Скоро ль по домам наши вернутся?

Подошла Катерина Коншакова. Увидев учителя, она замерла от волнения.

Захотелось подбежать к нему, заговорить о Егоре, рассказать о своих опасениях. Андрей Иванович поднялся Катерине навстречу.

— Знаю про вашу тревогу, знаю, — шепнул он. — Но вы сердцу не поддавайтесь, Катерина Васильевна, — оно и обмануть может. — Учитель усадил Катерину рядом с собой. — Рассказывают, не забываете Егорово дело. Сегодня вашу делянку с посевами видел. Отличная делянка.

— Какая же оценка будет, Андрей Иванович? — встрепенулась Катерина.

— Добрый хлеб растет. Крепко, видно, поработали.

— Помощники у меня славные: и девчата-комсомолки и школьники. За посевами во все глаза следят.

— А колхоз все еще не на первом счету в районе. Потерял славу свою довоенную.

— Ваша правда, Андрей Иванович,— вздохнула Катерина.— Мы вот на большое дело собираемся размахнуться — всю Старую Пустошь поднять. Земли там много.

Колхозницы заговорили о Старой Пустоши — осилят ли они такое дело без мужиков, хватит ли у них пахарей, тягла.

— А что Андрей Иванович скажет? — обратились они к учителю.

— Дело стоящее,— поднялся учитель.— Народ наш фашистов не только пулей да снарядом бьет, но и зерном. Урожай надо поднимать, новые сорта выращивать.

— Был у нас добрый сорт,— вздохнула Катерина,— сама погубила.

— Погубили, да не совсем.— Андрей Иванович достал из кармана колосок пшеницы.— Узнаёте?

Бережно держа его в ладонях, словно робко затеплившийся огонек, она долго смотрела на него, потом позвала Саньку:

— Саня, посмотри: отцов колосок, в точности. Чудо-то какое! Откуда он у вас, Андрей Иванович! Кто сберег его?

— Нашлись такие люди.

Учитель рассказал собранию о том, что увидел сегодня на опытном ребячьем участке и что узнал от деда Векшина. Потом заметил на бревнах Степу, Семушкина, Зину Колесову и позвал их к себе.

— Да вот они и сами. Ну-ка, покажитесь людям...

Все обернулись к ребятам. Те спрятались за ствол старой ивы и зашептались.

— Все на свет выходите, все! Чего там, как грибы, под кустом хоронитесь! — засмеялся учитель.— А где же дедушка ваш? А Маша с Федей?

— Они на участке дежурят,— ответил Семушкин.

— Видали, как дело поставлено! — подмигнул Андрей Иванович колхозницам.

— Андрей Иванович,— сказала Катерина,— пока до собрания на участок бы сходить... Как она там выглядит, пшеничка-то...

— А это как молодые хозяева допустят,— улыбнулся учитель,— у них там строго.

— Теперь можно,— сказал Семушкин.

Не успели колхозницы подняться с бревен, как из проулка показался Захар Векшин. Был он бос, усы его грозно топорщились. Федя и Маша еле поспевали за ним.

Федя держал дедову можжевелевую клюшку, а Маша все совала старику в руки подшитые обгорелые валенки:

— Дедушка, да обуйся же! Дедушка!

Захар не слушал ее. Он растолкал колхозниц, подошел к Татьяне Родионовне:

— Вот, всегда говорил: саранча! Всё погубят, всё истребят...

— Какая саранча? — не поняла председательница.

Старик обвел взглядом мальчишек Большого конца, толпившихся среди взрослых, и вдруг вырвал из рук Маши валенки.

— Я вас, саранча бескрылая, приведу в чувство! — закричал он, размахивая валенками.

Но мальчишки увиливали в стороны, прятались за спины взрослых, и удары сыпались куда попало.

Санька с Петькой поспешно забрались на старую раскидистую иву.

— Да уймись вы, богатырь с палицей! — остановил Захара Андрей Иванович. — Что случилось? Расскажите толком!

— У нас, Андрей Иванович, пшеницу вытоптали, — тихо признался Федя. — Как вы ушли, мы с дедушкой пообедали — и опять на участок. Смотрим, а пшеница на пятой клетке помята, спутана.

— погоди, Федя! — оторопел учитель. — Это как же так? Надо разобраться.

Семушкин в два прыжка очутился около Феди:

— Кто дежурный сегодня?

— Ну, я дежурный и не уходил почти никуда. Только пообедать на четверть часика.

— Ну вот... А калитку, поди, не закрыл — свиньи и набежали.

— Закрыл, закрыл и колом припер, хорошо помню! — защищался Федя.

— Чрезвычайное событие, Захар Митрич! — Учитель обернулся к Захару. — Свиньи не забежали, града не было, а пшеница помята...

— Дело ясное... мальчишки погубили, — сказал Захар.

— Зачем же им хлеб вытаптывать? — удивился учитель. — Ну, я понимаю, груши, яблоки оборвать, ягодами полакомиться — это они могут. А вот пшеницу губить — в толк не возьму. Чтобы наши ребята злѣ колхозу желали — быть того не может!

— Избаловались за войну, извольничались, — безнадежно махнул рукой Захар, — им теперь все нипочем...

Захара поддержала бригадир Погосова. Она сказала, что мальчишки и в самом деле отбились от рук — дерзят взрослым, по вечерам горланят песни под гармошку, на днях затеяли скачки на лошадях. Бабка Манефа пожаловалась, что ребята утащили у нее половину ворот от двора и спустили на пруд вместо плота. Пелагея Колечкина сообщила, что у нее оборвали всю малину на

огороде, и не обидно — спелую, а то зеленую, жесткую, прямо с ветками.

Мальчишки растерянно переглядывались, ежились, точно на улице внезапно похолодало.

Санька, не шелохнувшись, сидел верхом на суку ивы. Ему казалось, что все смотрят на него сквозь листву и понимают, кто именно забрался на векшинский участок, помял пшеницу на пятой клетке.

— А все ты, Тимкин жалельщик! — шепнул Петька. — Говорил: не надо искать этот мячик... Пропади он пропадом!

— По отдельности допросить надо, — сказала Погосова, — дознаться, кто у них первый закоперщик. А заупрямится — родителям препоручить. Те наведут следствие.

Учитель потер бритую щеку:

— А мне так думается: если уж кто набедокурил, он и сам скажет, честно и прямо.

— Несусветное это дело, Андрей Иванович, — хмыкнул Захар, — не такие у нас мальчишки в селе. Нашкодить, да и в кусты — это они могут, а ответ держать — духом слабы.

— А я верю, что скажут. Ребята у нас не из трусливых, за других прятаться не будут. — Учитель медленно обвел взглядом мальчишек, остановился на Саньке.

Тот невольно подался назад. И тут ему показалось, что Федя Черкашин, так же как и учитель, старается высмотреть его среди листьев ивы.

«А он бы не молчал, сразу признался», — почему-то пришло Саньке в голову.

— А как Саня Коншаков думает? — вдруг спросил учитель.

У Саньки перехватило дыхание. Он побледнел, неловко спустился с дерева и тихо сказал:

— Я во всем виноватый... Мальчишки и не знают ничего... Я пшеницу помял.

Глава 27

ПО РЫБКУ

От такого признания дед Захар вскочил, точно от укуса пчелы.

— А-а-а... попался, саранчук! — торжествуя, завопил он, выхватил у Феди свою можжевелевую клюшку и бросился к иве.

Саньке вновь пришлось вскарабкаться на дерево. Дед просунул загогулину клюшки сквозь ветки и попытался зацепить мальчика за штанину:

— Сходи на землю, бес лукавый, сходи!

Санька понял, что деда сейчас ничто не остановит и не миновать ему отведасть Захаровой клюшки. Недолго думая он перескочил на другой сук, закрыл глаза и прыгнул вниз, едва не угодив на бабушку Манефу.

— Держи его, оборотня! — завопила перепуганная насмерть бабушка.

Саньке показалось, что все собрание — и женщины, и счетовод со счетами, и председательница, и даже Андрей Иванович бросились за ним в погоню.

Он перескочил через изгородь, юркнул в проулок, где обычно ссыпали щебень, битое стекло, всякий мусор, и пробежал по нему так стремительно, что даже не поранил босых ног. Остановился Санька далеко за усадьбами, около старой риги. Оглянулся. Его никто не преследовал. Только Петька Девяткин в своих тяжелых башмаках топал сзади.

Санька поморщился. Как же глупо все получилось! Сам во всем признался, а тут испугался дедовой клюшки и удрал, как заяц.

Санька прилег около риги. Какая-то букашка, забравшись в чашечку желтого влажного цветка, никак не могла выбраться наружу — крылья ее намокли, тоненькие, как ресницы, лапки скользили по эмалированным лепесткам. Санька посадил букашку на палец, дал ей обсушиться на солнце — и она, расправив крылышки, улетела.

Прихрамывая и пыхтя, к риге подбежал Девяткин. Он был сердит.

С таким приятелем, как Санька, наживешь беды. Кто его просил выскакивать с этим признанием! Теперь пойдут разговоры по всему колхозу, прохода на улице не будет. Вот и ногу повредил, когда прыгал с дерева. А кто виноват? Опять Санька.

Неожиданно Петька толкнул приятеля в плечо:

— Смотри... ищут!

Санька поднял голову.

В проулке стояли Андрей Иванович и Катерина. Они осматривали усадьбы, заглядывали во все дворы, сараи.

Санька схватил Девяткина за руку и потянул за собой в полутемную ригу, пахнущую сырой землей, мышами, гнилой соломой.

Лучше ему провалиться сквозь землю, чем показаться сейчас на глаза матери и учителю.

— Подумаешь, какой честный, благородный! — продолжал ругаться Петька. — «Я виноватый, держите меня, судите меня»! Дергали тебя за язык! Молчал бы себе в тряпочку. Ищи там свищи, кто виноватый... Простота ты святая, лопух зеленый!

И тут Саньку точно подбросило. Он вскочил и с силой ткнул

кулаком во что-то мягкое — не то в нос Петьке, не то в подбородок.

— Из-за тебя все... из-за тебя, сума переметная!

Ожидая, что Петька обязательно даст ему сдачи, Санька заранее распалился и решил, что сейчас повалит его на солому и за все отведет душу. Но Петька сдачи не дал, а сразу осел на землю, закрыл голову руками и заскулил:

— Права не имеешь физически, права не имеешь!..

Санька плюнул с досады и отвернулся. Потом осторожно выглянул из риги. Ни учителя, ни матери на усадьбе уже не было.

Петька все еще хныкал, тер подбородок и бубнил о том, какие неблагодарные теперь пошли друзья-приятели. Он для Саньки готов на все, даже в сапожники один не уходит, ждет, когда Коншак соберется, а от него получает только тычки да насмешки.

— Замолчи! — толкнул его Санька. — Тебя бы еще не так надо...

Он кинул взгляд на поля, на синеющую вдали зубчатую гряду леса, на скошенный луг, где паслись лошади, тихонько вздохнул и долго молчал. Потом, не глядя на Девяткина, глухо спросил:

— Ты когда в город собираешься?

— Мать говорит, что в воскресенье можно поехать.

— Нет, завтра же! — упрямо заявил Санька. — Я здесь ни дня не останусь. А не хочешь завтра — один уеду.

— Ага, приперло в стенке! — торжествуя, сказал Петька. — Ну что ж, можно и завтра. Пойдем к матери, скажем ей.

*

Сборы были недолги.

Евдокия заверила, что дядя Яков встретит ребят, как родных, и первые дни они поживут у него. Потом он устроит их в общежитие.

Санька положил в вещевой мешок каравай хлеба, немного вареной картошки, белье, полотенце. Потом порылся в фанерном ящике, где были сложены отцовы вещи. Отец был мастер на все руки — он мог подшить сапоги, запаять кастрюлю, починить ведро, и ящик был полон разного инструмента. Санька вытащил пару сапожных колодок, молоток и шило. Кто знает, может, и пригодится все это в городе, в мастерской.

Но как быть с матерью? Объявить сразу, что он уходит в сапожники? Не оберешься разговоров. Может, еще и не отпустит. Лучше он скажет, что уходит с Петкой на Дальнее озеро ловить рыбу, а потом из города напишет письмо и все объяснит.

Хорошо бы на прощание повидать Андрея Ивановича, Машу с Федей. Объяснить им... Он же не хотел ничего плохого своему колхозу. Но разве ему теперь поверят!

Фени и матери дома не было, и Санькиным сборам никто не мешал. Только когда он засовывал в мешок молоток и колодки, в избу вбежал Никитка:

— Ты куда, Саня?

— Не видишь? На озеро, рыбу ловить.

— А молоток зачем?

— Какой молоток?.. Ах, этот... Вместо грузила пойдет.

— Ну да! — не поверил Никитка.

— Кого хочешь спроси. Теперь все мальчишки рыбу так ловят.

— А живую рыбу принесешь?

— Принесу... две принесу.

Это успокоило Никитку, и он даже вызвался накопать Саньке червей.

Чтобы не встречаться с матерью, Санька лег спать пораньше, не забыв завести свой «будильник».

Катерина вернулась домой поздно вечером, попыталась поднять Саньку ужинать, а заодно и поговорить с ним, но он сделал вид, что спит мертвым сном.

Мать села за стол вдвоем с Феней. Ужинали молча, и только один раз Санька услышал, как она ответила на какой-то вопрос дочери:

— О чем и говорить, дочка... осрамил он нас, Коншаковых.

Санька судорожно сжался и засунул голову под подушку.

Утром, разбуженный «будильником», он незаметно выскользнул из дому и побежал к Девяткиным.

Евдокия набивала Петькину котомку горячими лепешками. Затем задами усадеб она проводила Петьку и Саньку за деревню.

Вид у них был, как у заправских рыбаков. За плечами — котомки, в руках — удочки, банки с червяками.

На прощание Евдокия сказала ребятам, что теперь у дяди Якова они заживут, как у Христа за пазухой, и через годок заявятся в колхоз на побывку такими кавалерами, что приятели лопнут от зависти.

— А насчет мачехи не сумлевайся, — пообещала Евдокия Саньке, — я ей тут все обтолкую. Благодарить еще будет, что я тебя на торную дорогу вывела.

Мимо прошла конюх Седельникова, поздоровалась с Евдокией, мельком оглядела ребят.

— По рыбку собрались?

— Рыбка не простая, рыбка золотая, — засмеялась Евдокия и лукаво подморгнула ребятам: — Ну шагайте, счастливого вам улова!

Мальчишки направились к большаку. Но не прошли они сотни шагов, как Санька повернул налево, к лугу, где паслись лошади.

— Куда? — удивился Петька.

— Надо же с конями попрощаться... может, последний разок видимся.

Петька особенно не возражал, времени в запасе у них было много.

— Иди, иди! Расцелуйся со своим Муромцем.

Санька подошел к табуну.

Лошади с мерным хрустом жевали влажную траву, точно зубрили урок.

Недалеко два палевых голенастых сосунка, вздрагивая и суча ногами, торопливо сосали мать.

Лиска, по обыкновению, ходила в стороне от других лошадей и косила глазом в поле, прикидывая, как бы незаметно улизнуть поближе к хлебам.

Санька отыскал Муромца и потрепал его по вздрагивающей бугристой шее.

Тот, не отрываясь от травы, лениво повел лиловым прозрачным глазом, словно хотел сказать: «Видишь, завтракаю... И не мешай, сделай милость».

Но Санька не обиделся. Ведь это на нем Санька впервые обучался ездить верхом. Бывало, упадет с него на всем скаку, а Муромец стоит и ждет, когда Санька отлежится и вновь взберется на его спину.

А сколько возов сена, снопов хлеба, картошки перевезли они с Муромцем для колхоза!

Санька развязал вещевой мешок, отломил полкаравая хлеба и положил перед Муромцем.

Затем его потянуло к кузнице. Петька поморщился и посмотрел на солнце.

Милая старая кузница! Как Санька любил старого Евсеича, который, казалось, всю жизнь стучал у наковальни, любил вздохи своего горна, звонкий перестук молотов, запах угля, окалины.

От кузницы Санька пошел в поле.

— Смеешься, Коншак! — вышел из себя Петька. — Мы же так к поезду опоздаем.

Но как не посмотреть последний раз на хлеба! Вот и материна делянка. Пшеница поднялась сизой, почти вороненой стеной. Она закрывала узкую тропу, и Санька, как волнорез, разрезал гладь поля, оставляя за собой зыбкий, быстро утихающий след.

«Пожалуй, сам-десять придет, а то и больше», — подумал он про хлеб.

И вдруг его точно обожгло. Что же он делает? «Если бы отец

был жив... если бы он знал...» Мальчик долго перебирал колосья. В хлебах что-то зашуршало.

На земле сидела серенькая мышь-полевка и старательно перегрызала стебелек пшеницы. Вот стебелек наклонился, мышь ловко подтянула к себе колос и принялась лакомиться зернами.

Санька, как копьем, нацелился удочкой, метнул в полевку, но та как ни в чем не бывало юркнула в нору.

— Вот вредина! — выругался Санька и принялся тыкать удочкой в землю.

— Защитим колхозный урожай! — засмеялся Петька.

— Смотри, сколько хлеба загубила! — кивнул Санька.

Петька оглядел кучки обгрызенных колосков:

— Да-а... разделано под орех. Почище, чем мы с тобой вчера.

Санька нахмурился. Вчерашний день! Лучше бы его и не было. И зачем только они затеяли эту игру в лапту!

Санька поднял удочку, вылез из хлебов.

Теперь он нигде больше не останавливался, никуда не заглядывал.

Глава 28

БОЙ С ПЕТУШКОМ

До большака было совсем недалеко. Оставалось только обойти стороной «хозяйство Векшина».

Чтобы, не ровен час, не встретить кого-нибудь из ребят или самого деда Захара, Санька свернул в кустарник, примыкавший к участку.

В кустарнике паслось стадо коров.

Неожиданно кусты затрещали, словно сквозь них продирался сам леший, и на дорогу вышел холеный, черный, как воронье крыло, бык Петушок с белым пятном на лбу. В ноздри ему было продето железное кольцо, на лбу курчавились мелкие завитки.

За быком следовало несколько коров, как видно отбившихся от стада.

Девяткин потянул Саньку в кусты:

— Замри! Лучше быку дорогу не переходить!

Но Петушок не заметил мальчишек.

Он степенно обогнул пруд, затянутый ряской, точно зеленым чесаным одеялом, подошел к изгороди участка. Удивляясь, как это ему посмели перегородить путь, бык уперся своим чугунным лбом в старенькую изгородь; та крякнула и повалилась на землю. Петушок перемахнул через нее и, скосив на коров глаза, протяжно замычал, словно приглашая всех зайти на участок.

Коровы — рыжие, черные, палевые — неуклюже перепрыгнули через поваленную изгородь, разбрелись по грядкам. Они

с хрустом разгрызали зеленые вилки капусты, губами выдергивали за ботву розовые хвостики моркови, надкусывали огурцы, недоверчиво обнюхивали помидоры.

Петушок же, как и полагается хлебосольному хозяину, ни к чему не притрагивался, а важно шагал через гряды все дальше, в глубь участка.

— Я коров задержу... А ты за пастухом беги. Быстро! — Санька сбросил с плеч вещевой мешок.

Глаза у него сузились, весь он подался вперед и напряжился. Так с Санькой бывало всегда, когда он собирался ринуться в драку или навстречу какой-нибудь опасности.

Петька схватил приятеля за гимнастерку:

— Куда?! Там же Петушок!

— Кому говорю! — прикрикнул Санька. — Коровы тут весь огород пожрут. Зови пастуха!

Но Петька крепко держал Саньку за плечи и не трогался с места.

— С ума сошел! Закатает тебя Петушок, на рога поднимет. Помнишь, как деда Векшина... Два ребра ему переломил. Не связывайся, Саня! Нам же на станцию пора...

Неожиданно мальчишки услышали знакомый голос:

— Ах окаянные, ах обжоры! Вот я вас!

Из дальнего угла участка, перепрыгивая через гряды и размахивая пустой лейкой, мчалась Маша.

Она врезалась в коровье стадо. Но коровы не обратили на нее никакого внимания.

Санька вырвался от Петьки и побежал девочке на помощь. Маша кричала, как в барабан била кулаком в жестяную лейку.

Санька пронзительно свистел, улюлюкал, хлестал коров ореховым удилищем, пока оно не превратилось в короткую расщепленную палку.

От такого энергичного натиска коровы смешались и отступили за изгородь.

И вдруг трубный рев оглушил Саньку и Машу. Они оглянулись. На них двигался Петушок. С губ его тянулась стеклянная слюна, глаза горели. Он низко опустил голову, и ноздри, как мехи, выдували из земли две струйки пыли. Бык словно предлагал помериться силами.

— Бежим скорее! — испуганно вскрикнула Маша.

Но бежать было поздно: бык находился всего в нескольких шагах. Санька заслонил девочку своей спиной и, грозя Петушку обломком удилища, начал медленно отступать назад.

Из-за кустов вынырнули Степа с Федей.

Через участок стремглав бежала Маша, а огромный черный Петушок, как танк, надвигался на Саньку. Мальчик пятился назад, не сводил глаз с быка, грозил ему обломком удилища

и все продолжал уговаривать — то строго, то просительно, как уговаривают злую цспную собаку:

— Ну-ну, Петушок, цыц, назад!.. Не смей!

«Главное, не спускать с него глаз... главное, не бежать», — вертелось у него в голове. Но Петушка, как видно, мало трогали Санькины уговоры, и он подступал все ближе.

Санька нагнулся, схватил горсть земли и швырнул быку в глаза. Потом сделал резкий скачок в сторону и бросился бежать. Петушок на мгновение приостановился, потряс головой и вдруг с неожиданной резвостью кинулся в погоню.

— Убьет он его! Убьет! — взвизгнула Маша и схватилась за голову. Потом, не помня себя, выдернула из изгороди хворостину, какой впору гонять только гусей, и побежала к быку.

— Куда?! — нагнал ее Федя и, оттолкнув в сторону, вырвался вперед.

Он бежал изо всех сил, но, как и Маша, тоже не знал, как и чем остановить разъярившегося Петушка. Неожиданно он споткнулся о большую плетенную из прутьев корзину, в какие осенью собирают овощи. Схватил ее и бросился к Петушку. С другой стороны к быку спешил Степа, волоча по земле тяжелый кол.

Но Петушок, кроме Саньки, никого не замечал.

Санька хитрил, увертывался от быка, делал резкие скачки то вправо, то влево, но Петушок, изловчившись наконец, с такой силой наподдал рогом, что мальчик отлетел в сторону и распластался на земле.

Сгоряча он не почувствовал боли, проворно вскочил и побежал дальше, но через несколько шагов снова упал. Петушок, храпя и брызгая слюной, уже нацеливался для нового удара. В этот момент подоспел Федя. Он, как сетку, с размаху набросил корзину на бычачью морду. Ослепленный Петушок закружился на месте, замотал головой, потом принялся яростно буравить рогом землю, но он был уже не опасен.

Прибежал Петька с пастухом. Стреляя, как из ружья, длинным кнутом, пастух выгнал быка с участка.

Глава 29

НА ОГОНЕК

Маша, Федя и Степа осторожно повели Саньку домой. Девяткин нес сзади Санькин вещевого мешок и без конца твердил о том, как он предупреждал Саньку не связываться с Петушком.

Катерина выбежала ребятам навстречу и, побледнев, схватилась за перила крыльца.

— Горе ты мое!.. Где тебя так?

— Это бык его...— шепнула ей Маша.

Увидев мать, Санька слабо улыбнулся:

— Ничего и не было-то... Он только один раз и боднул...

Катерина раздела Саньку, перевязала рану на боку и уложила его в постель.

— Тетя Катя, может, доктора позвать? — предложила Маша.

— Сходите, ребята, да побыстрее.

Маша и Федя помчались в Торбеево в больницу. Через час они привели фельдшера Ивана Ефимовича, сухонького, легкого старичка.

К избе Коншаковых сбежались почти все стожаровские мальчишки. Они заглядывали в окна, в щели сеней, толкались у крыльца.

— Первое дело — не гомонить,— сказал Иван Ефимович.— Во-вторых, отступить всем на двести шагов. Раз, два...

Он дождался, когда мальчишки отошли на середину улицы, к бревнам, и скрылся в сенях.

— Маша! — подошел к девочке маленький, взъерошенный Тимка Колечкин.— Это правда — беда с Санькой? Ты все видела? Расскажи...

И Маша рассказала, что произошло на участке.

— Вот... я всегда говорил... Санька, он ничего не боится! Он всегда за других встает! — выкрикнул Тимка и многозначительно оглядел подошедшего Девяткина.

Потом пошептался с мальчишками Большого конца, и они отозвали Петьку в сторону.

Начался долгий и возбужденный разговор.

Сначала Девяткин только посмеивался. Но кольцо мальчишек сжималось вокруг него все теснее. Громче всех кричал на Девяткина Тимка. Необычайно воинственный и решительный, он налетал на него, как молодой петушок. Мрачно посматривал на Девяткина молчаливый Ваня Строкин.

Наконец мальчишки всей компанией подошли к Маше, Феде и Степе.

— Ребята,— запинаясь, заговорил Тимка,— что мы вам хотим сказать... про Саньку сказать... Вы думаете, он нарочно пшеницу помял... думаете, по злобе?.. Это все вот через кого получилось...— И он кивнул Петьке: — Теперь сам говори.

— Да, Девяткин,— поддержали Тимку ребята,— ты же обещал.

— По-честному признавайся.

— Привык за чужой спиной прятаться.

— Ну через меня,— посапывая, буркнул Петька,— ну, виноват.

— Ты подробно объясняй...— толкнул его Тимка.— Все равно не отпустим, пока правду не скажешь.

— Мы в лапту играли вчера,— уныло сказал Петька,— ну, Тимкин мяч и залетел к вам на участок.

— Не залетел, а ты его запулил,— поправил Тимка.

— Ну, запулил...

— А искать перетрусил. Санька же не побоялся и Петьку заставил с собой пойти. Ну, и помяли вашу пшеницу.

Федя и Степа переглянулись.

Так вот оно что! А ведь вчера чего они только не передумали! Семушкин решительно заявил, что Санька помял их лучшую пшеницу из мести. И, что греха таить, «векшинцы» почти согласились с Семушкиным.

Только одна Маша продолжала упорно твердить, что Санька «не такой».

— Эх, вы! — упрекнула Маша мальчишек Большого конца.— Знали — и молчали до сих пор!

— Мы бы не молчали,— вздохнул Тимка,— мы Девяткина все утро не могли найти... Нужно, чтобы он сам во всем признался.

Из избы вышел Иван Ефимович, и вслед за ним — Катерина. Мальчишки моментально окружили их.

— Ну что ж,— прощаясь с Катериной, сказал фельдшер,— пока с вашим молодым тореадором ничего страшного. Подождем до завтра. Поднимется температура — привозите в больницу. Держите его в постели. Посторонних, конечно, никого.— И он выразительно покосился на ребят.

Те еще немного постояли около избы и начали расходиться по домам.

Но в сумерки Маша и Федя вновь прибежали к дому Коншаковых. Они принесли с собой свежих огурцов и недозревших яблок. У крыльца уже стоял Тимка и упрашивал Катерину принять для Саньки кузовок лесной малины.

— Ничего он не желает сейчас... Лежит, стонет,— отмахнулась Катерина и упрекнула ребят: — Наломали вы дров! Охота вам была бугая дразнить!

— А мы не дразнили! — И Маша рассказала, как все случилось.

— Вот оно что! А я думала, созоровал Санька.— Катерина посмотрела на Федю: — Так это ты его из беды выручил? Ну, спасибо тебе. Теперь побратимы с ним будете.

Из избы выбежала Феня. Она держала в руках вещевой Санькин мешок, молоток и пару сапожных колодок.

— Мама, а молоток с колодками зачем? Санька же за рыбой собрался... Ой,— испуганно шепнула она,— я ж догадалась... он не за рыбой, Санька, он в город, в сапожники собрался...

Катерина долго держала в руках молоток и колодки и молчала.

Неужели не сохранила она семьи, как наказал Егор, не прирастила мальчика к земле, к крестьянскому труду, к школе?

— Тима, был у вас такой сговор — в сапожники податься? — спросила наконец Катерина.

— Ну, был... — потупив глаза, признался Тимка. — Только меня мамка не пустила.

Лицо Катерины омрачилось.

— А меня вот сынок ни в грош не ставит. Только слава, что под одной крышей живем.

— Тетенька, — разжалобилась Маша, — не говорите так!.. Может, он, Санька, из-за пшеницы перепугался... А... а теперь мы его никуда не отпустим...

Катерина устало махнула рукой:

— Идите-ка вы по домам.

«Не отпустим», — вспомнила Маша свои слова, когда вместе с Федей и Тимкой шагала по улице. Легко сказать, но как это сделать? К Саньке за последнее время и так не подступишься.

— Колодки сапожные видели? — остановилась Маша.

— Они с Девяткиным давно в сапожники идти надумали. Им Евдокия все уши прожужжала, — пояснил Тимка.

— Да как он смел из колхоза уйти? — возмутилась Маша. — Тут все работают я не знаю как... И мать его старается...

— А просто он свои Стожары не любит, — задумчиво сказал Федея. — Был бы я из вашего села... — Он не договорил и долго смотрел вдоль улицы.

— В самом деле, — не унималась Маша, — а дядя Егор с войны вернется. «Где мой Санька? — спросит. — Как он тут?»

Неожиданно Тимка издал странный звук, словно ему сдавило горло.

Маша удивленно обернулась:

— Ты что, Тимка?

— А то... судите, рядите! А ничего вы... ничего по-правильному не знаете! А... а если не вернется дядя Егор?

— Как — не вернется?

Тут Тимка вспомнил про свою клятву и замолчал.

Но Маша с Федей, почуяв неладное, не отступились от него.

Тимка подумал, что тайна тайной, но Саньку выручать как-то надо. И он рассказал про его горе.

Ребята долго стояли молча.

Клочковатые, рваные тучи затягивали небо. Тревожно за скрипели от ветра старые дуплистые липы. Вдалеке, за лесом, вспыхивали зарницы. В избах зажигали лампы и коптилки. Вот вспыхнул огонек в оконце у Андрея Ивановича.

Сколько уж раз в своей маленькой жизни дети приходили на этот огонек!

— Ты куда, Маша? — спросил Тимка, когда девочка круто повернула в сторону.

— К нам пойдемте, к Андрею Ивановичу.

— Я же слово Саньке дал... — испугался Тимка. — Теперь по всему свету пойдет...

— Андрею Ивановичу можно сказать. Ему все можно.

Глава 30

В НОЧНОЙ ЧАС

Санька лежал в сенях. Боль понемногу утихала. Только когда он поворачивался или сильно вздыхал, в левом боку поднималась острая, колющая резь, отчего трудно становилось дышать.

Осторожно ступали через сени мать, Феня, Никитка. За бревенчатой стенкой сеней шептались мальчишки. Сквозь щели Санька не раз ловил их любопытные взгляды.

Потом на крыльце мать долго разговаривала с ребятами. О чем, Санька толком разобрать не мог, но по отдельным словам догадался, что речь шла о нем. И от этого было неловко и беспокойно.

«Подумаешь, прославился!.. Быку на рога попал», — досадовал он на себя. Хотелось задремать. Но голова была свежа, сон не шел. В памяти оживали все события последних дней: игра в лапту, помятая пшеница, собрание, слова матери: «Осрамил он нас, Коншаковых».

— А это правда, что вся пшеница у вас на участке погибла? — услышал Санька голос Тимки. — И помочь ничем нельзя? А? Маша?

— Как ей поможет, если она помята... — ответила Маша.

— Тетя Катя, а вы какого-нибудь такого лекарства не знаете? — допытывался Тимка. — Только бы в колхозе зла на Саньку не имели.

— Ох, ребята, — вздохнула Катерина, — боюсь, что ничем вы не поможете пшенице. Вот разве Андрея Ивановича спросить или деда Захара. Может, они что посоветуют.

Санька закрылся одеялом.

«Только бы зла не имели», — не выходили у него из головы слова Тимки.

Сумерки сгущались.

Ребята с крыльца разошлись.

По улицам тяжелым топотом прошло стадо. Корова шумно ввалилась во двор. Мать вышла к ней с подойником и, присев на корточки около тяжелого теплого вымени, завела с коровой

длинный разговор о том, как ей сегодня гулялось, хорошая ли была трава на пастбище, вкусная ли вода на водопое.

Санька приподнялся с постели и охнул от боли. Но потом схитрил — не стал поднимать левую руку, кое-как оделся и бесшумно вышел на крыльцо.

Ноги сами повели его к дому учителя.

Вот и огонек в окне.

Ноги у Саньки сразу отяжелели, словно дорожку около избы занесло сыпучим, вязким песком. Что он скажет Андрею Ивановичу? Как посмотрит на него? Уж не вернуться ли обратно? Все же Санька пересилил себя, вошел в дом и замер.

У книжной полки, освещенной светом лампы, рылись в книгах Тимка, Маша и Федя. Они с удивлением посмотрели на Саньку. Первый бросился к нему Тимка:

— Ты почему встал? Тебе же лежать надо!

— Андрей Иванович где? — растерянно спросил Санька.

— А он... он к вам ушел... Тебя проведать, — сказала Маша и почему-то переглянулась с Федей и Тимкой. — Вы разошлись, наверное. Ты садись, Саня, подожди... Тебе не очень больно?

Федя пододвинул ему табуретку. Санька осторожно присел, искоса поглядел на ребят.

— А нам Андрей Иванович книжку какую нашел! — сказала Маша. — Про пшеницу.

— Что — про пшеницу? — вздрогнул Санька.

— Слушай, я тебе прочту... очень интересно. — Федя раскрыл тоненькую брошюру: — «В конце июля неожиданно прошел ливень с градом, и пшеница у нас полегла. Что было делать? Но мы не сдались и вышли всей бригадой в поле. Пять дней поднимали прибитые к земле стебли пшеницы и клали их на бечевки, натянутые поперек делянки на колышки. Потом пшеницу подкормили, и она вскоре оправилась и пошла в рост...»

— Это кто пишет? — спросил Санька.

— Колхозница одна... из своего опыта. Андрей Иванович говорит: обязательно надо по ее примеру сделать. Может, и наша пшеница поправится.

— Только вот у нас бечевки нет, — заметила Маша.

— Это пустяки, — оживился Санька. — У нас с Тимкой лыко в пруду мокнет. Хорошую бечевку можно сплести. Правда, Тимка?

— Само собой... А колышки в роще нарубим.

— Тогда завтра и начнем! — нетерпеливо заговорила Маша, но тут в дверях показался Андрей Иванович.

— Здесь он, Катерина Васильевна, не волнуйтесь, — сказал учитель, выглянув за дверь.

— Тревога ты моя! — Катерина вбежала в комнату и всплеснула руками. — Куда тебя понесло такого! Полдеревни обыскала...

— Андрей Иванович! — поднялся Санька. — А это правда — пшеницу спасти можно? Вы только скажите, я что угодно сделаю.

— Ну-ну, дружок! — остановил его учитель. — Ты пока об этом и не думай. Все, что надо, ребята сами сделают. Иди-ка домой с матерью, ложись в постель. Бык — это не шутка.

Он проводил Катерину и Саньку до угла и вернулся к ребятам.

Дома Катерина уложила Саньку в свою постель, напоила липовым цветом, закутала в одеяло и по привычке принялась прибирать избу. Но все валилось у нее сегодня из рук. Пол она подмела только наполовину и, оставив веник посредине избы, начала переставлять у печки горшки, крынки, чугуны.

«Что за напасти на мою голову! — думала Катерина. — Молчит, давно и упорно молчит Егор. И, видно, неспроста... Теперь это несчастье с Санькой. Что, как он останется на всю жизнь калекой?»

В избу вошла Евдокия Девяткина. Постояла около задремавшего Саньки, повздыхала, поохала, потом присела к столу:

— Давно бы ему в город уйти. Не угодил бы быку на рога.

— Так это ты моему парню голову вскружила? — с изумлением спросила Катерина. — От дома подался... Спасибо, соседка!

— Малый не чета тебе, поговорчивее. Да и в разум входит, смекает, как к жизни надо прививаться. И ты его, Катерина, не держи. Я вот по Петьке сужу. Охоты нет, насильно их за книжку не усадишь. Пусть уж верному делу обучаются, время такое. — Евдокия оглядела потемневшую от солнца Катерину. — Ты бы и о себе подумала. Приросла к этой делянке, извелась вся, щепка щепкой стала... Говорят, с сорняками никак не справишься?

— Одолевают, Евдокия, — пожаловалась Катерина. — Только выполешь, они опять лезут.

— То-то вот... Сил кладешь много, а хлеба достанется — ребят не прокормишь.

— К чему ты речь ведешь? — насторожилась Катерина.

— А к тому... На сторону тебе с семьей подаваться надо.

— Да что ты говоришь такое! — вздрогнула Катерина. — Егор тут жизнь прожил, а я вдруг кину все, уеду невесть куда, как безродная. Он ведь какой наказ мне, Егор, оставил: «Катерина, сказал, двух грехов не прощу: ребят потеряешь и от земли если отступишься». Да нет! Как можно!

— Егору Платоновичу сейчас про наши дела и думать недосуг, — вздохнула Евдокия. — Война — это тебе, голубушка, не колхоз Пушкина: и гремит и воет...

Катерина в замешательстве вскинула голову:

— Да что ты, право, и так на душе беспокойно.

Посидев еще немного, соседка ушла.

Ночью Катерине приснился сон. Высокий небритый солдат в порыжевшей, заскорузлой шинели стучал в окно, протягивал узелок с бельем и просил постирать.

«К чему бы это?» — проснулась Катерина в холодном, липком поту, поднялась с постели и долго всматривалась в ночную улицу.

Потом постояла над Санькой, потрогала его лоб и вновь прилегла. Но сон не шел.

«Все Евдокия виновата. Наговорила с три короба — бессонницу накликала», — с досадой подумала Катерина и, поднявшись, бесцельно бродила по избе, не зная, как скоротать время до рассвета. Потом решила, пока ребята спят, посмотреть их одежду. Собрала рубахи, кофты, штаны, где поставила латку, где пришила пуговицу. Дошла очередь до Санькиной гимнастерки.

Карман на груди был разорван и заколот булавкой. Катерина вытащила булавку, и из кармана выпали записная книжечка, какие-то бумажки, огрызок расчески и маленькое щербатое зеркальце.

«Растет, прихорашиваться начинает», — усмехнулась Катерина, сложила вещи в отдельную кучку, аккуратно расправила бумажки. Одна из них оказалась конвертом с отпечатанным на машинке адресом: «Колхоз имени Пушкина, Коншаковой Екатерине Васильевне».

Катерина с недоумением повертела конверт в руках. Был он засален, надорван, протерся на сгибах. Похолодевшими пальцами Катерина вытащила из него узкую полоску бумаги. Прочла... И тут ей показалось, что пол дрогнул под ногами, лампа покачнулась, застлалась туманом. Катерина тяжело осела на лавку, ухватилась за угол стола...

Сидя в полутьме, боясь пошевелиться, она пыталась собраться с мыслями: «Как же, как же это?.. Что же теперь делать?! Неужто конец всему?»

Похоронная смутно белела в руке. Она жгла руку. Катерина еще раз посмотрела на бумажку. Вот и число и месяц. Значит, это случилось уже давно... И она ничего не знала. Санька все скрыл от нее... Но зачем? И Катерине многое стало понятным. Так вот почему сын так изменился за последнее время, стал не по годам серьезен...

Санька вдруг задвигался, судорожно замахал рукой, словно отбивался от кого, и хрипло забормотал:

— Цыц, Петушок, цыц! Не смей!

Катерина вздрогнула, поспешно сунула в карман гимнастерки похоронную и подошла к сыну.

Мальчику стало хуже, лицо его горело, он тяжело дышал. Катерина, смочив в холодной воде полотенце, положила его

Саньке на лоб, посидела у изголовья, затем вновь потянулась к гимнастерке. Но тут заворочалась в постели Феня, Никитка спросонья попросил пить. Катерина вдруг представила себе, как сейчас ребята проснутся все разом, увидят ее лицо, поймут, что случилось, заревут в три голоса, а вместе с ними взвост и она.

«Нет, нет... разве горю поможешь?.. Будь пока все по-старому,— подумала Катерина.— Пусть пока и ребята ничего не знают».

Она вложила в карманы остальные Санькины вещи, осторожно подсунула гимнастерку на старое место — Саньке под голову и, роняя скупые слезы, долго всматривалась в обветренное, шершавое лицо мальчика: «Печальник мой... мужичок... Вот и детству конец. А тебе бы еще играть да бегать».

Начинало светать. Катерина вышла во двор, машинально подоила корову, по звуку пастушьего рожка выпустила ее на улицу и, с трудом передвигая ноги, побрела на конюшню за подводой, чтобы отвезти Саньку в больницу.

Глава 31

«МЫ НЕ СИРОТЫ!»

Через неделю Саньку выписали из больницы.

— Ох, Саня, перемучилась я! — только и нашлась сказать мать. — Ну, как теперь? Подправили, здоров? Пройдись, Саня, я посмотрю.

Санька неловко прошелся от окна до порога, потом пристально посмотрел на мать — так она изменилась за эти дни. Глаза запали, спина ссутулилась, и вся она стала сухая, маленькая, черная, как цыганка.

— Еще неизвестно, кому из нас в больнице надо бы лежать,— хмуро сказал Санька.

— Мне-то с какой стати! — деланно удивилась Катерина. — Солнышко меня припекло, жара-то какая стоит... — И она принялась кормить Саньку завтраком.

Потом достала из сундука мешочек с прошлогодними лесными орехами, насыпала их горкой на стол:

— Щелкайте тут, отдыхайте... — и, что-то шепотом наказав Фене, ушла на работу.

Но как только за Катериной захлопнулась калитка, Феня запрыгала вокруг брата на одной ножке и все выболтала. Он, Санька, теперь как раненый в госпитале, а она вроде санитарки, и раненый должен ее во всем слушаться, тяжелого ничего не поднимать, из дому не отлучаться и лежать в постели.

— Я вам покажу раненого! — обиделся Санька. — Выходи на одну руку, всех поборю! — и, ухватив Феню с Никиткой, повалил их на кровать.

В избу заглянула Евдокия.

Она расспросила Саньку о здоровье, больнице, пожурела за отчаянный характер.

— Мыслимое ли дело, — с быком схватился! Он бы тебя насмерть закатать мог. Петька-то мой до чего перепугался — до сих пор во сне бугаем бредит. И зачем вам Петушок спонадобился? Шли бы да шли с Петькой своей дорогой. — И Евдокия заговорщически подмигнула: — А теперь когда по рыбку-то соберетесь?

Санька сделал вид, что не расслышал.

Евдокия заглянула за ситцевый полог, на кухню, где хозяйничала Феня, помогла ей загрести угли в печке, потом, порывшись в карманах, достала розовую паточную конфетку и сунула девочке в руку:

— Всё одни, всё сами... сироты вы горемычные...

— Мы не сироты! — обиделась Феня. — У нас и тятка есть и мамка!

Евдокия погладила Феню по волосам, покачала головой, потом отозвала Саньку в сени и шепнула:

— Ты поскорей поправляйся. Рыбка, она ждать не будет. Говорила я с мачехой — она тебя не держит, иди теперь хоть на все четыре стороны.

— Говорила? — оторопел Санька.

Так, значит, мать знает о его сборах и не хочет его останавливать.

Но эта новость не принесла Саньке облегчения.

— «Бедные, горемычные»! — передразнила Феня Евдокию, когда та наконец ушла. — Какие мы горемычные! Вон у Тимки родная мать, а спуску не дает. А меня мамка только один раз за уши подергала, когда я в сметану пальцем залезла. И то не больно. А тебя и совсем никогда не дергает.

Феня вдруг разжала ладонь и положила на стол липкую конфету:

— Вот! Не нужно мне. Пусть мухи лижут. — И она печально посмотрела на брата. — И что это с мамкой нашей стало? Как неживая ходит. И по ночам не спит.

— Из-за тятки, поди, все?

— Из-за тятки, само собой. И через тебя еще.

— Через меня?

— Знаешь, как она расстроилась, когда мешок твой разбирала! А там и белье, и полотенце, и колодки сапожные... Ты от нее уйти хотел? Да?

— Куда уйти?! Мы с Петькой рыбу ловить собирались, —

Санька низко наклонился над скатертью, словно впервые заметил, какие интересные на ней цветы и узоры.

— С колодками-то за рыбой! — вздохнула Феня. — Так не бывает. Мамка сразу догадалась, что ты задумал. «Ни в грош он меня не ставит, — это мамка про тебя так говорила, — только слава, что под одной крышей живем».

«Как это ни в грош?» — хотел было запальчиво вскрикнуть Санька, но Феня смотрела с такой укоризной, что он еще ниже склонился над столом.

— «И жизнь, говорит, ему наша неинтересная, — продолжала Феня. — И не поговорит никогда по-людски. Все швырком да броском». А знаешь, мамке одной как трудно! Вчера пришла с поля, села на порожек разуваться да так и заснула. Уж мы ее будили с Никиткой, будили... — Феня вдруг прижалась к брату и горячо зашептала: — Ты просто глупый, Санька... совсем глупый... Она же, мамка наша, самая хорошая!

Пожалуй, впервые в жизни Санька не нашелся что ответить сестренке. Он не фыркнул на нее, как обычно, не засмеялся, а только освободил руку и молча направился к двери. У порога остановился и, не глядя на сестренку, тихо спросил:

— Как там с пшеницей на участке у Векшина... не слышала?

— Сказывала Маша... Они ее поднимать начали, а потом перестали.

— Почему?

— Дедушка, говорят, запретил.

«Так я и знал — засыплются!» — с досадой подумал Санька и вышел на улицу.

Утром прошел дождь, и вода стояла во всех ямках и выбоинах, будто земля продырявилась от старости, и в дырках виднелось голубое небо.

Мальчишки били по лужам длинными жердями, обдавая друг друга брызгами воды. Стараясь не попасть им на глаза, Санька юркнул в огород и огляделся.

Погреб в дальнем углу огорода завалился, зарос высокими цветами иван-чая, молодыми березками; огородная изгородь покосилась, бурьян и крапива подступали к самым грядкам.

Санька достал косу и принялся за работу.

Крапива была высокая, старая, жилистая и, падая на землю, все старалась задеть Саньку своими злыми зубчатыми листьями. Но мальчику казалось, что в руках у него уже не коса, а дивный меч-кладенец, а крапива — полчище злых врагов и он бьется с ними не на жизнь, а на смерть.

Вскоре в огород заглянула Феня.

— Брось косу, брось! — закричала она, бегая вокруг брата. — Мамка что наказывала? Ты больной, тебе лежать надо.

Но Санька так широко и яростно размахивал косой, что подступить к нему было невозможно.

— Запустили тут без меня,— ворчал он.— Не огород — лес дремучий.

Феня посустилась, покричала, потом отыскала грабли и принялась сгребать крапиву в яму около изгороди.

Разделавшись с крапивой, Санька взялся за бурьян.

Неожиданно Феня оглянулась и заметила Федю и Машу. Перегнувшись через изгородь, они с таким видом смотрели в огород, словно видели что-то необыкновенное.

Позади Маши стояла Долинка и жевала подол ее платья. Но девочка ничего не замечала.

— Косит, косит,— шепнула она Феде и полезла через изгородь.

Трухлявая перекладина не выдержала тяжести, переломилась, и Маша полетела в яму, набитую крапивой.

Феня прыснула в рукав. Маша мигом вскочила и, как ни сильно обожгла ее крапива, тоже рассмеялась. Потом подбежала к Саньке и схватила его за руку:

— Косишь? Да? И не болит ничего? Теперь все можно?

— Можно,— кивнул Санька,— хоть завтра на сенокос.

— Вот хорошо, Саня! А мы-то думали!.. Федя, да иди же сюда!.. Ну что вы какие... А еще тореадоры! Ну, поздоровайтесь!

Мальчики встретились глазами, потом неловко шагнули навстречу друг другу и крепко, по-мужски, пожали руки.

Маша перевела дыхание:

— Ну вот, давно бы так!

Долинка, точно догадавшись, что между ребятами полный мир и согласие, скакнула в огород и, лихо взбрыкивая ногами, принялась бегать вокруг ребят. Не стояла на месте и Маша. Крапива давала себя знать. Девочка то пританцовывала, то, поджав, как журавль, одну ногу, другой старалась потереть обожженное крапивой колено.

— Голы ноги не казать! — засмеялся Санька.— А ты поплрой, где болит, или землей потри.

Потом все они присели под топодем, и Санька узнал от Маши, что нового произошло в деревне за эту неделю.

А нового было немало.

Андрея Ивановича назначают директором семилетки. Недавно они вместе с Татьяной Родионовной собирали на беседу всех ребят, которые оставили школу, и их матерей. Разговор был долгий. Почти все матери согласились, что детям нужно вновь садиться за парты. Сейчас Тимка Колечкин, Ваня Строкин и другие ребята уже ходят к учителям заниматься. Занимается и Федя.

Санька растерянно заморгал глазами: ребята возвращаются в школу. Вот это новость!

— Ты, Саня, хорошо шел по русскому языку,— шепнула Маша,— помог бы Феде, трудно ему очень.

— Какой я помощник... сам все перезабыл,— смутился Санька и попросил рассказывать дальше.

— Андрея Иваныча в колхозе членом правления избрали,— продолжала Маша.— На днях собрание было. О Старой Пустоши говорили. Твоя мать колхозникам какую-то тетрадочку читала — в ней много чего про Пустошь написано.

— Это тяткина тетрадь, я знаю,— сказал Санька.— И что решили?

— Решили всю Пустошь целиком поднять. Татьяна Родионовна с учителем в район поехали с планом.

— Это да! Это по-стожаровски! — одобрительно сказал Санька. Ему очень хотелось спросить о пшенице на пятой клетке, но он не решался.

Вдруг Федя сам заговорил об этом:

— На пятую клетку поглядеть хочешь?

Санька нахмурился.

Разве это по-дружески — напоминать о том, что хотелось бы забыть навсегда, как дурной сон?

Санька поднялся и взял косу. Нет, никогда ребята не простят ему гибели пшеницы. И взрослые не простят, и Андрей Иванович...

— Почему ты молчишь? — допытывался Федя.— Я серьезно спрашиваю.

— А о чем говорить! Не удалось ведь поднять пшеницу...

— Да он же не знает ничего! — Маша всплеснула руками.— Как с луны свалился...— И она потянула его за собой: — Пойдем на участок скорее, сам все увидишь.

— А дед Векшин... он же меня...

Но Маша только махнула рукой и рассмеялась.

Глава 32

«КОНШАКОВКА»

На участке ребята шумной гурьбой окружили Саньку.

— Здоров, тореадор?

— Как боевое ранение?

— Поправился ты на казенных харчах...

— Подождите, ребята, дайте ему прежде с пшеницей поздороваться.— Маша растолкала мальчишек, подвела Саньку к пятой клетке.— Здравствуйте, колоски, здравствуйте, зер-

нышки! Это вот Саня Коншаков. Скажите ему, что вы живы, здоровы.

В другое время Санька, может быть, и посмеялся бы над таким разговором, но сейчас он молча опустил перед посевами на корточки. Каждый смятый стебелек пшеницы был поднят с земли, расправлен и привязан лыком к тонкой хворостинке. Кое-где колоски увяли, сморщились. Но таких было немного. Большинство стебельков стояло бодро, крепко вцепившись в землю корешками.

На второй половине клетки хворостинок уже не было, но и там пшеница была прямая, сильная, словно никогда Санькины колени не приминали ее к земле.

— Вы что, поднимали ее или нет? — вполголоса спросил Санька.

— Немножко поднимали, а потом бросили, — сказал Федя.

— А почему же она вся выпрямилась?

— За это твоего отца благодарить нужно.

— Тятюку? — Санька ничего не понимал.

— Его... Такой уж он сорт вырастил. — И Федя рассказал: — Отвезли тебя в больницу, а мы — на участок. Колышков наготовили, Тимка с Ваней Строкиным нам бечевки наплели из лыка. Начали мы каждый примятый стебелек поднимать да к хворостинке привязывать. Поднимем, подкормочку сделаем, польем. А стебельков этих знаешь сколько! Одну тысячу подняли, другую, третью, а им конца-краю нет. Поясницы у всех онемели. Семушкин — так тот заболел даже. Тебя мы честили — поди, каждую минуту икалось. А на третье утро выходим на участок и видим: пшеница сама начала выпрямляться. Дедушка с учителем обрадовались и говорят нам: «Не надо теперь никаких хворостинок, это неполегающая пшеница. Сама встанет». И правда, на пятый день вся она и поднялась.

— А знаешь, как мы ее называли? — спросила Маша.

— «Неполегающая»?

— Нет.

— «Стожаровка»?

— Опять не угадал. «Коншаковка»!

— «Коншаковка»?! — вздрогнул Санька.

— Теперь твоего отца люди никогда не забудут, — тихо сказал Федя.

Санька низко склонился над посевами. Он вдыхал запах влажной земли, стеблей пшеницы, у него щемило сердце, и хорошие, благодарные слова к товарищам роились в его голове.

Но Санька не умел говорить таких слов. Он только вытащил из кармана горсть орехов и принялся оделять всех по очереди:

— Берите, берите, у нас дома много.

— Дед Захар идет! — подбежал вдруг Семушкин. — Как с Санькой-то быть?

— Он с нами работать будет, — ответила Маша. — Так дедушке и скажем... Правильно, ребята?

— Правильно-то правильно, — неопределенно протянул Семушкин, — только он ведь такой, дед Захар... кто его знает...

Невдалеке мелькнула белая дедова рубаха.

— Я ему потом покажусь... — Санька подался за куст.

Но было уже поздно. Дед Захар подошел к ребятам, потянул носом:

— Чую, каким духом пахнет, чую. Ну-ка, гроза плодов и злаков, выходи на свет божий, держи ответ!

Санька вышел из-за куста и неловко одернул гимнастерку.

Маша бросилась к деду Захару, повисла у него на руке:

— Дедушка, голубчик! Мы же вам про все сказывали... Не стражайте вы Саньку!

— Цыц вы, заступники! — отмахнулся старик. — Раз парень с быком в единоборство пошел, такого не застрашаешь. А вот спросить я его спрошу... Иди-ка ближе, Александр... — Захар пошевелил мохнатыми бровями, проницательно оглядел мальчика. — По какую такую ты рыбку с сапожными колодами собрался? Ась?

Санька молчал.

— Та-ак... Крыть нечем. Из деревни, значит, в сторону вильнул, на другую стежку задумал переметнуться. Тут батяка твой каждую делянку выхаживал, потом поливал, артель нашу на крепкие ноги ставил, а тебе не по сердцу все... Ну, скажем, ты уйдешь, Степа, потом Алешка, Маша... А кто пожилым да старым на замену встанет? Кто за плугом ходить будет, хлеб растить, землю ублажать? Земля — она ведь не каждого примет, ей радеющие люди нужны, заботники, мастера первой руки... — Захар прикрыл ладонью глаза, посмотрел на него. — Ты вот гляди, примечай. Вон тучка над бором зароилась. Тебе оно невдомек, а я слышу — дождиком от нее тянет. Спорым, мелким. Такой дождь дороже золота, он все богатство наше растит. А вон пшеничка колос нагуливает, лен-долгунец на высоту тянется, овсы в трубку пошли. Тут немец, чугунная его башка, повилоптал все, запоганил, а мы через два года столько доброго повыращивали! А подожди, солдаты к домам вернутся — не такая благодать будет. Чудо у нас земля какая! Уважительный человек от нее нипочем не оторвется.

Санька смотрел себе под ноги.

— Про пшеницу я тебе слова не говорю, — продолжал За-

хар.— Пока ты в больнице был, ребята грешок твой покрыли. Да и пшеничка свое показала, спасибо Егору Платонычу.— Он достал из-за пазухи грушу, протянул Саньке: — Отведай вот... За мир, так сказать, да согласие!

Санька бережно взял грушу и сунул ее в карман:

— Спасибо, Захар Митрич!

— Ты при мне кушай, при мне! А семечки верни. Да не проглоти ненароком какое, зубом не повреди.

— Не спорь с ним,— шепнула Маша.— Он всех так угощает.

Санька быстро съел грушу и ссыпал коричневые скользкие семечки деду Захару на ладонь.

— Ну как?

— Вкусная.

— То-то! — довольно сказал Захар.— Теперь буду ждать, когда ты меня такими же угостишь.

Потом дед вспомнил, что его ждут дела, и ушел.

Федя с Машей повели Саньку по участку, объясняя, где у них какой сорт посеян, чем он знаменит, откуда получены семена.

Санька слушал молча, внимательно. Остановился у клетки с горохом, густо обсыпанным кривыми пузатыми стручками, под зеленой кожицей которых угадывались крупные горошины.

— Сорт «отрадный»,— пояснил Федя.— В локтевском колхозе выпросили, у бригадира. Очень высокоурожайный и засухоустойчивый.

— Сладкий-пресладкий! Попробуй! — шепнула Маша.

— Конечно, сорви,— разрешил Федя.— Один стручок — это можно.

— Раз опытный, зачем же...— отказался Санька.

Глава 33

МЕЧТА-ДУМА

На участке появился Андрей Иванович.

Ребята побежали ему навстречу.

— А, Саня! — заметил его учитель.— Вернулся? Как чувствуешь себя?

— Совсем здоров, Андрей Иванович.

— Вот и ладно. Сейчас болеть не время. Я как раз хорошие новости из района привез. Где там Захар Митрич? Позовите его, ребята!

Но старик и без того спешил к учителю.

Андрей Иванович протянул ему газету:

— Читайте, Захар Митрич, что о Стожарах пишут.

Санька заглянул деду через плечо.

Районная газета «Ленинский путь» горячо поддерживала патриотическое начинание колхоза в Стожарах — поднять Старую Пустошь и расширить посевную площадь. Она призывала другие колхозы подхватить почин стожаровцев, чтобы дать стране больше хлеба.

На страницах газеты подробно было рассказано о бригаде Катерины Коншаковой, которая уже делом доказывает, какие богатые хлеба можно вырастить на заброшенной земле.

— В запевалы, значит, выходим, — повеселел Захар. — Весь район всколыхнули.

— И еще порадую, Захар Митрич, — сказал учитель. — Я там, в районе, «коншаковку» нашу показывал. Зайнтересовались люди. Судя по всему, придется этот сорт не только для себя размножать, а для всего района.

— Давно бы Стожарам так жить! — Захар покосился на ребят, потом на грядку с клубникой. — Чего ж ягоды не собираете? Переспеют. Вы бы ее того... Да и Андрея Иваныча угостить не грех.

— Пойду Катерине Васильевне новость сообщу, — сказал учитель и позвал с собой Саньку.

Они направились в поле.

Андрей Иванович задумчиво смотрел по сторонам, потом остановился:

— Смотри вперед, Саня, — вон туда, где Старая Пустошь. представь, что там будет через несколько лет. Хлеба стеною стоят, высокие, густые и с таким удивительным колосом, что все, кто ни проходит мимо, останавливаются и спрашивают: «Что это за пшеница такая диковинная?» — «А это «коншаковка», — отвечают людям и рассказывают, как и откуда появилась на земле эта пшеница. Смекаешь, Саня?

— Смекаю, Андрей Иваныч, — прошептал мальчик.

— А теперь сюда посмотри. — Учитель показал на деревню с ее разномастными избами, крытыми дранью и соломой, на приземистые землянки, обложенные дерном. — Здесь наши Стожары раскинулись. Новые дома с широкими окнами, электрический свет повсюду, сады кругом, тротуары на улицах. Вон там на пригорке свой клуб, театр, там почта, радиоузел, и живет в этом новом селе Александр Коншаков, мастер высоких урожаев, бригадир или агротехник... как ему будет угодно, бороды у него еще нет, но человек он в селе уважаемый, старики с ним за руку здороваются, из города к нему ученые приезжают, по радио о его работе по всей стране рассказывают.

— Что вы, Андрей Иванович! — смутился мальчик. — Очень уж высоко поднимаете.

— А ты высоко не хочешь? Предпочитаешь пониже? — Учитель пристально посмотрел на Саньку. — А вот мать твоя большие дела начинает, не страшится. Чем же ты думаешь заняться?

Санька потупился и, сняв пилотку, долго тер рукавом алую эмалевую звездочку.

— Еще не решил? А я вот для тебя подыскал очень важную работу.

— Подыскали?

— Самую пока неотложную. Учиться будешь. В седьмой класс пойдешь.

— Андрей Иванович!.. — задохнулся Санька.

— Спокойно, Саня. — Учитель положил ему на плечо руку. — Знаю я про твою горе. Твои друзья мне всё рассказали.

— Тимка?!

— Он. И Маша с Федей всё знают. Но ты не сердись на них. Они должны были так поступить. Я теперь понимаю, почему ты ушел из школы: думал матери помочь. А вышло наоборот. Обидел ты ее. Она хочет, чтобы все кругом было, как при Егоре Платоныче. Чтобы никто его мечту-думу не забыл. И тебя она хочет видеть таким же, как при отце: добрым сыном, хорошим учеником в школе, первым человеком на селе в будущем. А ты вроде сам себе крылья подбил, школу бросил...

— Андрей Иванович, — признался Санька, — у меня же с математикой неладно.

— Знаю, запустил. Остановить было некому. Но это дело поправимое. Федя Черкашин побольше твоего горя хлебнул, а школу не забывает. Мне твой характер, Саня, известен: возьмешься — нагонишь. Сейчас с отстающими по математике занимается Надежда Петровна. Будешь ходить к ней. Нужно — и я помогу.

Учитель заметил поднимающуюся по тропинке Катерину Коншакову, пошел ей навстречу.

Санька остался один.

Медлительные сизые волны бесконечной чередойплыли по пшеничному полю.

Вдали голубели квадраты овса, зеленела картофельная ботва. Усатые колосья, склонившиеся над дорогой, щекотали Саньке руки; отцветшие травы роняли на землю свои семена.

Пышное белое облако, закрывшее солнце, как стрелами, было пронизано его лучами.

Вот она, родная земля! Здесь жил его отец, сейчас трудится мать. И разве есть для Саньки что-нибудь дороже этих мест!

Высоко в небе парила какая-то птица — не то коршун, не то ястреб. Санька долго следил за ее сильным полетом.

Он подошел к высокому берегу реки. Плотная волна ветра ударила Саньке в грудь, отшатнула назад, обдала смешанным запахом сена, речной осоки, парного молока. И мальчику вдруг захотелось помериться силой и с ветром, и с рекой, и еще неведь с чем. Он поднял с земли плоский голыш-камень, разбежался и ловко, как умеет только мальчишка, метнул его навстречу ветру. Камень, описав дугу, упал за рекой.

Маша с Федей стояли у черной неподвижной речной заводи и доставали желтые кувшинки и белые лилии.

Вся заводь была в мелких кружочках: то стрекоза ударит крылом по воде, то проплывет малек, то упадет семечко с дерева. Санька прыгнул с обрыва вниз и, увлекая за собой сыпучий песок, очутился у самой воды.

— Хотите, цветов нарву? — крикнул он.

— И побольше, Саня! — обрадовалась Маша, зная, что никто, кроме него, так ловко не умеет доставать кувшинки и лилии из самых глубоких заводей.

Санька срезал длинную, как удочка, палку и расщепил ее на конце. Затем погрузил палку в прозрачную воду, захватив в расщеп стебель лилии, повел в сторону, подсек, и белый цветок, как плотица, упал на траву. Затем второй, третий... За лилиями пошли кувшинки. Маша едва успевала собирать цветы.

— Хватит, хватит! Куда столько! Мне и не донести! — закричала Маша.

Наконец, изловчившись, Санька сорвал последнюю кувшинку.

— И жадный ты, Санька! Всегда тебе много надо, — пожурила Маша, пряча лицо во влажные, холодящие кожу цветы с дивным запахом свежей воды.

Санька подошел к Феде и вполголоса спросил:

— Как у тебя там насчет русского языка?

— Занимаюсь... Вот только на суффиксах задержался немного.

— Если что нужно, ты спрашивай без стеснения. Чего помню, подскажу.

Наверху обрыва показался Никита. По сыпучему песку, как по снежной горке, он скатился к воде.

— Саня, на нашу избу пчелы сели! Целый рой! — сообщил он с таким видом, словно рой по меньшей мере уже сидел в улье.

Санька вскочил. Пчелиный рой! Это же прямо счастливая находка!

— И давно сел?

— Порядочно... Я тебя ищу, ищу...
— Тогда бежим!
— А ты умеешь рой снимать? — остановила Саньку Маша.
— Приходилось... Тятка их много ловил.
— А может дедушку позвать?
— Нет. Тут лови момент. Рой ждать не будет, зараз снимется.

— Тогда и мы с тобой! — И Маша с Федей побежали вслед за Санькой и Никиткой.

По дороге Никитка все прикидывал, что они теперь сделают на вырученные от продажи пчелиного роя деньги. Первым делом ему, Никитке, перетянут сапоги, потом купят Фене новый платок, а Саньке, если хватит денег, — широкий солдатский ремень с тяжелой светлой пряжкой вместо неказистого узкого ремешка из сыромятной кожи, который так не подходит к Санькиной пилотке и гимнастерке.

Показалась изба Коншаковых. Перед нею, как на часах, расхаживала Феня.

Санька с колотящимся сердцем стал рядом с сестрой, поднял голову и заметил на тесовом фронто́не избы, в углу под застрехой, темный шевелящийся комок.

Оставив подбежавшего Никитку сторожить рой, как будто тот мог помешать ему улететь, Санька бросился в избу. Маше он приказал найти в сенях пустой кузовок, Феде — намочить веник, сестренке — приготовить иголку с ниткой.

Сам отыскал старое сито, вырвал из него заржавленную сетку, потом достал мешок, отрезал нижнюю часть и вместо нее пришил сетку.

Затем он натянул мешок на голову, так что сетка пришлась как раз над лицом, надел материн ватник, натянул на руки варежки, ноги обул в валенки.

— Помогать будешь? — спросил он Федю.

Тот кивнул головой.

— Тогда одевайся!

Совместными усилиями девочки снарядили и Федю.

Но второго сита в доме не нашлось, и Федину голову замотали шерстяным платком.

Толстые, неуклюжие, мальчишки вышли наружу.

Санька приказал Фене, Маше и Никитке отойти подальше от дома — кто знает, что может случиться! Хотя он не раз видел, как отец снимал пчелиный рой, но, по правде говоря, его участие при этом выражалось только в том, что он подавал отцу мокрый веник и ведро.

Девочки послушно отошли в сторону, а Никитка запрятался в щель между поленницами.

Санька приставил к избе лестницу и начал подниматься

по перекладинам. Федя с ведром воды, березовым веником и пустым кузовком стоял внизу.

Санька ступил на последнюю перекладину лестницы. Теперь до пчелиного роя можно было достать рукой.

Рой сердито гудел, шевелился, словно пчелы были недовольны, что так долго задержались у коншаковской избы. От него отлетали черные искорки и, покружившись в воздухе, вновь присоединялись к темному живому комку.

— Веник! — шепотом скомандовал Санька вниз.

Федя обмакнул веник в ведро с водой и, быстро поднявшись по лестнице, передал его Саньке. Тот, держась одной рукой за угол избы, другой начал кропить пчел водой.

Гудение стихло. Крылья у пчел намокли, они больше не могли взлететь. Федя передал Саньке пустой кузовок. Санька принялся осторожно сметать пчел из угла на дно кузовка.

Но, как видно, мокрый веник утихомирил не весь рой и несколько пчел, вырвавшись из кузовка, закружились над Санькой, и одна или две из них нашли даже лазейку в сетке.

Санька глухо вскрикнул, потряс головой и ударил себя сквозь сетку по виску, потом по щеке.

— Кропи их, еще кропи! — сочувственно посоветовал снизу Федя, высовывая нос из платка, и в тот же миг вскрикнул от укуса пчелы.

Наконец Санька выгреб из угла последних пчел, закрыл кузовок дерюжкой и быстро спустился вниз. Побрызгал во все стороны мокрым веником, отгоняя оставшихся на свободе пчел, и облегченно рассмеялся:

— Попались пчелки, стой, не уйдут вовеки... Отбой, Федя!

Мальчики разоблачились. Подошли Феня, Маша и Никитка.

Маша посмотрела на мальчиков и засмеялась: у Саньки затек глаз, у Феде распух нос.

— Красавцы вы писанные!.. Что, больно? Здорово искусили?

Никита приложил ухо к кузовку и восхищенно шепнул:

— Гудят! Послушайте-ка...

Маша тоже наклонилась над самым кузовком и, не утерпев, даже приподняла уголок дерюжки, но быстро опустила обратно.

— Богатый рой достался, кило на два. На целый улей хватит. Вот бы дедушке такой! Он говорит, что пчелы — как зерно: от одного роя целую пасеку развести можно.— Она обернулась к Саньке: — Ты кому его продать думаешь? В соседний колхоз? Или на базар повезешь? А знаешь что, Саня: давай мы его у тебя купим. Соберем деньги со всех ребят и купим. И поднесем дедушке... вот он обрадуется! Глядишь, в Стожа-

рах через год-другой своя пасека будет, не хуже, чем в локтевском колхозе.

— Ты это про деньги брось...— насупился Санька. Он вдруг схватил кузовок с пчелами и сунул его в руки девочке: — Бери вот... неси дедушке!

Маша переглянулась с Федей, перехватила сожалеющий взгляд Никитки, который потянулся было за кузовком, и поставила кузовок обратно на землю.

— Нет, нет! Рой ваш... Ты его обязательно продай! Вам же обновки нужны.

— А я говорю — забирай! — прикрикнул Санька. — Что я, скопидом какой-нибудь или Петька Девяткин? Своему колхозу да продавать! — И, заметив, что Маша все еще колеблется, совсем рассердился: — Не желаешь, сам передам!..

И, считая разговор законченным, Санька поманил Никитку и направился в избу:

— А ты не куксись! Мало ли их, пчел, на свете! Еще рой прилетит. Тогда я тебе, Никита... Ты только следи!

— А я... я ничего,— вздохнул братишка. — Конечное дело, прилетит. Я вот как смотреть буду!

Глава 34

ДРУГ ЗА ДРУЖКУ

Санька зорко следил за матерью. По утрам она не бежала чуть свет, как раньше, собирать на работу членов звена, а долго возилась у печки или бесцельно бродила по избе.

Нередко она возвращалась с работы еще до перерыва и, не раздеваясь, ложилась в постель.

Заглядывала соседка, прибирала избу, мыла посуду и все советовала Катерине пить какой-то травяной отвар, от которого все болезни, как востром, сдувает.

— Пройдет и так,— безучастно отвечала та. — Простудилась я, видно... на сырой земле лежала.

Санька только удивлялся, как можно простудиться. Дни стояли сухие, жаркие, и даже вечером земля хранила дневное тепло.

Однажды поздно вечером Саньку разбудил певучий говорок Евдокии. Острый коготок коптилки царапал темноту, мать лежала в постели, зябко кутаясь в одеяло, соседка сидела у нее в ногах и жаловалась на Татьяну Родионовну:

— Вызывает меня председательница вчера в правление и говорит: «Ты, Девяткина, женщина здоровая, поработай-ка в

поле, а молоко возить мы другого поставим». А какая ж я здоровая! У меня от полевой работы поясница разламывается, сердце заходится. И всё ведь по зависти меня очернили. Будто я торговлишкой на базаре занимаюсь... Хотя и то сказать, какой же грех в этом! На колхозных хлебах теперь не проживешь. Да и не с нашим здоровьишком в колхозе сидеть. Я вот в городе была на днях, у брата Якова. В артель к себе зовет, кладовщицей обещает устроить. Поедем вместе, Катюша! Работа и тебе найдется.

Санька насторожился.

Что это? Соседка уговаривает мать оставить Стожары, а та покорно слушает Евдокию и молчит, молчит.

— И ребятам полегче будет,— продолжала Евдокия.— Петьку с Санькой в сапожники определим — они давно охоту имеют.

Санька беспокойно заворочался в постели, потом встал и, шлепая по полу босыми ногами, подошел к ведру, зачерпнул ковшом воду и долго тянул ее маленькими глотками, хотя пить ему совсем не хотелось.

— Ты чего это полуночишаешь? — спросила его Евдокия.

— Спал, разбудили...— Санька поднял над головой копилку, осветил циферблат часов-ходиков, подтянул гирьку, недружелюбно покосился на соседку.— Скоро петухи запойут...

— И впрямь час поздний,— поднялась соседка.— Так ты подумай, Катюша. Добра желаю, не чужая ты мне.

Санька проводил ее, запер калитку и, вернувшись обратно в избу, присел около матери:

— Какие у вас секреты с Евдокией? Чего она зачастила к тебе?

— Знобит меня, Саня... Накрой чем-нибудь,— попросила Катерина.

Санька укутал мать шубой.

«Сманит ее эта Девяткина, вскружит ей голову»,— с тревогой подумал он, ложась в постель, и вдруг ему представилось, как мать грузит на телегу домашний скарб, заколачивает окна, вешает замок на калитку и они всей семьей покидают Стожары.

«Я соседку и в избу не пущу,— расхрабрившись, решил Санька.— Ступеньки у крыльца подпилю, пусть ноги ломает».

На другой день Катерина попробовала встать с постели и не смогла.

Поднялся жар. Ночью она бредила, звала Егора: то умоляла его вернуться, то прощалась с ним.

Санька до рассвета не сомкнул глаз. Растерянно бродил по

избе и все спрашивал мать, не хочет ли она моченой клюквы или квасу.

К утру жар спал, и Катерина послала сына за соседкой — пусть подоит корову и истопит печь.

— Не надо Евдокию, — заявил Санька, — сам управляюсь.

Взяв подойник, он вместе с Феней вышел во двор.

Лежа в постели, Катерина слышала через приоткрытую дверь, как они долго доили корову, как Санька нежно называл ее красоткой, умницей, а ноги ее, в черных ошметках навоза, величал ножками и как потом — видно, так и не поладив с коровой — заорал на нее, что она злыдень и ее давно пора отправить на живодерку.

Затем прибежала Маша и попеняла Саньке, почему он не позвал ее раньше: уж что-что, а коров она умеет доить лучше мальчишек.

Заглянули в избу Федя с Тимкой, и ребята всей компанией принялись за хозяйство. Принесли дров, воды, затопили печь, потом яростным шепотом заспорили, рано или не рано ставить на огонь картошку, и наконец что-то опрокинули — как видно, чугунок с водой, потому что дрова в печи сердито зашипели.

— Стряпки вы на мою голову! — Катерина приподнялась на локте. — Идите-ка восвояси.

А на душе было радостно, что дети так участливы к ней и так крепко подружились с Санькой.

Пришла Лена Одинцова, резонно заявила, что мальчишкам у печи делать нечего, отправила их за доктором, а сама с Машей занялась хозяйством.

В полдень Иван Ефимович навестил Катерину. Он нашел у нее воспаление легких, выписал лекарства и строго-настрого приказал не подниматься с постели.

Когда фельдшер уехал, Катерина задремала и вскоре заснула.

Во сне она опять бредила, и Санька не отходил от нее ни на минуту.

Очнулась Катерина в сумерки и не сразу разглядела сына. Он сидел у нее в ногах, теребил кромку одеяла, по лицу его текли слезы.

— Дурачок... испугался, — слабо улыбнулась мать и, выпростав из-под одеяла руку, потянулась к Саньке.

Но он неловко сполз с кровати и отошел к окну:

— Лежи ты, лежи!

В калитку постучали. Санька вышел и столкнулся лицом к лицу с Евдокией.

— Что с мачехой-то, Саня? Приболела, сказывают? Я вот ей кисельку принесла.

— Не требуется, — не очень любезно ответил Санька и по-

пытался прикрыть калитку.— Доктор сказал, чтобы лишний народ к ней поменьше ходил.

— Это кто же, сирота, лишний-то? — удивилась Евдокия.

— Что вы заладили: «Сирота, сирота»! — помрачнел Санька.— Не зовите меня так больше... и Феню не зовите! Не хотим мы!

— Как же звать-величать прикажете?

— А как знаете... И мать не троньте!

— Что это за речи такие? — обиделась Евдокия.

— Речи простые. Зачем вы ее сманиваете невесть куда? Не сладко вам в колхозе — уходите. А нам из Стожар уходить незачем.

Евдокия часто заморгала подслеповатыми глазами:

— Вот ты какой... Коншаков!

— Такой вот... А будете мать баламутить — Татьяне Родионовне пожалуюсь.— И Санька, прикрыв дверь, запер ее на засов.

А вечером, когда его не было дома, соседка как ни в чем не бывало опять зашла к Катерине.

Санька не знал, что и придумать. При встрече он пожаловался на Евдокию Маше и Феде.

— Вот зуда! — возмутилась девочка.— А ты и впрямь Татьяне Родионовне расскажи. Она поговорит с ней. Может даже на правление вызвать.

— Не годится так,— смутился Санька.— Что люди подумают! «Вот, скажут, какая семейка у Коншаковых. Сначала сынок из колхоза откачнулся, теперь матка».

— Это пожалуй,— согласилась девочка.— Ты, Саня, доглядывай за Девяткиной, оберегай мать.

— Я и так настороже... И вы, что заметите, сигнал мне давайте.

— Само собой,— кивнула Маша.

Но за Евдокией уследить было нелегко.

Однажды, когда Санька работал на конюшне, к нему прибежала Маша и сообщила, что Евдокия опять сидит у Катерины. Санька побежал к дому.

На огороде Феня обрывала с кочанов капусты разлапистые голубоватые листья, источенные мелкими дырочками, точно пробитые дробью.

— Я что наказывал! — сердито сказал Санька.— Уходишь из дому — калитку запирай. А ты опять Евдокиюпустила!

— Ей-ей, Саня, я запирала. Она ж тетенька такая, через двор, видно, пробралась.

Санька вошел через полутемные сени, пахнувшие березовыми вениками, привычно пошарил скобку на двери. Но тут дверь распахнулась, и Евдокия, чуть не сбив его с ног, выскочила из

избы. Потом обернулась, трижды плюнула на порог и, что-то бормоча, выбежала на улицу.

— Что тут было такое? — настороженно спросил Санька, входя в избу. — Зачем она приходила?

— Не спрашивай лучше! — с досадой отмахнулась Катерина, укрываясь одеялом. Руки ее вздрагивали, на щеках проступили красные пятна.

— Опять сманивала куда-нибудь?

— Опять... Все про тебя пыталась... Когда ты в сапожники пойдешь. Петька-то еще ждет тебя.

Санька вспыхнул и, подозревая, что мать не все договаривает, запальчиво выкрикнул:

— Ни в какие сапожники я не пойду! Так и знай! И дом заколачивать не дам.

— О чем это ты? Какой дом?

— Известно какой: наш, коншаковский. И чего ты Девяткину во всем слушаешь! Тише воды стала, ниже травы. Я вот напишу кому следует...

— Куда напишешь, кому? — вздрогнула Катерина.

— Есть кому. Вот тятке хотя бы. Он там воюет, пули кругом, мины, снаряды... его каждую минуту убить может... А ты...

Катерина подняла голову и умоляюще посмотрела на сына:

— Зачем ты, Саня? Зачем? Опять у меня сердце перевернулось. Я ведь все знаю... Видела ту бумажку, что ты на груди носишь.

— Знаешь? Откуда? — задохнулся Санька, хватаясь за карман гимнастерки.

Они долго молчали, занятые каждый своими мыслями. Потом, глядя в сторону, Санька глухо спросил:

— Теперь уж держать некому... Значит, обязательно уедешь?

— Это ты о чем? — удивилась Катерина. — Куда уеду? Что я — Девяткина? Это она всю жизнь мечется, легкие хлеба ищет. Что ей колхоз? Двор проходной. А у меня и в мыслях не было, чтобы я от Стожар куда подалась, отцово дело забыла. Тверже земли, чем наша, и на свете нет. Мне ведь здесь каждая березка мила, каждая полянка. Только очень мне лихо пришлось, когда про похоронную узнала. Так все и покачнулось кругом. А тут еще Девяткина эта зудит и зудит. Всю жизнь мою оплакала. Потом колхоз начала порочить. Меня тут прорвало... Ну, вот сегодня и поговорили как надо...

— погоди, погоди! — перебил ее Санька. — Получается, выставила ты Девяткину? От ворот поворот показала? А я-то гадаю — чего она весь порог наш оплевала!

— В шею, конечно, не выталкивала. Но дорожку к нашему дому она теперь надолго забудет.

— Так и следует,— согласился Санька.— Я уж тут воевал, воевал с нею...

— Знаю,— улыбнулась мать.— Жаловалась на тебя соседка. Непочтителен ты к ней. За меня, значит, тревожился? Ну, спасибо тебе.— И она пытливо поглядела на сына: — А ты из дому на сторону не качнешься больше? Нам теперь без отца вот как друг за дружку держаться нужно!

— Теперь не качнусь.— Санька сконфуженно отвел глаза.— Это я тогда сплеховал малость...

Катерина поманила сына к себе и тихо спросила:

— А теперь, Саня, у тебя дорожка какая? Пора и к комсомолу льнуть.

Санька тихонько вздохнул. Что он может сказать? Он уже давно написал заявление о приеме в комсомол. Ему казалось, что все произойдет очень просто. На собрании Санька расскажет, как он работает, сколько у него трудодней на книжке, и все сразу поднимут за него руки.

Но Лена даже не приняла от него заявления. «Пока в школу не вернешься, и разбирать твое дело не будем»,— сказала она. Так Санька и носит заявление в кармане гимнастерки.

В окно просунулась голова Петьки Девяткина.

— Тебе что, Петя? — спросила Катерина.

— Мать сказала, чтобы подойник вернули. И так две недели держите.

— Отдай, Саня,— кивнула Катерина,— он в сенцах стоит.

— Полный разрыв, значит! — фыркнул Санька.

— Полный, полный! — засмеялась мать.— Там еще кочережка у печки и чугунок с трещинкой. Все верни обязательно.

Санька вынес вещи на улицу и вручил их Петьке.

— Да, Коншак,— спросил тот,— в последний раз спрашиваю: в сапожники ждать тебя или как?

— В последний раз отвечаю,— засмеялся Санька,— ждать долго придется...

Глава 35

РАЗВЕДКА ДОНЕСЛА

Утром Санька направился на участок. Теперь он приходил сюда почти каждый день, помогал ребятам полоть, окучивать, поливать. Но этого ему было мало, и Санька придумывал всё новые дела. Взялся починить огородный инвентарь, наточил лопаты, сколотил и навесил новую калитку у изгороди.

— Захар Митрич, что еще надо? — спрашивал он деда.— Вы говорите...

— Да будто все уделал,— разводил Захар руками.
— Вам суслики не мешают? Я ловушки могу приготовить.
— Обеспечены с запасом. Алеша еще до тебя постарался,— отвечал старик и, замечая, как мальчик частенько поглядывает на «коншаковку», улыбался: «Эк, его пшеничка-то приворожила! Шелковый стал».

В жаркий полдень, когда работа на участке прекращалась, Санька с Федей забирались куда-нибудь в тень и открывали книжки.

Правда, занятия шли не очень напряженно. Падала с дерева на книгу рогатая зеленая гусеница, пробежал по руке рыжий суетливый муравей, ударял в нос густой и терпкий запах травы, нагретой солнцем.

— Федя, эта трава как называется? — спрашивал Санька, отрываясь от книги: все травы казались ему похожими друг на друга.

Федя всегда находил что ответить. Как хороший грамотей в книге, он разбирался в деревьях, птицах, жуках. Самая скромная травка, которую Санька раньше и не примечал, имела у него свое имя, свои особенности. Вот наперстянка. Из нее готовят капли от сердечной болезни. Отваром из пастушьей сумки останавливают кровь, купеной лечат ревматизм.

— Да ты прямо травознай! — удивлялся Санька.

— Где там...— отвечал Федя.— Вот дедушка, тот понимает природу. Позавидуешь! — И спохватывался: — Слушай, опять мы с задачкой засядем. Давай не смотреть по сторонам...

Но сегодня Санька прибежал на участок с таким видом, что Маша даже спросила:

— Чего светишься?

— Понимаешь, какое дело! Вчера бились, бились над одной задачкой... ну никак! И Степа завяз. А я сегодня утром сел и решил. Где Федя?

— А его нет, Саня. Уехал он.

— Куда уехал?

— Никому не сказал. Собрался вчера вечером и уехал. Дедушка грустный ходит, молчит.

— А правда Федину мать фашисты в горящий хлеб бросили? — помолчав, спросил Санька.

Маша опустила голову:

— Правда.

— И родных у него никого не осталось?

— Федя говорил, тетка была. А где она теперь — тоже неизвестно.— Маша задумалась.— Может, Федя в совхоз поехал, поискать кого-нибудь.

— Кого же искать-то?

— Не знаю, Саня...— растерянно призналась девочка.

В этот день работа на участке не ладилась. Дед Захар не появлялся. Маша с Санькой ходили притихшие, то и дело вы-бегали на большак, ждали, не покажется ли Федя.

Когда Санька пришел домой, Катерина сразу заметила, что тот чем-то встревожен.

— Опять с кем-то не поладил?

— Да нет...— Санька отвернулся к окну.— Федя Черкашин ушел куда-то... и не сказал никому.

За окном на ветру кланялась кому-то тоненькая березка, и солнце просвечивало сквозь ее легкую одежду. Рядом, касаясь ее ветвями, стояла молодая рябина.

— Мама! — Санька вдруг подошел к матери и возбужденно зашептал: — Если только Федя вернется, позовем его в нашу семью... жить с нами. Позовем, мама?

Катерина пристально оглядела мальчика и улыбнулась:

— Позовем, Саня... Только бы вернулся.

...Маша не ошиблась: Федя действительно поехал в совхоз «Высокое». Но лучше бы ему там не бывать. Маленького белого домика он не нашел, люди в совхозе были новые, неизвестные, и Федю никто не узнал.

Федя вернулся в Стожары к вечеру. Первым его заметил на участке Санька. Он позвал Машу, и они побежали ему навстречу. Вдруг Санька остановился:

— А знаешь, Маша: давай его ни о чем не расспрашивать.

— Так лучше, пожалуй,— согласилась девочка, и они повернули обратно.

Когда на другой день ребята пришли на участок, Федя был уже там. Он сидел на корточках у пятой клетки и что-то снимал со стебельков пшеницы. Издали казалось, что Федя собирает ягоды.

— Ко мне, ребята! — закричал он.— Что я нашел!

Все подбежали к Феде. Он протянул им банку. На дне ее ползали серые, невзрачные жучки.

— Фу, какие противные! — отвернулась Зина: она до смерти боялась всяких жуков и гусениц.— И охота тебе их руками трогать!

— А вы знаете, какой это жучок? — озабоченно спросил Федя.— Клоп-черепашка. Самый первый вредитель.

— Ну тебя, Федя,— отмахнулась Зина,— вечно ты всякие страсти выдумываешь! То блоха земляная, то клоп черепаховый...

— Не черепаховый, а черепашка. Такое название.

Федя отыскал на пшенице клопа-черепашку, вытащил из кармана увеличительное стекло:

— Смотрите, что он, паразит, делает.

Санька первый захватил увеличительное стекло и приблизил его к колосу.

— Что видишь? Говори! — тормошили его ребята.

— Ползет себе... присматривается... Да тихо вы, не наваливайтесь... Остановился вот... Ого! Хоботок выпускает... тоненький-тоненький... зерно проколол... сосет. Вот зловредина! Да он так все соки выпьет!

Санька протянул руку, чтобы снять со стебля жучка, но Маша остановила его:

— Дай и нам посмотреть!

Увеличительное стекло пошло по рукам.

Подошел дед Захар. Увидел в банке клопа-черепашку, нахмурился:

— Эге! Старый наш недруг. Вы где это его отыскали?

— На овощах, дедушка, и на посевах. Вот с этой стороны изгороди, — показал Федя.

— Значит, из лесу двинулся. Теперь жди, валом попрут.

— А он на поля напасть может? — спросил Санька.

— Еще как! В тридцать пятом году эта нечисть такое натворила... одни корешки от урожая остались!

— Дедушка, — сказала Маша, — надо Татьяне Родионовне сказать...

— Вот что! — Захар посмотрел на ребят. — Степан!

Степа вскочил и вытянулся перед дедом по-военному.

— Оставишь себе двух ребят, — дал Захар наказ мальчику, — осмотришь и очистишь весь участок. За каждый стебелек спрошу... Федор!

— Слушаю, дедушка!

— Забирай всех остальных — и в поле, на разведку. Во все глаза смотрите, много ли черепашки на хлебах. Начните с делянок, что к лесу поближе. Меня в правлении искать будете.

Федя с ребятами направился в поле. Санька немного задержался и отвел Степу в сторону:

— Знаешь чего... ты смотри тут, на участке. Прошу тебя... — и, покраснев, бросился догонять Федю.

К полудню «разведчики» прибежали в правление колхоза. В конторе было уже полно людей: встревоженная сообщением деду Захара, Татьяна Родионовна срочно созвала всех бригадиров.

— Татьяна Родионовна... вот! — С трудом переводя дыхание, Федя протянул председательнице полную банку жучков.

— Где собрали?

— По всему полю ходили. А больше всего черепашки на тети Катиной делянке.

— Вот не было печали! — Татьяна Родионовна заглянула в банку, с досадой поставила ее на подоконник и решительно обра-

тилась к собравшимся: — Что ж, граждане, разведка донесла правильно. Черепашка из лесу наступает. Медлить нельзя. Выводите народ в поле, будем собирать вредителя руками. — Она посмотрела на Лену Одинцову. — Катерина-то лежит больная? Вот незадача... Что ж, Лена, бери пока бригаду на себя. Управишься?

— Уж и не знаю как, Татьяна Родионовна... Людей у нас мало... — Лена не договорила и оглянулась: Маша дергала ее за рукав и показывала на себя, на Федю, на Саньку. — Если ребята, конечно...

— Какой разговор может быть! — строго сказал дед Захар. — Раз надо — все придут.

— Мы всех жуков уничтожим! — заверила Маша.

— Вы побольше ребят соберите, со всей деревни, — посоветовала Татьяна Родионовна.

Ребята вышли на улицу.

Под окном конторы стайка кур с жадностью клевала землю, словно на ней были рассыпаны отборные пшеничные зерна. Федя вгляделся и увидел, что куры клюют не зерна, а черепашку. Тут же лежала пустая жестяная банка. Кто-то, видно, опрокинул ее с подоконника.

Федя поманил ребят и показал на кур:

— Вот кого еще на черепашку напустить!

— Ой, правда! — вскрикнула Маша. — Я где-то читала об этом.

На другое утро «великое воинство», как называл дед Захар многочисленную команду стожаровских ребятишек, собралось на Старой Пустоши и принялось собирать с посева черепашку.

Немного позже к делянке подошли Маша, Федя и Санька. В руках они держали корзины, обвязанные сверху рогожками.

— Ну как? — озабоченно спросил Федя. — План выполнили?

— Где там! — пожаловалась Маша. — Семь кур поймала, а две в крапиву убежали. Уж я гонялась, гонялась за ними, все ноги обстрекала...

— А я своих как миленьких взял прямо с на шести, даже не пикнули, — доложил Санька. — Только вот петух-дурак крик поднял.

— Тогда начнем! — сказал Федя.

Ребята развязали корзины и выпустили кур на посевы. Куры расправили помятые крылья и недовольно закудахтали.

Подошла Лена.

— А мы кур мобилизовали! — бросилась к ней Маша.

Лена посмотрела в сторону колхоза и нахмурилась:

— А мать с бабкой знают об этом? Позволили?

— Не очень еще знают,— уклончиво ответила Маша.

А куры между тем все еще продолжали кудахтать, словно жаловались друг другу на столь необычное утреннее путешествие и удивлялись, почему это кругом нет ни навозных куч, ни заборов, а одно лишь широкое зеленое поле.

— Не найти им жучков,— вздохнул Санька.

— Найдут, должны найти,— сказал Федя, не сводя с кур глаз.

— Миленькие... дурочки, ну, идите, не бойтесь! — умоляюще шептала Маша, осторожно тесня кур поближе к посевам.

— Маша, оглянись! — шепнул Федя.

По межнику с хворостиной в руках мелкими шажками семенила Машина бабушка — Манефа.

— Ах негодники! — кричала она.— Чего удумали!..

— Бабушка,— побежала ей навстречу Маша,— мы тебе на опыте докажем... Куры знаешь как черепашку любят... лучше зерна.

— И слушать не хочу... Неси домой наших кур! — шумела Манефа.

Но тут бронзовый петух, принесенный Санькой, склюнул одну черепашку, другую, потом запрокинул голову и горласто возвестил, что на новом месте есть чем поживиться.

— Пошли, пошли! — запрыгал Федя и зачем-то закричал петухом, да так громко и непохоже, что едва не спугнул всех кур.

Манефа принялась сзывать кур, но те, увлеченные охотой за черепашкой, не обратили на нее внимания.

— А шут с ними! — Манефа махнула рукой.— Пусть покормятся.

— Бабушка, ты не убивайся, иди домой,— уговаривала ее Маша.— Мы их к вечеру целехонькими доставим.

— А ястреб в небе? А лиса за кустиком? — не соглашалась Манефа.— Нет уж, сама покараулю.

Поглядывая по сторонам, она постояла около кур, но вскоре заскучала, подошла к ребятам и, кряхтя, принялась собирать черепашку.

Узнав, что на хлеба напала черепашка, Катерина не выдержала, поднялась с постели и тихонько побрела в поле. Сначала она даже встревожилась: детей на делянке было много, и ей показалось, что они только помнут пшеницу. Но, присмотревшись, Катерина убедилась, что все шло как надо.

Ребятишки двигались цепью и собирали черепашку кто в пустую консервную банку, кто в берестяной кузовочек, кто в бутылку.

Время от времени они подбегали к межнику, высыпали черепашку в яму и заваливали землей.

То и дело слышались голоса:
— Заходи справа, окружай!
— Не давай пощады!
Малыши послали воду и кричали на все поле:
— Кому воды родниковой, кому воды!..
У Катерины дрогнуло сердце.
— Заботники мои дорогие! — шепнула она и хотела было
приняться за работу, как вдруг заметила среди посева кур. Они
жадно клевали черепашку.
Подбежали Лена и Санька.
— Это ты с курами-то придумала? — спросила Катерина
у Лены.
— Да нет... Ребята наши. А правда неплохое подспорье? Мы
после обеда еще кур принесем.
— Чего лучше, — улыбнулась Катерина.
— А ты почему поднялась? Доктор что наказывал? — Сань-
ка строго посмотрел на мать.
— Весь народ в поле, а я отлеживаться буду! Вот зима придет,
за все и отболею.
— Нельзя, тетя Катя! Идите домой, — сказала Лена. — Без
вас управимся!
— Да что вы меня уговариваете, как маленькую! — обиде-
лась Катерина.
— Я бригадир сейчас. Могу и приказать, — шутливо при-
грозила ей Лена. — Саня, веди ее домой!
— Я вот замок на калитку повешу, — пообещал Санька.
— Силой берете, озорничаете, — усмехнулась Катерина и, до-
верчиво опираясь на плечо мальчика, побрела к дому.

Глава 36

Г Р А Д

День выдался на редкость душный, безветренный, и мальчиш-
ки не находили себе места. Спаслись можно было только на реке.
Сюда они и собрались. Кто нырял, кто плавал саженками, кто
прыгал с обрыва.

Санька проделал перед ребятами свой излюбленный номер —
водолаза под водой. Всунул в рот камышинку, в руки взял боль-
шой, тяжелый булыжник и, погрузившись в воду с головой, про-
шел по песчаному дну реки. Потом он вылез из воды и лег рядом
с Федей на горячий песок.

— Гроза будет, — сказал Федя, поглядывая на облака, ко-
торые собирались на горизонте то в высокие башни, то в огром-
ные скирды.

— А ты почему знаешь? Облака, они и обмануть могут,— заметил Санька.

— Я не только по облакам... Другие приметы есть. Смотри вот: клевер листочки складывает, ласточки над самой водой летают. А цветы как пахнут... они всегда перед дождем так.

Горячий песок обжигал тело, и мальчишки снова полезли в воду.

Девяткин, измазав все тело черной жидкой грязью, сидел у самой воды и занимался тем, что забрасывал всех вылезавших из речки ошметками грязи. Больше всех, как заметил Санька, доставалось Феде. Тот дважды пытался выбраться из воды, но каждый раз Девяткин залеплял ему живот и грудь черной, как деготь, грязью, и Федя вновь лез в речку обмываться.

— Терпи, казак! — добродушно хохотал Девяткин. — В Стожарах грязь целебная, как на курорте. Принимай ванны.

— Ты играй, да не заигрывайся,— подошел к нему Санька. — Чего пристаешь, как репей?

— В опекуны записался! — Девяткин презрительно сплюнул сквозь зубы. — Дружка, как телка на веревочке, водишь...

Федя пошарил в корягах, потом подплыл к Девяткину и протянул ему влажный губчатый зеленый комок:

— А вот эту штуку знаешь? Тоже целебная.

— Скажешь еще! Тина какая-то...

— Серьезно говорю. Как натрешь, так кровь и заиграет. Испытай вот.

Девяткин недоверчиво отодвинулся:

— Очень нужно!

— Эх, ты, тины испугался! — засмеялся Санька.

Федя еще на прошлой неделе познакомил Саньку с этой речной губкой — бодягой. Сейчас Санька взял бодягу у Феде из рук и потер себе грудь, но не очень сильно. Грудь вскоре порозовела.

— Хорошо! — похвалил Санька. — Сейчас бы наперегонки с кем! — И кинул губку Девяткину: — Ну, и теперь слабó?

Подзадоренный Девяткин поднял губку, зачем-то понюхал и осторожно провел ею по груди.

— Сильнее надо! Как мочалкой в бане. — И Санька, не жалея сил, обеими руками принялся натирать Девяткину грудь, плечи, спину.

— И ничего нет такого... Выдумали тоже! — отдувался Пстька, поворачиваясь то одним боком, то другим.

Прошло несколько минут, и тело Девяткина густо покраснело.

Вдруг он вскочил, закрутился на месте, словно его обожгли крапивой, и бросился на Саньку и Феде:

— Вы что... сговорились?

Те со смехом прыгнули в речку.

— Голова! Это же бодяга! Ею люди от простуды лечатся! — кричал из воды Санька. — Крепче спирта действует.

А Петька, ругаясь, катался на берегу, вскакивал, швырял в Саньку и Федю грязью и снова валился на песок.

— В воду лезь, в воду! — посоветовал ему с другого берега Федя. — Все пройдет.

Девяткин бултыхнулся в речку, и жжение вскоре утихло. Но он еще долго сидел в воде и на чем свет ругал Федю и Саньку, которые не иначе как сговорились против него.

К полудню громоздкая, неуклюжая туча, подернутая фиолетовой дымкой, повисла над Стожарами.

Резкий порыв ветра пригнул траву к земле, покрыл реку частой рябью, взвихрил сено на верхушке стога.

Сверкнула белая молния, с высоты с сухим треском ударил раскат грома, словно где разорвали огромный кусок коленкора, и тяжелые косые струи дождя, как стрелы, пронзили реку.

Река закипела, забулькала, на ней заплясали фонтанчики воды.

— Тревога! — закричал Федя и бросился к участку.

Мальчишки побежали следом. Дождь, тяжеловесный и плотный, захватывал дыхание, слепил глаза.

От околицы, во главе с Машей и Зиной, мчалась группа девочек. На пригорке Маша поскользнулась и, как по льду, прокатилась по скользкой, грязной дорожке.

Все ворвались на участок. Посевы вздрагивали, клонились к земле.

— Побьет «коншаковку», побьет! — закричала Маша, бегая по участку, и вдруг яростно погрозила грозовой туче маленьким кулаком: — погоди же ты, черная, погоди, лохматая!..

— По ней бы из орудия прямой наводкой, как вот по фашистам, или из «катюши», — мрачно сказал Санька, — враз бы разнесло.

Но чем помочь посевам сейчас, никто не знал.

И тут Федя вспомнил, как спасают от ливня рассаду в парниках.

— Ломай шалаш! Закрывай посевы! — закричал он.

Через минуту от шалаша не осталось и следа. Мальчишки, словно щиты подняв над головой кто лист железа, кто кусок фанеры, кто дощатую дверцу, прикрыли клетку с «коншаковкой». Но щитов все же было мало. Санька с тревогой озирался по сторонам.

За изгородью на пригорке, прибитые ливнем к траве, лежали длинные дорожки холстов. Под кустом сидела бабка Манефа, как видно не успевшая собрать их до дождя.

Санька быстро перелез через изгородь.

В этот миг молния, похожая на огненный крест, разорвала небо, и над головой так загремело, что бабка Манефа в ужасе закрылась платком. А когда выглянула, то увидела, что холсты, как живые, ползут по земле вслед за каким-то босоногим мальчишкой. Манефа с криком кинулась вдогонку. Но тут путь ей преградила изгородь. Пока старуха искала входную дверь, бежала через участок, мальчишки уже успели натянуть холсты над клеткой с пшеницей.

Манефа схватила хворостину и принялась охаживать их по спинам.

— Бабушка, мы ж на минутку всего! — обхватила ее сзади Маша. — Ничего им не сделается, твоим холстам.

Ливень сменился градом.

С деревьев посыпались сбитые листья, дорожки точно присыпало солью.

Бабка Манефа вдруг схватилась за голову, ахнула и полезла под натянутые холстины.

Град гулко барабанил по листам фанеры и железа, оттягивал вниз холсты, сек ребят по рукам и головам, скатывался за ворот рубаш.

То и дело слышались восклицания:

— Ой, мамочки! Мне по уху ударило!

— Бронебойными садит!

— Бабка Манефа, ау! Жива еще?

— Гвардия, стоять насмерть!

— Мне три шишки на лбу набило!

— Скоро ли он кончится, проклятый!

— Девчонки, — приказал Федя, — уходите! Все уходите! В укрытие!

— Сами уходите! — ответила Маша и вскрикнула: крупная градина пребольно щелкнула ее по затылку.

Степа вдруг побежал по участку, сорвал с чучел соломенные шляпы и надел их девчонкам на головы.

На участке показались Андрей Иванович, закутанный в плащ-палатку, и дед Захар в шапке и полушубке.

— Вот это орлы! — закричал Захар. — С градом схватились!

Но учитель при виде столь необычного единоборства только улыбнулся и принялся помогать ребятам держать холсты.

Вскоре град отодвинулся в сторону, пошумел еще немного в перелеске и наконец совсем затих.

Все оглянулись по сторонам. Посевы на участке кое-где были прибиты к земле, только «коншаковка» стояла прямая и невредимая.

Захар растроганно посмотрел на ребят:

— Я вам... я вам не знаю что за это... подарок сделаю... медом угощу...

— Бедовый народ! — вздохнула бабка Манефа. — Холсты у меня утащили.

— Мы ж для дела, бабушка! — сказала Маша.

— Я разве жалуюсь! Народ, говорю, вы бедовый. Вон шишки-то на головах как сливы спелые. Да вы подорожник прикладывайте, подорожник... А то еще медный пятак хорошо помогает.

— А теперь, битые, сеченые, марш по домам! — сказал учитель. — Обсушиться, переодеться. Бой, так сказать, закончен.

— А у нас без потерь, Андрей Иванович, — заметил Федя.

— Все равно.

Санька с тревогой поглядывал за изгородь в поле:

— Андрей Иванович, а как там в поле, не знаете?

— Вот идем посмотреть с Захаром Митричем.

— Тогда и я с вами.

Но пойти в поле пожелали почти все ребята.

Они перебрались через разлившийся мутный поток, в овражке, поднялись к Старой Пустоши и столкнулись с Катериной.

Катерина шагала впереди колхозниц, босая, без платка, с мокрыми, слипшимися волосами.

— Обошлось, Андрей Иванович! — увидев учителя, сказала Катерина. — Не задел нас град, стороной прошел. А дождь только на пользу... А у вас, ребята, как?

— И у нас хорошо, тетя Катя! — крикнула Маша.

Глава 37

ЗЕРНО

Хлебá покрывались бронзовым налетом.

По вечерам в поле согласно кричали коростели, пахло отсыревшей ржаной мукой, и луна, похожая на медный таз, висела так низко, что хотелось подпрыгнуть и кинуть в нее камнем.

Ребятам казалось, что еще не все беды миновали и с посевами снова должно что-то случиться: выпадет град, налетят прожорливые птицы, пронюхают про богатый урожай суслики и мыши, заберутся на участок поросята или коровы.

Они целыми днями дежурили на участке.

Но погода стояла ясная, безоблачная. Для устрашения птиц Степа Так-на-Так соорудил еще несколько чучел с трещотками и вертушками. Алеша Семушкин повсюду расставил свои капканы «смерть сусликам». Суслики особого желания умирать не проявляли, но Маша, зазевавшись, однажды угодила ногой в один из

капканов, после чего три дня ходила, опираясь на палочку, и, к немалому удовольствию Семушкина, должна была признаться, что капкан его конструкции — штука опасная.

Потом, когда «коншаковка» посмуглела, начались новые тревоги.

Маша по несколько раз в день пробовала на зуб зерна и бегала к деду Захару:

— Дедушка, перестойт же пшеница, осыплется!

— Ничего, ничего, — успокаивал старик, — пусть еще солнышка попьет.

Наконец «коншаковка» созрела.

Тяжелые усатые колосья клонились к земле и шуршали сухо и жарко, точно жесть.

— Насытилось зернышко, дошло, — сказал Захар. — Завтра на зорьке и начнем.

Но и тут без споров не обошлось.

Санька сказал, что они с Федей в момент скосят всю клетку, не оставят ни одного колоска.

Маша решительно запротестовала. Это им не трава, а сортовая пшеница; они же косами так размахаются, что вымолотят все зерна.

— Нет, мы с Зиной серпами жать будем. А вы — снопы вязать.

— Мы... вязать?.. — возмутился Санька.

— И правильно, — согласился Захар. — Смекать надо, чего каждое зернышко стоит. Тут тонкие руки требуются.

Как ни досадно было мальчишкам, но пришлось смириться.

С вечера девочки заготовили перевясла. Захар вызубрил серпы.

Маша не утерпела и обежала с десяток колхозных изб:

— А мы завтра «коншаковку» снимать будем! Хотите посмотреть?

В воскресенье рано утром, когда пшеница была волглой и мягкой, на участке собрались колхозницы.

Пришла Катерина со всем своим звеном, Татьяна Родионовна, Андрей Иванович, бабка Манефа.

— Тетеньки, вы только не потопчите чего, не сходите с дорожки! — умолял Семушкин, бегая вокруг женщин.

К клетке подошли Маша и Зина Колесова, стали по углам. Серпы, как и полагается, лежали у них на плечах. Захар кивнул им головой. Девочки сняли серпы и разом нагнулись, словно переломились в пояснах. Левой рукой они захватили по полной горсти пшеницы, подвели снизу зубчатые серпы, с мягким хрустом срезали желтоватые прохладные стебли и положили их на перевясла. Восемь — десять горстей, и сноп готов.

— Федя, вяжи! — кивнула Маша.

Саньке досталось вязать снопы за Зиной Колесовой. Он не очень ловко, но сильно стянул перевязло, завязал узел.

— А споро идут! — зашептались женщины, следя за девочками.

— Спины не разгибают.

— Захват-то какой, хват!

— Сразу видно — колхозный народ.

— Добрые жницы растут!

Подбадриваемые замечаниями взрослых, Маша и Зина старались изо всех сил. Серпы так и мелькали у них в руках.

Но вскоре Зина стала частенько разгибаться и потирать поясницу.

— Спинка заболела! — зашипел сзади Санька. — Может, в холодочке полежишь? Тоже мне жница-синица!

Неожиданно на колючее, как щетка, жнивье шагнула Катерина. Она раскатала засученные рукава кофты и взяла у Маши серп:

— Что у вас тут за пшеница такая?

Аккуратно подбирая стебелек к стебельку, она срезала горсть пшеницы — да такую горсть, что Санька даже ахнул от изумления, — высоко подняла ее на вытянутых руках, попестовала, словно малого ребенка, и оглянулась на женщин:

— Вот это хлебушек! Руки оттягивает, будто гирию держу. Жалко вот, дежанка-то маловата.

Катерина нажала два снопа и передала серп Татьяне Родионовне.

— Мы растили, мы сами и уберем! — заволновалась Маша.

— А ты не жадничай, — засмеялась Катерина. — Всем испробовать охота.

Вскоре вся пшеница с пятой клетки была убрана. До полудня снопы сушились на солнце, потом их отвезли к риге, обмолотили, провеяли и, ссыпав зерно в мешок, понесли в правление колхоза.

Все шли серьезные, торжественные, только малыши бежали впереди и кричали на всю улицу:

— «Коншаковку» несут!.. «Коншаковку»!

В конторе члены правления обсуждали какие-то дела. Ребята внесли мешок в комнату.

— Сюда его, сюда, на почетное место! — Татьяна Родионовна вышла из-за стола, приняла мешок и поставила его на лавку в переднем углу, где висели план колхозных угодий и диплом Сельскохозяйственной выставки.

— Кто из вас подарок подносить будет? — шепотом спросил у ребят Андрей Иванович.

— Саня Коншаков, — так же шепотом ответила Маша. — Его родного отца пшеница.

— Нет,— покачал головой Санька,— ее Федя спас. Пусть он подносит.

— И совсем не я, а дедушка,— смущенно отказался Федя.

— Что еще за счеты! — остановил их Захар.— «Коншаков-ка» сама за себя голос подаст. А если цифирь какая нужна, у Маши все записано.

Маша протиснулась вперед, раскрыла свой дневничок и скороговоркой принялась высчитывать, сколько зернышек было посеяно на клетке № 5, сколько взошло, сколько стебельков погибло от стихийных бедствий — в эту графу у нее попали и град, и жук-кузька, и Долинка, по недосмотру забежавшая на участок, и Санька с Петькой — и, наконец, сколько колосков сохранилось и принесло урожай.

Кругом засмеялись:

— Это счетовод! Свела баланец! Нам бы такого в правление.

К мешку один за другим подходили бригадиры, звеньевые, колхозницы, бережно брали на ладонь по щепотке зерна — такого тяжелого, так напоенного солнцем, словно земля отдала ему все тепло и свет, поглощенные ею.

— Золотая пшеничка! — почтительно говорили люди.

— Богатый хлеб!

— Сила!

И так же бережно ссыпали зерно обратно в мешок.

Только бабка Манефа, подув на зерно, отправила его в рот.

— Что ты, бабушка! — кинулась к ней Маша.— Целый гектар загубила! — И, услышав смех, заспорила: — Ну да, гектар! Егор Платоныч помните с чего начал? С трех колосков.

Но бабка ничего не слышала. Закрыв глаза, она долго жевала пшеничные зерна, потом громко причмокнула языком, облизала губы и истово перекрестилась:

— Слава тебе... Дожили до белых пирогов.

— Ну что ж, ребята...— Татьяна Родионовна оглядела стоявших у порога детей.— Превеликое спасибо от колхоза. И вам и Захару Митричу. Доброе вы зерно вырастили. Принимаем его в сортовой фонд... Заприходуй, Клаша,— кивнула она счетоводу,— трудодни молодым колхозникам начисли, премию, все как полагается.

— Зерно под номер пойдет или заименуем как? — спросила Клаша.

— Есть уже название... лучшего не придумаешь,— сказал учитель,— в честь Егора Платоныча Коншакова.

БРИГАДИР

Хорошо спится на рассвете! Катерина подошла к кровати и тронула Саньку за плечо. Но сон еще крепко держал мальчика: Санька мычал, натягивал на лицо одеяло, яростно отбивался ногой. Катерина решила было не будить мальчика так рано, но потом вспомнила, какой сегодня день, и вновь наклонилась над ним.

— Вставай, сам же просил разбудить... На Старую Пустошь выходим.

Санька открыл глаза, огляделся и сразу вскочил на ноги. Он тоже все вспомнил. В эти дни, когда по всему району начался подъем запущенных земель, их колхоз решил наконец взяться за Старую Пустошь. Вот почему сегодня стар и млад двинулись к Старой Пустоши.

В первые дни колхозники срезали кочки, засыпали землей ямы, рытвины, корчевали кустарник. Мальчишки свозили валежник и хворост в огромные кучи и разжигали костры. Длинные языки пламени взвивались высоко к небу и завывали, точно сердитые псы.

Санька с Федей с таким усердием орудовали около костров, что лица у них покраснели, как у кочегаров, волосы пропахли дымом, подпаленные брови и ресницы закурчавились и на рубцах от стреляющих из костров угольков появились дырочки.

Затем на расчищенную Старую Пустошь выехали пахари. Саньку по-прежнему тянуло к коням.

Как-то раз он встретил при въезде в деревню подводу, запряженную Муромцем. На ней ехала Анка Спешнева, возившая молоко в город вместо Евдокии Девяткиной.

Заунывно скрипели немазанные колеса, вовсю трезвонили жестяные бидоны, но сонная разомлевшая от жары возница ничего не замечала.

Санька остановил Муромца, потрогал упряжь, растолкал Анку:

— Смотри: седелка на боку, дуга завалилась. Колеса скрипят, на сто верст слышно. Разве так стожаровские ездят? Да я бы сквозь землю со стыда провалился!

— Тоже мне наставник! — фыркнула Анка.

— Наставник не наставник, а требует по делу, — подошла Татьяна Родионовна. — Ты, Нюра, нашу колхозную марку не порочь. Народ знаешь как судит: какова упряжь, таковы и хозяева... Ну-ка, Коншаков, покажи, как с лошастью нужно управляться.

Санька быстро перепряг лошадь, выровнял дугу, поправил седелку, туго затянул чересседельник.

— Картинка! — похвалила Татьяна Родионовна. — Вот что, Саня: зайди-ка вечером в правление... Поговорить надо.

Медленно тянулось время в этот день. Саньке даже казалось, что солнышко решило совсем не закатываться и светить до нового утра. Наконец стемнело. Отказавшись от ужина, Санька полетел в правление. У крыльца постоял немного, отдышался от бега и в контору вошел неторопливым, степенным шагом.

Татьяна Родионовна была не одна.

За столом сидели все члены правления, Андрей Иванович, Лена.

— Вот и молодой Коншаков, легок на помине, — сказала председательница и поманила Саньку поближе к столу. — С конями, значит, умеешь управляться?

— Ничего... получается...

— И ребята тебя слушаются?

— А как же!

— Тут, Саня, такое дело. Жатва подходит, обмолот. Снопы надо возить с поля, хлеб государству сдавать. А людей не хватает. Вот и решили мы на правлении транспортную бригаду из ребят собрать. Только вот не знаем, кого за старшего над ними поставить. Ты как, Саня, думаешь?

Сердце у Саньки упало. Значит, все еще нет ему полного доверия... Он помял в руках пилотку, подышал на красную звездочку и по привычке начал протирать ее рукавом гимнастерки.

— Да побереги ты свою звездочку, Саня, — улыбнулась Татьяна Родионовна, — у тебя она и так светит, как ясный месяц. Кого же, по-твоему, в бригады поставить?

— Федю Черкашина можно... или Степу Карасева, — с трудом выговорил Санька. — Они справятся.

— А я предлагаю Коншакова, — подала голос Лена и переглянулась с Андреем Ивановичем.

— Это как понимать? — спросила Татьяна Родионовна. — Комсомол, значит, поручается за него?

Лена обернулась к Саньке. Глаза их встретились. Санька смотрел серьезно и твердо. «Ты же меня видела, знаешь», — говорил его взгляд.

— Поручаемся, Татьяна Родионовна. Уверена в нем, — сказала Лена.

— Татьяна Родионовна!.. — Санька подался вперед. — Да я... да мы... я такую бригаду соберу... Мы хоть тысячу пудов перевезем... Что хошь перевезем...

— Только, чур, — предупредил учитель, — про школу не забывать! В седьмой класс ты обязательно пойдешь.

— Готовлюсь, Андрей Иванович. Мы с Федей вместе занимаемся, — сказал Санька.

— Ну что ж,— кивнула председательница.— Засучивай рукава, молодой бригадир, берись за работу.

На другой день Санька пришел на конюшню.

— Стосковалась я по тебе, Саня,— сказала ему Седельникова.— Дали мне тут на подмогу бабку Манефу, а она к коням подойти боится. Все крестит да увещевает их. Ты построже здесь командуй, по-мужски.

— Это уж как полагается,— согласился Санька.

Он вычистил конюшню, разложил траву по кормушкам, накачал в колоду чистой воды.

Попасть к Саньке Коншакову в транспортную бригаду стало заветной мечтой всех стожаровских мальчишек. Но Санька принимал в бригаду с большим разбором. От каждого возчика он требовал, чтобы тот мог в считанные минуты словить, взнуздать и запрячь в телегу норовистую Лиску и проехать на ней узким кривым проулком, ни за что не зацепив осями; требовал он также, чтобы каждый возчик умел постоять за товарища, не жаловался по пустякам взрослым.

Началась уборка хлебов. В поле замелькали яркие головные платки жниц, белые рубахи косарей; словно большие степные птицы, замахали крыльями лобогрейки.

В риге тонко, с посвистом завывала молотилка. Когда в ее зубастую пасть совали жаркий шуршащий сноп, она ворчала, задыхалась, словно пес над костью.

Из хвоста молотилки вылетала легкая шелковистая солома, сбоку вытекало смуглое теплое зерно.

Работы молодым возчикам хватало. Они доставляли к молотилке с поля снопы, отвозили зерно на заготовительный пункт.

Санька знал каждую рытвину на дороге, каждый подъем и спуск и мог провести обоз хоть с закрытыми глазами. За ним упрочилась слава толкового и расторопного бригадира.

На пути от Стожар в город лежало село Локтево, дорога около которого после дождей превращалась в непролазную топь. Колеса увязали по ступицу, лошади надрывались. Однажды в этой хляби застряли три подводы. Пришлось на себе перетаскивать мешки с зерном на сухое место, распрягать лошадей и вытягивать телеги на руках.

Мальчишки измучились, на чем свет изругали председателя локтевского колхоза Башлыкова.

— Ругай не ругай, а завтра опять то же будет! — сердито сказал Санька и вдруг решительно направился в село.— Пошли к Башлыкову, Федя, мы ему докажем...

Злые, измазанные грязью, ребята отыскили председателя в правлении колхоза. Поняв, чего от него хотят, Башлыков заявил, что ему сейчас не до дороги.

— В эту топь одного камня сколько нужно вбухать, песку. А на чем я возить буду? Где у меня подводы?

— А мы вам поможем,— сказал Санька,— подвезем материал.

— Если так — другой разговор,— подобрел Башлыков.— Помогайте!

Возчики сдержали свое слово. Возвращаясь из города порожняком, они каждый раз нагружали подводы булыжником из речки, песком, хворостом из леса и все это сваливали около топи.

Но Башлыков не торопился начинать ремонт дороги.

«Погоди ж, проучим мы тебя!» — решил Санька, и однажды, не доезжая до села, молодые возчики свернули влево, а перед трясиной поставили жердь с надписью: «Здесь топь. Объезд влево. Председатель колхоза Башлыков».

Эту выразительную надпись локтевский председатель увидел только на другое утро и схватился за голову. За сутки через усадьбы проехали десятки подвод и проторили новую широкую черную дорогу.

Башлыкову волей-неволей спешно пришлось выслать к трясине людей и засыпать ее хворостом, щебнем, землей. Случай этот стал известен по всей округе. Колхозники, встречая в пути молодых возчиков из Стожар, первыми съезжали в сторону и с преувеличенным почтением снимали шапки: «Наше вам! Как там Башлыков здравствует после самокритики?»

Домой Санька возвращался поздно вечером, пропыленный, обожженный солнцем. С грохотом стаскивал с натруженных ног сапоги, степенно садился за стол ужинать.

— Ну как, кормилец,— улыбалась Катерина,— на зиму хлебом мы теперь обеспечены?

— А как же... Сегодня по восемьдесят соток записали,— отвечал Санька.

— Щей-то подлить, бригадир?

— Можно...

Часто Санька приводил с собой в избу Федю. Они вместе ужинали, а потом, обложившись книгами и тетрадями, садились заниматься.

Катерина укладывала Феню и Никитку спать, чтобы они не мешали старшим, сама старалась ходить по избе на цыпочках и даже раздобыла для мальчиков вместо коптилки семилинейную лампу.

После занятий Федя спешил к дедушке, но Катерина не отпускала его, укладывала спать вместе с Санькой, а утром кормила мальчиков завтраком и провожала на работу.

Однажды в сумерки к избе Коншаковых приплелся дед Захар. Катерина встретила его у крыльца.

— Нехорошо, Катюша! — сказал он с упреком. — Внука у меня сманиваешь.

— Да вы посмотрите, петухи-то наши совсем замирились. — Катерина показала через окно в избу, где за столом занимались Санька и Федя. — Похоже, и мой за ум взялся, в школу вернется.

Дед Захар заглянул в избу, потом осторожно прикрыл створки окна и опустился на завалинку. Катерина села с ним рядом, задумалась.

— Захар Митрич, опять я за старое. Отпустите Федю ко мне! Не обижайтесь, я прямо скажу: человек вы в годах, здоровье не ахти какое, не ровен час... всякое может случиться... И опять мальчик сирота сиротой останется. А он еще птенец бескрылый да неоперенный... Ему мать нужна.

Дед Захар, опустив голову, долго не отвечал.

— Я внуку худого не желаю... Да ведь обидно, Катюша: пока весна да лето — шум вокруг меня, смех, споры ребячьи. Я сам тут вроде помолодел с ними... А как осень, и опять я одинешенек...

Катерине стало жалко старика.

— Так и вы к нам переходите, — неожиданно сказала она, досадуя, почему такая мысль не пришла ей в голову раньше.

— В вашу-то конуру? — удивился дед.

— В тесноте — не в обиде, Захар Митрич. Поместимся как-нибудь.

— Нет, — подумав, отказался старик. — А вот, если желаете, переселяйтесь ко мне. Со всем хозяйством. У вас что — закуток, два оконца, а у меня как-никак довоенный дом, раздолье.

— А и правда, Захар Митрич! — обрадовалась Катерина. — Вот и проживем одной семьей. Пойду со своими ребятами посоветуюсь.

Глава 39

ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ

Ласточки, прижившиеся за лето под карнизом, сегодня были немало встревожены: все утро в школьном дворике толпились ребята, шумно о чем-то спорили, с любопытством поглядывали на их гнезда. Но вскоре птицы успокоились. Все ребята куда-то ушли, и во дворике вновь стало тихо. Потом появились две девочки и сели на крылечко.

— Ты как думаешь, — спросила Маша Зину Колесову, — сдадут наши переэкзаменовку?

— Должны сдать... Готовились же! — рассудительно ответила подруга.

— Еще как! А вдруг случится что-нибудь... Давай на ромашке погадаем.

Девочки оборвали лепестки у десятка цветов — «сдаст — не сдаст».

Получилось, что у Феди с Тимой все будет хорошо, а Санька испытания не выдержит.

— Чепуха на постном масле! — рассердилась Маша и разбросала ромашки. — Все сдадут.

Еще через некоторое время к школе прибежали Семушкин и Степа:

— Ну, как наши? Сдали?

— Ничего пока не известно, — сказала Зина.

Ребята побродили по пустым школьным коридорам, попытались заглянуть в класс, но Андрей Иванович сердито погрозил им пальцем.

Пришлось сидеть и ждать.

Наконец экзамены закончились. Ученики высыпали во двор. По сияющему лицу Тимки Маша сразу поняла, что все обошлось благополучно. Тимка рассказал, что почти все ребята, которые готовились летом, зачислены в шестой класс. Только двоим придется пойти в пятый.

Вскоре показались и Санька с Федей.

— С нами? В седьмой? — подбежала к ним Маша.

Друзья кивнули головами.

Маша хотела было на радостях крикнуть «ура», но тут взгляд ее упал на старую березу в школьном саду, и она шепнула Саньке:

— Помнишь, что написал? Убрать бы надо...

Санька смущенно покосился на ребят:

— Ладно... потом!

Но Маша подняла кусок стекла, подбежала к березе и принялась соскабливать со ствола слово «прощай». Подошли к дереву и остальные школьники.

Но надпись, зарубцевавшаяся за лето, прочно держалась на коре березы.

— Отойди, я сам! — Санька отстранил Машу от дерева, достал складной нож и перечеркнул «прощай». Потом оглянулся на ребят и выцарапал новое слово.

— «Здравствуй, школа!» — прочел Федя. — Это и мне подходит. — И, взяв у Саньки нож, нацарапал внизу свое имя.

— Дайте и я распишусь! — закричал Тимка.

— Пожалейте вы березу-мученицу! — подошел сзади Андрей Иванович и, разглядев, что написали ребята, улыбнулся.

Постояв еще немного у березы, учитель вместе с детьми пошел к Стожарам.

Они поднялись на пригорок и невольно остановились. В прозрачном воздухе и ярком свете солнца луга, нивы, деревья были

так свежи и красочны, словно их прибрали к большому празднику.

Шумели на ветру раскидистые старые ивы у реки, и в глазах рябило от серебристого блеска их листьев. Ослепительные тугие облака, похожие то на ветки с яблоневым цветом, то на белогрудых лебедей, плыли в просторном небе.

Скошенный луг за рекой покрылся такой густой и сочной отавой, что, как ни старались коровы и телята выщипать ее, луг неизменно хранил свой изумрудный блеск.

С полей несло запахом меда, печеного хлеба и еще чего-то невыразимо сладкого и приятного.

Из-под ног, как резиновые, упруго вспрыгивали кузнечики, ударялись в лица. Кругом неумолчно звенело и стрекотало.

— Хорошо-то как! — невольно вырвалось у Маши.

— Что хорошо? — не поняла Зина Колесова.

— И поле, и всё... И луг наш, и лес, и речка. И облака на небе. Так бы вот шла и шла... Я так думаю: лучше, чем у нас в Стожарах, нигде и на свете нет.

— Облака, поле... эка невидаль! — хмыкнул Семушкин. — Не знаешь еще, какие есть на свете места, географически необыкновенные. Вот в субтропиках бы пожить! А про наши Стожары и не знает никто.

— Чем же плохи Стожары? — сказал Андрей Иванович. — Я вот, бывало, на фронте, на привале где-нибудь, глаза закрою, а Стожары, как живые, передо мной. И речка плещет, и белая тропка через поле бежит, и хлебом пахнет. А то еще ночью поднимешь голову к небу, когда нет на нем ни туч, ни облаков и все звезды, большие и малые, в сборе, и залюбуешься. Такая красота над тобой, такой простор — слов не находишь, чтобы выразить все это. А взглядишься в звездное небо и начнешь понимать, из чего вся эта красота складывается: вот Большая Медведица, вот Малая, там созвездие Тельца, Геркулеса, Дракона, Козерога. И каждое занимает свое определенное место, загорается в положенный час. Отыщешь в этом огромном звездном мире скромное, маленькое созвездие Стожары. «Ага, думаешь, и без тебя не обошлось!» Не забыли, друзья мои, где находится это созвездие?

— Помним, Андрей Иваныч. Мы часто на него смотрим, — сказала Маша.

— Вот так и наши земные Стожары, — продолжал учитель. — Затерялись они среди просторов родной земли и светят людям вместе с другими большими и малыми звездами.

— Андрей Иваныч! — Маша, покусывая травинку, посмотрела на небо, хотя там никаких звезд еще не было. — Знаете, чего я хочу? Чтобы наши Стожары ярче всех светили... как вот Большая Медведица или звезда Полярная. Чтобы нас издали все видели. И кто по морю плывет, и на войне воюет, и в Москве

живет. Как посмотрят люди на звездное небо и скажут: «Что это там так ярко горит и не гаснет? Какая такая новая звезда появилась?» А астрономы-звездочеты им ответят: «Это не новая звезда, это очень старое созвездие Стожары. Только мы еще сами не понимаем, почему оно так ярко разгорелось».

— А вся причина, оказывается, в том,— улыбнулся учитель,— что в Стожарах живут такие замечательные ребята...

— А что вы думаете, Андрей Иванович! — покраснелась Маша.— Нам вот только подрасти чуток. Чего мы только для колхоза не сделаем! Я учиться поеду. На агронома или по селекции. А потом опять в родные Стожары вернусь. Пшеницу-трехколоску выращу. Чтобы раз посеять, а урожай три пятилетки подряд собирать. И чтобы не боялась ничего та пшеница: ни холода, ни жары, ни града. Так и назову: «стожаровская бессмертная». Про нее потом во всех ученых книжках напишут. Или нет... Я лучше в саду работать буду. Виноград за сараями выращивать. Яблоки. Крупные-крупные, чтобы больше одного не съесть...

— Вот жадная, все захватила! — улыбнулся Санька, переглянувшись с ребятами.— А нам что же останется?

— Вам? — задумалась Маша.— Работы всем хватит. Ты, скажем, погодой можешь управлять. Сидишь в кабине под самыми облаками и принимаешь заявки по радио. «Алло, алло, дежурный по погоде слушает. Кто говорит?» — «Колхоз имени Пушкина».— «Что заказываете?» — «Дождь на сорок пять минут».— «Какой вам? Ага, помельче, вроде грибного. Есть. Заказ принят. Прошу приготовиться». И пожалуйста, включаешь дождь на сорок пять минут.

— Погодой управлять — это здорово! — развеселился Семушкин.— Ну, а мне какая работа будет?

И, наверное, добрая Маша всем бы подобрала подходящее занятие, если бы не Зина Колесова, которая сказала, что все это фантастическое, как у Жюль Верна.

— У тебя все фантастическое, что на грядке не растет! — обиделась Маша.— А вот погоди, война кончится... Вся наша земля станет красивая и полезная... Правильно, Андрей Иванович?

— Думаю, что так и будет,— ответил учитель.— Когда человек большую мечту имеет, он всего может достигнуть. Особенно на такой земле, как наша.

Дойдя до Стожар, ребята распрощались с Андреем Ивановичем, но Санька почему-то медлил уходить домой.

К учителю подошла Лена. Она пригласила его на собрание — сегодня вечером комсомольцы будут принимать в свои ряды новых членов.

У Саньки заколотилось сердце.

— А мне теперь можно к вам? — тихо спросил он.

Лена посмотрела на Андрея Ивановича.

— Я бы, пожалуй, голосовал «за», — сказал учитель, покосившись на мальчика. — Саня свое наверстал.

— И я руку подниму, — улыбнулась Лена. — Неси скорее заявление.

— А у меня уже есть! — Санька полез в карман гимнастерки, вытащил помятую, истертую на сгибах бумажку. — Нет, не годится... Я лучше новое напишу.

— Обязательно новое, — сказал Андрей Иванович.

Глава 40

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

В воскресенье Коншаковы переселились в избу к Векшину. Перевезли на двух подводах свой небогатый скарб, перевели корову.

На прощание Санька с матерью сходили к тополю на усадьбе. Хорошо бы и его переселить на новое место. Но деревцо глубоко сидело в земле корнями, и жалко было его тревожить.

— Ничего, мы весной черенок от него возьмем, — успокоила сына Катерина, — под окном посадим.

В полдень, когда новая, большая семья Коншаковых села обедать, в избу вошел Андрей Иванович:

— Поздравляю, Катерина Васильевна!

— Опять с новосельем? Так уж поздравляли, Андрей Иванович, еще третьего дня!

— Нет, по другому поводу. В колхозной семье хорошая хозяйка нужна. Вас, Катерина Васильевна, председателем правления выдвигают.

— Меня? — Катерина поднялась из-за стола и покосилась на детей. — Хоть перед ребятами-то меня не конфузьте, Андрей Иванович.

— Нет, зачем же... Разговор серьезный. Про Татьяну Родионовну слышали? Забирают ее от нас на районную работу. Я сегодня в райкоме партии был. Там намечали, кого в Стожары вместо Татьяны Родионовны порекомендовать. Остановились на вас. Меня спросили. «Лучшей, говорю, хозяйки не найти».

— Так и сказали? — Катерина умоляюще поглядела на учителя. — Откуда же я силы возьму?

— Силы вам не занимать стать, — улыбнулся учитель.

Катерина задумалась:

— Дайте мне хоть в себя прийти...

В этот день она никуда не пошла, хозяйничала по дому, старалась наедине собраться с мыслями.

Вечером в доме Векшина собрались колхозницы. Расспросили Катерину про новоселье, оглядели прибранную просторную избу, потом присели на лавку.

— Мы тут тебя в хозяйки прочим, Катюша... Вместо Татьяны Родионовны, — сказала Василиса Седельникова. — Очень ты людям нужна сейчас. Вот и скажи нам: будет твое согласие?

— Отказываться и думать не смей, — поддержала Седельникову Пелагея Колечкина, — народ все равно заголосует. Раз ты его в дело втравила, подняла, веди до конца.

Катерина подняла голову. На нее смотрели участливые, ждущие глаза подруг. А позади женщин она заметила Саньку. Ей показалось, что мальчик кивает головой и требовательно шепчет: «Берись, берись! Твое это дело».

Катерина вспомнила нелегкие военные годы, прожитые вместе с женщинами, и, как никогда, почувствовала, как дорога ей большая колхозная семья.

Она глубоко перевела дыхание и обхватила за плечи рядом сидящих женщин:

— С вами я, подруги мои, с вами...

Колхозницы разошлись. Катерина, проводив их до угла, вернулась в избу. Санька стоял к ней спиной и пристально рассматривал развешанные на стене фотографии отца.

Катерина неслышно подошла сзади и привлекла мальчика к себе. Санька вздрогнул, но не отстранился.

— Будем жить, Саня! Не одна я... И Федя с нами. Вон ты какой у меня вырос, чисто отец. — Катерина затуманенными глазами заглянула мальчику в лицо, пригладила непокорные вихры. — Это ты мне твердости-то прибавил, ты, сынок!

— Проживем, — доверчиво ответил Санька, и слово, которое всегда с трудом сходило с его губ, в этот раз выговорилось легко и свободно: — Обязательно проживем, мама!

Потом он вышел на улицу. Около крыльца стоял Федя.

Клочковатая туча, с полудня пытавшаяся нависнуть над Стожарами, так и не дотянула до деревни, прошла стороной и теперь, недовольно ворча, уползала за горизонт.

Свежий ветер не спеша прошел над землей, пригладил взъерошенную траву, пошептался о чем-то с деревьями, словно спросил, готовы ли они встретить завтрашнее утро, и замер. Небо расцветилось звездами.

Мальчики запрокинули головы вверх. В глубине безбрежной рекой тек Млечный Путь.

Среди огненных колесниц, светозарных коней, серебристых цветов и веток, среди широкого звездного жнивья Санька отыскал небольшое созвездие из семи маленьких звезд и улыбнулся им, как добрым старым друзьям.

— Федя, ты нашел Стожары?

— Вижу.

— А правда, если на них долго смотреть, они кажутся большими-большими?

— И горят ярче.

К мальчикам подошла Катерина:

— Что вы там на небе увидели?

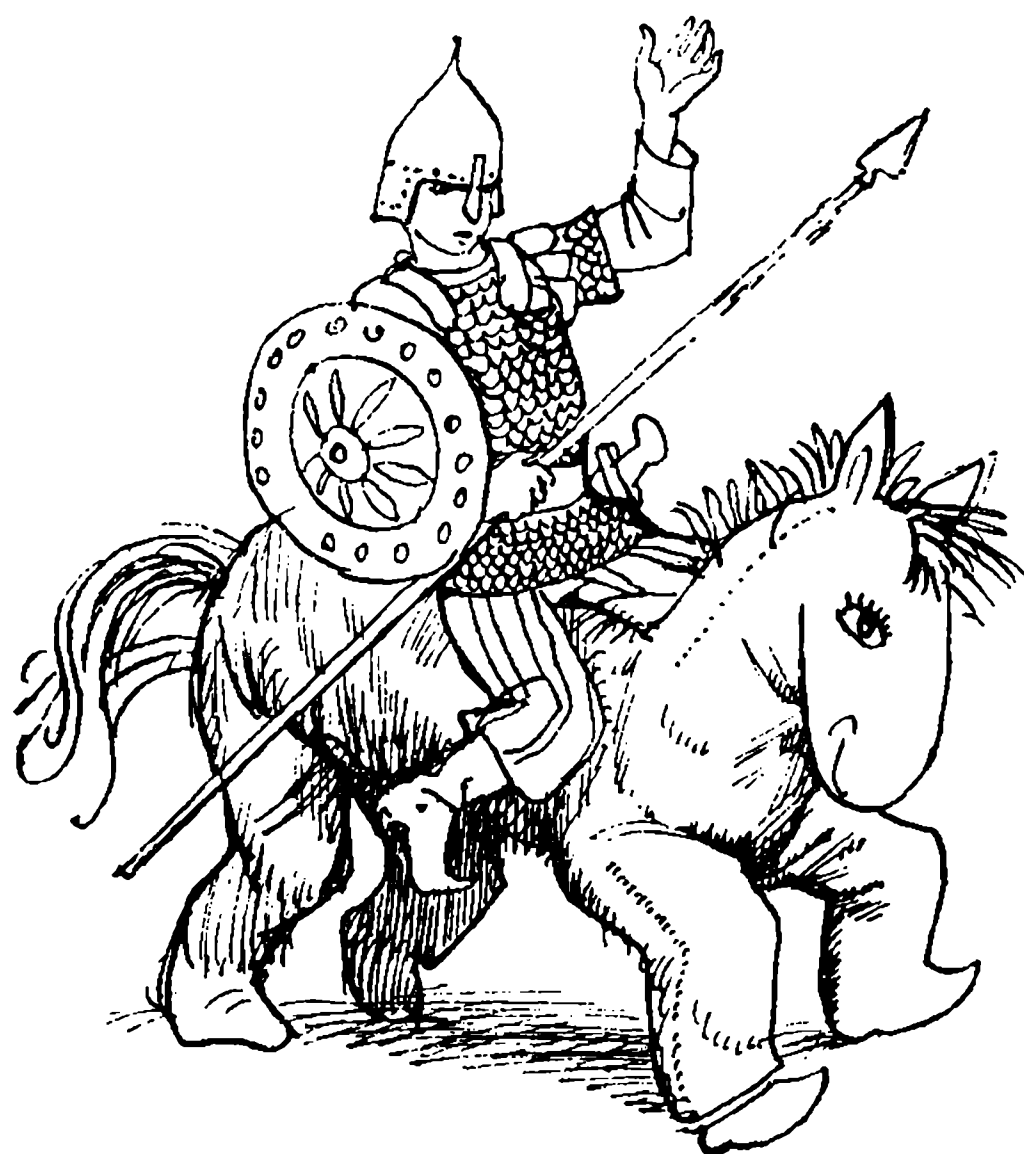
— Смотри, мама, вызвездило как,— сказал Санька.

Катерина, подняв голову, долго смотрела на звездное небо:

— Будто пшеницу рассыпали... Хороший денек будет завтра!

НИКОЛАЙ НОСОВ

Витя Малеев
в школе и дома





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Подумать только, как быстро время летит! Не успел я оглянуться, как каникулы кончились и пришла пора идти в школу. Целое лето я только и делал, что бегал по улицам да играл в футбол, а о книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда книжки, только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы, а так чтоб позаниматься по русскому языку или по арифметике — этого не было. По русскому я и так хорошо учился, а арифметики не любил. Хуже всего для меня было — это задачи решать. Ольга Николаевна даже хотела дать мне работу на лето по арифметике, но потом пожалела меня и перевела в четвертый класс так, без работы.

— Не хочется тебе лето портить, — сказала она. — Я переведу тебя так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом.

Я, конечно, обещание дал, но, как только занятия кончились, вся арифметика выскочила у меня из головы, и я, наверно, так и не вспомнил бы о ней, если б не пришла пора идти в школу. стыдно было мне, что я не исполнил своего обещания, но теперь уж все равно ничего не поделаешь.

Ну и вот, значит, пролетели каникулы! В одно прекрасное утро — это было первого сентября — я встал пораньше, сложил свои книжечки в сумку и отправился в школу. В этот день на улице, как говорится, царило большое оживление. Все мальчики и девочки, и большие и маленькие, как по команде, высыпали на улицу и шагали в школу. Они шли и по одному, и по двое, и даже целыми группами по несколько человек. Кто шел не спеша, вроде меня, кто мчался стремглав, как на пожар. Малыши тащили цветы, чтобы украсить класс. Девчонки визжали. И ребята тоже некоторые визжали и смеялись. Всем было весело. И мне было весело. Я был рад, что снова увижу свой пионерский отряд, всех ребят-пионеров из нашего класса и нашего вожатого Володю, который работал с нами в прошлом году.

Мне казалось, будто я путешественник, который когда-то давно уехал в далекое путешествие, а теперь возвращается обратно домой и вот-вот скоро уже увидит родные берега и знакомые лица родных и друзей.

Но все-таки мне было не совсем весело, так как я знал, что не встречу среди старых школьных друзей Федю Рыбкина — моего лучшего друга, с которым мы в прошлом году сидели за одной партой. Он недавно уехал со своими родителями из нашего города, и теперь уж никто не знает, увидимся мы с ним когда-нибудь или нет.

И еще мне было грустно, так как я не знал, что скажу Ольге Николаевне, если она меня спросит, занимался ли я летом по арифметике. Ох уж эта мне арифметика! Из-за нее у меня настроение совсем испортилось.

Яркое солнышко сияло на небе по-летнему, но прохладный осенний ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья. Они кружились в воздухе и падали вниз. Ветер гнал их по тротуару, и казалось, что листочки тоже куда-то спешат.

Еще издали я увидел над входом в школу большой красный плакат. Он был увит со всех сторон гирляндами из цветов, а на нем было написано большими белыми буквами: «Добро пожаловать!» Я вспомнил, что такой же плакат висел в тот день, когда я совсем еще маленьким пришел первый раз в школу. И мне вспомнились все прошлые годы. Как мы учились в первом классе и мечтали поскорей подрасти и стать пионерами.

Все это вспомнилось мне, и какая-то радость встрепенулась у меня в груди, будто случилось что-то хорошее-хорошее! Ноги мои сами собой зашагали быстрее, и я еле удержался, чтоб не пуститься бегом. Но это было мне не к лицу: ведь я не какой-нибудь первоклассник — как-никак все-таки четвертый класс!

Во дворе школы уже было полно ребят. Ребята собирались группами. Каждый класс отдельно. Я быстро разыскал свой класс. Ребята увидели меня и с радостным криком побежали навстречу,

стали хлопать по плечам, по спине. Я и не думал, что все так обрадуются моему приходу.

— А где же Федя Рыбкин? — спросил Гриша Васильев.

— Правда, где Федя? — закричали ребята. — Вы всегда вместе ходили. Где ты его потерял?

— Нету Феде, — ответил я. — Он не будет больше у нас учиться.

— Почему?

— Он уехал из нашего города со своими родителями.

— Как так?

— Очень просто.

— А ты не врешь? — спросил Алик Сорокин.

— Вот еще! Стану я врать!

Ребята смотрели на меня и недоверчиво улыбались.

— Ребята, и Вани Пахомова нет, — сказал Леня Астафьев.

— И Сережи Букатина! — закричали ребята.

— Может быть, они тоже уехали, а мы и не знаем, — сказал Толя Дежкин.

Тут, как будто в ответ на это, отворилась калитка, и мы увидели, что к нам приближается Ваня Пахомов.

— Ура! — закричали мы.

Все побежали навстречу Ване и набросились на него.

— Пустите! — отбивался от нас Ваня. — Человека никогда в жизни не видели, что ли?

Но каждому хотелось похлопать его по плечу или по спине. Я тоже хотел хлопнуть его по спине, но по ошибке попал по затылку.

— А, так вы еще драться! — рассердился Ваня и изо всех сил принялся вырываться от нас.

Но мы еще плотней окружили его.

Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут пришел Сережа Букатин. Все бросили Ваню на произвол судьбы и накинулись на Букатина.

— Вот теперь, кажется, уже все в сборе, — сказал Женя Комаров.

— Все, если не считать Феде Рыбкина, — ответил Игорь Грачев.

— Как же его считать, если он уехал?

— А может, это еще и неправда. Вот мы у Ольги Николаевны спросим.

— Хотите верьте, хотите нет. Очень мне нужно обманывать! — сказал я.

Ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать, кто как провел лето. Кто ездил в пионерский лагерь, кто жил с родителями на даче. Все мы за лето выросли, загорели. Но больше всех загорел Глеб Скамейкин. Лицо у него было такое, будто его

над костром коптили. Только светлые брови сверкали на нем.

— Где это ты загорел так? — спросил его Толя Дежкин. — Небось целое лето в пионерлагере жил?

— Нет. Сначала я был в пионерлагере, а потом в Крым поехал.

— Как же ты в Крым попал?

— Очень просто. Папе на заводе дали путевку в дом отдыха, а он придумал, чтоб мы с мамой тоже поехали.

— Значит, ты в Крыму побывал?

— Побывал.

— А море видел?

— Видел и море. Все видел.

Ребята обступили Глеба со всех сторон и стали разглядывать, как какую-нибудь диковинку.

— Ну так рассказывай, какое море. Чего ж ты молчишь? — сказал Сережа Букатин.

— Море — оно большое, — начал рассказывать Глеб Скамейкин. — Оно такое большое, что если на одном берегу стоишь, то другого берега даже не видно. С одной стороны есть берег, а с другой стороны никакого берега нет. Вот как много воды, ребята! Одним словом, одна вода! А солнце там печет так, что с меня сошла вся кожа.

— Врешь!

— Честное слово! Я сам даже испугался сначала, а потом оказалось, что у меня под этой кожей есть еще одна кожа. Вот я теперь и хожу в этой второй коже.

— Да ты не про кожу, а про море рассказывай!

— Сейчас расскажу... Море — оно громадное! А воды в море пропасть! Одним словом — целое море воды.

Неизвестно, что еще рассказал бы Глеб Скамейкин про море, но в это время к нам подошел Володя. Ну и крик тут поднялся! Все обступили его. Каждый спешил рассказать ему что-нибудь о себе. Все спрашивали, будет он у нас в этом году вожатым или нам дадут кого-нибудь другого.

— Что вы, ребята! Да разве я отдам вас кому-нибудь другому? Будем работать с вами, как и в прошлом году. Ну, если я сам надоем вам, тогда дело другое! — засмеялся Володя.

— Вы? Надоедите?.. — закричали мы все сразу. — Вы нам никогда в жизни не надоедите! Нам с вами всегда весело!

Володя рассказал нам, как он летом со своими товарищами комсомольцами ездил в путешествие по реке на резиновой лодке. Потом он сказал, что еще увидится с нами, и пошел к своим товарищам старшеклассникам. Ему ведь тоже хотелось поговорить со своими друзьями. Нам было жалко, что он ушел, но тут к нам подошла Ольга Николаевна. Все очень обрадовались, увидев ее.



А. Мусатов. Стожары.

— Здравствуйте, Ольга Николаевна! — закричали мы хором.

— Здравствуйте, ребята, здравствуйте! — улыбнулась Ольга Николаевна. — Ну как, нагулялись за лето?

— Нагулялись, Ольга Николаевна!

— Хорошо отдохнули?

— Хорошо.

— Не надоело отдыхать?

— Надоело, Ольга Николаевна! Учиться хочется!

— Вот и прекрасно!

— А я, Ольга Николаевна, так отдыхал, что даже устал! Если б еще немного — совсем бы из сил выбился, — сказал Алик Сорокин.

— А ты, Алик, я вижу, не переменился. Такой же шутник, как и в прошлом году был.

— Такой же, Ольга Николаевна, только подрос немного.

— Ну, подрос-то ты порядочно, — усмехнулась Ольга Николаевна.

— Только ума не набрался, — добавил Юра Касаткин.

Весь класс громко фыркнул.

— Ольга Николаевна, Федя Рыбкин не будет больше у нас учиться, — сказал Дима Балакирев.

— Я знаю. Он уехал с родителями в Москву.

— Ольга Николаевна, а Глеб Скамейкин в Крыму был и море видел.

— Вот и хорошо. Когда будем сочинение писать, Глеб напишет про море.

— Ольга Николаевна, а с него сошла кожа.

— С кого?

— С Глебки.

— А, ну хорошо, хорошо. Об этом поговорим после, а сейчас постройтесь в линейку, скоро в класс идти надо.

Мы построились в линейку. Все остальные классы тоже построились. На крыльце школы появился директор Игорь Александрович. Он поздравил нас с началом нового учебного года и пожелал всем ученикам в этом новом учебном году хороших успехов. Потом классные руководители стали разводить учеников по классам. Сначала пошли самые маленькие ученики — первоклассники, за ними второй класс, потом третий, а потом уж мы, а за нами пошли старшие классы.

Ольга Николаевна привела нас в класс. Все ребята решили сесть как в прошлом году, поэтому я оказался за партой один, у меня не было пары. Всем казалось, что в этом году нам достался маленький класс, гораздо меньше, чем в прошлом году.

— Класс такой же, как в прошлом году, точно таких же раз-

меров,— объяснила Ольга Николаевна.— Все вы за лето выросли вот вам и кажется, что класс меньше.

Это была правда. Я потом нарочно на переменке пошел посмотреть на третий класс. Он был такой же, как и четвертый.

На первом уроке Ольга Николаевна сказала, что в четвертом классе нам придется работать гораздо больше, чем раньше, так как у нас будет много предметов. Кроме русского языка, арифметики и других предметов, которые были у нас в прошлом году, теперь прибавляются еще география, история и естествознание. Поэтому надо браться за учебу как следует с самого начала года. Мы записали расписание уроков.

Потом Ольга Николаевна сказала, что нам надо выбрать старосту класса и его помощника.

— Глеба Скамейкина старостой! Глеба Скамейкина! — кричали ребята.

— Тише! Шуму-то сколько! Разве вы не знаете, как выбирать? Кто хочет сказать, должен поднять руку.

Мы стали выбирать организованно и выбрали старостой Глеба Скамейкина, а помощником — Шуру Маликова.

На втором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы будем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет проверять, кто что забыл за лето. Она тут же начала проверку, и вот оказалось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, конечно, а только с конца. До семью семь — сорок девять я хорошо помнил, а дальше путался.

— Эх, Малеев, Малеев! — сказала Ольга Николаевна.— Вот и видно, что ты за лето даже в руки книжку не брал!

Это моя фамилия Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится, всегда меня по фамилии называет, а когда не сердится, то зовет просто Витя.

Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда трудней. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. Если б я был главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так, чтоб занятия начинались не сразу, а постепенно, чтоб ребята понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к урокам. Например, можно было бы сделать так, чтоб в первую неделю было только по одному уроку, во вторую неделю — по два урока, в третью — по три и так далее. Или еще можно было бы сделать так, чтоб в первую неделю были одни только легкие уроки, например физкультура, во вторую неделю к физкультуре можно добавить пение, в третью неделю можно добавить русский язык, и так, пока не дойдет до арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и вообще не люблю учиться, но это неправда. Я очень люблю учиться, но мне трудно начать работать сразу: то гулял, гулял, а тут вдруг стоп машина — давай учись.

На третьем уроке у нас была география. Я думал, что география — это какой-нибудь очень трудный предмет, вроде арифметики, но оказалось, что она совсем легкая. География — это наука о Земле, на которой мы все живем; про то, какие на Земле горы и реки, какие моря и океаны. Раньше я думал, что Земля наша плоская, как будто блин, но Ольга Николаевна сказала, что Земля вовсе не плоская, а круглая, как шар. Я уже и раньше слышал об этом, но думал, что это, может быть, сказки или какие-нибудь выдумки. Но теперь уже точно известно, что это не сказки. Наука установила, что Земля наша — это огромный-преогромнейший шар, а на этом шаре вокруг живут люди. Оказывается, что Земля притягивает к себе всех людей и зверей и все, что на ней находится, поэтому люди, которые живут внизу, никуда не падают. И вот еще что интересно: те люди, которые живут внизу, ходят вверх ногами, то есть вниз головой, только они сами этого не замечают и воображают, что ходят правильно. Если они опустят голову вниз и посмотрят себе под ноги, то увидят землю, на которой стоят, а если задерут голову кверху, то увидят над собой небо. Вот поэтому им и кажется, что они ходят правильно.

На географии мы немножечко развеселились, а на последнем уроке случилось интересное происшествие. Уже прозвонил звонок, и в класс пришла Ольга Николаевна, как вдруг отворилась дверь, и на пороге появился совсем незнакомый ученик. Он постоял нерешительно возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, — ответила Ольга Николаевна. — Что ты хочешь сказать?

— Ничего.

— Зачем же ты пришел, если ничего не хочешь сказать?

— Так просто.

— Что-то я не пойму тебя.

— Я учиться пришел. Здесь ведь четвертый класс?

— Здесь.

— Вот мне и надо в четвертый.

— Так ты новичок, должно быть?

— Новичок.

Ольга Николаевна заглянула в журнал:

— Твоя фамилия Шишкин?

— Шишкин, а зовут Костя.

— Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришел? Разве ты не знаешь, что в школу надо с утра являться?

— Я и явился с утра. Я только на первый урок опоздал.

— На первый урок? А теперь четвертый. Где же ты пропал два урока?

— Я был там... в пятом классе.

— Чего же ты в пятый класс попал?

— Я пришел в школу, слышу — звонок, ребята гурьбой бегут в класс... Ну, и я за ними, вот и попал в пятый класс. На перемене ребята спрашивают: «Ты новичок?» Я говорю: «Новичок». Они ничего не сказали мне, и я только на следующем уроке разобрался, что не в свой класс попал. Вот.

— Вот садись на место и не попадай больше в чужой класс, — сказала Ольга Николаевна.

Шишкин подошел к моей парте и сел рядом со мной, потому что я сидел один и место было свободно.

Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались. Но Шишкин не обращал на это внимания и делал вид, будто с ним ничего смешного не произошло. Нижняя губа у него немного выпячивалась вперед, а нос как-то сам собой задирался кверху. От этого у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то гордился.

После уроков ребята обступили его со всех сторон.

— Как же ты попал в пятый класс? Неужели учительница не проверяла ребят? — спросил Слава Ведерников.

— Может быть, и проверяла на первом уроке, а я ведь пришел на второй урок.

— Почему же она не заметила, что на втором уроке появился новый ученик?

— А на втором уроке уже другой учитель был, — ответил Шишкин. — Там ведь не так, как в четвертом классе. Там на каждом уроке другой учитель, и, пока учителя не знают ребят, получается путаница.

— Это только с тобой получилась путаница, а вообще никакой путаницы не бывает, — сказал Глеб Скамейкин. — Каждый должен знать, в какой ему класс надо.

— А если я новичок? — говорит Шишкин.

— Новичок, так не надо опаздывать. И потом, разве у тебя языка нету? Мог спросить.

— Когда же спрашивать? Вижу — ребята бегут, ну и я за ними.

— Ты так и в десятый класс мог попасть!

— Нет, в десятый я не попал бы. Это я бы сразу увидел: там ребята большие, — улыбнулся Шишкин.

Я взял свои книжки и пошел домой. В коридоре меня встретила Ольга Николаевна.

— Ну, Витя, как ты думаешь учиться в этом году? — спросила она. — Пора тебе, дружок, браться за дело как следует. Тебе нужно приналечь на арифметику, она у тебя с прошлого года хромает. А таблицы умножения стыдно не знать. Ведь ее во втором классе проходят.

— Да я ведь знаю, Ольга Николаевна. Я только с конца немножко забыл!

— Таблицу всю от начала до конца надо хорошо знать. Без этого нельзя в четвертом классе учиться. К завтрашнему дню выучи, я проверю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, отчего у них такое большое воображение!

Моя младшая сестра Лика перешла в третий класс и теперь думает, что меня можно совсем не слушаться, будто я ей вовсе не старший брат и у меня нет никакого авторитета. Сколько раз я говорил ей, чтоб она не садилась за уроки сразу, как только придет из школы. Это ведь очень вредно! Пока учишься в школе, мозг в голове устает, и ему надо сначала дать отдохнуть часа два, полтора, а потом уже можно садиться за уроки. Но Лике хоть говори, хоть нет, она ничего слушать не хочет.

Вот и теперь: пришел я домой, а она тоже уже вернулась из школы, разложила на столе книжки и занимается.

Я говорю:

— Что же ты, голубушка, делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы надо мозгу давать отдых?

— Это,— говорит,— я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободная: хочу — гуляю, хочу — что хочу. делаю.

— Экая,— говорю,— ты бестолковая! Мало я тебе в прошлом году твердил! Что я могу сделать, если ты своего старшего брата не хочешь слушать? Вот вырастет из тебя тупица, тогда узнаешь!

— А что я могу сделать? — сказала она.— Я ни минуточки не могу посидеть спокойно, пока дела не сделаю.

— Будто потом нельзя сделать! — ответил я.— Выдержку надо иметь.

— Нет, уж лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь уроки у нас легкие. Не то что у вас, в четвертом классе.

— Да,— говорю,— у нас не то что у вас. Вот перейдешь в четвертый класс, тогда узнаешь, где раки зимуют.

— А что тебе сегодня задано? — спросила она.

— Это не твоего ума дело,— ответил я.— Ты все равно ничего не поймешь, так что и рассказывать не стоит.

Не мог же я сказать ей, что мне задано повторять таблицу умножения! Ее ведь во втором классе проходят.

Я решил с самого начала взяться за учебу как следует и сразу засел повторять таблицу умножения. Конечно, я повторял ее про

себя, чтоб Лика не слышала, но она скоро окончила свои уроки и убежала играть с подругами. Тогда я принялся учить таблицу как следует, вслух, и выучил ее так, что меня хоть разбуди ночью и спроси, сколько будет семью семь или восемью девять, я без запинки отвечу.

Зато на другой день Ольга Николаевна вызвала меня и проверила, как я выучил таблицу умножения.

— Вот видишь, — сказала она, — когда ты хочешь, то можешь учиться как следует! Я ведь знаю, что у тебя способности есть.

Все было бы хорошо, если б Ольга Николаевна спросила меня только таблицу, но ей еще захотелось, чтоб я задачу на доске решил. Этим она, конечно, все дело испортила.

Я вышел к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников, которые строили дом. Я записал условие задачи на доске мелом и стал думать. Но это, конечно, только так говорится, что я стал думать. Задача попалась такая трудная, что я все равно не решил бы ее. Я только нарочно наморщил лоб, чтоб Ольга Николаевна видела, будто я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, чтоб они подсказали мне. Но подсказывать тому, кто стоит у доски, очень трудно, и все ребята молчали.

— Ну, как ты станешь решать задачу? — спросила Ольга Николаевна. — Какой будет первый вопрос?

Я только сильнее наморщил лоб и, повернувшись вполоборота к ребятам, изо всех сил заморгал одним глазом. Ребята сообразили, что мое дело плохо, и стали подсказывать.

— Тише, ребята, не подсказывайте! Я сама помогу ему, если надо, — сказала Ольга Николаевна.

Она стала объяснять мне задачу и сказала, как сделать первый вопрос. Я хотя ничего не понял, но все-таки решил на доске первый вопрос.

— Правильно, — сказала Ольга Николаевна. — Теперь какой будет второй вопрос?

Я снова задумался и замигал глазом ребятам. Ребята опять стали подсказывать.

— Тише! Мне ведь все слышно, а вы только ему мешаете! — сказала Ольга Николаевна и принялась объяснять мне второй вопрос.

Таким образом, постепенно, с помощью Ольги Николаевны и с подсказкой ребят, я решил наконец задачу.

— Теперь ты понял, как нужно решать такие задачи? — спросила Ольга Николаевна.

— Понял, — ответил я.

На самом деле я, конечно, совсем ничего не понял, но мне стыдно было признаться, что я такой бестолковый, к тому же я боялся, что Ольга Николаевна поставит мне плохую отметку, если я скажу, что не понял.

Я сел на место, списал задачу в тетрадь и решил еще дома подумать над ней как следует.

После урока говорю ребятам:

— Что же вы подсказываете так, что Ольга Николаевна все слышит? Орут на весь класс! Разве так подсказывают?

— Как же тут подскажешь, когда ты возле доски стоишь! — говорит Вася Ерохин. — Вот если б тебя с места вызвали...

— «С места, с места»! Потихоньку надо.

— Я и подсказывал тебе сначала потихоньку, а ты стоишь и ничего не слышишь.

— Так ты, наверно, себе под нос шептал, — говорю я.

— Ну вот! Тебе и громко нехорошо и тихо нехорошо! Не разбираешь, как тебе надо!

— Совсем никак не надо, — сказал Ваня Пахомов. — Самому надо соображать, а не слушать подсказку:

— Зачем же мне свою голову утруждать, если я все равно ничего в этих задачах не понимаю? — говорю я.

— Оттого и не понимаешь, что не хочешь соображать, — сказал Глеб Скамейкин. — Надеешься на подсказку, а сам не учишься. Я лично никому больше подсказывать не буду. Надо, чтоб был порядок в классе, а от этого один вред.

— Найдутся и без тебя, подскажут, — говорю я.

— А я все равно буду бороться с подсказкой, — говорит Глеб.

— Ну, не больно-то задавайся! — ответил я.

— Почему «задавайся»? Я староста класса! Я добьюсь, чтоб подсказки не было.

— И нечего, — говорю, — воображать, если тебя старостой выбрали! Сегодня ты староста, а завтра я староста.

— Ну вот, когда тебя выберут, а пока еще не выбрали.

Тут и другие ребята вмешались и стали спорить, нужно подсказывать или нет. Но мы так ни до чего и не dospорились. Прибежал Дима Балакирев. Он узнал, что летом на пустыре позади школы старшие ребята устроили футбольное поле. Мы решили прийти после обеда и сыграть в футбол. После обеда мы собрались на футбольном поле, разбились на две команды, чтоб играть по всем правилам, но тут в нашей команде произошел спор, кому быть вратарем. Никто не хотел стоять в воротах. Каждому хотелось бегать по всему полю и забивать голы. Все говорили, чтоб вратарем был я, но мне хотелось быть центром нападения или хотя бы полузащитником. На мое счастье, Шишкин согласился сделаться вратарем. Он сбросил с себя куртку, встал в воротах, и игра началась.

Сначала перевес оказался на стороне противников. Они все время атаковали наши ворота. Вся наша команда смешалась в кучу. Мы без толку носились по полю и только мешали друг другу. На наше счастье, Шишкин оказался замечательным вратарем. Он

прыгал как кошка или какая-нибудь пантера и не пропустил в наши ворота ни одного мяча. Наконец нам удалось завладеть мячом, и мы погнали его к воротам противника. Кто-то из наших пробил по воротам, и счет оказался 1:0 в нашу пользу. Мы обрадовались и с новыми силами начали нажимать на вражеские ворота. Скоро нам удалось забить еще гол, и счет оказался 2:0 в нашу пользу. Тут игра почему-то снова перешла на нашу половину поля. Нас опять стали теснить, и мы никак не могли отогнать мяч от наших ворот. Тогда Шишкин схватил мяч руками и помчался с ним прямо к воротам противника. Там он положил мяч на землю и уже хотел забить гол, но тут Игорь Грачев ловко отыграл у него мяч, передал его Славе Ведерникову, Слава Ведерников — Ване Пахомову, и не успели мы оглянуться, как мяч уже был в наших воротах. Счет стал 2:1. Шишкин со всех ног побежал на свое место, но, пока он бежал, нам снова забили гол, и счет стал 2:2. Мы принялись ругать на все лады Шишкина за то, что он оставил свои ворота, а он оправдывался и говорил, что теперь будет играть по всем правилам. Он то и дело выскакивал из ворот, и как раз в это время нам забивали голы. Игра продолжалась до вечера. Мы забили шестнадцать голов, а нам забили двадцать один. Нам хотелось еще поиграть, но темнота наступила такая, что мяча не стало видно, и пришлось разойтись по домам. По дороге все только и говорили, что мы проиграли из-за Шишкина, потому что он все время выскакивал из ворот.

— Ты, Шишкин, замечательный вратарь, — сказал Юра Касаткин. — Если бы ты исправно стоял в воротах, наша команда была бы непобедимой.

— Не могу я стоять спокойно, — ответил Шишкин. — Я люблю играть в баскетбол, потому что там можно каждому бегать по всему полю и никакого вратаря не полагается и к тому же все могут хватать мяч руками. Вот давайте организуем баскетбольную команду.

Шишкин начал рассказывать о том, как нужно играть в баскетбол, и, по его словам, эта игра была не хуже футбола.

— Надо поговорить с нашим преподавателем физкультуры, — сказал Юра. — Может быть, он поможет нам оборудовать площадку для баскетбола.

Когда мы подошли к скверу, где нужно было поворачивать на нашу улицу, Шишкин вдруг остановился и закричал:

— Батюшки! Я ведь свою куртку на футбольном поле забыл!

Он повернулся и бросился бегом назад. Удивительный это был человек! Вечно с ним случались какие-нибудь недоразумения. Бывают же такие люди на свете!

Домой я вернулся в девятом часу. Мама стала бранить меня за то, что я задержался так поздно, но я сказал, что еще не поздно, потому что теперь уже осень, а осенью всегда темнеет раньше, чем

летом, и если бы это было летом, то никому не показалось бы, что уже поздно, потому что летом дни гораздо длиннее, и в это время было бы еще светло, и всем казалось бы, что еще рано.

Мама сказала, что у меня вечно какие-нибудь отговорки, и велела делать уроки. Я, конечно, засел за уроки. То есть я засел за уроки не сразу, так как я очень устал на футболе и мне хотелось немножечко отдохнуть.

— Чего же ты не делаешь уроки? — спросила Лика. — Ведь твой мозг, наверно, давно отдохнул.

— Я сам знаю, сколько нужно моему мозгу отдыхать! — ответил я.

Теперь я уже не мог тут же сесть за уроки, чтоб Лика не вообразила, будто это она меня заставила заниматься. Поэтому я решил еще немножко отдохнуть и стал рассказывать про Шишкина, какой он растяпа и как он забыл на футбольном поле свою куртку. Скоро пришел с работы папа и стал рассказывать, что их завод получил заказ на изготовление новых машин для Куйбышевского гидроузла, и я снова не мог делать уроки, потому что мне интересно было послушать.

Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. Он делает модели. Что такое модель, наверно, никто не знает, а я знаю. Чтоб отлить какую-нибудь деталь для машины из стали, всегда нужно сделать сначала такую же деталь из дерева, и вот такая деревянная деталь называется моделью. Для чего нужна модель? А вот для чего: модель возьмут, поставят в опоку, то есть в такой вроде железный ящик, только без дна, потом насыплют в опоку земли, и, когда модель вынут, в земле получается углубление по форме модели. В это углубление заливают расплавленный металл, и когда металл застынет, то получится деталь, точно такая же по форме, как была модель. Когда на завод приходит заказ на новые детали, инженеры чертят чертежи, а модельщики делают по этим чертежам модели. Конечно, модельщик должен быть очень умным, потому что он по простому чертежу обязан понять, какую нужно делать модель, а если он сделает модель плохо, то по ней нельзя будет отливать детали. Мой папа очень хороший модельщик. Он даже придумал электрический лобзик, чтоб выпиливать из дерева разные мелкие части. А теперь он изобретает новый усовершенствованный прибор для шлифовки деревянных моделей. Раньше на шлифовку тратили много времени, а когда папа сделает свой прибор, шлифовать будут гораздо быстрее. Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнет немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтоб узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь — самому придумывать шлифовальный прибор. Папа поужинал и засел за свои чертежи, а я засел делать уроки. Сначала я выучил географию, потому что она самая легкая. После географии

я взялся за русский язык. По русскому языку нужно было списать упражнение и подчеркнуть в словах корень, приставку и окончание. Корень — одной чертой, приставку — двумя, а окончание — тремя. Потом я выучил английский язык и взялся за арифметику. На дом была задана такая скверная задача, что я никак не мог догадаться, как ее решить. Я сидел целый час, пялил глаза в задачник и изо всех сил напрягал мозг, но ничего у меня не выходило. Вдобавок мне страшно захотелось спать. В глазах у меня щипало, будто мне кто-нибудь в них песку насыпал.

— Довольно тебе сидеть, — сказала мама, — пора спать ложиться. У тебя глаза уже сами собой закрываются, а ты все сидишь!

— Что же я, с несделанной задачей завтра в школу приду? — сказал я.

— Днем надо заниматься, — ответила мама. — Нечего причитать по ночам сидеть! От таких занятий никакого толку не будет. Ты все равно уже ничего не соображаешь.

— Вот и пусть сидит, — сказал папа. — Будет знать в другой раз, как уроки на ночь откладывать.

И вот я сидел и перечитывал задачу до тех пор, пока буквы в задачнике не стали кивать, и кланяться, и прятаться друг за дружку, словно играли в жмурки. Я протер глаза, снова стал перечитывать задачу, но буквы не успокоились, а даже почему-то стали подпрыгивать, будто затеяли игру в чехарду.

— Ну, что там у тебя получается? — спросила мама.

— Да вот, — говорю, — задача попалась какая-то скверная.

— Скверных задач не бывает. Это ученики бывают скверные.

Мама прочитала задачу и принялась объяснять, но я почему-то ничего не мог понять.

— Неужели вам в школе не объясняли, как делать такие задачи? — спросил папа.

— Нет, — говорю, — не объясняли.

— Удивительно! Когда я учился, нам учительница всегда объясняла сначала в классе, а потом задавала на дом.

— Так то, — говорю, — когда ты учился, а нам Ольга Николаевна ничего не объясняет. Все только спрашивает и спрашивает.

— Не понимаю, как это вас учат!

— Вот так, — говорю, — и учат.

— А что вам рассказывала Ольга Николаевна в классе?

— Ничего не рассказывала. Мы решали на доске задачу.

— Ну-ка, покажи, какую задачу.

Я показал задачу, которую списал в тетрадь.

— Ну вот, а ты тут еще на учительницу наговариваешь! — воскликнул папа. — Это ведь такая же задача, как на дом задана! Значит, учительница объясняла, как решать такие задачи.

— Где же, — говорю, — такая? Там про плотников, которые

строили дом, а здесь про каких-то жестянщиков, которые делали ведра.

— Эх, ты! — говорит папа. — В той задаче нужно было узнать, во сколько дней двадцать пять плотников построят восемь домов, а в этой нужно узнать, во сколько шесть жестянщиков сделают тридцать шесть ведер. Обе задачи решаются одинаково.

Папа принялся объяснять, как нужно сделать задачу, но у меня уже все в голове спуталось, и я совсем ничего не понимал.

— Экий ты бестолковый! — рассердился наконец папа. — Ну разве можно таким бестолковым быть!

Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать, а как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан.

— Ну что же тут непонятного? — говорит папа. — Кажется, все понятно.

Когда папа видит, что на словах никак не может объяснить, он берет лист бумаги и начинает писать.

— Вот, — сказал он. — Ведь это все просто. Смотри, какой будет первый вопрос.

Он записал вопрос на бумажке и сделал решение.

— Это понятно тебе?

По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно, но я до смерти уже хотел спать и поэтому сказал:

— Понятно.

— Ну вот, наконец-то! — обрадовался папа. — Думать надо как следует, тогда все будет понятно.

Он решил на бумажке второй вопрос:

— Понятно?

— Понятно, — говорю я.

— Ты скажи, если непонятно, я еще объясню.

— Нет, понятно, понятно.

Наконец он сделал последний вопрос. Я списал задачу начисто в тетрадку и спрятал в сумку.

— Кончил дело — гуляй смело, — сказала Лика.

— Ладно, я с тобой завтра поговорю! — проворчал я и пошел спать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они такие чистенькие, свежие, без единого пятнышка, просто любо посмотреть. Все было как новенькое.

Приятно все-таки заниматься в таком классе! И светлей кажется, и привольней, и даже, как бы это сказать, на душе веселей.

И вот на следующий день, когда я пришел в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки клеш развевались по ветру, на голове — бескозырка, во рту — трубка, и дым из нее кольцами поднимался кверху, как из паровой трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было без смеха смотреть.

— Это Игорь Грачев нарисовал, — сообщил мне Вася Ерохин. — Только, чур, не выдавать!

— Зачем же мне выдавать? — говорю я.

Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки:

— Морячок с нами будет учиться! Вот здорово!

Перед самым звонком прибежал в класс Шишкин.

— Видел морячка? — говорю я и показываю на стену. Он взглянул на него.

— Это Игорь Грачев нарисовал, — сказал я. — Только не выдавать.

— Ну ладно, сам знаю! Ты по русскому упражнение сделал?

— Конечно, сделал, — ответил я. — Что же я, с несделанными уроками буду в класс приходить?

— А я, понимаешь, не сделал. Не успел, понимаешь. Дай списать.

— Когда же ты будешь списывать? — говорю я. — Скоро урок начнется.

— Ничего. Я во время урока спишу.

Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать.

— Послушай, — говорит. — А зачем ты в слове «светлячок» приставку одной чертой подчеркнул? Корень одной чертой надо подчеркивать.

— Много ты понимаешь! — говорю я. — Это и есть корень!

— Что ты! «Свет» — корень? Разве корень бывает впереди слова? Где тогда, по-твоему, приставка?

— А приставки нет в этом слове.

— Разве так бывает, чтобы приставки не было?

— Конечно, бывает.

— То-то я ломал вчера голову: приставка есть, корень есть, а окончания не получается.

— Эх, ты! — говорю я. — Мы ведь это еще в третьем классе проходили.

— Да я уж не помню. Значит, у тебя тут все правильно? Я так и спишу.

Я хотел рассказать ему, что такое корень, приставка и окончание, но тут прозвенел звонок и в класс вошла Ольга Николаевна.

Она сразу увидела на стене морячка, и лицо у нее сделалось строгое.

— Это что еще за художества? — спросила она и обвела класс взглядом. — Кто это нарисовал?

Все ребята молчали.

— Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться, — сказала Ольга Николаевна.

Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался. Брови у Ольги Николаевны нахмурились.

— Разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или вам, может, приятно?

— Нет, нет! — раздалось несколько нерешительных голосов.

— Кто же это сделал?

Все молчали.

— Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал.

— Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришел, морячок уже был на стене.

— Удивительно! — сказала Ольга Николаевна. — Кто-нибудь да нарисовал же его. Вчера стена была чистая, я последней уходила из класса. Кто сегодня пришел первым?

Никто из ребят не признавался. Каждый говорил, что он пришел, когда в классе было уже много ребят.

Пока шел разговор об этом, Шишкин старательно списывал упражнение в свою тетрадь. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне.

— Что же это такое? — говорю я. — Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляксой!

— Я ведь не нарочно посадил кляксу, — говорит Костя.

— Какое мне дело, нарочно или не нарочно! Зачем мне в тетради клякса?

— Как же я отдам тебе тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса? В другой раз будет без кляксы.

— В какой, — говорю, — другой раз?

— Ну, в другой раз, когда буду списывать.

— Так ты что, — говорю, — каждый раз у меня собираешься списывать?

— Зачем каждый раз? Иногда только.

На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили в школе стены, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров.

«Ну, — думаю, — пропал бедный Шишкин! На доске задачу решать — это тебе не с чужой тетрадки списывать!»

К моему удивлению, Шишкин очень хорошо справился с задачей. Правда, решал он ее долго, до конца урока, потому что задача была длинная и довольно трудная.

Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу, и чувствовали, что на этом дело не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришел директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не сердитый. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый, но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, только еще повыше, пиджак у него широкий, просторный, застегивается на три пуговицы, а на носу очки.

Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас, но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика и как важно хорошо учиться и беречь школьное имущество и саму школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены, наносит ущерб народу, потому что все средства на школы дает народ. Под конец Игорь Александрович сказал:

— Тот, кто нарисовал на стенке, наверно, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это не подумавши.

На меня очень подействовало все, что сказал Игорь Александрович, и я думал, что Игорь Грачев тут же встанет и признается, что это сделал он, но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек, и он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверно, стыдно признаться сейчас, но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберется смелости и придет к нему в кабинет.

После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дежкин подошел к Грачеву и сказал:

— Эх, ты! Кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло!

Игорь развел руками:

— Да я что? Я разве хотел?

— Зачем же нарисовал?

— Сам не знаю. Взял и нарисовал не подумавши.

— «Не подумавши»! Из-за тебя пятно на всем классе.

— Почему на всем классе?

— Потому что на каждого могут подумать.

— А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал.

— Смотри, чтоб этого больше не было,— сказал Толя.

— Ладно, ребята, я больше не буду, я ведь так только — хотел попробовать,— оправдывался Игорь.

Он взял тряпку и принялся стирать морячка, но от этого получилось только хуже. Морячок все-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стене.

После школы мы снова пошли играть в футбол и играли опять до темноты, а когда пошли домой, Шишкин затащил меня к себе. Оказалось, что он живет на той же улице, что и я, в небольшом деревянном двухэтажном домике, совсем недалеко от нас. На нашей улице все дома большие, четырехэтажные и пятиэтажные, как наш. Я давно уже думал: что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме? А вот теперь, оказывается, здесь жил как раз Шишкин.

Мне не хотелось идти к нему, потому что уже было поздно, но он сказал:

— Понимаешь, меня дома станут ругать за то, что я так долго играл, а если ты придешь, меня не так будут ругать.

— Меня ведь тоже будут ругать,— говорю я.

— Ничего. Если хочешь, зайдем сначала ко мне, а потом вместе зайдем к тебе, вот и тебя не будут ругать и меня тоже.

— Ну хорошо,— согласился я.

Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока.

— Что же это такое, Костя! Где ты пропадаешь так поздно? — спросила его мать, открывая нам дверь.

— Вот познакомься, мама, это мой школьный товарищ, Малеев. Мы с ним за одной партой сидим.

— Ну заходите, заходите,— сказала мать уже не таким строгим голосом.

Мы вошли в коридор.

— Батюшки! Где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!

Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было все красное. По щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы. Кончик носа был черный. Наверно, и я был не лучше, потому что мне попало мячом в лицо. Шишкин толкнул меня локтем:

— Пойдем умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься.

Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тетей:

— Тетя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся.

Тетя Зина была совсем молодая, и я сначала даже принял ее за старшую сестру Шишкина, но она оказалась не сестра вовсе, а тетя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверно, я очень

смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы пошли к умывальнику и принялись умываться.

— Ты зверей любишь? — спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом.

— Смотря каких, — говорю я. — Если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю. Они кусаются.

— Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?

— Мышей, — говорю, — тоже не люблю. Они портят вещи: грызут все, что ни попадется.

— И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь?

— Как — не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли.

— Так ты, наверно, не кормил их?

— Вот еще! Стану я мышей кормить?

— А как же! Я каждый день их кормлю. Даже дом им выстроил.

— С ума, — говорю, — сошел! Кто же мышам дома строит?

— Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдем посмотрим мышиный дом.

Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из пустых спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылезали из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка.

Я удивился.

— Что это за зверушки? — спрашиваю.

— Ну, мыши.

— Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые.

— Ну, это и есть белые мыши. Что ты, никогда белых мышей не видел?

Шишкин поймал мышонка и дал мне подержать.

Мышонок был белый-пребелый, как молоко, только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух, а глаза у него были красные, точно коралловые бусинки.

— У нас в доме белые мыши не водятся, у нас только серые, — сказал я.

— Да они ведь в домах не водятся, — засмеялся Шишкин. — Их покупать надо. Я купил в зоомагазине четыре штуки, а теперь видишь, сколько их расплодилось. Хочешь, подарю тебе парочку?

— А чем их кормить?

— Да они все едят. Крупой можно, хлебом, молоком.

— Ну ладно, — согласился я.

Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в нее двух мышей и сунул коробку в карман.

— Я их сам понесу, а то ты, по неопытности, раздавишь, — сказал он.

Мы стали натягивать куртки, чтоб идти ко мне.

— Куда это ты снова собираешься? — спросила Костю мама.

— Я сейчас вернусь, только на минутку зайду к Вите, я обещал ему.

Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришел, и не стала бранить меня за то, что я поздно вернулся.

— Это мой школьный товарищ, Костя, — сказал я ей.

— Ты новичок, Костя? — спросила мама.

— Да, я только в этом году поступил.

— А до этого где учился?

— В Нальчике. Мы жили там, а потом тетя Зина окончила десятилетку и захотела поступить в театральное училище, тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет.

— А где тебе больше нравится: здесь или в Нальчике?

— В Нальчике лучше, а здесь тоже хорошо. И еще мы жили в Краснозаводске, там тоже было хорошо.

— Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо.

— Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни.

— Почему же мама так говорит?

— Потому что я никогда вовремя уроков не делаю.

— Значит, ты такой, как наш Витя. Он тоже не любит делать вовремя уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер.

В это время пришла Лика, и я сказал:

— А это вот, познакомься, моя сестра Лика.

— Здравствуйте! — сказал Шишкин.

— Здравствуйте! — ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картина на выставке.

— А у меня сестры нет, — сказал Шишкин. — И брата у меня нет. Никого у меня нет, я совсем одинокий.

— А вы хотели бы, чтоб у вас была сестра или брат? — спросила Лика.

— Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный? Потому что мне не о ком заботиться.

— А вы о маме заботьтесь.

— Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так ее ждешь, ждешь — вечером придет, а потом вдруг и вечером уедет.

— А кем ваша мама работает?

— Моя мама шофер, на автомобиле ездит.

— Ну, вы о себе заботьтесь, вашей маме было бы легче.

— Это я знаю,— ответил Шишкин.

— А вы свою куртку нашли? — спросила Лика.

— Какую куртку? Ах, да! Нашел, конечно, нашел. Она так и лежала на футбольном поле, где я оставил.

— Вы так когда-нибудь простудитесь,— сказала Лика.

— Нет, что вы!

— Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто.

— Нет, пальто я не забуду... Вы мышей любите?

— Мышей... м-м-м,— замялась Лика.

— Хотите, подарю вам парочку?

— Нет, что вы!

— Они очень хорошие,— сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.

— Ой, какие хорошенькие! — завизжала Лика.

— Что ж ты ей моих мышей даришь? — испугался я.— Сначала подарил мне, а теперь ей!

— Да я ей только показываю этих, а подарю других, у меня ведь еще есть,— сказал Шишкин.— Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю.

— Нет, нет,— сказала Лика,— пусть эти Витины будут.

— Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите.

Лика протянула руки к мышам:

— А они не кусаются?

— Что вы! Совсем ручные.

Когда Шишкин ушел, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в нее мышей. Мышки выглядывали из окон, и на них было очень интересно смотреть.

За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению, я сделал сначала то, что было полегче, а после всего принялся делать задачу по арифметике. Задача опять оказалась трудная. Поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день списать задачу у кого-нибудь из товарищей. Если бы я стал решать задачу сам, то мама увидела бы, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь, папа взялся бы объяснять мне задачу, а зачем мне отрывать его от работы! Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно.

Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнездышко, насыпала

им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора! Она так быстро терла лапками свою рожицу, что нельзя было без смеха смотреть. Лика все время сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась.

— Какой у тебя хороший товарищ, Витя! — сказала она, когда я подошел посмотреть.

— Это Костя-то? — говорю я.

— Ну да.

— Чем же он такой хороший?

— Вежливый. Так хорошо разговаривает. Даже со мной поговорил.

— Отчего же ему не поговорить с тобой?

— Ну, я ведь девчонка.

— Что ж, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?

— А другие ребята не разговаривают. Гордятся, наверно. Ты с ним дружи.

Я хотел ей сказать, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает и мне в тетради даже посадил кляксу, но я почему-то сказал:

— Будто я сам не знаю, что он хороший! У нас в классе все ребята хорошие.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прошло дня три, или четыре, или, может быть, пять, сейчас уже не помню точно, и вот один раз на уроке наш редактор Сережа Букатин сказал:

— Ольга Николаевна, у нас в редколлегии никто не умеет хорошо рисовать. В прошлом году всегда рисовал Федя Рыбкин, а теперь совсем некому, и стенгазета получается неинтересная. Надо нам выбрать художника.

— Художником надо выбирать того, кто умеет хорошо рисовать, — сказала Ольга Николаевна. — Давайте сделаем так: пусть каждый принесет завтра свои рисунки. Вот мы и выберем, кто лучше рисует.

— А у кого нет рисунков? — спросили ребята.

— Ну, нарисуйте сегодня, приготовьте хоть по рисунку. Это ведь нетрудно.

— Конечно, — согласились мы все.

На другой день все принесли рисунки. Кто принес старые, кто нарисовал новые; у некоторых были целые пачки рисунков, а Игорь Грачев принес целый альбом. Я тоже принес несколько

картинок. И вот мы разложили все свои рисунки на партах, а Ольга Николаевна подходила ко всем и рассматривала рисунки. Наконец она подошла к Игорю Грачеву и стала смотреть его альбом. У него там были нарисованы все моря, корабли, пароходы, подводные лодки, дредноуты.

— Игорь Грачев лучше всех рисует, — сказала она. — Вот ты и будешь художником.

Игорь улыбался от радости. Ольга Николаевна перевернула страничку и увидела, что там у него нарисован моряк в тельняшке, с трубкой во рту, точь-в-точь такой же, как на стене был. Ольга Николаевна нахмурилась и пристально поглядела на Игоря. Игорь заволновался, покраснел и тут же сказал:

— Это я нарисовал морячка на стенке.

— Ну вот, а когда спрашивали, так ты не признавался! Нехорошо, Игорь, нечестно! Зачем ты это сделал?

— Сам не знаю, Ольга Николаевна! Как-то так, нечаянно. Я не подумал.

— Ну хорошо, что хоть теперь признался. После уроков пойдешь к директору и попроси прощения.

После уроков Игорь пошел к директору и стал просить у него прощения. Игорь Александрович сказал:

— Государство уже израсходовало на ремонт школы много денег. Второй раз ремонтировать некому. Иди домой, пообедаешь и придешь.

После обеда Игорь пришел в школу, ему дали ведро с краской и кисточку, и он побелил стену так, что морячка не стало видно.

Мы думали, что Ольга Николаевна теперь уже не разрешит ему быть художником, но Ольга Николаевна сказала:

— Лучше быть художником в стенгазете, чем портить стены.

Тогда мы выбрали его в редколлегию художником, и все были рады, и я был рад, только мне-то, если сказать по правде, радоваться не следовало, и я расскажу почему. По шишкинскому примеру, я совсем перестал дома делать задачи и все норовил списывать их у ребят. Как в пословице говорится: «С кем поведешься, от того и наберешься».

«Зачем мне ломать голову над этими задачами? — думал я. — Все равно я их не понимаю. Лучше я спишу, и дело с концом. И быстрее, и дома никто не сердится, что я не справляюсь с задачами».

Мне всегда удавалось списать задачу у кого-нибудь из ребят, но наш председатель совета отряда, Толя Дежкин, упрекал меня.

— Ты ведь никогда не научишься делать задачи, если все время будешь списывать у других! — говорил он.

— А мне и не нужно, — отвечал я. — Я к арифметике неспособный. Авось как-нибудь и без арифметики проживу.

Конечно, списать домашнее задание было легко, а вот когда

вызовут в классе, то тут только одна надежда на подсказку. Еще спасибо, что хоть ребята подсказывали. Только Глеб Скамейкин с тех пор, как сказал, что будет бороться с подсказкой, все думал и думал и наконец придумал такую вещь: подговорил ребят, которые выпускали стенгазету, нарисовать на меня карикатуру. И вот в один прекрасный день в стенгазете на меня появилась карикатура с длинными ушами, то есть был нарисован я возле доски, вроде я решаю задачу, а уши у меня длинные-предлинные. Это, значит, для того, чтобы лучше слышать, что мне подсказывают. И еще какие-то стишки противные под этой карикатурой были подписаны:

Витя наш подсказку любит,
Витя в дружбе с ней живет,
Но подсказка Витю губит
И до двойки доведет.

Или что-то вроде этого, не помню точно. В общем, чепуха на постном масле. Я, конечно, страшно рассердился и сразу догадался, что это Игорь Грачев нарисовал, потому что пока его в стенгазете не было, то и никаких карикатур не было.

Я подошел к нему и говорю:

— Сними сейчас же эту карикатуру, а то худо будет!

Он говорит:

— Я не имею права снимать. Я ведь только художник. Мне сказали, я и нарисовал, а снимать не мое дело.

— Чье же это дело?

— Это дело редактора. Он у нас всем распоряжается.

Тогда я говорю Сереже Букатину:

— А, значит, это твоя работа! На себя небось не поместил карикатуры, а на меня поместил!

— Что же ты думаешь, я сам помещаю, на кого хочу? У нас редколлегия. Мы все вместе решаем. Глеб Скамейкин написал на тебя стихи и сказал, чтоб карикатуру нарисовали, потому что надо с подсказкой бороться. Мы на совете отряда решили, чтобы подсказки не было.

Тогда я бросился к Глебу Скамейкину.

— Снимай,— говорю,— сейчас же, а то из тебя получится бараний рог!

— Как это бараний рог? — не понял он.

— В бараний рог тебя согну и в порошок изотру!

— Подумаешь! — говорит Глебка.— Не очень-то тебя испугались.

— Ну, тогда я сам из газеты карикатуру вырву, если не испугались.

— Вырывать не имеешь права,— говорит Толя Дежкин.— Ведь это правда. Если б на тебя написали неправду, то и тогда

не имеешь права вырывать, а должен написать опровержение.
— А,— говорю,— опровержение? Сейчас будет опровержение.

Все ребята подходили к стенгазете, любовались на карикатуру и смеялись. Но я решил не оставлять этого дела так и сел писать опровержение. Только у меня ничего не вышло, потому что я не знал, как его написать. Тогда я пошел к нашему пионервожатому Володе, рассказал ему обо всем и стал спрашивать, как написать опровержение.

— Хорошо, я тебя научу,— сказал Володя.— Напиши, что ты исправишься и станешь учиться лучше, так что не нужна будет подсказка. Твою заметку поместят в стенгазете, а я скажу, чтобы карикатуру сняли.

Я так и сделал. Написал в газету заметку, в которой давал обещание начать учиться лучше и больше не надеяться на подсказку.

На другой день карикатуру сняли, а мою заметку напечатали на самом видном месте. Я был очень рад и даже на самом деле собирался начать учиться лучше, но все почему-то откладывал, а через несколько дней у нас была письменная работа по арифметике и я получил двойку. Конечно, не я один получил двойку. У Саши Медведкина тоже была двойка, так что мы вдвоем отличились. Ольга Николаевна записала нам эти двойки в дневники и сказала, чтоб в дневниках была подпись родителей.

Печальный возвращался я в этот день домой и все думал, как избавиться от двойки или как сказать маме, чтоб она не очень сердилась.

— Ты сделай так, как делал наш Митя Круглов,— сказал мне по дороге Шишкин.

— Кто это Митя Круглов?

— А это был у нас такой ученик, когда я учился в Нальчике.

— Как же он делал?

— А он так: придет домой, получив двойку, и ничего не говорит. Сидит с унылым видом и молчит. Час молчит, два молчит и никуда гулять не идет. Мать спрашивает:

«Что это с тобой сегодня?»

«Ничего».

«Чего же ты такой скучный сидишь?»

«Так просто».

«Небось натворил в школе чего-нибудь?»

«Ничего я не натворил».

«Подрался с кем-нибудь?»

«Нет».

«Стекло в школе расшиб?»

«Нет».

«Странно!» — говорит мать.

За обедом сидит и ничего не ест.

«Почему ты ничего не ешь?»

«Не хочется».

«Аппетита нет?»

«Нет».

«Ну пойди погуляй, аппетит и появится».

«Не хочется».

«Чего же тебе хочется?»

«Ничего».

«Может быть, ты больной?»

«Нет».

Мать потрогает ему лоб, поставит градусник. Потом говорит:

«Температура нормальная. Что же с тобой, наконец? С ума ты меня сведешь!»

«Я двойку по арифметике получил».

«Тьфу! — говорит мать. — Так ты из-за двойки всю эту комедию выдумал?»

«Ну да».

«Ты бы лучше сел да учился, вместо того чтоб комедию играть. Двойки и не было бы», — ответит мать.

И больше ничего ему не скажет. А Круглову только это и надо.

— Ну хорошо, — говорю я. — Один раз он так сделает, а в следующий раз мать ведь догадается, что он получил двойку.

— А в следующий раз он что-нибудь другое придумает. Например, приходит и говорит матери:

«Знаешь, у нас Петров сегодня получил двойку».

Вот мать и начнет этого Петрова пробирать:

«И такой он и сякой. Родители его стараются, чтоб из него человек вышел, а он не учится, двойки получает...» И так далее. Как только мать умолкнет, он говорит:

«И Иванов у нас сегодня получил двойку».

Вот мать и начнет отделывать Иванова:

«Такой-сякой, не хочет учиться, государство на него даром деньги тратит!...»

А Круглов подождет, пока мать все выскажет, и снова говорит:

«Гаврилову сегодня тоже двойку поставили».

Вот мать и начнет отчитывать Гаврилова, только бранит его уже меньше. Круглов, как только увидит, что мать уже устала браниться, возьмет и скажет:

«У нас сегодня просто день такой несчастливый. Мне тоже двойку поставили».

Ну, мать ему только и скажет:

«Болван!»

И на этом конец.

— Видать, этот Круглов у вас был очень умный, — сказал я.

— Да,— говорит Шишкин,— очень умный. Он часто получал двойки и каждый раз выдумывал разные истории, чтоб мать не бранила слишком строго.

Я вернулся домой и решил сделать так, как этот Митя Круглов: сел сразу на стул, свесил голову и скорчил унылую-преунылую физиономию. Мама это сразу заметила и спрашивает:

— Что с тобой? Двойку небось получил?

— Получил,— говорю.

Вот тут-то она и начала меня пробирать.

Но об этом рассказывать неинтересно.

На следующий день Шишкин тоже получил двойку, по русскому языку, и была ему за это дома головомойка, а еще через день на нас обоих опять появилась в газете карикатура. Вроде как будто мы с Шишкиным идем по улице, а за нами следом бегут двойки на ножках.

Я сразу разозлился и говорю Сереже Букатину:

— Что это за безобразие! Когда это наконец прекратится?

— Чего ты кипятишься? — спрашивает Сережа.— Это ведь правда, что вы получили двойки.

— Будто мы одни получили! Саша Медведкин тоже получил двойку. А где он у вас?

— Этого я не знаю. Мы сказали Игорю, чтоб он всех троих нарисовал, а он нарисовал почему-то двоих.

— Я и хотел нарисовать троих,— сказал Игорь,— да все трое у меня не поместились. Вот я и нарисовал только двоих. В следующий раз третьего нарисую.

— Все равно,— говорю я.— Я этого дела так не оставлю. Я напишу опровержение!..

Говорю Шишкину:

— Давайте опровержение писать.

— А как это?

— Очень просто: нужно написать в стенгазету обещание, что мы будем учиться лучше. Меня так в прошлый раз научил Володя.

— Ну ладно,— согласился Шишкин.— Ты пиши, а я потом у тебя спишу.

Я сел и написал обещание учиться лучше и никогда больше не получать двоек. Шишкин целиком списал у меня это обещание и еще от себя прибавил, что будет учиться не ниже чем на четверку.

— Это,— говорит,— чтоб внушительней было.

Мы отдали обе заметки Сереже Букатину, и я сказал:

— Вот, можешь снимать карикатуру, а заметки наши наклейте на самом видном месте.

Он сказал:

— Хорошо.

На другой день, когда мы пришли в школу, то увидели, что карикатура висит на месте, а наших обещаний нет. Я тут же бросился к Сереже. Он говорит:

— Мы твое обещание обсудили на редколлегии и решили пока не помещать в газете, потому что ты уже раз писал и давал обещание учиться лучше, а сам не учишься, даже получил двойку.

— Все равно,— говорю я.— Не хотите помещать заметку — не надо, а карикатуру вы обязаны снять.

— Ничего,— говорит,— мы не обязаны. Если ты воображаешь, что можно каждый раз давать обещания и не выполнять их, то ошибаешься.

Тут Шишкин не вытерпел:

— Я ведь еще ни разу не давал обещания. Почему вы мою заметку не поместили?

— Твою заметку мы поместим в следующем номере.

— А пока выйдет следующий номер, я так и буду висеть?

— Будешь висеть.

— Ладно,— говорит Шишкин.

Но я решил не успокаиваться на достигнутом. На следующей перемене я пошел к Володе и рассказал ему обо всем.

Он сказал:

— Я поговорю с ребятами, чтоб они поскорее выпустили новую стенгазету и поместили обе ваши статьи. Скоро у нас будет собрание об успеваемости, и ваши статьи как раз ко времени выйдут.

— Будто нельзя сейчас карикатуру вырвать, а на ее место наклеить заметки? — спрашиваю я.

— Это не полагается,— ответил Володя.

— Почему же в прошлый раз так сделали?

— Ну, в прошлый раз думали, что ты исправишься, и сделали в виде исключения. Но нельзя же каждый раз портить стенную газету. Ведь все газеты у нас сохраняются. По ним потом можно будет узнать, как работал класс, как учились ученики. Может быть, кто-нибудь из учеников, когда вырастет, станет известным мастером, знаменитым художником, летчиком или ученым. Можно будет просмотреть стенгазеты и узнать, как он учился.

«Вот так штука! — подумал я.— А вдруг, когда я вырасту и сделаюсь знаменитым путешественником или летчиком (я уже давно решил стать знаменитым летчиком или путешественником), вдруг тогда кто-нибудь увидит эту старую газету и скажет: «Братцы, да ведь он в школе получал двойки!»

От этой мысли настроение у меня испортилось на целый час, и я не стал больше спорить с Володиной. Только потом я понемногу успокоился и решил, что, может быть, пока я вырасту, газета куда-нибудь затеряется на мое счастье, и это спасет меня от позора.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Карикатура наша провисела в газете целую неделю, и только за день до общего собрания вышла новая стенгазета, в которой уже карикатуры не было и появились обе наши заметки: моя и шишкинская. Были там, конечно, и другие заметки, только я сейчас уже не помню про что.

Володя сказал, чтоб мы все подготовились к общему собранию и обсудили вопрос об успеваемости каждого ученика. На большой перемене наш звеньевой Юра Касаткин собрал нас, и мы стали говорить о нашей успеваемости. Говорить тут долго было не о чем. Все сказали, чтоб мы с Шишкиным свои двойки исправили в самое короткое время.

Ну, мы, конечно, согласились. Что ж, разве нам самим интересно с двойками ходить?

На другой день у нас было общее собрание класса.

Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости. Она рассказала, кто как учится в классе, кому на что надо обратить внимание. Тут не только двоечникам досталось, но даже и троечникам, потому что тот, кто учится на тройку, легко может скатиться к двойке.

Потом Ольга Николаевна сказала, что дисциплина у нас еще плохая — в классе бывает шумно, ребята подсказывают друг другу.

Мы стали высказываться. То есть это только я так говорю — «мы», на самом деле я не высказывался, потому что мне с двойкой нечего было лезть вперед, а надо было сидеть в тени.

Первым выступил Глеб Скамейкин. Он сказал, что во всем виновата подсказка. Это у него вроде болезнь такая — «подсказка». Он сказал, что если б никто не подсказывал, то и дисциплина была бы лучше и никто не надеялся бы на подсказку, а сам бы взялся за ум и учился бы лучше.

— Теперь я нарочно буду подсказывать неправильно, чтоб никто не надеялся на подсказку, — сказал Глеб Скамейкин.

— Это не по-товарищески, — сказал Вася Ерохин.

— А вообще подсказывать по-товарищески?

— Тоже не по-товарищески. Товарищу надо помочь, если он не понимает, а от подсказки вред.

— Так уж сколько говорилось об этом! Все равно подсказывают.

— Ну, надо выводить на чистую воду тех, кто подсказывает.

— Как же их выводить?

— Надо про них в стенгазету писать.

— Правильно! — сказал Глеб. — Мы начнем кампанию в стенгазете против подсказки.

Наш звеньевой Юра Касаткин сказал, что все наше звено решило учиться совсем без двоек, а ребята из первого и второго звена сказали, что обещают учиться только на пятерки и четверки.

Ольга Николаевна стала объяснять нам, что, для того чтобы успешно учиться, надо правильно распределять свой день. Надо пораньше ложиться спать и пораньше вставать. Утром делать зарядку, почаще бывать на свежем воздухе. Уроки нужно делать не сейчас же после школы, а сначала часа полтора-два отдохнуть. (Вот как раз то, что я говорил Лике.) Уроки обязательно делать днем. Поздно вечером заниматься вредно, так как мозг к этому времени уже устает и занятия не будут успешными. Сначала надо делать уроки, которые потрудней, а потом те, что полегче.

Слава Ведерников сказал:

— Ольга Николаевна, я понимаю, что после школы нужно отдохнуть часа два, а вот как отдыхать? Я не умею так просто сидеть и отдыхать. От такого отдыха на меня нападает тоска.

— Отдыхать — это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки. Можно, например, пойти погулять, поиграть, чем-нибудь заняться.

— А в футбол можно играть? — спросил я.

— Очень хороший отдых — игра в футбол, — сказала Ольга Николаевна, — только не надо, конечно, играть весь день. Если поиграешь часок, то очень хорошо отдохнешь и учиться будешь лучше.

— А вот скоро начнется дождливая погода, — сказал Шишкин, — футбольное поле от дождя раскиснет. Где мы тогда будем играть?

— Ничего, ребята, — ответил Володя. — Скоро мы оборудуем спортивный зал в школе, можно будет даже зимой играть в баскетбол.

— Баскетбол! — воскликнул Шишкин. — Вот здорово! Чур, я буду капитаном команды! Я уже был раз капитаном баскетбольной команды, честное слово!

— Ты вот сначала подтянись по русскому языку, — сказал Володя.

— А я что? Я ничего... Я подтянусь, — сказал Шишкин. На этом общее собрание закончилось.

— Эх, и оплошали же вы, ребята! — сказал Володя, когда все разошлись и осталось только наше звено.

— А что? — спрашиваем мы.

— Как что! Взялись учиться без двоек, а все остальные звенья обещают учиться только на четверки и пятерки.

— А чем мы хуже других? — говорит Леня Астафьев. — Мы тоже можем на пятерки и четверки.

— Подумаешь! — говорит Ваня Пахомов. — Ничем они не лучше нас.

— Ребята, давайте и мы возьмемся,— говорит Вася Ерохин.— Вот даю честное слово, что буду учиться не ниже, чем на четверку. Мы не хуже других.

Тут и меня подхватило.

— Верно! — говорю.— Я тоже берусь! До сих пор я не брался как следует, а теперь возьмусь, вот увидите. Мне, знаете, стоит только начать.

— Стоит только начать, а потом будешь плакать да кончать,— сказал Шишкин.

— А ты что, не хочешь? — спросил Володя.

— Я не берусь на четверки,— сказал Шишкин.— То есть я берусь по всем предметам, а по русскому только на тройку.

— Ты что еще выдумал! — говорит Юра.— Весь класс берется, а он не берется! Подумаешь, какой умник нашелся!

— Как же я могу браться? У меня по русскому никогда лучшей отметки, чем тройка, не было. Тройка — и то хорошо.

— Послушай, Шишкин, почему ты отказываешься? — сказал Володя.— Ты ведь уже дал обещание учиться по всем предметам не ниже, чем на четверку.

— Когда я дал обещание?

— А вот, это твоя заметка в стенгазете? — спросил Володя и показал газету, где были напечатаны наши обещания.

— Верно! — говорит Шишкин.— А я и забыл уже.

— Ну, так как же теперь, берешься?

— Что ж делать, ладно, берусь,— согласился Шишкин.

— Ура! — закричали ребята.— Молодец, Шишкин! Не подвел нас! Теперь все вместе будем бороться за честь своего класса.

Шишкин все-таки был недоволен и по дороге домой даже не хотел разговаривать со мной: дулся на меня за то, что я подговорил его написать в газету заметку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не знаю, как Шишкин, а я решил сразу взяться за дело. Самое главное, подумал я, это режим. Спать буду ложиться пораньше, часов в десять, как Ольга Николаевна говорила. Вставать тоже буду пораньше и повторять перед школой уроки. После школы буду играть часа полтора в футбол, а потом на свежую голову буду делать уроки. После уроков буду заниматься чем захочется: или с ребятами играть, или книжки читать, до тех пор пока не придет время ложиться спать.

Так, значит, я подумал и пошел играть в футбол, перед тем как делать уроки. Я твердо решил играть не больше чем полтора часа, от силы — два, но, как только я попал на футбольное поле,

у меня все из головы вылетело, и я очнулся, когда уже совсем наступил вечер. Уроки я опять стал делать поздно, когда голова уже плохо соображала, и дал сам себе обещание, что на следующий день не буду так долго играть. Но на следующий день повторилась та же история. Пока мы играли, я все время думал: «Вот забьем еще один гол, и я пойду домой», но почему-то так получилось, что, когда мы забивали гол, я решал, что пойду домой, когда мы еще один гол забьем. Так и тянулось до самого вечера. Тогда я сказал сам себе: «Стоп! У меня что-то не получается!» И стал думать, почему же у меня так получается. Вот я думал, думал, и наконец мне стало ясно, что у меня совсем нет воли. То есть у меня воля есть, только она не сильная, а совсем-совсем слабенькая воля. Если мне надо что-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя это делать, а если мне не надо чего-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя этого не делать. Вот, например, если я начну читать какую-нибудь интересную книжку, то читаю и читаю и никак не могу оторваться. Мне, например, надо делать уроки или пора уже ложиться спать, а я все читаю. Мама говорит, чтоб я шел спать, папа говорит, что пора уже спать, а я не слушаюсь, пока нарочно не потушат свет, чтоб мне нельзя уже было больше читать. И вот то же самое с этим футболом. Не хватает у меня силы воли кончить вовремя игру, да и только!

Когда я все это обдумал, то даже сам удивился. Я воображал, будто я человек с очень сильной волей и твердым характером, а оказалось, что я человек безвольный, слабохарактерный, вроде Шишкина. Я решил, что мне надо развивать сильную волю. Что нужно делать для этого? Для этого я буду делать не то, что хочется, а то, чего вовсе не хочется. Не хочется утром делать зарядку — а я буду делать. Хочется идти играть в футбол — а я не пойду. Хочется почитать интересную книжку, а я не стану. Начать решил сразу, с этого же дня. В этот день мама испекла к чаю мое самое любимое пирожное. Мне достался самый вкусный кусок — из серединки. Но я решил, что раз мне хочется съесть это пирожное, то я не буду его есть. Чай я попил просто с хлебом, а пирожное так и осталось.

— Почему же ты не стал есть пирожное? — спросила мама.

— Пирожное будет лежать здесь до послезавтрашнего вечера — ровно два дня, — сказал я. — Послезавтра вечером я его съем.

— Что это ты, зарок дал? — говорит мама.

— Да, — говорю, — зарок. Если не съем раньше назначенного срока это пирожное, значит, у меня сильная воля.

— А если съешь? — спрашивает Лика.

— Ну, если съем, тогда, значит, слабая. Будто сама не понимаешь!

— Мне кажется, ты не выдержишь, — сказала Лика.

— А вот посмотрим.

Наутро я встал — мне очень не хотелось делать зарядку, но я все-таки сделал, потом пошел под кран обливаться холодной водой, потому что обливаться мне тоже не хотелось. Потом позавтракал и пошел в школу, а пирожное так и осталось лежать на тарелочке. Когда я пришел, оно лежало по-прежнему, только мама накрыла его стеклянной крышкой от сахарницы, чтоб оно не засохло до завтрашнего дня. Я открыл его и посмотрел, но оно ничуть даже еще не начало сохнуть. Мне очень захотелось тут же его прикончить, но я поборол в себе это желание.

В этот день я решил в футбол не играть, а просто отдохнуть часика полтора и тогда уже взяться за уроки. И вот после обеда я стал отдыхать. Но как отдыхать? Просто так отдыхать ведь не станешь. Отдых — это игра или какое-нибудь интересное занятие. «Чем же заняться? — думаю. — Во что поиграть?» Потом думаю: «Пойду-ка поиграю с ребятами в футбол».

Не успел я это подумать, как ноги сами вынесли меня на улицу, а пирожное так и осталось лежать на тарелке.

Иду я по улице и вдруг думаю: «Стоп! Что же это я делаю? Раз мне хочется играть в футбол, то не нужно. Разве так воспитывают сильную волю?» Я тут же хотел повернуть назад, но подумал: «Пойду и посмотрю, как ребята играют, а сам играть не буду». Пришел, смотрю, а там уже игра в самом разгаре. Шишкин увидел меня, кричит:

— Где же ты ходишь? Нам уже десять голов насажали! Скорей выручай!

И тут уж я даже сам не заметил, как ввязался в игру.

Домой снова вернулся поздно и думаю:

«Эх, безвольный я человек! С утра так хорошо начал, а потом из-за этого футбола все испортил!»

Смотрю — пирожное лежит на тарелке. Я взял его и съел.

«Все равно, — думаю, — у меня никакой силы воли нет».

Лика пришла, смотрит — тарелка пустая.

— Не выдержал? — спрашивает.

— Чего не «выдержал»?

— Съел пирожное?

— А тебе что? Съел, ну и съел. Не твое ведь я пирожное съел!

— Чего же ты сердишься? Я ничего не говорю. Ты и то слишком долго терпел. У тебя большая сила воли. А вот у меня никакой силы воли нет.

— Почему же это у тебя нет?

— Сама не знаю. Если бы ты не съел до завтра это пирожное, то я сама бы, наверно, его съела.

— Значит, ты считаешь, что у меня есть сила воли?

— Конечно, есть.

Я немножко утешился и решил с завтрашнего дня снова при-

няться за воспитание воли, несмотря на сегодняшнюю неудачу. Не знаю, какой бы получился из этого результат, если бы погода была хорошая, но как раз в этот день с утра зарядил дождь, футбольное поле, как и ожидал Шишкин, раскисло и играть было нельзя. Раз играть было нельзя, то меня и не тянуло. Удивительно, как человек устроен! Вот бывает: сидишь дома, а ребята в это время в футбол играют; ты, значит, сидишь и думаешь: «Бедный я, бедный, несчастный-разнесчастный! Все ребята играют, а я дома сижу!» А вот если сидишь дома и знаешь, что все остальные ребята тоже сидят по домам и никто не играет, то ничего такого не думаешь.

Так и на этот раз. За окном моросил мелкий осенний дождь, а я сидел себе дома и спокойно занимался. И очень успешно у меня занятия шли, пока я не дошел до арифметики. Но тут я решил, что не стоит мне самому особенно ломать голову, а лучше просто пойти к кому-нибудь из ребят, чтоб мне помогли арифметику сделать.

Я быстро собрался и пошел к Алику Сорокину. Он в нашем звене лучше всех по арифметике учится. У него всегда по арифметике пять.

Прихожу я к нему, а он сидит за столом и сам с собой играет в шахматы.

— Вот хорошо, что ты пришел! — говорит. — Сейчас мы с тобой сыграем в шахматы.

— Да я не за тем пришел, — говорю я. — Вот помоги мне лучше арифметику сделать.

— Ага, хорошо, сейчас. Только знаешь что? Арифметику мы успеем сделать. Я тебе все объясню в два счета. Давай сначала сыграем в шахматы. Тебе все равно надо научиться играть в шахматы, потому что шахматы развивают способности к математике.

— А ты не врешь? — говорю.

— Нет, честное слово! Ты думаешь, почему я хорошо по арифметике учусь? Потому что играю в шахматы.

— Ну, если так, тогда давай в шахматы, — согласился я.

Расставили мы фигуры и стали играть. Только я тут же увидел, что играть с ним совсем невозможно. Он не мог спокойно относиться к игре, и, если я делал неверный ход, он почему-то сердился и все время кричал на меня:

— Ну кто так играет? Куда ты полез? Разве так ходят? Тьфу! Что это за ход?

— Почему же это не ход? — спрашиваю я.

— Да потому, что я съем твою пешку.

— Ну и ешь, — говорю, — на здоровье, только не кричи, пожалуйста!

— Как же на тебя не кричать, когда ты так глупо ходишь!

— Тебе же, — говорю, — лучше: скорее выиграешь.

— Мне,— говорит,— интересно у умного человека выиграть, а не у такого игрока, как ты.

— Значит, по-твоему, я не умный?

— Да, не очень.

Так он оскорблял меня на каждом шагу, пока не выиграл партию, и говорит:

— Давай еще.

А я и сам уже раззадорился и очень хотел обыграть его, чтобы он не задавался.

— Давай,— говорю,— только так, чтобы без крика, а если будешь кричать на меня, брошу все и уйду.

Стали мы снова играть. На этот раз он не кричал, но и молча играть не умел, видно, и поэтому все время болтал, как попугай, и строил насмешки:

— Ага! Так вот как вы пошли! Ага! Угу! Вот какие вы теперь умные стали! Скажите пожалуйста!

Просто противно было слушать.

Я проиграл и эту партию и еще не помню сколько. Потом мы стали заниматься по арифметике, но и тут проявился его скверный характер. Ничего-то он спокойно не мог объяснить:

— Да ведь это просто, ну как ты не понимаешь! Да это ведь малые ребята понимают! Что ж тут непонятного? Эх, ты! Вычитаемого от уменьшаемого не может отличить! Мы это еще в третьем классе проходили. Ты что, с луны, что ли, свалился?

— Если тебе трудно объяснить просто, то я к кому-нибудь другому могу пойти,— говорю я.

— Да я ведь объясняю просто, а ты не понимаешь!

— Где же,— говорю,— просто? Объясняй, что надо. Какое тебе дело, с луны я свалился или не с луны!

— Ну ладно, ты не сердись, я буду просто.

Но просто у него никак не выходило. Пробился я с ним до вечера и все-таки мало что понял. Но обиднее всего было то, что я ни разу не обыграл его в шахматы. Если б он не так задавался, то мне и обидно бы не было. Теперь мне обязательно хотелось обыграть его, и с тех пор я каждый день ходил к нему заниматься по арифметике, и мы по целым часам сражались в шахматы.

Постепенно я подучился играть, и мне иногда удавалось выиграть у него партию. Это, правда, случалось редко, но доставляло мне большое удовольствие. Во-первых, когда он начинал проигрывать, то переставал болтать, как попугай; во-вторых, страшно нервничал: то вскочит, то сядет, то за голову схватится.

Просто смешно было смотреть. Я, например, не стану так нервничать, если буду проигрывать, но и не стану радоваться, если проигрывает товарищ. А вот Алик наоборот: он не может сдерживать свою радость, когда выигрывает, а когда проигрывает, то готов на себе волосы рвать от досады.



Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.

Для того чтобы научиться играть как следует, я играл в шахматы дома с Ликой, а когда дома был папа, то даже и с папой. Однажды папа сказал, что у него когда-то была книжка, учебник шахматной игры, и если я хочу научиться играть хорошо, то мне следует почитать эту книжку. Я сейчас же принялся искать этот учебник и нашел его в корзинке, где лежали разные старые книжки. Сначала я думал, что ничего не пойму в этой книге, но когда начал читать, то увидел, что она написана очень просто и понятно. В книжке говорилось, что в шахматной игре, как на войне, нужно стараться поскорей захватить инициативу в свои руки, поскорей выдвинуть свои фигуры вперед, ворваться в расположение противника и атаковать его короля. В книжке рассказывалось, как нужно начинать шахматные партии, как подготавливать нападение, как защищаться, и другие разные полезные вещи.

Я читал эту книжку два дня, а когда пришел на третий день к Алику, то стал выигрывать у него партию за партией. Алик просто недоумевал и не понимал, в чем дело. Теперь положение переменялось. Через несколько дней я играл уже так, что ему даже случайно не удавалось меня обыграть.

Из-за этих шахмат на арифметику у нас оставалось мало времени, и Алик объяснял мне все наспех, как говорится — на скорую ручку, комком да в кучку. В шахматы играть я научился, а вот не заметил, чтоб это улучшило мои способности к арифметике.

С арифметикой у меня по-прежнему обстояло плохо, и я решил бросить шахматную игру. К тому же шахматы мне уже надоели.

С Аликом неинтересно было играть, потому что он все время проигрывал. Я сказал, что больше не буду играть в шахматы.

— Как! — сказал Алик. — Ты решил бросить шахматы? Да у тебя ведь замечательные шахматные способности! Ты станешь знаменитым шахматистом, если будешь продолжать играть!

— Никаких у меня способностей нет! — говорю я. — Ведь я вовсе не своим умом обыгрывал тебя. Всему этому я научился из книжки.

— Из какой книжки?

— Есть такая книжка — учебник шахматной игры. Если хочешь, я тебе дам почитать эту книжку, и ты станешь играть не хуже меня.

Алику захотелось поскорей прочитать эту книжку. Мы пошли с ним ко мне. Я дал ему учебник шахматной игры, и он сейчас же убежал домой, чтоб начать читать.

А я решил не играть больше в шахматы до тех пор, пока не подтянусь по арифметике.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наш вожатый Володя затеял устроить в школе вечер самодеятельности. Некоторые ребята решили выучить наизусть стихи и прочитывать их на сцене. Другие решили показать на сцене физкультурные упражнения и сделать пирамиду. Гриша Васильев сказал, что будет играть на балалайке, а Павлик Козловский будет танцевать гопак. Но самую интересную вещь придумали Ваня Пахомов и Игорь Грачев. Они решили поставить отрывок «Бой Руслана с головой» из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Этот отрывок был напечатан в нашей книге для чтения «Родная речь» для четвертого класса. Мы как раз недавно его читали. Игорь Грачев сказал, что голову великана он вырежет из фанеры и разрисует ее пострашней, а сам, спрятавшись позади нее, будет говорить что надо. А Ваня сыграет Руслана. Он делает себе деревянное копье и будет драться с головой. Нам с Шишкиным тоже захотелось участвовать в самодеятельности, но Ольга Николаевна не разрешила.

— Вам сначала надо исправить свои отметки, — сказала она, — а потом можно будет и на сцене играть.

И вот все ребята принялись разучивать свои роли и репетировать на сцене, а мы с Шишкиным толклись в зале и с завистью смотрели на всех. Игорь вырезал из целого фанерного листа голову великана. Нижнюю челюсть он сделал из фанеры отдельно и прикрепил гвоздем так, что голова могла открывать рот. Потом он разрисовал голову красками и сделал ей вытаращенные глаза. Когда он прятался за нею и шевелил фанерной челюстью, а сам в это время рычал и разговаривал, то казалось, что голова сама рычит и разговаривает. А как интересно было смотреть, когда Руслан, то есть Ваня, насккивал с копьем в руках на голову, а голова дула на него, и его как будто бы ветром относило в сторону! Однажды Шишкину в голову пришла очень хорошая мысль.

— Я, — говорит, — вчера читал «Руслана и Людмилу», там написано, что Руслан ездил на коне, а у нас он ходит по сцене пешком.

— Где же ты возьмешь коня? — говорю я. — Даже если бы и был конь, все равно его на сцену не втащишь.

— У меня есть замечательная идея, — говорит он, — мы с тобой будем представлять коня.

— Как же мы будем представлять коня?

— У меня есть журнал «Затейник», там написано, как двое ребят могут изобразить на сцене коня. Для этого делается из материи такая вроде лошадиная шкура. Впереди делается лошадиная голова, сзади — хвост, а внизу — четыре ноги. Я, понимаешь, залезаю в эту шкуру спереди и просовываю свою голову в лошадиную голову, а ты залезаешь в шкуру сзади, нагибаешься и дер-

жишься руками за мой пояс, так что твоя спина получается вроде лошадиная спина. У лошади четыре ноги, и у нас с тобой тоже четыре ноги. Куда я иду, туда и ты, вот и получается лошадь.

— Как же мы сошьем такую шкуру? — говорю я. — Если бы мы были девчонки, то, может быть, сумели бы сшить. Девчонки всегда рукодельничать умеют.

— А ты попроси свою сестру Лику, она нам поможет.

Мы рассказали обо всем Лике и попросили помочь.

— Ладно, — говорит Лика, — я вам помогу, но для этого ведь надо достать материи.

Мы долго думали, где бы достать материи, а потом Шишкин нашел у себя на чердаке какой-то старый, никому не нужный матрац. Мы вытряхнули из матраца всю начинку и показали его Лике. Лика сказала, что из него, пожалуй, что-нибудь выйдет. Она распоролa матрац, так что получилось два больших куска материи. На одном куске она велела нам нарисовать большую лошадь. Мы взяли кусок мела и нарисовали на материи лошадь с головой и ногами — все как полагается. После этого Лика сложила оба куска и вырезала ножницами, так что сразу получилось две лошадиные выкройки из материи. Эти две выкройки она стала сшивать по спине и по голове. Мы с Костей тоже вооружились иголками и принялись помогать ей шить. Особенно много было возни с ногами, потому что каждую ногу нужно было сшить отдельно трубочкой. Мы все пальцы искололи себе иголками. Наконец сшили все. На другой день мы достали мочалы и сена и стали продолжать работу. В лошадиную голову мы напихали сена, чтоб она лучше держалась, а из мочалы сделали хвост и гриву.

Когда все это было сделано, мы с Костей залезли в лошадиную шкуру через дырку, которая была оставлена на животе, и попробовали ходить. Лика засмеялась и сказала, что лошадь получилась хорошая, только надо кое-где подложить ваты, а то у нее получились очень тощие бока, и, кроме того, ее надо покрасить, так как видно, что она сделана из материи. Тогда мы вылезли из этой лошадиной шкуры. Лика принялась подшивать куда надо вату, а Шишкин принес из дому мастику, которой натирают полы, и мы покрасили шкуру этой мастикой. Получился настоящий гнедой лошадиный цвет. Потом мы взяли краски и нарисовали на голове глаза, ноздри, рот. На ногах нарисовали копыта. Еще Лика придумала пришить к лошадиной голове уши, так как без ушей голова получалась не очень красивая. После этого мы снова залезли в лошадиную шкуру.

— И-го-го! — заржал по-лошадиному Костя.

Лика захлопала в ладоши и чуть не захлебнулась от смеха.

— Прямо настоящая лошадь получилась! — кричала она.

Мы попробовали ходить по комнате и брыкаться ногами. Наверно, это очень смешно получалось, потому что Лика все

время смеялась. Потом пришла мама и тоже очень смеялась, глядя на нашу лошадь. Тут вернулся с работы папа, и он тоже смеялся.

— Для чего это вы сделали? — спросил он нас.

Мы рассказали, что в школе у нас будет спектакль, и мы с Костей будем представлять коня.

— Это очень хорошо, что у вас в школе придумывают для ребят такие развлечения. Ребята приучаются заниматься полезным делом. Вы скажите, когда будет представление, я тоже приду, — сказал папа.

Потом мы пошли к Шишкину, чтобы показать лошадь его маме и тете.

— Ну вот, — сказал я, — папа придет, а вдруг нам не позволят играть.

— Ты молчи, — говорит Шишкин. — Никому ничего говорить не надо. Мы придем заранее и спрячемся за сценой, а Ваню Пахомова предупредим, чтоб он, перед тем как выходить на сцену, сел на лошадь.

— Правильно! — говорю я. — Так и сделаем.

С тех пор мы с нетерпением ждали представления и даже заниматься не могли из-за этого как следует. Каждый день мы пробовали надевать лошадиную шкуру и ходить в ней для тренировки. Лика то и дело подшивала под шкуру куски ваты, так что лошадь в конце концов сделалась гладенькая, упитанная. Для того чтоб лошадиные уши не висели, как лопухи, Костя придумал вставить внутрь пружинки, и уши стали торчать кверху, как полагается. Еще Костя придумал привязать к ушам ниточки. Он незаметно дергал эти ниточки, и лошадь шевелила ушами, как настоящая.

Наконец наступил долгожданный день представления.

Мы незаметно принесли лошадиную шкуру и спрятали позади сцены.

Потом мы увидели Ваню Пахомова. Костя отозвал его в сторону и говорит:

— Слушай, Ваня, перед тем как выходить на сцену и драться с головой, ты зайди за кулисы. Там будет стоять приготовленная для тебя лошадь. Ты на эту лошадь садись и выезжай на сцену.

— А что это за лошадь? — спрашивает Ваня.

— Это не твоя забота. Лошадь хорошая. Садись на нее, и она повезет тебя куда надо.

— Не знаю, — говорит Ваня. — Мы ведь без лошади репетировали.

— Чудак! — говорит Шишкин. — С лошадью ведь гораздо лучше. Даже у Пушкина написано, что Руслан ездил на лошади. Как там написано: «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу!» На чем же он едет, если не на лошади. И в «Родной речи» у нас есть картинка, там Руслан нарисован на лошади.

— Ну ладно,— говорит Ваня.— Мне и самому неловко ходить по сцене пешком. Витязь — и вдруг без лошади.

— Только ты никому не говори, а то весь эффект пропадет,— говорит Костя.

— Хорошо.

И вот, когда публика начала собираться, мы незаметно пробрались за кулисы, приготовили лошадиную шкуру и стали ждать. Ребята суетились, бегали по сцене, проверяли декорации. Наконец раздался последний звонок и начались выступления ребят. Нам все хорошо было видно и слышно: и как читали стихи, и как делали физкультурные упражнения. Мне очень понравились физкультурные упражнения. Ребята делали их под музыку, четко, ритмично, все, как один. Недаром тренировались две недели подряд. Потом занавес закрылся, на сцене быстро установили фанерную голову с открывающимся ртом и Игорь Грачев спрятался за нею.

Тут появился Ваня. На голове у него был блестящий шлем, сделанный из картона, в руках деревянное копье, покрашенное серебряной краской. Ваня подошел к нам и говорит:

— Ну, где же ваша лошадь?

— Сейчас,— говорим мы.

Быстро влезли в лошадиную шкуру — и перед ним появился конь.

— Садись,— говорю я.

Ваня залез мне на спину и уселся. Тут я почувствовал, что коням несладко живется на свете. Под тяжестью Вани я согнулся в три погибели и крепче вцепился в пояс Шишкина, чтоб была опора. Тут как раз и занавес открылся.

— Но! Поехали! — скомандовал Ваня, то есть Руслан.

Мы с Шишкиным затопали прямо на сцену. Ребята встретили нас дружным смехом. Видно, наш конь понравился. Мы поехали прямо к голове.

— Тпру! Тпру! — зашипел Руслан.— Куда вас понесло? Чуть на голову не наехали! Осади назад!

Мы попятились назад.

В зале раздался громкий смех.

— Да не пятьтесь назад! Вот чудаки! — ругал нас Ваня.— Повернитесь и выезжайте на середину сцены. Мне монолог надо читать.

Мы повернулись и выехали на середину сцены. Тут Ваня заговорил замогильным голосом:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?

Он долго читал эти стихи, завывая на все лады, а Шишкин в это время дергал за ниточки, и конь наш шевелил ушами, что

очень веселило зрителей. Наконец Ваня кончил свой монолог и прошептал:

— Ну, теперь к голове подъезжайте.

Мы повернулись и поехали к голове. Не доезжая до нее шагов пяти, Шишкин начал хрипеть, упираться ногами и становиться на дыбы. Я тоже стал брыкаться, чтобы показать, будто конь испугался головы великана. Тут Руслан стал пришпоривать коня, то есть, попросту говоря, бить меня каблуками по бокам. Тогда мы подъехали к голове, и Руслан принялся щекотать ей ноздри копьём. Тут голова как раскроет рот да как чихнет! Мы с Шишкиным отскочили, завертелись по всей сцене, будто нас отнесло ветром. Руслан даже чуть не свалился с коня. Шишкин наступил мне на ногу. От боли я запрыгал на одной ножке и стал хромать. Ваня снова стал пришпоривать меня. Мы опять поскакали к голове, а она принялась на нас дуть, и нас снова понесло в сторону. Так мы налетали на нее несколько раз, наконец я взмолился.

— Кончайте,— говорю,— скорей, а то я не выдержу. У меня и так уже нога болит!

Тогда мы подскочили к голове в последний раз, и Ваня треснул ее копьём с такой силой, что с нее посыпалась краска. Голова упала, представление окончилось, и конь, хромя, ушел со сцены. Ребята дружно захлопали в ладоши. Ваня соскочил с лошади и побежал кланяться публике, как настоящий актер.

Шишкин говорит:

— Мы ведь тоже представляли на сцене. Надо и нам поклониться публике.

И тут все увидели, что на сцену выбежал конь и стал кланяться, то есть просто кивать головой. Всем это очень понравилось, в зале поднялся шум. Ребята принялись еще громче хлопать в ладоши. Мы поклонились и убежали, а потом снова выбежали и опять стали кланяться. Тут Володя сказал, чтоб скорей закрывали занавес. Занавес сейчас же закрыли. Мы хотели убежать, но Володя схватил коня за уши и сказал:

— Ну-ка, вылезайте! Кто это тут дурачится?

Мы вылезли из лошадиной шкуры.

— А, так это вы! — сказал Володя. — Кто вам разрешил здесь баловаться?

— Разве плохой конь получился? — удивился Шишкин.

— Коня-то вы хорошо смастерили,— сказал Володя.— А сыграть как следует не смогли: на сцене серьезный разговор происходит, а конь стоит, ногами шаркает, то отставит ногу, то приставит. Где вы видали, чтоб лошади так делали?

— Ну, устанешь ведь спокойно на одном месте стоять,— говорю я.— И еще Ваня на мне верхом сидит. Знаете, какой он тяжелый. Где уж тут спокойно стоять!

— Надо было стоять, раз на сцену вышли. И еще. Руслан

читает стихи: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» — и вдруг в публике смех. Я думаю, почему смеются? Что тут смешного! А оказывается, конь в это время ушами захопал!

— Ну, кони всегда шевелят ушами, когда прислушиваются, — говорит Шишкин.

— К чему же тут понадобилось прислушиваться?

— Ну, к стихам. Он услышал, что Руслан читает стихи, и пошевелил ушами.

— Если б пошевелил, то еще полбеды, а он ими так задвигал, будто мух отгонял.

— Это я переиграл малость, — говорит Шишкин. — Слишком сильно за веревочку дергал.

— «Переиграл»! — передразнил его Володя. — Вот не лезьте в другой раз без спросу на сцену.

Мы очень опечалились и думали, что нам еще от Ольги Николаевны за это достанется, но Ольга Николаевна нам совсем ничего не сказала, и для меня это было почему-то хуже, чем если бы она как следует пробрала нас за то, что мы не послушались ее.

Наверно, она решила, что мы с Шишкиным какие-нибудь такие совсем неисправимые, что с нами даже разговаривать серьезно не стоит.

Из-за этого представления да еще из-за шахмат я так и не взялся как следует за учебу, и, когда через несколько дней нам выдали за первую четверть табели, я увидел, что у меня стоит двойка по арифметике. Я и раньше знал, что у меня будет в четверти двойка, но все думал, что четверть еще не скоро кончится и я успею подтянуться, но четверть так неожиданно кончилась, что я и оглянуться не успел. У Шишкина тоже была в четверти двойка по русскому.

— И зачем это выдают табели перед самым праздником? Теперь у меня будет весь праздник испорчен! — сказал я Шишкину, когда мы возвращались домой.

— Почему? — спросил Шишкин.

— Ну потому, что придется показывать дома двойку.

— А я не буду перед праздником показывать двойку, — сказал Шишкин. — Зачем я буду маме праздник портить?

— Но после праздника ведь все равно придется показывать, — говорю я.

— Ну что ж, после праздника, конечно, а на праздник все веселые, а если я покажу двойку, все будут скучные. Нет, пусть лучше веселые будут. Зачем я буду огорчать маму напрасно? Я люблю маму.

— Если бы ты любил, то учился бы получше, — сказал я.

— А ты-то учишься, что ли? — ответил Шишкин.

— Я — нет, но я буду учиться.

— Ну и я буду учиться.

На этом наш разговор окончился, и я решил, по шишкинскому примеру, показать табель потом, когда праздники кончатся. Ведь бывают же такие случаи, когда табели ученикам выдают после праздника. Ничего тут такого нету.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наконец наступил день, которого я давно уже с нетерпением ждал, — день Седьмого ноября, праздник Великой Октябрьской революции.

Я проснулся рано-рано и сразу побежал к окошку, чтобы взглянуть на улицу. Солнышко еще не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое. На всех домах развевались красные флаги. На душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник! Почему-то вспоминается все самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чем-то чудесном, и хочется поскорей вырасти, стать сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства: пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам, мчаться на самолете по голубым небесам, опускаться под землю, добывать железо и уголь, строить каналы и орошать пустыни, сажать леса или работать на заводе и делать какие-нибудь новые замечательные машины.

Вот какие мечты у меня. И ничего в этом удивительного нету, я думаю. Папа говорит, что в нашей стране каждый человек всего добьется, если только захочет и станет как следует учиться, потому что уже много лет назад, как раз в этот день, седьмого ноября, мы прогнали капиталистов, которые угнетали народ, и теперь у нас все принадлежит народу. Значит, мне тоже принадлежит все, потому что я тоже народ.

В этот день папа подарил мне волшебный фонарь с картинками, а мама подарила мне коньки, а Лика подарила мне компас, а я подарил Лике разноцветные краски для рисования.

А потом мы с папой и Ликой пошли на завод, где папа работает, а оттуда пошли на демонстрацию вместе со всеми рабочими с папиного завода. Вокруг гремела музыка, и все пели песни, и мы с Ликой пели, и нам было очень весело, и папа купил нам воздушные шары: мне красный, а Лике зеленый. А когда мы подошли к самой большой площади нашего города, папа купил нам два красных флажка, и мы с этими флажками прошли мимо трибуны через всю площадь. Потом мы вернулись домой, и скоро к нам стали собираться гости.

Первый пришел дядя Шура. В руках у него было два свертка, и мы сразу догадались, что это он принес нам подарки. Но дядя

Шура сначала спросил, хорошо ли мы ведем себя. Мы сказали, что хорошо.

— Маму слушаетесь?

— Слушаемся,— говорим.

— А учитесь как?

— Хорошо,— говорит Лика.

И я тоже сказал:

— Хорошо.

Тогда он подарил мне металлический конструктор, а Лике — строительные кубики.

Потом пришли тетя Лида и дядя Сережа, потом тетя Надя и дядя Юра, и еще тетя Нина. Все спрашивали меня, как я учусь. Я всем говорил — хорошо, и все дарили мне подарки, так что под конец у меня собралась целая куча подарков. У Лики тоже была целая куча подарков. И вот я сидел и смотрел на свои подарки, и постепенно у меня на душе сделалось грустно. Меня начала мучить совесть, потому что у меня по арифметике была двойка, а я всем говорил, что учусь хорошо. Я долго думал над этим и в конце концов дал сам себе обещание, что теперь возьмусь учиться как следует и тогда такие случаи уже никогда в жизни больше не будут повторяться. После того как я это решил, грусть моя стала понемногу проходить, и я постепенно развеселился.

Восьмого ноября тоже был праздник. Я побывал в гостях у многих ребят из нашего класса, и многие ребята побывали у нас. Мы только и делали, что играли в разные игры, а вечером смотрели на стене картины от волшебного фонаря. Когда я ложился спать, то сложил все свои подарки возле своей кровати на стуле. Лика тоже сложила свои подарки на стуле, а под потолком над нами красовались два воздушных шарика, с которыми мы ходили на демонстрацию. Так приятно было смотреть на них!

На следующий день, когда я проснулся, то увидел, что воздушные шарики лежат на полу. Они сморщились и стали меньше. Легкий газ из них вышел, и они уже не могли больше взлетать кверху. А когда в этот день я вернулся из школы, то не знал, как сказать маме про двойку, но мама сама вспомнила про табель и велела показать ей. Я молча вытащил табель из сумки и отдал маме. Мама стала проверять, какие у меня отметки, и, конечно, сразу увидела двойку.

— Ну вот, так я и знала! — сказала она нахмурившись. — Все гулял да гулял, а теперь в четверти двойка. А все почему? Потому что ничего слушать не хочешь! Сколько раз тебе говорилось, чтобы ты вовремя делал уроки, но тебе хоть говори, хоть нет — все как об стенку горохом. Может быть, ты хочешь на второй год остаться?

Я сказал, что теперь буду учиться лучше и что теперь у меня двойки ни за что на свете не будет, но мама только усмехнулась

в ответ. Видно было, что ничуть не поверила моим обещаниям. Я просил маму подписать табель, но она сказала:

— Нет уж, пусть папа подпишет.

Это было хуже всего! Я надеялся, что мама подпишет табель и тогда можно будет не показывать его папе, а теперь мне предстояло еще выслушивать упреки папы. Настроение у меня стало такое плохое, что не хотелось даже делать уроки.

«Пускай,— думаю,— папа уж отругает меня, тогда я буду заниматься».

Наконец папа пришел с работы. Я подождал, когда он пообедал, потому что после обеда он всегда бывает добрей, и положил табель на стол так, чтоб папа его увидел. Папа скоро заметил, что на столе возле него лежит табель, и стал смотреть отметки.

— Ну вот, достукался! — сказал он, увидев двойку. — Неужели тебе перед товарищами не стыдно, а?

— Будто я один получаю двойки! — ответил я.

— У кого же еще есть двойки?

— У Шишкина.

— Почему же ты берешь пример с Шишкина? Ты бы брал пример с лучших учеников. Или Шишкин у вас такой авторитет?

— И совсем не авторитет, — сказал я.

— Вот ты и стал бы учиться лучше да еще Шишкину помог. Неужели вам обоим нравится быть хуже других?

— Мне, — говорю, — вовсе не нравится. Я уже сам решил начать учиться лучше.

— Ты и раньше так говорил.

— Нет, раньше я так просто говорил, а теперь я решил твердо взяться.

— Что ж, посмотрим, какая у тебя твердость.

Папа подписал табель и больше ничего не сказал. Мне даже обидно стало, что он так мало укорял меня. Наверно, он решил, что со мной долго разговаривать нечего, раз я всегда только обещаю, а ничего не выполняю. Поэтому я решил на этот раз доказать, что у меня есть твердость, и начать учиться как следует. Жаль только, что в этот день по арифметике ничего не было задано, а то бы я, наверно, задачу сам решил.

На другой день я спросил Шишкина:

— Ну как, досталось тебе от мамы за двойку?

— Досталось! И от тети Зины досталось. Уж лучше б она молчала! У нее только одни слова: «Вот я за тебя возьмусь как следует!» А как она за меня возьмется? Когда-то она сказала: «Вот я за тебя возьмусь: буду каждый вечер проверять, как ты сделал уроки». А сама раза два проверила, а потом записалась в драмкружок при клубе автозавода, и как только вечер — ее нету. «Я тебя, говорит, завтра проверю». И так каждый раз:

завтра да завтра, а потом и совсем ничего. Потом вдруг: «Ну-ка, показывай тетрадки, отвечай, что на завтра задано». А у меня как раз ничего не сделано, потому что я уже отвык, чтоб меня проверяли. Словом, что ни вечер, то ее дома нет. Если на занятия драмкружка не надо идти, то в театр пойдет.

— Ей ведь надо в театр ходить, раз она в театральном училище учится, — сказал я.

— Это я понимаю, — говорит Шишкин. — Мама тоже на курсах повышения квалификации учится, да еще работает, а не говорит же она: «Я за тебя возьмусь». Мама просто объяснит, что надо учиться, а если и накричит на меня, то я не обижаюсь. А на тетю Зину всегда буду обижаться, потому что если берешься, то берись, а если не берешься, то не берись. Я, может быть, жду, когда тетя Зина за меня возьмется, и сам ничего не делаю. Такой у меня характер!

— Это ты просто вину с себя на другого перекладываешь, — сказал я. — Переменил бы характер.

— Вот ты бы и переменил. Будто ты лучше моего учишься!

— Я буду лучше учиться, — говорю я.

— Ну и я буду лучше, — ответил Шишкин.

Через несколько дней наш преподаватель физкультуры Григорий Иванович сказал, что спортивный зал у нас уже оборудован для игры в баскетбол и кто желает, может записаться в баскетбольную команду. Ребята обрадовались и стали записываться. Мы с Шишкиным тоже, конечно, хотели записаться, но Григорий Иванович не записал нас.

— В баскетбольной команде может играть только тот, кто хорошо учится, — сказал он нам.

Шишкин очень расстроился. Он давно уже ждал, когда можно будет играть в баскетбол, и вот теперь, когда другие ребята будут играть, нам, как говорится, приходилось остаться за бортом. Я лично не очень огорчился, потому что решил начать учиться лучше и во что бы то ни стало добиться, чтоб меня приняли в баскетбольную команду.

В этот же день Ольга Николаевна сказала, что многие наши ребята уже подтянулись и стали учиться успешнее. Лучшее дело обстояло в первом звене. У них не было ни одной двойки, а троек было всего две. Ольга Николаевна сказала, что когда они исправят эти тройки, то звено выполнит свое обещание учиться только на пятерки и четверки. Хуже всего дело обстояло в нашем звене, так как у нас были две двойки — моя и шишкинская.

Юра сказал:

— Вот! Мы с вами в хвосте оказались! Надо что-нибудь придумать, как из этого положения выпутаться.

— Это все они, вот эти двое! — сказал Леня Астафьев и показал на нас с Шишкиным. — Что ж это вы, а? Все звено по-

зорите! Все ребята стараются, а им хоть кол на голове теши, ничего не помогает! Ты, Малеев, почему плохо учишься?

Тут все на меня набросились:

— Ты что, не понимаешь, что надо учиться лучше?

— Не понимаю, о чем разговор! — сказал я. — Я уже сам решил учиться лучше, а тут снова-наново разговор происходит!

— Решил, так надо учиться! А у тебя какие отметки? — спросил Алик Сорокин.

— Так отметки у меня за прошлое, а решил я только позавчера, — говорю я.

— Эх, ты! Будто не мог раньше решить!

— Пойдите, ребята, не надо ссориться, — сказала Ольга Николаевна. — Отстающим надо помочь. В вашем звене есть хорошие ученики. Надо выделить кого-нибудь в помощь Косте Шишкину и Вите Малееву.

— Можно мне помогать Малееву? — спросил Ваня Пахомов.

— А я буду помогать Шишкину, — сказал Алик Сорокин. — Можно?

— Конечно, можно, — сказала Ольга Николаевна. — Это очень хорошо, что вы хотите помочь товарищам. Но Витя и Костя сами должны побольше работать. Ты, Витя, наверно, если не можешь решить задачку, так спрашиваешь папу или маму?

— Нет, — говорю я. — Я теперь папу никогда не спрашиваю. Зачем я буду отрывать его от работы? Я просто иду к товарищу и спрашиваю.

— Ну, это все равно. Я хочу сказать, что нужно самому добиваться. Если посидишь над задачей как следует да разберешься сам, то кое-чему научишься, а если каждый раз за тебя задачи будет кто-нибудь другой делать, то сам их решать ты никогда не научишься. Для того и задают задачи, чтоб ученик приучался самостоятельно думать.

— Хорошо, — говорю я. — Теперь я буду сам.

— Вот-вот, постарайся. Только в крайнем случае, если увидишь, что задачи тебе не осилить, обращай за помощью к товарищу или ко мне.

— Нет, — говорю я. — Мне кажется, теперь я осилю сам, а уж если никак не осилю, тогда пойду к Ване.

— Если желание будет, то осилишь, — сказала Ольга Николаевна.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пришел я домой и сразу взялся за дело. Такая решимость меня одолела, что я даже сам удивился. Сначала я задумал сделать самые трудные уроки, как Ольга Николаевна нас учила,

а потом взяться за то, что полегче. Как раз в этот день была задана задачка по арифметике. Недолго думая я раскрыл задачник и принялся читать задачу:

«В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше. Одной бригаде плотников продали половину топоров и три пилы за 84 рубля. Оставшиеся топоры и пилы продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила?»

Сначала я совсем ничего не понял, и начал читать задачу во второй раз, потом в третий... Постепенно я понял, что тот, кто составляет задачи, нарочно запутывает их, чтобы ученики не могли сразу решить. Написано: «В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше». Ну и написали бы просто, что топоров было 24 штуки. Ведь если пил было 8, а топоров было в три раза больше, то каждому ясно, что топоров было 24. Нечего тут и огород городить! И еще: «Одной бригаде плотников продали половину топоров и 3 пилы за 84 рубля». Сказали бы просто: «Продали 12 топоров». Будто не ясно, раз топоров было 24, то половина будет 12. И вот все это продали, значит, за 84 рубля. Дальше опять говорится, что оставшиеся пилы и топоры продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Какие это оставшиеся? Будто нельзя сказать по-человечески? Если всего было 24 топора, а продали 12, то и осталось, значит, 12. А пил было всего-навсего 8; 3 продали одной бригаде, значит, другой бригаде продали 5. Так бы и написали, а то запутывают, запутывают, а потом небось говорят, что ребята бестолковые — не умеют задачи решать!

Я переписал задачу по-своему, чтоб она выглядела попроще, и вот что у меня получилось:

«В магазине было 8 пил и 24 топора. Одной бригаде плотников продали 12 топоров и 3 пилы за 84 рубля. Другой бригаде плотников продали 12 топоров и 5 пил за 100 рублей. Сколько стоит одна пила и один топор?»

Переписав задачу, я снова прочитал ее и увидел, что она стала немножечко короче, но все-таки я не мог додуматься, как ее сделать, потому что цифры путались у меня в голове и мешали мне думать. Я решил как-нибудь подсократить задачу, чтоб в ней было меньше цифр. Ведь совершенно неважно, сколько было в магазине этих самых пил и топоров, если в конце концов их все продали. Я сократил задачу, и она получилась вот такая:

«Одной бригаде продали 12 топоров и 3 пилы за 84 рубля. Другой бригаде продали 12 топоров и 5 пил за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила?»

Задача стала короче, и я стал думать, как бы ее еще сократить. Ведь неважно, кому продали эти пилы и топоры. Важно только, за сколько продали. Я подумал, подумал — и задача получилась такая:

«12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля.

12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей.

Сколько стоит один топор и одна пила?»

Сокращать было больше нельзя, и я стал думать, как решить задачу. Сначала я подумал, что если 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, то надо сложить все топоры и пилы вместе и 84 поделить на то, что получилось. Я сложил 12 топоров и 3 пилы, получилось 15. Тогда я стал делить 84 на 15, но у меня не поделилось, потому что получился остаток. Я понял, что произошла какая-то ошибка, и стал искать другой выход. Другой выход нашелся такой: я сложил 12 топоров и 5 пил, получилось 17, и тогда я стал делить 100 на 17, но у меня опять получился остаток. Тогда я сложил все 24 топора между собой и прибавил к ним 8 пил, а рубли тоже сложил между собой и стал делить рубли на топоры с пилами, но деление все равно не вышло. Тогда я стал отнимать пилы от топоров, а деньги делить на то, что получилось, но все равно у меня ничего не получилось. Потом я еще пробовал складывать между собой пилы и топоры по отдельности, а потом отнимать топоры от денег, и то, что осталось, делить на пилы, и чего я только ни делал, никакого толку не выходило. Тогда я взял задачу и пошел к Ване Пахомову.

— Слушай,— говорю,— Ваня, 12 топоров и 3 пилы вместе стоят 84 рубля, а 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила? Как, по-твоему, нужно сделать задачу?

— А как ты думаешь? — спрашивает он.

— Я думаю, нужно сложить 12 топоров и 3 пилы и 84 поделить на 15.

— Постой! Зачем тебе складывать пилы и топоры?

— Ну, я узнаю, сколько было всего, потом 84 разделю на сколько всего и узнаю, сколько стоила одна.

— Что — одна? Одна пила или один топор?

— Пила,— говорю,— или топор.

— Тогда получится, что они стоили одинаково.

— А они разве не одинаково?

— Конечно, не одинаково. Ведь в задаче не говорится, что они стоили поровну. Наоборот, спрашивается, сколько стоит топор и сколько пила отдельно. Значит, мы не имеем права их складывать.

— Да их,— говорю,— хоть складывай, хоть не складывай, все равно ничего не выходит!

— Вот поэтому и не выходит.

— Что же делать? — спрашиваю я.

— А ты подумай.

— Да я уже два часа думал!

— Ну присмотришь к задаче,— говорит Ваня.— Что ты видишь?

— Вижу,— говорю,— что 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля, а 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей.

— Ну, ты замечаешь, что в первый раз и во второй топоров куплено одинаковое количество, а пил на две больше?

— Замечаю,— говорю я.

— А замечаешь, что во второй раз уплатили на 16 рублей дороже?

— Тоже замечаю. В первый раз уплатили 84 рубля, а во второй раз — 100 рублей, 100 минус 84, будет 16.

— А как ты думаешь, почему во второй раз уплатили на 16 рублей больше?

— Это каждому ясно,— ответил я,— купили 2 лишние пилы, вот и пришлось уплатить лишних 16 рублей.

— Значит, 16 рублей заплатили за две пилы?

— Да,— говорю,— за две.

— Сколько же стоит одна пила?

— Раз две 16, то одна,— говорю,— 8.

— Вот ты и узнал, сколько стоит одна пила.

— Тьфу! — говорю.— Совсем простая задача! Как это я сам не догадался?

— Постой, тебе еще надо узнать, сколько стоит топор.

— Ну, это уж пустяк,— говорю я.— 12 топоров и 3 пилы стоят 84 рубля. 3 пилы стоят 24 рубля. 84 минус 24 будет 60. Значит, 12 топоров стоят 60 рублей, а один топор — 60 поделить на 12, будет 5 рублей.

Я пошел домой, и очень мне было досадно, что я не сделал эту задачу сам. Но я решил в следующий раз обязательно сам сделать задачу. Хоть пять часов буду сидеть, а сделаю.

На следующий день нам по арифметике ничего не было задано, и я был рад, потому что это не такое уж большое удовольствие задачи решать.

«Ничего,— думаю,— хоть один день отдохну от арифметики».

Но все вышло совсем не так, как я думал. Только я сел за уроки, вдруг Лика говорит:

— Витя, нам тут задачу задали, я никак не могу решить. Помоги мне.

Я только поглядел на задачу и думаю:

«Вот будет история, если я не смогу решить! Сразу весь авторитет пропадет».

И говорю ей:

— Мне сейчас очень некогда. У меня тут своих уроков полно. Ты поди погуляй часика два, а потом придешь, я помогу тебе.

Думаю:

«Пока она будет гулять, я тут над задачей подумаю, а потом объясню ей».

— Ну, я пойду к подруге,— говорит Лика.

— Иди, иди, — говорю, — только не приходи слишком скоро. Часа два можешь гулять или три. В общем, гуляй сколько хочешь.

Она ушла, а я взял задачник и стал читать задачу:

«Мальчик и девочка рвали в лесу орехи. Они сорвали всего 120 штук. Девочка сорвала в два раза меньше мальчика. Сколько орехов было у мальчика и девочки?»

Прочитал я задачу, и даже смех меня разобрал. «Вот так задача! — думаю. — Чего тут не понимать? Ясно, 120 надо поделить на 2, получится 60. Значит, девочка сорвала 60 орехов. Теперь нужно узнать, сколько мальчик: 120 отнять 60, тоже будет 60... Только как же это так? Получается, что они сорвали поровну, а в задаче сказано, что девочка сорвала в два раза меньше орехов. Ага! — думаю. — Значит, 60 надо поделить на 2, получится 30. Значит, мальчик сорвал 60, а девочка 30 орехов». Посмотрел в ответ, а там: мальчик 80, а девочка 40.

— Позвольте! — говорю. — Как же это? У меня получается 30 и 60, а тут 40 и 80.

Стал проверять — всего сорвали 120 орехов. Если мальчик сорвал 60, а девочка 30, то всего получается 90. Значит, неправильно! Снова стал делать задачу. Опять у меня получается 30 и 60! Откуда же в ответе берутся 40 и 80? Прямо заколдованный круг получается!

Вот тут-то я и задумался. Читал задачу раз десять подряд и никак не мог найти, в чем здесь загвоздка.

«Ну, — думаю, — это третьеклассникам задают такие задачи, что и четвероклассник не может решить! Как же они учатся, бедные?»

Стал я думать над этой задачей. Стыдно мне было не решить ее. Вот, скажет Лика, в четвертом классе, а для третьего класса задачу не смог решить! Стал я думать еще усиленнее. Ничего не выходит. Прямо затмение на меня нашло! Сижусь и не знаю, что делать. В задаче говорится, что всего орехов было 120, и вот надо разделить их так, чтоб у одного было в два раза больше, чем у другого. Если б тут были какие-нибудь другие цифры, то еще можно было бы что-нибудь придумать, а тут сколько ни дели 120 на 2, сколько ни отнимай 2 от 120, сколько ни умножай 120 на 2, все равно 40 и 80 не получится.

С отчаяния я нарисовал в тетрадке ореховое дерево, а под деревом мальчика и девочку, а на дереве 120 орехов. И вот я рисовал эти орехи, рисовал, а сам все думал и думал. Только мысли мои куда-то не туда шли, куда надо. Сначала я думал, почему мальчик нарвал вдвое больше, а потом догадался, что мальчик наверно, на дерево залез, а девочка снизу рвала, вот у нее и получилось меньше. Потом я стал рвать орехи, то есть просто стирал их резинкой с дерева и отдавал мальчику и девочке, то есть пририсовывал орехи у них над головой. Потом я стал думать, что

они складывали орехи в карманы. Мальчик был в курточке, я нарисовал ему по бокам два кармана, а девочка была в передничке. Я на этом передничке нарисовал один карман. Тогда я стал думать, что, может быть, девочка нарвала орехов меньше потому, что у нее был только один карман. И вот я сидел и смотрел на них: у мальчика два кармана, у девочки один карман, и у меня в голове стали появляться какие-то проблески. Я стер орехи у них над головами и нарисовал им карманы, оттопыренные, будто в них лежали орехи. Все 120 орехов теперь лежали у них в трех карманах: в двух карманах у мальчика и в одном кармане у девочки, а всего, значит, в трех.

И вдруг у меня в голове, будто молния, блеснула мысль: «Все 120 орехов надо делить на три части! Девочка возьмет себе одну часть, а две части останутся мальчику; вот и будет у него вдвое больше!» Я быстро поделил 120 на 3, получилось 40. Значит, одна часть 40. Это у девочки было 40 орехов, а у мальчика две части. Значит, 40 помножить на 2, будет 80! Точно как в ответе.

Я чуть не подпрыгнул от радости и скорей побежал к Ване Пахомову, чтоб рассказать ему, как я сам додумался решить задачу.

Выбегаю на улицу, смотрю — идет Шишкин.

— Слушай,— говорю,— Костя, мальчик и девочка рвали в лесу орехи, нарвали 120 штук, мальчик взял себе вдвое больше, чем девочка. Что делать, по-твоему?

— Надавать,— говорит,— ему по шее, чтоб не обижал девочек!

— Да я не про то спрашиваю! Как им разделить, чтоб у него было вдвое?

— Пусть делят, как сами хотят. Чего ты ко мне пристал! Пусть поровну делят.

— Да нельзя поровну. Это задача такая.

— Какая еще задача?

— Ну, задача по арифметике.

— Тьфу! — говорит Шишкин.— У меня морская свинка подохла, я ее только позавчера купил, а он тут с задачами лезет!

— Ну, прости,— говорю,— я не знал, что у тебя такое горе. И побежал дальше.

Прибегаю к Ване.

— Слушай,— говорю,— вот какая задача мудреная: мальчик и девочка сорвали 120 орехов. Мальчик взял себе вдвое больше. Надо делить на три части. Правильно я догадался?

— Правильно,— говорит Ваня.— Одну часть возьмет девочка, две части — мальчик, вот у него и будет вдвое больше.

— Это я сам догадался,— говорю я.— Понимаешь, замудрили задачу, думали, никто не догадается, а я все-таки догадался.

— Ну молодец!

— Теперь я всегда буду сам задачи решать,— сказал я.
— Постарайся. Самому всегда лучше: больше толку,— говорит Ваня.

Побежал я обратно домой.

Вдруг навстречу Юра Касаткин.

— Слушай, Юра,— говорю я.— Один мальчик и одна девочка рвали в лесу орехи...

— Да ну тебя с твоими орехами! Ты лучше скажи, почему ты не занимаешься, а все по улицам бегаешь?

— Я занимаюсь, честное слово!

— Ты это оставь! Весь класс назад тянешь! Ты и еще этот твой Шишкин.

— Честное слово, я занимаюсь, а у Шишкина морская свинка сдохла. А ты куда идешь?

— Я шел к тебе, хотел посмотреть, как ты занимаешься, а тебя дома нет, вот я и вижу, как ты уроки делаешь.

— Ну, честное-пречестное слово, я делал задачу, а она у меня вышла, и я только на минуточку пошел к Ване, чтоб рассказать. Вот идем ко мне, посмотришь.

Мы пошли ко мне, и я стал показывать ему задачу про мальчика и девочку.

— Да ведь это для третьего класса задача! — говорит Юра.

— А это я нарочно повторяю прошлогодние задачи,— говорю я.— В прошлом году я неважно по арифметике учился, вот и хочу теперь наверстать.

— Это ты хорошо придумал. Будешь знать предыдущее, дальше легче будет учиться.

Юра ушел. Скоро вернулась Лика, я сейчас же принялся объяснять ей задачу. Нарисовал дерево с орехами, и мальчика с двумя карманами, и девочку с одним карманом.

— Вот,— говорит Лика,— как ты хорошо объясняешь! Я сама ни за что не догадалась бы!

— Ну, это пустяковая задача. Когда тебе надо, ты мне говори, я тебе все объясню в два счета.

И вот я как-то совсем неожиданно из одного человека превратился совсем в другого. Раньше мне самому помогали, а теперь я сам мог других учить. И главное, у меня ведь по арифметике была двойка!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На другой день, когда я проснулся, то увидел в окно, что уже наступила зима. На дворе выпал снег. Все побелело вокруг: и земля и крыши, а деревья стояли как кружевные — все веточки облепило снегом. Я хотел сейчас же пойти покататься на конечках,

которые подарила мне мама, но нужно было идти в школу, а после школы я сначала засел за уроки, а потом стал делать задачи по Ликиному задачнику. Я задумал перерешать все задачи для третьего класса. Там было много простых задач, и я щелкал их, как будто семечки, но попадались и такие, над которыми приходилось ломать голову. Только это теперь меня не пугало. Я поставил себе за правило не двигаться дальше, пока не решу задачи. Конечно, я в один день не решил все задачи, а сидел над ними недели две или три. На коньках я ходил кататься только по вечерам, когда становилось совсем темно. Зато когда я перерешал все задачи для третьего класса, то я очень поумнел и уже мог без посторонней помощи решать задачи для четвертого класса, которые задавала нам Ольга Николаевна. В задачнике для четвертого класса было много задач, которые были похожи на задачи для третьего класса, только они были посложнее, но теперь я уже умел распутывать сложные задачи. Мне даже интереснее было решать те задачи, которые посложней. Я уже не боялся арифметики, как раньше. С меня как будто свалилась какая-то тяжесть, и жить мне стало легко. Ольга Николаевна была довольна моими успехами и ставила мне хорошие отметки. Ребята больше не упрекали меня. И мама и папа были рады, что я стал хорошо учиться. Меня приняли в баскетбольную команду, и я через день тренировался с ребятами по два часа. А когда тренировки не было, я катался на коньках, ходил на лыжах, играл с ребятами в хоккей — было что делать.

А Шишкин, вместо того чтобы взяться как следует за учебу, купил разных морских свинок, белых крыс, черепах. Одних ежей у него было три штуки! И он с ними по целым дням возился, кормил их, ухаживал за ними, а они у него часто болели и дохли. И еще он достал где-то Лобзика. Этот Лобзик был обыкновенный бездомный щенок, то есть если сказать по правде, то совсем не щенок, а уже довольно большая собака, но еще, видно, молодая, не совсем еще взрослая: мохнатая такая, черного цвета, и уши у нее висели, как лопухи. Он ее встретил где-то на улице и поманил за собой, и привел домой, и выдумал ей имя «Лобзик», хотя Лобзик — это совсем неподходящее для собаки имя, потому что лобзик — это такая маленькая пилочка для выпиливания по дереву. Но Шишкин не знал, что такое лобзик, и вообразил, будто это собачье имя.

Понятно, что со всеми этими делами Шишкину вовсе не до занятий было, и он садился делать уроки после того, как мама раз двадцать напомним. Вот мать придет с работы и спросит:

- Ты уроки сделал?
- Нет еще. Сейчас буду делать.
- Садись сейчас же.
- Сейчас, сейчас, мамочка, вот только покормлю черепаху.

Мать займется своими делами, а он покормит черепаху, потом вспомнит, что хотел смастерить клетку для морской свинки, и начнет возиться с клеткой. Через некоторое время мать опять скажет:

— Когда же ты будешь делать уроки?

— Сейчас.

— Когда же «сейчас»? Ты все время говоришь «сейчас», а сам ни с места.

— Ну сейчас! Надо же клетку сделать.

— Клетку? Да тут тебе на три дня работы! Прекрати это и садись делать уроки.

— Ладно,— с сожалением говорит Шишкин.— Завтра клетку доделаю. Сейчас только принесу ежам водички и буду делать уроки.

Он берет кружку и отправляется за водой для ежей. Потом начинает проверять, есть ли вода у других животных. Потом обнаруживается, что один из ежей куда-то исчез, и Шишкин начинает искать его по всему дому. Через полчаса мать опять про уроки спросит.

— Сейчас,— говорит Шишкин.— Вот только найду ежа. Еж куда-то запропастился.

И так все время. То одно, то другое, то третье. Если мать уйдет на занятия, он и не думает за уроки взяться, а ждет, когда время придет уже ложиться спать, тогда он только начинает что-нибудь делать. Конечно, у него все получалось на скорую руку, кое-как, он ничего не выучивал как следует, но все-таки умудрялся получать как-то тройки, иногда даже четверки. Впрочем, это бывало редко. Больше всего он боялся русского языка и почти всегда выезжал на подсказке. Правда, никакой пользы ему от этой подсказки не было. Когда в классе должны были писать диктант или сочинение, то Шишкин заранее был уверен, что напишет на двойку, и решил в такие дни совсем не приходить в школу. И вот однажды, когда Ольга Николаевна сказала, что завтра мы будем писать диктант, Шишкин на следующее утро притворился больным и сказал маме, что у него болит голова. Мама разрешила ему не ходить в этот день в школу и сказала, что позовет врача, как только вернется с работы. Но, когда она вернулась, Шишкин сказал, что голова у него уже не болит, так что никакого врача не нужно было вызывать. Мама написала в школу записку, что Костя пропустил по болезни, и все обошлось благополучно. В другой раз, когда мы в классе должны были писать сочинение, Шишкин снова придумал, что у него болит голова, и мама опять разрешила ему не ходить в школу, но, когда она вернулась с работы, ей показалось странным, что Костя и на этот раз быстро выздоровел. Но тогда она еще ни о чем не догадывалась и снова написала в школу записку, что он был болен. Когда же это случилось в третий

раз, она стала догадываться, что Костя ее обманывает, чтобы не ходить в школу. Костя сначала не признавался, но мама сказала, что сама пойдет в школу и выяснит, в чем дело. Костя увидел, что мать все равно своего добьется, и во всем ей признался.

Когда мама услышала, что он все это придумывал для того, чтобы увиливать от занятий, она страшно рассердилась. Это случилось как раз в тот день, когда Шишкин привел домой Лобзика. Мама всегда сердилась на Костю за то, что он приносит домой разных животных и возится с ними, вместо того чтоб делать уроки. Поэтому Костя заранее спрятал Лобзика в чулане, чтоб мама не заметила его сразу. И вот, как раз когда Костя признался и мама рассердилась, Лобзик вылез из чулана и пришел прямо в комнату.

— А это еще что такое? — закричала мама, увидев Лобзика.

— Это ничего... Это так просто, собака, — пролепетал Шишкин.

— Собака? — закричала мама. — Сейчас же прогони ее! Развел целый зверинец в доме! Только и делаешь, что с разными зверями возишься, заниматься совсем не хочешь! Сейчас же уноси всех зверей отсюда! И крыс, и мышей, и ежей — всех уноси! И собаку эту гони, довольно я с тобой намучилась.

Нечего делать, Костя со слезами на глазах пошел раздавать своих зверей знакомым ребятам и роздал всех, только одного ежа у него никто не хотел брать. Тогда он пришел с этим ежом ко мне и рассказал, что у него произошло дома. Я тоже не хотел брать ежа, потому что мыши, которых он нам подарил, расплодились во множестве, и несколько мышей поселились в комод, к тому же этот еж был какой-то вялый, наверно, больной. Но Шишкин сказал, что еж совсем не больной, а находится в оцепенении, так как ежи обычно погружаются на зиму в спячку, и вот этот еж, значит, тоже уже погружался в спячку. Тогда я согласился взять ежа, а Шишкин сказал, что весной, когда еж пробудится от спячки, он заберет его обратно к себе.

Только Лобзика Костя не хотел никому отдавать и решил спрятать его от мамы на чердаке. Он устроил ему подстилку на дымоходе, а чтоб Лобзик не убежал, привязал его за ошейник веревкой к стропилу. На чердаке было холодно, но дымоход был теплый, и Лобзик не очень мерз, хотя если сказать по правде, то ему иногда сильно доставалось и от жары и от холода в одно и то же время. В сильный мороз дымоход почему-то всегда был очень горячим, поэтому с одной стороны Лобзика пробирал холод, а с другой стороны он поджаривался как будто на сковородке. Костя очень беспокоился, как бы Лобзик не отморозил себе уши или не схватил воспаление легких. Он тайком приносил Лобзику на чердак еду и сам пропадал на чердаке все свободное время, чтобы Лобзику не было скучно. Когда мамы не было дома, он приводил

Лобзика домой и играл с ним, а к тому времени, когда мама должна была прийти с работы, уводил его обратно на чердак. Сначала все шло хорошо, но однажды он забыл увести Лобзика из дому вовремя или, может быть, мама вернулась с работы раньше обычного, не знаю точно, только Шишкин, как говорится, попался на месте преступления. Мама увидела Лобзика.

— Опять эта собака здесь! — закричала она. — Так вот почему у тебя не хватает времени заниматься! Я ведь тебе велела прогнать ее, а ты снова привел!

Тут Шишкин признался, что не послушался маму и Лобзик все это время жил у него на чердаке, а он заботился о нем и кормил его, потому что он его очень любит и не может выгнать его на мороз, так как Лобзик совсем одинокий, бездомный пес.

— Если бы ты стал делать уроки исправнее, я разрешила бы тебе оставить Лобзика. Но ты ведь ничего слушать не хочешь! — сказала мама.

— Как же я могу делать уроки? — ответил Шишкин. — Я вот сяду заниматься, а сам думаю, как там Лобзик на чердаке сидит. Ему небось одному скучно. Вот мне и не лезут уроки в голову.

Тогда мама сжалилась над ним и сказала:

— Если обещаешь выполнять аккуратно все уроки днем после школы, то, так и быть, разрешу оставить тебе эту собаку.

Костя сказал, что обещает.

— Посмотрим, как ты сдержишь свое обещание, — сказала мама. — Я теперь буду проверять тебя ежедневно после работы.

Обо всем этом мне рассказал Костя, когда мы возвращались на другой день из школы.

— Зайдем ко мне, посмотришь, как я буду дрессировать Лобзика, — предложил Костя. — Увидишь, какой это умный пес. Он уже умеет палку в зубах держать.

— По-моему, для того чтоб держать палку в зубах, большого ума не надо, — ответил я.

— Смотря для кого, — говорит Шишкин. — Тебе, конечно, для того чтоб держать палку в зубах, совсем не надо ума, а Лобзику надо.

Пришли мы к нему. Шишкин достал из буфета сахарницу и позвал Лобзика. Лобзик увидел сахарницу, подскочил и весело замахал хвостом. Видно было, что этот предмет ему уже хорошо знаком. Костя сунул ему под нос палку и сказал:

— Вот поддержи палку, получишь сахару.

Лобзик отвернулся от палки и покосился на сахарницу.

— Да ты не смотри на сахарницу, держи, говорят тебе, палку! — прикрикнул Костя.

Лобзик все-таки не хотел брать палку. Тогда Костя насильно раскрыл ему пасть и сунул в нее палку, но, как только он отпустил руки, Лобзик разжал зубы, и палка упала на пол.

— Ну вот, уже забыл, чему я его вчера учил! — проворчал Костя. — Придется теперь повторять все сначала.

Он снова сунул палку в пасть Лобзику, а мне велел держать Лобзика за нос так, чтоб он не мог раскрыть рот. Таким образом Лобзик подержал во рту некоторое время палку, а мы дали ему за это кусок сахара. Это упражнение мы проделали несколько раз. Лобзик постепенно понял, что после того, как он подержит в зубах палку, ему дадут сахару, и стал держать палку в зубах сам, без посторонней помощи. Правда, он норовил поскорей бросить палку и получить сахар, но тогда Костя не давал ему сахару и снова заставлял держать палку.

Домой в этот день я вернулся поздно и увидел, что нарушил весь свой режим. Я решил, что летом, когда наступят каникулы, тоже заведу себе собаку и займусь дрессировкой, а сейчас, пока идут занятия, этого делать не стоит, так как дрессировка отнимает очень много времени. Я только начал учиться по арифметике как следует и вдруг опять стану получать двойки. В первую очередь нужно самому учиться, а потом уже можно учить собак.

А Шишкин все свободное время возился с Лобзиком и выучил его не только держать палку в зубах, но и таскать ее за собой. Правда, все это Лобзик делал не даром, а за сахар, но трудился очень усердно. За какой-нибудь маленький кусочек сахару он мог тащить палку или даже целое полено как отсюда до Вокзального переулка. Шишкин говорил, что выучит Лобзика не только этому, но и многому другому, только больше пока ничему не научил, потому что ему надоело, и вообще он долго не любил заниматься одним делом, а перескакивал с одного на другое и ничего не доводил до конца.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы давно уже собирались пойти всем классом в цирк. Володя сказал, что купит на всех билеты, и мы с нетерпением ждали этого дня. Мы уже несколько раз ходили всем классом в кино, но в цирке еще ни разу не были. Я лично давно в цирке не был, а Шишкин был так давно, что совсем почти ничего не помнил. Помнил только, что там были какие-то звери, не то львы, не то тигры, или, может быть, лошади, и больше ничего не помнил. Он тогда был еще совсем маленьким. Особенно нам хотелось посмотреть мотоциклиста, который ездил внутри шара из металлических прутьев. Мы давно уже видели расклеенные по городу афиши и слышали рассказы от тех, кто видел этого мотоциклиста. В огромный шар, сделанный из крепких металлических прутьев, влезает мотоциклист и начинает ездить внутри этого шара на мотоцикле. И вот нижняя половина шара отделяется от верхней и

опускается вниз. Мотоциклист остается в верхней половине шара и продолжает ездить. Самое удивительное было то, что мотоциклист не вываливался из этой половины шара, хотя она и висела в воздухе вверх дном. Говорили, будто, когда мотоциклист мчится внутри шара с огромной скоростью, получается какая-то центробежная сила, которая прижимает мотоцикл к шару и не позволяет ему упасть вниз. Но если скорость мотоцикла уменьшится, центробежная сила пропадет и мотоцикл упадет вниз.

Некоторые ребята говорили, что всех не возьмут в цирк, потому что Володя не сможет достать на всех билеты, а возьмут только круглых отличников. Другие говорили, что возьмут всех, только Шишкина не возьмут. Третьи говорили, что совсем никого не возьмут, потому что билеты, наверно, давно уже проданы.

Наконец билеты были куплены, и мы все пошли в цирк, даже Шишкин пошел. Явились мы задолго до начала представления, но это ничего: лучше прийти немножко раньше, чем опоздать, потому что тебя тогда совсем не пустят. Мы уселись на свои места и принялись рассматривать арену, покрытую огромным ковром. Над нашими головами были протянуты какие-то канаты. Вверху, под куполом цирка, висели трапеции, кольца, веревочные лестницы и другие разные приспособления. Огромное здание цирка постепенно наполнялось народом, так что наконец мне даже стало казаться, что весь город собрался здесь. Я решил сосчитать, сколько в цирке народу, досчитал до двухсот тридцати, сбился и начал сначала. В это время зажглись десятки огромных ламп, и в цирке стало светло, как днем. Все как будто ожило, стало нарядным и праздничным. Огромная толпа зрителей запестрела разноцветными красками. Я думал, что до начала представления еще далеко, и принялся разглядывать публику, но тут торжественно зазвенели литавры, посыпалась звонкая барабанная дробь, запиликали скрипки, закричали трубы, и... вдруг на арену выбежало множество акробатов. Они принялись прыгать и кувыркаться, подкидывать друг друга руками и ловить за ноги и ходить колесом. И так у них все ловко получалось, что каждому, кто сидел в цирке, тоже хотелось выскочить на арену и начать кувыркаться вместе с акробатами. Я тоже уже вскочил, чтоб бежать на арену, но меня удержала Ольга Николаевна и сказала, чтоб я сел, потому что мешаю другим смотреть. Я увидел, что никто не бежит на арену, и сел на место. Но все-таки я не мог усидеть спокойно, глядя на этих прыгунов-акробатов. Я готов был смотреть на них хоть весь вечер, но они скоро убежали, а вместо них стал выступать дрессировщик с дрессированными медведями. И вот какие ловкие оказались мишки! Они ходили по канату, качались на качелях, катались на бочках: бочка катится, а мишка стоит на ней во весь рост и перебирает лапами. А два медведя даже на велосипедах катались.

После медведей выступали эквилибристы. Они легли на землю, ноги подняли кверху и стали подбрасывать ногами какие-то разноцветные деревянные тумбы. Они крутили их, вертели, перебрасывали ногами друг другу. Иной человек руками того не сделает, что они вытворяли ногами.

Потом выступали дрессированные собачки. Они прыгали, кувыркались, ходили на задних лапках, возили друг дружку в колясочках, играли в футбол. А одна собака была такая храбрая! Ее подняли вверх, под самый купол цирка, и она прыгнула оттуда с парашютом. Потом дрессировщица сказала, что покажет собаку, которая умеет считать. И вот принесли стул, посадили на него маленькую черненькую собачку. Дрессировщица поставила перед ней три деревянные чурки и велела считать. Мы думали, как же собака будет считать, — ведь не может же она разговаривать. Но собака стала лаять и пролаяла ровно три раза. Публика обрадовалась и стала хлопать в ладоши. Дрессировщица похвалила собаку, дала ей кусочек сахара, потом поставила перед ней пять чурок и снова сказала:

— Считай!

Собака пролаяла пять раз.

Потом дрессировщица стала показывать ей цифры, написанные на картонных табличках. Собака каждый раз отвечала правильно.

Потом дрессировщица стала спрашивать:

— Сколько будет дважды два?

Собака пролаяла четыре раза.

— Сколько будет три плюс четыре?

Собака пролаяла семь раз.

— Сколько будет десять отнять четыре?

Собака пролаяла шесть раз.

Мы сидели и удивлялись: даже складывать и вычитать собака умела!

Еще выступали жонглеры. Они жонглировали тарелками и другими разными вещами, то есть подбрасывали их и ловили руками. Один подбрасывал сразу четыре тарелки, и другой — четыре тарелки. Потом стали швырять эти тарелки друг другу. И так это ловко у них получалось! Первый бросает второму, а второй в это же время первому, так что тарелки все время летят от одного человека к другому. И ни одной тарелки не разбили!

И еще там в цирке был клоун в голубых брюках, рыжем пиджаке и зеленой шляпе, и нос у него был красный-прекрасный. Он вовсе не был артистом, но делал то же, что и артисты, только гораздо хуже. После жонглеров он тоже вышел, принес три полена и стал ими жонглировать. Но кончилось это плохо: он треснул сам себя поленом по голове и ушел. После медведей, которые катались на велосипедах, он тоже выехал на велосипеде,

но тут же наехал на барьер, и весь его велосипед рассыпался на кусочки. А когда выступали наездники на лошадях, он стал просить, чтоб ему дали лошадь. Только он боялся свалиться с нее и попросил, чтоб его привязали канатом. И вот сверху спустили канат и привязали его позади за пояс. Тогда он стал взбираться на лошадь по хвосту, но лошадь брыкалась. Он хотел побежать за лестницей, чтоб взобраться на лошадь по лестнице, но не смог, так как был сзади канатом привязан. Тогда он стал просить наездника, чтобы он посадил его на лошадь. Наездник стал подсаживать его, но он никак не мог вскарабкаться.

— Ну, садись же! Садись на лошадь! — кричал наездник и изо всех сил толкал его снизу, а он, вместо того чтоб сесть на лошадь, как-то умудрился сесть на наездника.

И вот наездник бежит по всему цирку, а этот чудак в рыжем пиджаке на нем верхом сидит. Наездник кричит:

— Я ведь тебе говорил — садись на лошадь, а ты куда сел? Ты мне на шею сел!

Наконец его сняли с наездника и посадили на лошадь. Лошадь поскакала, а он свалился с нее, но не упал на землю, а принялся летать по цирку, расставив руки и ноги, потому что был сверху к канату привязан. Словом, это был такой человек: он все пытался делать, но ничего у него не выходило. Он только людей даром смешил! Умора!

Самым последним номером был «Шар смелости». Во время перерыва мы никуда не ходили, а сидели на своих местах и видели все приготовления. Сначала внизу собрали из отдельных частей верхнюю половину шара. Она была такая громадная, что под ней свободно могло бы поместиться человек двадцать и еще, наверно, место осталось бы. Потом верхнюю половину шара подняли кверху, под купол цирка, а внизу собрали такую же огромную нижнюю половину шара. В нее положили два мотоцикла и два велосипеда и все это подняли вверх, где нижняя половина соединилась с верхней. Внизу шара имелся люк, и из люка вниз спускалась веревочная лестница.

Перерыв кончился. Публика снова уселась на свои места. Снова зажегся яркий свет, и на арену вышли мотоциклисты. Они были одеты в голубые комбинезоны, на головах у них были надеты круглые шлемы, как у летчиков. Их было трое: двое мужчин и одна женщина. Они остановились у края арены, и публика приветствовала их громкими аплодисментами. Заиграла музыка, и вот они, гордые и смелые, с высоко поднятыми головами, стали подниматься по лестнице вверх. Один за другим они пролезли в люк и очутились внутри шара. Потом они закрыли люк изнутри крышкой и стали ездить внутри шара на велосипедах. Пока велосипед ездил с небольшой скоростью, он описывал небольшие круги внизу шара, но как только скорость станови-

лась больше, он взбирался все выше и выше, и велосипедист вместе с велосипедом держались наклонно, так что непонятно было, почему они не падают. Они ездили по одному и по двое, и женщина ездил не хуже мужчин.

Потом один мотоциклист завел мотоцикл. Раздался грохот, будто пулеметная пальба. Мотоциклист понесся внутри шара с огромной скоростью. Он пролетал со своим мотоциклом то вниз, то вверх, причем мотоцикл становился почти вверх ногами, и мы все время боялись, что мотоциклист вывалится из своего сиденья, но он не вывалился. Другой мотоциклист тоже завел свой мотоцикл и помчался вдогонку за первым мотоциклистом. Шум, грохот, пальба! Второй мотоциклист опустился на дно шара и остановился, а первый мотоциклист продолжал ездить в верхней половине шара.

И вот нижняя половина шара отделилась и стала медленно опускаться вниз, а мотоциклист так и остался ездить вверх. Когда нижняя половина шара опустилась на землю, мотоциклист и девушка вылезли из нее, а первый мотоциклист все ездил и ездил в верхней половине шара. Если бы он остановился, центробежная сила пропала бы — и он упал бы вниз. Теперь для него единственным спасением было все мчаться и мчаться с прежней скоростью. Затаив дыхание мы смотрели на него. Вдруг я подумал: «А что, если мотор испортится или остановится хотя бы на минуту? Скорость сейчас же уменьшится, и мотоцикл со страшной силой вылетит из шара и полетит вниз».

По временам мне казалось, что мотор начинает делать перебои, но все обошлось благополучно. Нижнюю половину шара снова подняли вверх. Мотоциклист замедлил скорость и стал кружиться в нижней половине шара. Круги становились все меньше и меньше. Наконец он остановился, вылез из люка и стал спускаться по лестнице вниз. Тысячи зрителей приветствовали его аплодисментами.

На этом представление кончилось, и было так жалко уходить из цирка, так жалко, что и сказать нельзя. Я решил: когда вырасту, буду каждый день ходить в цирк. Ну если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Мне это никогда не надоест!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На другой день я зашел к Шишкину, чтоб узнать, чем кормить ежа, потому что еж раздумал погружаться в спячку. Ночью он проснулся и принялся бродить по комнате, шуршал какими-то бумажками и никому не давал спать. Когда я пришел, то уви-

дел, что Шишкин лежит на полу посреди комнаты, ноги задрал кверху, а в руках у него чемодан.

— Ты чего на полу валяешься? — спрашиваю я.

— Это я решил сделаться эквилибристом, — говорит он. — Сейчас буду вертеть чемодан ногами.

Он поднял чемодан руками и старался подхватить его ногами, но это ему никак не удавалось.

— Мне бы, — говорит, — его только ногами подхватить. Ну-ка, помоги, возьми чемодан и положи мне на ноги.

Я взял чемодан и положил ему на ноги. Некоторое время он держал его на вытянутых ногах, потом стал потихоньку поворачивать, но тут чемодан соскользнул и полетел на пол.

— Нет, — сказал Шишкин, — так ничего не выйдет. Надо разуться, а то ботинки слишком скользкие.

Он снял ботинки, снова лег на спину и поднял ноги кверху. Я опять положил ему чемодан на ноги.

— Вот теперь, — сказал Костя, — совсем другое дело!

Он опять стал пытаться повернуть его ногами, но тут чемодан снова полетел вниз и больно стукнул его по животу. Шишкин схватился за живот и заохал.

— Ох, ох! — говорит. — Так и убиться можно! Этот чемодан слишком тяжелый. Лучше я что-нибудь другое буду вертеть, полегче.

Стали мы искать что-нибудь другое, полегче. Ничего не нашли. Тогда он снял с дивана подушку, свернул ее, как будто трубку, и обвязал потуже веревкой, словно любительскую колбасу.

— Ну вот, — говорит, — подушка мягкая, если и упадет, то не ударит больно.

Он снова лег на пол, и я положил ему эту «колбасу» на ноги. Он опять попробовал ее вертеть, но у него все равно ничего не вышло.

— Нет, — сказал он, — лучше я сначала буду учиться ловить ее ногами, как тот эквилибрист в цирке. Ты бросай ее издали, а я буду подхватывать на ноги.

Я взял подушку, отошел в сторону — и как брошу! Подушка полетела, но не попала ему на ноги, а попала по голове.

— Ах ты, растяпа! — закричал Шишкин. — Не видишь, куда бросаешь! На ноги надо бросать!

Тогда я взял подушку и бросил ему на ноги. Костя задрогал ногами, но все-таки не смог ее удержать. Так я бросал подушку раз двадцать, и ему удалось один раз ее подхватить ногами и удержать.

— Видал? — закричал он. — Прямо как у настоящего циркача получилось!

Я тоже решил попробовать, лег на спину и стал ловить по-

душку ногами. Только мне ни разу не удалось ее поймать. Наконец я выбился из сил. Спина у меня болела, будто на мне кто-нибудь верхом ездил.

— Ну ладно,— говорит Шишкин,— на сегодня упражнений с подушкой довольно. Давай упражняться со стульями.

Он сел на стул и стал постепенно наклонять его назад, чтоб он стоял только на двух задних ножках. Вот он наклонял его, наклонял, наконец стул опрокинулся, Шишкин полетел на пол и больно ушибся.

Тогда я стал пробовать, не получится ли что-нибудь у меня. Но у меня получалось то же самое: я полетел вместе со стулом на пол и набил на затылке шишку.

— Нам еще, видно, рано такие упражнения делать,— сказал Костя.— Давай лучше учиться жонглировать.

— Чем же мы будем жонглировать?

— А тарелками, как жонглеры в цирке.

Он полез в шкаф и достал две тарелки.

— Вот,— говорит,— ты бросай мне, а я тебе. Как только я брошу свою тарелку, ты сейчас же бросай свою мне, а мою лови, а я твою буду ловить.

— Постой,— говорю,— мы ведь сразу разобьем тарелки, и ничего не выйдет.

— Это правда,— говорит он.— Давай вот что: будем сначала одной тарелкой жонглировать. Когда научимся как следует одну ловить, начнем двумя, потом тремя, потом четырьмя, и так у нас пойдет, как у настоящих жонглеров.

Мы стали швырять одну тарелку и сейчас же ее разбили. Потом взяли другую и тоже разбили.

— Нет, это не годится,— сказал Шишкин.— Так мы перебьем всю посуду, и ничего не выйдет. Надо достать что-нибудь железное.

Он разыскал на кухне небольшой эмалированный тазик. Мы стали жонглировать этим тазиком, но нечаянно попали в окно. Еще хорошо, что мы совсем не высадили стекло — на нем только получилась трещина.

— Вот так неприятность! — говорит Костя.— Надо что-нибудь придумать.

— Может быть, заклеить трещину бумагой? — предложил я.

— Нет, так еще хуже будет. Давай вот что: вынем в коридоре стекло и вставим сюда, а это стекло вставим в коридоре. Там никто не заметит, что оно с трещиной.

Мы отковыряли от окна замазку и стали вытаскивать стекло с трещиной. Трещина увеличилась, и стекло распалось на две части.

— Ничего,— говорит Шишкин.— В коридоре может быть стекло из двух половинок.

Потом мы пошли и вынули стекло из окна в коридоре, но

это стекло оказалось немного больше и не влезало в оконную раму в комнате.

— Надо его подрезать,— сказал Шишкин.— Не знаешь, у кого-нибудь из ребят есть алмаз?

Я говорю:

— У Васи Ерохина есть, кажется.

Пошли мы к Васе Ерохину, взяли у него алмаз, вернулись обратно и стали искать стекло, но его нигде не было.

— Ну вот,— ворчал Шишкин,— теперь стекло потерялось!

Тут он наступил на стекло, которое лежало на полу. Стекло так и затрещало.

— Это какой же дурак стекло положил на пол? — закричал Шишкин.

— Кто же его положил? Ты же и положил,— говорю я.

— А разве не ты?

— Нет,— говорю,— я к нему и не прикасался. Не нужно тебе было его на пол класть, потому что на полу оно не видно и на него легко наступить.

— Чего ж ты мне этого не сказал сразу?

— Я не сообразил тогда.

— Вот из-за твоей несообразительности мне теперь от мамы нагоняй будет! Что теперь делать? Стекло разбилось на пять кусков. Лучше мы его склеим и вставим обратно в коридор, а сюда вставим то, что было,— все-таки меньше кусков получится.

Мы начали вставлять стекло из кусков в коридоре, но куски не держались. Мы пробовали их склеивать, но было холодно, и клей не застывал. Тогда мы бросили это и стали вставлять стекло в комнате из двух кусков, но Шишкин уронил один кусок на пол, и он разбился вдребезги. Как раз в это время вернулась с работы мать. Шишкин стал ей рассказывать, что тут у нас случилось.

— Ты прямо хуже маленького! — сказала мать.— Тебя страшно одного оставлять дома! Того и гляди, чего-нибудь натворишь!

— Я вставляю, вот увидишь,— говорит Шишкин.— Я все из кусочков сделаю.

— Еще чего не хватало! Из кусочков! Придется позвать стекольщика. А это еще что за осколки?

— Я тарелку разбил,— ответил Шишкин.

— О-о-о! — только сказала мама.

Она закрыла глаза и приложила обе руки к вискам, будто у нее заболела вдруг голова.

— Убери это сейчас же — и марш заниматься! Уроки небось и не думал учить! — закричала она.

Мы с Костей собрали с полу осколки и отнесли их в мусорный ящик.

— У тебя мама все-таки добрая,— сказал я Косте.— Если

бы я такого натворил дома, разговору было бы на целый день.

— Не беспокойся, еще разговор будет. Вот подожди, скоро придет тетя Зина, она мне намылит голову. Еще и тебе попадет.

Я не стал дожидаться прихода тети Зины и поскорее ушел домой.

На другой день я встретил Шишкина на улице утром, и он сказал, что не пойдет в школу, а пойдет в амбулаторию, потому что ему кажется, будто он болен. Я пошел в школу, и, когда Ольга Николаевна спросила, почему нет Шишкина, я сказал, что он сегодня, наверно, не придет, так как я его встретил на улице и он сказал, что идет в амбулаторию.

— Проведай его после школы,— сказала Ольга Николаевна.

В этот день у нас был диктант. После школы я сделал сначала уроки, а потом пошел к Шишкину. Его мама уже вернулась с работы. Шишкин увидел меня и стал делать какие-то знаки: прижимать палец к губам, мотать головой. Я понял, что мне нужно о чем-то молчать, и вышел с ним в коридор.

— Ты не говори маме, что я не был сегодня в школе,— сказал он.

— А почему ты не был? Что тебе в амбулатории сказали?

— Ничего не сказали.

— Почему?

— Да там врач какой-то бездушный. Я ему говорю, что я болен, а он говорит: «Нет, ты здоров». Я говорю: «Я сегодня так чихал, что у меня чуть голова не оторвалась», а он говорит: «Почихаешь и перестанешь».

— А может быть, ты и на самом деле не был болен?

— Да, ну конечно, не был.

— Зачем же в амбулаторию пошел?

— Ну, я утром сказал маме, что болен, а она говорит: «Если болен, то иди в амбулаторию, а я больше не буду тебе в школу записок писать, ты и так много пропустил».

— Зачем же ты сказал маме, что болен, если вовсе не болен?

— Ну как ты не понимаешь? Ведь Ольга Николаевна сказала, что сегодня будет диктант. Чего же я пойду? Очень мне интересно опять получить двойку!

— Что же ты теперь будешь делать? Ведь завтра Ольга Николаевна спросит, почему ты не пришел в школу.

— Не знаю, что и делать! Я, наверно, и завтра не пойду в школу, а если Ольга Николаевна спросит, то скажи, что я заболел.

— Слушай,— говорю я,— это ведь глупо. Лучше ты признайся маме и попроси, чтоб она написала записку.

— Ну уж не знаю... Мама сказала, что больше не будет писать никаких записок, чтоб я не приучался прогуливать.

— Что же,— говорю я,— если такой случай вышел. Ты и

завтра не пойдешь и послезавтра — что же это получится? Скажи маме, она поймет.

— Ну ладно, я скажу, если смелости хватит.

На следующий день Шишкин снова не пришел в школу, и я понял, что у него не хватило смелости признаться маме, Ольга Николаевна спросила меня о Шишкине, я сказал, что он болен, а когда она спросила, чем он болен, я придумал, что у него грипп.

Вот как по милости Шишкина я сделался обманщиком. Но не мог же я наябедничать на него, если он просил никому не говорить!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

После занятий я зашел к Шишкину и рассказал, что мне пришлось из-за него Ольге Николаевне соврать, а он стал рассказывать, как бродил целое утро по городу, вместо того чтоб пойти в школу, потому что побоялся признаться маме, а без записки тоже не мог явиться в школу.

— Что же ты будешь делать? — спрашиваю я. — Ты и сегодня не скажешь маме?

— Не знаю. Я вот что думаю: лучше я в цирк поступлю.

— Как — в цирк? — удивился я.

— Ну, поступлю в цирк и буду артистом.

— Что же ты будешь делать в цирке?

— Ну, что... Что и все артисты делают. Выучу Лобзика считать и буду с ним выступать, как та артистка.

— А вдруг тебя не возьмут?

— Возьмут.

— А как же со школой?

— А в школу совсем не буду ходить. Только ты, пожалуйста, не выдавай меня Ольге Николаевне, будь другом!

— Так мама ведь все равно в конце концов узнает, что ты в школу не ходишь.

— Ну, пока не узнает, а потом, когда я поступлю в цирк, я сам ей скажу, и все будет в порядке.

— А вдруг тебе не удастся выучить Лобзика?

— Удастся. Почему не удастся? Вот мы сейчас попробуем. Лобзик! — закричал он.

Лобзик подбежал и принялся юлить вокруг.

Шишкин достал из буфета сахарницу и сказал:

— Сейчас, Лобзик, ты будешь учиться считать. Если будешь считать хорошо, получишь сахар. Будешь плохо считать — ничего не получишь.

Лобзик увидел сахарницу и облизнулся.

— погоди облизываться. Облизываться будешь потом.

Шишкин вынул из сахарницы десять кусков сахара и сказал:

— Будешь сначала учиться считать до десяти, а потом и дальше пойдем. Вот у меня десять кусков сахара. Смотри, я буду считать, а ты постарайся запомнить.

Он начал выкладывать перед Лобзиком на табурет куски сахара и громко считал: «Один, два, три...» И так до десяти.

— Вот видишь, всего десять кусков. Понял?

Лобзик завилял хвостом и потянулся к сахару.

Костя щелкнул его по носу и сказал:

— Научись сначала считать, а потом тянись к сахару!

Я говорю:

— Как же он может научиться сразу до десяти? Этому и ребят не сразу учат.

— Тогда, может, научить его сначала до пяти или до трех?

— Конечно,— говорю,— до трех ему будет легче.

— Ну, давай тогда сначала до двух,— говорит Костя.— Ему тогда совсем легко будет.

Он убрал со скамейки весь сахар и оставил только два кусочка.

— Смотри, Лобзик, сейчас здесь только два куска — один, два, вот видишь? Если я заберу один, то останется один. Если положу обратно, то опять будет два. Ну, отвечай, сколько здесь сахара?

Лобзик привстал, помахал хвостом, потом сел на задние лапы и облизнулся.

— Как же ты хочешь, чтобы он ответил? — сказал я.— Кажется, он у нас еще не выучился говорить по-человечески.

— Зачем по-человечески? Пусть говорит по-собачьи, как та собака в цирке. Гау! Гау! Понимаешь, Лобзик, «гау-гау» — значит «два». Ну, говори «гау-гау»!

Лобзик молча поглядывал то на меня, то на Шишкина.

— Ну, чего же ты молчишь? — сказал Шишкин.— Может быть, не хочешь сахара?

Вместо ответа Лобзик снова потянулся к сахару.

— Нельзя! — закричал Шишкин строго.

Лобзик в испуге попятился и принялся молча облизываться.

— Ну, говори «гау-гау»! Говори «гау-гау»! — приставали мы к нему оба.

— Не понимает! — воскликнул с досадой Шишкин.— Надо его как-нибудь раззадорить. Слушай, сейчас я буду дрессировать тебя, а он пусть смотрит и учится.

— Как это ты будешь дрессировать меня? — удивился я.

— Очень просто. Ты становись на четвереньки и лай по-собачьи. Он посмотрит на тебя и выучится.

Я опустился рядом с Лобзиком на четвереньки.

— Ну-ка, отвечай: сколько здесь сахара? — спросил меня Шишкин.

— Гау! Гау! — ответил я громко.

— Молодец! — похвалил меня Шишкин и сунул мне в рот кусок сахара.

Я принялся грызть сахар и нарочно громко хрустел, чтоб Лобзику стало завидно.

Лобзик с завистью смотрел на меня, и у него даже потекли слюнки.

— Ну, смотри, Лобзик, теперь здесь остался один кусок сахара. Гау — один. Понимаешь? Ну, отвечай: сколько здесь сахара?

Лобзик нетерпеливо фыркнул, зажмурился и стал стучать по полу хвостом.

— Ну отвечай, отвечай! — твердил Шишкин.

Но Лобзик никак не мог догадаться, что ему нужно лаять.

— Эх ты, бестолковый! — сказал ему Шишкин и снова обратился ко мне: — Ну, отвечай ты!

— Гау! — закричал я, и опять кусок сахара очутился у меня во рту.

Лобзик только облизнулся и фыркнул.

— Сейчас мы его раззадорим, — сказал Шишкин.

Он снова положил на табурет кусок сахара и сказал:

— Вот, кто первый ответит, тот и получит сахар. Ну, считайте.

— Гау! — закричал я.

— Вот молодец! — похвалил Шишкин. — А ты остолоп!

Он взял кусок сахара, медленно поднес к носу Лобзика, пронес мимо и сунул мне в рот. Я опять громко зачавкал и захрустел сахаром. Лобзик облизнулся, чихнул и смущенно затряс головой.

— Ага, завидно стало! — обрадовался Шишкин. — Кто лает, тот и сахар получает, а кто не лает, тот сидит без сахара.

Он снова положил перед Лобзиком кусок сахара и сказал:

— Считай теперь ты.

Лобзик облизнулся, затряс головой, встал, потом сел, фыркнул.

— Ну считай, считай, иначе не получишь сахара!

Лобзик как-то напрягся, подался назад и вдруг как залает.

— Понял! — закричал Шишкин и бросил ему кусок сахара.

Лобзик на лету подхватил сахар и проглотил в два счета.

— Ну-ка, считай еще раз! — закричал Шишкин.

— Гаф! — ответил Лобзик.

И снова кусок сахара полетел ему в рот.

— Ну-ка, еще разочек!

— Гаф!

— Понял! — обрадовался Шишкин. — Теперь у нас пойдет наука.

В это время вернулась мать Шишкина.

— Почему сахарница на столе? — спросила она.

— Это я взял немного сахара, чтоб выучить считать Лобзика.

— Еще что выдумал!

— Да ты только послушай, как он считает.

Шишкин положил перед Лобзиком кусок сахара и сказал:

— Ну-ка, скажи, Лобзик, маме, сколько здесь кусков сахара?

— Гаф! — ответил Лобзик.

— И это все? — спросила мама.

— Все, — сказал Шишкин.

— Не многому же он у вас научился!

— А что ты хочешь? Ведь Лобзик — не человек. Сейчас он научился до одного считать, потом мы научим его до двух, потом — до трех, а там, глядишь, он и все цифры выучит.

— Глядишь, придется мне от тебя сахарницу прятать, — сказала мама.

— Я ведь не для себя беру, — обиделся Шишкин. — Я для науки.

— «Для науки»! — усмехнулась мама. — А свои уроки ты сделал?

— Нет еще, сейчас буду делать.

— Ты ведь обещал, что к моему приходу у тебя всегда будут уроки сделаны.

— Будут, будут! Это я только сегодня забыл из-за Лобзика.

— Ну, смотри же! Если не будешь уроки делать вовремя, то не разрешу тебе брать сахар и сахарницу спрячу.

Мы с Костей засели делать уроки вместе, потому что он ведь даже не знал, что на дом задано, а на другой день принялись продолжать обучение Лобзика.

— Надо учить его не только сахар считать, а чтоб он понимал цифры, — сказал Костя.

Мы взяли кусочек картона, написали на нем цифру «один» и показали Лобзику.

— Вот это, Лобзик, цифра «один». Все равно что один кусок сахара, — сказал Шишкин. — Ну, говори: какая это цифра?

— Гаф! — снова тявкнул Лобзик.

— Молодец! Это он сразу понял, — обрадовался Шишкин. — Теперь перейдем к цифре «два».

Он положил перед Лобзиком два куса сахара и сказал:

— Считай!

— Гаф! — ответил Лобзик.

— Неправильно! Ты говоришь — один, а тут два. Что нужно ответить?

— Гаф! — снова ответил Лобзик.

— «Гаф»! — передразнил его Костя. — Где же тут «гаф», когда здесь «гаф-гаф»? У тебя на плечах что: голова или кочан капусты?

— Гаф! — ответил Лобзик.

— Затвердила сорока Якова одно про всякого! Где ты тут видишь один? — закричал Шишкин.

Лобзик в испуге даже попятился.

— Ты не кричи, — говорю я. — С собакой надо вежливо обращаться, потому что она будет бояться и ничему не научится.

Шишкин снова принялся объяснять Лобзику, что один — это один, а два — это два.

— Ну, считай! — приказал он ему.

— Гаф! — снова твякнул Лобзик.

— Еще раз! Еще! — подсказал я.

Лобзик покосился на меня. Я закивал головой и заморгал глазами. Тогда он несмело твякнул еще раз.

— Вот теперь — два! — обрадовался Шишкин и бросил ему кусок сахара. — Ну-ка, считай еще раз.

Лобзик пролаял еще раз.

— Еще раз! Ещё! — зашептал я снова.

— А ты не подсказывай ему! — говорит Шишкин. — Он сам должен знать. Отвечай, Лобзик!

Лобзик пролаял еще раз.

— Правильно, — сказал Шишкин. — Только ты должен лаять два раза подряд.

Он снова заставил его считать. Лобзик и на этот раз пролаял раз, а потом увидел, что мы от него еще чего-то ждем, и пролаял второй раз. Постепенно мы добились, что он лаял два раза подряд, и перешли к цифре «три». Занятия пошли так успешно, что в этот день мы выучили все цифры до десяти, но когда стали на другой день повторять, то оказалось, что у Лобзика все в голове перепуталось. Когда показывали ему цифру «три», он отвечал, что это четыре, или пять, или десять. Когда показывали десять, он говорил, что это два, короче говоря — молот разную чепуху. Костя злился, кричал на Лобзика и воображал, что это он назло ему отвечает неправильно. Иногда Лобзик отвечал правильно, но, наверно, это получалось случайно, а Костя говорил:

— Вот видишь, ответил правильно — значит, знает, какая это цифра, а спроси его в другой раз, ни за что не ответит. Такой прохвост!

Он подозревал, что Лобзику просто надоело учиться и он нарочно отвечает неправильно, чтоб от него отстали. Вот, например, Костя показывает ему цифру «пять», а Лобзик отвечает, что это четыре.

— Да не четыре, Лобзик, посмотри хорошенько,— говорит ласково Костя.

Лобзик снова отвечает, что это четыре.

— Ну, не глупи, Лобзик, ты же сам видишь, что это не четыре,— уговаривает его Костя.

«Четыре»,— упрямо твердит Лобзик.

— Дурак! — начинает сердиться Костя.— Считай правильно, тебе говорят!

«Четыре»,— отвечает Лобзик.

— Вот я дам тебе четыре раза по шее, тогда узнаешь, как злить человека! Вот скажи еще раз «четыре», я тебе покажу!

«Четыре»,— опять повторяет Лобзик.

— Ты видишь, что он со мной делает? — кипятится Костя. Он берет цифру «четыре» и показывает Лобзику:

— Ну, а это, по-твоему, какая цифра?

Лобзик отвечает, что это пять.

— Вот видишь! — выходил из себя Костя.— Когда ему показывали пять, так он все время твердил, что это четыре, а когда показали четыре, он говорит, что это пять! А ты говоришь, что он это не назло мне делает! Я знаю, почему он на меня злится. Утром я нечаянно наступил ему на лапу, так он запомнил и теперь мстит мне.

Я не знал, хитрил Лобзик или не хитрил, но было ясно, что из нашей дрессировки никакого толку не вышло. Может быть, мы с Шишкиным были плохие учителя, а может быть, сам Лобзик был никудышный ученик, не способный к арифметике.

— Может быть, лучше признаться маме да идти в школу? — сказал я Косте.

— Нет, нет! Я не могу! Теперь я уже столько прогулял. Мама как узнает, так и не знаю, что с нею будет. Шуточка дело! Если б я один день прогулял.

— Тогда, может быть, рассказать Ольге Николаевне и поговорить с ней? — предложил я.

— Нет, мне стыдно говорить Ольге Николаевне.

— Ну, если тебе стыдно, то, может быть, я расскажу ей?

— Ты? Выдавать меня пойдешь? Знать тебя не хочу больше!

— Зачем,— говорю,— выдавать? Вовсе я не собираюсь тебя выдавать. Ты сам говоришь, что тебе стыдно, ну я бы и сказал, чтоб тебе стыдно не было.

— «Стыдно не было»! — передразнил меня Шишкин.— Да мне в двадцать раз стыдней будет, если ты скажешь! Молчал бы лучше, если ничего не можешь придумать умней!

— Что же делать? — спрашиваю я.— С Лобзиком ничего не вышло. В цирк тебе все равно не поступить. Или ты еще надеешься Лобзика выучить?

— Нет, на него я уже не надеюсь. По-моему, Лобзик —

это или отчаянный плут, или круглый осел. Все равно из него никакого толку не будет. Мне надо другую собаку достать. Или вот что: лучше я акробатом стану.

— Как же ты акробатом станешь?

— Ну, буду кувыркаться и на руках ходить. Я уже пробовал, и у меня немножко получается, только я не могу все время вверх ногами стоять. Надо, чтоб сначала меня кто-нибудь за ноги держал, а потом я и сам смогу. Вот поддержи меня за ноги, я попробую.

Он встал на четвереньки, я поднял его за ноги кверху, и он стал ходить на руках по комнате, но скоро руки у него устали и подогнулись. Он упал и ударился головой об пол.

— Это ничего,— сказал Шишкин, поднявшись и потирая ушибленную голову.— Постепенно руки у меня окрепнут, и тогда я смогу ходить без посторонней помощи.

— Но ведь на акробата долго учиться надо,— говорю я.

— Ничего, скоро зимние каникулы. Я как-нибудь дотяну до каникул.

— А после каникул что будешь делать? Ведь зимние каникулы скоро кончатся.

— Ну, а там как-нибудь дотяну до летних каникул.

— Это долго тянуть придется.

— Ничего.

Станный это был человек. На все у него был один ответ: «Ничего». Стоило ему придумать какое-нибудь дело, и он уже воображал, что дело сделано. Но я-то видел, что все это пустая затея и все его мечты через несколько дней разлетятся как дым.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Костины мама и тетя вовсе не догадывались, что он в школу не ходит. Когда его мама приходила с работы, она первым делом проверяла его уроки, а у него все оказывалось сделано, потому что каждый раз я приходил к нему и говорил, что задано. Шишкин так боялся, чтоб мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо школы отправлялся бродить по городу. Дома он не мог оставаться, так как тетя Зина занималась во второй смене и уходила в училище поздно. Но шататься без толку по улицам тоже было опасно. Однажды он чуть не встретился с нашей учительницей английского языка и поскорей свернул в переулок, чтоб она не увидела его. В другой раз он увидел на улице соседку и спрятался от нее в чужое парадное. Он стал бояться ходить по улицам и забирался куда-

нибудь в самые отдаленные кварталы города, чтоб не встретить кого-нибудь из знакомых. Ему все время казалось, что все прохожие на улице смотрят на него и подозревают, что он нарочно не пошел в школу. Дни в это время были морозные, и шататься по улицам было холодно, поэтому он иногда заходил в какой-нибудь магазин, согревался немножко, а потом отправлялся дальше. Я чувствовал, что все это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Шишкин ни на минуту не выходил у меня из головы. В классе пустое место за нашей партой все время напоминало мне о нем. Я представлял себе, как, пока мы сидим в теплом классе, он крадется по городу совсем один, точно вор, как он прячется от людей в чужие подъезды, как заходит в какой-нибудь магазин, чтоб погреться. От этих мыслей я стал рассеянным в классе и плохо слушал уроки. Дома я тоже все время думал о нем. Ночью никак не мог уснуть, потому что мне в голову лезли разные мысли, и я старался найти для Шишкина какой-нибудь выход. Если б я рассказал об этом Ольге Николаевне, то Ольга Николаевна сразу вернула бы Шишкина в школу, но я боялся, что тогда все считали бы меня ябедой. Мне очень хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, и я решил поговорить с Ликой.

— Слушай, Лика,— спросил я ее.— У вас в классе девчонки выдают друг дружку?

— Как это выдают?

— Ну, если какая-нибудь ученица чего-нибудь натворит, то другая ученица скажет учительнице? Был у вас в классе такой случай?

— Был,— говорит Лика.— Недавно Петрова сломала на окне гортензию, а Антонина Ивановна подумала на Сидорову и хотела наказать ее, сказала, чтоб родители пришли в школу. Но я видела, что это Петрова сломала гортензию, и сказала об этом Антонине Ивановне.

— Зачем же тебе нужно было говорить? Значит, ты у нас ябеда?

— Почему ябеда? Я ведь правду сказала. Если б не я, Антонина Ивановна наказала бы Сидорову, которая совсем не виновата.

— Все равно ябеда,— говорю я.— У нас ребята не выдают друг друга.

— Значит, ваши ребята сваливают один на другого.

— Почему — сваливают?

— Ну, если б ты в классе сломал гортензию, а учительница подумала на другого...

— У нас,— говорю,— гортензии не растут. У нас в классе кактусы.

— Все равно. Если бы ты сломал кактус, а учительница

подумала на Шишкина, и все бы молчали, и ты бы молчал, значит, ты свалил бы на Шишкина.

— А у Шишкина разве языка нету? Он бы сказал, что это не он,— говорю я.

— Он мог сказать, а его все-таки подозревали бы.

— Ну и пусть подозревали бы. Никто же не может доказать, что это он, раз это не он.

— У нас в классе не такой порядок,— говорит Лика.— Зачем нам, чтобы кого-нибудь напрасно подозревали? Если кто виноват, сам должен признаться, а если не признается, каждый имеет право сказать.

— Значит, у вас там все ябеды.

— Совсем не ябеды. Разве Петрова поступила честно? Антонина Ивановна хочет вместо нее другую наказать, а она сидит и молчит, рада, что на другую подумали. Если б я тоже молчала, значит, я с ней заодно. Разве это честно?

— Ну ладно,— говорю я.— Этот случай совсем особенный. А не было у вас такого случая, чтоб какая-нибудь девочка не явилась в школу, а дома говорила, что в школе была?

— Нет, у нас такого случая не было.

— Конечно,— говорю я.— Разве у вас такое может случиться! У вас там все примерные ученицы.

— Да,— говорит Лика,— у нас класс хороший. А разве у вас был такой случай?

— Нет. У нас,— говорю,— нет. Такого случая еще не было.

— А почему ты спрашиваешь?

— Так просто. Интересно узнать.

Я перестал разговаривать с Ликой, а сам все время думал о Шишкине. Мне очень хотелось посоветоваться с мамой, но я боялся, что мама сейчас же сообщит об этом в школу, и тогда все пропало. А мама и сама заметила, что со мной что-то неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, будто знала, что я о чем-то хочу поговорить с ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что-то сказать ей. Но она никогда не требует, чтоб я говорил, а ждет, чтоб я сам сказал. Она говорит: если что-нибудь случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь, чем если меня заставят это сделать. Не знаю, как это мама догадывается. Наверно, у меня просто лицо такое, что на нем все как будто написано, что у меня в голове. И вот я так сидел и все поглядывал на маму и думал, сказать ей или не сказать, а мама тоже нет-нет да и взглянет на меня, словно ждет, чтоб я сказал. И мы долго так переглядывались с ней, и оба только делали вид: я — будто книжку читаю, а она — будто рубашку шьет. Это, наверно, было бы смешно, если бы мне в голову не лезли грустные мысли о Шишкине.

Наконец-таки мама не вытерпела и, усмехнувшись, сказала:

— Ну, докладывай, что у тебя там?

— Как это докладывай? — притворился я, будто не понимаю.

— Ну говори, о чем хочешь сказать.

— О чем же я хочу сказать? Ни о чем я не хочу сказать, — стал я выкручиваться, а сам уже чувствую, что сейчас же обо всем расскажу, и рад, что мама сама об этом заговорила, так как легче сказать, когда тебя спрашивают, чем когда не спрашивают вовсе.

— Будто я не вижу, что ты о чем-то хочешь сказать! Ты уже три дня ходишь как в воду опущенный и воображаешь, что никто этого не замечает. Ну, говори, говори! Все равно ведь скажешь. Что-нибудь в школе случилось?

— Нет, не в школе, — говорю. — Да нет, — говорю, — в школе.

— Что, опять небось получил двойку?

— Ничего я не получил.

— Что же с тобой случилось?

— Да это не со мной вовсе. Со мной ничего не случилось.

— С кем же?

— Ну, с Шишкиным.

— А с ним что же?

— Да не хочет учиться.

— Как не хочет?

— Ну, не хочет, и все!

Тут я увидел, что проговорился, и подумал: «Батюшки, что же я делаю? А вдруг мама завтра же пойдет в школу и скажет учительнице!»

— Что же, Шишкин уроков не делает? — спросила мама. — Двойки получает?

Я увидел, что не совсем еще проговорился, и сказал:

— Не делает. По русскому у него двойка. Совсем не хочет по русскому учиться. У него с третьего класса запущено.

— Как же он в четвертый-то класс перешел?

— Ну, не знаю, — говорю. — Он к нам из другой школы перевелся. В третьем классе у нас не учился.

— Почему же учительница не обратит на него внимания? Его подтянуть надо.

— Так он, — говорю, — хитрый, как лисица! Что на дом задано, спишет, а когда в классе диктант или сочинение, не придет вовсе.

— А ты бы занялся с ним. Ведь думаешь о товарище, огорчаешься из-за него, а помочь не хочешь.

— Поможешь, — говорю, — ему, когда он сам не хочет заниматься!

— Ну, ты растолкуй ему, что учиться надо, подействуй на него. Ты вот сумел взяться за дело сам, а ему помощь нужна. По-

падется ему хороший товарищ, и он выправится, и из него настоящий человек выйдет.

— Разве я ему плохой товарищ? — говорю я.

— Значит, не плохой, если думаешь о нем.

Мне стало очень стыдно, что я не сказал маме всей правды, поэтому я поскорей оделся и пошел к Шишкину, чтоб поговорить с ним как следует.

Странное дело! Почему-то именно в эти дни я по-настоящему подружился с Шишкиным и по целым дням думал о нем. Шишкин тоже изо всех сил привязался ко мне. Он скучал по школьным товарищам и говорил, что теперь, кроме меня, у него никого не осталось.

Когда я пришел, Костя, его мама и тетя Зина сидели за столом и пили чай. Над столом горела электрическая лампочка под большим голубым абажуром, и от этого абажура вокруг было как-то сумрачно, как бывает летним вечером, когда солнышко уже зашло, но на дворе еще не совсем стемнело. Все очень обрадовались моему приходу. Меня тоже усадили за стол и стали угощать чаем с баранками. Костина мама и тетя Зина принялись расспрашивать меня о моей маме, о папе, о том, где он работает и что делает. Костя молча слушал наш разговор. Он опустил в стакан с чаем половину баранки. Баранка постепенно разбухала в стакане и становилась все толще и толще. Наконец она раздулась почти во весь стакан, а Костя о чем-то задумался и как будто совсем позабыл о ней.

— О чем это ты там задумался? — спросила его мама.

— Так просто. Я думаю о моем папе. Расскажи о нем что-нибудь.

— Что же рассказывать? Я уже все рассказала.

— Ну, ты еще расскажи.

— Вот любит, чтоб ему об отце рассказывали, а сам ведь и не помнит его, — сказала тетя Зина.

— Нет, я помню.

— Что же ты можешь помнить? Ты был грудным младенцем, когда началась война и твой папа ушел на фронт.

— Вот помню, — упрямо повторил Шишкин. — Я помню: я лежал в своей кроватке, а папа подошел, взял меня на руки, поднял и поцеловал.

— Не можешь ты этого помнить, — ответила тетя Зина. — Тебе тогда три недели от роду было.

— Нет. Папа ведь приходил с войны, когда мне уже год был.

— Ну, тогда он забежал на минутку домой, когда его часть проходила через наш город. Тебе про это мама рассказывала.

— Нет, я сам помню, — обиженно сказал Костя. — Я спал, потом проснулся, а папа взял меня на руки и поцеловал, а шинель у него была такая шершавая и колючая. Потом он ушел, и я больше ничего не помню.

— Ребенок не может помнить, что с ним в год было, — сказала тетя Зина.

— А я помню, — чуть ли не со слезами на глазах сказал Костя. — Правда, мама, я помню? Вот пусть мама скажет!

— Помнишь, помнишь! — успокоила его мама. — Уж если ты запомнил, что шинель была колючая, значит, все хорошо помнишь.

— Конечно, — сказал Шишкин. — Шинель была колючая, и я помню и никогда не забуду, потому что это был мой папа, который на войне погиб.

Шишкин весь вечер был какой-то задумчивый. Я так и не поговорил с ним, о чем хотел, и скоро ушел домой.

В эту ночь я долго не мог заснуть, все думал о Шишкине. Как было бы хорошо, если бы он учился исправно, ничего бы такого с ним не произошло! Вот я например: я ведь тоже неважно учился, а потом взял себя в руки и добился чего хотел. Все-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину: у меня есть отец. Я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, как он добивается чего-нибудь по своей работе, и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким. Мне очень хотелось помочь Косте, и я стал думать, что если бы начать с ним как следует заниматься, то он может выправиться по русскому языку, и тогда учеба у него пойдет успешно. Я раз мечтался об этом и решил, что буду заниматься с ним каждый день, но тут же вспомнил, что о занятиях нечего и мечтать, пока он не вернется в школу.

Я принялся думать, как бы уговорить его, но мне стало понятно, что уговоры тут не помогут, так как Костя слабохарактерный и теперь уже не решится признаться матери.

Мне стало ясно, что с Костей надо действовать твердо. Поэтому я решил зайти к нему завтра после школы и поговорить серьезно. Если он не захочет признаться матери и не вернется в школу по своей воле, то я пригрожу, что не буду больше врать Ольге Николаевне и не стану его выгораживать, потому что от этого для него получается только вред. Если он не поймет, что это для его же пользы, то пусть обижается на меня.

Ничего! Я перетерплю, а потом он сам увидит, что я не мог поступить иначе, и мы снова подружимся с ним. Как только я это решил, у меня на душе стало легче, и мне сделалось стыдно, что я до сих пор ничего не сказал маме. Я тут же хотел встать и рассказать обо всем, но было поздно, и все давно уже спали.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На другой день все вышло не так, как я ожидал. Я хотел после уроков зайти к Шишкину и в последний раз серьезно поговорить с ним. Но так как я всем говорил в школе, что Шишкин болен, то все наше звено решило навестить больного товарища. Я испугался и сейчас же после уроков помчался к Шишкину, чтоб предупредить его. Прибегаю к нему. Он увидел меня и говорит:

— Знаешь, я могу уже вверх ногами стоять! Нужно стать у стенки, перевернуться и держаться ногами за стенку.

— Некогда,— говорю,— сейчас вверх ногами стоять. Ложись скорее в постель.

— Зачем?

— Ну, ты ведь болен.

— Как — болен?

— Да я ведь всем говорил в школе, что ты болен. Сам ведь просил!

— Ну, просил!

— А теперь вот сейчас к тебе ребята придут.

— Да что ты!

Тут он моментально нырнул в постель, как был, в одежде, в ботинках, и накрылся одеялом.

— Что же мне говорить ребятам? — спрашивает.

— Что ж говорить? Говори, что болен. Больше говорить нечего.

Скоро пришли ребята. Они разделись в коридоре и вошли в комнату. Шишкин натянул одеяло до самого подбородка и с беспокойством поглядывал на ребят. Ребята говорят:

— Здравствуй, Шишкин!

— Здравствуйте, ребята! — говорит он.

А голос у него такой слабый-слабый! Ну прямо настоящий больной!

— Вот зашли тебя навестить,— сказал Юра.

— Спасибо, ребята, садитесь.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил Ваня.

— Да так...

— Лежишь?

— Лежу вот.

— Скучно тебе небось лежать все время? — спрашивает Ленья.

— Скучно.

— Ты один весь день?

— Один. Мама на работе. Тетя в училище.

— Мы теперь будем к тебе приходить почаще. Ты извини, что мы не приходили: думали — ты скоро выздоровеешь и сам придешь.

— Ничего, ребята, ко мне Витя каждый день приходит.

— Мы к тебе тоже будем каждый день приходить, хочешь? — предложил Слава.

— Хочу, — говорит Шишкин.

Не мог же он сказать — не хочу!

— А что у тебя болит? — спросил Юра.

— Все болит: и руки и ноги...

— Что ты? И даже ноги?

— Да. И голова.

— И что? Все время болит?

— Нет, не все. То пройдет, пройдет, а потом как заболит, заболит!

— У нас в квартире у одного мальчика тоже вот так все болело. У него ревматизм был, — сказал Вася Ерохин. — Может быть, и у тебя ревматизм?

— Может быть, — говорит Шишкин.

— А доктор что говорит? — спросил Ваня.

— Ну, что он говорит?.. Что ему говорить? Ну, высунь язык, говорит. Скажи «а», говорит.

— А какая болезнь, не говорит?

— Болезнь эта вот... как ее?.. Апендикокс.

— Что же это за болезнь такая — апендикокс?

— Сам не знаю, — пожал Шишкин плечами.

— А чем тебя лечат?

— Лекарством.

— Каким?

— Не знаю, как называется. Микстура.

— Горькая или сладкая?

— Горькая! — сказал Костя и скорчил такую физиономию, будто на самом деле микстуры попробовал.

— Когда я был больной, мне тоже микстуру давали. Ох и горькую! Я не хотел пить, — сказал Дима Балакирев.

— Я тоже не хочу.

— Нет, ты лучше пей, скорее поправишься.

— Я и то пью.

— Это ничего, что горькая, — сказал Леня. — Ты выпей микстуры, а потом ложку сахара в рот.

— Хорошо.

— А об уроках не беспокойся. Вот начнешь поправляться, мы тебе будем уроки носить и помогать учиться. Ты нагонишь.

— Ничего, нагоню! — говорит Шишкин.

Тут я заметил, что из-под одеяла высовывается нога Шишкина в ботинке. Я испугался. Думаю: вдруг кто-нибудь из ребят заметит! Но ребята разговаривали с ним и не замечали ботинка. Я подошел потихоньку и накрыл одеялом ботинок.

— Ну, ребята,— говорю,— он пока еще слабый, так что вы не утомляйте его. Идите себе домой.

Ребята стали прощаться:

— Ну, до свиданья. Выздоровливай, поправляйся. Мы к тебе завтра зайдем.

Ребята ушли. Шишкин вскочил с постели и запрыгал по комнате.

— Вот как все хорошо вышло! — закричал он.— Никто не догадался. Все в порядке!

— Ну, нечего радоваться! — сказал я.— Мне с тобой нужно серьезно поговорить.

— О чем?

— О том, что тебе надо в школу вернуться.

— Я и сам знаю, что надо, а как я теперь могу? Ты же сам видишь, что не могу.

— Ничего я не вижу! Я решил сегодня с тобой в последний раз поговорить: если ты завтра же не придешь в школу, то я сам скажу Ольге Николаевне, что ты не больной вовсе.

— Зачем? — удивился Костя.

— Затем, что тебе надо учиться, а не гулять. Все равно из тебя никакого акробата не выйдет.

— Почему не выйдет? Посмотри, как я уже научился вверх ногами стоять!

Он подошел к стенке и стал вверх ногами.

Тут отворилась дверь и вошел Леня.

— Послушай,— говорит,— я тут свои перчатки забыл... А это что? Послушай, ты чего вверх ногами стоишь?

Шишкин вскочил на ноги и растерянно остановился.

— Так вот ты какой больной! — воскликнул Леня.

— Честное слово, больной! — сказал Шишкин и покраснел, как вареный рак.

Он заохал и заковылял к постели.

— Брось притворяться! Говорил, руки-ноги болят, а сам тут вверх ногами ходишь.

— Честное слово, болят!

— Ну, не ври, не ври! И когда ты успел одеться? Ты, значит, одетый в постели лежал?

— Ну ладно, я тебе открою секрет, только ты поклянись, что никому не скажешь.

— Зачем я буду клясться?

— Ну, тогда я ничего не скажу.

В это время в коридоре слышались чьи-то шаги. Дверь приоткрылась, в комнату заглянул Ваня и сказал:

— Ты скоро, Леня? Мы тут тебя все ждем.

— Ну-ка, иди сюда, Ваня! Он, оказывается, вовсе не болен!

— Не болен? — удивился Ваня и вошел в комнату.

— Кто не болен? — слышался коридора голос Юры.

Юра тоже вошел в комнату, а за ним остальные ребята.

— Да кто же еще! Вон он, Шишкин, не болен, — ответил Леня.

— Как так?

— Да вот так: вхожу, а он тут вверх ногами стоит!

— Что же это такое? — заговорили ребята. Зачем ты нас обманывал?

— Это я так просто, ребята... — стал оправдываться Шишкин. — Я просто пошутил.

— Что это еще за шутки такие?

— Вот такие вот шутки! — развел Костя руками.

— Мы о нем беспокоились, — говорит Ваня, — всем звеном пришли навестить, а он тут, оказывается, шутки шутит: больным притворяться вздумал!

— Я больше не буду, ребята, вот увидите... — пролепетал Шишкин.

— А почему ты в школу не ходишь? — спросил Юра. — Ты нарочно решил притвориться больным чтоб не ходить в школу!

— Я вам все расскажу, ребята, только вы не сердитесь. Я не хотел обмануть вас. Просто я решил циркачом стать.

— Как это циркачом? — удивились все.

— Ну, поступлю в цирк и буду цирковым акробатом.

— Ты что, рехнулся?

— И ничуть не рехнулся.

— Кто же тебя возьмет в цирк? — спросил Ваня.

— А откуда, ты думаешь, цирковые артисты берутся?

— А почему же ты все-таки в школу не ходишь?

— Не хочу больше учиться. Я и так уже все знаю.

— Как все?

— Ну все, что нужно цирковому артисту.

— Что же ты думаешь, цирковой артист может неучем быть?

— Почему неучем? Кое-чему я уже выучился.

— «Выучился»! А пишешь с ошибками! Надо сначала окончить школу, а потом идти в цирковое училище. Цирковой артист тоже должен быть образованным. Ты бы сначала посоветовался с Ольгой Николаевной, — заявил Юра.

— Будто я не знаю, что Ольга Николаевна скажет! — ответил Шишкин.

— По-моему, ребята, он не дело затеял, — сказал Игорь. — Пусть перестанет выдумывать и является завтра в школу.

— А если завтра же не явится, мы скажем Ольге Николаевне, — заявил Юра.

— Ну, и будете ябеды! — ответил Шишкин.

— Не будем, — сказал Юра. — Раз мы предупредили тебя, значит, не ябеды.

— Вот попробуй не приди завтра в школу, тогда узнаешь! — сказал Игорь. — Нечего тебе гулять. Надо учиться.

Тут снова слышались шаги в коридоре, и кто-то постучал в дверь. Шишкин, вместо того чтобы отворить, юркнул, как мышь, в постель и накрылся одеялом. Я отворил дверь и увидел Ольгу Николаевну.

— О, да тут все звено! — сказала Ольга Николаевна, входя в комнату. — Решили навестить больного товарища?

Все ребята молчали, никто не знал, что сказать.

Костя смотрел на Ольгу Николаевну во все глаза и изо всех сил натягивал на себя одеяло, будто решил закутаться в него с головой. Ольга Николаевна подошла к нему:

— Что ж это ты, Костя, расхворался у нас? Что у тебя болит?

— Ничего у него не болит! — сказал Юра. — Он вовсе не болен.

— Как не болен?

— Ну, не болен, и все!

Шишкин увидел, что теперь уже все равно все пропало. Он вылез из-под одеяла, уселся на кровати и, свесив голову вниз, стал смотреть на пол. Ольга Николаевна обвела взглядом ребят, увидела меня и сказала:

— Почему же ты, Витя, говорил мне, что Костя болен?

От стыда я не знал куда деваться.

— Почему же ты молчишь? Ты мне неправду сказал?

— Это не я сказал. Это он сказал, чтоб я сказал. Я и сказал.

— Значит, Костя просил тебя обмануть меня?

— Да, — пролепетал я.

— И ты обманул?

— Обманул.

— И ты думаешь, хорошо сделал?

— Но он ведь просил меня!

— Ты думаешь, что оказал ему хорошую услугу, обманывая меня?

— Нет.

— Почему же ты это сделал?

— Ну, я думал, что нельзя же товарища выдавать!

— Как выдавать? Это врагу нельзя выдавать, а я разве ваш враг?

Я не знал, что сказать, и молча смотрел на пол.

— Не думала я, что мои ученики считают меня врагом! — сказала Ольга Николаевна.

— Мы не считаем, Ольга Николаевна, — сказал Ваня. — Разве мы считаем?

— Почему же никто не сказал мне?

— Да ведь никто и не знал. Мы только сегодня пришли, и вот все выяснилось.

— Ну хорошо, об этом поговорим после... Почему же ты, Костя, не ходил в школу?

— Я боялся,— пробормотал Костя.

— Чего ты боялся?

— Что вы записку от мамы спросите.

— Какую записку?

— Ну, записку, что я пропустил, когда был диктант.

— Почему же ты пропустил, когда диктант был?

— Боялся.

— Чего?

— Двойку получить боялся.

— Значит, ты нарочно пропустил, когда писали диктант, а потом не приходил, потому что у тебя не было записки от матери?

— Да.

— Что же ты думал делать, когда решил не ходить в школу? — спросила Ольга Николаевна.

— Не знаю.

— Но ведь какие-то планы у тебя были?

— Какие у меня планы!

— Он решил сделаться цирковым акробатом,— сказал Юра.

— В цирковую школу без семилетнего образования не берут. Да еще там надо лет пять учиться. Не мог же ты сразу стать цирковым артистом! — сказала Ольга Николаевна.

— Не мог,— согласился Шишкин.

— Вот видишь. Не обдумав ничего, так сразу и решил не ходить в школу. Разве так можно?

Шишкин молчал.

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Не знаю.

— А ты подумай.

Шишкин помолчал, потом взглянул на Ольгу Николаевну исподлобья и сказал:

— Я хочу вернуться в школу!

— Что ж, это самое лучшее, что ты мог придумать. Только условие: ты должен дать обещание, что исправишься и будешь хорошо учиться.

— Я теперь буду хорошо,— сказал Шишкин.

— Ну смотри. Завтра с утра приходи в школу, а я попрошу директора, чтоб он разрешил тебе продолжать учиться.

— Я приду.

Ольга Николаевна сказала нам всем, чтобы мы шли домой делать уроки.

Костя увидел, что она не собирается уходить, и сказал:

— Ольга Николаевна, я хочу вас попросить: не говорите маме!

— Почему? — спросила Ольга Николаевна.

— Я теперь буду хорошо учиться, только не говорите!

— Значит, ты хочешь продолжать обманывать маму? И еще хочешь, чтобы я тебе помогала в этом?

— Я не буду больше обманывать маму. Мне так не хочется огорчать ее!

— А если мама узнает, что мы с тобой вместе обманывали ее? Ведь она будет огорчена еще больше. Правда?

— Правда.

— Вот видишь, надо маме сказать. Но так как ты обещаешь взяться за учебу как следует, то я попрошу маму, чтобы она не очень сердилась на тебя.

— Я обещаю.

— Вот и договорились,— сказала Ольга Николаевна.— А сейчас бери книги, и будем заниматься.

Я ушел домой вместе с ребятами и не знаю, что было дальше.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

И вот на другой день Шишкин явился в класс. Он растерянно улыбался и смущенно поглядывал на ребят, но, видя, что его никто не стыдит, он успокоился и сел рядом со мной. Пустое место за нашей партой заполнилось, и я почувствовал облегчение, будто у меня в груди тоже что-то заполнилось и стало на свое место.

Ольга Николаевна ничего не сказала Шишкину, и уроки шли как обычно, своим порядком. На перемене к нам пришел Володя, ребята стали рассказывать ему про этот случай. Я думал, что Володя станет стыдить Шишкина, а Володя вместо этого стал стыдить меня.

— Ты ведь знал, что твой товарищ поступает неправильно, и не помог ему исправить ошибку,— сказал Володя.— Надо было поговорить с ним серьезно, а если бы он тебя не послушался, надо было сказать учительнице, или мне, или ребятам. А ты от всех скрывал.

— Будто я с ним не говорил! Я сколько раз ему твердил об этом! Что я мог сделать? Он ведь сам решил не ходить в школу.

— А почему решил? Потому что плохо учился. А ты помог ему учиться лучше? Ты ведь знал, что он плохо учится?

— Знал,— говорю.— Это все у него из-за русского языка. Он всегда у меня русский списывал.

— Вот видишь, если б ты по-настоящему заботился о своем друге, то не давал бы ему списывать. Настоящий друг должен быть требовательным. Какой же ты товарищ, если миришься с тем, что твой друг поступает нехорошо? Такая дружба не настоящая — это ложная дружба.

Все ребята начали говорить, что я ложный друг, а Володя сказал:

— Давайте после уроков соберемся, ребята, и поговорим обо всем.

Мы решили собраться после уроков, но, как только занятия кончились, Ольга Николаевна подозвала меня и Шишкина и сказала:

— Костя и Витя, зайдите сейчас к директору. Он хочет поговорить с вами.

— А о чем? — испугался я.

— Вот он вам и расскажет о чем. Да вы идите, не бойтесь! — усмехнулась она.

Мы пришли в кабинет директора, остановились на пороге и сказали.

— Здравствуйте, Игорь Александрович!

Игорь Александрович сидел за столом и что-то писал.

— Здравствуйте, ребята! Заходите и садитесь вот на диван, — сказал он, а сам продолжал писать.

Но мы сесть боялись, потому что диван стоял очень близко возле директора. Стоять возле дверей казалось нам безопаснее.

Игорь Александрович кончил писать, снял очки и сказал:

— Садитесь. Чего же вы стоите?

Мы подошли и сели. Диван был кожаный, блестящий. Кожа была скользкая, и я все время съезжал с дивана, потому что сел с краю, а усесться на нем как следует я не решался. И так я мучился в продолжение всего разговора — а разговор получился длинный! — и от такого сидения устал больше, чем если бы все это время стоял на одной ноге.

— Ну, расскажи, Шишкин, как это тебе пришло в голову стать прогульщиком? — спросил Игорь Александрович, когда мы сели.

— Не знаю, — замялся Шишкин.

— Гм! — сказал Игорь Александрович. — Кто же об этом может знать, как ты думаешь?

— Н-не знаю, — снова пролепетал Шишкин.

— Может быть, по-твоему, я знаю?

Шишкин исподлобья взглянул на Игоря Александровича, чтоб узнать, не шутит ли он, но лицо у директора было серьезное. Поэтому он снова ответил:

— Не знаю.

— Что это, братец, у тебя на все один ответ: «Не знаю». Уж если разговаривать, то давай разговаривать серьезно. Ведь я не просто из любопытства спрашиваю тебя, почему ты не ходил в школу.

— Так просто. Я боялся, — ответил Шишкин.

— Чего же ты боялся?

— Я боялся диктанта и пропустил, а потом боялся, что Ольга Николаевна спросит записку от матери, вот и не приходил.

— Почему же ты боялся диктанта? Что он, такой страшный?

— Я боялся получить двойку.

— Значит, ты плохо готовился по русскому языку?

— Плохо.

— Почему же ты плохо готовился?

— Мне трудно.

— А по другим предметам тебе тоже трудно учиться?

— По другим легче.

— Почему же по русскому трудно?

— Я отстал. Не знаю, как слова писать.

— Так тебе подогнать надо, а ты, наверно, мало по-русскому занимаешься?

— Мало.

— Почему же?

— Ну, он у меня не идет. Историю я прочитаю или географию — и уже знаю, а тут как напишу, так обязательно ошибки будут.

— Вот тебе и нужно побольше по русскому заниматься. Надо делать не только то, что легко, но и то, что трудно. Если хочешь научиться, то должен и потрудиться. Вот скажи, Малеев, — спросил Игорь Александрович меня, — ты ведь не успевал раньше по арифметике?

— Не успевал.

— А теперь стал лучше учиться?

— Лучше.

— Как же это у тебя вышло?

— А я сам захотел. Мне Ольга Николаевна сказала, чтоб я захотел, вот я и захотел добиться.

— И добился-таки?

— Добился.

— Но тебе ведь сначала было, наверно, трудно?

— Сначала было трудно, а теперь совсем легко.

— Вот видишь, Шишкин! Возьми пример с Малеева. Сначала будет трудно, а потом, когда одолеешь трудность, будет легко. Так что берись за дело, и у тебя все выйдет.

— Хорошо, — сказал Шишкин. — Я попробую.

— Да тут и пробовать нечего. Надо сразу браться, и дело с концом.

— Ну, я попытаюсь, — ответил Шишкин.

— Это все равно что попробовать, — сказал Игорь Александрович. — Вот и видно, что у тебя нет силы воли. Чего ты боишься? У тебя есть товарищи. Разве они не помогут тебе? Ты, Малеев, ведь друг Шишкина?

— Да, — говорю я.

— Ну, так помоги ему подтянуться по русскому языку. Он очень запустил этот предмет, и ему одному не справиться.

— Это я могу,— говорю,— потому что сам был отстающим и теперь знаю, с какого конца нужно браться за это дело.

— Вот-вот! Значит, попробуешь? — улыбнулся Игорь Александрович.

— Нет,— говорю,— и пробовать не буду. Сразу начну заниматься с ним.

— Хорошо. Это мне нравится,— сказал Игорь Александрович.— У тебя общественная работа есть?

— Нету,— говорю.

— Вот это и будет твоя общественная работа на первое время. Я советовался с Ольгой Николаевной, и она сказала, что ты сумеешь помочь Шишкину. Уж если ты сам себе сумел помочь, то и другому поможешь. Только отнесись к этому делу серьезно.

— Я буду серьезно,— ответил я.

— Следи, чтоб он все задания выполнял самостоятельно, вовремя, чтобы все доводил до конца. За него ничего делать не надо. Это будет плохая помощь с твоей стороны. Когда он научится работать сам, у него появится и сила воли и твоя помощь ему уже будет не нужна. Понятно это тебе?

— Понятно,— сказал я.

— А ты, Шишкин, запомни, что все люди должны честно трудиться.

— Но я ведь еще не трудюсь... не тружусь,— пролепетал Шишкин.

— Как так не трудишься? А учеба разве не труд? Учеба для тебя и есть самый настоящий труд. Взрослые работают на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, строят электростанции, соединяют каналами реки и моря, орошают пустыни, насаждают леса. Видишь, как много дел!.. А дети учатся в школах, чтобы в будущем стать образованными и, в свою очередь, принести нашей Родине как можно больше пользы. Разве ты не хочешь приносить Родине пользу?

— Хочу.

— Вот видишь! Но, может быть, ты думаешь, достаточно сказать просто «хочу»? Надо быть стойким, упорным, без упорства ты ничего не достигнешь.

— Я буду теперь упорным.

— Вот хорошо,— сказал Игорь Александрович.— Надо быть честным. А разве ты честен? Ты обманывал мать, обманывал учительницу, обманывал своих товарищей.

— Я буду честным теперь.

— Постарайся,— сказал Игорь Александрович.— Но это еще не все. Надо любить своих товарищей.

— Разве я не люблю их? — удивился Шишкин.

— Где же любишь! Бросил их всех и решил без них обойтись. Разве это любовь?

— Но я ведь скучал по ним! — чуть ли не со слезами на глазах воскликнул Шишкин.

— Ну хорошо, что хоть скучал, но будет еще лучше, если ты будешь чувствовать, что без товарищей тебе не прожить, чтоб даже в голову не приходило бросать их.

— Я буду больше любить, — сказал Шишкин.

— Что же ты делал, голубчик, пока не ходил в школу? — спросил его Игорь Александрович.

Мы рассказали, как учили Лобзика считать, Игорь Александрович очень заинтересовался этим и подробно расспрашивал, как мы это делали.

— Да разве же можно научить собаку считать, как человека? — сказал наконец он.

— А как же считала та собака в цирке?

Игорь Александрович засмеялся:

— Та собака вовсе не умела считать. Ее выучили только лаять и останавливаться по сигналу. Когда собака пролает столько раз, сколько нужно, дрессировщик дает ей незаметный для публики сигнал, и собака перестает лаять, а публике кажется, что собака сама лает, сколько нужно.

— Какой же сигнал дает дрессировщик? — спросил Костя.

— Ну, он незаметно кивает головой, или машет рукой, или потихоньку щелкает пальцами.

— Но наш Лобзик иногда считает правильно и без сигнала, — сказал Костя.

— Собаки очень наблюдательны, — сказал Игорь Александрович. — Ты сам незаметно для себя можешь кивать головой или делать какое-нибудь телодвижение как раз в то время, когда Лобзик пролает столько раз, сколько нужно, вот он подмечает это и старается угадать. Но так как твои телодвижения очень неуловимы, то он и ошибается часто. Для того чтобы он лаял правильно, приучите его к какому-нибудь определенному сигналу, например щелкайте пальцами.

— Я возьмусь за это, — сказал Костя. — Только я сначала подтянусь по русскому языку, а потом буду учить Лобзика.

— Вот правильно! А когда у нас будет вечер в школе, можете выступить со своей дрессированной собакой.

Мы так боялись, что Игорь Александрович придумает для нас какое-нибудь наказание, но он, видно, и не собирался наказывать нас, а хотел только объяснить нам, что надо учиться лучше.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Когда мы вышли из кабинета директора, то увидели, что Володя и все ребята дожидались нас в коридоре. Они моментально окружили нас и стали спрашивать:

— Ну что? Что вам Игорь Александрович сказал? Что вам будет?

— Простил. Теперь уже ничего не будет, — ответил я.

— Ну вот и хорошо! — обрадовался Толя. — Пойдемте в пионерскую комнату, поговорим. Надо поговорить.

Мы все гурьбой пошли в пионерскую комнату. Шишкин вошел последним.

— Иди, иди, Шишкин, не бойся! — говорил Юра. — Никто тебя ругать не будет.

Мы сели вокруг стола, и Володя сказал:

— Теперь поговорим, ребята, как помочь Шишкину. Он плохо учился и в конце концов дошел до того, что совсем перестал ходить в школу. Но мы все тоже виноваты в этом. Мы не обращали внимания на то, как он учится, и не помогли ему вовремя.

— Мы, конечно, тоже виноваты, — ответил Ваня. — Но и Шишкин должен понять, что надо учиться лучше. Если он не возьмется теперь, то это опять может плохо кончиться.

— Правда, Шишкин, только ты не обижайся, это опять может плохо кончиться, — сказал Юра. — А мы поможем тебе, честное слово! Все, что надо, сделаем.

— А как помогать? — сказал Леня Астафьев. — Мы ведь ему помощника выделили. Видно, Алик Сорокин плохо занимался с ним, раз такие результаты.

— Может быть, вы и не занимались совсем? — спросил Володя Алика.

— Почему не занимались? Мы занимались! — ответил Алик.

— Сколько же раз вы занимались?

— Ну, я не помню. Раза два или три.

— Раза два или три? — удивился Юра. — Да ты должен был каждый день заниматься с ним, а не раза два или три. Сам обещал. Мы тебе это дело доверили, а ты не оправдал доверия!

— Как же я мог оправдать доверие? — сказал Алик. — К нему придешь, а его дома нет. Или придешь, а он говорит: «Я сегодня не в настроении заниматься». Ну, я и бросил.

— Ишь ты, «бросил»! — сказал Юра. — Ты должен был на звене поставить вопрос, чтоб звено помогло. Шишкин у нас неорганизованный. Ты вот хорошо учишься, о себе позаботился, а о товарище позаботиться не захотел... Ну ладно, я тоже виноват, что не проверил тебя.

— Я теперь буду хорошо заниматься с Шишкиным, — сказал Алик. — Я шахматами увлекся, поэтому так и вышло.

— Нет,— ответил Володя,— больше мы тебе этого дела не доверим.

— Теперь я буду с Шишкиным заниматься,— сказал я.— Мне Игорь Александрович велел.

— Что ж,— сказал Володя,— раз тебя Игорь Александрович назначил, то и мы тебя на это дело выделим. Правда, ребята?

— Конечно,— согласились ребята.— Пусть занимается, раз Игорь Александрович сказал.

Сбор кончился, и мы вышли на улицу. Шишкин по дороге долго молчал, все думал о чем-то, потом сказал:

— Вот, оказывается, какой я скверный! Никакой у меня силы воли нет! Ни к чему я не способный. Ничего из меня путного не выйдет!

— Нет, почему же? Ты не такой уж скверный,— попробовал я утешить его.

— Нет, не говори, я знаю. Только я сам не хочу быть таким. Я исправлюсь. Вот ты увидишь. Честное слово, исправлюсь! Только ты уж, пожалуйста, помоги мне! Тебе ведь Игорь Александрович велел. Ты не имеешь права отказываться!

— Да я и не отказываюсь,— говорю я.— Только ты меня слушайся. Давай начнем заниматься с сегодняшнего же дня. После обеда я приду к тебе, и начнем заниматься.

После обеда я сейчас же отправился к Шишкину и еще на лестнице услышал собачий лай. Захожу в комнату, смотрю — Лобзик уже сидит на стуле и лает, а Костя щелкает пальцами у него перед самым носом.

— Это,— говорит,— я его приучаю к сигналу, как Игорь Александрович учил. Давай немножко позанимаемся с Лобзиком, а потом начнем делать уроки. Все равно ведь Лобзика учить надо.

— Э, брат,— говорю я,— сам сказал, что с Лобзиком начнешь заниматься после того, как исправишься по русскому языку, и уже передумал.

— Конечно! — закричал Шишкин.— Пошел вон, Лобзик! Вот, даже смотреть на него не стану, пока не исправлюсь по русскому. Скажи, что я тряпка, если увидишь, что я занимаюсь с Лобзиком. Ну, с чего мы начнем?

— Начнем,— говорю,— с русского.

— А нельзя ли с географии или хотя бы с арифметики?

— Нет, нет,— говорю.— Я уж на собственном опыте знаю, кому с чего начинать. Что нам по русскому задано?

— Да вот,— говорит,— суффиксы «очк» и «ечк», и еще мне Ольга Николаевна задала повторить правило на безударные гласные и сделать одно упражнение.

— Вот с этого ты и начнешь,— сказал я.

— Ну ладно, давай начнем.

— Вот и начинай. Или, может быть, ты думаешь, что я с то-

бой буду это упражнение делать? Ты все будешь делать сам. Я только проверять тебя буду. Надо приучаться все самому делать.

— Что ж, хорошо, буду приучаться,— вздохнул Шишкин и взялся за книгу.

Он быстро повторил правило и принялся делать упражнение. Это упражнение было очень простое. Нужно было списать примеры и вставить в слова пропущенные буквы. Вот Шишкин писал, писал, а я в это время учил географию и делал вид, что не обращаю на него внимания. Наконец он говорит:

— Готово!

Я посмотрел... Батюшки! У него там ошибок целая куча! Вместо «гора» он написал «гара», вместо «веселый» написал «виселый», вместо «тяжелый» — «тижелый».

— Ну-ну! — говорю.— Нарботал же ты тут!

— Что, очень много ошибок сделал?

— Да не так чтоб уж очень много, а, если сказать по правде, порядочно.

— Ну вот! Я так и знал! Мне никогда удачи не будет! — расстроился Костя.

— Здесь не в удаче дело,— говорю я.— Надо знать, как писать. Ты ведь учил правило?

— Учил.

— Ну, скажи: что в правиле говорится?

— В правиле? Да я уж и не помню.

— Как же ты учил, если не помнишь?

Я заставил его снова прочесть правило, в котором говорится о том, что безударные гласные проверяются ударением, и сказал:

— Вот ты написал «тижелый». Почему ты так написал?

— Наверно, «тежелый» надо писать?

— А ты не гадай. Знаешь правило — пользуйся правилом. Измени слово так, чтоб на первом слоге было ударение.

Шишкин стал изменять слово «тяжелый» и нашел слово «тяжесть».

— А! — обрадовался он.— Значит, надо писать не «тижелый» и не «тежелый», а «тяжелый».

— Верно,— говорю я.— Вот возьми и сделай упражнение снова, потому что ты делал его и не пользовался правилом, а от этого никакой пользы не может быть. Всегда надо думать, какую букву писать.

— Ну ладно, в другой раз я буду думать, а сейчас пусть так останется.

— Э, братец,— говорю,— так не годится! Уж если ты обещал слушаться меня, слушайся.

Шишкин со вздохом принялся делать упражнение снова. На этот раз он очень спешил. Буквы у него лепились в тетрадке

и вкривь и вкось, валились набок, подскакивали кверху и заезжали вниз. Видно было, что ему уже надоело заниматься. Тут к нам пришел Юра.

Он увидел, что мы занимаемся, и сказал:

— А, занимаетесь! Вот это хорошо! Что вы тут делаете?

— Упражнение,— говорю.— Ему Ольга Николаевна задала.

Юра заглянул в тетрадь.

— Что же ты тут пишешь? Надо писать «зуб», а ты написал «зуп».

— А какое тут правило? — спрашивает Шишкин.— У меня правило на безударные гласные, а это разве безударная гласная?

— Тут,— говорю,— такое правило, что надо внимательно списывать. Смотри, что в книжке написано? «Зуб»!

— Тут тоже есть правило,— сказал Юра.— Надо изменить слово так, чтобы после согласной, которая слышится неясно, стояла гласная буква. Вот измени слово.

— Как же его изменить? «Зуб» так он и будет «зуб».

— А ты подумай. Что у тебя во рту?

— У меня во рту зубы, и язык еще есть.

— Про язык тебя никто не спрашивает. Вот ты изменил слово: было «зуб», стало «зубы». Что слышится: «б» или «п»?

— Конечно, «б»!

— Значит, и писать надо «зуб».

В это время пришел Ваня. Он увидел, что мы занимаемся, и тоже сказал:

— А, занимаетесь!

— Занимаемся,— говорим.

— Молодцы! За это вам весь класс скажет спасибо.

— Еще чего не хватало! — ответил Шишкин.— Каждый ученик обязан хорошо учиться, так что спасибо тут не за что говорить.

— Ну, это я так просто сказал. Весь класс хочет, чтоб все хорошо учились, а раз вы учитесь, значит, все будет хорошо.

Тут опять отворилась дверь, и вошел Вася Ерохин.

— А, занимаетесь! — говорит.

— Что это такое? — говорю я.— Каждый приходит и говорит: «А, занимаетесь», будто мы первый раз в жизни занимаемся, а до этого и не учились вовсе!

— Да я не про тебя говорю, я про Шишкина,— ответил Вася.

— А Шишкин что? Будто он совсем не учился? У него по всем предметам не такие уж плохие отметки, только по русскому...

— Ну, не сердись, я так просто сказал. Я думал, что он не занимается, а он занимается, вот я и сказал.

— Мог бы хоть что-нибудь другое сказать. Будто других слов нет на свете!

— Откуда же я знал, что это вас так обидит? По-моему, ничего тут обидного нет.

Тут снова отворилась дверь, и на пороге появился Алик Сорокин.

— Сейчас тоже, наверно, скажет: «А, занимаетесь!» — прошептал Шишкин.

— А, занимаетесь! — улыбнулся Алик Сорокин.

Мы все чуть от смеха не лопнули.

— Чего вы смеетесь? Что я такого смешного сказал? — смутился Алик.

— Да ничего. Мы не над тобой смеемся, — ответил я. — А ты чего пришел?

— Так просто. Думал, может, моя помощь понадобится.

— Может быть, и шахматы с собой захватил? — спросил я.

— Ах я растяпа! Забыл шахматы захватить! Вот бы мы и сыграли тут!

— Нет, ты уж с шахматами лучше уходи отсюда подальше, — сказал Юра. — Пойдемте домой, ребята, не будем им мешать заниматься.

Ребята ушли.

— Это они приходили проверить, учимся мы или нет, — сказал Костя.

— Ну и что же? — говорю я. — Ничего тут обидного нет.

— Что же тут обидного? Ребята хорошие, заботливые.

— А Ольга Николаевна сказала маме, что ты не ходил в школу? — спросил я Костю.

— Сказала. И маме сказала, и тете Зине сказала! Знаешь, какая мне за это была головомойка! Ох и стыдили меня — век помнить буду! Но ничего! Я и то рад, что все теперь кончилось. Я так мучился, пока не ходил в школу. Чего я только не передумал за эти дни! Все ребята как ребята: утром встанут — в школу идут, а я как бездомный щенок таскаюсь по всему городу, а в голове мысли разные. И маму жалко! Разве мне хочется ее обманывать? А вот обманываю и обманываю и остановиться не могу. Другие матери гордятся своими детьми, а я такой, что и гордиться мною нельзя. И не видно было конца моим мучениям: чем дальше, тем хуже!

— Что-то я не заметил, чтоб ты так мучился, — говорю я.

— Да что ты! Конечно, мучился! Это я только так, делал вид, будто мне все нипочем, а у самого на душе кошки скребут!

— Зачем же ты делал вид?

— Да так. Ты придешь, начнешь укорять меня, а мне, понимаешь, стыдно, вот я и делаю вид, что все хорошо, будто все так, как надо. Ну, теперь конец этому, больше уже не повторится. Как будто буря надо мной пронеслась, а теперь все тихо, спокойно. Мне только надо стараться учиться получше.

— Вот и старайся, — сказал я.

— Я и то уже начал стараться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На следующий день Ольга Николаевна проверила упражнение, которое задала Косте на дом, и нашла у него ошибки, каких даже я не заметил. Пропущенные буквы в словах он написал в конце концов правильно, потому что я за этим следил, а ошибок наделал просто при списывании. То букву пропустит, то не допишет слово, то вместо одной буквы другую напишет. Вместо «кастрюля» у него получилась «карюля», вместо «опилки» — «окилки».

— Это у тебя от невнимательности, — сказала Ольга Николаевна. — А невнимательность оттого, что еще нет, наверно, охоты заниматься как следует. Сразу видно, что ты очень торопишься. Спешешь, как бы поскорей отделаться от уроков.

— Да нет, я не очень спешу, — сказал Костя.

— Как же не спешешь? А почему у тебя буквы такие некрасивые? Посмотри: и косые и кривые, так и валяются в стороны. Если б ты старался, то и писал бы лучше. Если ученик делает урок прилежно, с усердием, то обращает внимание не только на ошибки, но и на то, чтобы было аккуратно, красиво написано. Вот и сознайся, что охоты у тебя еще нет.

— У меня есть охота, только вот не хватает силы воли, чтоб заставить себя усидчиво заниматься. Мне все хочется сделать поскорей почему-то. Сам не знаю почему!

— А потому, что ты еще не понял, что все достигается лишь упорным трудом. Без упорного труда не будет у тебя и силы воли и недостатков своих не исправишь, — сказала Ольга Николаевна.

С тех пор по Костиной тетрадке можно было наблюдать, как он боролся со своей слабой волей. Иногда упражнение у него начиналось красивыми, ровными буквами, на которые просто приятно было смотреть. Это значило, что вначале воля у него была сильная и он садился за уроки с большим желанием начать учиться как следует, но понемногу воля его слабела, буквы начинали приплясывать, налезать друг на дружку, валиться из стороны в сторону и постепенно превращались в какие-то непонятные кривульки, даже трудно было разобрать, что написано. Иногда получалось наоборот: упражнение начиналось кривульками. Сразу было видно, что Косте хотелось как можно скорее покончить с этим неинтересным делом, но, по мере того как он писал, воля его крепла, буквы становились стройнее, и кончалось упражнение с такой сильной волей, что казалось, будто начал писать один человек, а кончил совсем другой. Но все это было полбеды. Главная беда была — это ошибки. Он по-прежнему делал много ошибок, и, когда был диктант в классе, он опять получил двойку.

Все ребята надеялись, что Костя на этот раз получит хоть тройку, так как все знали, что он взялся за учебу серьезно, и поэтому все были очень огорчены.

— Ну-ка, расскажи, Витя, как вы занимаетесь с Костей,— сказал Юра на перемене.

— Как занимаемся? Мы хорошо занимаемся.

— Где же хорошо? Почему он до сих пор не исправился?

— Я же не виноват, что так получается! Я с ним каждый день занимаюсь.

— Почему же до сих пор нет никаких сдвигов?

— Я же не виноват, что нет сдвигов! Просто еще мало времени прошло.

— Как мало времени? Уже две недели прошло. Просто ты не умеешь заставить Шишкина работать по-настоящему. Придется тебя сменить. Вот мы попросим Ольгу Николаевну, чтоб она выделила вместо тебя Ваню Пахомова. Он сумеет заставить Шишкина работать побольше.

— Ну, уж это извините! — говорю я.— Меня сам Игорь Александрович назначил. Вы не имеете права меня сменять.

— Ничего. Завтра мы поговорим с Ольгой Николаевной. Думаешь, если тебя Игорь Александрович назначил, так на тебя и управы нет?

— Уступи, Малеев,— сказал Леня Астафьев.— Все равно Ольга Николаевна сменит тебя. Ты не справился. Ваня лучше тебя будет заниматься.

— Конечно, лучше,— сказал Юра.

— Это еще неизвестно,— говорю я.

— Ну что ты споришь? Сам видишь, какие результаты.

Тут и другие ребята стали говорить, чтоб я уступил, но я заупрямился как козел:

— Нет, пусть меня Ольга Николаевна сменяет, а сам я не уступаю.

— Ну и сменит тебя Ольга Николаевна. Тебе же хуже будет,— сказали ребята.

Не знаю, почему меня такое упрямство одолело. Я и сам чувствовал, что не надо настаивать, раз вышло такое дело и Шишкин получил двойку. Если б на моем месте был кто-нибудь другой, может быть, все было бы совсем не так, а иначе. Ну что ж, ничего не поделаешь!

В этот день мы с Шишкиным были очень огорчены.

— Мы занимаемся с тобой сегодня в последний раз. Завтра Ольга Николаевна, наверно, сменит меня,— сказал я, когда пришел к нему после школы.

— А может быть, Ольга Николаевна и не сменит,— сказал Костя.

— Да нет,— говорю.— Все равно от меня, видно, мало толку. Наверно, я не умею учить. Мне только обидно, что Игорь Александрович будет недоволен. Я обещал ему подтянуть тебя, а тут видишь, что вышло. И еще он сказал, что это мне как обществен-

ная работа. Значит, я с общественной работой не справился и не будет у меня никакого авторитета.

— А может быть, это вовсе и не ты виноват? Может быть, это я сам виноват? — сказал Костя. — Надо мне было лучше учиться. Ты знаешь, я тебе открою секрет: это я сам виноват. Я всегда спешил, торопился, вот и писал плохо и делал много ошибок. Если бы я не торопился, то учился бы лучше.

— Почему же ты торопился?

— Ну, я тебе открою секрет: мне хотелось каждый раз поскорей отделаться от уроков и начать учить Лобзика.

— И ты его учил?

— Учил.

— А, — говорю. — То-то у тебя буквы то такие, то этакie. Значит, ты писал, а сам думал не о том, что пишешь, а о своем Лобзике.

— Ну, вроде этого. Я и о том думал и о другом. Поэтому, наверно, такие результаты.

— Результаты... — говорю я, — никаких результатов нет. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Надо было одного зайца ловить.

— Ну, одного зайца-то я поймал.

— Какого?

— Ну, Лобзика-то я выучил. Сейчас увидишь. Лобзик, иди сюда!

Лобзик подбежал к нему. Костя показал ему табличку с цифрой «три».

— Ну-ка, скажи, Лобзик, какая это цифра?

Лобзик пролаял три раза.

— А это?

Костя показал ему цифру «пять». Лобзик пролаял пять раз.

— Видишь, я потихоньку щелкаю пальцами, и он знает, когда нужно останавливаться.

— Как же ты этого добился? — спросил я.

— Сначала он никак не хотел понимать сигнала. Тогда я стал делать так: как только он пролаял столько раз, сколько нужно, я бросаю ему кусочек сахара, колбасы или хлеба и в это же время щелкаю пальцами. Лобзик бросается ловить подачку и перестает лаять. Так я приучал его несколько дней, а потом попробовал только щелкать пальцами и ничего не давал. Лобзик все равно останавливался, так как привык в это время получать что-нибудь вкусное. Как услышит щелчок, так сейчас же перестает лаять и ждет, чтоб я чего-нибудь дал. Сначала я щелкал громко, но постепенно приучил к тихим щелчкам.

— Ну вот, — говорю, — значит, ты, вместо того чтоб самому выучиться, собаку выучил!

— Да, — говорит, — у меня все как-то шиворот-навыворот

получается. Безвольный я человек! Ну, теперь уже все равно я его выучил и буду сам как следует заниматься. Больше ничто мне мешать не будет, вот увидишь!

— Увижу,— говорю.— Только теперь уже не я это увижу, а Ваня.

На другой день Костя собрал все упражнения, которые ему задавала на дом Ольга Николаевна, и понес в школу. Он показал все это Ольге Николаевне и сказал:

— Ольга Николаевна, вот это все упражнения, которые вы мне задавали. Вот тут вот, смотрите, хорошие, а вот тут плохие. Это, если я делал упражнение плохо, Витя заставлял меня переделывать снова. Скажите, разве он плохо со мной занимался?

— Я знаю, что Витя хорошо с тобой занимается,— сказала Ольга Николаевна.— Но ты и сам должен быть старательнее. Нужно отнестись к делу еще серьезнее. Витя тебе помогает, но учиться за тебя ведь он не может. Ты сам должен учиться.

— Я сам буду учиться, Ольга Николаевна, только разрешите, чтобы Витя помогал мне. Он уже столько времени потратил со мной.

— Хорошо, пусть помогает. Я вижу, что Витя добросовестно занимается с тобой. Скоро каникулы, вот вы вместе зайдите ко мне в первый же день. Я тебе дам задание на каникулы, а Вите расскажу, как заниматься с тобой, чтоб были лучшие результаты.

Мы обрадовались, когда услышали, что Ольга Николаевна согласна, чтоб я продолжал заниматься с Костей, а Костя сказал:

— Ольга Николаевна, у нас еще есть дрессированная собака Лобзик. Разрешите нам выступить с этой собакой на новогоднем вечере.

— А что ваша собака умеет делать?

— Она арифметику знает. Умеет считать, как та собака, которую мы видели в цирке.

— Кто же ее выучил?

— Мы сами.

— Ну хорошо. Приводите ее на новогодний вечер. Я думаю, всем ребятам будет интересно посмотреть на ученую собаку.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Мне было очень досадно, что Костя без меня выучил Лобзика, так как мне тоже было интересно его учить, но теперь уже все равно ничего не поделаешь.

— Ты не горюй,— сказал Костя.— Когда-нибудь я встречу на улице еще какую-нибудь бездомную собаку и подарю тебе, тогда ты сам сможешь ее выучить.

— Самому мне неинтересно,— ответил я.— Я люблю все в компании делать, а один я возиться не стану.

— Ну, я ведь буду помогать тебе учить ее. Мы вместе будем дрессировать, и у тебя тоже будет ученая собака.

— Нет,— говорю,— это не годится. Как только появится новая собака, ты начнешь с ней заниматься, вместо того чтобы делать уроки. Лучше отложим это дело до лета.

— Ну ладно, если не хочешь, отложим. А ребятам скажем, что Лобзик — это наш с тобой ученик. Мы ведь начали учить его вместе. И будем вместе выступать с ним на новогоднем вечере.

— А вдруг он испугается, когда попадет на сцену? — говорю я.— Надо заранее приучить его, чтоб он не пугался людей.

— Как же его приучить?

— Надо повести его куда-нибудь, где побольше людей. Вот окончим уроки и поведем его к нам, покажем нашим, как он умеет считать.

Когда мы кончили делать уроки, Костя надел на Лобзика ошейник, привязал к ошейнику поводок, и мы отправились ко мне.

Как раз в это время к нам пришли тетя Надя и дядя Сережа.

— Сейчас мы покажем вам ученую собаку,— сказал я.— Садитесь все на места, как в театре, и смотрите внимательно.

Мы посадили Лобзика на табурет. Костя достал из кармана таблички с цифрами и стал приказывать Лобзику считать.

Лобзик лаял исправно. Тут мне в голову пришла замечательная мысль. Я не стал показывать Лобзику никакой цифры, а просто спросил:

— Ну-ка, Лобзик, сколько будет дважды два?

Лобзик пролаял четыре раза. Конечно, я вовремя щелкнул пальцами.

Лика обрадовалась:

— Ого! Он даже таблицу умножения знает!

Все хвалили нас за то, что мы так хорошо выучили собаку, а мы сказали, что будем выступать с Лобзиком на новогоднем вечере в школе.

— А у вас костюмы для выступления есть? — спросила Лика.

— Ну, уж будто нельзя без костюмов,— говорю я.

— Без костюмов неинтересно,— сказала Лика.— Лучше я вам разноцветные колпаки сделаю. Вы будете в этих колпаках, как два клоуна в цирке.

— Из чего же ты сделаешь колпаки?

— У меня разноцветная бумага есть. Я купила для елочных украшений.

— Ну,— говорю,— делай. С колпаками даже еще лучше будет.

— А нельзя ли Лобзику тоже сделать колпак? — спросил Костя.

— Нет, Лобзик будет очень смешной в колпаке. Лучше я ему сделаю воротничок из золотой бумаги.

— Ладно, делай что хочешь,— говорю я.

— Теперь пойдем к Глебу Скамейкину, покажем ему, как наш Лобзик умеет считать,— предложил Костя.

Мы пошли к Глебу, от Глеба к Юре, от Юры — к Толе. Везде мы показывали искусство Лобзика, и за это Лобзик получал разные вкусные вещи. Наконец мы отправились к Ване Пахомову, а у Ваниных родителей как раз были гости. Мы обрадовались и решили, что у нас получится настоящая репетиция. Но напрасно мы радовались. Мы осрамились так, что не знали, куда от стыда деваться. Лобзик, вместо того чтоб отвечать правильно, начал путать и врать. Ни одной цифры не назвал правильно! Наконец перестал отвечать. А мы-то расхвастались, что привели ученую собаку-математика! Пришлось нам уйти с позором.

— Что же это случилось с ним? — сказал Костя, когда мы вышли на улицу.

Он дал Лобзику кусочек сахара, но Лобзик только разгрыз его и тут же выплюнул.

— Теперь понятно,— сказал я.— Мы просто обкормили его. Он объелся, поэтому и не старается отвечать правильно.

Костя сказал:

— А вдруг во время представления в школе такая штука случится? Вот будет позор на всю школу! Может быть, нам лучше не выступать?

— Нет,— говорю,— теперь уже поздно отказываться. Раз взялись, так надо до конца довести.

Целый день накануне Нового года Костя волновался и все пытался дрессировать Лобзика.

— Оставь его в покое,— сказал я.— Опять ты ему надоешь за день, а когда будет нужно, он не захочет отвечать.

— Ладно, не буду его больше трогать. Иди отдыхай, Лобзик!

Мы оставили Лобзика в покое, а сами стали готовиться к представлению. Лика приготовила нам два колпака: мне — синий с серебряными звездочками, а Косте — зеленый с золотыми звездами. Кроме того, она сделала нам серебряные воротники и золотые манжеты на рукава. Мы все это примерили и остались очень довольны. Получилось прямо как два настоящих клоуна в цирке. Лобзику тоже был сделан золотой воротник.

Наконец время пришло, и мы отправились с Лобзиком в школу. Пока шло первое отделение концерта, мы сидели с Лобзиком

в зале, чтоб он привыкал к публике, а потом пошли за кулисы и стали ждать своей очереди. Так мы посмотрели выступления всех ребят и ничего не пропустили. Мы заранее нарядились в свои колпаки, надели Лобзiku на шею воротничок. И вот занавес открылся, и все увидели, как мы с Костей вышли на сцену в своих разноцветных колпаках. Костя шел впереди, за ним бежал на поводке Лобзик, а я шел сзади, и в руках у меня был чемоданчик, где лежали все вещи, которые мы приготовили для представления. Костя посадил Лобзика на табурет посреди сцены и сказал:

— Дорогие ребята, сейчас перед вами выступит ученая собачка-математик, по имени Лобзик. Пока она выучилась считать до десяти, но она будет учиться дальше, и тогда мы вам ее снова покажем. Мы просим, чтоб вы вели себя тихо, потому что Лобзик выступает на сцене впервые и может испугаться шума.

Костя, видно, очень волновался, и голос у него дрожал. Я тоже волновался, и если бы мне пришлось говорить, то я, наверно, не смог бы сказать ни одного слова.

— Ну, начинаем представление, — закончил Костя.

Я достал из чемодана три деревянные чурки и поставил их рядышком на столе, так, чтоб было всем видно.

— Сейчас Лобзик сосчитает, сколько на столе чурок, — объявил Костя. — Ну, считай, Лобзик!

Лобзик пролаял три раза.

Ребята громко захлопали в ладоши и закричали от радости. Лобзик испугался, соскочил с табурета и бросился бежать. Костя догнал его, сунул в рот ему кусок сахара и посадил обратно на табурет. Лобзик принялся грызть сахар. Ребята постепенно утихли. Я достал из чемодана еще одну чурку и поставил рядом с остальными.

— Ну, а теперь сколько чурок? — спросил Костя.

Лобзик пролаял четыре раза.

Ребята снова дружно захлопали. Лобзик опять хотел соскочить с табурета, но Костя вовремя подхватил его и сунул ему в рот кусок сахара.

Я поставил на стол еще три чурки.

— А теперь сколько стало чурок? — спросил Костя.

Лобзик пролаял семь раз.

Я достал из чемодана табличку с цифрой «2» и показал публике.

— Какая это цифра? — спросил Костя.

Лобзик пролаял два раза.

Мы стали показывать Лобзiku разные цифры; потом Костя спрашивал:

— Сколько будет дважды два? Сколько будет дважды три? Сколько будет три плюс четыре?

Лобзик отвечал правильно.

Ребята все время хлопали в ладоши, но Лобзик постепенно привык к аплодисментам и уже не пугался.

Я тоже перестал волноваться и сказал:

— Ребята, наш Лобзик умеет даже задачи решать. Кто хочет, может задать какую-нибудь задачку, чтоб были небольшие числа, и Лобзик решит.

Тут встал один мальчик и задал такую задачу: «Бутылка и пробка стоят 10 копеек. Бутылка на 8 копеек дороже пробки. Сколько стоит бутылка и сколько пробка?»

— Ну, Лобзик,— говорю,— подумай и реши задачу.

Конечно, Лобзику нечего было думать. Это я говорил так, чтобы самому подумать. Я быстро решил задачу: пробка стоила 2 копейки, бутылка 8 копеек, а вместе 10 копеек.

— Ну, Лобзик, говори: сколько стоит пробка? — спросил я. Лобзик пролаял два раза.

— А бутылка?

Лобзик пролаял восемь раз.

Ну и крик тут поднялся!

— Неправильно! — кричали ребята.— Собака ошиблась!

— Почему неправильно? — говорю я.— Вместе ведь стоят 10 копеек. Значит, бутылка 8 копеек, а пробка 2.

— Как же? Ведь в задаче сказано, что бутылка на 8 копеек дороже пробки. Если пробка стоит 2 копейки, то бутылка должна стоять 10 копеек, а они вместе стоят 10 копеек,— объяснили ребята.

Тут я сообразил, что ошибся, и говорю:

— Слушай, Лобзик, ты ошибся. Подумай хорошенько и реши задачу правильно.

Конечно, это мне самому надо было подумать, а не Лобзику, но я сказал:

— Подождите, ребята, сейчас он еще подумает.

— Пусть думает,— закричали ребята.— Не надо его торопить. Для собаки эта задача, конечно, трудная.

Я стал думать: «Если бутылка на 8 копеек дороже пробки, то пробка, значит, стоит 2 копейки, а бутылка 10. Но в таком случае они вместе будут стоить 12 копеек, а в задаче сказано, что вместе они стоят 10 копеек. Если же пробка стоит 2 копейки, а бутылка 8 копеек, то выходит, что бутылка всего на 6 копеек дороже». Прямо затмение на меня нашло! Что это за задача такая? Не задача, а какой-то заколдованный круг!

— Подождите еще, ребята,— говорю я.— Ему еще немного надо подумать. Сейчас он решит.

— Ничего, пусть думает! — закричали ребята.— Собака ведь не человек. Не может же она сразу.

«Да,— думаю,— тут и человек не может сразу решить, не то что собака!»

Стал снова думать.

— Эх ты, чужак! — прошептал Костя. — Пробка ведь стоит копейку!

Тут я сообразил, в чем дело: пробка стоит копейку, бутылка на 8 копеек дороже, значит 9, а вместе — 10.

— Есть! — закричал я. — Внимание! Сейчас Лобзик ответит правильно.

Ребята затихли.

— Ну отвечай, Лобзик, сколько стоит пробка?

Лобзик пролаял один раз.

— Ура! — закричали ребята.

— Тише, — говорю я. — Еще не вся задача. Пусть теперь скажет, сколько стоит бутылка.

Лобзик пролаял девять раз. Ну и шум тут поднялся! Ребята хлопали в ладоши и громко кричали.

— Вот так собака! — говорили они. — Хоть ошиблась, но в конце концов решила задачу правильно.

На этом представление окончилось.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

И вот наступил Новый год и начались зимние каникулы. Во всех домах красовались нарядные елки. Настроение у всех было веселое, праздничное. У нас с Костей тоже было праздничное настроение, но мы решили не только гулять во время каникул, а и заниматься. В первый же день мы пошли к Ольге Николаевне и получили у нее задание на каникулы.

У Кости появилась такая охота к учению, что он согласен был учиться по целым дням, но я решил, что мы будем работать по два часа в день, остальное время гулять, отдыхать или книжки читать.

Так мы занимались с ним каждый день, и Костя начал понемногу выправляться. Когда каникулы кончились, у нас вскоре был диктант, и Костя получил за него тройку. Он был так рад, будто это была не тройка, а самая настоящая пятерка.

— Чего ты так радуешься? — сказал я ему. — Тройка не такая уж замечательная отметка.

— Ничего, сейчас для меня хороша и тройка. Я уже давно тройки по письму не получал. Но я на этом не успокоюсь. Вот увидишь, в следующий раз получу четверку, а там и до пятерки как-нибудь доберусь.

— Конечно, доберешься, — сказал ему Юра. — Но ты сейчас еще о пятерке не думай, а скорей получай четверку, тогда у нас в классе ни одного троечника не будет.

— Не беспокойся,— ответил Костя,— все будет в порядке. Теперь уже класс не будет за меня краснеть. Я теперь понял, что каждый должен бороться за честь своего класса. Я и то уже поборолся как следует, ну, а теперь мне уже совсем немножко осталось.

Ольга Николаевна тоже была рада, что Шишкин стал лучше учиться.

— Пора вам, ребята, включаться в общественную работу,— сказала она нам.— Все что-нибудь делают на общую пользу, только вы ничем не заняты.

— Теперь мы тоже возьмем какую-нибудь работу,— говорю я.

— Возьмем,— говорит Костя.— Я уже давно хочу работать в стенгазете, да меня все не выбирают в редколлегию.

— Правда,— говорю я.— Пусть нас выберут в редколлегию стенгазеты.

— В редколлегию вам еще рано. Там должны работать самые авторитетные ребята,— сказала Ольга Николаевна.

— Ну, все равно, мы и на какую-нибудь другую работу согласны,— говорит Костя.— Если хотите, пусть нас выберут в санкомиссию. Я уже был в санкомиссии, когда учился во втором классе. Мне очень нравилось ходить и всем приказывать, чтоб мыли руки и чтоб у всех были чистые уши.

— Санкомиссия у нас уже выбрана. Если хотите, я вам дам очень интересную работу. Нужно организовать классную библиотечку. Будете выдавать ребятам книги.

— А где взять книги? — спрашиваю я.

— Книги получите в школьной библиотеке. А шкаф я вам достану.

— Я возьмусь,— говорит Костя.— Я люблю книги читать.

— Я тоже,— говорю,— возьмусь.

— Значит, договорились. Постарайтесь быть хорошими библиотекарями. Берегите книги, следите, чтоб все ребята тоже бережно обращались с книгами.

Мы пошли к нашей библиотекарше Софье Ивановне, сказали, что мы теперь тоже будем библиотекарями в четвертом классе и нам нужны книги.

— Вот и хорошо,— сказала Софья Ивановна.— Книги для четвертого класса у меня есть. Вы сейчас их возьмете?

Она дала нам целую стопку книг для четвертого класса, и мы перетащили их в наш класс. Книг было много, штук сто, но когда мы поставили их в шкаф на полки, то нам показалось мало, потому что они заняли всего лишь три полки, а три полки остались пустые.

— Может быть, нам из дому принести еще книжек, чтоб

было побольше? — сказал Костя. — Я могу штук пять принести или шесть.

— Я тоже, — говорю, — могу принести штук пять, но этого мало. На три полки не хватит.

— А что, если у ребят попросить? Может быть, у кого-нибудь есть старые книжки, которые уже прочитаны. Пусть принесут для библиотечки.

Мы поговорили об этом с Ольгой Николаевной.

— Что же, скажите ребятам, может быть, ребята откликнутся на вашу просьбу, — сказала Ольга Николаевна.

На другой день мы объявили ребятам, что теперь у нас будет своя классная библиотечка, только книг у нас еще не очень много, и кто хочет, пусть принесет для библиотечки хоть по одной книжке.

На эту просьбу откликнулись все ребята, и каждый принес кто книгу, кто две, а многие принесли и больше.

Книг получилось так много, что весь шкаф целиком заполнился. Мы хотели тут же начать выдавать книги ребятам, но Ольга Николаевна сказала, что нужно сначала сделать журнал.

Мы взяли толстую тетрадь и в эту тетрадь записали каждую книгу под номером. Теперь если нужно было отыскать какую-нибудь книгу, то можно было не рыться на полках, а посмотреть по журналу.

Костя радовался, что теперь в нашей библиотечке такой порядок. Особенно ему нравилось, что все полки заняты книгами.

— Теперь как раз хорошо! — говорил он. — Ни прибавить ничего нельзя, ни убавить.

Он то и дело отворял шкаф и любовался на книги.

Некоторые книжки были уже старенькие. У некоторых еле держались переплеты или оторвались страницы. Мы решили взять такие книжки домой, чтоб починить. И вот, сделав все уроки, мы пошли с Костей ко мне, потому что у меня дома был клей, и взялись за дело.

Лика увидела, что мы починяем книжки, и тоже захотела нам помогать.

Особенно много возни у нас было с переплетами. Костя все время ворчал.

— Ну вот! — говорил он. — Не знаю, что ребята делают с книжками. Бьют друг друга по голове, что ли?

— Кто же это дерется книжками? — сказала Лика. — Вот еще выдумал! Книги вовсе не для того.

— Почему же переплеты отрываются? Ведь если я буду сидеть спокойно и читать, разве переплет оторвется?

— Конечно, не оторвется.

— Вот об этом я и говорю. Или вот, смотрите: страница оторвалась! Почему она оторвалась? Наверно, кто-то сидел да дергал за листик, вместо того чтоб читать. А зачем дергал, скажите, пожалуйста? Вот дернуть бы его за волосы, чтоб не портил книг! Теперь страничка выпадет и потеряется, кто-нибудь станет читать и ничего не поймет. Куда это годится, спрашиваю я вас?

— Верно,— говорим,— никуда не годится.

— А вот это куда годится? — продолжал кричать он.— Смотрите, собака на шести ногах нарисована! Разве это правильно?

— Конечно, неправильно,— говорит Лика.— Собака должна быть на четырех ногах.

— Эх, ты! Да разве я о том говорю?

— А о чем?

— Я говорю о том, что разве правильно в книжках собак рисовать?

— Неправильно,— согласилась Лика.

— Конечно, неправильно! А на четырех она ногах или на шести, в этом разницы нет, то есть для книжки, конечно, нет, а для собаки есть. Вообще в книжках ничего не надо рисовать — ни собак, ни кошек, ни лошадей, а то один нарисует собаку, другой кошку, третий еще что-нибудь придумает, и получится в конце концов такая чепуха, что и книжку невозможно будет читать.

Он взял резинку и принялся стирать собаку. Потом вдруг как закричит:

— А это что? Рожу какую-то нарисовали, да еще чернилами!

Он принялся стирать рожу, но чернила въелись в бумагу, и кончилось тем, что он протер в книге дырку.

— Ну, если б знал, кто это нарисовал,— кипятился Шишкин,— я бы ему показал! Я бы его этой книжкой — да по голове!

— Ты ведь сам говорил, что книжками нельзя бить по голове,— сказала Лика.— От этого переплеты отскакивают.

Костя осмотрел книгу со всех сторон.

— Нет,— говорит,— эта книжка выдержит, у нее переплет хороший.

— Ну,— говорю я,— если все библиотекари будут бить читателей по голове книжками, то переплетов не напасешься!

— Надо же учить как-нибудь,— сказал Костя.— Если у нас будут такие читатели, то я и не знаю, что будет. Я не согласен, чтоб они государственное имущество портили.

— Надо будет объяснить ребятам, чтоб они бережно обращались с книжками,— говорю я.

— А вы напишите плакат,— предложила Лика.

— Вот это дельное предложение! — обрадовался Костя. — Только что написать?

Лика говорит:

— Можно написать такой плакат: «Осторожней обращайся с книгой. Книга не железная».

— Где же это ты видела такой плакат? — спрашиваю я.

— Нигде, — говорит, — это я сама придумала.

— Ну и не очень удачно придумала, — ответил я. — Каждый без плаката знает, что книга железная не бывает.

— Может быть, написать просто: «Береги книгу, как глаз». Коротко и ясно, — сказал Костя.

— Нет, — говорю, — мне это не нравится. При чем тут глаз? И потом, не сказано, почему нужно беречь книгу.

— Тогда нужно написать: «Береги книгу, она дорого стоит», — предложил Костя.

— Тоже не годится, — ответил я, — есть книжки дешевые, так их рвать нужно, что ли?

— Давайте напишем так: «Книга — твой друг. Береги книгу», — сказала Лика.

Я подумал и согласился:

— По-моему, это подойдет. Книга — друг человека, потому что книга учит человека хорошему. Значит, ее нужно беречь, как друга.

Мы взяли бумагу, краски и написали плакат.

На другой день мы повесили этот плакат на стене, рядом с книжным шкафом, и начали выдавать ребятам книжки.

Выдавая кому-нибудь из учеников книгу, Костя говорил:

— Смотри, чтоб никаких собак, ни рож, ни чертей в книге не было.

— Как это?

— Ну, возьмешь да нарисуешь в книге какую-нибудь загогулину.

— Зачем же я стану рисовать?

— Будто я знаю! Мое дело предупредить, чтоб ни рож, ни собак. Это книжка общественная. Если б это была твоя собственная книга, тогда, пожалуйста, рисуй, но даже в собственной книжке не надо ничего рисовать, потому что после тебя она достанется твоему младшему брату или сестре или товарищу дашь почитать. Так что мое дело предупредить, а если ты не будешь слушаться, то потом я не так с тобой буду разговаривать.

— Ну ладно, сказал — и хватит.

Но Костя не унимался, и каждому, кто брал книжки, он растолковывал в отдельности, почему надо бережно обращаться с книгами.

После уроков он, пригорюнившись, сидел возле шкафа и с грустью смотрел на поредевшие ряды книг на полках.

— Эх,— горевал он.— Снова книг мало стало! Так хорошо было! Шкаф был полнехонек, а теперь хоть бери и опять где-нибудь доставай книг.

— Что ж тут такого? — утешал его я.— Ведь ребята прочитают и принесут книги обратно.

— «Принесут»! Принести-то они принесут, да что толку! — ответил Костя.— Они одни книжки принесут, а другие взамен их возьмут. Вот никогда и не соберешь всех книг обратно.

— Зачем же их собирать? Ведь книги для того, чтоб читать, а не для того вовсе, чтоб на полках стоять. Я взял и себе книжку, чтоб почитать дома.

— Как? — говорит Костя.— И ты берешь? И так книжек мало осталось.

— Да я,— говорю,— быстренько прочитаю и принесу.

Тогда и он взял себе книжку.

— Ну ничего,— утешал он сам себя.— Будет на одну книжку меньше. Все равно их мало осталось.

С тех пор мы с Костей имели свободный доступ к книгам и стали много читать. Костя так увлекся, что читал даже на улице. Возьмет из библиотечки книжку, идет по улице и читает. Кончилось это тем, что он налетел на фонарный столб и набил на лбу шишку. После этого он перестал читать на улице и читал только дома.

К библиотечной работе он относился серьезно, и постепенно у него даже характер переменялся. Он стал аккуратным, более организованным и не таким рессеянным, как был раньше. К ребятам он относился очень требовательно.

Если кто-нибудь приходил за книжкой с грязными руками, он начинал «пилить» его:

— Как тебе не стыдно? Почему у тебя такие грязные руки?

— Ну испачкались. Тебе-то какое дело?

— Как какое дело? Ты ведь за книжкой пришел?

— За книжкой.

— И ты такими руками будешь брать книжку?

— Какими же мне ее еще брать руками?

— Чистыми надо брать руками. Ты ведь своими руками книжку испачкаешь!

— Ну, я приду домой — вымою.

— Нет, голубчик, иди-ка ты лучше под кран и вымой руки, а потом я тебе дам книжку.

Если кто-нибудь брал книжку и долго не приносил, Костя делал ему выговор:

— И тебе не стыдно так долго книжку держать? Другим ребятам тоже хочется почитать, а ты держишь и держишь! Если неохота читать, отдай книжку обратно, а потом снова возьмешь.

- Я ведь не прочитал. Прочитаю и принесу.
- Так ты, может, до скончания веков будешь читать!
- Зачем до скончания веков? Книжка ведь выдается на десять дней.
- Ну на десять дней. А ты когда взял?
- А я взял неделю назад. Еще не прошло десяти дней.
- А тебе обязательно надо, чтобы все десять дней прошли? Десять дней — крайний срок. А ты прочитал раньше и приноси раньше, никто тебе не велит все десять дней держать.
- Так говорят же тебе, что еще не прочитал!
- Ну, так читай быстрее!
- Если кто-нибудь слишком быстро приносил книгу, ему это тоже не нравилось:
- Послушай, когда же ты успел прочитать? Вчера только взял книжку, а сегодня уже обратно принес! Может быть, ты и не читал ее?
- Зачем же я тогда брал?
- Откуда же я знаю, зачем ты берешь! Может быть, ты только картинки рассматриваешь.
- Что я, маленький?
- Ну ладно, рассказывай, о чем здесь написано.
- Что это еще за экзамен?
- Ну, мне нужно проверить, читал ты или не читал.
- Это не твое дело! Твое дело выдавать книжки, а не проверять.
- Нет, уж если меня назначили библиотекарем, то я должен проверить. Если ты не читаешь, то тебе, может быть, не нужно и давать книг. Пусть лучше кто-нибудь другой берет, кто читает.

Приходилось ученику рассказывать содержание книжки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

С тех пор как Костя исправил свою двойку по русскому и мы с ним стали вести общественную работу, наш авторитет среди ребят очень повысился. Косте разрешили играть в баскетбольной команде, и он оказался очень способным игроком. Мы выбрали его капитаном нашей команды. Костя очень хорошо натренировал свою команду, и мы выиграли первенство в школьном соревновании. От этого наш авторитет еще больше увеличился, и о нашей команде написали в школьной стенгазете.

Но еще не все было у нас благополучно. Мы с Костей упорно продолжали заниматься по русскому языку, но он как застрял на тройке, так и не мог сдвинуться с места. Ему казалось, что

после тройки он тут же сразу получит четверку, а потом и пятерку, но не тут-то было!

Ольга Николаевна упорно продолжала ставить ему тройки, так что в конце концов Костя даже начал приходить в отчаяние.

— Вы понимаете,— говорил он Володе,— мне теперь уже нельзя учиться на тройку. Я библиотекарь в классе и капитан команды. Про меня в школьной стенгазете написано. А я учусь на тройку! Куда это годится?

— Потерпи еще немного,— сказал Володя.— Надо продолжать заниматься.

— А я разве к тому говорю, чтоб не заниматься? Я все равно буду заниматься, только мне Ольга Николаевна никогда не поставит отметки лучше, чем тройка. Она уже привыкла, что я плохо учусь. Так я и буду ехать все время на тройке.

— Нет,— ответил Володя,— Ольга Николаевна справедливая. Когда ты будешь знать на четверку, она поставит тебе четверку.

— Ах, скорей бы она поставила! — говорил Костя.— Во всем классе один я троечник. Если бы не я, весь класс учился бы только на «хорошо» и «отлично». Я всему классу дело порчу!

Мы снова решительно брались за дело. Ольга Николаевна тоже занималась с Костей отдельно после уроков, и он хотя медленно, но зато верно продвигался вперед. Прошло полтора месяца с тех пор, как Костя получил тройку, и вот у него наконец появилась четверка. Это было радостное событие для всего класса. В тот же день в нашем классе было собрание, и Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости.

— Теперь у нас в классе нет плохих отметок,— сказала она.— Мы изжили не только двойки, но даже и тройки.

Она сказала, что мы с Костей очень хорошо поработали и Костя подтянулся так, что в дальнейшем сможет хорошо учиться.

— В нашей школе есть очень хорошие классы, где много отличников и хороших учеников, но такого дружного класса, как наш, где все учатся только хорошо и отлично, пока больше нет,— сказала Ольга Николаевна.— Думаю, что и другие классы последуют примеру наших учеников и добьются хорошей успеваемости у себя. А вам, ребята, не нужно успокаиваться на достигнутом. Если вы успокоитесь и станете меньше работать, то опять можете снизить отметки.

Потом выступил пионервожатый Володя, который сказал:

— Ребята, я напишу о вашем классе статью в школьную стенгазету, чтоб вся школа знала, как вы работаете, и чтоб другие классы могли брать с вас пример. А вы расскажите, что вам помогло добиться хороших результатов в учебе.

— Я думаю, это, должно быть, оттого, наверно, что Ольга Николаевна нас хорошо учила,— сказал Ваня Пахомов.

— Ольга Николаевна у нас очень хорошая, вот это и потому,— сказал Вася Ерохин.

— В классе не все зависит от учительницы,— сказала Ольга Николаевна.— И у хороших учителей бывают такие классы, где не все ученики учатся хорошо.

— Мы добились успехов потому, что Ольга Николаевна нас хорошо учила, и еще, я думаю, потому, что все захотели хорошо учиться,— сказал Толя Дежкин.

— Вот и скажи, почему все захотели? — спросил Володя.

— Можно мне сказать? — попросил Костя.— Мне кажется, это потому, что у нас в классе между ребятами настоящая дружба. Каждый думает не только о себе, но и о своих товарищах. Это я на себе испытал. Когда я плохо учился, все ребята думали не только о себе, но и обо мне. Только я тогда был еще очень глупый и даже обижался. А теперь я вижу, что ребята хотели мне помочь и боролись за честь всего класса.

— Ты правильно сказал, Костя: дружба помогла вашему классу добиться успехов,— сказал Володя.— В вашем классе ребята поняли, что настоящая дружба состоит не в том, чтобы прощать слабости своих товарищей, а в том, чтобы быть требовательным к своим друзьям.

— Позвольте мне сказать,— попросил я.— Вот я теперь понял, как нужно относиться к своему другу. От него надо требовать, чтоб он был хорошим. Если он ошибается, то надо ему сказать, а если не скажешь — значит, ты сам плохой товарищ. Это я тоже на себе испытал. Костя сначала поступал неправильно, а я помогал ему в этом, и от этого получился один только вред. А потом я стал требовательным к нему, и теперь я ему настоящий друг.

— Это ты рассудил правильно,— ответил Володя.

Так мы разговаривали долго и задавали разные вопросы, а потом Костя сказал:

— Ольга Николаевна, я хочу попросить вас: поставьте мне мою четверку в дневник.

— В конце недели я буду проставлять всем отметки, тогда и тебе поставлю,— ответила Ольга Николаевна.

— Ну, поставьте сегодня, Ольга Николаевна, мне очень хочется!

— Зачем же тебе так спешно? Твоя четверка от тебя не уйдет.

— Я знаю, что не уйдет. Я хотел показать маме. Я давно уже обещал маме, что у меня будет четверка по русскому языку.

— Разве мама тебе без дневника не поверит? — спросила Ольга Николаевна.

— Поверит! — ответил Костя. — Только, знаете, на словах это так... А когда в дневнике — это совсем иначе.

— Правда, Ольга Николаевна, поставьте! Ему очень хочется! — стали просить ребята.

Володя тоже сказал:

— Мы все просим, Ольга Николаевна! Только ему, а остальным в конце недели.

Ольга Николаевна улыбнулась.

— Ну если все просят... — сказала она и взяла у Кости дневник.

Костя с волнением смотрел, как Ольга Николаевна поставила в его дневнике четверку. И все ребята тоже с волнением смотрели.

Мы с Костей вышли из школы, и я заметил, что, пока мы сидели в классе, на дворе стало теплей. Мороз отпустил. С утра еще было холодно, а теперь под крышами заплакали сосульки. Они сверкали на солнышке, как блестящие украшения на новогодней елке. В лицо нам дул ветер. Он был какой-то мягкий, теплый и ласковый. От него пахло, вот как пахнет водой у реки в жаркий день. Казалось, что этот ветер примчался к нам прямо с юга, из широких степей Казахстана, где уже наступила весна и начался сев. На душе у меня стало так хорошо, так радостно! Сердце громко стучало в груди и рвалось на простор. Хотелось куда-то мчаться или лететь. В голове теснились какие-то чудесные мысли, от которых захватывало дух, хотелось быть добрым, хорошим; хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы все удивились и чтобы всем стало так хорошо, как было мне.

Вот какие мысли были у меня в голове. А Костя шел и ничего не замечал. Потом он остановился, вынул из сумки дневник и любовался на свою четверку.

— Вот она, четверочка! — улыбнулся он. — Сколько я мечтал о ней! Сколько раз думал: вот получу четверку и покажу маме, и мама будет довольна мной. Я знаю, что не для мамы учусь, мама всегда говорит об этом, но все-таки я хоть немножечко, а и для мамы учусь. Ведь ей хочется, чтоб ее сын был хорошим. Я буду хорошим, вот увидишь. И мама будет гордиться мной. Еще поднажму, и у меня будет пятерка. Пусть тогда мама гордится. И тетя Зина пусть тоже гордится. Пусть, мне не жалко. Ведь тетя Зина тоже хорошая, хотя и пробирает меня иногда.

Он остановился на минуточку, спрятал в сумку дневник и оглянулся по сторонам. Потом вздохнул полной грудью.

— Ты чувствуешь? — сказал он. — Это весенний ветер! Скоро весна. Ведь сейчас уже конец февраля, а февраль — последний месяц зимы. Скоро наступит март, и придет весна, и потекут ручейки, и зазеленеет трава, в лесах проснутся ежи и ужи и другие разные звери, и запоют птички, и зацветут цветы...

И он начал еще что-то рассказывать про весну и про птичек, но я не запомнил, потому что как раз в это время мне в голову пришла мысль написать про все, что с нами случилось. С тех пор я начал писать и писал чуть ли не каждый день понемногу, и, хотя я писал не обо всем, а только самое главное, я подошел к концу, уже когда занятия в школе кончились и мы с Костей перешли в следующий класс с одними пятерками.

Вот и все, о чем мне хотелось сказать.

У КОММЕНТАРИИ

И. Д. ВАСИЛЕНКО
(1895—1966)

«ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА»
«АРТЕМКА В ЦИРКЕ»

Книга И. Василенко «Артемка» состоит из пяти небольших повестей: «Волшебная шкатулка», «Артемка в цирке», «Артемка у гимназистов», «Заколдованный спектакль» и «Золотые туфельки». Эти повести объединены единым авторским замыслом, одними героями, каждая последующая является органическим продолжением предыдущей, и по существу это одно повествование.

Над своими пятью повестями И. Василенко работал в течение 20 лет — с 1937 по 1958 год. В эти же годы писателем были созданы другие прекрасные повести и рассказы, но его мысль постоянно возвращалась к любимым героям, к их судьбам.

«Волшебная шкатулка» впервые была напечатана в ростовской пионерской газете «Ленинские внучата» в 1937 году, потом — в журнале «Пионер» (1938, № 6); «Артемка в цирке» в журнале «Пионер» (1940, № 1, 2); «Артемка у гимназистов» в кн.: «Волшебная шкатулка» (Детгиз, 1948); «Заколдованный спектакль» в кн.: «Артемка» (М.: Детгиз, 1950); «Золотые туфельки» в газете «Пионерская правда» (1957, № 71, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 90, 91, 93).

Впервые все пять повестей были объединены в одной книге, которая вышла в 1958 году в изд-ве «Молодая гвардия» под названием «Волшебная шкатулка»

В последующие годы каждая из этих повестей выходила отдельным изданием и включалась в сборники под такими названиями: «Волшебная шкатулка», «Артемка», «Артемка у гимназистов», «Детство актера», «План жизни», «Мои друзья», «Избранное», «Повести и рассказы»... Эти книги многократно издавались в центральных, республиканских и областных издательствах.

Для создания этих повестей немалую роль сыграли впечатления детства. Вот что рассказывает сам И. Василенко в автобиографии: «...Когда отец мой получил в Таганроге место заведующего чайной-читальней «Общества трезвости», я, тогда еще совсем мальчонкой, стал там работать «прислугой за все»: подавал, убирал, подметал, мыл посуду. С утра допоздна был на ногах. Уставал очень, но было интересно. Вокруг мельтешили самые разные люди: странники, бродяги, гонимые нуждой батраки, кочующие мастеровые... Их занимательные рассказы заменяли мне чтение книг. Байки этого кочевого люда слушал я с величайшим наслаждением, «завлекательные» их рассказы развивали во мне страсть к путешествиям, к познанию жизни. В последующей моей литературной работе впечатления детства оказались для меня неиссякаемым, всегда живым источником творчества...» (Л. Шемшелевич. Замечательный рассказчик.— Литературные воспоминания. «Дон», 1973, № 12).

Талант И. Василенко был замечен критикой уже после появления первых его двух повестей — «Волшебная шкатулка» и «Артемка в цирке». В «Литературной газете» от 11 мая 1941 года в разделе «На творческих конференциях писателей. Книги писателей краев и областей» помещен отчет о состоявшемся обсуждении первых результатов его работы. «В книжке «Волшебная шкатулка»,— говорил Р. Фраерман,— автор обнаруживает большое дарование, которое нужно развивать. Мировоззрение этого писателя чрезвычайно оптимистично, ему присущ добродушный юмор, и он создает удивительный детский мир, который прельщает и трогает не только юного, но и взрослого читателя. У Василенко наблюдательный глаз и меткий язык. Психологические наблюдения автора верны». А писатель И. Халтурин сказал: «Мальчик Артемка из повести Василенко проходит очень суровую школу жизни. Тут можно было бы пролить море слез или написать еще одного Антона-Горемыку, а сирота Артемка бодр, жизнерадостен по своей природе, и видно, что из этого мальчика вырастет большой, сильный человек. Достоинством книги является наличие в ней настоящей трудовой атмосферы. В повести нет «гимна» ремеслу, но вся она насыщена элементами труда, в ней показано стремление мальчика за все заплатить работой» («Литературная газета», 1941, 11 мая, № 19).

В 1943 году состоялось обсуждение творчества И. Василенко в Союзе писателей. Оно превратилось для автора «Волшебной шкатулки» в триумф. «Присутствовавшие писатели — Караваева, Федин, Паустовский, Слонимский, Фраерман, Шварц — говорили о том, что рассказы его, собранные вместе, стали бы любимой книгой молодежи». (Из статьи В. Вересаева: «Детский писатель И. Василенко». — «Литературная газета», 1944, 11 ноября, № 2).

Отзывы собратьев по перу, поток писем от юных читателей «Пионера», которые просили Василенко рассказать о том, что же будет с полюбившимися им героями — Артемкой, Костей,— все это вдохновило писателя, рождался новый замысел увлекательных приключений Артемки и его друзей. Но самым большим

событием в жизни Василенко в ту пору, определившим во многом его дальнейшую творческую судьбу, явилась его встреча с выдающимся русским писателем В. Вересаевым. Об этой встрече прекрасно рассказал сам В. Вересаев, назвав свой рассказ так: «Детский писатель И. Василенко». Приводим его полностью:

«Года два назад в Тбилиси ко мне пришел один гражданин, лет под пятьдесят; очень большой лоб, исхудалое, больное лицо. Гражданин рассказал о себе следующее: он — партиец, был учителем, потом работал в Донбассе по народному образованию в ответственных должностях; сорока лет заболел тяжелой формой туберкулеза легких, с обильными легочными кровотечениями. Сейчас у него одного легкого совсем нет. Три года должен был пролежать в постели; от скуки стал писать. И он протянул мне книжку. На обложке стояло:

Иван Василенко.

Волшебная шкатулка.

Детгиз.

Хорошая саморекомендация! Начал писать сорока лет, писать начал от скуки. Чего тут ждать путного?

Он сказал:

— Я к вам с просьбой. Не можете ли вы мне дать совет, стоит ли мне продолжать писать или нет?

Ответ уже заранее был для меня совершенно ясен. Но нельзя же было что-нибудь сказать, ничего не прочитавши...

Я предложил моему гостю зайти за ответом через две недели. Вечером раскрыл принесенную книжку. Две повести: «Волшебная шкатулка» и «Артемка в цирке». Первые же страницы захватили меня, и я не мог оторваться от книги в пять печатных листов, пока всю не прочел. Передо мною был талантливый, совершенно сложившийся писатель, со своим языком, с великолепной выдумкой, с живыми образами.

...Мы с Василенко познакомились. Время от времени он, конфузясь, приносил мне свои рассказы, как робкий ученик, а для меня почти каждый его рассказ был новым художественным наслаждением.

Язык выразительный, точный и простой, без всяких вывертов... Теплая и любящая душа автора согревает все им написанное. В изображаемых им ребятах крепкая дружба и помощь товарищам, безоглядный героизм описываются как нечто само собой разумеющееся, не могущее и быть иначе. И это заражает больше, чем всякие поучительные рассуждения. Встают кругом чудесные, ищущие люди, они все охвачены романтикой борьбы, так весело и бодро должно жить среди них!»

В архиве И. Василенко сохранилось письмо, которое В. Вересаев написал в редакцию журнала «Новый мир»:

«Дорогие товарищи!

Автор прилагаемого рассказа Иван Дмитриевич Василенко — талантливый детский писатель, напечатавший ряд рассказов в «Пионере», «Костре» и других изданиях. Его повесть «Артемка в цирке», вошедшая в изданную Детгизом книжку «Волшебная шкатулка», по-моему, одна из лучших детских повестей советской литературы. С приветом В. Вересаев. Тбилиси. 24/IV—43 г.» (журнал «Детская литература», 1971, № 4, с. 56).

О книгах И. Василенко писали И. Мотяшов, А. Турков, А. Колосков, В. Фраерман и другие. Критик А. Колосков в статье «Талант и труд» предсказал автору «Волшебной шкатулки» большой успех. (Газета «Литература и жизнь», 1958, 16 ноября, № 95). В. Фраерман в предисловии к книге И. Василенко «Повести и рассказы» (Детгиз, 1955) так определяет особенности его писательской манеры: «Живое воображение, склонность к лиризму, устремленность к вопросам нравственности, долга, мужества, правдивости».

В своем письме к И. Василенко писатель Г. Шолохов-Синявский признавался: «В Ваших рассказах чеховская прозрачность (свет, пронизывающий березовый лес) замечена сразу, и, помнится, я с радостью говорил всем об этом, когда впервые прочитал Вашу «Шкатулку». И тогда же я полюбил Вас и Вашу прозу... и нахожу, что Вы, не подражая, как другие, не эпигонствуя, хорошо ведете читателя по чеховскому пути. Этого никогда не заметили бы наши холодные критики, но заметил Вересаев». (Г. Шолохов-Синявский. 25/II 1960 г. Из архива И. Василенко.— «Детская литература», 1971, № 4, с. 52).

И. Василенко занял достойное место в советской литературе как крупнейший детский писатель. Его книги выходили в 149 изданиях тиражом более 5 миллионов экземпляров. Иллюстрации художников Б. Винокурова, И. Харкевича, В. Бриснина, А. Глуховцева.

А. С. НЕВЕРОВ

(1886—1923)

«ТАШКЕНТ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ»

Впервые повесть вышла отдельным изданием в изд-ве «Земля и фабрика», М., 1923. В конце дата: «22 мая 1923 г., Москва». Отрывки публиковались в периодических изданиях: «Коммуна» (Самара), 1922, 1 янв., 1923, 22 и 29 апр.; «Петроград», 1923, № 3 (под названием «Борьба за жизнь»); «Красный журнал для всех», 1923, № 5—6 (под названием «Мишка»); литературно-художественный альманах «Вехи Октября», 1923, № 1.

Идея и сюжет повести сложились летом 1921 года, в страшные дни голода в Поволжье. Книга создавалась по горячим следам трагических событий, в основу произведения легли личные впечатления писателя от поездки «за хлебом» в Ташкент. Об этой поездке пишет в своих воспоминаниях друг Неверова — писатель Н. Степной (см.: Н. Степной. Поездка в Среднюю Азию.— Александр Неверов. Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Куйбышевское кн. изд-во, 1972, с. 259).

Повесть «Ташкент — город хлебный» Неверов «писал,— как он сам говорил,— с великой любовью к крестьянским ребятишкам, жизнь которых в новых условиях начиналась с тяжких испытаний — с голода». (Из воспоминаний о Неверове его сына — Б. Неверова-Скобелева. Немного об отце моем.— «Литературная Россия», 1967, 25 августа, № 35). Беседуя с писателем А. Ф. Насимовичем, А. Неверов сказал, что ему «очень бы хотелось написать книгу о детях, рассказать о

молодом поколении, о том, как оно преодолевает трудности и побеждает их». (Цит. по кн.: В. Скобелев, А. Неверов. — «Советский писатель». М., 1964, с. 169).

«Счастливым найденный сюжет — поездка мальчика «за хлебом» почти через всю страну в условиях невиданного голода и транспортной разрухи — позволил Неверову превратить повесть в «голодную мужицкую эпопею» (Ф. Гладков). (Из послесловия А. Овчаренко к кн.: А. Неверов. «Ташкент — город хлебный», Гослитиздат, М., 1961, с. 108). Книга посвящена Федору Васильевичу Гладкову, с которым Неверова связывали самые теплые и дружеские отношения.

Повесть «Ташкент — город хлебный» имела огромный успех. В 1924 году вышло 2-е издание (М.—Л., «Земля и фабрика», 1924), в 1925 году — 3-е, 4-е и 5-е издания (М.—Л., «Земля и фабрика», 1925). В том же, 1925 году книга вышла в Госиздате под названием «Мишка Додонов», с рисунками А. Баранского (для среднего и старшего возраста). С 1923 по 1927 год повесть была выпущена десять раз, 10-е издание — М.—Л., «Земля и фабрика», 1927. На титульном листе стояло: «Главполитпросветом рекомендовано для всех массовых библиотек. Государственным Ученым Советом допущено для школьных библиотек II/ступени. Включено в программы школ-семилеток». В предисловии к книге говорится: «Ташкент — город хлебный» выходит десятым изданием. Это своего рода литературное событие... Если бы Неверов не написал ничего, кроме этой повести, то и в таком случае он вошел бы в историю нашей пролетарской литературы».

В дальнейшем повесть многократно переиздавалась в центральных, областных и республиканских издательствах, выходила отдельными изданиями и включалась во все последующие собрания сочинений Неверова.

Появление повести «Ташкент — город хлебный» явилось настоящим литературным событием и обеспечило автору право не только на почетное место в истории нашей литературы, но и на мировую известность. Сын писателя Б. Неверов-Скобелев вспоминает: «Очень нравилась эта повесть А. С. Новикову-Прибою и Ф. В. Гладкову, которые искренне поздравляли отца с большим литературным успехом. (Б. Неверов-Скобелев. Немного об отце моем. — «Литературная Россия», 1967, 25 августа, № 35). Он же пишет: «При мне Федор Васильевич говорил отцу, что «Ташкент» будет иметь будущее, что его будут читать не только как художественное произведение, но и как политический документ о первых тяжелых годах молодой Советской страны». (Б. Неверов-Скобелев. У истоков «Ташкента». — «Литературная газета», 1968, 27 ноября, № 48). И там же: «...Интерес к повести никогда не ослабнет, — говорил Ф. Гладков. — Не ослабнет потому, что в Мишке Додонове [Неверов] показал судьбу многих миллионов деревенских мальчишек, жизнь которых после революции начиналась в условиях общей нищеты, разрухи и голода. Но ничто их тогда не остановило, и они с честью прошли через все трудности».

В своих воспоминаниях о Неверове, посвященных 80-летию со дня рождения писателя, Э. Ципельзон пишет: «Новиков-Прибой сказал, что повесть эта войдет в историю русской литературы. И не только в историю литературы — повесть «Ташкент — город хлебный» вошла в историю революции как ценный документ эпохи и вдохновенный рассказ о русском трудовом народе». (Э. Ципельзон. А. С. Неверов. — «Московский комсомолец», 1966, 24 декабря, № 298).

Критика 20-х годов высоко оценила повесть Неверова, увидев в ней утверждение высоких гуманистических идеалов революции, поставив ее в ряд с лучшими произведениями ранней советской прозы — с «Железным потоком» А. Серафимовича, с романами и повестями Д. Фурманова, Л. Сейфуллиной, Вс. Иванова, Л. Леонова... О Неверове писали Г. Горбачев, П. Лебедев-Полянский, А. Воронский, В. Львов-Рогачевский, Г. Якубовский и другие.

Известный критик А. Воронский писал в своей статье, посвященной Неверову: «Лучшей вещью писателя является повесть «Ташкент — город хлебный». Нужно признать: повесть хороша. Прежде всего талантлива и нужна тема. ...Повесть Неверова — целая Одиссея двух детей, отправившихся без «ничего» из Поволжья в далекий, неведомый, сказочный Ташкент за хлебом для семьи.

Есть страницы во второй части повести с рассказом, как Мишка один бредет в степях к далекой степной станции. Да, они недаром, не вхолостую написаны. Живуч человек и велики жертвы русского народа!.. И не так ли шествует новая Русь Советов в поисках «града взыскующего», нового Ташкента, страны, где не будет страды людской и прежде всего детской?» (А. Воронский. Литературно-критические статьи. М., «Советский писатель», 1963, с. 230—231).

Критик Г. Якубовский был восхищен ярким, достоверным характером Мишки Додонова, его жизнестойкостью, сметливостью, светлым мироощущением, верой в человека, видя во всем этом залог его победы над страшной и опасной стихией голода и отчаяния. Он писал: «...борьба Мишки с голодом протекает на фоне революции, дыхание которой чувствуется в каждом движении разворачивающейся эпопеи... Мишка потому и побеждает, что, несмотря на разруху, хаос, плохую работу транспорта, тысячи всяческих неурядиц и нестроений, — революция — благодаря тому, что сломала классовые перегородки, — открыла выход всему жизнеспособному в рабочем классе и крестьянстве к строительству новой жизни». (Сб.: Александр Неверов. Кооперативное изд-во писателей «Никитинские субботники». М., 1928, с. 28).

Повесть была переведена на многие иностранные языки. Первым в 1925 году вышел перевод на немецкий язык, вызвавший благожелательную рецензию в «Роте Фане», центральном органе Коммунистической партии Германии. (27 марта, 1925).

Рецензент обращает внимание на слова Мишки, заключающие повесть («Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться...»), и резюмирует: «Такова молодежь Советской России, строящая новый мир». Интересно свидетельство Фрица Мирау, который в своей статье «Человеческий, социальный и художественный документ (Неверов в Германии 1925—1933 гг.)» ...сообщает: «...неверовский «Ташкент — город хлебный», трижды выходивший отдельными изданиями и пять раз публиковавшийся в газетах из номера в номер... принадлежал к числу самых любимых немецкими рабочими советских книг». (Из кн.: Александр Неверов. Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Куйбышевское книжное издательство, 1972, с. 173).

В 30-е годы повесть «Ташкент — город хлебный» была одной из самых изучаемых в школе.

В 1966 году был поставлен радиоспектакль «Ташкент — город хлебный».

Повесть неоднократно переиздавалась в нашей стране, переведена на 15 языков народов СССР, выходила в Австрии, Англии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, ГДР и ФРГ, Дании, Италии, Китае, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии, Швеции, Югославии. «Эта книга выдержала самые суровые испытания — испытания временем — и по праву вошла в золотой фонд советской литературы» (из предисловия В. Чалмаева к кн.: *А. Неверов. Ташкент — город хлебный*, «Советская Россия», 1980. с. 3).

СЛОВАРЬ НЕЗНАКОМЫХ СЛОВ

Ш и ш и г а (с. 103) — народное выражение: бес, сатана.

М о з е р к и (с. 103) — кладбище.

Б а г а р н а я п ш е н и ц а (с. 105) — посев на не орошаемых искусственно землях в Средней Азии.

Ш а б р ы (с. 109) — соседи.

О р т ч е к а (с. 114) — особая районная транспортная чрезвычайная комиссия — организация, которая ведала охраной революционного порядка на транспорте.

Ч а п а н (с. 123) — верхняя одежда.

С а р т ы (с. 135) — так шовинистически, презрительно называли жителей Средней Азии.

Б и к я к ш а (с. 147) — очень хорошо.

Б а б а й (с. 147) — старик, дедушка.

Ч е р н а я з а н а в е с к а (с. 182) — здесь имеется в виду *паранджа* — черная волосная сетка, которой женщины закрывают лицо по требованию мусульманской религии.

Д ж у г а р а (с. 183) — кормовое растение.

И. И. ЛИКСТАНОВ

(1900—1955)

«МАЛЫШОК»

Впервые повесть была опубликована в 1947 году в Детгизе. Отдельные главы печатались в журнале «Пионер», 1947, № 8 (Северный полюс, Верхнее общежитие, На лыжах, Наставник, «Катюши», Тревога, Конкурс молотков, Неожиданность).

Повесть «Малышок» была задумана в 1945 году, в основу ее легли те впечатления, которые Ликстанов — сотрудник газеты «Уральский рабочий» — получил, наблюдая жизнь и быт горнозаводских рабочих, встречаясь с металлургами, шахтерами, сталеварами в первые годы Великой Отечественной войны.

22 сентября 1946 года И. Ликстанов писал своему детгизовскому редактору Н. А. Максимовой: «...Уже несколько месяцев я работаю над повестью из жизни

заводских подростков. Пока называю ее «Малышок» — по прозвищу главного героя...

Что за «Малышок» и откуда он взялся? В первый год войны я работал в выездной редакции «Уральского рабочего» на заводе «катюш». Накопились кое-какие наблюдения, сложился образ Кости Малышева... Написано уже листов двенадцать, и я подошел к заключительным главам... Есть в повести бой за коллектив, и неосознанная детская любовь, и разрешение маленькой семейной драмы — примирение двух героинь повести: мачехи и падчерицы...» (Журнал «Урал», 1970, № 8, с. 151). Ликстанов называл «Малышок» своей «уралмашевской поэмой».

Интересно высказывание писателя о центральном персонаже повести — Косте Малышеве: «...Он славный, честный, немного слишком сдержанный паренек, по-уральски рукастый и настойчивый. Он прошел довольно строгую житейскую школу в золотых и таежных Ивдельских местах (север Свердловской области) и съел на своем веку мало хлебушка задаром: он и золото мыть, и белку бить, и молотком, лопатой робить-работать». (Из письма И. Ликстанова Н. Максимовой от 22 сент. 1946.— «Урал», 1970, № 8, с. 151).

Повесть «Малышок» доставляла автору много волнений, он тщательно работал над отделкой рукописи. «Весь январь и февраль «Малышок» «не сходил» с моих рук». (Из письма Ликстанова Н. Максимовой, середина 1947 года.— «Урал», 1970, № 8, с. 153). Вызывала тревогу «техническая» часть повести, ее точность и грамотность терминологическая, писатель сомневался и в том, насколько органично эта часть соотносится с основным сюжетом произведения; при окончательной обработке «Малышка» была вычеркнута так называемая «золотая линия», которая, по мнению Ликстанова, не помогала прояснению судьбы главного героя и оттого показалась ему лишней.

Олег Коряков, работавший в те годы вместе с Ликстановым в «Уральском рабочем», вспоминает: «Над «Малышком» Ликстанов работал упоенно. Он в каждую вещь уходил с головой, но каждую мог и отложить, чтобы взяться за другую, а вот отложить «Малышка» — не мог.

Однажды он собрал нас, несколько газетчиков, чтобы прочесть новую главу из повести. Прочел — и сразу же:

— Ну как? Очень плохо, да?

В ответ раздались одобрительные возгласы. Иосиф Исаакович встал, прошелся, коренастый, насупленный, мотнул лобастой головой:

— Нет, ребята, тут еще надо подумать. Почеркать надо.

И «почеркал»: в книге мы увидели эту главу почти целиком переписанной» (Олег Коряков. Ликстанов.— «Детская литература». 1971, № 4, с. 62).

Постановлением Совета Министров СССР от 2 апреля 1948 года И. Ликстанову за повесть «Малышок» была присуждена Государственная премия.

Из беседы с писателем Вс. Вишневским: «...Хочется отметить повесть И. Ликстанова «Малышок». Ликстанов начинал свой путь в двадцатых годах рядовым военкором флота. Потом он стал журналистом, работником редакции на Урале. Журнализм постепенно вырастал в литературные пробы более высокого порядка. И вот после двадцати пяти лет работы, проб, неустанной шлифовки, совершенствования, накопления жизненного опыта автор дает книгу, удостоенную Государственной премии». (Газета «Уральский рабочий», 1948, 7 апреля).

Повесть «Малышок» была с большим интересом встречена как юным, так и взрослым читателем. Критиков А. Ивича, Л. Скорино, Евг. Таратуту, писательницу Ф. Вигдорову особенно пленил главный герой — Костя Малышев. Н. Кальма в статье «Хозяева жизни» писала: «Мы с интересом следили за превращением «ивдельского медвежонка» в умелого, страстно влюбленного в свое дело молодого рабочего. Ликстанов любит машину, завод, самый процесс производства и умеет передать читателю этот азарт труда, горячность, кровную заинтересованность во всем, что касается завода и его дел». («Литературная газета», 1958, 10 апр., № 29).

Высокую оценку получила повесть в статье К. Симонова «О современном состоянии и некоторых вопросах развития детской литературы»: «...Основная ценность произведений детской прозы, которые последние годы заняли ведущее, решающее положение в детской литературе, заключается как раз в том, что писатели, создавшие эти произведения, нашли необычайное и яркое в самом главном и новом: в нашем обществе. Нашли это необычайное и яркое и в труде наших подростков на колхозных нивах и в социалистической промышленности; нашли это необычайное и яркое и в новой, социалистической морали, и в новых отношениях, возникающих в нашей школе, в новом отношении к труду, к друзьям, к врагам, ко всему окружающему миру.

В этой связи мы прежде всего должны как глубоко положительные явления отметить такие произведения, как «Малышок» И. Ликстанова и «Звездочка» И. Василенко, повествующие о начале пути будущих ведущих людей нашей промышленности, произведения, воспевающие труд в промышленности, его героизм, его драматизм, его необычайную яркость.

Это произведения, которые зовут детей к выбору великой профессии рабочего и которые зовут литературу к изображению красоты и значительности производственного труда». («О детской литературе». Сб. статей. М.— Л., Детгиз, 1950, с. 11).

В автобиографии И. Ликстанов писал: «Мой герой — человек труда. Я был бы счастлив, если бы мои книги помогли нашим ребятам почувствовать светлую поэзию труда, полюбить завод и живое практическое дело на благо Родины». (И. Ликстанов. Автобиография. Материал Дома детской книги; А. Филатова. И. Ликстанов. Сб. «О литературе для детей», Л., Детгиз, 1957, вып. 2).

Повесть «Малышок» многократно переиздавалась (только в 1949 году она вышла 9 раз: в Москве, Куйбышеве, Омске, Петрозаводске, Риге, Саратове, Челябинске, Хабаровске), была переведена на языки народов СССР и на ряд иностранных: польский, венгерский, румынский, китайский, испанский.

А. И. МУСАТОВ

(1911—1977)

«СТОЖАРЫ»

Повесть впервые вышла в 1948 году, в Детгизе. Книга появилась к 30-летию ВЛКСМ.

О том, как были созданы «Стожары», как определялся сюжет произведения и характер его главных героев, А. Мусатов рассказал в своих статьях «Как созда-

вались «Стожары» («Дружные ребята», 1950, № 7), «О моих книгах» («Вслух про себя». Сб. статей и очерков советских детских писателей. Книга вторая. М., «Детская литература», 1978), в письме ученицам пятых классов 69-й семилетней женской школы г. Симферополя (газета «Красный Крым», 1950, 31 марта, № 64), в беседе с корреспондентом газеты «Книжное обозрение» (1971, 23 июля, № 30).

Замысел книги возник еще до войны. «Повесть «Стожары» ... явилась итогом всей моей литературной деятельности в довоенный период. Перед войной я приступил к работе над большой повестью о колхозной деревне, затем работа была отложена в сторону, и только в 1948 году в значительно измененном виде и под новым названием, «Стожары», повесть стала достоянием детского читателя.

...Вот как шел процесс работы над повестью «Стожары». Я написал первые 60 страниц, сидя в московской квартире. Прочитал их товарищам. До этого я разработал более или менее подробный план будущей книги, сюжетные ходы, характеры героев, нужные ситуации. Уже тогда был намечен образ деревенского мальчика, который потерял на фронте отца и остался жить с мачехой. По традиции я решил, что мачеха, как в сказках, будет злым, недобрым существом, которая обижает неродного сына, плохо к нему относится. Но потом меня охватило сомнение, что, может, все придуманное мной не соответствует действительности, и я решил проверить написанные мною страницы и весь план книги реальной жизнью. И хотя жизненных наблюдений у меня было вполне достаточно, но я все же поехал, как теперь принято говорить, в творческую командировку, в одну из деревень Волоколамского района, Московской области, где и прожил продолжительное время».

И дальше писатель рассказывает о том, как много дали ему эти дни. Он часто бывал в школе, познакомился со многими детьми, разговаривал с учителями, встречался с колхозниками, старался понять и почувствовать атмосферу жизни послевоенной деревни.

Именно там произошла встреча Мусатова с учеником 6-го класса Толей Мясниковым, с которого и был «списан» главный герой «Стожар» — Саня Коншаков. Оказалось, что биография реального Толи Мясникова почти полностью повторяет придуманные ранее писателем ситуации и обстоятельства жизни Сани Коншакова (гибель отца на фронте, смерть матери, необходимость заботиться о младших в семье, появление мачехи...). «Даже в портрете Сани Коншакова я постарался с большой точностью передать внешний вид Толи Мясникова, каким он мне запомнился: приземистый, крепко сбитый, со звездчатыми веснушками на переносице, обутый в кирзовые сапоги, в солдатской гимнастерке, перешитой с чужого плеча, в красноармейской пилотке с алой звездочкой...

Таким образом,— писал Мусатов,— создалось полное совпадение моих литературных замыслов с подлинной человеческой жизнью. Встреча с Толей Мясниковым окончательно утвердила меня в той мысли, что образ героя книги подсказан реальной жизнью, идет от жизни, а не сконструирован автором».

Но жизнь вносила и поправки в первоначальные творческие замыслы писателя, иногда неожиданно изменяя их, по-новому определяя характер и поведение его героев. Так, встреча с прекрасной русской женщиной Анной Павловной, которая, потеряв во время войны своих родных детей, заменила мать детям Мясниковым,

заставила Мусатова отказаться от первоначального намерения изобразить мачеху Сани Коншакова в качестве отрицательного персонажа, и так возник образ Катерины Коншаковой, столь удавшийся автору (от первоначальных замыслов сохранилось имя героини — Анна Петровна — в рассказе Мусатова «Твердое слово», опубликованном в журнале «Дружные ребята», 1945 г., № 7—8. Этот маленький рассказ — один из вариантов будущих «Стожар»). «И в то же время,— писал автор,— нельзя считать, что повесть «Стожары» строго документальна. При работе над книгой я широко использовал самые разнообразные жизненные впечатления и наблюдения, стараясь, по мере возможности, нарисовать характеры обобщенные, собирательные, типичные для тех лет».

Интересно, как состоялся выбор центрального персонажа повести. Долгое время на эту роль претендовал Федя Черкашин. «Сначала мне показалось, что главным героем должен стать Федя Черкашин — мальчик благородный и вполне положительный, отважный, находчивый, биография которого полна драматических подвигов и приключений, связанных с фронтом и партизанским отрядом. Биография Сани Коншакова внешне была лишена этой исключительности. Саня был более земной, свой, стожаровский паренек, кровно связанный с ребятами и взрослыми, со всеми нуждами и заботами колхозной деревни военных лет.

В поисках верных путей в жизни, в преодолении многочисленных испытаний он частенько заблуждался, отступал в сторону, и все же у него хватило мужества и воли побороть всяческие трудности и утвердить свой характер. Словом, нелегкая судьба Сани Коншакова показалась мне более типичной, поучительной».

Название повести «Стожары» тоже пришло к автору не сразу и появилось уже после того, как книга была написана. «Сначала повесть называлась «Лето»,— рассказывал Мусатов.— Но, встретившись с редакторами издательства, я услышал, что книг с таким названием было уже немало: «Необыкновенное лето», «Жаркое лето», «Золотое лето» и т. д.

Я усиленно стал искать новое название. В одном месте повести было коротко сказано о том, как колхозные ребята, любясь созвездием Стожары, мечтают о своем будущем. А почему бы эту маленькую сцену не расширить, подумал я. Почему бы не провести через всю книгу мысль о том; что у каждого читателя в жизни должны быть свои Стожары, своя заветная цель, свое любимое дело. И вот в книге появилась предопределившая название всей повести новая сцена о том, что Стожары хотя и совсем маленькая деревня, но не затерялась она на необъятных просторах Родины. Потому что здесь, как на всей нашей советской земле, трудятся добрые, честные люди, горячо преданные своему делу».

В 1949 году А. Мусатову за «Стожары» была присуждена Государственная премия, повесть была удостоена первой премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу.

Книга вызвала многочисленные отклики в критике. Высокую оценку получили «Стожары» в докладе К. Симонова на XIII Пленуме Союза советских писателей. Он сказал: «Книги о детях колхозной деревни, о сельской школе овеяны большой суровой правдой жизни. Помощь взрослым, труд детей в нелегких условиях войны и первых лет послевоенной жизни показан в этих книгах не только как дело благородное и хорошее, но и как весьма яркое, драматическое и героическое, вошедшее в жизнь детей, как трудность и в то же время как радость, как забота, и в то же

время как интерес». (Цит. по ст.: Е. Литвиненко. Повесть о большой мечте.— «Начальная школа», 1950, № 5, с. 16).

Критики были единодушны, утверждая, что герой «Стожар» Саня Коншаков — младший литературный брат гайдаровского Тимура. Так С. Михалков писал: «Я наблюдал, как в одном большом селе Рязанской области возникло среди пионеров целое движение «стожаровцев»: ребята подражали героям повести А. Мусатова «Стожары». Они вырастили в своем плодово-ягодном питомнике десятки тысяч саженцев, они работали штурвальными на комбайнах, они первыми выходили на расчистку заснеженных дорог. Саженцы свои ребята посылали и в другие районы, в другие области; так вот и разносилась вместе с тонкоствольными молодыми деревцами слава о чудесных патриотических делах пионеров — «стожаровцев», продолжателей дела «тимуровцев». (Цит. по кн.: «Вслух про себя». Сб. статей и очерков советских детских писателей. Книга вторая. М., «Детская литература», 1978, с. 217).

Юные читатели полюбили героев повести Мусатова. После выхода книги в свет у писателя завязалась оживленная переписка с его многочисленными корреспондентами, пошел поток писем. Наиболее интересные из них автор приводит в своих статьях, опубликованных в журнале «Дружные ребята» (1950, № 7), газете «Красный Крым» (1950, 31 марта, № 64).

По повести была сделана инсценировка А. Некрасовой «Драгоценное зерно» («Стожары») в 3-х действиях, 7-ми картинах. Режиссерские указания Б. Юрцева. Рисунки И. Бруни. Оформление М. Борисовой-Мусатовой.

Повесть «Стожары» издавалась более ста раз и переведена на 38 языков народов мира.

Н. Н. НОСОВ

(1908—1976)

«ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ И ДОМА»

Повесть впервые напечатана в журнале «Новый мир» в 1951 году, № 6. Отдельная книга вышла в 1952 году в Детгизе. Между журнальным вариантом и окончательной редакцией существуют расхождения, о них писал З. Паперный в статье «Витя Малеев в журнале и книге» («Литературная газета», 1952, 9 августа, № 96, с. 3).

О том, как возник замысел повести, Носов рассказал в статье «О писательском труде» («Вслух про себя». Сб. статей и очерков советских детских писателей, кн. 2, М., «Детская литература», 1978) и в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» («Дошкольное воспитание», 1973, № 11—12). «Первоначальный жизненный материал, — говорил писатель, — в виде случайно подмеченного факта, брошенной кем-то фразы, прочитанной в газете заметки может послужить для писателя толчком к написанию рассказа, повести или романа». И Носов рассказал о том, что решение написать повесть «Витя Малеев в школе и дома» пришло к нему после случайно услышанного разговора двух учительниц, одна из которых ска-

зала, что отстающий ученик всегда останется отстающим, сколько бы ему ни помогали. Носову захотелось показать, что нет безнадежных среди тех, кому не все удастся, что именно такие нуждаются в понимании и сочувствии. «Мне легко было представить себе,— заключает Носов,— какие помехи вставали на пути этого ученика, а зная характер своего героя, нетрудно было вообразить, с какой стороны он будет браться за дело в каждом отдельном случае».

Повесть «Витя Малеев в школе и дома» принесла автору большой успех. Она была удостоена Государственной премии СССР в 1952 г. и оказалась среди лучших на конкурсе художественной книги для детей, проведенном Министерством просвещения РСФСР. Она вызвала многочисленные отклики в критике. О Носове писали С. Маршак, В. Катаев, Б. Полевой и другие.

Выступая на II съезде писателей, С. Я. Маршак сказал: «Открытие, которое совершает Витя Малеев, впервые самостоятельно решив задачу, это не только открытие Вити, но и самого автора. Не так-то легко показать, отчего непонятное становится вдруг понятным, как соображение зависит от воображения». По определению С. Маршака, Носов — писатель «с отчетливой творческой индивидуальностью, в произведениях которого проявилось соединение юмора, лиризма и памятливой зоркости бытописателя». (*Э. Недува. Светлый, веселый талант. Заметки о творчестве Н. Носова.*— «Семья и школа», 1963, № 11, с. 12).

На II съезде писателей о Носове говорил Б. Полевой в докладе «Советская литература для детей и юношества»: «Носовский Витя Малеев, герои лучших рассказов Ю. Сотника, у которых порой попадают двойки в табеле, быстро завоевали симпатии ребят и усердно служат их воспитанию». (Цит. по кн.: *Ст. Рассадин. Н. Носов. М., Детгиз, 1961, с. 32*).

Талант Носова был по достоинству оценен В. Катаевым. «Носов — умный, вдумчивый художник, полный неистощимого юмора, автор поистине классических книг: «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Незнайки» и множества маленьких шедевров в две-три странички, каждый из которых блесит как яркая жемчужина в довольно объемистом ларце нашей детской литературы». (В кн.: *Н. Носов. Собрание сочинений в 3-х томах, т. I. М., «Детская литература», 1968*). В. Катаев очень точно определил причину обаяния носовских книг: «Он в совершенстве постиг психологию того чудесного существа, которое называется «мальчик». Уже не дитя, но еще и не юноша. А именно мальчик. О мальчиках замечательно писал Чехов.

Носов пишет тоже замечательно, но в своем роде. У Носова не просто мальчики, у него советские мальчики, маленькие граждане нашей большой страны. Мальчики Носова несут в себе все черты советского человека: его принципиальность, взволнованность, одухотворенность, вечное стремление к новаторству, привычку изобретать, отсутствие умственной лени.

И все это хотя и в несколько уменьшенных масштабах, но так же убедительно, психологически достоверно и, может быть, даже значительно ярче, увлекательнее, чем во многих книгах о взрослых». (Цит. по кн.: *Ст. Рассадин. Н. Носов. М., Детгиз, 1961, с. 33*).

Особенности Носова-писателя пронизательно уловил Ю. Олеша: «За всеми веселыми приключениями ненавязчиво присутствует мысль о несовместимости бахвальства, зазнайства с подлинными человеческими отношениями между людьми».

ми, даже если это самые маленькие дети. Книга учит уважать знание, труд, товарищество, скромность». (Цит. по ст. Т. Тюшина. Н. Носов.— «Начальная школа», 1968, № 11, с. 15).

Почти все писавшие об авторе книги «Витя Малеев в школе и дома» касались своеобразия юмора в его повестях и рассказах. Интересно, как ответил сам Носов на вопрос корреспондента о том, какое значение он придает юмору в детских книгах, о приемах и способах создания в них смешных ситуаций. «Сам я с тех пор, как помню себя, люблю смешное. Тяга к юмору, к веселой шутке у меня в натуре. С детства увлекаюсь Гоголем. Юмор, конечно, не должен быть самоцелью. Писатель стремится выразить свои идеи, осуществить замысел. Автору детской книги нужно сделать это доходчиво, выразительно, занимательно, чтобы книга увлекла маленького читателя, чтобы он был захвачен происходящими в ней событиями. Ведь чтение для ребенка — немалый труд. И он попросту отбросит книгу, если она будет не интересна ему. И вот здесь на помощь приходит юмор.

Писателю важно не только видеть смешное в жизни, но и суметь передать его в своем произведении. Здесь нужно найти ту единственную фразу, то единственное емкое слово, без которого не удастся отобразить юмористическую ситуацию. Это уже дело мастерства». (Э. Недува. Веселая правда.— «Книжная торговля», 1968, № 11).

По повести «Витя Малеев в школе и дома» Носовым написана комедия в 3-х действиях, 7-ми картинах под названием «Два друга». (Режиссерские указания засл. деятеля искусств В. Колесаева.) «Два друга» были поставлены в Центральном детском театре в 1953 году. По повести Носов написал и киносценарий, на московской киностудии им. М. Горького в 1954 году снят полнометражный художественный фильм «Два друга».

«По моим сценариям,— сообщил Носов,— поставлено девять художественных фильмов, в том числе четыре полнометражных: «Два друга» (по «Вите Малееву»), «Дружок», «Фантазеры», «Приключения Толи Кляквина». (Из письма от 8 авг. 1972 г. писателю С. А. Баруздину. См. кн.: С. Баруздин. Заметки о детской литературе. М., «Детская литература», 1975).

Книги Носова у нас в стране издавались более 360 раз, общим тиражом свыше 44 миллионов экземпляров.

Рассказы и повести писателя переводятся во всем мире.

Повесть «Витя Малеев в школе и дома» переведена на многие языки народов СССР и на 23 языка народов мира.

М. Сотскова

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Мотяшов. История и детство 3

И. ВАСИЛЕНКО

Волшебная шкатулка 37

Артемка в цирке 56

А. НЕВЕРОВ

Ташкент — город хлебный 99

И. ЛИКСТАНОВ

Малышок 185

АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ

Стожары 399

НИКОЛАЙ НОСОВ

Витя Малеев в школе и дома 571

Комментарии 687

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 27)

Иван Дмитриевич Василенко

ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА
АРТЕМКА В ЦИРКЕ

*

Александр Сергеевич Неверов

ТАШКЕНТ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ

*

Иосиф Исаакович Ликстанов

МАЛЫШОК

*

Алексей Иванович Мусатов

СТОЖАРЫ

*

Николай Николаевич Носов

ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ
И ДОМА

*

П о в е с т и

ИБ № 6783

Ответственный редактор

Е. М. Подкопаева

Художественный редактор

Н. И. Комарова

Технический редактор

Е. М. Захарова

Корректоры

Л. И. Дмитриук

и М. Ю. Спротникова

Сдано в набор 01.11.82. Подписано к печати 27.04.83.
А03087. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1.
Шрифт академ. Печать высокая. Усл. печ. л. 45,13.
Усл. кр.-отт. 48,81. Уч.-изд. л. 47,4+9 вкл.=48,05.
Тираж 407 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз).
Заказ № 1895. Цена 2 руб. 20 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Детская литература» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика
«Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Госу-
дарственного комитета РСФСР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. Москва,
Сушевский вал, 49.

Василенко И. Д.

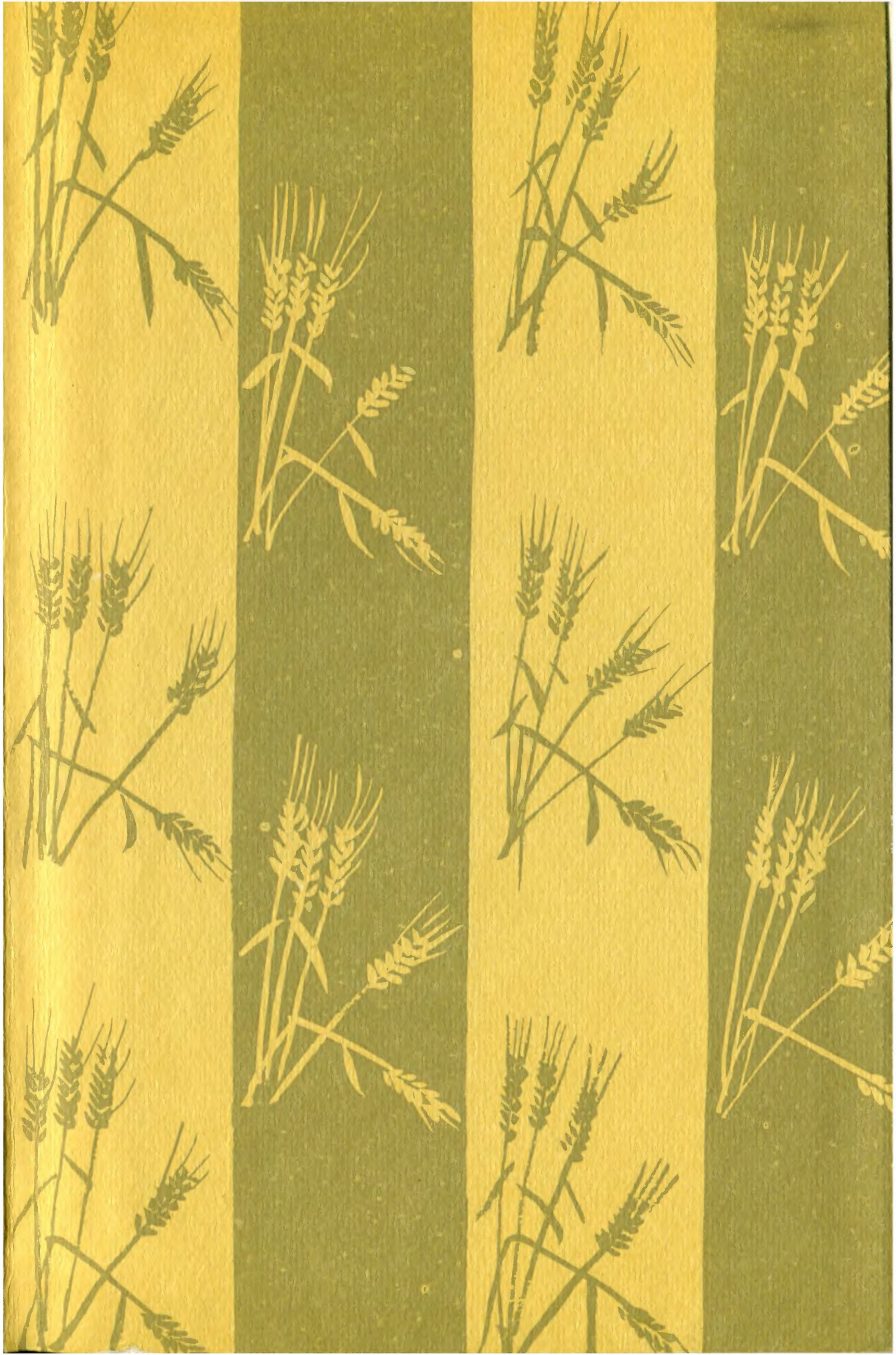
В19 Волшебная шкатулка; Артемка в цирке. Неве-
ров А. С. Ташкент — город хлебный. Ликстанов И. И.
Малышок. Мусатов А. И. Стожары. Носов Н. Н.
Витя Малеев в школе и дома: Повести/ Предисл.
И. Мотяшова; Ил. Г. Мазурина.— М.: Дет. лит.,
1983.— 702 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для
детей, т. 27).

В пер.: 2 руб. 20 коп.

В 4803010102—341 Подп. изд.
М101(03)83

Р2





2р. 20к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»